Изд. К-ва **„Материалист"**.

Под Знаменем Маркизма

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ.

№ 10

ОКТЯБРЬ 1923.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ"
МОСКВА

„СПУТНИК КОММУНИСТА".

Ежемес. орган МК РКП, посвящ. вопросам марксистской теории и текущей политике партии.

Ответственный редактор С. Н. Шевердин.

Вышел № 24 (октябрь).

В номере статьи: **Герпле, Эберлейн, Кетэ Поль, М. Кашен, Л. Троцкий, К. Либкнехт** (К гражданской войне в Германии), **Г. Гоберман** (Национальный вопрос), **Сарабьянов, Астров, Баскин, Гиринис, Агол, Молотов, Бессонов, Слепков** (Статьи о Плеханове), **Сапир, Сарабьянов** (Естествознание) и др.

Находится в печати и скоро выйдет № 25 (ноябрь).

В номере статьи: **Варги, Е. Павловского, Е. Драна** (К гражданской войне в Германии), **К. Цетьин, Астрова, Слепкова, Шварца, Мотылева** (К 6-й годовщине Октябрьской революции), **Сапиро, Познера** (Естествознание), **Шварца** (Вопросы школы) и Литературный обзор.

Редакция журнала „СПУТНИК КОММУНИСТА" открыта ежедневно с 10 ч. утра до 4 ч. дня. Телефоны: Городской 2-48-88, Коммутатор 1-93-00, добавочный 97.

Прием тт. авторов для переговоров ежедневно с 11 часов утра до 1 часу дня.

Редакция просит авторов статей присылать рукописи, написанные чернилами, четко и на одной стороне листа.

Подписка на журнал принимается в издательстве „Московский Рабочий", Б. Дмитровка, 26.

Условия подписки на 1924 год: на год 15 р. зол., на 6 м. 8 р. зол., на 3 м. 4 р. зол.

Цена отдельного номера от 1 р. 50 коп. до 2-х руб. золотом.

Адрес редакции: Большая Дмитровка, 15'а, второй этаж, комната №№ 10—11.

„БЮЛЛЕТЕНИ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИЗНИ"

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ В 4 ПЕЧ. ЛИСТА.

Бюллетени литературы и жизни ставят своей задачей приближение книги к читателю.

Бюллетени литературы и жизни будут давать на своих страницах обстоятельные обзоры и рефераты наиболее ценных и важных произведений, как научных, так и художественных.

Бюллетени литературы и жизни будут уделять самое серьезное внимание библиографии, рецензиям и отзывам на новые книги.

Бюллетени литературы и жизни будут стремиться отражать и жизнь различных аудиторий, ассоциаций и обществ, поскольку в них выковывается новая культура.

Бюллетени литературы и жизни дадут возможность читателю при затрате минимума энергии и средств следить за течением интеллектуальной жизни России и Запада.

Бюллетени литературы и жизни будут выходить вполне законченными книгами, представляющими периодическую хрестоматию современной культуры, содержащими обзоры и рефераты, охватывающие не менее 25—30 книг и статей, не теряющими своего интереса с выходом последующих книг.

ВЫШЛИ КНИГИ 1-ая и 2-ая. Продажа во всех книжных магазинах.

Заказы выполняются и наложенным платежом.

Адрес редакции и Конторы: МОСКВА, Арбат, 23, кв. 3. Телефон 19-96.

Приемные часы редакции:

ежедневно, кроме воскресенья, от **6** до **8** ч. веч.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 10

ОКТЯБРЬ 1923

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ"
МОСКВА

Главлит № 15798. Тираж 6.000 экз.

„Мосполиграф" — 20-я типография „Красный Пролетарий". Пименовская ул., д. 14/16.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

А. Деборин.—Маркс и Гегель 5
В. Вилянн.—Г. В. Плеханов, гл. III.—Социализм и политическая борьба 18

И. Луппол.—Очерки философии Д. Дидро, гл. III и IV 49
Н. Карев.—Философия дворянина нашего времени 87

А. Тимирязев.—Первое 10-летие теории Н. Бора 97
Н. Бор.—О строении атомов 101
Я. Пржеборовский.—Естествознание и диалектика 134

М. Павлович.—Ленин и эсеры 143
Арк. А—к.—Реалистические элементы в воззрениях Роберта Оуэна 163
Ц. Фридланд.—Анри де Сен-Симон 196

В. Полянский.—Механика творчества и литературная критика 227

Трибуна.

Б. Горев.—Некоторые проблемы марксистской теории классов 242
В. Ивановский.—Ответ тов. Баммелю 247
Тр. Баммель.—Несколько ответных замечаний 249

Сообщения и заметки. 252

Библиография.

А. Троицкий.—Марксизм и этика 257
Ст. Кривцов.—Макс Адлер. Марксизм 258
И. Орлов.—Э. Борель. Случай 260
Вл. Семенченко.—Н. Бор. Три статьи о спектрах и строении атомов 264
Материалист.—Л. М. Клейнборт. Н. И. Зибер 265
В. Вяк.—Г. В. Плеханов. Очерки по истории 268
И. Л.—Ролланд Гольст. Жан-Жак Руссо 271
Н. Денцнер.—Р. Люксембург. Письма к Карлу и Луизе Каутским 273

Маркс и Гегель.

(Продолжение).

III.

Значение диалектики как методологии, противопоставляемой теории познания, сознавалось в полной мере основоположниками марксизма и наиболее крупными его представителями. Ревизионизм начал свою „карьеру“ с критики диалектического метода и с требования возврата к Канту. Наша же революционная эпоха требует от нас тщательного изучения действительности и овладения диалектикой, которая представляет собою метод научного познания и революционного действия одновременно. Диалектика уже в лице Гегеля преодолела гносеологическую метафизику Канта. Однако она все еще продолжает тяготет над умами — не только буржуазными, но отчасти и „пролетарскими“. Теория познания выполнила определенную историческую задачу. Она была призвана „обуздать“ человеческую мысль, которая полагала возможным познание вещей несуществующих. Теория познания вела борьбу со старой метафизикой имевшей своим предметом готовые, принятые на веру объекты, как бог, душа и проч. Задача философии или вернее догматической метафизики, к которой сводилась философия, состояла в ближайшем определении природы готового и данного уже содержания. Само же содержание метафизики критике не подвергалось. Существование бога, напр, принималось как факт, в котором сомневаться не приходилось. Так форма знания определялась его содержанием, почерпнутым из другой, „чуждой“ науке, сферы, ибо оно диктовалось и навязывалось общественными отношениями, определенным социальным строем. И можно сказать, что до тех пор, пока этот социальный строй стоял прочно, то и метафизические киты, на которых он покоился, также держались твердо. Содержание философии навязывалось, далее религией; в известном смысле можно сказать, что догматическая метафизика составляла часть религии. Религия же представляла собою основную идеологию старого социального строя. Философия отличалась от религии не предметом, содержанием своим, а лишь формой, под которой та и другая рассматривали один и тот же пред-

мет. Гегель превосходно отдает себе отчет в тех исторических условиях, которые вызвали необходимость замены метафизики теорией познания. „Сначала,—говорит он,—приступали к мышлению без злого умысла, мыслили прямо и смело. Мыслили о боге, природе и государстве, и были убеждены, что истину можно узнать только через посредство мысли, а не посредством чувств, случайных представлений и мнений. Но скоро обнаружилось, что мысль подкопалась под высшие жизненные интересы, подорвала значение всего положительно существующего. Государственные учреждения пали жертвою мысли, мысль вступила в борьбу с религией, оспаривая твердые религиозные представления, которые прежде принимали как откровения, и потрясла старые верования во многих умах. Так греческие философы сделались противниками прежней религии и опровергли ее представления. Философы подверглись изгнанию и казни за ниспровержения религии и государства, которые были тесно связаны между собою" (курсив мой. *А. Д.*).

Так мысль обнаружила свое значение и свое огромное влияние в действительности. Вследствие этого обратили внимание на это могущество мысли, стали тщательнее исследовать ее притязания и думали найти, что она присваивает себе слишком многое и не может исполнить предпринятого; говорили, что она не узнала ни бога, ни природы, ни духа, вообще не узнала истины, а только ниспровергла государство и религию. Поэтому потребовали, чтобы мысль оправдала свои результаты, и, в новейшее время, главный интерес философии составляло исследование свойств мысли и самой способности знания"[1]). Поскольку религия и государство были тесно связаны между собою, религия в качестве „идеального" содержания и выражения государственных интересов, т.-е. интересов господствующего класса, обуздывала мысль, требуя от нее исследования определенных предметов в определенном направлении. Однако в ходе развития общественной жизни „мысль подкопалась под высшие жизненные интересы и подорвала значение всего положительно существующего". Но дело, конечно, не в самостоятельном движении мысли. Ибо „мысль вступила в борьбу" с религией и с государственными учреждениями, когда этого потребовали интересы нового общественного класса. И, по мере того, как новый общественный класс—буржуазия—завоевывал себе самостоятельное место в общественной жизни, „мысль" ее все более эмансипировалась от религии, становилась независимой от нее и выходила из подчинения старым идеологическим силам. Наконец, она вступила в открытую борьбу с религией, ниспровергла государство и религию. Буржуазия создала новый социально-политический строй, как и новый „строй мыслей". По мнению Гегеля выходит, что необходимо было ограничить могущество мысли вследствие

[1]) Энциклопедия, русск. ист. Чижова, 1861, стр. 29—30.

наступившего разочарования в ее силе. Она мол не узнала истины, не узнала ни бога, ни духа, обнаружив лишь свою революционно-разрушительную силу, так как она ниспровергла религию и государство. И так как „мысль" зарвалась, то от нее потребовали, чтобы она оправдала самое себя, свои результаты, свою революционно-разрушительную работу. Гносеология и должна была заняться этим делом. Философия сосредоточила свое главное внимание теперь на исследовании свойств и границ мысли.

Нельзя согласиться с Гегелем в том, что необходимость исследования способностей человеческого разума была вызвана разочарованием в силе мысли. Нам кажется, что необходимость эта определялась стремлением сокрушить религию и догматическую метафизику в их основании. Исследование свойств и способностей человеческого разума явилось результатом банкротства метафизики и религии, а не „мысли". После того, как было установлено, что религия и метафизика имеют своим предметом несуществующие и призрачные вещи, после разоблачения религиозного и метафизического фетишизма, имеющего своим источником определенные общественные отношения и отсталость мысли, как следствие этих же отношений, оказалось необходимым освободить мысль от этого хлама, разгрузить ее от отягощавших ее призраков, от несуществующих вещей, считавшихся ранее наиреальнейшими. Гегель сам превосходно сознает, что старой философии содержание навязывалось извне. „Мышление этой (т.-е. старой догматической. *А. Д.*) метафизики не было свободно и истинно в объективном смысле. Потому что она не предоставляла предмету развиваться свободно из самого себя, и самому находить свои определения, а брала его как готовый. Что касается до свободы мысли, греческая философия мыслила свободно, а схоластика не свободно, потому что она заимствовала свое содержание извне, как данное ей церковью. Люди нового мира всем своим образованием посвящены в представления, которые очень трудно переступить, потому что они имеют глубокое содержание. Древние философы были люди, ум которых не был занят ничем, кроме предметов, созерцаемых чувствами, кроме неба, расстилавшегося над ними, и земли, их окружавшей, потому что они уже не доверяли мифологическим представлениям. Мысль, при такой обстановке, сосредоточивается в своем собственном элементе, свободна от всякого ей чуждого содержания и находится в своей чистоте у себя самой. И это составляет необходимое условие, чтобы мыслить свободно, чтобы отправиться в плавание, не имея ничего под собою, ни над собою, и оставаясь наедине с собственною мыслью" [1]).

Метафизика заимствовала свое содержание у схоластиков и поэтому она не была свободна и истинна в своем мышлении. Способ исследования предметов, как было уже сказано, определялся содержа-

[1]) Там же, стр. 57—58.

нием. Он состоял в том, что предмету приписывали определенные предикаты или сказуемые. „Таким образом размышляли о предмете внешним образом, потому что находили эти определения (сказуемые) готовыми в сознании и извне переносили на предмет". Стало быть, как предмет, так и его определения одинаково брались как готовые и данные. А между тем, предмет можно узнать в его истине, когда он сам обнаруживает свои определения, а не получает их извне в форме предикатов.

Новая эпоха требовала свободы мысли. Она отвергла старое, данное церковью содержание и способ исследования, при котором предмет получал извне свои сказуемые, был признан заблуждением. Критическая философия, поставившая в центре своего внимания исследование наших познавательных способностей, имела собственно целью отрицание метафизики и обоснование знания на новых началах. Каково же отношение Гегеля к критицизму? „Одно из основных воззрений критической философии,—говорит Гегель,—есть то, что, прежде чем приступать к познанию бога, сущности вещей и т. п., необходимо исследовать, может ли наша способность знания вести к нему, потому что нужно прежде знать инструмент, чем предпринимать труд, который должен быть исполнен с его помощью; если инструмент недостаточен, весь труд будет потрачен даром. Эта мысль показалась так проста, что она возбудила всеобщее удивление и согласие и отвлекла ум от предметов знания, чтобы сосредоточить его на познании самого себя, на познании формальных элементов мысли". Теория познания, заменившая метафизику, сосредоточилась на исследовании и изучении формальных свойств и элементов самой мысли и тем самым отвлекла внимание от предметов знания. С другой стороны, самая постановка вопроса о возможности познания самого себя страдает внутренней противоречивостью. Ибо разум как инструмент знания может быть исследован только в процессе самого знания, в процессе работы, для которой он предназначен. Иначе говоря, мы познаем природу разума в процессе познания. Но самая постановка вопроса требует и предполагает, чтобы мы знали о свойствах наших познавательных способностей прежде, чем приступаем к познанию. „Но хотеть знать, прежде чем приступать к познанию, это так же нелепо, как и умное намерение того схоластика, который хотел выучиться плавать, прежде чем итти в воду" [1]). Основная мысль Гегеля в критике им критицизма и всякой теории познания сводится к тому, что критика мысли, т.-е. исследование ее способностей, должна итти рука об руку с деятельностью мысли. Гегель разрешает проблему познания в свете всемирно-исторической практики человечества. Дуализм субъекта и объекта, познания и предмета преодолевается не посредством созерцания, так-сказать, этих противоположностей, а в результате борьбы субъекта с объектом, взаимного их сопоставления и сравнения в процессе исторической жизни человечества. „Нельзя выучиться плавать, не входя в воду". История человеческого познания дает нам ключ к уразумению и правильному разрешению самой проблемы знания. Разнообразные формы мысли и познания соответствуют различным историческим ступеням в ходе развития жизни во всех ее проявлениях,—в процессе исторического становления человечества. Гегель впервые понял необходимость применения исторического метода к самому процессу знания. Та и другая форма знания является продуктом исторического развития и сама покоится на тех низших формах, из которых она произошла путем их преодоления. Гегель показал, что сознание человечества имеет свою историю, и что история этого сознания человечества совпадает с историей всех других форм жизни, с которыми она составляет одну целостную истину. Вместе с тем, обнаружилось, что противоречие является и принципом познания, что диалектика как метод оправдала себя на истории сознания, которая изображена Гегелем в „Феноменологии духа".

[1]) Там же, стр. 13.

Всякое знание есть знание о предмете. Субъект должен познать противостоящий ему объект. Развитие процесса познания основывается именно на распадении и раздвоении основных моментов и на их воссоединении. Дуализм субъекта и объекта, как и их единство—составляют необходимые моменты в процессе познания. Раздвоение субъекта и объекта, знания и предмета полагается именно с тем, чтобы быть отмененным, и отменяется для того, чтобы снова быть поставленным, как выразился бы Гегель. Стало быть, диалектическое движение познания состоит в том, что мы утверждаем противоположность субъекта и объекта и отменяем ее в высшем единстве, которое снова раздваивается, в силу внутреннего противоречия, существующего между предметом и субъектом и т. д. Только в абсолютном знании понятие и предмет тождественны, т.-е. совпадают. На всех же других ступенях человеческого знания мы достигаем только относительной истины; это следует понимать в том смысле, что всегда обнаруживается расхождение между предметом и нашим понятием о нем. Проблема теории познания сводится к вопросу о том, как возможно соответствие между субъектом и чуждым ему объектом. Удовлетворительный ответ, который заключается в самой постановке вопроса, состоит именно в предположении этого соответствия, ибо без последнего нет вообще никакого знания. Значит, всякое знание предполагает соответствие или совпадение, т.-е. единство субъекта и предмета, между тем как исходный пункт знания предполагает их несоответствие, их расхождение и противоположность. Противоречие же между предметом и понятием составляет внутренний движущий момент знания. Предмет и мышление сначала суть обособленные и чуждые друг другу вещи. Теория познания поставила себе задачей объяснить, как вещь становится пред-

метом мышления и как мышление овладевает предметом. Мышление относится к предмету двояким образом: с одной стороны оно должно быть чем-то отличным от предмета, но с другой стороны оно должно быть связано и соотноситься с объектом. Знание или истину составляет отношение мышления к объекту, сознания к бытию. Или, иначе говоря, истина есть единство связи мышления и предмета, субъекта и объекта, их соответствие и совпадение. Для любителей „триад" можно нарисовать следующую схему всякого знания: предмет, сознание и познаваемый предмет. Предмет противостоит мышлению; они сначала обособлены и отличны друг от друга. Познаваемый предмет, т.-е. предмет, которым овладевает мышление, есть синтез или собственно то, что называют знанием, ибо „знание есть предмет, как он представляется или является в сознании". „Но предмету, как таковому, принадлежит также отличное от сознания, ему самому присущее бытие, бытие в себе. Поэтому, что касается предмета, нужно отличать следующие два момента: его отнесенность (к сознанию) и его отличное бытие (от сознания); и так как предмет и сознание суть две разные вещи, то отнесенность предмета или бытие его для сознания может быть также названо его „бытием для другого". Поэтому две стороны или два момента, которые надо отличать в предмете, суть его „бытие для другого" и его „в себе бытие" [1]).

Таким образом „сознание есть, с одной стороны, сознание предмета, а с другой—сознание себя самого, т.-е. сознание того, что для него является истинным, и сознание его знания об этом". Само сознание, для которого они оба существуют, есть их сравнение, которое осознает, соответствует ли знание о предмете предмету или нет. „Предмет, правда, для сознания, повидимому, существует только в таком виде, в каком оно его знает; кажется, что оно как бы не может проникнуть дальше, не может узнать, как предмет существует не для сознания, а в себе, и таким образом как будто невозможно проверить знание о нем на нем самом. Однако именно в том, что сознание знает вообще о предмете, уже заключается различение, согласно которому нечто есть для него сущее в себе, а другой момент есть знание или бытие предмета для сознания. На этом различении и покоится испытание. Если в этом сравнении оба момента не соответствуют друг другу, сознание, повидимому, необходимо должно изменить свое знание, чтобы сделать его соответственным предмету; но при изменении знания для сознания в действительности изменяется и самый предмет, так как наличное знание по существу было знанием предмета; вместе со знанием и он также становится другим, так как он по существу принадлежал этому знанию. Следовательно, то, что прежде для сознания было сущим в себе, теперь для него не существует в себе, другими словами, оно только для него было

[1]) Куно Фишер, Гегель. 1-ый полутом, стр. 306 русск. пер.

сущим в себе" [1]). Сознание проводит различие между предметом, как он существует в сознании, т.-е. как он является ему и как он существует независимо от него, т.-е. сам по себе. Но предмет, как он существует сам по себе, вовсе не отделен от явления предмета в сознании, т.-е. от того, как он существует для сознания, непроходимою пропастью. Ибо если бы это было так, то никакое познание не было бы возможно. Но факт постоянно развивающегося знания опровергает такую ложную постановку вопроса. Знание есть процесс, оно имеет свою историю. И история знания, его постепенного развития свидетельствует о том, что скептицизм в деле познания ни на чем не основан. Развитие знания совершается в силу того противоречия, которое устанавливается между предметом и его понятием, между предметом как он существует в себе и для нас. На этом противоречии основывается переход от одной ступени знания к другой. То, что прежде было предметом в себе, становится на следующей ступени предметом для нас. „Сущность" предмета и явление его не отделены друг от друга абсолютно; это граница относительная. Поэтому сущность, т.-е. предмет, как он существует сам по себе, раскрывает постепенно свои определения или свойства и становится предметом для нас. Предмет таким образом не входит в сферу сознания, будучи независимым от последнего. Но уже тем самым, что сознание отличает предмет в себе от его явления, оно имеет представление об этом предмете и, стало быть, он существует уже и как явление, т.-е. как предмет для нас. Предмет существует одновременно и как „вещь в себе", и как явление. „В истории новейшей философии,—говорит Гегель,—Кант восстановил различие между обыденным и философским сознанием... Но Кант остановился на полпути, потому что он давал явлению субъективное значение и противополагал ему отвлеченную сущность предметов, или вещь как она есть сама в себе. Он признавал, что эта последняя ускользает от нашей мысли. Но весь действительный мир, как он представляется непосредственно, есть явление в самом себе, и, сознавая это, мы в то же время сознаем его сущность, потому что она не остается позади или по ту сторону явления, но обнаруживается как сущность в том самом, что низводит непосредственный мир на степень явления.

Здравый смысл, в своем стремлении к целости, естественно не мог удовлетвориться субъективным идеализмом Канта, который учил, что нашему уму доступны одни явления" [2]).

Впрочем, к этому вопросу мы вернемся в другой связи. Здесь необходимо только подчеркнуть ту мысль Гегеля, что то, что называют сущностью или вещью в себе, также существует и для сознания и, стало быть, есть одновременно и явление. Сознанию одинаково доступен предмет и его явление. И деятельность его состоит в сра-

[1]) Hegel. Phänomenologie des Geistes, введение, русск. пер., стр. 41.
[2]) Гегель. Энциклопедия, § 131, пер. Чижова, стр. 233.

внении понятия о предмете с самим предметом. Если сознание убеждается в том, что знание не соответствует предмету, то сам предмет, как выражается Гегель, теряет устойчивость. Предмет собственно формирует сознание. Правда, этот вывод непосредственно не следует из гегелевских соображений; но тем не менее он напрашивается сам собой. Переход сознания на новую ступень ведь определяется именно тем, что вскрывается несоответствие понятия предмету, который присутствует в сознании и является масштабом для него. Из несоответствия понятия предмету рождается новая точка зрения. Перемена точки зрения сознания определяется, стало быть, обнаруженным противоречием между предметом и понятием. Но определяющим моментом является предмет, поскольку он кладется в основание в качестве масштаба и „нормы" для сравнения. Но само собою разумеется, что с изменением точки зрения знания изменяется также и предмет, т.-е. сознанию представляется тот же предмет в новом свете. Конкретнее это значит, что предмет обнаруживает новые свойства, и тем самым он становится для нас другим. Наши прежние представления о предмете оказываются или недостаточными, или ложными. „Это диалектическое движение, совершаемое сознанием в себе самом, как в своем знании, так и в своем предмете, представляет собою, поскольку для него отсюда возникает новый истинный предмет, собственно опыт в обычном его понимании. В этом отношении в только что упомянутом движении нужно еще выпуклее выдвинуть момент, благодаря которому проливается новый свет на научную сторону последующего изложения. Сознание знает нечто; этот предмет есть сущность или сущее в себе (das Ansich); но он также и для сознания является сущим в себе (das Ansich); благодаря этому выступает двойственность этого истинного. Мы видим, что сознание имеет теперь два предмета, один — первое сущее в себе, другое—бытие для него этого сущего в себе. Последний, повидимому, является только рефлексией сознания в себе, представлением их предмета, а только знания о первом сущем в себе. Однако, как указано прежде, изменяется при этом первый предмет; он перестает быть сущим в себе и становится для сознания таким предметом, который только для него представляет собою сущее в себе, но тогда это, т.-е. бытие для сознания этого сущего в себе, является, следовательно, истинным, т.-е. оно есть сущность или его предмет. Этот новый предмет вскрывает ничтожество первого, он есть опыт, сделанный над ним" [1]). Если освободить высказанную здесь Гегелем мысль от его специфической терминологии и облечь ее в понятную и более простую форму, то мы убедимся в чрезвычайной важности и глубине высказанных суждений. Противоположность между предметом и понятием, объектом и сознанием разрешается по Гегелю в процессе человеческого знания. В „Феноменологии духа",

[1]) Hegel, Phänomenologie des Geistes. 1832 г., стр. 70; ср. русск. перев., стр. 41.

которая является введением в систему Гегеля, эта противоположность должна быть преодолена, ибо чистое мышление, с которым имеет дело Логика, базируется уже на тождестве субъекта и объекта. В логике нет противоположности между бытием и мышлением; здесь мы имеем их конкретное единство. Но это их единство или тождество—позже мы увидим, что тождество бытия и мышления у Гегеля следует понимать не в обычном формальном смысле—есть результат развития сознания, история которого изображена в „Феноменологии духа". И тут мы сразу сталкиваемся уже с тем внутренним противоречием в системе Гегеля, которое вскрыто было так называемыми левыми гегелианцами, в частности Ф. Энгельсом. Диалектический метод, как мы видели, совершенно правильно требует и предполагает, что знание само есть процесс, в котором противоположность между предметом и сознанием временно отменяется путем достижения относительного их совпадения или соответствия, которое, однако, снова нарушается вследствие прогрессирующего знания. Очевидно, что на этом пути не может быть достигнут такой пункт, который обозначал бы окончательную остановку, т.-е. абсолютное тождество субъекта и объекта. Никто лучше Гегеля не изобразил этого процесса движения и развития знания. А между тем он, вопреки своему методу, требовал абсолютного знания. Это между прочим.

Каждый новый шаг в развитии знания означает переход к более конкретному и обогащенному содержанию. Новая форма сознания возникает в результате опыта, который приводит сознание к признанию предыдущей формы сознания снятой. Форма сознания определяется его содержанием, содержание же определяется предметом, который формирует сознание. В этой связи для нас не имеет значения то обстоятельство, что для Гегеля и предмет есть не что иное, как понятие. Важно лишь подчеркнуть, что в сущности и для Гегеля предмет определяет сознание. Сознание изменяется в результате изменения предмета. Но и предмет изменяется с изменением сознания, т.-е. предмет для нас представляется другим, когда сознание становится другим. Это движение и постоянная смена форм сознания означает, что субъект не представляет собою готовую форму, в которой отливается объект, а есть историческая категория. На каждой ступени исторического развития существует определенный субъект, определенная форма сознания, которая порождена всем ходом предыдущего движения и развития.

То же самое относится и к объекту, так как соотношения мировых явлений неисчерпаемы, и мир находится в состоянии непрерывного изменения.

Разумеется, у Гегеля этот процесс представлен еще в абстрактной форме. Дальнейшее углубление и действительное научное обоснование этой огромной важности идеи мы находим у Маркса, для которого субъект, формы сознания, строй мыслей представляют собою исторические продукты, формируемые обще-

ственным бытием, т.-е. развитием и изменением материальных условий жизни. Но огромная заслуга Гегеля заключается в том, что он, в отличие от всех своих предшественников, субъект расплавил в историческом котле, что он его сделал „текучим" и изменчивым, что теорию познания он стремился обосновать на истории познания. При этом необходимо тут же указать, что результат сам по себе не есть действительное целое, как выражается Гегель, а является вместе с процессом его возникновения. Словом, движение и цель или результат не существуют раздельно, а только вместе составляют истину. „Цель для себя есть безжизненное всеобщее, как тенденция есть простое стремление, лишенное еще своей действительности, а чистый результат есть труп, оставивший тенденцию позади себя". Гегель хочет сказать, что путь развития столь важен, как и результат его, что без первого нет и второго. Это одинаково правильно и в отношении развития знания. „Почка пропадает при распускании цветка, и можно сказать, что она вытесняется этим последним; точно также через появление плода цветок оказывается ложным бытием растения, и вместо него плод выступает как истина растения. Эти формы не только различаются, но вытесняются как непримиримые друг с другом. Но преходящая природа делает их, вместе с тем, моментами органического единства, в котором они не только не противостоят друг другу, но один столь же необходим, как и другой; и эта равная для всех необходимость образует жизнь целого" [1]).

Процесс знания предполагает, что отдельные его фазы составляют хотя и преходящие, но вместе с тем необходимые моменты целого. Смена одной формы сознания другой не означает просто отрицание предшествующих форм, а их снятие, или переход их друг в друга, при чем отпадает только ложное или неистинное представление о предмете, но сохраняется то, что ему соответствовало, что было в нем истинного. При возникновении новой формы сознания отрицание составляет переход, благодаря которому осуществляется развитие. Смена формы сознания, как было уже сказано, определяется превращением и движением предмета, который принимает различные формы, что и составляет постепенное его раскрытие. Результат, получающийся при этих превращениях в неистинном знании, не может превратиться в пустое ничто, а необходимо содержит в себе то, что предшествующее знание имеет в нем истинного. „Этот процесс представляется в таком виде: то, что сначала казалось сознанию предметом, низводится для сознания на степень знания о предмете и сущее в себе (das Ansich) становится бытием для сознания этого последнего, при чем это последнее составляет новый предмет и вместе с тем, является новая форма сознания, для которой роль сущности играет нечто иное, чем для предшествующей формы сознания; именно, благодаря этому обстоятельству возникает последовательный ряд форм в их необходимости. Только сама эта необходимость или возникновение нового предмета, представляющегося сознанию без его ведома о том, как это в нем происходит, совершается для нас как будто позади сознания, за его спиною" [1]).

[1]) Гегель, Феноменология духа, русск. пер., стр. 2.

Мышление успокаивается только на принципе тождества субъекта и объекта, на так называемом абсолютном знании. Противоречие между Гегелевской системой и его методом и сводится к противоречию между абсолютным или окончательным совпадением предмета и понятия, т.-е. объекта и субъекта, с одной стороны, и относительным их тождеством или соответствием, которое мы имеем на всех прочих ступенях знания. Недаром Энгельс писал, что Гегелевская система была „колоссальным недоноском". „Она страдала, сверх того, неразрешимым внутренним противоречием: с одной стороны, основной предпосылкой системы является историческое воззрение, признающее человеческую историю развивающимся процессом, который, по самой своей природе, не может завершиться в интеллектуальной сфере открытием, так-называемой, абсолютной истины, но с другой стороны—сама система претендует, что в ней содержится это истина. Всеобъемлющая, раз-на-всегда установленная, система познания природы и истории противоречит основным законам диалектического мышления, хотя она отнюдь не исключает, но, напротив того, подразумевает, что систематическое познание всего внешнего мира может делать гигантские шаги от поколения к поколению" [2]). Система имеет дело с совокупностью законченных, абсолютных истин, между тем как диалектический метод по самому существу предполагает невозможность такой системы. Мы показали, что противоречие между каждой достигнутой ступенью познания и следующей высшей ступенью вытекает из исторического характера самого знания, представляющегося „развивающимся процессом". Гегель в основу своей критики познания и исследования низших ступеней знания положил историческое или диалектическое воззрение, по которому субъект и объект, предмет и знание о предмете достигают относительного примирения лишь для того, чтобы снова обнаружить взаимное расхождение и „вражду". Но уже с самого начала для Гегеля руководящим принципом является абсолютное знание, т.-е. то, что называют тождеством (правда, не покоющимся) субъекта и объекта, их абсолютное взаимное проникновение и совпадение. Таким образом историческое возрение применимо лишь к низшим формам знания, между тем как на ступени абсолютного знания, где система познания составляет совокупность завершенных и раз-на-всегда установленных истин, диалектический метод как-будто и вовсе не применим. У Гегеля рассмотрение и исследование низших, стало быть, исторических форм

[1]) Hegel, Phänomenoloie des Geistes, 1832 г., стр. 71—72.

[2]) Fr. Engels, Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft, 4 Aufl., 1901, стр. 10; ср. русск. пер., изд. 1918 г., стр. 22—23.

сознания совершается с точки зрения абсолютного сознания, которая является масштабом для первых. Таким образом история обрывается на абсолютном знании Гегеля. И если Маркс и Энгельс, заимствуя у Гегеля основы его метода, отбросили его систему, то можно сказать, что они оказались лучшими и более последовательными гегельянцами, чем сам Гегель. Теория познания, как это еще будет выяснено в другой связи, поглощается методологией. Критика способностей разума растворяется в историю их, ибо истинное их значение содержится в их развитии и в том, что они составляют результат этого развития. Субъект и объект являются историческими категориями, а не метафизическими сущностями,—вот исходная точка Маркса, примыкающего непосредственно в этом отношении к Гегелю-диалектику. Для правильного понимания марксизма это положение имеет фундаментальное значение. Ни экономическое учение (с его специфическими категориями), ни историческая теория, ни общефилософское мировоззрение Маркса не могут быть правильного поняты без предварительно уяснения себе вопроса об историческом характере субъекта и объекта. При этом надо всегда иметь в виду—и это также имеет огромное принципиальное значение,—что результат развития не существует отдельно от пути развития, т.-е. от всех предшествующих ступеней и форм, которые собственно в своей совокупности и составляют результат. Вот почему понять какой-либо предмет и значит вскрыть его „происхождение", его генезис, дать его историю развития.

Гегель с этой точки зрения впервые подошел к человеческому сознанию, но остановился, в сущности, на полдороге. Он пытается дать историю сознания, но делает это, во-первых, слишком абстрактно, во-вторых, история у него прекращается на ступени так называемого абсолютного знания. Но вместе с тем необходимо подчеркнуть, что Гегель, излагая историю сознания, берет его в связи со всеми конкретными его проявлениями, т.-е. рассматривает историю коллективного сознания (сознания мирового духа) в связи с исторической и общественной жизнью человечества. Формы сознания не существуют независимо от всех форм жизни—экономических, политических, нравственных и пр. Напротив того, они составляют единство, ибо формы сознания, как мы уже знаем, ведь возникают вместе с предметом. А предметом сознания является вся совокупность вещей природных, духовных, исторических и т. д. Данная историческая форма сознания освещает определенным светом всю совокупность явлений. И, наоборот, исторически данная „форма" объекта, бытия определяет характер сознания. Эти метаморфозы и преобразования сознания происходят для последнего непроизвольно, они совершаются „как бы за спиною сознания". Для сознания на каждой данной ступени дано истинное содержание только предшествующей ступени. Только последующая фаза освещает полным светом предыдущую, но не самое себя, так как субъект и объект, т.-е. сознание и предмет, составляют лишь относительное единство; момент различия между ними всегда присутствует, но это различие или противоположность вскрывается лишь на следующей ступени.

Насколько нельзя судить об индивидууме по тому, говорит Маркс, что он о себе думает, настолько же нельзя судить об эпохе по ее сознанию. Сознание никогда адэкватно не отражает эпохи. Оно всегда связано с целым рядом необходимых иллюзий и самообманов, которые могут быть разоблачены только на последующей высшей ступени развития.

А. Деборин.

(*Продолжение следует*).

Г. В. Плеханов.

III. Социализм и политическая борьба.

1.

После двух с половиной лет настойчивой критической работы Плеханов, наконец, летом 1883 года взялся подвести итог своим теоретическим исканиям и опыту, с одной стороны, а с другой—приложить научный социализм к решению насущных проблем российского движения.

„Социализм и политическая борьба“ и была такой попыткой: она была написана для первого номера „Вестника Народн. Воли“. Но по причинам, о которых я говорил уже, статья не вошла в „Вестник“ и была по решению группы „Осв. Труда“ издана особой брошюрой, примерно в конце сентября того же года.

Брошюра положила начало литературной пропаганде группы „Осв. Труда“ и была посвящена критике существовавшей тогда среди русских революционеров теоретической путаницы.

Время выступления группы „Осв. Труда“ было избрано чрезвычайно подходящее: именно в начале 80 годов совершенно явственно обнаружилось, что дальнейшая судьба революционного движения в России много зависит от того, как будут решены основные вопросы тактики, правильное разрешение которых настойчиво требовало пересмотра принципов тактики и программы революционной партии.

„Социализм и политическая борьба“ и через год вслед за тем последовавшая книга „Наши разногласия“ были посвящены решению этих назревших вопросов революционного движения.

Прежде, чем перейти к рассмотрению вопроса о том, как и насколько удачно была решена проблема группой „Осв. Труда“, в двух словах напомним читателям, как отнесся официально представлявший тогда революционное движение России орган Исп. Ком. Нар. Воли—„Вестник“ к этой чрезвычайно яркой и сильной критике.

Когда вышла брошюра „Социализм и политическая борьба“, П. Л. Лавров в № 2 „Вестника“ посвятил ей библиографическую заметку, критическую часть которой мы приведем здесь почти полностью, ввиду ее чрезвычайного интереса.

„Брошюра Г. В. Плеханова заключает в себе две составные части, к которым, по моему мнению, нам приходится отнестись различно. Значительная доля ее посвящена полемике против прежней и настоящей деятельности „Народной Воли“, заграничным органом которой имеет в виду быть наш журнал. Не особенно трудно было бы доказать г. Плеханову, что его нападения могут быть встречены

весьма вескими возражениями (тем более, что,—может быть, вследствие поспешности,—он цитирует неточно), а его собственная программа действия заключает в себе, может быть, гораздо большие недостатки и непрактичности, чем те, в которых он обвиняет партию „Народной Воли“. Но орган партии „Народной Воли“ посвящен борьбе против политических и социальных врагов русского народа; эта борьба так сложна, что требует от нас всего нашего времени и всех наших трудов. Нам, по моему мнению, нет ни досуга, ни охоты посвящать долю нашего издания на полемику против фракций русского революционного социализма, считающих, что для них полемика с „Народной Волей“ более современна, чем борьба с русским правительством и с другими эксплоататорами русского народа. Мы надеемся, что само время окончит в нашу пользу эти споры. Разъяснять пункты программы „Народной Воли“ для всех—наша обязанность, и мы будем исполнять ее, устраняя в том числе и те недоразумения, которые вызвали полемику „Освободителей Труда“, но я не считаю полезным для нас, как русских социалистов-революционеров, подчеркивать это не особенно значительное разногласие новыми ударами, направленными на фракцию, большинство членов которой может быть не сегодня завтра в рядах „Народной Воли“. Сам г. Плеханов, как он указал в предисловии к своей брошюре, совершил уже достаточно значительную эволюцию в своих политико-социальных убеждениях, чтобы мы имели основание надеяться с его стороны на новые шаги в этом же направлении. Тогда, может быть, он сознает и еще одну сторону практической задачи всякой группы общественной армии, действующей против общего, еще опасного врага: именно, что расстраивать организацию этой армии,—даже если в ней видишь или предполагаешь некоторые недостатки,—дозволительно только или врагам дела этой армии, к которым г. Плеханова я, конечно, не причисляю, или группе, которая сама своей деятельностью, своей силой и своей организацией способна стать общественной армией в данную историческую минуту. Для „Освободителей Труда“ эта роль еще находится, повидимому, в далеком,—да, пожалуй, и несколько сомнительном,—будущем“.

Читатель видит, что Плеханов в своем письме к Лаврову, помещенном в качестве предисловия к „Нашим разногласиям“, перепевает почти дословно рецензию.

Надежда на то, что время решит спор между ними в пользу Лаврова, оказалась тщетной, народовольцы оказались жестоко обмануты судьбой и совсем напрасно Лавров так великодушно отказывается уделить место на страницах своего журнала спору с новым направлением революционного социализма. Очень скоро выяснилось, что критика этого нового направления била не в бровь, а в глаз народовольчеству.

Еще более способно поражать современного читателя то самое правило, которое преподает Лавров Плеханову,—„что расстраивать организацию этой армии,—даже если в ней видишь или предполагаешь некоторые недостатки,—дозволительно только или врагам дела этой армии, к которым г. Плеханова я, конечно, не причисляю, или группе, которая сама своей деятельностью, своей силой и своей организацией способна стать общественной армией в данную историческую минуту. Для „Освободителей Труда“ эта роль еще находится, повидимому, в далеком—да, пожалуй, и несколько сомнительном,—будущем. Не хотел бы я, чтобы поняли меня так, будто я нахожу это правило неверным, наоборот, оно очень верно,—но тем хуже для Лаврова, который не видел в новой группе потенциально

заложенную „общественную армию". Совсем не так долго пришлось ждать П. Л. Лаврову, чтобы убедиться в том, что для „Освободителей Труда" эта роль была очень недалекой перспективой. Направляя это правило против „освободителей", Лавров не видел, что одно дело—судьба самой группы, которая могла в любое время распасться от случайных причин, и другое дело судьба воззрений ее, которая имела тем больше оснований ждать себе победного будущего, что она имела огромный опыт Запада перед собой.

Отвечая Лаврову, Плеханов пишет: „Ни для кого не тайна, что наше революционное движение находится теперь в критическом положении. Террористическая тактика „Народной Воли" поставила перед нашей (!—*В. В.*) партией целый ряд в высшей степени жизненных и важных вопросов. Но, к сожалению, они до сих пор остаются неразрешенными. Находившийся у нас в обращении запас бакунистских и прудонистских теорий оказался недостаточным даже для правильной постановки этих вопросов". Не помогла делу и „Народная Воля", в программе которой все исходные точки остались неизменны, „и только практические выводы оказались диаметрально-противоположными прежним. Отрекшись от политического воздержания, бакунизм описал дугу в 180 градусов и возродился в виде русской разновидности бланкизма, основывающей свои революционные надежды на экономической отсталости России. Этот бланкизм пытается теперь создать свою особую теорию, и в последнее время нашел довольно полное выражение в статье г. Тихомирова „Чего нам ждать от революции?". В этой статье употреблен в дело весь арсенал, каким только располагают русские бланкисты для защиты своей программы. Г. Тихомирову нельзя отказать в умении владеть оружием: он ловко группирует говорящие в его пользу факты, осторожно обходит явления противоположного характера и не без успеха апеллирует к чувствам читателя там, где не надеется подействовать на его логику. Оружие его подновлено, подчищено, подточено. Но присмотритесь к нему внимательнее, и вы увидите, что оружие это есть не что иное, как старомодная шпага бакунизма, ткачевизма, украшенная новым клеймом: реакционных теорий мастер В. В. в Петербурге" [1]).

Непосредственно этой статьей Л. Тихомирова и была вызвана книга „Наши разногласия"; но в ней он систематически и последовательно подверг суровому разбору все мировоззрение, все экономические и политические доктрины, заблуждения и противоречия народовольчества, научно обосновал те выводы, к которым он пришел за год до того в своей знаменитой брошюре, подводя таким образом итог совершенно ясно наметившимся „нашим разногласиям".

Заметка, которую посвятил Л. Т(ихомиров) этой книжке, великолепна своей лаконичностью. Вот она полностью: „Объемистая книжка Г. Плеханова (346 страниц), составляющая третий выпуск „Библиотеки современного социализма", посвящена, главным образом, нападкам на „Вестник Нар. Воли", его редакторов и сотрудников. Разбирать полемику г. Плеханова и оценивать его приемы литературной борьбы мы не станем: вкратце этого сделать нельзя по самому составу и характеру книжки, говорить же много едва ли стоит, так как тут говорить пришлось бы больше о г-не Плеханове, чем о затрагиваемых им вопросах (курсив мой *В. В.*). При том же мы надеемся, что читателям и самим нетрудно будет разобрать, насколько прав наш порицатель. Наконец, мы вообще приняли за правило: избегать резкой личной полемики и в данном случае не видим необходимости изменить ему. В общей сложности—ограничимся простой отметкой выхода книжки. Что касается вопросов, затрагиваемых г-м Плехановым попутно, их посильная разработка будет составлять и впредь, как составляла до сих пор, предмет наших постоянных стараний" [1]).

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 101—102.

Нетрудно заметить по приведенному отзыву, сколь растерян „вождь" народовольцев. Можно себе представить, сколько листов он изорвал прежде, чем остановился на этой совершенно беспомощной формулировке ответа на критику, которая не щадила. Каждая строчка заметки способна внушить недоумение. Непонятно, почему большой статьи он не посвящает, почему критика воззрения была понята как личная полемика.

И затем, почему это больше пришлось бы говорить „о самом г-не Плеханове"? Всего за год до того, в момент расхождения Плеханова с редакцией „Вестника", тот же Тихомиров расточал похвалы по его адресу и ничего худого сказать не мог о нем даже в частной корреспонденции,—что же он сказал бы публично по поводу книги, в которой меньше всего личного? Разумеется, это просто неприличный прием, которым он хотел прикрыть свою беспомощность и досаду.

Народовольцы так и не собрались дать бой „Освободителям Труда", и ушли со сцены, не ответив надлежащим образом на эти два ярких, острых и достаточно безжалостных критических нападения на них, после которых о народовольческой теории говорили уже не без некоторой иронии.

Займемся ближе теми проблемами, которые были выдвинуты „новым направлением".

Самый жгучий и важный вопрос революционного движения начала восьмидесятых годов — отношение социализма к политической борьбе—сам состоял из ряда проблем, постановку и разрешение коих ниже мы постараемся проследить постепенно в трудах Г. В. Плеханова.

Но пока несколько слов о той сумме идей и представлений, о которой Плеханов пишет в вышеприведенном отрывке Лаврову и против которой и было направлено острие критики не только этих двух блестящих трудов его, но и многих статей на протяжении 80-х и 90-х годов.

2.

Первое поколение русских революционеров—семидесятники—в теоретическом отношении не представляли большой четкости, наоборот, в их сознании мирно уживались часто самые противоположные воззрения: либеральный маниловский социализм с западно-европейским анархизмом, фурьеризм—через петрашевцев, сен-симонизм, прудонизм совершенно свободно укладывались с материализмом Фейербаха (унаследованным от Чернышевского) и с чрезвычайным почитанием Лассаля, чье имя к тому времени приобрело особую популярность и славу; Дюринга и Конта читали так же много и охотно, как некоторое время спустя... Маркса и Энгельса, и почитали не менее.

На фоне этого сплошного эклектизма в России выделялись два крайних направления—лавристы и бакунисты. „Первые склонялись к немецкой социал-демократии, вторые представляли собою русское издание анархической фракции Интернационала" [2]).

Это на самом деле так: анархические симпатии и связи народнической и народовольческой интеллигенции общеизвестны. Обще-

[1]) „Вестн. Нар. Воли" № 5.
[2]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 32.

известны сношения ветеранов эмиграции, вроде Н. Жуковского, с анархическими организациями Швейцарии. Аксельрод рассказывает, что „враждебное отношение анархистов... к социал-демократии, еще усилившееся... после Бернского конгресса, всецело разделялось, конечно, и русской эмиграцией, идейно примыкавшей к анархическому Интернационалу“ [1]). Это настроение достаточно ярко отразилось в „социально-революционном обозрении Община“. „Община“—очень интересное в этом отношении явление. Орган так называемого революционного народничества, она соединяла на своих страницах чайковцев и бакунистов и выходила в тот переходный момент, когда „Земля и Воля“ готова была расколоться на две половины. Первый номер ее вышел незадолго до выстрела В. Засулич. Статья программа представляет собой подлинный манифест анархизма,—обстоятельство, которое ими отнюдь не скрывалось: „Удовлетворительное решение (социально-революционной) задачи может быть осуществлено лишь свободным союзом автономных общин, гарантирующим полную свободу лица в группе и группы (общины) в союзе равноправных групп (общин). Мы смотрим на вольную федерацию общин, как на первый шаг, с которого должна начаться новая фаза общественного развития“. И, на самом деле, от всей программы веет бакунизмом самого ортодоксального толка; редакция не только этого не скрывает,—она прямо заявляет: „Мы считаем себя последователями федералистического Интернационала и распространителями его идей на русском языке“. Но и значительно позже влияние анархизма было велико. Читатель, вероятно, припоминает отношение „Черного Передела“ к столкновению И. Моста с социал-демократией.

Маркс относился очень неодобрительно к „Черному Переделу“ за его излишнее пристрастие к анархизму, но ведь и противник „Черного Передела“—„Нар. Воля“, к которой Маркс относится с такой симпатией, придерживалась ярко анархических взглядов, хотя и признавала политическую борьбу.

Да это было очень понятно. Как террористы, так и народники вышли из одной и той же анархической фракции, как те, так и другие принципиально стояли на почве анархической теории, и после того как „эмпирически, под влиянием преследований правительства“ (как говорит корреспондент „Нар. Воли“ о Хурском конгрессе), „Народная Воля“ перешла к террору, „доктрина“ осталась та же самая.

Какова же эта доктрина?

„С анархической точки зрения политический вопрос является пробным камнем всякой рабочей программы. Анархисты не только отрицают всякие сделки с современным государством, но и исключают из своих представлений о „будущем обществе“ все, что напоминает так или иначе государственную идею. „Автономная личность в автономной общине“,—таков был и есть девиз всех последовательных сторонников этого направления“ [2]). На самом деле, если мы попытаемся бегло в нескольких словах припомнить главные пункты учения анархистов, которое легло в основу догмы народничества, то убедимся в полной правоте приведенного утверждения Плеханова. Анархист отрицает государство, и не какую-либо конкретную форму его, а государство, как таковое. Ему совершенно недоступно, поэтому, понимание необходимости борьбы за такой политический строй, который всего лучше и более способствовал бы развитию классового самосознания пролетарского класса и способствовал бы благоприятному исходу его борьбы за свое освобождение.

[1]) П. Б. Аксельрод, „Пережитое и передуманное“, стр. 182.
[2]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 32.

А что такое политическая борьба, как не борьба за определенный политический строй. Понятно, почему анархисты должны были отрицать политику и борьбу за политические свободы.

Анархизм, по самому существу своему, отрицал политическую борьбу, и надлежало быть исключительно непоследовательным человеком, чтобы из анархизма (любой его школы) притти к признанию политической борьбы.

Неповинен в этом ни один из последовательных анархистов, неповинен и Бакунин.

Так же, как и его учителя, Бакунин не признавал государства, считал необходимым условием освобождения человечества уничтожение государства, немедленное его разрушение и тем самым, конечно, считал политическую борьбу „политиканством“, развращающим народ и яснее, категоричнее и смелее, чем его учителя, отвергал ее.

Но остановимся несколько подробнее на учении Бакунина, ибо его влияние на русское движение было исключительно велико.

3.

Бакунин не мог мириться с коммунизмом не менее, чем с государством. Если для „полнейшей свободы всех“ необходимо разрушение государства, чиновников и церкви, то тем более необходимо бороться против тех, кто желает вместо современного классового государства создать коммунизм. Вспомнить только его страстную филиппику против коммунизма в его ответе на речь Шарэ на конгрессе „Лиги мира и свободы“.

В противовес злостным „коммунистам“, Бакунин отвергал всякую политическую деятельность рабочего класса, при чем он это делает, в некотором смысле, интересно, а именно пытается вывести свою анархическую доктрину из положений Маркса. Политическое, моральное рабство рабочего класса обусловлено его экономическим рабством, поэтому,—говорит Маркс в уставе Международного Товарищества Рабочих,—экономическое освобождение рабочего класса—та великая цель, которой должно быть подчинено политическое движение, как средство, а Бакунин на этом основании делает иной вывод, а именно: „всякое политическое движение, которое не имеет своей целью непосредственное, прямое, бесповоротное и полное экономическое освобождение рабочих, и которое не начертало на своем знамени различным, но совершенно ясным образом принцип экономического равенства, или, что то же самое, принцип полного возвращения капитала труду, т.-е. просто социальной ликвидации,—всякое подобное политическое движение должно быть исключено из интернациональных движений“. Итак, ближайшая задача—полная и всесторонняя „социальная ликвидация“, а не политические права, депутатские полномочия, которые лишь развращают рабочих, обуржуазивают их, делая их прислужниками капитала. „На пангерманском знамени написано: удержание и усиление государства во что бы то ни стало. На социально-революционном же, на нашем знамени, напротив, огненными, кровавыми буквами начертано: разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов,— организация разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира“. Хотя это сказано несколько грозно и

невнятно, но читатель видит программу Бакунина в вопросе о политической борьбе, и нам вряд ли необходимо сделать к ней какие-либо разъяснения.

Но уничтожение всех государств, разрушение буржуазной цивилизации и т. д. относятся, ведь, к Западной Европе, где первобытно-коммунистический народный быт разложен капитализмом.

А в новой для Европы стране, в России, дело обстоит иначе. Бакунин был один из основоположников того учения, которое утверждало, что именно в России еще сохранилась потенция „социальной ликвидации", которую душит государство и которую нужно высвободить из его лап. В России еще сохранилась община, которая, не будь государства, несомненно, развернулась бы в подлинно коллективистический строй. Народ сам это прекрасно понимает,—народные бунты есть не что иное, как протест отчаяния, глубокий и страстный протест против чуждого общине внешней силы—государства. И если народ не может победить, то потому, что он разрознен, общины замкнуты, не чувствуют надобности в связи, поэтому и бунты получаются спорадические. Насущное дело революционной молодежи итти в народ, и установить всеми возможными средствами живую бунтарскую связь между разъединенными общинами. Задача для революционеров была ясная и определенная—„объединить народные протесты, придать им стройный организованный вид". И в течение семидесятых годов наши революционеры пытались разрешить ее всеми силами. „Хождение в народ" было ответом революционной молодежи на страстный призыв Бакунина.

Но, как и следовало быть, объективное развитие страны протекало во все ускоряющемся темпе не взирая ни на какие социологические построения утопистов, противоречие между политической формой, всеми „имущественными отношениями" и „материальными производительными силами общества" приняли совершенно ясные очертания; совершенно естественно, что и деятельность бакунизма становится полезной лишь постольку, поскольку помогал разрешению этого противоречия.

Воодушевленный анархическими идеалами Бакунина, бунтарь шел в народ „с тем, чтобы поднимать его против всякого вообще государства во имя свободной федерации свободных общин. Но на деле выходило, что агитация, поскольку она возможна была в деревне, сводилась к протесту против нынешнего полицейско-сословного государства. Проклинавший „политику" бунтарь не деле оказывался, прежде всего, политическим агитатором, хотя в деревне „народные идеалы" ставили даже и для такой агитации очень тесные пределы: в большинстве случаев крестьяне упорно связывали с верой в царя все свои надежды на лучшее будущее" [1]). Это было, кстати, одно из тех основных противоречий, которое привело к пересмотру бакунистской программы „Земли и Воли". Противоречий в бакунинской системе очень много. „Бакунизм,—справедливо утверждает Плеханов,— не система, это ряд противоречий". В своих недрах это учение таило элементы своего собственного разложения.

Старое бакунистское утверждение, что освобождение народа должно произойти руками самого народа, в результате всенародного бунта, отошло мало-по-малу на задний план, и вопрос о том, продолжать ли революционные,—„бунтарские",—попытки в народе, или, махнув рукой на народ, ограничить революционное дело единоборством интеллигенции с правительством [2]), на

[1]) А. Тун, История революционных движений в России, стр. 270.
[2]) Там же, стр. 271.

воронежском съезде был, как известно, решен в пользу новых методов борьбы.

На смену ортодоксального бакунизма „Земли и Воли" пришло новое учение, представлявшее собою смесь якобинства с бакунизмом, конгломерат Бакунина и Ткачева. И если сама по себе смесь социалистических теорий „латинских стран" с русскими крестьянскими „идеалами", народного банка Прудона—с сельской общиной, Фурье—со Стенькой Разиным (как определяет Плеханов бакунизм) не представляла образец стройной теории, то, после того как на русской почве ко всему этому еще присоединился славянофильствующий Герцен и бланкист Ткачев,—получилась исключительно противоречивая „самобытная" теория,—та самая, что господствовала над умами революционной молодежи к моменту выступления Плеханова.

В этой „самобытной" доктрине более или менее свежим является бланкизм Ткачева.

4.

Отношение Ткачева к политической борьбе определяется его отношением к государству. В противовес Бакунину, он придавал исключительно большое значение государству.

Бакунисты не хуже других знали, какую грандиозную силу представляло собою государство, но в то время, как они требовали уничтожения государства и тем самым устранения той посторонней силы, которая мешала естественному развитию общества и его устроению, Ткачев считал роль государства для социального переустройства огромной и проповедывал необходимость захвата его для осуществления революционных задач: „Для нас, революционеров, не желающих более сносить несчастий народа, не могущих долее терпеть своего позорного рабского состояния, для нас, не затуманенных метафизическими бреднями и глубоко убежденных, что русская революция, как и всякая другая революция, не может обойтись без вешания и расстрела жандармов, прокуроров, министров, купцов, попов,—словом, не может обойтись без „насильственного переворота",—для нас, материалистов-революционеров, весь вопрос сводится к приобретению силы власти, которая теперь направлена против нас". „Нужно захватить власть и превратить консервативное государство в государство революционное".

Когда же это надлежит сделать? Какие требуются условия для успешного захвата власти?

Самое подходящее время именно семидесятые годы, пока государство в России еще недостаточно окрепло, пока „огонь экономического прогресса" не подточил окончательно основы народной жизни. Развитие буржуазных отношений каждым своим успешным шагом прибавляет новых врагов к числу имеющихся,—нужно спешить с захватом власти. „Теперь или очень не скоро, быть может, никогда!" Могут возразить ткачевцу, что где народные массы не готовы к тому: но такой аргумент может лишь вызвать протест.

Народные массы никогда не могли и не смогут осуществить сами в жизни идеи сознательной революции. „Великую задачу нашей революции могут осуществить только люди, понимающие ее и искренне стремящиеся к ее разрешению, т.-е. люди умственно и нравственно развитые, т.-е. меньшинство". Но единственно доступное меньшинству средство борьбы—это заговор, а не централистическая революционная деятельность, ставящая себе непосредственные задачи, вроде бакунистской организации бунтов.

Такая теория на первый взгляд может показаться ярко антибакунистской. Однако во многом, если не во всем, Ткачев исходил из идей Бакунина. На самом деле его боязнь развития капитализма была основана на мысли о существовании в русском народе элементов социализма. „У нас нет городского пролетариата,— это, конечно, верно; но зато у нас совсем нет буржуазии. Между страдающим народом и угнетающим его деспотизмом государства у нас нет никакого среднего сословия; наши рабочие должны будут бороться лишь с политической силой,—сила капитала находится у нас еще в зародыше"... „Наш народ невежествен,—это также факт. Но зато он в огромном большинстве случаев проникнут принципами общинного владения; он, если можно так выразиться, коммунист по инстинкту, по традиции"... „Отсюда ясно, что, несмотря на свое невежество, народ наш стоит гораздо ближе к социализму, чем народы Запада, хотя они и образованнее его". От этого рассуждения Ткачева на версту несет настоящим бакунизмом. Или мысль, например, подобно следующей: „Наш народ привык к рабству и повиновению,—этого также нельзя оспаривать. Но вы не должны заключать отсюда (пишет он Энгельсу), что он доволен своим положением. Он протестует, непрерывно протестует против него. В какой бы форме ни проявлялись эти протесты, в форме ли религиозных сект, называемых расколом, в отказе ли от уплаты податей, или в форме восстаний и открытого сопротивления власти, — во всяком случае, он протестует, и по временам очень энергично". Да, это почти дословное повторение мысли Бакунина о том, что „русский народ может похвастаться чрезмерной нищетой, а также рабством примерным".

„Страданиям его нет числа,— писал Бакунин,— и переносит он их нетерпеливо, а с глубоким и страстным отчаянием, выразившемся уже два раза исторически, двумя страшными взрывами, бунтов Стеньки Разина и пугачевским бунтом, и не перестающим новые проявляться в беспрерывном ряде частных крестьянских бунтов".

Много черт, отличающих Бакунина от его смелого и последовательного „ученика", и прежде всего, конечно, то, что в Бакунине еще осталось нечто от Гегеля, в то время, как Ткачев чрезвычайно упрощен и мыслит прямолинейно и дубовато. Он не признает никакой диалектики, и раз усвоенную мысль он развивает последовательно до конца, т.-е. до абсурда.

Кроме этого, их отличает и нечто другое; как я сказал, в отличие от Бакунина, Ткачев признавал политическую борьбу и придавал ей огромное значение; оно было обусловлено различным их отношением к государству, хотя, как читатель мог убедиться из приведенных нескольких цитат, он не смог и не в силах был свести концы с концами—связать политическую борьбу с социализмом. Старое противопоставление политики социализму осталось в полной силе.

5.

Народовольцы, против которых была направлена вся борьба молодого марксизма, представляли собой смесь старого бакунизма с ткачевским якобинством.

В первом же номере „Народной Воли" передовая заявляла: „Нам кажется, что одним из важнейших чисто-практических вопросов настоящего времени является вопрос о государственных отношениях. Анархические тенденции долго отвлекали и до сих пор отвлекают внимание наше от этого важного вопроса" [1]). Для первого раза это заявление было чрезвычайно знаменательное. Отказ от анархизма, разумеется, был большим шагом вперед. Но было ли это действительно отказом? Борьба за народовольчество, которая теперь становится в порядок дня, имеет совершенно определенный смысл: „Правительство объявляет нам войну, хотим мы этого или не хотим,—оно нас будет бить. Мы, конечно, можем не защищаться, но от этого, кажется, никто еще никогда не выигрывал. Наш прямой расчет—перейти в наступление и сбросить с своего пути это докучливое (!—*В. В.*) препятствие".

„...Необходимо обуздать правительственный произвол, уничтожить это нахальное вмешательство в народную жизнь и создать такой государственный строй, при котором деятельность в народе не была бы наполнением бездонных бочек Данаид" [2]).

Очень не трудно заметить, что у народовольцев, действительно, исчезли анархические тенденции, они твердо стали на путь политической борьбы. Возражая ходячим предрассудкам против политической борьбы, передовик „Народн. Воли" пишет: „Мы думаем совершенно наоборот. Именно устранившись от политической деятельности, мы загребаем жар для других, именно, устранившись от политической борьбы, мы подготовляем победу для враждебных народу элементов, потому что при такой системе действий просто дарим им власть, которую обязаны были бы отстоять для народа. Но предрассудки рушатся под давлением фактов, и живая партия действия не может долго оставаться во власти книжной теории" [3]). Совершенно правильно. Книжная теория оказалась вдребезги раскритикованной жизнью, что ни в коей мере не означает, что сама Народная Воля не находится под гипнозом той же самой книжной теории. Наоборот.

Передовая статья № 2 „Народной Воли" представляет собою удивительный образец того, как на народовольцев постепенно начало оказывать сильное влияние настроение Ткачева: „История создала у нас на Руси две главные самостоятельные силы: народ и государственную организацию. Другие социальные группы и поныне у нас имеют самое второстепенное значение"... „Самостоятельное значение нашего государства составляет факт чрезвычайно важный, потому что, сообразуясь с этим, деятельность социально-революционной партии в России должна принять совершенно особый характер" [4]). Какой же именно характер? К чему должна сводиться задача социально-революционной партии? „Ниспровержение существующих ныне государственных форм и подчинение государственной власти народу,—так определяем мы главнейшую задачу социально-революционной партии в настоящее время, задачу, к которой невольно приводят нас современные русские условия" [5]). А условия эти таковы: классовое отношение, соотношение сил отдельных классов и сословий таково, что „для того, чтобы сделать что-нибудь для народа, приходится, прежде всего, освободить его из-под власти этого правительства, сломить самое правительство, отнять у него его господскую власть над мужиком" [6]). Для чего? Какова цель и задача такой по-

[1]) Литература партии Народной Воли, стр. 6. (Я цитирую по изданию 1907 года, легальному, по полному и без цензурных купюр: К-во „Борьба и Право", Москва, цена 2 руб. Тип. А. П. Поплавского.)
[2]) Литература партии Народной Воли, стр. 7.
[3]) Там же, стр. 8.
[4]) Там же, стр. 39, 41.
[5]) Там же, стр. 39.
[6]) Литература партии Народной Воли, стр. 41—42.

литической деятельности? У нее одна задача—„произвести политический переворот в пользу именно его (народа. *В. В.*) Передача государственной власти в руки народа в настоящее время могла бы дать всей нашей истории совершенно новое направление и развитие в духе народного общинно-федеративного мировоззрения“ [1]). От всего изложенного так сильно отдавало якобинством Ткачева, что бакунинское „общинно-федеративное мировоззрение народа“ кажется свежей струей. Но свежести в ней никак не больше, чем в ткачевском якобинизме. Революционное правительство переворота созовет учредительное собрание, которое будет состоять на 90% от крестьян, „и если предположить, что наша партия действует с достаточной ловкостью, от партии“ [2]). Что может дать такое учредительное собрание, состоящее из членов партии Нар. Воли? „В высшей степени вероятно, что оно дало бы нам полный переворот всех наших экономических и государственных отношений; мы знаем, как устраивался наш народ всюду, где был свободен от давления государства; мы знаем принципы, которые развивал в своей жизни народ на Дону, на Яике, на Кубани, на Тереке, в сибирских раскольничьих поселениях, везде, где устраивался свободно, сообразуясь только с собственными наклонностями; мы знаем вечный лозунг народных движений. Право народа на землю, местная автономия, федерация (курсив мой. *В. В.*)—вот постоянные принципы народного мировоззрения. И нет в России такой силы, кроме государства, которая имела бы возможность с успехом становиться поперек дороги этим принципам. Устраните государство, и народ устроится, может быть, лучше, чем мы можем надеяться“ [3]). Такова экономическая программа Народной Воли, таков тот социализм, та „экономическая революция“, которую собиралась осуществить после захвата власти партия Нар. Воли.

И не без последовательности народовольцы делали из этой экономической посылки тот вывод, что „экономическую революцию“ можно сделать именно лишь на протяжении восьмидесятых годов, именно в это переходное время буржуазия составляла незначительную силу. Государство, потеряв веру в дворянство, всемерно благоприятствовало развитию буржуазии, оно, „как самая усердная акушерка, хлопочет о благополучных родах этого уродливого детища народа“ [4]), и не без успеха, прибавляет при этом „Н. В.“ с сокрушением, и, таким образом, политический переворот в очень недалеком времени все равно неизбежно „совершится, но совершится в том смысле, что власть перейдет в руки буржуазии. Наша роль при этом выйдет самая жалкая“... „мы всем своим существованием, всей своей деятельностью, ведением и неведением, подкапывали государство, расшатывали и ослабляли его,—и все это собственно затем, чтобы буржуазия могла легче его одолеть и сесть на его место“ [5]). Этого печального будущего можно избегнуть, лишь проделав „экономическую революцию“, т.-е. захватив политическую власть с целью осуществить исконные идеалы народа. Как нетрудно видеть, желание народовольцев освободиться от анархических лоскутков осталось лишь пожеланием—тень Бакунина преследовала народовольцев безжалостно.

Уже в № 3 „Нар. Воли“ была опубликована программа Исп. Ком. Народной Воли, в которой попутно излагалась идеология партии Нар. Воли почти в тех же словах, что и вышеизложенные статьи.

[1]) Там же, стр. 42.
[2]) Там же, стр. 42.
[3]) Там же, стр. 42.
[4]) Там же, стр. 43.
[5]) Литература партии Нар. Воли, стр. 43.

Программа отличается большей прямотой и смелостью, большей точностью выражений, что ни в коей мере не следует толковать в том смысле, будто в ней меньше противоречий; наоборот, именно вследствие того, что в программе все вещи названы своим именем и даны точные формулировки их, противоречия особенно выпукло сказались; но об этом ниже.

Программа констатирует существование в русской жизни двух противоположных явлений: рабство народа, отсутствие у него прав, его темнота, а с другой стороны—безграничное деспотическое самодержавие, поддерживаемое насилием и произволом. А между тем, в самом народе, по мнению программы, живы еще права „народа на землю, общинное и местное самоуправление, зачатки федеративного устройства, свобода совести и слова“ [1]). Эти принципы получили бы совершенно новое направление, если бы устранить единственное к тому препятствие—гнет государства. Для его устранения программа ставит своей ближайшей задачей произвести политический переворот и передать власть учредительному собранию, где Исп. Ком. и оставляет свое право защитить перед народными представителями свои демократические требования. Самое интересное в программе—ближайшие мероприятия и намерения партии; они сводятся к агитации и пропаганде, террору, организации тайных централизованных обществ, „приобретению влиятельного положения и связей в администрации, войске, обществе и народе“ [2]), и, наконец, организации и совершению переворота.

Самое интересное, разумеется, то, как Исп. Комитет собирается организовать переворот: „Ввиду придавленности народа, ввиду того, что правительство частными усмирениями может очень надолго сдерживать общее революционное движение, партия должна взять на себя почин самого переворота, а не дожидаться того момента, когда народ будет в состоянии обойтись без нее. Что касается способов совершения переворота“... и далее следует отметка редакции: „эта часть 5-го пункта не подлежит опубликованию“ [3]). Неопубликованная часть пятого параграфа, несомненно, заключала в себе план либо порядок и форму заговора,—об этом свидетельствует следующий абзац, где мы читаем: „Каким бы путем ни произошел переворот,—как результат самостоятельной революции или при помощи заговора,—обязанность партии—способствовать немедленному созыву учредительного собрания и передаче ему власти временного правительства, созданного революцией или заговором“ [4]). Ткачева очень нетрудно узнать во всей программе, но нетрудно разглядеть и старые полинявшие контуры бакунизма.

Читатель, надеюсь, убедился, что идеология народовольчества в его новом отражении не лучше и не яснее старого. Прав Плеханов: „Теоретический состав этого учения сложен до крайности. Западноевропейский социализм утопического периода любезно лобызается в нем с славянофильской реакцией против этого социализма; увлечение передовыми движениями Запада мирно уживается с отрицанием тех исторических сил, которые привели к расцвету западно-европейской цивилизации; теоретическая боязнь „ошибок Запада“ ведет к политическому повторению его ошибок; стремление к новому отражается в виде идеализации всякого старого,—словом, богатство и разнообразие составных элементов народничества поистине поразит-

[1]) Там же, стр. 84.
[2]) Там же, стр. 85.
[3]) Литература партии Нар. Воли, стр 85.
[4]) Там же, стр. 86.

тельно. Но богатство и разнообразие составных элементов еще не ручается за доброкачественность состава. При столкновении с практической жизнью, этим пробным камнем всех программ и учений, русское народничество довольно скоро захромало на все ноги. Прежде всего стали прихрамывать „вера в народ", игравшая некогда такую большую роль в народническом миросозерцании. Передовая, самая энергичная часть народников, под влиянием революционного движения западно-европейского пролетариата, старалась вызвать в России крестьянскую революцию". Но очень скоро, убедившись, что „современный русский крестьянин не то, что крестьянин эпохи крупных народных движений", народовольцам пришлось окончательно проститься „с мыслью о крестьянской революции"... Тогда явилась мысль „о захвате власти"... „Изменяя в этом духе свою программу, народники становились н а р о д о в о л ь ц а м и, не переставая, однако, быть народниками, сохраняя все основные черты своего миросозерцания. Однако и захват власти скоро оказался совершенно фантастическим делом, и революционеры-народники остались решительно уже без всякой, сколько-нибудь цельной и последовательной программы".

Таково было положение в лагере революции, когда Плеханов начал свою борьбу.

Такова та сумма идей, против которой объявил борьбу Плеханов, так обстояло дело с вопросом об отношении политической борьбы к социализму, когда Плеханов, вооруженный Марксовым методом, принялся за его решение.

6.

Критика Плеханова была тем безжалостней, что она первоначально носила характер товарищеской критики—его суровые и логические речи при этом приобретают еще большую убедительность, а его критические замечания становятся особенно меткими.

Вся та сумма идей, которую мы изложили, как выше было отмечено, вошла в учение народовольчества в самом диком и своеобразном сочетании; бакунистское учение о самобытном российском коммунизме, о своеобразии путей развития России мирно уживалось с ткачевским заговором меньшинства.

Заговор с целью захвата власти все более и более становился центром внимания народовольцев. Тактика заговора, по учению того же Ткачева, представляет собой то последнее средство, которое способно спасти русский самобытный коммунизм от уничтожения огнем экономического прогресса. „Каждый день приносит нам новых врагов,—говорил П. Н. Ткачев,—создает новые враждебные нам общественные факторы. Огонь подбирается и к нашим государственным формам. Теперь они мертвы, безжизненны. Экономический прогресс пробудит в них жизнь, вдохнет в них новый дух, даст им силу и крепость, которых пока еще в них нет". Следовательно, малейшая неосторожность заговорщиков, неудача малейшая, которая отклонит удар заговорщика от намеченной цели,—и судьба коммунизма в России померкнет, упрочится либеральное правительство, с которым будет труднее бороться, чем с самодержавием, современным „абсолютно-нелепым" и „нелепо-абсолютным" строем; огонь экономического прогресса сожжет последние остатки в народе коммунизма. „Под его влиянием разовьется обмен, упрочится капитализм, уничтожится самый принцип общины,—словом, река времен унесет тот камень, с которого рукой подать до коммунистического неба" [1]. Такая исключительно узкая и пессимистическая была у народовольцев философия русской истории, а „такая узкая и безнадежная философия русской истории должна была логически вести к тому поразительному выводу, что экономическая отсталость России является надежнейшим союзником революции, а застой должен красоваться в качестве первого и единственного параграфа нашей „программы-минимум" [1]. Это чрезвычайно метко сказано. Вспомните вышеприведенные изречения Бакунина и Ткачева. Слушать их, так действительно получается, что каждый новый рабочий, каждая вновь открытая фабрика еще более уменьшают шансы социальной революции в России.

„Можно ли назвать революционным такой взгляд на взаимное отношение различных общественных сил в России? Мы думаем, что нет. Чтобы сделаться революционерами по существу, а не по названию, русские анархисты, народники и бланкисты д о л ж н ы б ы л и п р е ж д е в с е г о р е в о л ю ц и о н и з и р о в а т ь с в о и с о б с т в е н н ы е г о л о в ы, а для этого им нужно было научиться понимать ход исторического развития и стать во главе его, а не упрашивать старуху-историю потоптаться на одном месте, пока они проложат для нее новые, более прямые и торные пути" [2]. А, ведь, революционизировать свои собственные головы—это не легкая вещь. Тяжелым грузом легло на сознание народовольцев, как и на Ткачева, экономическое учение народников. Одно учение о социалистических инстинктах русского народа чего стоит! Говорили об общине массу красивых слов, но „ни автор „Государственности и анархии", ни редактор „Набата" нимало не задумывались, повидимому, над вопросом о том, потому ли существует община, что народ наш „проникнут принципами общинного землевладения", или потому он „проникнут" этими „принципами", т.-е. имеет привычку к общине, что живет в условиях коллективного владения землей" [3]. Это—не праздный вопрос, это—тот самый главный вопрос, который и надлежало решить всякому серьезному политическому деятелю. Красивые декларации и красноречивые филиппики в защиту общины, очага подлинного социализма не могут нисколько ослабить силу фактов, а факты такие, что „всегда и везде, как только начиналось образование больших государств, з е м л е д е л ь ч е с к и е о б щ и н ы с и х п а т р и а р х а л ь н ы м б ы т о м с л у ж и л и с а м о й п р о ч н о й о с н о в о й д е с п о т и з м а" (курсив мой. *В. В.*), и только разложение общины создает силу, способную покончить с деспотизмом. Не будущее, а именно прошлое олицетворяет собой русская крестьянская община,—это народникам не было понятно до самого конца 90-ых годов. А Плеханов в 1883 году предвидел развал и распад общины и уже в 1890 году в своем „Внутреннем обозрении" писал, подводя итог: „Общины не спасли бы теперь никакие реакционные помпадуры и никакие народники, даже в том случае, если бы меры, принимаемые для ее спасения, и не обращались логикой вещей в новые причины ее погибели. Община погибнет, потому что существование ее не имеет теперь никакого экономического смысла. Она является теперь, в руках кулаков и в руках государства, лишь орудием эксплоатации народа. Но и в этом качестве она оказывается очень устарелой, поэтому за нее не будут крепко держаться ни кулаки, ни государство" [4]. Община должна была таким образом умереть, ибо она перестала выполнять даже ту консервативную функцию,

[1] Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 37.

[1] Там же, та же страница.
[2] Там же, та же страница.
[3] Там же, стр. 148.
[4] Г. В. Плеханов, Сочин., т. II, стр. 149.

которая ей была свойственна еще в 80-х годах. Народникам такая проницательность не была доступна. Находясь во власти фраз, они не замечали действительности, а жизнь развивалась, не спрашивая их. Как ни хотела Народная Воля высвободиться из-под влияния книжных теорий, все-таки, до конца дней своих, она оставалась во власти их.

Из области рассуждений о народных идеалах центр тяжести следовало перенести на хозяйство и его изучение, если они действительно хотели стать на твердую почву действительности, при этом им надлежало оценить условия, разлагающие общину, определить „силу и значение индивидуального принципа в хозяйстве современной сельской общины в России“ [1]), затем следовало бы определить ход, ускорение и величину последней, далее перейти к изучению тех сил, которым надлежит с его точки зрения предупредить разложение общины, при чем „возник бы очень важный вопрос о том, явится ли эта сила продуктом внутренней жизни общины, или результатом исторического развития внешних условий?“ Лишь в том случае, если бы второе предположение оправдалось, надлежало спросить себя: для переустройства экономической жизни данного класса достаточны ли внешние силы? „Покончивши с этим вопросом, пришлось бы немедленно считаться с другим, а именно, где должно искать точку приложения этой силы: в сфере ли условий жизни, или в области привычек мысли нашего крестьянства? В заключение им нужно было бы доказать, что сила сторонников социализма увеличивается с большей быстротой, чем совершается рост индивидуализма в русской экономической жизни“.

При подобном обсуждении вопроса статика общественных явлений была бы заменена их динамикой, какими они становятся; процесс русской жизни, а не ее картина,—вот что должно было стать предметом исследований политического деятеля-народовольца.

Революционный опыт отвел народовольческую практику далеко в сторону от народнической, однако, народовольцы, как мы говорили выше, считали себя в теории ортодоксальными народниками, и это не могло не создавать жесточайших противоречий в их программе. Если из старой народнической теории самобытным путем русского социализма народники выводили теорию отрицания политической борьбы, то из того же учения народовольцы-террористы выводили, что „самобытность русского общественного развития именно в том и заключается, что экономические вопросы решались и должны решаться у нас путем государственного вмешательства“ [2]).

Сгладить вопиющие противоречия программы Народной Воли можно было лишь выдумывая себе все новые и новые фикции. Что такое, как не фикция, знаменитое утверждение народовольческой программы о том, что в будущем учредительном собрании при всеобщем избирательном праве 90% депутатов будут сторонники социальной революции? Эти фикции поддерживали энергию борцов, будили критическую мысль, но разве они могли выдержать малейшее прикосновение логики? Не выдержит и другой, самый большой фантастический элемент, называемый „захватом власти временным революционным правительством“, ибо, ведь, подобная постановка вопроса совершенно несомненно изолирует революционеров от общества, которых „красный призрак“ пугает, но тогда „настолько ли велики эти силы, чтобы не рискованно было отталкивать от себя такого союзника? Могут ли наши революционеры действительно захватить в свои руки власть и удержать ее хоть на короткое время, или все толки об этом представляют собой не что иное, как выкраивание шкуры зверя, не только еще не убитого, но, по обстоятельствам дела, и не подлежащего убиению? Вот вопрос, который становится в последнее время злобой для революционной России [3]). Речь идет не о самом захвате власти,—принципиально против этого акта революционной партии нельзя иметь ничего, но для этого необходим целый ряд условий, которых не имеется в России 80-х годов.

„Мы должны сознаться, что отнюдь не верим в близкую возможность социалистического правительства в России“ [4]).—говорит это, Плеханов ясно указывает, до какого предела может итти сегодня реалистическая революционная политика, не зараженная фантазиями. Таким образом другой, не менее важной, фикцией является вера в единовременность политической и экономической революций, понимая под этим организацию общества на основе социалистического хозяйствования. Но „социалистическая организация производства предполагает такой характер экономических отношений, который делал бы эту организацию логическим выводом из всего предыдущего развития страны“ [5]). А развитие России отсталой, с полукрепостническими отношениями в деревне, с еще не изжитыми остатками феодальных зависимостей? Россия, промышленно абсолютно не развитая, не имеет в самой ограниченной мере тех основ из коих вытекал бы социализм. И именно потому, что нет соответствующей посылки, революционное правительство должно было бы на старой основе строить новое социалистическое хозяйство. „И на этой—узкой и шаткой—основе здание социалистической организации будет строиться руками правительства, в которое войдут: во-первых, городские рабочие, пока еще мало подготовленные к такой трудной деятельности; во-вторых, представители нашей революционной молодежи, всегда оставшейся чуждой практической жизни, и, в-третьих, „офицерство“, в экономических познаниях которого весьма позволительно усомниться. Мы не хотим делать весьма вероятного предположения относительно того, что, рядом со всеми этими элементами, во временное правительство проникнут и либералы, которые будут не сочувствовать, а мешать социально-революционной „постановке партионных задач“. Мы предлагаем читателю взвесить лишь выше перечисленные обстоятельства и затем спросить себя: много ли вероятности успеха имеет „экономический переворот“, начавшийся при этих обстоятельствах? Точно ли выгодно для дела социалистической революции существующее ныне „соотношение политических и экономических факторов на русской почве“? [6]). Несомненно, нет. Эта фикция есть прямой показатель и результат влияния анархических учений и идеалов, доведенных программой Исп. Комитета до конца завершения.

Не менее фантастическим должен показаться и самый захват власти, который при той ситуации, о которой достаточно говорилось выше, мог вылиться лишь во временную авантюру.

Но, критикуя народовольцев, Плеханов параллельно выдвигал свое понимание вопроса, и мы попытаемся в не-полемической, догматической форме изложить его воззрения на этот вопрос.

[1]) Там же, т. II, стр. 41.
[2]) Г. В. Плеханов, Сочин., т. II, стр. 149.

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 76.
[2]) Там же, стр. 78.
[3]) Там же, стр. 79.
[4]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 79.

7.

Если заговор с целью захвата власти революционной партией представляет собой наименее выгодную форму борьбы за экономическую революцию, то что же является кратчайшим и выгоднейшим путем?

Классовая борьба,—отвечает Плеханов.

Господствующий класс во всякой стране всегда стремится приспособить общественную организацию к интересам и защите своего господства. До тех пор, пока господствующий класс—носитель прогрессивных общественных идеалов, общественные организации его будут удовлетворять требованиям социального развития. Но в жизни общества возникают новые прогрессивные элементы; эти новые производительные силы сталкиваются с общественными институтами, и класс, который вчера еще представлял собой прогрессивное явление, сегодня заклятый враг всякого прогресса. „Политическая власть сделается в его руках самым могучим орудием реакции" [1]). Таким образом представители угнетенного класса должны выбить из рук господствующего класса это страшное орудие. „Сама логика вещей выдвинет их на путь политической борьбы и захвата государственной власти, хотя они и задаются целью экономического переворота" [2]).

Самая борьба протекает с огромным напряжением и через многие частичные победы и завоевания, пока, „пройдя суровую школу борьбы за отдельные клочки неприятельской территории, угнетенный класс приобретает настойчивость, смелость и развитие, необходимые для решительной битвы. Но, раз приобретя эти качества, он может смотреть на своих противников, как на класс, окончательно осужденный историей; он может уже не сомневаться в своей победе. Так называемая революция есть только последний акт в длинной драме революционной классовой борьбы, которая становится сознательной лишь постольку, поскольку она делается борьбой политической" [3]).

Таким образом вне политической борьбы, которая есть тоже классовая борьба, нет иных путей к экономической революции. „Экономическое освобождение рабочего класса может быть достигнуто путем политической борьбы, и только путем политической борьбы" [4]). Само по себе противопоставление социализма политической борьбе—нелепость, ибо „социализм—это та же политика, но только политика рабочего класса, стремящегося к своему экономическому освобождению. Политика рабочего класса немедленно становится социализмом, когда рабочий класс сознательно задается такой целью и сообразно с нею организуется в особую партию. Поэтому понимающий человек может и должен противополагать не социализм политике и не политику социализму, а политику рабочего класса—политике буржуазии, политику эксплоатируемых—политике эксплоататоров (курсив мой. *В.В.*). Такое противоположение имеет глубокий смысл, так как оно основывается на борьбе интересов в современном обществе"... „Там, где интересы общественных классов до такой степени противоположны и враждебны, как враждебны и противоположны интересы рабочих и предпринимателей, уступки могут быть вынуждены только силой, политическая же борьба представляет собой наиболее производительную затрату сил всякого данного класса, не исключая и класса рабочих" [1]) (курсив мой. *В.В.*).

Уже к концу 80-х годов, по вопросу об отношении к политической борьбе, между социалистами не было принципиальных разногласий. Социал-демократ (т. е. Плеханов) в разговоре с конституционалистом так характеризует положение дел к 1889 году: „Я должен заметить вам, что не понимаю вашего противоположения социализма политической агитации. Социализм немыслим без такой агитации. Посмотрите на западно-европейские рабочие партии,—разве они равнодушны к политической свободе? Напротив, политическая свобода имеет в рабочих самых искренних и самых надежных защитников. Так же относятся к политической свободе и русские социалисты. Было, правда, время, когда они считали ее буржуазной выдумкой, способной лишь сбить рабочих с толку и завести их на ложный путь. Но это отошло в область предания. В настоящее время мы все понимаем огромное значение политической свободы для успехов социалистического движения и готовы добиваться ее всеми зависящими от нас средствами. Между нами много всяких разногласий, но ищите хоть с диогеновским фонарем,—и вы все-таки не найдете в нашей среде такого чудака, который вздумал бы говорить против политической свободы".

Но что даст рабочему классу политическая борьба? Не только экономические завоевания,—„самым главным и незаменимым результатом этой борьбы является его политическое воспитание" [2]); принимая деятельное участие в борьбе классов, рабочий только и может стать на уровень понимания действительных задач своего класса, только побеждая и терпя поражения в борьбе с эксплоататорами,—рабочий постигнет искусство делать революцию, увидит подлинные пути своего освобождения.

Но политическую борьбу, как и всякую борьбу, можно вести, только будучи организованным. Ни один класс не побеждал еще, не оформившись в особую организацию, тем более рабочий класс, чья борьба отличается от всех известных исторических классовых битв своим упорным и длительным характером, своими трудностями, усугубляемая правовым и экономическим положением пролетариата.

Никакая политическая борьба не мыслима там, где борцы не имеют организованного авангарда—политической партии,—это то, что Плеханов завоевал для российского рабочего движения всего ранее. Уже в статье о Родбертусе, как я уже отметил, у него имеется недвусмысленное на этот счет указание; отметил выше я также и его мнение по этому вопросу, высказанное в письме к П. Л. Лаврову.

Почти одновременно было написано предисловие к русскому переводу „Коммунистического манифеста", где мы находим следующие знаменательные слова: „Манифест показывает, что успех борьбы каждого класса вообще, а рабочего в особенности, зависит от объединения этого класса и ясного сознания им своих экономических интересов. От организации рабочего класса и непрестанного выяснения ему враждебной противоположности его интересов с интересами господствующих классов (курсив мой. *В.В.*) зависит будущность нашего движения, которую, разумеется, невозможно приносить в жертву интересам данной минуты" [3]). Разумеется, это сказано несколько туманно,

[1]) Там же, стр. 56.
[2]) Там же, стр. 56—57.
[3]) Г. В. Плеханов. Сочин., том II, стр. 58.
[4]) Там же, том III, стр. 89.

[1]) Там же, том III, стр. 89—90.
[2]) Там же, том III, стр. 90.
[3]) Г. В. Плеханов, Сочин., том I, стр. 151.

что объясняется тем, что писал он свое предисловие в эпоху своего сближения с П. Лавровым, но уже ясные следы необходимости организации классовой политической партии налицо в этом предисловии. А уже спустя с малым полгода года в брошюре „Социализм и политическая борьба" мы находим знаменитые слова: „Мы думаем, что единственной не фантастической целью русских социалистов может быть теперь только завоевание свободных политических учреждений, с одной стороны, и выработка элементов для образования будущей рабочей социалистической партии России—с другой" [1]. Каковы задачи этой партии? „Она должна стать руководительницей рабочего класса в предстоящем освободительном движении, выяснить ему его политические и экономические интересы, равно как и взаимную связь этих интересов, должна подготовить его к самостоятельной роли в общественной жизни России. Она должна всеми силами стремиться к тому, чтобы в первый же период конституционной жизни России, наш рабочий класс мог выступить в качестве особой партии с определенной социально-политической программой. Подробная выработка этой программы, конечно, должна быть предоставлена самим рабочим, но интеллигенция должна выяснить им главнейшие ее пункты, как, например, радикальный пересмотр современных аграрных отношений, податной системы и фабричного законодательства, государственная помощь производительным ассоциациям и т. п. Все это может быть достигнуто путем усиленной работы в среде, по крайней мере, наиболее передовых слоев нашего рабочего класса, путем устной и печатной пропаганды и организации рабочих социалистических кружков" [2]. Это—целая программа-минимум, с некоторыми важными изъянами „государственная помощь производительным ассоциациям", например, страдающая слишком большим оптимизмом о сроке завоевания конституции; последнее связано с его отношением к либералам, и мы к этому вопросу ниже вернемся еще. Но что бесспорно в этом отрывке—это постановка вопроса: нужно немедленно начать подготовку элементов будущей партии—организационно, тактически, программно. Как представляет себе Плеханов начало этой грандиозной работы? С чего следует начать практикам-революционерам на месте, среди рабочих масс?

По его мнению, существует масса мелких ячеек и кружков, которые образовались после разгрома землевольческих и северно-русских рабочих ячеек,—нужно их сплотить в одно внушительное целое. „Само собой понятно, что тайные рабочие общества не составляют еще рабочей партии. В этом смысле совершенно правы те люди, которые говорят, что наша программа рассчитана более на будущее, чем на настоящее" [3]. Но на этом основании не только нельзя ослабить силу и интенсивность работы, но, наоборот, их нужно удесятерить, чтобы добиться полной умственной и политической эмансипации русского рабочего класса. „Способствуя образованию рабочей партии, наши революционеры будут делать самое плодотворное, самое важное дело, какое только можно указать „передовому человеку" современной России. Одна лишь рабочая партия способна разрешить все те противоречия, которые осуждают теперь нашу интеллигенцию на теоретическое и практическое бессилие"... „Возможно более скорое образование рабочей партии есть единственное средство разрешения всех экономических и политических противоречий современной России. На этой дороге нас ждут успех и победа; все же другие пути ведут лишь к поражению и бессилию" [1].

[1]) Там же, том II, стр. 83.
[2]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 84.
[3]) Там же, стр. 343.

Очень много сомнений вызывала эта программа практического дела, выставленная Плехановым. Когда конституционалист в „Разговоре" возражает социалисту (Плеханову): „Но, ведь, повторяю вам, при современных условиях вся такая деятельность поневоле сведется к самым ничтожным размерам, к вербовке отдельных личностей и много-много к организации небольших рабочих кружков. Рабочие массы останутся не затронутыми пропагандой, а, между тем, все ваши доводы в ее пользу предполагают, именно, влияние на массу", то он этим выражает общее мнение. Плеханов отвечает ему: „Я не говорю, что теперь можно было бы устраивать открытые рабочие собрания в Москве или Петербурге. Пропаганда велась бы, конечно, в тайных кружках, а, следовательно, влияла бы лишь на небольшие группы лиц. Но через посредство этих лиц ее влияние необходимо распространялось бы на массы. Тогда пропаганда становилась бы уже агитацией. Что такая агитация возможна,—это доказывается, между прочим, историей наших стачек. Возьмем хоть знаменитую стачку на фабрике Морозова. Несколько отдельных лиц,—Волков, Моисеенко и другие,—стали во главе целых тысяч рабочих, руководя ими во всех столкновениях с полицией и фабричной администрацией. Владимирского губернатора в особенности обижало то обстоятельство, что, между тем как рабочие не обращали никакого внимания на его слова, они безусловно повиновались своим вожакам. Вот вам и влияние на массу. Чтобы оно не осталось мимолетным,—Волкову и Моисеенко нужно было лишь обобщить требования рабочих, выяснить им общий характер их отношений к хозяевам и правительству. А раз зашла речь об отношениях к этому последнему, то вот вам уже и повод для политической агитации". Да и в какая умело проведенная стачка есть не что иное, как политическая агитация. „Преследуемые полицией рабочие не могут остаться глухи к тому, что вы стали бы говорить им о свободе сходок, собраний, союзов, о неприкосновенности лица и жилища. Тот, кто хоть немного знает русских рабочих, знает также, до какой степени глубоко врезывается в их умы всякая общая мысль, всякое общее положение, наглядно освещенное и подкрепленное такими выдающимися событиями как стачки и вообще столкновения с хозяевами и полицией. Рабочие уже не забывают их и при случае сами повторяют, нередко, в очень наивной, но, тем не менее, весьма убедительной для их собратьев форме" [2]. Такая практика лучше всего подготовляла элементы для будущей политической партии пролетариата.

Написанная в 1884 году программа была попыткой дать некую общую, приемлемую для всех существующих кружков, объединяющую формулу. Несмотря на то, что она страдала почти всеми теми недостатками, которые мы отметили выше о минимум-программе брошюры „Социализм и политическая борьба", тем не менее, она очень ценна, как первая марксистская программа в России.

В 1889 году Плеханов, обращаясь к рабочим, пишет: „Самая первая, самая настоящая, но в то же время самая очевидная и самая бесспорная из всех ближайших задач русских социалистов заключается в поддержании своего существования, как особой социалистической партии, рядом с другими либе-

[1]) Там же, стр. 347, 349.
[2]) Там же, том III, стр. 25—26.

ральными партиями, образующимися или имеющими образоваться для борьбы с абсолютизмом. Слиться с такими партиями для русских социалистов значило бы совершить политическое самоубийство, потому что в случае слияния не либералы примут их программу, а им придется принять программу либералов, т.-е. на долгое время оставить даже всякие попытки о социализме. Но, с другой стороны, поддержать свое существование, как особой партии, русские социалисты могут только при одном необходимом условии: именно, при условии возбуждения сознательно политического движения в среде рабочего класса. Вне этого класса социалистическое движение немыслимо. Движение, ограниченное тесными пределами интеллигенции, ни в каком случае не может быть названо социалистическим. Оно способно служить только предверием и предвестием настоящего социалистического движения, т. е. движения рабочих" [1]).

О самобытном характере русского социализма говорили те самые, о которых Плеханов пишет, что они „знают, что городская революция означала бы победу городского рабочего населения", и они боятся этой победы, так же, как боялось и боится ее парижское „общество". Но какие же социалисты могут бояться победы рабочего класса? Ясно, что только мелко буржуазные социалисты, принципиальные враги освободительного движения пролетариата,—вот вам и пресловутый „русский социализм" [2]) Если эти социалисты еще могли говорить о самобытном характере русского движения, то русский рабочий класс „прямо не в состоянии будет найти иной роли, чем та, которую этот класс имел на Западе совершенно так же, как не могли бы наши современные художники не быть реалистами, если бы даже и захотели этого. Русский рабочий класс—это тот класс, которому суждена наиболее европейская роль в русской политической жизни, поэтому и партия, представляющая его интересы, необходимо будет наиболее западнической из всех русских партий" [3]).

Но самое интересное суждение он высказывает в своих брошюрах о голоде, к которым, в другой связи, нам еще придется вернуться.

Исходя из того основного принципа, что единственный путь, ведущий социалистов к их великой цели,—есть путь „содействия росту классового самосознания пролетариата": „кто содействует росту этого сознания, тот социалист; кто мешает ему, тот враг социализма; а кто занимается делом, не имеющим к нему непосредственного отношения, тот не имеет непосредственного отношения к социализму", он приступает к определению задач русских социалистов. „Нам, русским социалистам, надо найти такой способ действий, держась которого, мы во-первых, ни на минуту не переставали бы способствовать росту классового сознания пролетариата, т.-е. быть социалистами, а, во-вторых, скорее победили бы царизм,—т.-е., следовательно, и голод, чем при всяком другом способе действий"... „Но существует ли такой способ действий? Не только существует, но я с уверенностью говорю, что никакой другой способ не приведет так скоро к победе над абсолютизмом, как именно тот, который соединяет в себе, связывает в одно неразрывное целое борьбу за политическую свободу с содействием росту классового сознания пролетариата" [4]) Буржуазия у нас тот класс, которого интересы неминуемо толкнут на борьбу с самодержавием, но в своей борьбе с абсолютизмом буржуазия не может обойтись без помощи народа.

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 17.
[2]) Там же, стр. 17.
[3]) Там же, стр. 238.
[4]) Там же, стр. 400.

„Всегда и везде, когда и где буржуазия вступала в борьбу со „старым порядком", она опиралась на народ, и более всего, разумеется, на рабочий класс, как на более образованный и подвижной слой трудящегося населения"... „Никакими софизмами нельзя вычеркнуть из истории тот факт, что решающая роль в борьбе западно-европейских стран за свое политическое освобождение принадлежала народу и только народу" [1]). Но всегда и везде буржуазия употребляла все свои усилия к тому, чтобы использовать народ в своих интересах. С этой целью она всемерно старалась содействовать росту политического сознания рабочего класса, направляя его против абсолютизма, при чем она это делала „с большой осторожностью, постоянно заботясь о том, чтобы политически сознательный пролетариат не дорос как-нибудь, невзначай, до классового самосознания, т.-е. до сознания враждебной противоположности своих интересов с ее интересами" [2]). Социалисты не могут оставаться равнодушными и смотреть, как либеральная буржуазия действует; они должны итти к рабочему классу не только с проповедью необходимости политических свобод, но и с социализмом, содействуя росту классового сознания пролетариата.

Как это сделать?

Это сделать нетрудно,—во всяком случае, менее трудностей к тому, чем кажется, ибо „русский пролетариат обнаруживает самые недвусмысленные признаки политического пробуждения. Политически он уже перерос буржуазию. Он раньше ее пришел к мысли о политической свободе" (курсив мой. *В. В.*). Рабочий класс, в среду которого проникла мысль о политической свободе, это уже сознательный рабочий класс. Но пока он говорит только о политической свободе, его политическое сознание находится еще в неразвитом состоянии, оно еще не стало классовым его сознанием. На эту высшую ступень политического развития рабочий класс поднимается только тогда, когда научается понимать свои особые классовые интересы, свое отношение к буржуазии, причины своего подчинения эксплоататорам. Тогда политическая свобода перестает играть в его глазах роль панацеи, способной излечить общественный организм ото всех возможных болезней. Тогда он ставит перед собой задачу своего экономического освобождения, великую цель, „которой всякое политическое движение должно быть подчинено, как средство" [3]). Этого достичь можно лишь упорной пропагандой которая вырабатывает революционеров и агитацией, задача и значение которой гигантские. „Благодаря ей, устанавливается и укрепляется необходимая связь между „героями" и „толпой", между массой и ее вожаками. И тем натянутее становится положение дел, чем более шатается старое общественное здание; чем быстрее приближается революция, тем важнее становится агитация. Ей принадлежит главная роль в драме, называемой общественным переворотом. Отсюда следует, что, если русские социалисты хотят сыграть деятельную роль в предстоящей русской революции, они должны уметь быть агитаторами" [4]). Но и агитационная деятельность имеет свои организационные предпосылки. „Необходимым условием этой деятельности является сплочение уже готовых революционных сил. Кружковой пропагандой могут заниматься люди, ничем не связан-

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 401—402.
[2]) Там же, стр. 403.
[3]) Там же, стр. 405.
[4]) Там же, стр. 414.

ные между собой, даже не подозревающие существование один другого. Конечно, отсутствие организации всегда отзывается и на пропаганде, но оно не делает ее не озможной. В эпохи же сильного общественного возбуждения, когда политическая атмосфера насыщена электричеством, и когда то здесь, то там, по самым различным, самым непредвиденным поводам, происходят, все более и более частые вспышки, свидетельствующие о приближении революционной бури, короче, когда надо агитировать или оставаться за флагом,—в такие эпохи только организованные революционные силы могут иметь серьезное вдияние на ход событий. Отдельная личность становится тогда бессильной, революционное дело оказывается по плечу только единицам высшего порядка: революционным организациям [1]). Роль революционных организаций, этих единиц высшего порядка, несомненно, великая, и естественно, кто не беспечен насчет победы, кто не хочет ограничиться только фразами, должен глубоко задуматься над этим сложным вопросом организации революционных сил пролетариата.

8.

Но какова должна быть форма организации этой рабочей партии? Если ее принципы выяснились уже в 1883 году, то ее организационные формы намечались лишь к 1893 году, т.-е. к началу широкого развития рабочего движения в России. В этом году Плеханов писал: „В России вообще, а не только между социал-демократами, пока еще нет сильной революционной организации. Остается говорить лишь о наших пожеланиях на этот счет. А пожелания наши сводятся к созданию подвижной боевой организации, вроде общества „Земля и Воля“ или „Партии Народной Воли“,—организации, являющейся всюду, где можно нанести удар правительству, поддерживающей всякое революционное движение против существующего порядка вещей и в то же время ни на минуту не упускающей из виду будущности нашего движения. Скоро ли нам удастся осуществить такой идеал? Не знаем. Но то несомненно, что мы тем скорее придем к его осуществлению, чем скорее и полнее усвоят наши революционеры принципы научного социализма“ [2]).

Это — замечательный отрывок, он показывает, как рано сложились организационные принципы нашей партии. Но он сугубо замечателен тем, что подводит итог всей предыдущей работы над решением организационных проблем. Только придерживаясь принципов научного социализма можно решить труднейшие проблемы организации революционных сил.

Я уже отметил выше, что уже к концу 80-х г. г. в социалистическом лагере вопрос о политической борьбе считался бесспорно решенным. Но это ни в коей мере не означало, что он вновь не возникнет. Он был решен в той постановке, какую выдвинало народничество, но на протяжении 90 г.г. стремительное развитие капитализма, и исключительно быстрый рост рабочего движения вновь выдвинули старый вопрос об отношении социализма к политической борьбе с не меньшей остротой, чем то было у истоков российской социал-демократии. Так называемое экономическое направление — самый наивный вид опортунизма, свойственный начальному фазису классовой борьбы пролетариата, с самого же начала появилось именно как

[1]) Там же, стр. 415—416.

[2]) Тун. История революционных движений в России, стр. 279.

результат нового понимания этой проблемы. Известно, что экономисты стояли на той точке зрения, что так как „рабочая масса“ отзывается только на вопросы, которые выдвигает перед ней жизнь, т.-е. на вопросы экономические, то и следует временно отложить в сторону широкие политические требования и вести свою агитацию исключительно на почве ее ближайших требований. Как видит читатель, тут нет и помину старого самобытного российского социализма и противопоставления его Западу, но тут имеется смешение „класса“ с „партией“. Заставив авангард отстать до уровня самых отсталых слоев рабочего класса, экономическое направление не только закрыло себе пути к правильному решению политических задач, но и к правильной их постановке. Экономисты не понимают, „что иное дело — весь рабочий класс, а иное дело социал-демократическая партия, представляющая собой лишь передовой, и вначале очень малочисленный, отряд рабочего класса. Если рабочий класс данной страны, взятый в его целом (т.-е., точнее, в большинстве своих членов), еще не созрел для перехода к политической борьбе, то из этого вовсе не следует, что „момент“ такой борьбы еще не настал для партии, задавшейся целью политического воспитания этого класса. Для партии момент политической борьбы наступает каждый раз, когда она встречает повод для политической агитации, а у нас в России поводы для такой агитации встречаются никак не реже, чем поводы для агитации на экономической почве“. На самом деле в самодержавной политической России всякий экономический конфликт неизбежно выльется в политический, коль скоро весь правительственный аппарат будет защищать капиталистов против рабочих, борющихся с ними хотя бы только на экономической почве; с какого бы конца рабочие не нападали на предпринимателей, их нападение неизбежно будет направлено и против правительства. Весь вопрос заключается в том, будет ли это нападение сознательное или нет. Рабочий авангард — социал-демократия — должна своей агитацией добиться этой сознательности, при чем „в разных слоях рабочего класса политическая агитация непременно должна принимать различный вид. Но необходимое разнообразие ее приемов не может и не должно изменить ее содержание, заключающееся в выяснении враждебности и непримиримой противоположности интересов рабочих с интересами царизма“. Каждый наш успех в этом деле будет новым поражением царизма. Смысл политической борьбы, ее цель — в этом, а не в чем ином. Еще до 900 г.г. с политической борьбой связаны понятия заговоров, убийств, террора и т. д. Но „заговоры, кинжалы, взрывчатые вещества, баррикады и манифестации,— все это не более, как приемы политической борьбы, очень полезные и даже вполне неизбежные при известных обстоятельствах, но вовсе не исключающие возможности, пользы и даже полной неизбежности других приемов при других обстоятельствах. Сущность политической, как и всякой другой, борьбы заключается в том, что каждая из борющихся сторон старается разрушить или хотя бы только ослабить силы, поддерживающие существование другой. Тот или иной прием хорош лишь постольку, поскольку он служит для достижения этой цели“. С этой единственно революционной точки зрения понятно, что всякий успех в деле приведения сознания рабочего класса в соответствие с его бытием и его задачами всего вернее разрушает здание абсолютизма, а тем самым является и самым страшным оружием против него.

Но на этом основании ни как не следует обвинять Плеханова в том, будто он является сторонником исключительно борьбы живым и печатным словом. „Я безусловно настаиваю только на необходимости

политической борьбы, а вопрос об ее приемах всегда был и останется для меня вопросом целесообразности. Приемы эти определяются общим состоянием страны, соотношением существующих в ней общественных сил, главное — степенью политического развития рабочих. Чем дальше уйдет это развитие, тем разнообразнее будут становиться приемы нашей политической борьбы с правительством. Теперь мы боремся преимущественно посредством живого и печатного слова. Но именно потому, что эти приемы борьбы в высшей степени целесообразны; именно потому, что они хорошо влияют на политическое развитие рабочих, у нас становится возможным употребление в дело нового, могучего приема — демонстрации. События, имевшие место в Харькове весной нынешнего года, может быть, знаменуют собою начало новой эпохи в истории нашей борьбы. В течение этой эпохи еще более разовьется политическое сознание рабочего класса, т.е., следовательно, еще более вырастут наши силы, и тогда.. Но зачем забегать вперед: довлеет дневи злоба его".

С другой стороны, и утверждение экономического направления, будто политическая борьба должна вестись пролетариатом, как классом, достигшим известной высоты развития, — неверное утверждение, чреватое явными оппортунистическими выводами. „Я же думаю, что политическая борьба должна быть немедленно начата нашей партией, которая представляет собой передовой отряд пролетариата, его наиболее сознательный и революционный слой, и что политическая борьба нашей партии явится одним из самых могучих факторов дальнейшего развития рабочего класса".

Понадобилось очень мало времени для того, чтобы сама жизнь показала всю правоту позиции Плеханова.

Спустя несколько месяцев после этой статьи повторились и далее, не прекращаясь, широкие демонстрации и всеобщая политическая активность пролетариата заставила даже экономистов заговорить о политической борьбе, и Плеханов не без законной гордости пишет: „Давно ли люди мнившие себя опытными „практиками", старались убедить „теоретиков" в том, что „толковать рабочей массе в России об уничтожении капитализма, о социализме, наконец, об уничтожении самодержавия — вообще нелепость" и резко порицали группу „Осв. Труда" за то, что она, будто бы, хотела „взять самодержавие на ура".

Но если приемы политической борьбы определяются состоянием страны, то каковы должны быть они в России начала 900 г.г.? Кто должен вести ее, что может революционное движение выставить против самодержавия? В статье своей „Что же дальше?" Плеханов пишет: „Самодержавию царя соответствует самодержавие его министров, а самодержавие его министров естественно дополняется самодержавием прочей чиновной братии. И ни одна из этих эманаций „излюбленного монарха" не собирается отрекаться от принадлежащей ей частицы абсолютизма. Если наше общество хочет самодеятельности, то ему надо ее вырвать; выпросить ее невозможно" [1]). Совершенно правильно; но тогда встает вопрос о той силе, которая должна вырвать у царизма политические права, ибо совершенно бесспорно, что „политические отношения определяются отношением сил". Вопрос политического освобождения России есть, таким образом, несомненно вопрос силы. Если это так, — а это несомненно так, — то ясно, что тот, „кто не содействует тем или другим способом росту силы, способной положить конец существующему у нас порядку вещей, тот ровно ничего не делает для освобождения своей родины, а кто по той или другой причине, хотя бы, например, по причине неумения или нетерпения, препятствует росту этой силы, тот совершает тяжкий, хотя, может быть, и невольный грех против свободы" [1]). Но где искать эту силу? „Наша сила есть сила трудящейся и эксплоатируемой массы, и прежде всего — пролетариата. Как я уже сказал, общество может приобрести силу и политическое значение лишь в той мере, в какой оно будет содействовать росту и торжеству революционной энергии рабочего класса. Революционная же энергия рабочего класса достигнет наибольшего напряжения лишь тогда, когда он ясно увидит нашу конечную цель: социальную революцию, полное уничтожение эксплоатации трудящихся. Вот почему наше превращение в ручных, будто бы, марксистов было бы очень невыгодно для нас, даже с точки зрения нашей ближайшей политической цели, не говорю уже об огромнейшей невыгоде его с точки зрения будущности русского рабочего движения. И вот почему о таком превращении не может быть и речи. Мы будем поддерживать всякое движение, направленное против существующего порядка вещей. Но мы ни на минуту не перестанем вырабатывать в умах рабочих ясное представление о нашей конечной цели. Мы хотим, чтобы борьба с царизмом служила для пролетариата школой, всесторонне развивающей его классовое самосознание" [2]).

Всякую борьбу с успехом может вести лишь организованная сила, поэтому „создание крепкой, стройной, единой и нераздельной организации русских социал-демократов составляет теперь самую насущную изо всех стоящих перед нами ближайших практических задач. Отсутствие такой организации уже нанесло нам очень много вреда. Оно помешало нам всесторонне использовать волнения текущего года в интересах нашего движения" [3]). Жизнь опередила социал-демократию, она выдвинула задачи, выполнение которых требует значительно больше организованности, чем это представляла социал-демократия. Тогда „иные говорят: Нашей партии очень трудно организоваться потому, что она, постоянно находясь под неприятельским огнем, постоянно несет тяжелые потери. И это, конечно, верно. Но, с другой стороны, неприятельский огонь страшен для нее потому, что она не организована. Тут заколдованный круг, из которого можно выйти лишь энергичным усилием воли. Пусть она организуется. Организация, как хороший земляной окоп, прикроет ее от неприятельского огня и низведет ее потери до возможного минимума. А эти потери теперь в самом деле огромны, и притом их вредное влияние быстро растет по мере того, как умножаются и усложняются ее практические задачи" [4]). Она поможет легко перенести преследования, быстро поправит неудачи. Кружковщина и разъединенность слишком большая роскошь для партии. Медлить и ждать, когда естественным ходом вещей возникнет и окрепнет организация, — нельзя: „Ей безусловно необходима организация, объединяющая в одно дисциплинированное целое все ее силы, вносящая единство в ее деятельность и подчиняющая работу

[1]) „Что же дальше?" (оттиск из второй книжки „Зари"), издание „Искры", типография „Искры", сентябрь 1901 г., стр. 14.

[1]) Там же, стр. 15.
[2]) Там же, стр. 24—25.
[3]) Там же, стр. 26.
[4]) Там же, стр. 26—27.

многочисленных кружков, рассыпавшихся по широкому лицу нашей земли, руководству всероссийского центра. Только при этом условии она будет в состоянии сделаться тем, чем она обязана сделаться,—руководительницей великого освободительного движения в России" [1]).

Нужда в централизованной партии с единым всероссийским центром, строго дисциплинированной, была особенно подчеркнута растущим массовым движением начала 900 годов. Оно же показало, какое грандиозное значение имеет подполье. Возражая террористам, Плеханов пишет: „Есть гораздо более сильное средство возбуждения массы (чем террор. *В. В.*). Средство это—ее собственная, непосредственная борьба с властью путем всевозможных видов нелегального массового движения. Это движение совершенно незаменимо по своему воспитательному значению; каждый его успех приближает нас к победе. А, между тем, террор грозит сильно задержать его, отдалив организованных революционеров от неорганизованной, но уже созревшей для активной борьбы и рвущейся на активную борьбу массы" [2]). Совершенно понятно, почему он в годы жестокой реакции, после первой революции, стал певцом подполья,—он оценил роль подполья в те годы. Подполье, подобно знаменитому кроту, рыло хорошо уже тогда.

Отрывок, который я привел, должен доказать всякому беспристрастному читателю, что у Г. В. Плеханова проблема отношения социализма к политической борьбе получила наипоследовательно революционное решение. Тогдашние „ужасно революционные" социалисты-революционеры упрекали Плеханова в нереволюционности, в частности Чернов особенно смеялся над тем ответом, который дал в конце своей статьи Плеханов на вопрос „Что же дальше?". „Дальше,—отвечал Плеханов,—продолжение начатой освободительной борьбы, в интересах которой мы должны:

1) организоваться;

2) принять все зависящие от нас меры, для выяснения оппозиционным элементам общества истинного характера, преследуемой нами, ближайшей политической задачи;

3) продолжать политическую агитацию в трудящейся массе... и т. д.

Но Чернов смеялся потому, что ему не было ясно, что есть революционная тактика. Для него политическая борьба неизбежно связывалась с террористическими актами. Энергии и движению масс он противопоставлял энергию и героизм лиц. Идеолог мелкой буржуазии, естественно, не понимал силы и значения организации для победы революции. Но уже лавиной приближалась революция, и масса сметала лиц, чтобы самой действовать вольно и беспрепятственно.

Демонстрации, стачки, всеобщая забастовка на Юге были этапами, голово-кружительно быстро приведшими Россию к первой революции.

Политическая борьба стала фактом, против ее законности никто уже не спорил. Нужно было подвести итог и создать некий кодекс своих теоретических и тактических воззрений: это и сделал II съезд нашей партии. Комментируя проект программы, Плеханов в 1903 г., с большим внутренним удовлетворением, мог констатировать: „Теперь уже никто из наших товарищей не сомневается в необходимости крепкой организации того типа, который существовал в России во второй половине 70-х и в начале 80-х г.г. (организации „Земли и Воли" и партия Народной Воли) и который оказал тогдашним русским революционерам такие огромные и неоценимые услуги". Действительно, ко II съезду против этих принципов спора в партии не было; энергичная и настойчивая двадцатипятилетняя пропаганда Плеханова сделала свое дело, хотя, как выяснилось, на самом втором съезде не вся партия оказалась в силе последовательно усвоить себе этот единственно революционный взгляд на организационные задачи нашей партии.

[1]) Там же, стр. 27.
[2]) Там же, стр. 36.

9.

Принято считать, что в числе лиц, изменивших изложенному выше взгляду, был и сам Плеханов; некоторые историки нашей партии эту версию упорно поддерживают. Во всяком случае, его поведение после второго съезда, разрыв с Лениным и кооптация меньшевиков располагали многих к таким выводам.

Особенно усердствовали на этот счет меньшевики. Они и пустили рассказ, будто Плеханов и на втором съезде, по вопросу об уставе, держался двойственной линии и колебался между Лениным и Мартовым.

Но то, что выгодно меньшевикам, то уж, наверняка, недоброкачественно с точки зрения того же самого Плеханова.

Вопросом о его позиции после II съезда мы займемся особо, теперь же, в двух словах, постараемся рассеять меньшевистскую басню о том, будто Плеханов на втором съезде, да и после него, выступал против или колебался между Лениным (который, ведь, и защищал его принципы) и Мартовым.

Борьба, разыгравшаяся вокруг первого параграфа устава на II съезде, была борьбой за фактическое осуществление тех организационных принципов, которые защищал Плеханов.

Кого следует считать членом РСДРП,—сначала по тем условиям: что есть сама соц.-дем. партия? Будет ли это строго ограниченная, с ясными пределами организованная партия, или круг лиц, который не знает, где кончается боевое ядро, и где начинается сочувствующая периферия,—бесформенное и не поддающееся дисциплине общество единомыслящих.

Защищая так называемую строгую, „узкую" формулировку первого параграфа, и Ленин, и вслед за ним Плеханов защищали идею необходимости в России централизованной, строго дисциплинированной, боевой партии, что естественно не могло быть по вкусу ни бундовцам, ни экономистам, ни некоторой части искровцев, которая чувствовала тягу к оппортунизму.

Было бы странно, ежели бы этот вопрос, столь важный и большой, не вызвал страстной борьбы на съезде. По крайней мере, в истории международного рабочего движения еще не бывало случая, чтобы рабочая классовая партия при своем образовании и оформлении не прошла этой стадии жестоких дискуссий и разногласий по этому основному организационному вопросу. Борьба между лассальянцами и эйзенахцами, между гэдистами и жоресистами в иной форме, при иных обстоятельствах, по иным непосредственным поводам—фактически были разрешением этой, на первый взгляд, простой, а на самом деле кардинальной проблемы.

И хотя Ленину и Плеханову не удалось провести первый параграф в своей формулировке, однако все остальные параграфы были приняты централистские, чем значительно, если не совсем, был парализован первый параграф Мартова.

Рассказывая об этом, Мартов говорит, что к идее централизма склонялись те „искровцы", для которых „основной определяющей идеей стало создание организации, способной, по мановению руки властного центра, к широким боевым действиям против самодержавия". К тому же склонялись и те искровцы, которые в долгой и упорной борьбе с оппортунистическими течениями прониклись недоверием к массе средних партийных работников и искали в доведенной до крайних пределов централизации верного средства сохранять за политикой партии „ортодоксально"-марксистский характер, вопреки всем возможным колебаниям широкой партийной среды. Выразителем первой тенденции явился на съезде В. И. Ленин, второй—Г. В. Плеханов, которые в возникших на съезде дебатах стали на сторону самой крайней централизации [1]). Это верно. Не верно только, будто Плеханов только потому и склонился к централизму, что боялся ревизионизма и оппортунизма. Конечно, не без того, но вышеприведенные цитаты, на наш взгляд, не оставляют сомнения в том, что Плехановым руководил и здоровый организационный реализм, благодаря которому он еще в 1893 г. предпочитал организационные формы „Земли и Воли" и „Народной Воли".

Нетрудно доказать это и более объективным материалом. В своей речи по § 1 устава на II съезде Плеханов говорил: „Я не имел предвзятого взгляда на обсуждаемый пункт устава. Еще сегодня утром, слушая сторонников противоположных мнений, я находил, что „тот сей, то оный на бок гнется". Но чем больше говорилось об этом предмете, и чем внимательнее я вдумывался в речи ораторов, тем прочнее складывалось во мне убеждение в том, что правда на стороне Ленина. Весь вопрос сводится к тому, какие элементы могут быть включены в нашу партию. По проекту Ленина, членом партии может считаться лишь человек, вошедший в ту или иную организацию. Противники этого проекта утверждают, что этим создаются какие-то излишние трудности. Но в чем заключаются эти трудности? Говорилось о лицах, которые не захотят или не смогут вступить в одну из наших организаций. Но почему не смогут? Как человек, сам участвовавший в русских революционных организациях, я скажу, что не допускаю существования объективных условий, составляющих непреодолимое препятствие для такого вступления. А что касается тех господ, которые не захотят, то их нам и не надо. Здесь сказали что иной профессор, сочувствующий нашим взглядам, может найти для себя унизительным вступление в ту или иную местную организацию. По этому поводу мне вспоминается Энгельс, говоривший, что, когда имеешь дело с профессором, надо заранее приготовиться к самому худшему (смех). В самом деле, пример крайне неудачен. Если какой-нибудь профессор египтологии, на том основании, что он помнит наизусть всех фараонов и знает все требования, которые предъявлялись египтянами быку Апису, сочтет, что вступление в нашу организацию ниже его достоинства, то нам не нужно этого профессора. Говорить же о контроле партии над людьми, стоящими вне организации, значит играть словами. Фактически такой контроль неосуществим" [2]). Ссылаются обыкновенно на начало только-что приведенной цитаты в доказательство его колебаний. Но совершенно ясно, что тут шел разговор не о колебаниях принципиальных, — Плеханов

[1]) „История российской социал-демократии", под редакц. Л. Мартова, изд. „Книга", 1918 г., стр. 82.

[2]) Полный текст протоколов. Второй очередной съезд Росс. Соц.-Дем. Рабочей Партии. Издание Центрального Комитета. Типография Партии. Стр. 15.

действительно не принимал участия непосредственно в выработке устава, и, естественно, он должен был ознакомиться с уже существующими проектами. Как человек „без предвзятых мнений", он составлял себе мнение о существующих проектах, или, говоря иначе, он рассказывает в своей речи о том, как он устанавливал сходство и противоречия двух этих проектов, с высказанными им принципами; если это считать за „колебания", то, разумеется, Плеханов колебался. Но тогда мыслима одна лишь непоколебимость—слепота!

Далее, отвечая Аксельроду, который сослался в своей речи на 70-е годы, когда, по его мнению, числились членами землевольческой организации люди, не входившие ни в одну из организаций, Плеханов говорит: „Тогда существовал хорошо организованный и прекрасно дисциплинированный центр, существовали вокруг него созданные им организации разных разрядов, а что было вне этих организаций, было хаосом, анархией. Сознательные элементы этого хаоса называли себя членами партии, но дело не выигрывало, а теряло от этого. Нам нужно не подражать анархии семидесятых годов, а избегать ее" [1]).

Сторонники точки зрения Мартова аргументировали тем, что быть членом партии имеет большое нравственное значение, что Плеханов, естественно, не согласился считать за аргумент в пользу Мартова. „Если где и полезно вспомнить пример семидесятых годов, то именно в этом случае. Когда Желябов заявил на суде что он не член Исполнительного Комитета, а только его агент четверти степени до ерия, то это не умаляло, а увеличивало обаяние знаменитого Комитета. То же будет и теперь. Если тот или другой скажет, что он сочувствовал нашей партии, но не принадлежал к ней, потому что, к сожалению, не мог удовлетворить всем ее требованиям, то ее авторитет только возрастет" [1]). Трудно представить себе, что честь съезда, и не малая, не понимала столь простые доводы. Еще менее бы о понятно другое возражение, по которому принятие проекта Ленина помешает рабочим вступить в нашу партию: „Не понимаю я также, почему думают, что проект Ленина, будучи принят, закрыл бы двери нашей партии множеству рабочих. Рабочие, желающие вступить в партию, не побоятся войти в организацию. Им не страшна дисциплина. Побоятся войти в нее многие и те интеллигенты, насквозь пропитанные буржуазным индивидуализмом. Но это только хорошо. Эти буржуазные индивидуалисты являются обыкновенно также представителями всякого рода оппортунизма. Нам надо отделять их от себя. Проект Ленина может служить оплотом против их вторжений в партию, и уже по одному этому за него должны голосовать все противники оппортунизма". Это не в бровь, а в глаз будущим меньшевикам. Из этой речи совершенно ясно, что вопрос о борьбе с оппортунизмом посредством жестокого устава—один из аргументов для Плеханова, хотя и не последний.

Несколько времени спустя собрался II съезд Лиги революционной социал-демократии, где Плеханов вместе с Лениным защищал точку зрения все того же строгого централизма. Я уже привел его речи и реплики на этом съезде в № 6—7 „Под знаменем марксизма", поэтому отсылаю желающих проверить к этому номеру.

Совершенно несомненно, по-моему, что всякие россказни насчет колебания не имеют под собой никакой реальной почвы. Его речи и его поведение на обоих съездах так соответствуют его прежней позиции и высказанным им принципам, что и особо долго доказывать не следует вымышленность и недостоверность этого утверждения.

Внимательный читатель может убедиться, просматривая его

[1]) Там же, стр. 16.

статьи после разрыва с большевиками, что он ни разу не делал попытки пересмотра своих принципов. Наоборот, спустя много лет в эпоху борьбы с ликвидаторством, Плеханов неоднократно прямо отстаивал старую свою позицию II съезда. Приведу лишь один отрывок в доказательство этого.

В своей статье „Об улыбке авгура", представляющей собою ответ Ф. Дану на его обвинения, примерно, такого же содержания, о котором я говорил выше, Плеханов пишет: „Я отстаивал с Лениным ту его редакцию (§ 1 устава), которая гласила, что членом партии является всякий, принадлежащий к ее организации. Мне до сих пор кажется, что иного определения и быть не может... поскольку не нарушаются права логики (курсив мой. *В. В.*). Они находили эту редакцию слишком „узкою" [1]).

Это очень категорично и не требует особых разъяснений. В эпоху 1904—1908 г.г. не всегда он последовательно придерживался ей, очень часто сам нарушал дисциплину (как на яркий пример укажу на так называемый „Плехановский инцидент",—см. В. Ваганян, „Опыт библиографии", стр. 62), но объяснения всему этому периоду его деятельности следует искать в других причинах. Мы займемся ими в особой главе.

Подведем итог.

В вопросе об отношении социализма к политической борьбе и в частности о формах организации политической борьбы учение Плеханова представляло собой наиболее революционные и передовые воззрения во всем Втором Интернационале. До сих пор считают, что в вопросе об отношении социализма к политической борьбе заслуга Плеханова в том, что он установил правильное отношение между ними. Это верно, но это не вся правда, если бы его работа ограничилась этим, то за ним была бы лишь заслуга перенесения западно-европейского опыта на русскую почву. Но в том то и все дело, что его заслуга им не ограничивается. Не только в том его великая заслуга, что он в 80-ых годах установил правильное отношение между социализмом и политической борьбой, но и в том, что он, последовательно работая над организацией политической борьбы,—выработал стройную организационную систему централизованной, строго дисциплинированной классовой партии, которая одна и могла и смогла вести успешно борьбу с самодержавием, быть гегемоном в буржуазной революции и продолжить далее борьбу за „конечные цели". Но из статьи совершенно ясно, что этим ни в какой мере не исчерпывается учение Плеханова о социализме и политической борьбе; мы рассмотрели лишь условия успешного ведения политической борьбы, но труднейшими проблемами были также и вопросы о путях и целях ее. Ниже мы обратимся к его учению о гегемонии пролетариата в буржуазной революции и его представлениям о „конечной цели" и о проблемах социалистической революции.

В. Ваганян.

[1]) Второе приложение к № 15 „Дневн", стр. 5.

Очерки философии Д. Дидро.

III.

Философия природы.

(II. Статика и динамика вселенной).

Si les phénomènes ne sont pas enchaînés les uns aux autres, il n'y a point de philosophie.

Diderot.

Tout change, tout passe, il n'y a que le tout qui reste [1]).

Diderot.

1. Идеи непрерывности и трансформизма в XVIII веке и Дидро.—2. Морфология вселенной.—3. Космогония. Неорганическая и органическая природа.—4. Физиология вселенной. Элементы ламаркизма и дарвинизма у Дидро.— 5. Проблема гибели солнечной системы.

1.

Разрешив проблему единства вещества в природе, установив материальную молекулу элементом вещей, признав в ней первичный атом вселенной, Дидро должен был остановиться перед еще более грандиозной проблемой: как осмыслить при наличии такого исходного пункта всепроникающее разнообразие вещей и как сочетать это разнообразие вновь в единстве вселенной. XVIII век подводил его к пониманию морфологии существ, к размещению всех их по ступеням единой лестницы, но сбрасывал с этой лестницы неорганическую природу, отделял одну ступень от другой непроходимым барьером, уничтожая таким образом на ней всякое движение. Между тем, оставаясь на точке зрения статики природы, можно было осознать единство ее и разнообразие порознь, но нельзя было никак осмыслить единство в многообразии. Успехи естественных наук в следующем веке сломали эти барьеры, именно потому, что динамизировали природу, но Дидро уже не было в живых. XIX век установил как факт то, о чем его предшественник мог только делать философские догадки.

Дидро не дождался нового столетия, не только в буквальном смысле ухода из жизни, но и в ином, более богатом содержанием,

[1]) Если нет взаимной связи между явлениями, то нет места для философии.—Все меняется, все проходит, только целое остается.

он предвосхитил, оставаясь на почве философских обобщений, обобщения естественных наук XIX столетия. Он наметил пути естественной классификации всех явлений, принял их морфологию и физиологию, дошел, наконец, до понимания их трансформизма. Этим он стройно завершил свою философию природы; этим он опередил свой век; этим он отстранил от своей философии упрек в метафизичности, застойности, статичности.

Философия природы Дидро привлекла к себе внимание в восьмидесятых годах прошлого столетия, в годы великих достижений естествознания, в годы почти всеобщего признания дарвинизма; поводом послужило издание последнего и наиболеее полного собрания сочинений Дидро, в котором были впервые полностью напечатаны его „Элементы физиологии". Предвидение основ ламаркизма и, что более ценно, основ дарвинизма было на-лицо. Этим заинтересовались, и это должны бы ли признать даже противники дарвинизма.

Возгорелся спор о первенстве идей непрерывности и трансформизма в природе. Эти идеи у Дидро рассеяны, как известно, в Разговоре с д'Аламбером, в Сне д'Аламбера (1769) и в более отчетливой и явственной форме в упомянутых „Элементах физиологии" (1774—1780). Между тем их можно найти у Робинэ в „Философских рассуждениях о естественной градации форм" (1767) и в его же De la Nature (1761—1766), а также и у Боннэ в его „Размышлении о природе" (Contemplation de la Nature, 1764).

Оставим на мгновение спор о первенстве. Не удивительно ли, что подобные идеи, пусть несовершенные и смутные, разработанные наукой лишь спустя столетие, нашли себе выражение в работах философов материалистов? Дидро, Робинэ и Боннэ не были связаны ни дружбой, ни знакомством. Боннэ был вовсе оторван от Парижа. О непосредственной взаимной выработке миросозерцания, о чем можно говорить в отношении плеяды Дидро—Гольбах—Гельвеций, в данном случае не может быть речи. На литературное влияние тоже нет определенных и прямых указаний. Дидро несколько раз приводит имя Робинэ, полемизирует с ним, в общем, отзывается положительно: „у этого Робинэ есть пылкость, жар и характер". Гримм в своей Корреспонденции в декабре 1763 года и в феврале 1765 года дает очень лестные отзывы о работах Боннэ, хотя и восстает против оптимистического „все к лучшему" швейцарского философа. Этому Боннэ следовало бы пожить в Париже, чтобы приобрести „тон",—оба раза высказывает пожелание Гримм. Ни переписки, ни других непосредственных сношений у Дидро с обоими мыслителями не было. Не приходится ли признать, что материалистическая концепция природы у всех троих, будучи последовательно проводима, должна была привести, при наличии известных знаний в области естественных наук, к предчувствию всеобщего трансформизма. Если у Боннэ это как-то еще сочеталось с религиозными моментами (вот где надо искать, вероятно, „отсутствие тона", с точки зрения Гримма), а у Робинэ облекалось в густую метафизическую оболочку, то у Дидро, как мы увидим, отчетливо и без всякой примеси метафизики на-лицо предвидение основных моментов дарвинизма.

Но если вернуться к затронутой нами контроверзе, то хронологическое первенство все же остается за Дидро. Каро еще в 1879 году подчеркнул, что идеи всеобщей связи вещей и идеи эволюции заключены в „Мыслях об истолковании природы" (1754). Хотя это не было открытием Америки, ибо указанная работа появилась в печати еще в год своего написания, однако после такого подчеркивания стали

невозможны ошибки на подобие Ланге в „Истории материализма" о влиянии на Дидро Робинэ.

Не претендуя также на открытие, мы хотим подчеркнуть, что идеи трансформизма высказаны Дидро впервые не в Мыслях, как того хочет Каро, а еще в 1749 г. в „Письме о слепых". Уже в словах Саундерсона-Дидро есть указание на эволюцию существ и именно на основе естественного отбора; форма, правда, несколько фантастична, напоминает Эмпедокла и Лукреция, но принцип уже установлен, принцип „очищения вселенной" от неприспособленных существ.

„Я могу спросить вас, например,—говорит Саундерсон Гольмсу,—кто сказал вам, Лейбницу, Кларку, Ньютону, что в первые моменты образования животных одни из них не были без головы, а другие без ног. Я могу утверждать, что у одних не было желудков, а у других кишечников; что те, которым желудок, небо и зубы, как казалось бы, обещали длительное существование, исчезли вследствие какого-либо порока в сердце или легких; что уроды последовательно уничтожались; что все порочные сочетания исчезли и что остались лишь те, организм которых не содержал в себе каких-либо значительных противоречий и которые могли существовать самостоятельно (par elles-mêmes) и размножаться" [1]).

Далее мы должны настойчиво указать, что идеи единства вселенной, идеи всеобщей связи в природе имеются в самой ранней работе Дидро, в переводе Шафтсбери „Опыт о заслуге и добродетели". Найдя у Шафтсбери намек на сродство и единство всех царств природы, Дидро делает такое примечание: „Во вселенной все объединено. Эта истина была одним из первых шагов философии, и это был гигантский шаг... Все усилия современных философов сводятся к тому, чтобы установить это же положение. Все авторы систем, не исключая и Эпикура, предполагают его, когда они рассматривают мир как машину, образование которой они должны объяснить и скрытые силы которой они должны обнаружить. Чем дальше вглядываешься в природу, тем больше видишь в ней единства. У нас не хватает только способности проникнуть во множество частей и опыта, пропорционального величине целого, чтобы найти доказательства. Но если целое необъятно, если число частей бесконечно, приходится ли удивляться, что это единство часто от нас ускользает? Где основание, чтобы заключить отсюда об его отсутствии?" [2]).

В приведенных словах не только утверждение органического единства вселенной, но и признание трудности уловить воочию это единство,—условие, при котором только и возможно познание природы, философия. Так говорил Дидро еще в 1745 году.

Он сам признает, что подобное положение составляет первый шаг философии, сам указывает на материалиста древности Эпикура. Из числа его духовных предков в этом отношении можно указать и на Эмпедокла, и на Лукреция, которого Дидро, вопреки мнению Каро, знает не только как поэта, но и как космогониста. Но гипотезы древних материалистов претерпели, конечно, существеннейшее изменение в руках Дидро. Они обогащены, пропитаны всем развитием науки за две тысячи лет, они проникнуты предвидением науки будущего XIX столетия.

[1]) Diderot, I, 309.
[2]) Diderot, I, 26–27.

2.

Для того, чтобы совладать с материалом, научно обработать его и сделать обобщения и выводы, как результат познания, современное естествознание и в частности биология, к которой нам теперь придется чаще всего обращаться, начала с классификации. Классификация выполняет служебную, прикладную роль, является лишь орудием в руках ученого, однако орудием, без которого нельзя ступить шагу. По отношению к растительному царству такая искусственная классификация была дана Линнеем в 1735 году в Systema Naturae. Организмы сгруппировывались на основании нескольких, иногда произвольно взятых признаков. Линней сам сознавал, что его система—лишь средство, целью же он считал систему естественную, в которой бы следовало отразить в совершенстве ту последовательность, какую представляет сама природа.

Такую естественную систему для того же растительного царства впервые представил Антуан Лоран де-Жюссье в 1789 г. в Genera plantarum secundum ordines naturales disposita. Жюссье первый провел в своей классификации идею восходящей лестницы органических существ. Таковы были первые шаги морфологии.

Простое сопоставление этих данных с несколькими строчками Дидро покажет нам, что мыслитель понимал эту задачу естественной классификации, что он не ограничивал ее тем или иным, так-называемым, царством природы, но указывал на необходимость распространить ее на всю природу. „Нужно начинать с классификации существ,—гласит первый же параграф Элементов физиологии,—начиная с инертной молекулы, если таковая есть, переходя к живой молекуле, к микроскопическому животному, к животно-растению, к животному, к человеку".

Дидро сразу ставит задачу во всей широте и объеме. Молекула—элемент вещей. С нее и следует начинать классификацию. Мы не хотим сказать, что Дидро неким чудом дошел до такого требования. Наиболее смелым с его стороны было утверждение связи неорганической природы с природой органической. Здесь заключался наиболее трудный шаг. Перейдя эту грань, легче было связать царство растительное с царством животным. Животное приблизить к человеку для эпохи просвещения было сравнительно не трудно. Линней уже ввел человека в систему животного царства, Ля-Меттри сделал это в области философии.

Разница между животным или машиной из мяса и машиной из железа и дерева; между человеком, собакой и часами, с точки зрения Дидро, та, что в последних необходимые движения не сопровождаются ни сознанием, ни волей, а в первых они же, столь же необходимые, сознанием и волей сопровождаются. Но, как мы уже знаем, сознание и воля не есть для природы и ее элементов предел, его же не прейдеши, а лишь степень организации молекул. „Если вы припишете, говорит Дидро д'Аламберу,—что между животным и вами знаете,—что между животным и вами различие только в организации, вы обнаружите здравый смысл и разумение, вы окажетесь добросовестным мыслителем".

Всякое животное более или менее человек, всякое растение более или менее животное. Отсюда уже напрашивается дальнейшая аналогия: всякий минерал более или менее растение. В самом деле, „растительное царство могло бы быть и было первым источником животного царства, и само получило свой источник в царстве минеральном; а это последнее,—продолжает заключать Дидро,—вышло из всеобщей гетерогенной материи" [1]).

О связи царства растительного с царством животным уже говорили во время Дидро естествоиспытатели, но эту связь признавали только в пределах классификации, статики, но не в динамике природы. Постоянство видов утверждалось, и не только Линнеем. Связь растения с животным видели в молекуле, в этом достоянии науки XVIII века. Во втором томе своей Естественной истории (1749) Бюффон писал, что все живые существа содержат большое число живых и деятельных молекул; что, повидимому, жизнь растения или животного есть лишь результат действий всех этих маленьких отдельных жизней.

Мы подчеркнули слова „большое число", потому что Бюффон, видимо, так же как и Галлер, полагал, что в организме одарены чувствительностью только некоторые части. Это было неприемлемо для Дидро с его концепцией чувствительности как аттрибута материи. Это-то и позволило ему высказать диковинную в его время мысль о связности органического мира с неорганическим. Такое утверждение, хотя бы в плоскости статики, уже было чревато последствиями. По формуле Линнея, mineralia sunt, vegetabilia vivunt et crescunt, animalia vivunt, crescunt et sentiunt. И вдруг вместо такой аккуратной системы, где каждое царство было ограничено непреодолимой стеной, Дидро говорит, что и камень чувствует.

Конечно, отсюда не следует, что Дидро не усматривает никакой разницы между камнем и человеком, но различие все в том, что у камня только in potentia, то у человека уже в „снятой", говоря по-гегелевски, форме: и отменено, и сохранено, и поднято, и расширено. „Человек имеет существования всякого рода: инерция, чувствительность, растительная жизнь, жизнь полипа, животная жизнь, жизнь человека",—все это объединено и органически слито в нем. Но в потенции все это заложено и в представителях так-называемого неорганического мира.

Дидро интересуется переходными формами, он замечает их для себя, он как бы регистрирует их. В 1768 году Эллис указал на плотоядное растение, мухоловку (Muscipula Dionaea), и Дидро записывает этот феномен у себя под рубрикой Смежность растительного царства с царством животным. Если в данном случае он не приводит имени Эллиса, то иногда его заметки пестрят такими именами, как Нидгэм, Кампер, Фонтана, Галлер, Линней. Все это свидетельствует о том, что Дидро был в курсе естественных наук своего времени. Отсюда он черпал материалы для своих построений и, надо сказать, иногда в кратких положениях опережал ученых современников.

Конечно, подчас его взгляды представляются наивными, но в подобных случаях его вводила в заблуждение современная ему наука. Так, например, Дидро усматривал связь неорганической природы с природой органической в generatio spontanea, в самопроизвольном зарождении живых существ. Еще Сваммердам в XVII веке доказывал несостоятельность самозарождения в некоторых случаях. Реди в 1668 году показал, что не гниение порождает животных, но, как раз обратно, животные порождают гниение. Однако научный взгляд не укрепился в XVIII столетии. Такие ученые, как Нидгэм и Бюффон, настаивали на произвольном зарождении организмов. Дидро разделял их взгляды, быть может, склоняясь перед авторитетом, быть может,

[1]) Diderot, IX, 269.

хватаясь за легкий и удобный переход между двумя мирами. Надо помнить, что только Пастер окончательно убил эту гипотезу.

С другой стороны, необходимо иметь в виду, что Дидро занял верную позицию в другом споре того времени, споре о предустановленных или, как говорили, „вложенных" зародышах. Согласно этой так-называемой в XVII веке „эволюционной" теории, зародыш животного во всем походит на взрослую особь; он только увеличивается в размерах, растет. Противники указывали, что, если быть последовательным, то надо признать второй вполне готовый зародыш внутри первого, внутри второго—третий, и так далее, что, очевидно, нелепо. Гарвей и Галлер были „эволюционистами", их взгляды разделял и отрицавший произвольное зарождение Лейбниц. Дидро же, как это видно из его Диалогов, стоял на истинной эволюционной точке зрения.

У Дидро есть и более осторожный пример перехода неорганической природы в органическую; это—известное превращение мраморной статуи в человека из „Разговора с д'Аламбером", путем удабривания ею земли, взращивания на ней растений и поглощения этих растений в качестве пищи человеком. Переход, основанный на законе сохранения материи.

Именно по этому пути пошло естествознание XIX века. Для доказательства сродства неорганической и органической природы необходимо и достаточно было показать наличие и там и здесь одних и тех же элементов. Дидро узнавал в них свою молекулу. Его единомышленником в то время был, вероятно, один Лавуазье. Последний признавал уже, что органические существа состоят из тех же элементов, что и неорганические, но эта догадка могла стать фактом лишь при осуществлении синтеза органических веществ: белков, углеводов и жиров. Синтез жиров, как известно, был осуществлен во второй половине прошлого столетия Бертло; синтез углеводов, или сахаристых веществ, совершил Э. Фишер; он же сделал большие успехи уже в недавнее время в направлении синтеза белков. Органическая химия докончила дело Дидро.

Такая же связь была установлена специально между неорганической природой и растением. Трудами ряда ученых удалось выяснить, что растения черпают все свои элементы из почвы, воды и воздуха. Неорганическое, минеральное вещество превращается в растении в вещество органическое. Физиология растений и здесь доказала то, что предполагал Дидро. Эта же наука трудами К. Тимирязева указала на функцию растения, как посредника между солнцем и жизнью на земле. Открытие Шванном клеточки связало все органические существа в одну неразрывную цепь; в этой клеточке Дидро признал бы свою „живую" молекулу, как в атоме современной химии—молекулу „инертную". Когда же спектральный анализ установил, что вся вселенная, насколько она доступна нашим органам чувств, состоит из тех же химических элементов, что и земной шар, вся цепь от молекулы Дидро до его вселенной была замкнута.

Философа несколько беспокоили разрывы цепи, отсутствие некоторых звеньев, какие он хотел бы видеть. Надо сказать, что эти разрывы беспокоили не только Дидро, но и Ламарка и других, до тех пор пока Дарвином в его опытах по искусственному отбору не было найдено естественное их объяснение. Дидро тоже пытался дать объяснение разрывов и предвидел их постепенное заполнение. Под рубрикой Цепь существ он записывает в „Элементах физиологии": „Не следует думать, что цепь существ прерывается разнообразием форм; форма—часто лишь обманчивая маска, и звено, которое кажется отсутствующим, есть, быть может, в известном существе, которому

прогресс сравнительной анатомии еще не в состоянии указать истинное место. Этот способ классификации,—возвращается Дидро к естественной системе,—очень мучителен и медлен; он может быть плодом лишь последовательных работ многочисленных натуралистов" [1]). Кстати сказать, понятие натуралист Дидро принимает равнозначным понятию материалист. В XVIII веке, когда материализм еще не проник в область общественных наук и только приступал к этому новому шагу, подобная идентификация была вполне законна и точна. Объединенными усилиями сравнительной анатомии и палеонтологии, как о том думал Дидро, многие звенья были найдены и поставлены на свое место.

В другой работе, написанной почти за тридцать лет до „Элементов", Дидро легче и менее удовлетворительно отвечает на тот же вопрос. Он попросту его отводит. Если опытная физика настолько сблизит все феномены, что из них образуется беспрерывный замкнутый круг, то в нем нельзя будет распознать даже, где находится первый феномен, где последний. Читатель видит, что здесь нет еще идеи постепенного восхождения от простого к более сложному. Однако, и Ламарк видел счастливое явление в разрывах (vides) цепи. Поглощенный задачами классификации, он утверждал, что только при разрывах создаются для нее условия. Без резкого же разграничения отрезков (coupes) классификация невозможна. Это, собственно, не объяснение, а успокоение молодого Дидро и зрелого Ламарка, конечно, не могло быть признано удовлетворительным; приходилось ожидать иного толкования. Толкование это было найдено, как сказано, в дарвинизме, в теории происхождения видов путем естественного отбора. Дидро и здесь оказался не только на высоте современной ему науки, но впереди нее.

Конечно, мы не утверждаем, что он наметил путь, по которому пошел Ламарк и Дарвин. Дело в том, что пути этих ученых были различны, сближала их только идея трансформизма. Но мы говорим, что элементы ламаркизма и, что более любопытно, элементы дарвинизма уже есть в мировоззрении Дидро. От статики вселенной мы переходим к ее динамике, при чем, по принятому раз обыкновению, будем отмечать как сильные, так и слабые стороны мыслителя.

3.

Дидро не дал нам хотя бы в отрывке своей космогонии. Ясно только, что исходным пунктом создания вселенной у него является вечная материя с вечным движением или, как он говорит о тех временах, брожением вещества. Состояние вселенной ему рисуется как хаос. Конечно, этот хаос не есть хаос библейский, не бог его создал и не бог из него создал мир. Надо сказать, что вообще все ранние космогонические гипотезы начинают с хаоса. Так, Кант в своей „Истории неба" (1755) первоначальным состоянием признает хаос, притом пребывающий в покое. Только затем, увлеченный Ньютоном, молодой кенигсбергский мыслитель заставляет этот хаос рассеиваться под влиянием сил притяжения и отталкивания.

Лаплас, создавший первую могущую претендовать на научность космогонию, обходится уже без хаоса, начиная непосредственно с туманности, равномерно вращающейся и сильно уплотненной в центре. Но его „Изложение системы мира" появилось только в

[1]) Diderot, IX, 253.

1797 году. Дидро, наверное, примкнул бы к нему. Космогония же Канта, по всей вероятности, осталась для него вовсе неизвестной. Во всяком случае, с нашей точки зрения, „брожение материи", порождающее вселенную Дидро, именно в силу от века заложенного в ней движения имеет преимущество перед покоящимся вначале хаосом Канта.

Тщетно исследователь пытался бы найти у Дидро более подробные указания по данному вопросу. Статья „Хаос" из Энциклопедии нисколько не помогает. К этим статьям, как мы уже неоднократно указывали, вообще необходимо относиться с осторожностью. Они не выявляют полностью взглядов Дидро и, в лучшем случае, двусмысленны, когда дело идет о предметах, из которых можно было сделать выводы против церкви и государства.

Так и в данном случае, — полагаем не безынтересно отметить для характеристики Дидро, как редактора Энциклопедии, — он ведет полемику с материалистическими космогониями древности. „Будем верить с Моисеем, что..." и т. д. все было по библии, и прибавим: 1) не следует противоречить основным истинам книги Бытия, 2) философам можно строить гипотезы только о том, о чем не говорит ясно книга Бытия, 3) священное писание создано не для того, чтобы научить нас светским наукам и физике, но истинам веры и добродетели; посему обо всем можно говорить, поскольку не противоречишь откровению, 4) ученые могут, не впадая в ересь, заменить слово creavit словами formavit, disposuit, ибо и по Моисею хаос был раньше образования мира, 5) священное писание, все вдохновленное св. духом, хотя и написанное многими различными людьми, очень противоречиво, начиная с первого стиха, 6) „приняв все указанные предосторожности", можно говорить о хаосе все, что угодно!

Читатель видит, что начало и конец этой эзоповской тирады вовсе не согласуются. Дидро должен был в Энциклопедии и считаться с иезуитами, и прокладывать дорогу новому мировоззрению. Общество, конечно, угадывало мысли Дидро.

Повторяем, процесса образования вселенной Дидро не дает. Он устанавливает только принцип и достаточное основание: раз дана материя и ее движение, мир мог образоваться. Почему он образовался таким, а не иным? На этот вопрос Дидро дает ответ, который по конечному положению можно сблизить с лейбницевским, но по обоснованию следует его признать прямо противоположным. Мир Лейбница — „лучший из возможных миров", поэтому бог образовал именно этот мир. Мир Дидро — не лучший в смысле этической оценки, но наилучше приспособленный в смысле своего дальнейшего существования, он наиболее устойчив и наименее противоречив в своей конструкции, поэтому-то он, данное сочетание материи, сохранился. „Я делаю предположение, — говорит Дидро в лице слепого Саундерсона в 1749 году, — что вначале, когда брожение материи порождало вселенную, такие (слепые), как я, встречались очень часто. Но почему мне не думать о мирах того же самого, что и о животных? Сколько уродливых, несовершенных миров, быть может, распадалось, преобразовывалось и вновь распадалось в отдаленных пространствах, которых я не осязаю, а вы не видите, но в которых движение продолжает и будет продолжать сочетание масс материи до тех пор, пока они не придут в такое расположение, в котором они смогут быть устойчивыми" [1]). В этих словах заключается, несомненно, зародыш попытки Крукса дарвинизировать мир

[1]) Diderot, I, 310.

элементов, попытки, признанной, как будто бы, неудачной. Но, с другой стороны, какая космогоническая гипотеза, даже из новейших, может отказаться от предпосылки, что наш мир существует, именно, имея в своей основе данное устойчивое сочетание материи?

Когда мы говорили о морфологической статике вселенной, мы указали на путь Дидро, в котором он нашел сродство между неорганической и органической природами: наличие и там, и здесь одних и тех же элементов. Теперь, когда идет речь о генезисе существ, мы в этом же пункте находим у Дидро только его теорию произвольного зарождения организмов. Конечно, не следует понимать трансформизм Дидро, равно как и позднейший, так вульгарно: сначала минерал, потом из него растение, затем животное. Это — азбучная истина. Но, надо признаться, Дидро искал этого сродства и в динамике вселенной, ее генезисе. Быть может, ради этого он и принимал в своем мировоззрении указанную гипотезу.

Современная нам наука не дает здесь ответа, но и не видит в этом своего поражения. Уместно будет привести в подлиннике слова крупнейшего ученого, относящиеся к интересующему нас вопросу: „Изучение жизненных явлений точно так же, как изучение форм живых существ, убеждает в единстве органического мира, но о генетической связи этого единого органического мира с миром неорганическим пока ничего не известно. Не будем, однако, делать из этого вывода преждевременного заключения; история науки служит нам предостережением; вспомним, что, еще за нашу память, химия приходила к такому же отрицательному выводу по отношению к возможности синтеза органического вещества, и воздержимся от повторения такой же, быть может, ошибки по отношению к органической форме" [1]).

Быть может, и это генетическое звено из предположения Дидро превратится в факт. До сих пор виталисты терпели только поражения. Чтобы ознакомить читателя с новейшими выводами в этом отношении, в наших силах, конечно, только предоставить слово опять одному из специалистов: „Одушевленная материя, несомненно, связана с существованием в высшей степени сложных молекул, т.е. с возможностью весьма разнообразного сочленения атомов". Речь идет об углероде и азоте, которые в соединении с кислородом и водородом являются главнейшими составными частями всех земных живых существ. „Очень сложные молекулы, которые здесь фигурируют, оказываются достаточно способными к реакциям только внутри узкого интервала температуры. Мы видим таким образом, что условия для образования живых существ достаточно тесны и что только на немногих планетах, да и то лишь в известное время, эти условия оказываются выполненными в необходимой степени" [2]). Таково пока последнее слово науки. Дидро не пришлось бы предаваться пессимизму. Его гипотеза о генетической связи не отброшена.

4.

Переходя к трансформизму в собственном смысле слова или, если принять удачное выражение К. Тимирязева, к „феноменологии живых существ", мы не будем задерживаться на известных местах Дидро

[1]) К. А. Тимирязев. Исторический метод биологии, М. 1922, стр. 33.

[2]) „Успехи физических наук", вып. 2—3. В. Нернст, Мироздание в свете новейших исследований.

из его Диалогов, а, предпочитая краткость, остановимся лишь на общих принципах.

Для Дидро представлялось совершенно ясным положение о невозможности постоянства видов. Это положение он черпал, быть может, из наблюдения, размышления и сравнивания различных пород живых существ; это положение вытекало у него и из его основного принципа молекулы, как элемента вещей, и бесконечного разнообразия ее движений и их сочетаний с движениями других молекул, из того, что он называл жизнью молекулы.

Постоянство видов для Дидро—нелепица. Указывая на несколько таких абсурдных предположений, из которых вытекают все неразрешимые затруднения, он говорит: „вот одно из подобных предположений: на поверхности земли имеется существо, животное, которое всегда было таким, как сейчас".

Действительно, постоянство видов нарушает органическое единство природы. Если виды всегда были и всегда будут такими, какими мы видим их, единство организмов теряет свою ясную форму, получает темный, метафизический смысл. Действительной, естественной цепи существ нет и никогда не было; она существует в нашем представлении, субъективно, объективно ее нет. Поэтому-то и Линней, признававший: species tot sunt diversae quot diversas formas creavit infinitus deus [1]), остановился и не пошел дальше искусственной классификации. Но раз эта цепь объективна, реальна, миросозерцание должно найти те условия и принципы, коими определяется происхождение видов. Дидро намечает эти условия и принципы.

Основным условием является время, время не как форма существования материи,—это последнее положение относится к общей онтологии,—но время в смысле срока, достаточного для образования и превращения видов. На вопрос виталистов XIX века, почему же на наших глазах не совершается превращение видов,—вопрос, напоминающий „возражения" Дарвину из прежних гимназических учебников вероучения, почему же теперь из обезьяны не „происходит" человек,—у Дидро уже был готов ответ в остроумной форме софизма эфемерности (le sophisme de l'éphémère). Это—софизм преходящего существа, которое верит в бессмертие вещей; это—софизм розы Фонтенелля, которая говорила, что, насколько она помнит, она никогда еще не видала, чтобы садовник умирал.

Зная или не зная об этом софизме эфемерного существа, Ламарк воскресил его в начале XIX века. В прибавлении ко второму тому Philosophie zoologique он говорит, что если бы длительность человеческой жизни равнялась одной секунде, то ни один человек не замечал бы вовсе движения часовой стрелки и верил бы в ее неподвижность. Больше того, тридцать таких последовательных поколений, очевидно, по той же причине считали бы ее неподвижной; более древние показания не имели бы в их глазах никакой силы. „Предоставляю читателям,—заканчивает Ламарк,—вывести заключение из этих соображений". Мысль Ламарка, по аналогии с дидротовским софизмом розы, можно назвать „софизмом секундной стрелки".

В 1755 году Кант смело объявлял: „дайте мне материю я построю из нее мир", но на той же странице он приводил как пример дерзости заявление „дайте мне материю и я покажу вам, как можно было бы произвести гусеницу". Дидро же не останавливался здесь, он мог бы сказать теми же словами: „дайте мне материю и время, и я покажу вам, как могли бы произойти виды живых существ".

[1]) Виды столь разнообразны, сколько различных форм создал бесконечный бог.

Человек, вследствие кратковременности своего существования, не в состоянии уловить, даже на протяжении ряда поколений, изменение видов путем естественного отбора, но он же наблюдает и экспериментирует над превращением видов путем отбора искусственного в сравнительно короткие сроки.

Для допущения трансформаций Дидро должен был уметь оперировать астрономическими цифрами, по земному масштабу весьма большими периодами времени. И, как видно, подобная историческая перспектива у него была. XVIII век уже умел прилагать к истории земли такие мерки. За пять лет до смерти Дидро появились „Эпохи природы" Бюффона, где автор определял возраст земного шара до своего времени в 75 миллионов лет. Это число по современным нам вычислениям должно быть значительно увеличено, но, говоря абстрактно, для науки XVIII века цифра была достаточно солидной.

Таким образом весьма продолжительные сроки являются для Дидро основным условием трансформационных процессов, но только условием. Миросозерцание трансформистов должно отчетливо выявить себе те принципы, которые объективно лежат в этих процессах. Дидро неоднократно возвращается к одному из них и, надо сказать, наиболее спорному. Так, в „Сне д'Аламбера" он резко заявляет: „органы производят потребности, и потребности производят органы". Эту формулу мы находим и у Ламарка. Если первая часть ее соответствует действительности, то вторую современная наука отрицает. Исходный пункт, влияние внешней среды, окружающих условий на форму и организацию животных, безусловно правилен, но переход от объективности к условиям субъективным, к внутренним „потребностям" животного есть начало ошибки. Когда Ламарк, быть может, сам того не зная, развивает эту вторую часть формулы Дидро, и говорит о том, что „внутреннее чувство", „стремления", „потребности" способны не только развить уже существующий орган, но и породить новый, он принужден высказывать целый ряд бездоказательных догадок. Классическим примером такого рода предположений является его гипотеза появления рогов у быка. „Внутреннее чувство" животного в порыве гнева направляло жидкости к этой части головы и вызывало отложение рогового вещества. В подобной формуле ахиллесова пята ламаркизма, столь использованная противниками эволюционной теории вообще.

Положение „потребности производят органы" является и у Ламарка, и у Дидро лишь предельным выводом из их принципа. Другие же стороны его, не столь резкие, не противоречат современному знанию. И это положение тем более странно звучит у Дидро, что в „Отвержении Гельвеция" он сам говорит: „не дают ничего из того, в чем отказала природа; быть может разрушают то, что она дала". Не следует превратно понимать этот афоризм, перегибать палку на другую сторону. Дидро здесь вовсе не перебрасывается в лагерь метафизичности, застойности. Дело идет об отдельном индивиде, об одной жизни, а не о происхождении видов вообще, и то Дидро сейчас же добавляет к только что приведенным словам: „культура воспитания улучшает ее (природы) дары". Воспитание он понимает здесь в широком смысле воздействия на индивида.

Здесь Дидро на верном пути. На следующей же странице он добавляет, что упражнение усиливает органы, бездеятельность их разрушает; „свяжите руку ребенка в детстве, сделайте так, чтобы он ею не пользовался, и вы сведете на ничто этот орган". Читатель видит, что слово „потребность" заменено упражнением, слово „порождает"—уступило место слову „усиливает". В другом случае

„потребность", по смыслу заменяется необходимостью, очевидно, категорией иного порядка: „иногда природный порок одного органа восполняется многократным упражнением другого". Если слепой потерял ощущение форм и все проистекающие отсюда восприятия, он становится более чувствителен к звукам. Звук голоса для него то же, что физиономия для зрячего.

Постановка объективной необходимости на место субъективной потребности выпрямляет миросозерцание Дидро. Так и современная биология объективной необходимостью движения (результат способа питания) обусловливает для животных развитие у них характерных мышечной и нервной систем, в то время как иной способ питания обусловливает у растений отсутствие этих систем.

Первая часть формулы „органы порождают потребности" звучит иногда у Дидро, быть может, менее ярко, но более научно: „организация определяет функции". Но так как мы должны брать Дидро таким, каким он был в действительности, мы обязаны помнить все его положения по данному вопросу, тем более что он сам суммирует их в одну формулу, которая и хронологически и по своему месту в конце „Элементов физиологии" как бы подводит итог: „организация определяет функции и потребности, а иногда потребности обратно влияют на организацию, и это влияние может иногда простираться вплоть до того, что производит органы, и всегда вплоть до их трансформирования" [1]. В этом итоговом положении весь Ламарк с его сильными и слабыми сторонами.

Однако ошибочным было бы считать Дидро „ламаркистом". Если уж применять подобные анахронизмы, Дидро следовало бы считать „дарвинистом", ибо в зачаточной форме, в форме намеков у него можно найти все три принципа дарвинизма. Мы извиняемся перед читателем в том, что принуждены будем в двух словах напомнить эти общие принципы: 1) Изменчивость организмов, возникновение несходного. Она доставляет материал для образования новых форм, новых особенностей в строении организмов и в их отправлении. Этот новый материал может быть и полезным для организма, и вредным, как, например, бывает для самого животного при искусственном отборе в тех или иных интересах человека. Сама по себе изменчивость не может быть фактором в процессе совершенствования организмов. 2) Наследственность, сохранение сходного. В противоположность изменчивости здесь не приобретение нового, но сохранение старого; это, как говорят, начало консервативное. Как и изменчивость, наследственность сама по себе, способная сохранять и полезное, и вредное, снова не является самостоятельным фактором прогресса, превращения видов. 3) Перенаселение,—фактор, найденный Дарвиным у Мальтуса и, по принадлежности, перенесенный им из общества в природу. Перенаселение устраняет отдельные существа и виды их, несоответствующие или почти несоответствующие условиям существования. В результате остаются те, кто оказывается наиболее приспособленным к этим условиям. В последнем, по существу, но при наличии двух первых, и заключается то, что Дарвин назвал естественным отбором или, по Г. Спенсеру, переживание наиболее приспособленного.

В нашу скромную задачу, как сказано, входит указать, что Дидро имел представление об этих факторах. Чем, по существу, является его отрицание постоянства видов, существ, как не признанием их изменчивости? Мы приводили уже слова Дидро о нелепости

[1]) Diderot, IX, 336.

воззрения, признающего постоянство форм. Под рубрикой животные Дидро записывает в „Элементах физиологии": „Не следует думать, что они всегда были и останутся такими, какими мы их видим. Это результат — бесконечного потока времени, по прошествии которого кажется, что их окраска, их форма сохраняет стационарное положение, но так только кажется" [1]). Дидро не берет на себя труд обосновать этот тезис, подкрепить его данными наблюдения, опыта. Быть может, кое-какие опытные доказательства у него и были; быть может, их вовсе не было, и к такому выводу его привели лишь размышления над прочитанными книгами, случайные наблюдения. Не надо забывать, что, например, ни физиологической географии растений, ни экспериментальной морфологии в XVIII веке не было. От Дидро нельзя и требовать таких доказательств. Если бы, предположим, он их дал, он был бы не Дидро XVIII века, а Дарвином XIX-го. К тому же „Элементы" писались их автором не для печати, а для себя лично.

Далее, под рубрикой Функции животных Дидро записывает: „Наблюдение, которым не следовало бы пренебрегать: от матери к ребенку, который в течение девяти месяцев составляет с ней одно целое, переходят расположения (dispositions), вкусы, органические привычки, всю действительность которых мы не можем хорошенько знать" [2]). Скептически настроенный читатель может спросить: и это все по вопросу о наследственности? Да, если говорить о прямых буквальных выражениях, все. Но много ли можно указать примеров на протяжении всего XVIII века, где бы подчеркивалась наследственная передача „расположения", под которым обычно разумели строение, организацию, и „органические привычки". Учение о наследственности также целиком принадлежит XIX столетию. И Дидро в свою эпоху один или один из немногих, если таковые имелись, подчеркнул роль наследственности.

Наконец, Дидро является не просто эволюционистом, но, как мы сказали, допуская анахронизм, и дарвинистом. У него фигурируют идеи именно естественного отбора, „переживания наиболее приспособленных". Причем этот процесс вовсе не „стремление" к лучшей форме, к совершенству и красоте, но объективно необходимый и неизбежный процесс „очищения" вселенной от наименее приспособленных к данным сочетаниям материи. Если бы эти сочетания вещества почему-либо резко изменились, то наиболее „прекрасные и совершенные" существа немедленно превратились бы в существа несовершенные, уродливые, и если бы не приспособились к новым жизненным условиям, то быстро бы погибли. Телеологической связи явлений у Дидро в истолковании природы нет; связь у него исключительно причинная.

Мы приводили уже два места, характерных в этом отношении, из „Письма о слепых"; во втором Дидро пытался даже ввести принцип естественного отбора в неорганический мир. В „Элементах физиологии" он в двух словах возвращается к этому же вопросу. Речь идет снова об уродах, но, как мы говорили, уродом, с точки зрения Дидро, является неприспособленное к жизненным условиям существо. Что такое урод?— Существо, продолжительность которого несовместима с существующим порядком. Но общий порядок изменяется беспрерывно. Как среди этого непостоянства продолжительность вида (espèce) может оставаться неизменной? Только мо-

[1]) Diderot, IX, 264.
[2]) Jbid, 265.

лекула вечна и неизменна. Это опять-таки итоговое положение содержится на последних страницах „Элементов". Первая их страница передает ту же мысль в несколько более развернутой форме; под заголовком: Противоречивые существа мы находим: „Это такие, организация которых не соответствует остальной вселенной. Произведшая их слепая природа изгоняет их; она позволяет оставаться только тем, кто может сносно сосуществовать с общим порядком, которым столь тщеславятся ее панегиристы" [1]). Последние иронические слова являются как бы возражением самого Дидро тем историкам, которые, считая его пантеистом, полагают, что он обожествлял природу, ее порядок и гармонию. „Мир—жилище сильного",— таков заключительный аккорд „Элементов физиологии".

Если бы „дарвинист" Дидро дожил до полного оформления этой теории, он был бы удовлетворен разрешением столь мучившей его загадки отсутствия в единой цепи существ многих звеньев. Этот вопрос был предметом длительных размышлений Дарвина, пока он не нашел к нему ключа, наблюдая искусственный отбор. При размножении искусственных пород он постоянно замечал, что средние формы избегаются и им предпочитаются крайние формы. Чем больше разнообразия в потомстве и, стало быть, чем больше уклонение от первичной формы, тем более увеличиваются шансы на совместное существование в дальнейшем. То же самое явление происходит и при естественном отборе в природе. Средние, переходные формы исчезают, уступая место предельно отличным формам. Этот принцип divirgence of character объяснил, почему единая цепь необходимо должна быть порванной. Некогда, конечно, переходные формы существовали и, по всей вероятности, сравнительно недолгое время. Успехи палеонтологии и сравнительной анатомии (на которую Дидро в этом отношении возлагал большие надежды) с эмбриологией привели к разысканию многих таких переходных форм.

Дарвин, как известно, признавал наличие скачков в процессе эволюции; надо полагать, что и Дидро отказался бы от лейбницевского natura non fit saltum; но в историю философии этот диалектик должен войти, как отрицающий возможность изменения видов скачками.

5.

Чтобы закончить очерк, использовав весь материал, какой дает Дидро для своего учения о динамике вселенной, мы, в нашем изложении, принуждены сами совершить изрядный „скачек". Как помнит читатель, Дидро бросил несколько мыслей о происхождении вселенной. Его больше интересовали те изменения, какие совершаются на поверхности земного шара, этого единственного индивида, по выражению Дидро; но у него же мы находим, правда без особой связи с остальным, несколько беглых мыслей и о вечерней заре земного шара, о гибели мира.

Так, в „Письме о слепых" он вкладывает в предсмертную речь Саундерсона довольно пессимистические слова: „Что такое мир? Нечто сложное, подверженное переворотам, и все они указывают на постоянную тенденцию к разрушению, ряд существ, быстро сменяющих друг друга, отталкивающихся и разрушающихся,— преходящая симметрия, порядок на мгновение". Эти слова представляют собою антипод софизма эфемерного существа. Таким эфемерным существом

[1]) Ibid, 253.

оказывается уже не роза, не человек с его кратким существованием, а самый мир. Человек же, сам существо преходящее, улавливает неустойчивость и неминуемую гибель великого индивида.

Мы позволим себе привести вторую и последнюю выдержку, мысли Дидро из его „Путешествия в Бурбонн" 1770 г. Горячие подземные источники, которые наблюдал там Дидро, рисуют ему более конкретно гибель земного шара: „Сколько перемен в необъятном пространстве, которое простирается над нами? И сколько их в глубоких недрах земли?.. Моря и население проходят. Будет некогда день, и киты окажутся там, где (сейчас) произрастают наши пашни; пустыни,—где кишит человеческая раса. Вулканы, кажется, сообщаются от одного полюса до другого... Недра земли кишат громадными пещерами... Огонь прорыл для воды резервуары... Крайние части нашего обиталища оседают, экватор возвышается со все возрастающей силой. То, что мы называем нашим шаром, постоянно стремится образовать лишь тонкую и громадную плоскость. Быть может, прежде чем принять такую форму, он низвергнется в океан огня, который зажжет его вслед за Меркурием, Марсом, Венерой. Кто знает, не будет ли Меркурий первой добычей, которую он пожрет? Что скажут наши потомки, когда они увидят, как планета Меркурий гибнет в этой воспламенившейся пучине? Будут ли они в состоянии не признать в этом своей будущей гибели? Если среди этого ужаса у них будет храбрость обобщить свои представления, они скажут, что все части великого целого стремятся сблизиться и что наступит момент, когда будет лишь сплошная общая (générale et commune) масса" [1]).

Несомненно, эти мысли должны были иметь корни в научных представлениях того времени, хотя поводом высказать их могла бы быть поездка в Бурбонн, наблюдение подземных горячих вод, даже минутное настроение. „Эпохи природы" Бюффона появились лишь несколько лет спустя. Бюффон в этой книге тоже указывал на приплюснутость земного шара у полюсов и утолщение на экваторе, он же говорил о внутреннем жаре земли. Бюффон определял даже время гибели земного шара: через 93 миллиона лет. Но так как „Путешествие" Дидро было написано на несколько лет раньше, а, с другой стороны, десяток строк Дидро, конечно, не мог повлиять на образование гипотезы Бюффона, мы не усматриваем никакой зависимости между этими двумя работами.

Но, несомненно, какой-либо литературный источник должен был дать материал для Дидро. Мы полагаем, что таким источником для философа был Ньютон. Рассмотрение всех возможных следствий, вытекающих из закона всеобщего тяготения, натолкнуло Ньютона на мысль, что вследствие взаимодействия небесных тел мировая система таит в себе зародыш будущего разрушения. Так, Ньютон полагал, что комета Галлея, недавно открытая, после нескольких оборотов упадет на солнце и сгорая настолько усилит жар его лучей, что на земном шаре погибнет все живое. Дидро мог продолжать размышления на эту тему и распространил „мировой пожар" на ближайшего к солнцу Меркурия.

Аналогичные мысли вообще встречались у ученых XVIII века; эта гипотеза, если и не в точности, видимо, была достоянием столетия, и Дидро только следовал ей. Так, Эйлер полагал, что взаимное притяжение тел солнечной системы делает непрочным их движение по орбитам и в будущем вызовет расстройство всей системы, что гибельно отразится на земле. Так, Кант в 1755 году, начав свою

[1]) Diderot, XVII, 347—348.

космогонию силами притяжения, заканчивал ее ослаблением вращательных движений, падением планет и комет на солнце и мировым пожаром, в котором, как и у Дидро, погибают первыми более близкие к центру тела.

Лаплас как будто рассеял эти гипотезы и показал устойчивость солнечной системы,—но навсегда ли? И не меняется ли только причина и форма гибели нашей системы? В XIX веке вместо вселенного пожара говорят об обратном, о потухании солнц, о „тепловой смерти", о „рассеянии материи" в мировом пространстве. В последнее время Пуанкаре и Кельвин вновь высказывали предположения о неизбежном возмущении, проникающем в любую систему тел даже с так называемыми устойчивыми орбитами. У Джорджа Дарвина мы встречаем, например, такое положение: „устойчивость бывает только относительной, и планетная система носит в себе зародыши собственного разрушения". Правда, он сейчас же добавляет, что эта окончательная судьба не должна нас смущать ни с практической, ни,—что может быть, добавим, более интересно,—с теоретической стороны.

Кант уже говорил, что если погибает одна система, то „созидание" никогда не прекращается: „в других местах неба возникают новые образования, и убыль восполняется с избытком". Новейший исследователь, В. Нернст, без этой теологической и телеологической оболочки приходит к мнению, что, с одной стороны, „материя мира „не может более превратиться целиком в гелий", а, с другой, не может нигде собраться в гигантский клубок, ибо она непрерывно вновь образуется в мировом пространстве, примерно с постоянной плотностью", но считает историю нашей системы обеспеченной на веки веков лишь при известных условиях.

Мы, конечно, не можем и не будем входить в рассмотрение этих гипотез. Нам только нужно было по этому вопросу поставить Дидро в круг идей XVIII века и показать, что, по существу дела, весьма отдаленные перспективы нарушения солнечной системы не отбрасываются в категорической форме и наукой XX века.

IV.

Обоснование этики и политики.

> Il n'y a pas de science plus évidente et plus simple que la morale pour l'ignorant; il n'y en pas de plus épineuse et de plus obscure pour le savant [1]).
> Diderot.

1. Общий характер этических учений XVIII века.—2. Обоснование частной морали.—3. Элементы стоицизма, эпикуреизма и спинозизма в учении Дидро.—4. Обоснование общества и частная мораль в общежитии.—5. Публичная мораль. Идеальная конструкция государства.—Общая оценка этико-политического учения Дидро.

1.

Почти единодушное мнение критики о морали французских материалистов и вообще всей эпохи просвещения признает эту мораль в основе ее метафизичной, без движения; ее идеалы—некими вечными, а потому абстрактными и безжизненными принципами. Если идеалистическая критика видит в ней к тому же начала соблазни-

[1]) Нет более очевидной и более простой науки для несведущего, чем мораль; нет более трудной и темной науки, чем она же, для ученого.

тельные, безнравственные, „имморальные", то современная материалистическая оценка ее, в корне не соглашаясь в этом с первой, подчеркивает именно ее антиисторичность. „Разум" просветителей—нечто отвлеченное, действующее в неизменной форме всегда и везде; предписания их „природы" пригодны во всех странах и выполнимы во всякое время, а потому внепространственны и вневременны. Фактически же эти „разум" и „природа" являются разумом и природой здравого смысла выступающей на политическую арену буржуазии. Материалисты в истолковании природы, французские материалисты XVIII века остаются идеалистами в области наук об обществе, в области истории, политики и этики.

Мы умышленно в самом начале привели в двух словах этот суровый приговор, ибо он относится, между прочими, и к Дидро; об этике в представлении в о о б щ е XVIII века, действительно, можно говорить с бо́льшим правом, чем, например, о теоретико-познавательных принципах в о о б щ е того же века. В вопросах морали все просветители выступали более или менее с одной доктриной. Постулат „природы" господствовал в этой области и над школой Руссо, и над школой „экономистов". В отрицательной оценке старого режима были согласны все „философы" века, иное дело их положительный идеал.

Читатель уже заметил, что мы в о б щ е м присоединяемся к материалистическому выводу по вопросу о морали эпохи просвещения. Но мы в нашей работе не можем, конечно, удовольствоваться кратким подведением классового фундамента под этические построения эпохи. Мы должны, сосредоточившись на Дидро, не столько проследить его разрушительную работу, каковая должна быть ясна из предшествующих очерков, сколько заняться его положительной работой по обоснованию морали и притом морали как частной, так и п у б л и ч н о й.

Дело в том, что едва ли будет неточным, и во всяком случае будет справедливым, сказать, что практическая философия вся выражалась в XVIII веке в понятии м о р а л ь. Поведение человека в обществе по отношению к самому себе, к себе подобным, наконец, по отношению к власти, равно как и отношение власти к гражданам-подданным,—все это обнималось указанным понятием. Когда употреблялось понятие п о л и т и к а, то оно выражало собой лишь другую сторону той же морали. „Политика—это общественная мораль; мораль—это частная, домашняя политика",—говорил Мабли,—и таковы были представления всего века. Это распространение области морали на сферу публично-правовых отношений не чуждо и Дидро. Моральные принципы должны проникать собою политическое устройство общества. Поэтому мы в праве говорить о частной и публичной морали, об индивидуальной и социальной этике у Дидро. Поэтому мы не только вправе, но и обязаны представить их обоснование у мыслителя в одном очерке; в противном случае его политический идеал, оставшись без обоснования, повиснет в воздухе и может показаться читателю весьма избитым и не заслуживающим внимания.

Положительные построения Дидро, как сказано, не рвут с идеологией века; он здесь не впереди своей эпохи, как в предвидении дарвинизма; но в обосновании натуралистической морали и образования общества он не является шаблонным, он конкретизирует общие положения и часто предстоит перед нами снова оригинальным мыслителем. Казалось бы, этическую проблему до мелочей разработали стоики и эпикурейцы в древности, Спиноза в новое время; казалось бы, Гоббс и Спиноза сказали все, что могло сказать время об образовании общества. Но Дидро и здесь не только обнаруживает знание

этих могиканов мысли, но вставляет свое слово, остается философом. Далее, он не просто синкретически собирает по частям свое учение, но, прорабатывая богатейший материал указанного наследия, принимая одно и отбрасывая другое, для своего времени стройно сливает части, подчиняет их единому руководящему принципу, связывая с основными началами своей теоретической философии.

Если его жизнепониманйе в наше время легче поддается критике, нежели его мировоззрение, то только потому, что наша эпоха после Дидро поднимается уже на вторую ступень лестницы общественных формаций, в то время как Дидро и его единомышленники лишь подготовляли возможность прыжка на первую. Наша критика, отделенная от идей Дидро не какими-нибудь ста пятьюдесятью годами, а всей эпохой капитализма, как одной из общественных формаций, должна быть, очевидно, в корне иной, чем если бы мы посреди новой переходной эпохи встретились с мыслителем, замершим на моральных и политических воззрениях Дидро. Эта критика, быть может, вовсе станет излишней, если смотреть на Дидро в исторической перспективе, а так смотреть на него—обязанность каждого исследователя.

Однако, при ближайшем анализе интересующих нас воззрений Дидро, мы надеемся, выяснится суровость упрека его в идеалистичности жизнепонимания и придется найти более приемлемые и надлежащие определения.

2.

Понятия материализм и натурализм для Дидро и для его времени были идентичны. Как натуралист, естествоиспытатель, прежде всего подходил он к философии природы, к той части „метафизики", которая у него, как мы видели, разрослась в целое. Его натурализм помог ему там построить действительно научную теорию. С той же меркой не рациональной, а опытной физики подошел он к человеку, а, значит, и к обществу. Если здесь ошибка Дидро, то ошибка не только его, но всего века. Здесь он видел единственную возможность обосновать не идеалистическую мораль религиозно верующих и всякого толка деистически настроенных людей, но мораль материалистическую. „Трудно создать хорошую метафизику и мораль, не будучи анатомистом, натуралистом, физиологом и медиком",—говорит он покойному уже Гельвецию. Нужно быть натуралистом, чтобы дать хорошую мораль—такова предпосылка Дидро. И, значит, когда мы говорим, что этика Дидро натуралистична, мы должны считаться с тем, что мыслитель делал это сознательно. В его время морали спиритуалистической, утверждавшей врожденность нравственных принципов, только и можно было противопоставить мораль натуралистическую, которая и нами, пока речь идет об отсутствии врожденных моральных максим, может с правом быть названа материалистической.

Если Дидро подходит к обоснованию морали как анатом и физиолог, он не должен забывать того места, какое он предоставил человеку в своей морфологии,—и он не забывает. Он не вырывает человека из цепи природы, не ставит его над ней, не грешит в этом смысле антропоцентризмом, над чем издевался еще Спиноза. Человек не нарушает единства в природе. Но единство природы, как мы помним, не исключает разнообразия ее модусов. Единство это в многообразии, и потому человек, как один из модусов, не может не отличаться от других модусов, подчиняясь с ними одним и тем же законам природы.

Человек отличается от животных своим относительным совершенством, если угодно, своим существом. Ни одно из его чувств не господствует над органом его разума. „Если бы он имел нюх собаки, он бы постоянно вынюхивал;—зрение орла, он бы не переставал высматривать;—слух крота, он был бы вечно прислушивающимся существом". Этого не может быть при наличии соотносительного, универсального чувства, разума.

В очерке, посвященном проблеме познания, мы уже достаточно говорили, насколько материалистически понимает Дидро этот разум. Поэтому в данном контексте мы только подчеркнем, что, по Дидро, совершенство всех вообще интеллектуальных операций „зависит прежде всего от конформации мозга и мозжечка". Но неверно было бы думать, что эта „природная организация" мозга дана человеку раз и навсегда, что она определяет собой всю совокупность переживаний человека. Я плохо спал,—я плохо мыслю, чувствую себя нездоровым; мой желудок плохо переваривает пищу,—снова я плохо мыслю, дурно себя чувствую; ко мне вернулись мои силы—мой мозг заработал хорошо, мое хорошее расположение вернулось ко мне. Здоровье или нездоровье моих органов, длительное или скоропреходящее, в течение всей жизни или только одного дня, является как бы термометром моего ума и всего моего самочувствия.

Среди агентов, действующих на человека, на его душу (âme), как совокупность ощущений, на его ум (esprit), как совокупность чувствований, переживаний, Дидро насчитывает такие, которые можно было бы назвать „постоянными", например, климат. Не следует, быть может, придавать им особо важное значение, но нельзя и вовсе сводить их действия на ничто. „Как! — возражает Дидро Гельвецию, — место (local) столь мощно будет применять свою силу на машину в целом, а душа, которая лишь часть ее, ум, который лишь свойство души, и продукты ума не будут изменяться!" [1]).

С другой стороны, человек постоянно окружен агентами, которых мы можем назвать „переменными". Все окружающее так или иначе действует на человека, вызывает в нем те или иные модификации, те или иные реакции. Внешние тела действуют на него и являются причинами его переживаний, приятных или неприятных. Внешние объекты действуют на человека через посредство его органов чувств.

Эти органы чувств, как мы помним, выступают наподобие отдельных животных. У каждого из них своя самостоятельная жизнь, свое детство, зрелость, старость; у каждого свой специальный характер, своя функция, функция „низшего анализатора". Органы чувств являются не только источниками нашего познания, — сенсуализм в теории познания,—но и источниками наших, так называемых, душевных переживаний,—сенсуализм в области морали. Один и тот же предмет представляется одному чувству приятным, доставляет удовольствие, а другому причиняет боль, страдание.

Органы живут, однако, не только самостоятельной жизнью, но и совместной. Эта совместная их жизнь осуществляется через посредство универсального чувства. Отсюда разнообразие этих симптомов, этих ощущений. Они кажутся свойственными одному чувству и чуждыми другим, но и эти последние как бы аффектируются ими. Вместо разрозненной жизни органов выступает единая жизнь организма; это—своеобразная диалектика целого и частей.

---

[1]) Diderot, II, 321. Необходимо помнить, что Дидро разумел под словами âme и esprit. См. очерк „Проблема познания".

Орган, испытывающий боль, страдание, пытается, как бы стремится освободиться, избежать его, но только стремится; избегает же зла целое. Но злом для целого является, очевидно, зло для его частей, как и благом для целого — благо его частей. Целое является и простой суммой частей, и чем-то высшим, их органическим единством. Целое не только испытывает зло, но и избегает, и предвидит его. Целое не только наслаждается благом, но и ищет и находит его. „Интерес рождается в каждом органе из его положения, конструкции, функций; в таком случае он — животное, подчиненное благу и злу (au bien et au malaise): благополучию, которое оно ищет, и неприятностям, от которых оно стремится освободиться“ [1]). Точно также и животное-целое, человек. Он подчинен тем же началам. Испытывая страдание-зло и наслаждение-благо, он не может не избегать первого и не стремиться ко второму.

Таков общий закон, которому подчинен человек. И причина его лежит в чувствительности, в возбудимости его чувств. „Нет движения, которое бы не сопровождалось, которому бы не предшествовало, или за которым бы не следовало страдание и удовольствие, и которое бы не имело в качестве постоянного начала потребность“. Все, что в состоянии аффектировать наши чувства, должно или нравиться или не нравиться, смотря по силе и природе возбудителя. Первое мы назовем благом, второе мы назовем злом, и наши реакции будут объективно необходимы, причинно обусловлены: к первому мы будем стремиться, второго—избегать.

В наших интеллектуальных операциях нет ничего свободного, точно так же как в следовании наших ощущений. Мы не вольны в ощущениях, не можем произвольно располагать наши восприятия, не можем выносить беспричинных суждений, не в состоянии совершать необусловленные поступки. И воля наша не менее причинна, чем разумение. Акт беспричинной воли—химера. Думают, что поступки наши рождаются из желания, а желание происходит от свободной воли. Как раз обратно, из желания рождается воля. Желание—детище организации. Счастье и несчастье — детище благосостояния и нужды (mal-être). Желательно быть счастливым; отсюда, из этого желания, рождается воля к тому или иному действию.

Это желание счастья есть принцип человеческого существования. Все поступки людей в основе своей сводятся к нему. Но каждый в отдельности волевой акт обусловлен целой ценью причин и действий. Свобода воли бодрствующего человека — то же, что и свобода воли спящего. Воля в том или ином случае есть конечный результат всего, что произошло с момента рождения человека до момента данного обнаружения воли. „Два философа спорят, не понимая друг друга, например, о свободе человека. Один говорит: человек свободен, я это чувствую; другой говорит: человек не свободен, я это чувствую. Первый говорит о человеке абстрактном, о человеке, который не движим никаким мотивом, о человеке, который существует только во сне или в воображении (entendement) спорщика. Второй говорит о человеке реальном, действующем, занятом и побуждаемом“ [2]). Д'Аламбер просыпается, быстро встает, надевает халат и садится, не отдавая себе отчета, за стол продолжать решение задачи, которое он начал накануне. Он пишет равенства, вычисляет, не задумываясь. Бьют часы; он смотрит на них, пишет несколько писем и отправляется к одному из своих друзей. Он быстро идет, не обращая внимания на камни; вдруг останавливается, вспоминает о забытых письмах и спешит домой. Занеся их на почту, является на обед к Гольбаху, куда его приглашали. За обедом заходит речь о свободе воли, и он „с шумом и гамом“ утверждает, что человек свободен. Дидро дает ему высказываться, но вечером отводит в сторону и просит дать отчет во всех его дневных действиях. „Он ничего не знает, совершенно ничего, о том, что он сделал, и я вижу, что, простой и пассивный ко всем мотивам, какие побуждали его, механизм далеко несвободный, он не совершил ни одного действия по свободной воле“. Так остроумно заканчивает Дидро, правда, не очень пространные рассуждения о свободе воли в „Элементах физиологии“.

Таким образом человек не поступает свободно, но принуждается теми или иными мотивами, и основным из таких мотивов, от его воли независящих, является счастье его самого, удовольствие, благополучие. Это стремление к счастью не свободно, но обусловлено физиологически. Из всех объектов, действующих на нас своим присутствием, больше всего аффектирует нас наше собственное тело. Оно подчинено и крайне чувствительно к действию внешних тел. Оно быстро было бы разрушено, если бы мы не заботились о его сохранении, т.е. о сохранении самих себя; оно было бы уничтожено, если бы „природа“ не дала нам закона избирать среди всех окружающих нас объектов те, которые могут быть нам полезны, которые являются для нас благом.

Среди этих объектов мы должны выбирать прежде всего те, которые и полезны и приятны нам; далее те, которые только полезны; затем, которые только приятны; к бесполезным и, так сказать, нейтральным объектам мы можем относиться равнодушно. Объекты же неприятные и вредные должны нами избегаться.

Страсти, которые влекут нас к удовольствиям, сами по себе не являются порочными, ибо удовольствие не противно человеческой природе. Напротив, только сильные страсти способны подвинуть нас на великие дела. Иметь сильные страсти—счастье, но при условии, если все они в унисоне. Нужно не то что умерять их, но установить между ними справедливое соотношение: склонность к удовольствию согласовать с заботой о здоровье. Проповедывать же уничтожение страстей—глупость.

Это соотношение между страстями должен внести разум, как некогда он вносил соотношения в показания чувств. Страсти без разума, это—паруса без кормчего, но разум без страстей, как король без подданных; одни без другого немыслимы, и наоборот. Обвинять наши страсти в преступлениях и пороках неправильно, ибо они всегда влекут вас к счастью. Собственно, только одна страсть и существует—быть счастливым. А вот ум, тот часто ведет нас ко злу, ибо он идет по ложному пути. Мы преступны лишь потому, что плохо судили.

3.

У нас уже накопился достаточный материал, чтобы остановиться и осмотреться. Читатель видит, что в исходном пункте своего учения о морали Дидро не со стоиками, а с эпикурейцами, если говорить о двух основных, направлениях древности. Правда, и стоики признавали основным естественным влечением потребность самосохранения. Но отсюда они непосредственно взывали к единственной ценности для человека, к „сообразному“ с разумом. Жизнь же, сообразная

[1]) Diderot. IX, 375.
[2]) Diderot. IX, 272.

с разумом, с природой—есть жизнь добродетельная. Только добродетель, добродетель сама по себе — благо; единственное зло—порок. Отсюда не следует поспешно делать вывод, что добродетели нет в учении Дидро. Он придет к ней, но несколько иной дорогой. Удовольствие, наслаждение для стоиков меньше всего благо; удовольствие не есть для них цель деятельности; этой целью продолжает оставаться добродетель, но из добродетельной деятельности логически, так сказать, вне времени, следует блаженство. Конкретно, стоическая добродетель—борьба со страстями, против чего так выступал Дидро. Освобождение от аффектов, апатия,—вот задача для стоика, и в этом его блаженство, его счастье.

Этот идеал и его обоснование, начало и конец стоицизма не мог увлечь Дидро, и не потому, что он был малодушным, но потому, что считал его безжизненным и для человека невыполнимым. Такое разрешение этической проблемы было бы под силу существу, одаренному свободой воли; человек не принадлежит к такого рода существам. „Стоицизм—не что иное, как трактат о свободе, взятой во всей своей широте“,—говорит он.

Дидро отдает дань чистоте этого учения. Оно, бесспорно, имеет много общего с религиозными учениями, но оно не повинно в суеверии. Пожалуй, если бы стоицизм проповедывали так долго и столь усердно, как суеверия, то на земле уже давно не было бы ни тиранов, ни рабов. Стоики добродетельны, но добродетели не отрицает, как увидим, и Дидро. Важно поставить вопрос, в чем счастье и должны ли мы к нему стремиться. Сам Дидро неоднократно подчеркивает, что быть счастливым—наша обязанность, и притом единственная. Но когда он спрашивает об этом стоика, он получает мало пригодный для человека ответ.

„Но что же такое, с точки зрения философа, счастье? Это—ставшая привычкой согласованность мыслей и поступков с законами природы. А что такое природа? Ее законы? Было бы не худо изъясниться относительно этих двух предметов, ибо очевидно, что природа с силой влечет нас и с трудом удаляет от предметов, которые стоик исключил из понятия счастья“ [1]). Дидро пересказывает слова Сенеки из его „De vita beata“ о том, кого мы можем назвать счастливым человеком. Это тот, кто признает только одно благо—добродетель, только одно зло—порок; тот, кто не подавлен случайностями жизни и кто не возгордился от них; кто пренебрегает всем тем, чего он не может доставить себе или от чего не может себя обезопасить; для кого презрение к чувственной страсти само по себе является чувственной страстью. Такой человек, быть может, действительно является совершенным человеком, но разве совершенный человек есть человек природы, естественный человек?—спрашивает Дидро.

Дидро еще в молодости нападал на религиозную мораль, между прочим, потому, что видел ее неприменимость к человеку, к его „природе“; он высмеивал столпников и самоистязующих фанатиков, которые таким путем думают добиться блаженства. Теперь он по той же причине не может согласиться с моралью стоицизма, хотя видит в ней некоторые положительные черты, признает, что без добродетели нет счастья. В его системе есть элементы стоицизма, но он, возможно, получил их не непосредственно, а через Спинозу.

С природой человека более совместимо, на взгляд Дидро, обоснование морали у эпикурейцев. Единственное безусловное благо—удовольствие, единственное безусловное зло — страдание. Удовольствие—конечная цель поведения. К ней и стремится человек. Мы видели даже, что Дидро дал этому положению физиологическое обоснование; этим он конкретизировал сущность „природы“ человека. Отринув же доктрину свободы воли, он тем самым сказал, что человек не может не стремиться к наслаждению. Поэтому не прав Рейнак, когда он говорит, что мораль Дидро без базы и руководящего принципа. База эта есть, но она антропологична, а не теологична, как хотелось бы Рейнаку. Так же не прав и Дамирон, который считает этическое учение Дидро не только рассеянным, фрагментарным, что, по существу, верно, но и зависящим от минутного настроения. Нужно только эти фрагменты искать не в статье Plaisir из „Энциклопедии“, в которой Дидро делает уступки цензуре и, возможно, читателям, а там, где он этой цензуры не боится.

Как известно, эпикуреизм стремился не к отдельным приятным ощущениям, но к блаженству всей жизни; можно сказать даже, что его конечная цель не положительное удовольствие, а свобода от страданий, душевный покой вследствие этой свободы, но не вследствие свободы от аффектов вообще, как это было у стоиков. Больше того, духовное удовольствие важнее, ценнее телесного. Условием такого удовольствия, душевного покоя, путем к нему является добродетель. Блаженство связано с ней неразрывно. Эти положения принимает и Дидро, по этому пути вместе с эпикурейцами он выходит к добродетели, содержание которой у Дидро мы рассмотрим, когда будем говорить специально о человеке в обществе.

Значит, не религиозная добродетель и затем, на том свете, счастье, как некое воздаяние за нее, и не стоическая добродетель сама по себе, логически сопровождаемая лишь счастьем, но эпикурейская добродетель, как условие и путь к земному счастью,—цели человеческой жизни. Эпикуреец Дидро не требует апатии или отречения от чувственных наслаждений, ибо это было бы насилием над человеческой природой, но говорит об их умеренности. Самое слово „чувственная страсть“ неправильно толкуют, в него вкладывают пошлый смысл и переносят его в философию. Так же и с понятием „интерес“, против которого ополчились невежды, привыкшие с понятием интереса соединять представление золота и серебра. „Кажется, плохо понятое слово чувственность (volupté) сделало Эпикура ненавистным, так же как и тоже плохо понятое слово интерес вызвало ропот лицемеров и невежд против современного философа“,—говорит Дидро в своей работе о Сенеке, намекая на Гельвеция.

Расходясь в предоставлении места счастью и удовольствию стоицизм и эпикуреизм сближаются несколько между собой в построении практического идеала мудреца и его поведения. Для стоика добродетель—знание. Идеал совершенства и счастья—мудрец, философ. К этому идеалу близок эпикуреизм, когда он ставит духовные удовольствия выше телесных. Он понижает только, в данном случае, требования, предъявляемые людям. Так сделал позже Сенека, стоик, но пользующийся и элементами эпикуреизма. Для Дидро знание также приближает к счастью, к добродетели. Не удаляясь от природы, человек должен стремиться к ее познанию, и тогда она будет говорить с ним на языке добродетели. Следующее место целиком выдержано в духе XVIII века: „Что нам говорит голос природы? Чтобы мы были счастливы. Нужно ли и можно ли ему сопротивляться? Нет. Наиболее добродетельный и наиболее испорченный человек одинаково подчиняются ему. Правильно, что природа говорит с ними на разных языках. Но пусть все люди сделаются просвещенными, и она заго-

[1]) Diderot, III, 315.

ворит со всеми на языке добродетели" [1]). Не есть ли это просвещение, это познание природы, чтобы сделаться добродельными, перевод на язык XVIII столетия amor dei intellectualis Спинозы? Мы полагаем, что это так. Amor dei intellectualis, высшая познавательная любовь к целому должна была превратиться у Дидро в более скромное познание природы, откуда для философа проистекает высшее душевное спокойствие, осмысление всего бытия и знание своих действий.

Мы мало до сих пор говорили о Спинозе, и, к сожалению, нам в рамках очерченной себе задачи нельзя будет подробнее остановиться на этике „мудреца из Гааги". Все же мы должны сказать, что и в моральной проблеме элементы спинозизма на-лицо у Дидро. Правда, мы по этому вопросу разойдемся с одним из исследователей, специально занимавшимся изучением влияния морали Спинозы, и не нашедшим спинозизма у Дидро. Но все досадное недоразумение заключается в том, что Р. Вормс принял за этику Дидро его первую литературную работу, перевод „Опыта о заслуге и добродетели" Шафтсбери, как может убедиться читатель из просмотра стр. 243—244 русского перевода „Морали Спинозы". Это недоразумение породило несколько неправильных выводов: мораль д'Аламбера (признание свободы воли!) гораздо более, чем Дидро, согласуется со Спинозою, ибо для него начальный принцип морали—искание собственной пользы; принцип бескорыстия (!) Дидро противоположен принципу самосохранения Спинозы; Дидро, как и Спиноза, полагает высшее блаженство человека в познании бога. Приписывание Дидро работы английского теиста заставляет Р. Вормса видеть только кое-какие черты сходства Дидро и Спинозы и отрицать эти самые черты спинозизма у Шафтсбери [2]).

К нечно, этику Дидро нужно, чтобы найти, прежде всего искать, об этом мы уже говорили, но искать не в юношеской переводной работе. И в ней есть элементы спинозизма; это как раз те места, которые „не устарели" и для зрелого Дидро, когда он давно уже отошел от теистической точки зрения; это, во-вторых, те места, в которых чувствуется, вопреки Вормсу, влияние Спинозы на Шафтсбери, возможно, через Локка, ибо не подлежит сомнению, что и Локк в некоторых этических положениях не избежал влияния гаагского мыслителя.

В своих рассеянных этических фрагментах Дидро нигде не ссылается на Спинозу, но такова, кажется, была участь последнего: из его сокровищницы черпали, не упоминая его имени, а если имя это и приводилось, то только для того, чтобы с ним полемизировать, хотя бы внешне. Дидро знал и древние системы, и Спинозу, поэтому трудно сказать, через Спинозу ли он пришел к своему обоснованию морали, или непосредственно черпал у древних, а у Спинозы находил подтверждение. Эта проблема, видимо, навсегда останется нерешенной: в письмах нашего философа указаний нет. Еще один факт, какой имеется, не помогает, но лишь усложняет дело; мы имеем в виду Локка. Относительность понятий добра и зла Спинозы и Дидро была достоянием и английского философа. Локка Дидро знал не хуже, чем Спинозу. Эти общие столь разнородным мыслителям моменты Дидро перенес в свое учение, и, надо сказать, они сделались его органической частью. В качестве косвенных доказательств в пользу такой линии Дидро: Локк, Спиноза, Стоя, мы можем указать на то, что автор „Опыта о разумении" был известен и изучен Дидро прежде

[1]) Diderot, II, 88.
[2]) Рене Вормс, „Мораль Спинозы", пер. Богушевского, стр. 227.

других, еще в сороковых годах века; Спинозой он заинтересовался при вырешении метафизической проблемы в пятидесятых годах; стоиками же усиленно занимался в последние годы жизни, когда писал апологию Сенеки. Ввиду вышеизложенного нам остается отметить элементы спинозизма в моральном учении Дидро и провести несколько параллелей с Локком.

Говоря о предписаниях разума, Спиноза указывает, что разум не требует ничего противного природе. Он требует, чтобы каждый любил самого себя, искал для себя полезного, стремился сохранить свое существование; полезное же для нас мы называем добром, благом; хорошая вещь та, которая доставляет нам удовольствие. Удовольствие и неудовольствие, наряду с желанием, вообще являются основными аффектами. Эти положения мы нашли и у Дидро; были они и у Локка. В первой же книге „Опыта" Локк утверждает: „Природа вложила в человека стремление к счастью и отвращение от несчастья. Вот это настоящие практические принципы, которые постоянно, беспрерывно обусловливают всю нашу деятельность". Добро, по Локку, не более, как причина удовольствия, зло—причина страдания. Локк говорит о модусах удовольствия и страдания. Зная тот смысл, который связывал Спиноза с термином модус, мы видим, что для гаагского мудреца добро и зло были понятиями относительными; абсолютного добра и зла нет в природе; добро и зло для него лишь модусы и притом модусы мышления, т.-е. наши представления, точно так же как совершенство и несовершенство.

На точке зрения относительности и соотносительности добра и зла стоит и Дидро. У него это связано текстуально с подчеркиванием причинности и необходимости всех явлений, но не приходится указывать, что и Спиноза решительно отрицал свободу воли и целесообразную связь феноменов. „Зло связано с добром; нельзя уничтожить одно, не уничтожив другого; их общий источник в одних и тех же причинах. Согласно законам материи, по которым сохраняется движение и жизнь во вселенной, происходят физические непорядки, вулканы, землетрясения, бури и пр. Из чувствительности, источника наших наслаждений, проистекает печаль. Что касается морального зла, которое есть не что иное, как порок, или предпочтение себя другим,—оно есть необходимое действие себялюбия, столь существенного для нашего самосохранения, против которого так много декламировали ложные резонеры" [1]).

Основное благо — добродетель: но таковым добродетель является не в силу своей врожденности, а потому, что полезна; ведь благо, это—то, что нам полезно. „Принцип добродетели, — говорил Локк,—пользуется всеобщим признанием не потому, что он врожден, а потому, что полезен". Это положение имеется и у Спинозы, и у Дидро. Добродетель—действование по законам своей природы; этот принцип от стоиков идет к Спинозе, Шафтсбери и к Дидро. В обществе добродетель выражается в определенном поведении по отношению к другим, но основа ее здесь в полезности для частной „природы" человека, по Дидро, в физиологии организма.

Не следует все эти принципы понимать в грубо чувственном, общежитейском смысле. Стоики видели добродетель в знании; Спиноза считает полезным только то, что ведет к знанию; требование „просвещения", для того чтобы природа говорила с нами на языке добродетели, есть, как мы видели, и у Дидро. Так, элементы стоицизма и эпикуреизма сочетались в этике Спинозы и Дидро.

[1]) Diderot, II, 85.

В последние годы Дидро непосредственно обратился к изучению этих классических систем; вывод его глубокомыслен и остроумен. На их канве он показывает собственные воззрения, и потому нам представляется необходимым привести его сравнительную характеристику обеих школ. Это—последний вывод морали Дидро, пока мы ограничиваемся ее основами и сосредоточиваемся, так сказать, только на моральном субъекте. „Если не восприимчивы к чувственной страсти (volupté), то восприимчивы к печали",—таков один из королляриев доктрины стоиков, к которой приходят лишь путем длинной цепи софизмов. Статуя, которая имела бы сознание своего существования, была бы почти мудрецом и счастливым человеком Зенона... „Нужно жить согласно природе". —Но разве природа, благотворящая и щедрая рука которой рассеяла столько благ у нашей колыбели, запретила нам наслаждение? Разве стоик отказывается от тонких блюд, вкусных плодов, ценных вин, душистых цветов, ласковой женщины?—„Нет, но он не является рабом всего этого".—„И эпикуреец не больше. Если вы спросите этого последнего, он вам скажет, что между чувственными страстями (volupté) наиболее приятна та, которую порождает добродетель. Не трудно было бы примирить обе этических школы. Добродетель Эпикура—добродетель светского человека, а добродетель Зенона — анахорета. Добродетель Эпикура, быть может, несколько слишком доверчива, зеноновская же слишком мрачна. Ученик Эпикура рискует быть соблазненным, ученик же Зенона—утратить бодрость. Один всегда с копьем, направленным против чувственной страсти, другой живет с ней и шутит под одной кровлей" [1]. Таким образом, в конечном счете, симпатии Дидро на стороне эпикуреизма.

4.

Мы умышленно до сих пор сосредоточивали все внимание исключительно на моральном субъекте, рассматривали, какими принципами должен он руководиться, как бы замкнувшись в себе; мы видели эти принципы: счастье, удовольствие, польза, интерес; мы указывали, какой смысл придает Дидро этим понятиям, указывали на его требования знания и добродетели. Но очевидно, что добродетель может осуществляться не Робинзоном на необитаемом острове, но человеком в обществе; поэтому нам нужно посмотреть теперь на этого же субъекта в кругу объектов, из которых каждый в свою очередь является субъектом для себя. Какое дальнейшее развитие испытывают принципы Дидро, каково должно быть отношение индивидов между собой в обществе,—таковы вопросы, которые должны интересовать нас. Это еще не публичная мораль, но частная мораль в общежитии.

Однако прежде необходимо ознакомиться с обоснованием, какое дает наш мыслитель обществу. В понимании XVIII века, так же как и XVII-го, понятия общество и государство, по существу совпадают. Догосударственное состояние, состояние естественное, есть в то же время и состояние дообщественное. Правда, иногда естественное, природное состояние разбивается как бы на две фазы, но такое деление скорее логическое, чем историческое. Среди окружающих нас существ мы находим подобных нам с нашими же потребностями, с нашим же интересом к их удовлетворению. Отсюда выгода для нас к объединению с ними; мы объединяемся, и таким образом полагается основание обществу. Хотя у всех равные права, но не у всех преимущества. Отсюда варварское право сильного. Чтобы уничтожить и эту анархию, устанавливаются законы политические и гражданские, полагается основание цивилизованному (policée) обществу, собственно государству.

[1]) Diderot, III, 315.

В данном варианте учения о происхождении государства вторая фаза, где господствует право сильного, не есть, с точки зрения XVIII века, состояние общества, но состояние природы. И как бы мыслители ни рисовали это естественное состояние, как bellum omnium contra omnes, подобно Гоббсу, или более смягченными чертами, они не называют его общественным состоянием. Даже Руссо, от которого легче всего было бы ожидать такое наименование, говорит: „Общественный строй есть священное право, служащее основанием для всех других прав. Однако право это не дано природой; оно, следовательно, основано на соглашениях" [1]. Только с момента учинения общественного договора люди переходят к общественному-государственному состоянию.

В системах Гоббса и Руссо договор играет одну и ту же образующую общество роль, хотя мыслители расходятся в пониманиии причин и ближайших задач этого договора и в изображении его последствий. Мы отнюдь не утверждаем, что они сами видели в гипотезе договора историческое происхождение общества, мы даже допускаем, что в их глазах это было только логическое обоснование его; договор—не initium общества, но его principium. Но нужно сказать, что без гипотезы общественного договора, как начала общества, XVIII век обойтись не мог.

Справедливость требует указать здесь, что Спиноза обходился без этой гипотезы и видел подобие гражданского общества и в догосударственном состоянии. Уже во введении к Политическому трактату он говорит: „Так как все люди,—как варвары, так и цивилизованные,—повсюду находятся в общении и образуют некое гражданское состояние, то ясно, что причин и основ государства следует искать не в указаниях разума (намек на предписания recta ratio Гоббса), но выводить из общей природы или строя людей". Но XVIII век не знал или не обращал внимания на этот трактат Спинозы. В своей статье о гаагском философе Дидро ни одним словом не упоминает об учении Спинозы о государстве.

Этого обоснования государства, как результата договора, не избежал и Дидро. В статье Autorité politique в „Энциклопедии" он, в сущности, кратко излагает начало теории Гоббса. Но по этой статье, как и по другим статьям из „Энциклопедии", трудно выяснить его собственные взгляды, на что мы уже неоднократно указывали. Так, если бы мы обратились к статье Société (написана после 1757 года), мы через каждые две-три строчки встречались бы с богом. Здесь мы встретились бы с мнением, против которого так возражал еще Гоббс, мнением о человеке, как животном общественном по природе. В этих статьях мы не можем видеть собственных воззрений Дидро. Они шаблонны и надуманы. К счастью, мы в состоянии теперь узнать из рукописи, опубликованной всего около четверти века назад, обоснование мыслителем общества. Мы встречаемся и здесь с универсальным понятием природы, но Дидро конкретизирует это понятие, и оно выступает не в значении „природы" рационалистов эпохи просвещения, но в значении гораздо более реалистическом и менее напыщенном.

[1]) Rousseau, Du Contrat social, liv. I, chap. I.

В его Mélanges имеется отрывок, который свидетельствует, что Дидро шагнул далеко вперед от гипотезы общественного договора и приблизился, насколько позволял век, к генетической социологии, но лишь приблизился; как только он оставляет природу, хотя бы в реалистическом понимании и переходит к обществу, он, подобно своим современникам, вновь обнаруживает рационалистические моменты.

Дидро размышляет в несколько шутливом и в то же время ироническом тоне. „Придумывали разные происхождения общества—хороший предмет (texte) для этого рода птиц, которые ловят рыбку в мутной воде и которых называют метафизиками". Одни утверждают, что человек, как и все слабые животные (бык, овца, олень), рождены, чтобы жить стадами; другие, наблюдая привязанность матери к детям, видят первое общество в семье; третьи полагают, что слабые объединились, чтобы быть настороже против сильных; таким образом общество обязано своим рождением слабости и притеснению, обязано соглашению. Если каждый мечтает по-своему, то никто не может помешать „мечтать" Дидро.

„Если человек уже при рождении находит врага и врага грозного, если этот враг неутомим, если он постоянно преследует человека, и последний может хоть несколько возвыситься, только объединив свои силы с силами других, то он, к счастью, должен был сделать это. Этот враг—природа, и первое начало общества—борьба с природой. Природа обрушилась на человека потребностями, которые она ему дала, и опасностями, коим она его подвергла; он должен был бороться с жестокостью времен года, с неурожаем и голодом, с болезнями и зверями".

Эта основа общества, борьба с природой, очевидно, звучит диссонансом в век французского просвещения, и этот диссонанс вносит Дидро, едва ли не апостол „природы". Читатель видит, что природа в понимании Дидро—не некая абстрактная сущность, у которой есть не менее абстрактные „зовы" и „предписания". Дидро варьирует и конкретизирует это понятие. В самом начале обоснования своей сенсуалистической этики Дидро показал, что „природа" человека, это—он сам, как животное с определенными органами чувств; теперь при обосновании общества он показывает, что природа есть окружающая человека физическая среда и к тому же далеко не милостивая, выступающая не другом своего детища, человека, но его постоянным, неутомимым врагом, с которым человек борется за свое жалкое существование. В этой борьбе он принужден соединять свои силы с силами себе подобных путем простой кооперации труда и пользоваться теми из объектов той же природы, какие ему в этой борьбе могут быть полезны. Приспосабливаясь к этой природе, человек и ее приспособляет к себе. Нам могут заметить, что в таком материалистическом подходе к вопросу нет философского обоснования общества. На это Дидро уже возразил в своих вступительных иронических строках. Он предоставляет метафизикам обосновывать происхождение общества, как им заблагорассудится; сам же он удовольствуется осмысливанием и обобщением того, что действительно имеет место в природе.

Но и в самом Дидро уже просыпается моралист. „Быть может, человек продвинул свою победу несколько дальше, чем нужно было для его счастья". Однако цепь причин и действий пришла в движение, и неизвестно, где человек остановится. „Как бы то ни было, не менее очевидно, что все, что стремится изолировать человека от человека, стремится также ослабить мощность его борьбы с природой и вновь приблизить его к первобытному положению дикаря". Эти строки написаны в 1773—1774 году, а есть историки, и в их числе А. Веселовский, которые приписывают Дидро 1772 года „зов": назад к природе! Борьба с природой не заканчивается для Дидро „переходом" к общественному состоянию,—самая формула которого вообще не приемлема для Дидро,—но продолжается всегда. Вопрос только в относительной победе той или другой стороны. И, очевидно, общество должно быть построено так, чтобы обеспечить победу человеку.

В этом последнем положении на-лицо уже революционный вывод для Франции XVIII века, но читатель замечает, что и здесь Дидро пребывает глубоким натуралистом, а не „общественником". Борьба с природой и объединение человеческих сил для этого,—вот что нужно Дидро. Внутрь же самого общества он как бы не смотрит, его строением (не политической оболочкой) он не интересуется. Он скользит по поверхности, указывает, что человек не всегда человеку друг, но общественной, точнее, классовой подоплеки не видит.

„Изолированный человек имеет только одного противника, природу. Человек в обществе имеет их двух—человека и природу. Стало быть, у человека в обществе одним мотивом больше прижаться друг к другу". Вывод несколько неожиданный, по всей вероятности, необходимый Дидро в целях обоснования борьбы с деспотизмом, о чем он говорит на следующей же странице, и о чем мы будем говорить в дальнейшем.

Самая необходимость борьбы с природой основана все на том же физиологическом принципе самосохранения человека. Она не противоречит, а предполагает пользу, интерес, удовольствие, счастье человека. И необходимость „сжаться теснее", сблизиться с другими индивидами диктуется теми же соображениями. Отсюда дальнейшее развитие моральных принципов Дидро. Эгоистическая мораль, очевидно, предполагает прежде всего свой собственный интерес. Но правильно понятый собственный интерес необходимо влечет нас к альтруизму.

Деятельность, поведение человека в обществе, с точки зрения Дидро и всего французского материализма, основана на простом и общем принципе: человек хочет быть счастливым. Но он окружен людьми, которые, так же как и он и в той же степени, желают быть счастливыми. Человек в обществе не может изолированно, исключительно своими силами добиться счастья. Он может приобрести это счастье лишь при помощи других; он должен заставить их способствовать своему счастью. Но подвинуть их на такое поведение он может, лишь сам способствуя счастью других. Человек добивается своего счастья, способствуя счастью своих ближних или, по крайней мере, не принося им вреда, — такова краткая и выразительная формула материализма XVIII века в области частной морали в обществе [1]).

Конечно, чем меньше счастья приносит человек другим, тем менее способствуют они его счастью. Значит, это свое доброжелательное поведение человек должен особенно культивировать. Здесь ключ к пониманию „философа", как идеала человека у Дидро. „Я даю имя философа только тому, кто постоянно занят разыска-

[1]) В свернутой форме и это положение содержится в „Этике" Спинозы: „Люди, управляемые разумом, т.-е. люди, ищущие собственной пользы по руководству разума, не чувствуют влечения ни к чему, чего не желали бы другим людям, а потому они справедливы, верны и честны". Схолия к теореме 18 части IV.

нием истины и практикой добродетели. Здесь ключ к пониманию другого афоризма Дидро, который он не раз повторяет: „Только одна обязанность — быть счастливым; только одна добродетель — справедливость".

Добродетель есть принцип общежития, общественности (sociabilité); из этого принципа, как из источника, проистекают все законы общества, все, как общие, так и частные, обязанности по отношению к другим людям. Дидро указывает несколько таких максим. „Общее благо должно быть высшим правилом нашего поведения". Добиваясь счастья для себя, мы должны добиваться его для других; но, способствуя благоденствию других, мы способствуем благоденствию целого. И это целое, общество, с его благом—выше нас, составляющих лишь его часть. Мы видим, к каким выводам приходит Дидро, отправляясь от личной пользы и удовольствия. Если его мораль индивидуалистична, то только у своих истоков. Не учитывая же моментов классового расслоения общества и классовой борьбы, он, при развитии своих принципов, впадает в противоположную крайность, говоря о морали универсальной. Зато это положение в глазах критиков буржуазной эпохи должно снять с Дидро всякий упрек в „безнравственности" его морали.

Мы не будем приводить его дальнейших практических максим, ибо они не относятся к принципиальной постановке вопроса, но мы укажем, что, провозглашая, например, требование справедливости, Дидро не считает это понятие жестким, неизменным, метафизическим. „Справедливость есть верность установленным соглашениям. Справедливость не может состоять в тех или иных определенных действиях, так как действия, которым дают наименование справедливых, изменяются из страны в страну; и что справедливо в одной, то несправедливо в другой" [1]).

Приведенное место представляется нам весьма примечательным. Оно должно снять с Дидро упрек в метафизичности его морали; как более позднее (1763), оно покрывает собою слова Дидро 1758 года о вечной базе справедливости. „Естественной" справедливости для Дидро, как и для Маркса, нет; для Дидро есть лишь справедливость, „изменяющаяся из страны в страну". Само собой разумеется, что этой формуле далеко до формулы Маркса, данной им в III томе „Капитала". Но для того, чтобы дать эту последнюю, чтобы дойти вообще до материалистического понимания истории и общества, нужно было жить уже в эпоху капитализма. Дидро же объективно не мог подняться выше только нарождающейся общественной формации в области истолкования пружин этой же самой формации. Поэтому для нас представляется ценным отметить шаг Дидро вперед, хотя бы и небольшой. От признания изменений справедливости из страны в страну, от места к месту, уже ближе к признанию изменений от времени к времени.

Дидро определяет справедливость, как верность установленным соглашениям, как подчинение законам. Это вообще характерно для XVIII века. В своем анализе общества Дидро доходит до политической надстройки и, по общему правилу, на ней анализ заканчивает, или же сразу перекидывается к природе. Экономика, общественные отношения и способ производства, их определяющий, ускользают от внимания Дидро и его современников. Это — не их вина: в переходную к капитализму пору невозможно было настолько углубить анализ. Поэтому, и в данном случае приходится отметить, как положительное явление, что они не останавливались исключительно на идеологии, но доходили до политики.

[1]) Diderot, II, 85.

Политика, т.-е. законы, влияет на нравы. Больше того, французские материалисты и с ними Дидро вообще считали, что внешняя среда может изменять нравственность общества; на законах же они останавливались потому, что действие среды усматривали главным образом в законодательстве. Существенную роль они, особенно в лице Гельвеция, придавали воспитанию. Дидро не отрицает влияния воспитания на человека, он вовсе не видит единственной причины различия людей в их „природной" организации, как это кажется некоторым историкам на основании недостаточно глубокого знакомства с „Отвержением книги Гельвеция".

Нужно точно отграничить рамки вопроса. Речь идет не об умственных способностях человека, но о его моральной стороне. Решающее значение в первом отношении, по Дидро, действительно, как мы видели, принадлежит „конформации мозга". По вопросу же о нравственности человека Дидро почти согласен с Гельвецием. Он предостерегает только последнего от смешения указанных двух областей. Гельвеций приводит слова Локка: „Локк говорит, что из сотни людей девяносто добры или злы, полезны или вредны для общества вследствие того воспитания, которое они получили". Дидро сейчас же подчеркивает: „Локк говорит добры или злы, но не остроумны или глупы". Доброта и злость, по Дидро, не относятся к организации так, как гениальность и глупость. Они—продукт среды, воздействия на человека извне, воспитания. „Если можно назвать добрым того, кто делает добро, а злым того, кто совершает зло, то достоверно, что человек при рождении ни добр, ни зол".

Первая часть этого положения не должна смущать читателя; здесь Дидро намекает на то, что человек „рождается без представлений, но со способностью получать их, сравнивать и удерживать одни предпочтительно перед другими"; всякий человек рождается никем, но всякий человек рождается с какой-либо способностью. Мы когда-то говорили, что врожденность представлений отрицается, конечно, Дидро. Но человек рождается с душой, т.-е. со способностью к ощущениям. И вот Дидро имеет в виду, что эта способность, как следствие организации, у одних одна, а у других другая. Поэтому возможно, и даже необходимо, что два ребенка, получающие одно и то же воспитание, окажутся морально различными людьми. Но от этих более осторожных воззрений, чем утверждения Гельвеция, до отрицания вообще роли воспитания и законов дистанция огромная.

В своих „компромиссных" предложениях Гельвецию Дидро соглашается, что воспитание имеет больше значения, чем обычно полагают, что различие в организации, климат, пища имеют меньше значения, чем обычно думают.

Что же, говоря en masse, определяют, по Дидро, нравы? Бесполезно было бы обращаться за разрешением этого вопроса к „Энциклопедии". Там в статье Moeurs мы снова найдем нарочито вставленное слово религия, хотя Дидро еще в своих первых работах указывал, что между религией и нравами нет прямой зависимости.

Нам снова помогают Mélanges, написанные для Екатерины. „Нравы повсюду суть следствия законодательства и формы правления; они не бывают ни африканскими, ни азиатскими, ни европейскими; они бывают добрыми или дурными".

Не приходится критиковать это положение; его ошибочность очевидна. Мы говорили уже, что на Дидро следует смотреть в данном случае в перспективе истории. А если мы это его положение

поставим в связь с эпохой и условиями Франции, то мы увидим весь тот революционный смысл, который Дидро вкладывает сюда. Нравы дурны, и причиной этому является дурное законодательство, дурная форма правления. Чтобы нравы стали добрыми, нужно изменить конструкцию государства.

„Нужно, чтобы повсюду человек был просвещенным, свободным и добродетельным". Не только два первых качества осуществятся вследствие соответствующего устроения государства, но и третье качество также. Нужно организовать общество так, чтобы недобродетельные граждане чувствовали все неудобства своего поведения прежде всего на самих себе. „Очевидно, что в хорошо организованном обществе дурной человек не может вредить обществу, не причиняя вреда самому себе". Таково моральное обоснование Дидро необходимости изменения политического строя. Пусть оно в наши дни представляется наивным, к нему нужно относиться как к достоянию истории. В данном случае важно не обоснование требования, но само требование.

Требование это касается, собственно, лишь преобразования политической формы общества, и в этом была задача тех классов, притязания которых выражал Дидро. Экономическое содержание общества удовлетворяло их, политическая форма стояла препятствием к дальнейшему развитию; назревал конфликт.

5.

Философ par excellence, Дидро мало занимался в своих произведениях вопросами конкретной политики, выискиванием наиболее совершенной формы правления, тем или иным построением власти, быть может, и это считая „метафизикой". Все же кое-что он дает в области публичной морали; он, во всяком случае, позволяет исследователю выяснить основные воззрения. Если здесь по содержанию он менее оригинален, то, по самой трактовке вопроса, в форме, в остроумных аналогиях и неожиданных выводах он продолжает оставаться ярким и образным. Мы ограничимся основными его положениями и приведем два-три примера в качестве иллюстраций.

С современной точки зрения, политические идеи Дидро представляются довольно скромными. Они не так радикальны, как, например, идеи Руссо, но не следует забывать, что женевский гражданин, когда дело доходило до практического вывода, указывал, что его идеал пригоден лишь для „народа богов"; для человеческого же рода демократия в истинном смысле слова, т.-е. в значении прямого народоправства, не пригодна. Эта скромность политических притязаний Дидро, да и не его одного, также должна быть поставлена в связь с эпохой и ее наиболее прогрессивным из уже оформившихся классов. В таком случае „скромность" вырастет до размеров революционности. Нам, переживающим не только „сумерки парламентаризма", но и закат буржуазного государства в целом, нужно войти в суть абсолютной монархии Франции XVIII века, не видавшей Генеральных Штатов с 1614 года, для того, чтобы понять, насколько дерзкими представлялись статьи Дидро даже в „Энциклопедии", когда он говорил, что и законный монарх есть тиран, а право сопротивления тиранам священно.

Однако мы готовы признать, что заслуги Дидро по данному вопросу, главным образом, в отрицательной части, в части разрушения старой идеологии, в подведении читателя вплотную к необходимости сделать революционные выводы, но не в части положительной, т.-е. в части созидающей и детально разрабатывающей конкретный политический идеал.

Точкой отправления в прослеживании у Дидро нового ряда отрывков из нескольких работ может нам послужить все та же проблема нравов и законов. Это тем более удачно, что впрочию показывает связь, какую Дидро усматривал между этикой и политикой. „Если законы хороши—нравы добрые; если законы худы—нравы дурные; если законы, добрые или худые, не соблюдаются—самое дурное состояние общества: нравов нет. Но как же хотите вы, чтобы законы соблюдались, если они противоречат друг другу?" [1]).

Существуют три кодекса законов; первый—кодекс законов природы; второй—кодекс законов гражданских; третий — религиозный кодекс. Если расшифровать эти названия, получим: первый кодекс — это законы нового общества в лице его господствующего класса, наиболее сильного экономически, наиболее просвещенного (что должно было привлекать Дидро), и наиболее пока революционного. Законы второго рода—законы старого общества с его привилегированными сословиями и абсолютным монархом. Что предлагает Дидро сделать, чтобы кодексы не противоречили друг другу, чтобы законы, действительно, можно было выполнять, чтобы сохранить и улучшить нравы? Дидро предлагает отбросить, уничтожить вовсе третий кодекс, второй же преобразовать так, чтобы он слился или, по крайней мере, не противоречил первому. Разве это не революционное заключение для XVIII века? И разве этот образ с уничтожением третьего кодекса законов не стоит еще как нерешенная задача перед нашим временем?

Поскольку встает вопрос об изменении законов, постольку поднимается проблема власти, и обсуждение должно перейти из сферы индивидуальной этики в сферу стики социальной. Возможны два источника власти: насилие, голая эила, и соглашение, формальное, обусловленное договором, конституцией, или молчаливое, соглашение на основании которого граждане-подданные подчиняются власти.

Всякая власть, основанная на насилии, есть узурпация; она действует неизбежно только до тех пор, пока подчиненные сами не станут сильными. Такая власть непреложно должна пасть, и „тот же самый „закон", который создает эту власть, ее и ниспровергает—право сильного". Власть, основанная на том или ином соглашении, есть власть, действительно, законная. Но это соглашение непременно предполагает пользу для общества, выгоду для республики. Это соглашение, устанавливающее власть, в то же время должно удерживать ее в границах. Даже „истинная и законная власть имеет необходимо границы". Граница эта диктуется основными законами природы и государства. Одним из таких условий-законов является то, что государь не может обратить свою власть против соглашения, не может нарушить договор, по которому, между прочим, власть ему передана.

Если государь не соблюдает договора, не стремится к пользе общества, не выполняет интересов государства, тем самым он нарушает соглашение, аннулирует его и аннулирует во всех пунктах, не исключая и того, по которому ему передавалась власть. „Qui annule l'un, détruit l'autre", — говорит Дидро. В этих положениях дано с большим налетом рационализма обоснование права на революцию. Революция „законна", раз общественное соглашение нарушается, а оно нарушается всякий раз, когда власть не обеспечивает интересов общества.

„При какой угодно форме правления природа положила пределы

[1]) Diderot, II,240.

бедствию народов. Выше этого предела—смерть, бегство или бунт... Земледелец и собственник должны жить. Это—вечный порядок вещей. Наиболее глупый и наиболее жестокий деспот не мог бы отвергнуть его" [1]). Два выхода—гибель общества или его бунт; но „земледелец и собственник должны жить", значит, выход остается один: бунт. Дидро не видит причин и возможностей „бунта" внутри самого общества, бунта земледельца против собственника. Для Дидро, с одной стороны, стоит все общество, а с другой—один тиран, быть может, с горсточкой своих сподвижников. И он провозглашает бунт всего общества против этого тирана.

Если абсолютный государь отменяет основные законы, если он утверждает произвольную власть над личностью и имуществом народа, он становится деспотом. Но „никакой народ не мог и не хотел предоставить такую власть своим государям. Если это так, природа и разум предоставляют ему право противиться насилию. Тирания есть лишь упражнение в деспотизме".

Это право на сопротивление тиранам кажется Дидро правом естественным, непреложным, священным. Достойно примечания то, что право на бунт против тиранов Дидро утверждает в статье Souverains в „Энциклопедии". Правда, статья эта носит общий „теоретический" характер. Намеки на Францию можно уловить с большим трудом. Но уже через несколько страниц в статье „Тиран", он ставит все точки над i, но показывает, что тираном называется не только явный узурпатор власти, захвативший ее насилием, но и так называемый „законный" государь. „В наши дни под тираном разумеют не только узурпатора суверенной власти, но и законного государя, который злоупотребляет законной властью, чтобы насиловать, нарушать законы и делать из подданных жертвы своих страстей и несправедливых волеизъявлений, которые он ставит вместо законов". Итак, право на бунт против тиранов священно, тираном же является всякий государь, злоупотребляющий своей властью.

Всю силу своего гнева, своей ненависти Дидро сосредоточивает на таком тиране. Он доказывает вред „произвольного" управления страной, зло издевается над тем, что называется у тиранов „править государством", пишет сатиру на их методы и приемы этого правления, при чем достается как раз королю философу Фридриху прусскому и несколько в меньшей степени другому „философу на троне" Екатерине.

Дидро как бы заставляет такого монарха делать заметки на полях при чтении Тацита. Эти заметки под пером Дидро звучат необычайно саркастически. Таковы, например, мысли монарха о том, что никогда не следует пренебрегать справедливостью в малом, так как это вознаграждается правом безнаказанно отвергать ее в большом. Иногда выгодно объявить самому себе порицание; это—часто акт осторожности, ибо препятствует другим заставить вас краснеть от поступка и преувеличивать его. Никогда не следует поднимать руки, не нанося удара, ибо это может дискредитировать монарха. Очень хорошо звучит, когда рабов называешь гражданами. Полезно всегда спрашивать одобрения там, где можно без него обойтись, это очень верный способ скрывать в глазах народа его рабство. Точно также выгодно ставить имя сената перед своим: Ex senatus consulto et auctoritate caesaris; это очень кстати, когда сенат не означает ничего. Следует заставлять говорить священника в случаях, когда удобно сделать небо ответственным за события. Дидро приводит больше

[1]) Diderot, II, 276.

полутораста подобных максим абсолютного монарха; это—своего рода „моральный" кодекс тирана. Иногда Дидро заставляет его записывать более горькие положения: „Конец империи и конец жизни—события одного дня" или: „следует соглашаться, что законы созданы для всех, как для народа, так и для государя; но никогда не думать так. Все говорят как Сервий Туллий, но обращаются с законами как Тарквиний (Гордый). Следовало бы, когда забывают о спр ведливости, время от времени вспоминать участь Тарквиния" [1]).

Ненавистник царей небесных и царей земных, он объединял свои сатиры на них. Для него было ясно, что тиран неба составлен по образу и подобию тиранов земли. Если в системе Дидро первому не было места на небе, то не оставалось места и второму в государстве. Мы не можем не привести одной выдержки, где Дидро высмеивает „приемы управления", показывая тем самым их нелепость и ненужность как в представлениях людей, так и в самой жизни. „Юпитер садится за стол; он шутит с женой, говорит двусмысленности Венере, нежно смотрит на Гебу, хлопает по ляжкам Ганимеда, приказывает наполнить свою чашу. В то время, как он пьет, он слышит, как с разных концов земли поднимаются крики, крики усиливаются, становятся невыносимыми. Он в нетерпении встает, открывает трап небесного свода и говорит: Чума в Азии, война в Европе, голод в Африке, град здесь, буря там, вулкан... Затем он закрывает трап, возвращается к столу, пьет, ложится, спит и называет это—управлять миром. Один из представителей Юпитера на земле встает, сам готовит себе шоколад и кофе, подписывает приказы, не читая их, отдает распоряжения об охоте, возвращается из леса, раздевается, садится за стол, напивается, как Юпитер или как носильщик, ложится спать с метрессой и называет это управлять государством" [2]).

Дидро ненавидит вообще старый режим, но он персонифицируется в глазах мыслителя в личности абсолютного монарха. Иногда Дидро смотрит глубже, у него закрадываются сомнения относительно порядка во внутренних пружинах общества. Он видит весьма неравномерное распределение национального дохода, видит те тяжести, которые выпадают на долю производящих этот доход, но, не постигнув законов истории, Дидро продолжает вращаться в кругу моральных соображений. Из них он выходит и к ним возвращается.

Человек ничего не стоит без земли, земля ничего не стоит без человека. Чем больше граждан в государстве, тем больше рабочих, торговцев, солдат. Но недостаточно государству иметь людей, нужно иметь их трудолюбивыми, производительными (industrieux) и крепкими (robustes). Крепкими люди бывают, если здоровые нравы, производительными, если они свободны. Значит, и то и другое подводит опять вплотную к законам, к государственным учреждениям, к политике. Дурно, если вследствие недостатка свободы торговли в одной провинции изобилие, а в другой нужда. Но это для Дидро вновь свидетельствует о том, что дурно организовано правление.

Нужно уменьшить число работников над предметами роскоши и число домашних слуг. На слуг следует ввести налог, дабы снять часть налогов с земледельцев; если земледельцы плохо питаются, они или погибнут, или бросят свое дело, ибо всякий занимается своим ремеслом лишь в надежде на хорошую жизнь. Мы вновь вспоминаем источники морали у Дидро — необходимое стремление человека

[1]) Principes de politique des souverains, XLI.
[2]) Diderot, II, 450.

к счастью. В целях моральных и должно быть реорганизовано общество средствами политики.

Для Дидро более ценным представляется не крупный национальный доход, но доход, более равномерно распределенный. В этом сказывается выходец и представитель революционной мелкой буржуазии с ее идеологией перед революцией. По тем же моральным соображениям Дидро не хочет деления общества на классы. Это деление он намечает не по линии производства, а по линии, как сказано, распределения. Неравное распределение делит народ „на два класса, из которых один наслаждается богатством, а другой задыхается в нищете".

Вследствие такого распределения исчезает из общества добродетель, ухудшаются нравы. „Если предположить более равное распределение богатств и национальную помощь, пропорциональную различным состояниям, если золото перестанет быть представителем различного рода заслуг,—увидят, как рождается новая роскошь. Эта новая роскошь, которую я называю добром, произведет действия совершенно противоположные первой" [1]). В такой постановке вопроса есть маленькая крупица истины, но вся она обволокнута густо тканью из моральных и утопических волокон. Если изменить условия, внешнюю общественную среду, то изменится и поведение человека, беря это слово в самом широком смысле. Но изменение общественных услов й Дидро видит только в изменении, и притом количественном, распределения национального дохода; изменение это, далее, вполне возможно простыми законодательными нормами, без более глубокого основания в классовом строении общества, в способе производства, но лишь с изменением формы правления; наконец, это новое распределение организует нравы общества, оно одно будет способствовать росту добродетели. Мы видим, как нравственные идеи Дидро принимают утопическую окраску, когда он пытается претворить их в жизнь.

Однако, мы подчеркиваем и настаиваем, что Дидро видел корень изменений в обществе, своего рода „базис" не в индивидуальных „мнениях", не в личности того или иного монарха, не в его благих намерениях, а в установлениях общества, в государственных учреждениях, в политической конструкции государства. Употребляя марксистские понятия, мораль в смысле совокупности нравственных воззрений для Дидро была также идеологией, надстройкой. Базис же он видел, конечно, не в экономике, но и не в идеологии, а в политике. Политика, в смысле организации государства, повторяем, его учреждений, определяла для него нравы. Поэтому воззрения его в данном случае нужно охарактеризовать не словом идеализм, а, мы не боимся за неологизм, не получивший еще права гражданства, словом политизм.

Это видно из того, что каким бы идеальным ни представлялся монарх, каким бы добрым и либеральным он ни казался, Дидро не верит ему, и требует перехода от абсолютной монархии к иной конструкции государства, к иному, с его точки зрения, „политическому базису". „Всякое произвольное управление дурно,—говорит Дидро Екатерине,—я не исключаю произвольного управления господина доброго, твердого, справедливого и просвещенного". Если деспот будет лучшим из людей, он все же злодей. Просвещенный самодержец—еще худшее явление, еще большее зло, „его добродетели самые опасные и самые верные из обольщений; они незаметно приучают народ любить, уважать и служить своему притеснителю, каков бы он ни был—злой или глупый... Что характеризует деспота? Доброта или злость? Нисколько. Эти два понятия не входят в определения деспота. Дело в объеме, а не в применении власти, которую он себе присвоил" [1]).

[1]) Diderot, II, 415.

Мы полагаем, что достаточно словами самого Дидро защитили наш тезис. Если бы в глазах Дидро мнения правили людьми, то не нужно было бы столь восставать против просвещенного абсолютизма. Достаточно было бы иметь на троне доброго монарха. Однако Дидро идет глубже и видит зло в обстоятельствах, быть может, от самого монарха независящих, в конструкции власти. Это не идеализм, а политизм.

Мы не будем доказывать, что, в своем анализе, Дидро не спустился достаточно глубоко, что он увидел свой базис фактически в одной из надстроек, но нужно помнить, что до установления капиталистического строя исчерпывающий анализ объективно был невозможен. Буржуазия, как субъект капиталистического общества, даже в его недрах вследствие своего классового положения не могла провести столь глубоко этот анализ. Только новый класс, „четвертое сословие", пролетариат, как бы поднявшись еще на новую ступень, мог дать обоснование всему механизму общества. Ввиду всего этого, подобно тому, как мы говорим об экономическом материализме пролетариата в лице Маркса, нам кажется возможным, перенесясь мысленно в XVIII век, говорить о политическом материализме буржуазии в лице Дидро.

Итак, если не абсолютная монархия, то что же вместо нее? У Дидро ответ готов—конечно, республика, демократия. Но здесь выступают новые соображения. Надо знать, что под демократией в XVIII веке понимали не то, что теперь. Демократия, это—прямое народоправство, такая форма правления, когда суверенная власть никому не переуступается даже частично, когда народ в целом осуществляет ее. Такой строй, конечно, предполагает малые размеры страны и для Франции, например, представляется недостижимым. Значит, следует найти такой модус, когда суверенная власть, по презумпции, остается за народом, и как бы часть ее в интересах всего общества временно передается некоторым, может быть одному.

Обстоятельства диктуют неизбежность представительного образа правления, „умеренной формы правления", как говорили в XVIII веке. Соединяясь в общество, люди ищут более счастливого состояния. Свобода и равенство являются преимуществами догосударственного состояния, но недостатки его—страх перед насилием и отсутствие помощи в беде. Чтобы уничтожить это зло, люди соглашаются потерять немного из своей свободы и равенства. Но в том-то и дело, что закон должен, отняв как можно меньше свободы и равенства, предоставить как можно больше благосостояния и счастья. В представительной же демократии люди наиболее свободны и равны.

„Не государство принадлежит государю, но государь государству". Ему подобает править государством, потому что последнее избрало его для этого. Он может отказаться от короны, но не может передать ее другому. „Одним словом, корона, правление, публичная власть суть блага (biens), собственником которых является все национальное тело, а государи лишь узуфруктуарии, министры и депозитарии этой власти" [2]). Поэтому подданный и гражданин—один и тот же человек. Первое понятие более узко, второе

[1]) Diderot, II, 381.
[2]) Encyclopédie. „Autorité politique".

более широко, но всякий подданный есть в то же время и гражданин. Здесь Дидро ничем не отличается от Руссо.

Мы не встречаем у Дидро слов „республика" в нашем значении, „президент", но дело не в словах; его представительная монархия является выборной, а не наследственной, и теоретически, по обоснованию, и практически, по передаче власти из рук в руки. Корона в правящей династии (речь идет о семье Екатерины) должна передаваться по выбору и не отца или матери, а народных представителей.

Необходим законодательный корпус, составленный из таких представителей. Он будет всегда лучше понимать общественный интерес, чем государь. И нечего опасаться, что он возвысится над государем. „Не те империи несчастны, где возрастает народная власть, но те, где власть государя становится неограниченной".

Последний принципиальный вопрос: как и из кого должен составляться законодательный корпус, который будет говорить от имени нации? Дидро внедряется в историю и находит там тоже „представителей" (représentants). При феодализме дворянство и церковь говорили от имени страны. „Народ, состоящий из земледельцев, жителей городов и деревень, ремесленников, словом, наиболее многочисленной, трудолюбивой и полезной части общества, не был в праве говорить сам за себя; он принужден был без ропота принимать законы, которые обдумывала знать с государем... Народ не слушали, его рассматривали, как сброд негодяев" [1]). Эти сословия, конечно, не могут быть рассматриваемы Дидро, как представители нации.

Но Дидро не отказывает им и в новом законодательном корпусе. Однако на-ряду с ними он перечисляет новые группы граждан, появившихся в обществе с развитием торговли и ремесл. Негоцианты должны быть представлены, ибо торговля—источник силы и богатств страны. Не могут быть забыты и земледельцы, снабжающие общество предметами существования. Словом, Дидро называет основные группы, из которых в его время слагалось tiers etat.

Третье сословие, от имени которого Дидро говорит и к которому он сам принадлежит, является в его глазах самым полезным и самым просвещенным сословием. Оно „повсюду дает просвещенных людей". Так революционное третье сословие, представляющее большинство общества и выступающее от имени государственного целого, головой и руками Дидро заявляет о своем существовании и своих притязаниях.

Мы разбросали наши замечания по всему очерку. Постараемся вкратце собрать и повторить их. Мораль Дидро, отрицающая врожденные нравственные принципы и исходящая из реального человека, в истоках своих материалистична и сенсуалистична. Но этот натурализм и физиологизм, будучи перенесен в общество и развиваем там без связи со специфически общественными условиями, весьма отдает рационализмом. Эгоизм борется с альтруизмом, и если побеждает второй, то победа его превращает индивидуалистическую вначале мораль Дидро в мораль универсальную с утопическими элементами. Его мораль антиисторична.

Обоснование общества стоит на реалистической основе, но при переходе к собственно государству вновь выявляются рационалистические моменты „общественного договора". Взаимоотношение морали в широком смысле и политики строится по принципу политического материализма, который, являясь недостаточным, оказывается также антиисторическим. Требования реорганизации государственной конструкции представляют собой максимум необходимого и достаточного для буржуазии Франции XVIII века.

И. Луппол.

[1]) Encyclopédie. „Représentants".

Философия дворянина нашего времени, или откровения Николая Бердяева о социализме, революции и пролетариате.

Есть книги, изучение которых не нуждается в оправдании, и есть книги, рецензии на которые такого оправдания требуют. Новая книга г. Бердяева „Философия неравенства", явившаяся миру в издании „Обелиск" в 1923 г. в Берлине, под громким подзаголовком „Письма к недругам по социальной философии", принадлежит скорее ко второго рода книгам.

Правда, это не совсем обычная книга; это—больше, чем книга, это—анафема, это—откровение. По ней вы можете не только оценить прошлое, уяснить себе настоящее, но и познать будущее вплоть до того момента, когда по трубному гласу архангела закончится земная история и наступит в преображенном мире царство божие. В ней есть все: социализм, революция, либерализм, анархизм, аристократизм, культура, хозяйство, царство божие; есть все, коль нет обмана!.. Однако не эта видимая „многосторонность" книги побуждает нас браться за перо. За этим призрачным богатством скрывается не много сокровищ. Одну страницу от другой с трудом мог бы отличить и вооруженный лупой читатель, если бы они в прекрасном издании так четко не различались своими номерами.

Все „произведение" проникает одна мысль, но эта мысль, скрытая в глубине многоводного потока книги, заслуживает нашего внимания. Заслуживает и потому, что она формально обращена к недругам (см. подзаголовок книги), т.-е. к нам, революционным марксистам, и по своему содержанию. Она не только знамение времени, но и претендует на то, чтобы быть знаменем определенного класса.

Мы должны заранее оговорить афористичность нашего изложения. Оно определяется материалом—во всяком откровении напрасно искать систему и строгую последовательность мысли. Кроме того, с некоторыми „идеями" г. Бердяева мы уже встречались в рассмотренной в прошлом номере „Под знаменем марксизма" книжке того же автора „О смысле истории". Возвращаться к ним вновь было бы слишком скучно.

Чего хочет г. Бердяев? Чтобы выяснить это, предоставим слово ему самому:

„Ныне торжествуют в мире те, которые хотели бы или совершенно опрокинуть христианство, или извлечь из него революционные выгоды, выгоды социалистические и анархические. Против этих недругов, прежде всего, направлена моя книга. Их хочу я изобличить, ибо в них грядущая опасность и грядущее зло. Зло прошлого, отошедшего, умершего или умирающего менее опасно. Антихрист явится в грядущем, его соблазны—грядущие соблазны человечества... Нет в мире страны, которая могла бы так легко сделаться очагом этих со-

блазнов, как моя страна—Россия. Вам, отравившим душу русского народа страшным ядом, вам, губившим Россию, посвящаются мои письма" (стр. 6).

Посрамляя своих врагов, вместе с тем г. Бердяев хочет дать „онтологическую психологию или феноменологию общественности", „вскрыть духовные основы общественной мысли". Такова задача. Ее завершением должно быть восстание духа и чувства вечного.

Мы все, надо думать, вместе с г. Бердяевым, прекрасно знаем, что это значит. Проблема духовного восстания есть проблема подготовки восстания материального. Под флером вечного скрывается настоящее. Борьба с соблазнами антихриста в грядущем, как мы увидим ниже, есть не что иное, как борьба реакции с ветхим Адамом внутри самого христианства, процесс его очередного линяния. Всмотреться в этот процесс, понять разоблачение одних фетишей, отказ от них и утверждение других фетишей в стране фетишей par excellence—должно быть нашей задачей.

Г. Бердяев, прежде всего, рыцарь. И дама, во имя которой он готов одеть на себя столь неподходящие его тщедушному литераторскому телу доспехи, есть религия. Его недруги—недруги его веры, „отступившие в духе своем от Христа, предающие его и восстающие на него во имя земных идолов и богов" (стр. 5). Он резко отгораживается от всех тех, кто „пассивно и бессильно отдавался господствующим стихиям". К людям золотой середины обращается он с гневной речью: „Вы заговорили чужими словами, и шум улиц и площадей почувствовался в ваших речах и статьях. Вы не обнаружили рыцарской верности и рыцарского благородства, вы оказались плебеями духа. Вы забыли вечное различие между рыцарями духа и чернью... Где же оказались ваши рыцарские доспехи в час битвы, в страшный час рокового поединка противоположностей?" Мы не знаем, под сенью какой советской канцелярии и какими пайками сохранялись в этот час рыцарские доспехи г. Бердяева. Но его воинственность и непримиримость, правда, в далеком Берлине, в настоящее время не могут в нас вызывать сомнений. Он недаром прошел некогда школу Маркса. В нем нет беспомощно сентиментального разбавления революции под Блока или „живую церковь". „Всякая революция по природе своей антирелигиозна, и низки все религиозные ее оправдания. . Революция есть свыше ниспосланная кара за грехи прошлого" (стр. 8—9), в ней нечего искать осуществления религиозных идей и идеалов. Но она дает великий опыт, который каждый класс должен осознать, если хочет еще бороться за свое существование. Книга г. Бердяева не что иное, как попытка осознать опыт русской революции с точки зрения „закатывающихся" классов.

* * *

Вся книга есть отрицание настоящего во имя прошлого. И прежде всего—отрицание революции. Гипнотизирующая сила революции, пред которой невольно склоняются лица и классы, заключается в том, что, несмотря на все разрушения, она есть творческий процесс создания новых форм жизни. Задачей г. Бердяева является доказать обратное,—что единственно творческим периодом в истории является реакция. „К революции ведут не созидательные творческие процессы, а процессы гнилостные и разрушительные. Чувство любви, порывы творчества, акты созидания никогда не приводят к революциям. На всякой революции лежит печать безблагодатности, богооставленности или проклятия" (стр. 9). „Осуждением до революции господствовавших слоев общества бывает то, что они довели до революции, допустили ее возможность" (там же). „Революцию не делает человек, как образ и подобие божие, революция делается над человеком, она случается с человеком, как случается болезнь, несчастие, стихийное бедствие пожар или наводнение... Руководить революцией невозможно". Люди революции—ее пассивные орудия, „медиумы безликих стихий" (стр. 10). „Новая душа родилась не в Вел. Франц. Революцию, не в Робеспьере, а после революции, в Шатобриане" (стр. 11).

Революция, действительно, не призвана осуществлять ни дело благодати, ни дело любви в слащаво-христианском смысле этого слова. Она творится из наличного человеческого материала, в котором, конечно, много шлака с точки зрения будущего. Но не в этом ее пафос. Ее дело—дело освобождения класса и с ним всего общества. В классовом обществе единственное подлинное дело любви есть ненависть. И тот, кто проникся ею,—сделал первый шаг к новому человеку. Революция есть очищение его огнем. Но не как стихия, гроза, нежданно освещающая атмосферу, воспринимается пролетариатом революция. Менее всего он—пассивное ее орудие. Революции делаются в наше время. Более всего чуждо идеологии пролетариата опьянение революцией, культ ее, мистификация. Пролетариат есть самый революционный класс в обществе, и поэтому он и наиболее трезво относящийся к революции класс. Для него, как класса, она—орудие, труд при помощи тончайшего и опасного инструмента, где особенно нужны глазомер и выдержка.

Наоборот, для того класса, против которого осуществляется революция, она—стихийное бедствие, разрушение, пожар и наводнение. Она уже ничего для него не может сулить творческого. Не рождается и крепнет, а умирает в ней „душа" этого класса. Так рисуется революция Бердяеву. Оба представления на революцию одинаково верны, их нельзя опровергнуть одно другим, ибо они рисуют ее с точки зрения разных классов, противоречащих один другому.

Материальной революции Бердяев противопоставляет революцию духа. Но это свидетельствует только о том, насколько даже крайние и наиболее последовательные контр-революционеры не в состоянии освободиться от обаяния этой исторически-прогрессивной общественной формы.

И еще более невольное подчинение чуждой себе идеологии ска-

зывается в Бердяеве, когда он от пасквиля против революции переходит к оде реакции. „Все революции кончались реакциями,—начинает он.—Это неотвратимо. Это—закон" (стр. 13). Жалкий дух г. Бердяева взывает здесь к той самой закономерности, которая только что перед этим им отвергалась в революции. И когда далее г. Бердяев говорит, что именно реакция есть творческая эпоха, то он забывает просто смысл слов, которые он употребляет. Реакция есть возвращение к прошлому, воспроизведение уже созданного и пережитого, менее всего—движение вперед, создание нового. Если эпохи реакции и делают что-либо, то лишь поскольку они сознают опыт революции, являются ее невольными детьми.

* * *

Итак, реакция неизбежна. Бердяев видит ее во сне и бредит ею наяву. Но ее удача зависит от степени ее подготовленности и твердости. Дать программу и обоснование реакции и чувствует себя свыше призванным г. Бердяев.

И здесь задача г. Бердяева, прежде всего, критическая—покончить с обанкротившимися в революции старыми идеалами. В этом отношении г. Бердяеву нельзя отказать в своеобразной смелости и последовательности.

„Препятствием на пути нашего зрелого национального самосознания всегда стояло русское народничество, которое в разных формах владело умами и сердцами русских людей" (стр. 20). Г. Бердяев одинаково ополчается против народничества консервативного, революционного, религиозного и материалистического (?). „Всегда оно было капитуляцией нашего культурного слоя, призванного нести свет во тьму, перед необъятной тьмой мужицкого царства, всегда оно было выражением русской отсталости, русской экстенсивности, всегда означало недостаток духовного мужества". Духовное мужество г. Бердяева, прежде всего, направлено по линии борьбы с этим фетишем. Подумайте! Ведь „бог был подменен народом, ценности—интересами, духовные реальности—преходящими благами социальных классов" (стр. 21). В чем заключаются эти „духовные реальности", мы увидим немного ниже. Сейчас уже только ясно, что дело, собственно говоря, не столько вообще в служении народу, которое у тех, кто именовался у нас в действительности народниками, было весьма платоническим, сколько в борьбе за „преходящие блага социальных классов". Здесь ударение во всей проповеди г. Бердяева. С высоты своей твердой позиции г. Бердяев готов даже третировать тех „народников", которые слишком поздно уразумели, каким огнем они играют. „Многие из вас испугались, когда давно желанная вами социалистическая революция, основанная на вами же заложенном материалистическом базисе, начала истреблять вас и выбросила вас за борт жизни. (Какое злорадство в устах „сына божия"!) Вы даже заговорили о пользе религии, которую вы всегда отрицали и начали обращаться к церкви,

которую всегда ненавидели и травили. Но слишком поздно обратились вы к помощи религии... Благодать божия не сходит на тех, которые прибегают к ней по соображениям утилитарным, из потребности к самосохранению. Нужно было раньше думать о боге и духовных основах жизни" (стр. 23). Невеселая встреча ждет кающихся в Каноссе. И убийственна для них ирония Бердяева. Мелко-буржуазные демократы былых времен должны до конца капитулировать перед махровыми реакционерами. Бердяев понимает, что они—выжатый историей лимон. Радикализм умер. „Вы, русские радикалы, многоликие и разнообразные,—самый ненужный род людей, у вас нет ничего своего. Вам наступил конец... Отныне нельзя уже будет восторгаться социализмом, как прекрасной далью... Ваше время ушло, всех вас—и социалистов, и радикалов, и либералов, и консерваторов старого типа, колеблющихся и сидящих между двух стульев. Ныне наступает страшное, ответственное время. И лишь более огненные, более глубокие идеи могут победить тьму, которой мы объяты" (стр. 25—26).

И вот г. Бердяев подвергает рассмотрению традиционные политические идеалы, чтобы найти эти более огненные идеи.

* * *

Критика либерализма у Бердяева всего мягче. Здесь он рассчитывает еще на будущих союзников. Он втолковывает им, что они „лишь по непоследовательности и по поверхностности своего сознания готовы признать неотъемлемые свободы и права человека" (стр. 121). Либерализм был слишком связан с просветительством, столь ненавистным больной совести буржуа. Несчастье либерализма в том, что он „порождает демократию и неудержимо переходит в демократизм... Демократия же истребляет самые основы либерализма, равенство пожирает свободу" (стр. 125). Такова диалектика всех революций, и в предотвращение ее либерализм должен уйти. Суровая зима должна добить последние листки далекой весны капитализма. Тем более, что „нельзя не признать, что господство отвлеченного либерализма в жизни экономической дало свои отрицательные и злые плоды" (стр. 126). Манчестерство сыграло уже свою историческую роль. Больше ему делать нечего. Капитализм перешел в новую фазу своей жизни.

Если ни у кого нет уже более веры в либерализм, как свидетельствует г. Бердяев, то еще более нет этой веры в демократию. Эта историческая категория общественной жизни уже принадлежит истории. Это так очевидно в свете последних событий в Германии и для г. Бердяева, и для нас, что на этом нет нужды более останавливаться. Г. Бердяев решительно высказывается за ценз. Конечно, „ценз по существу своему должен быть духовным. Но,—поясняет во избежание недоразумений новоявленный пророк,—духовный ценз имеет и материальные признаки своего выражения" (стр. 140). Кому не ясно, что это значит?

* * *

Центр тяжести своей несравненной критики преподобный отец сосредоточивает на социализме и пролетариате.

Еще до рассмотрения социализма Бердяев успел обмолвиться крылатой фразой о том, что „сыны революции — parvenus“ (стр. 92). Сейчас он сосредоточивается на этом, чтобы оклеветать весь революционный класс. Вот его образ пролетариата:

„В душевном типе этого класса нет особенно высоких черт. Он унижен нуждой, он отравлен завистью, злобой и местью, он лишен творческой избыточности. Может ли из этих душевных стихий родиться высший человеческий тип и высший тип общественной жизни. Тип „пролетария“ есть скорее низший человеческий тип, лишенный благородных черт, черт свободных духом“ (стр. 151). К этой характеристике нечего добавлять, кроме пожелания, чтобы ее знали возможно больше рабочих.

Социализм буржуазен,—заявляет г. Бердяев,—так как он есть детище буржуазного общества. С большим правом мы могли бы в таком случае сказать, что г. Бердяев—обезьяна, так как в числе его славных предков были и обезьяноподобные. „Революционный социализм рабски прикован к экономической действительности, пригнут к земной юдоли, уготован необходимостью. Из горькой необходимости, а не из свободы рожден социализм“,—продолжает г. Бердяев. На это мы можем только заметить, что всякая подлинная свобода опирается на необходимость. Наоборот, призрачно-свободные взгляды действия г. Бердяева, как мы увидим ниже, определяются с непреложной необходимостью его дворянской породой.

„Социализм создан буржуазией, высшим культурным классом“,—продолжает свое гнусное дело г. Бердяев. Маркс и Лассаль были буржуа. „Только в буржуазных классах социализм может быть благородным и бескорыстным движением человеческого духа, может быть идеей. В классах „пролетарских“ социализм делается интересом, а не идеей; он роковым образом приобретает материалистический характер, в нем не может быть жертвенности. Облагородить социализм может только буржуазия“ (стр. 152). Может ли человек пасть ниже этой цитаты?! Кто не знает, что современный социализм был вызван к жизни ростом рабочего класса? Если на его сторону, в число его идеологов переходили выходцы из рядов буржуазии, то лишь потому, что на точку зрения пролетариата, как самого передового класса, толкало людей науки ее собственное внутреннее развитие, с одной стороны, и с другой—угнетенное положение пролетариата, невозможность отдавать достаточное время умственной работе усиливали в идеологической борьбе пролетариата значение этих перебежчиков. Но разве никому не известны Вейтлинг, Прудон, Бебель и тысячи других борцов за дело пролетариата, вышедших из среды самого пролетариата? Бердяев слеп в этом отношении. Ему нужно лишь показать величие буржуазной души хотя бы за счет тех, кто видел величайшее для себя дело в том, чтобы сбросить ее лохмотья.

Естественно, что кнут в одной руке г. Бердяева должен умеряться для видимости справедливости пряником в другой. Отрицая революцию, Бердяев высказывается (слава богу!) за благотворительность, которая облегчит извлечение жала революционного социализма. Он—тоже социалист, но христианский социалист, без социализма. Парадокс этот объясняется весьма просто. „Христианский социализм имеет по существу слишком мало общего с социализмом, почти ничего. Он именуется так лишь по тактическим соображениям (!), он возник для борьбы против социализма“ (стр. 155). Г. Бердяев ровно постольку „социалист“, поскольку он борется с социализмом.

Социализм есть „сатанократия“. Он есть „принудительная добродетель и принудительное братство“ (стр. 157). Оно противоположно большому братству во Христе. Вряд ли надо говорить о том, насколько ложно подобное понимание социализма. Ни к какому братству никого за волосы он не тянет. Он осуществляет действительное „товарищество“, которое так претит г. Бердяеву и которое есть внутри рабочего класса. Врагов своих социалистическая революция менее всего тянет в социалистическое братство, она просто уничтожает все предпосылки их возможного воспроизводства. Это прекрасно понимает г. Бердяев. Против этого-то, а не против фиктивного, навязываемого г. Бердяеву, братства и выступает благородный рыцарь. „Ваш принудительный коллективизм уничтожает всякий материальный базис свободной духовной культуры“,—вещает он (стр. 161). Здесь зарыта собака. Во имя этого материального базиса и напяливает г. Бердяев на свои слабые плечи рыцарские латы. Ведь известно, что рыцари поддерживали свое существование во время оно поборами и грабежами.

Наконец, г. Бердяев прибегает к решительному средству. Его аргументом против революции должно оказаться ее собственное мировоззрение—марксизм. В марксизме есть объективно-научная и субъективно-классовая сторона,—поет старую песню г. Бердяев.

Объективно—признание прогрессивности буржуазии в меру роста производительных сил, субъективны—теория прибавочной стоимости и пролетарской революции. Мы знаем, что в действительности имеет место обратное: прогрессивная роль буржуазии для настоящего есть ее субъективная иллюзия, а пролетарская революция есть объективный факт. Но что до этого г. Бердяеву? Он слеп ко всему, что не согласно с интересами его класса.

„Неравенство есть условие развития культуры“,—продолжает г. Бердяев (стр. 165). Г. Бердяев вычитал это у Маркса, но не понял. Понимание класса ограничено его собственными интересами. Не по-

нял азбуки марксизма—то, что верно для одного исторического периода, перестает быть верным для другого. Но разве истина влечет г. Бердяева?

* * *

„Во имя свободы творчества, во имя цвета жизни, во имя высших качеств должно быть оправдано неравенство" (стр. 172). В неравенстве и его оправдании соль дела. Стремление к равенству—это распространение закона энтропии (!) в социальном мире (стр. 24). И физические законы мобилизуются на помощь аристократии. Социализм — это атомистическое понимание общества (стр. 33). Атомизм там, где есть равенство. Один атом равен другому. Почему в данном случае г. Бердяев не сочинит своей физики и химии без атомов? Потому, что ему и атомы, и законы нужны лишь для его классовой цели.

Г. Бердяев за „здоровый пессимизм" в общественной науке. Ему нечего ждать от будущего. Оптимизм стал государственно-опасным для буржуазии учением. Так проходит слава мира! Оптимизм говорит о будущем, в то время как в царстве мертвых дозволено говорить лишь о прошлом.

В мире борются космос и хаос. Космос—это прошлое, хаос—это будущее. Основой прежнего космоса была идея царя (стр. 19), сейчас водворить его призвана аристократия. Книга г. Бердяева есть обоснование господства аристократии, „порядка". Основа порядка есть иерархия. Это—излюбленное слово г. Бердяева, суть всей его философии.

Политический идеал г. Бердяева менее всего отдает сентиментальностью или особенным человеколюбием. Мы имеем дело с матерым зубром реакции. „Бунт карается законом необходимости. И если все революции кончались контр-революциями, иногда очень жестокими и безобразными, то это были необходимые реакции исторических реальностей" (стр. 59). Не народ, а нация, представляемая ее аристократией, есть подлинно „онтологическая" категория общественности. Нации не равноправны. Они должны бороться за свои права перед лицом всевышнего, форма их борьбы есть война. Бердяев строит философско-религиозное оправдание империализма. Новой на должна вестись не во имя явных, а во имя таинственных, безумных целей. „Массы должны всегда участвовать в войне во имя непонятного, таинственного и иррационального" (стр. 194). Пояснение к этому следует через несколько строк: „Хорошо воевать может лишь тот, в ком личность в ее отдельности угашена в мистическом (!) организме армии". Так „мистически" обосновываются обман масс, палка и затуманивание голов.

Высшим общественным классом является дворянство. „Дворянство остается на веки-веков образцом более высокого качественного состояния, породы дифференцированной и выделенной" (стр. 104). „Всякое желание выйти в аристократию, возвыситься до аристократии

из состояния низшего, по существу, не аристократично. Возможен лишь природный, прирожденный аристократизм, аристократизм от бога" (стр. 105). Какой, с божьей помощью, поворот для бывшего марксиста! Правда, через несколько страниц дело проясняется. „Я не верю в будущее дворянства, как сословия, и не хочу себе (!!), как дворянину, дворянских привилегий. (Какое благородство! Г. Бердяев отказывается от того, чего давно его лишили...) Но оно остается как раса, как душевный тип, как классическая форма (какой подъем!), и вытеснение дворянства, как класса, может увеличить его душевную и эстетическую ценность" (стр. 111).

* * *

Хозяйственным строем, в котором должно осуществиться царство аристократии, должен быть „хозяйственный универсализм". Он должен опираться на незыблемость собственности. „Собственность по природе своей есть начало духовное, а не материальное" (стр. 215). Таким образом окончательно вскрывается, что значат „духовные ценности". Нельзя сказать, чтобы они были слишком „духовны". Но ведь только „частная собственность на земле делает возможной любовь к земле, к полю и лесу, вот к этому дереву, около которого сидели деды и прадеды, к дому, к воспоминаниям и преданиям, она поддерживает связь времен и поколений. Национализация и социализация земли вызывают исключительно потребительски-корыстное отношение к земле, грубо-материалистическое, лишенное всякой душевной теплоты, оно сделает невозможным интимную связь с прошлым, с предками, убьет предание и воспоминание. Это верно по отношению ко всякому хозяйственному делу" (стр. 215). Как трогательно! Дело, ведь, идет о страданиях помещика, оторванного от собственной земли, а не о муках каких-нибудь пролетариев,—„низших типов людей". Этим хозяйственный идеал г. Бердяева выясняется совершенно. Он за современный монополистический капитализм, регулируемый твердой государственной властью, находящейся в руках дворянства и близкой ему крупной буржуазии. Такова его культура, претендующая на вечность.

* * *

В послесловии г. Бердяев заявляет, что его книга была написана в 1918 г., и что сейчас, хотя он и признает все ее положения, но выразил бы их с меньшей страстностью. И прежде всего он готов подчеркнуть, что основная задача книги не политическая, а духовная. Но мы уже от самого г. Бердяева узнали, что такое „духовное". Перенесение центра тяжести на „духовное" есть лишь признание политики еще несвоевременной. Но мы знаем, что ничего так пламенно не ждет г. Бердяев, как момента, когда его духовные громы могли бы превратиться в гром пушек интервенции.

Мы уже в начале заметки сказали, что книга г. Бердяева есть и знамение времени, и знамя класса. Последние десятилетия капиталистического развития привели к смене прежнего либерального капитализма капитализмом империалистическим. Вместе с этим выдвинулось вперед значение армии внутри и вне страны, увеличилось влияние дворянства даже в передовых капиталистических странах. Сама буржуазия, выполнив свою прогрессивную историческую роль, все более и более передвигается на позиции консерваторов. Эпоха революции поставила с особой отчетливостью в порядок дня необходимость единения всех реакционных сил, бессилие парламентского государства сдерживать массы в повиновении. Союз аграриев с промышленниками стал свершившимся фактом. Его знаменем явилась церковь, его врагом—марксистский пролетариат. Русская буржуазия и русское дворянство более всего получили опыта в этом отношении. Очутившись не у дел их идеологи легче всего могут заняться подведением итогов. Г. Бердяев творит не только русское дело. Он созидает русскую теорию европейской реакции.

Поэтому мы и сочли возможным, может быть, слишком много внимания уделить столь пустому в теоретическом отношении „творению", как „Философия неравенства".

Впрочем, изложение ее может быть вместе с тем полезно и в другом отношении:—оно должно показать всем колеблющимся, что их идеалы умерли. Излюбленные формы разоблачены самими их недавними жрецами. Другого выбора нет: либо черная ночь помещичье-буржуазной диктатуры, своим идеалом рисующей средневековье, либо борьба за грядущий день пролетарского социализма. Никогда так зловеще не качались весы Немезиды-истории, как сейчас. Бросить на них свои силы—долг всякого, кому дорого дело освобождения человечества, дело прогресса.

Ник. Карев.

Первое десятилетие теории строения атомов Нильса Бора.

Десять лет тому назад в июле 1913 года в журнале „Philosophical Magazine" появилась небольшая статья (всего в 25 страниц) молодого датского физика Нильса Бора, которая сразу приковала к себе внимание всего ученого мира. В этой статье изложена замечательно простая с формальной стороны теория строения водородного атома и указан план, по которому можно построить модели атомов всевозможных других тел и их комбинаций в молекулы. В этой же статье приведены удивительные — можно сказать блестящие—совпадения теоретических вычислений с опытом и вместе с тем предлагаемая автором теория настолько необычна, что если бы она не привела сразу же к таким блестящим опытным подтверждениям, едва ли кто-нибудь стал бы о ней говорить, и по всей вероятности эта работа была бы на долгое время забыта. Обычно принято говорить, что использованная Бором и распространенная им на совершенно новый класс явлений теория „квант" противоречит классической механике и знаменитой электро-магнитной теории, представляющей одно из самых крупных обобщений науки XIX века и подтвержденной тысячами и тысячами опытов. В действительности, однако, дело гораздо сложнее: с одной стороны, эта новая революционная теория в некоторых своих частях действительно принимает как постулаты такие положения, которые, повидимому, никак нельзя согласовать с классической механикой и электродинамикой и, несмотря на это, тут же рядом она пользуется, и притом очень широко, этими самыми классическими теориями [1]), которые она только что перед тем не колеблясь отрицала! Со времени появления этой первой статьи Бора прошло десять лет. За это время теория Бора сделала громадные успехи, благодаря ей нам удалось проникнуть в такие детали строения атомов, о которых десять лет тому назад никто не мог и мечтать, но многое еще

[1]) Подробнее об этом см. „Под Знаменем Марксизма" А. К. Тимирязев: „Теория „квант" и современная физика" № 2—3, 1923 г., стр. 98.

в ней по-прежнему остается неразгаданным. В истекшем году Бору была присуждена Нобелевская премия и по установившемуся обычаю Бор, при получении премии, прочел „Нобелевскую" лекцию в торжественном заседании Стокгольмской академии. В этой лекции Бор подводит итог десятилетней работе в той области, где ему самому принадлежала руководящая роль, и начало которой положено его знаменитой работой 1913 года.

В настоящей книжке нашего журнала печатается перевод этой речи. Хотя по замыслу она не предназначалась для специалистов и, следовательно, должна была быть общедоступной—однако выполнение далеко не соответствует заданию. Вообще чтение статей Бора, как специальных так и „общедоступных", требует от читателя большого напряжения, тем не менее редакция нашего журнала, после продолжительных совещаний, решила все-таки ее напечатать. Несмотря на все недостатки изложения, обусловленные индивидуальными особенностями автора, мы здесь имеем обзор новейших работ исключительной важности, сделанный работником наиболее компетентным в данной области. Особенно сжато изложен так называемый „принцип соответствия" (Korrespondenzprincip), представляющий первую попытку установить связь между теорией „квант" и классической механикой и электродинамикой. В этой главе говорится о том, какие успехи достигнуты с помощью этого нового принципа и почти не дается никаких указаний, в чем же состоит этот принцип. Сделать это в сжатой и в то же время общедоступной форме, конечно, очень трудно, но, быть может, автор над этим и не долго задумывался. К этому предрасполагает весь строй современной теории „квант", пользующейся как постулатами часто весьма парадоксальными допущениями. Работники в этой области, если можно так выразиться, сильно избалованы почти сказочными ее успехами и потому, до поры до времени, не очень заботятся о том, чтобы сделать хоть попытку объяснить или привести в соответствие основные положения своей теории с другими областями физики.

Что же дала за эти десять лет теория Бора?

Она дала нам возможность строить модели атомов, определять пути электронов в этих атомах и на основании этих данных объяснять физические и химические свойства химических элементов. Эта теория позволила нам разъяснить многие загадочные вопросы, на которые нас натолкнула периодическая система Д. И. Менделеева Из теории Бора вытекает, что по мере увеличения числа электронов в атоме должны появляться „скачком" новые возможные типы движений электронов, чем обусловливаются химические и физические свойства этих атомов или целых групп атомов, стоящих рядом в периодической системе элементов. Теория Бора объясняет, почему в

некоторых частях Менделеевской системы, несмотря на увеличение атомного веса, химические свойства не резко меняются; словом, эта теория объясняет, почему мы встречаемся в периодической системе с „группой железа" и еще более многочисленной группой так называемых „редких земель". Эта новая, разработанная Бором, область дает массу примеров перехода количества (числа электронов) в качество (новые типы их движений, влекущие за собой изменения химических и физических свойств), и потому представляет громадный интерес для марксиста, как очень яркая иллюстрация того, что „в природе в конечном счете все происходит диалектически, а не метафизически". Современная наука дает нам в этом отношении неизмеримо больше примеров, чем это было десятки лет тому назад. Необходимо, однако, отметить, что в статье Бора имеются, правда, выраженные в очень слабой степени, тенденции, с которыми марксист не может согласиться. За эти истекшие десять лет, можно сказать, героической работы самого Бора и его единомышленников, мы еще очень мало подвинулись вперед в деле установления связи между новыми положениями теории и классическими теориями, которыми, как мы уже упоминали широко пользуются сейчас в этой новой области. Необходимо установить пределы приложимости старых классических теорий, необходимо отыскать пути, идя по которым, мы могли бы притти к синтезу, охватывающему зараз теорию квант и классическую физику, от которой мы не можем отказаться и от которой фактически не отказывается ни сам Бор, ни его единомышленники. Слов нет—это задача трудная и до сих пор мы мало подвинулись в ее разрешении, но это нисколько не оправдывает того разочарования, которое сквозит в заключительных словах речи Бора—он сам этого видимо не замечает. Он прямо ставит вопрос, нужно ли устанавливать соответствие новой теории со старыми установившимися уже теориями и, наконец, возможно ли даже установить такое соответствие? Ведь до сих пор мы имели дело с телами, представляющими огромное скопление атомов, почему же, переходя к механике атома, мы должны непременно встретиться с теми же законами, какие верны для больших скоплений атомов? Все это конечно верно, но ведь задача науки в том-то и состоит, чтобы выследить это диалектическое развитие, приводящее к чему-то новому, а не ограничиваться одним констатированием различий. Мы знаем, например, что электрический заряд, сосредоточенный на небольшом металлическом шарике, действует на всякий внешний заряд обратно пропорционально квадрату расстояния этого внешнего заряда от центра шарика, и в то же время те же заряды, распределенные, скажем, на плоском оловянном листе очень больших размеров, наклеенном на стекле, будут действовать на внешний заряд (находящийся вне заряженной поверхности) с силой, не зави-

сящей от расстояния этого внешнего заряда от заряженного листа. Совокупное действие иначе расположенных зарядов оказывается иного рода, чем действие каждой отдельной составной части. Эту диалектику очень хорошо истолковывает элементарная электростатика, такая же задача стоит перед теорией „квант", только она будет значительно труднее. Нельзя только констатировать различие в законах механики атома и больших скоплений атомов и на этом успокаиваться, как это предлагает нам Бор. Но, с другой стороны, можно, пожалуй, понять, почему он так думает. Применение новой теории дает блестящие и сравнительно легко добываемые результаты—попытки установить соответствие основ теории „квант" с классической механикой до сих пор дали немного. Естественно, что при этих условиях много искушений пойти по линии наименьшего сопротивления. Это ведет автора почти к махизму—он говорит: надо быть скромнее и довольствоваться установлением понятий более формального характера, не имеющими той наглядности, к которой мы привыкли и что, в конце концов, всякая теория есть только удачная классификация. Это весьма характерное явление; как только исследователь хоть на минуту усомнится в силе своих методов, как только он подумает, что, быть может, стоящая перед ним задача неразрешима, так сейчас же он скатывается в область махизма, проповедующего, что не существует никаких объяснений, что задача науки состоит в „описании" явлений, не „мудрствуя лукаво", и в составлении возможно более „экономных" классификаций. Это как нельзя лучше доказывает реакционность махизма. У Бора такое хотя бы и мимолетное устремление в махизм тем более удивительно, что его, ставшая теперь классической, теория водородного спектра начинается как раз там, где по Маху должна кончаться наука. Формула Бальмера в изумительно сжатой форме давала „описание" спектра водорода; Бор не удовольствовался этим описанием и стал строить модель, „объясняющую" как этот спектр [1]), так и строение атома, т.-е. с точки зрения Маха впал в „материалистическую матафизику". Конечно, это минутное колебание не задержит знаменитого физика и не помешает ему развивать дальше свои замечательные исследования. Во всяком случае немного найдется сейчас людей науки, которые так много сделали бы своими исследованиями в решении вопроса о строении атомов, как это удалось сделать за истекшие десять лет Нильсу Бору.

А. Тимирязев.

---

[1]) Об этом см. подробнее А. К. Тимирязев „Под знаменем марксизма" № 2—3, стр. 98.

Н. Бор.

О строении атомов [1]).

Общая картина атома.

Современное состояние атомистической теории характеризуется тем, что мы не только можем считать бесспорно доказанным существование атомов, но вправе даже допустить, что мы обладаем подробным знанием тех кирпичей, из которых складываются отдельные атомы. Я не могу, говоря об этом, дать здесь очерк развития науки, приведшего к указанному результату. Я напомню только об открытии электронов в конце прошлого столетия, прямо подтвердившем и окончательно выяснившем представления об атомистической природе электричества, которые медленно развивались со времени открытия Фарадеем основных законов электролиза и установления электрохимической теории Берцелиусом и которые достигли своего высшего торжества в теории электролитической диссоциации Аррениуса. Открытие электронов и выяснение их свойств было результатом работ многочисленных исследователей, из которых можно в частности назвать Ленара и Дж. Дж. Томсона. Именно последний исследователь, благодаря своей глубокомысленной попытке дать на основе электронной теории картину строения атомов, оказал огромное содействие развитию атомной теории. Но заключительным звеном в развитии наших знаний о строении атомов в настоящий момент является открытие атомных ядер Рёзерфордом, работы которого над открытыми в начале текущего столетия радиоактивными веществами обогатили в столь многих отношениях физику и химию.

Согласно теперешним нашим представлениям, атом какого-нибудь элемента состоит из ядра, несущего положительный электрический заряд и содержащего в себе значительно бо́льшую часть массы атома, и из некоторого числа электронов, обладающих все одним и тем же отрицательным зарядом и одной и той же массой и движущихся на таких расстояниях от ядра, которые необычайно велики по сравнению с собственными размерами ядра и электронов. Картина эта кажется на первый взгляд необыкновенно похожей на картину планетной системы, как мы ее знаем по примеру нашей собственной солнечной системы. Известно, что простота законов движения небесных тел тесно связана с тем обстоятельством, что размеры отдельных тел ничтожны по сравнению с величиной их орбит; аналогичное обстоятельство у атомов дает возможность сразу понять одну существенную черту естественных явлений, поскольку последние связаны

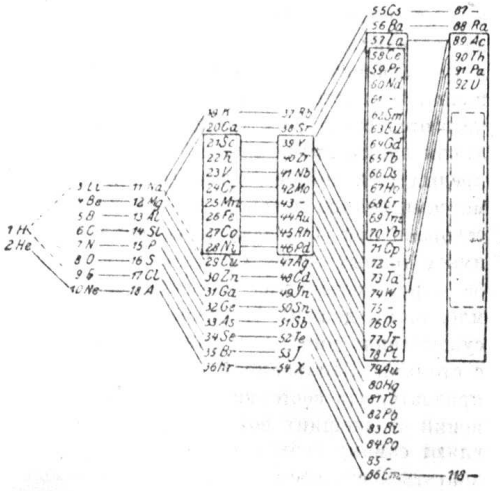
[1]) Доклад, прочитанный в Стокгольме 11 декабря 1922 г., при получении Нобелевской премии по физике за 1922 г.

со свойствами элементов. Именно благодаря этому, мы можем понять, что свойства эти распадаются на два, резко отличающихся друг от друга, класса. К первому классу принадлежит большинство физических и химических свойств элементов, как форма состояния, цвет и способность к химическим реакциям. Свойства эти зависят от движения системы электронов и от того, как это движение изменяется благодаря различным внешним воздействиям. Вследствие огромности массы ядра, по сравнению с массой электронов, и его ничтожной величины, по сравнению с величиной орбит электронов, движение системы электронов зависит лишь в ничтожной мере от массы ядра, определяясь главным образом совокупным электрическим зарядом ядра. Внутреннее строение ядра и способ распределения электричества и массы между отдельными частицами ядра оказывают ничтожное влияние на состав окружающей ядро системы электронов. Но зато строение ядра имеет решающее значение для второго класса свойств элементов, проявляющихся в их радиоактивности.

В радиоактивных процессах мы наблюдаем взрыв ядер, при чем последние выбрасывают с колоссальными скоростями положительные и отрицательные частички (так-называемые — α и β частички). Наши представления о строении атома объясняют нам, таким образом, полное отсутствие связи между двумя классами свойств элементов, выражающееся, как известно, особенно ярко в существовании элементов, которые обладают с огромным приближением одними и теми же обычными физическими и химическими свойствами, хотя атомные веса их неодинаковы, а радиоактивные свойства совершенно различны. Подобные элементы, существование которых было впервые обнаружено исследованиями Содди и других ученых над химическими свойствами радиоактивных элементов, называются, в соответствии с классификацией элементов по их обычным физическим и химическим свойствам, изотопами. Я не буду здесь останавливаться подробнее на позднейших исследованиях, показавших, что изотопия встречается не только у радиоактивных веществ, но и у обычных элементов с постоянной природой: хорошо известные исследования Астона показали, что многие подобные элементы, считавшиеся до сих пор не составными, оказываются смесью изотопов с различными атомными весами. Вопрос о внутреннем строении ядер, интерес к которому придали в немалой степени эти исследования, до сих пор плохо выяснен, хотя путь к изучению его открыт работами Рёзерфорда о распадении атомных ядер путем бомбардировки α-лучами, — работами, о которых можно сказать, что они открыли новую эпоху в естествознании, ибо здесь впервые удалось искусственно превратить один элемент в другой. Но в дальнейшем мы ограничимся лишь рассмотрением объяснений физических и химических свойств элементов, а также попыток, предпринятых для объяснения их на основе вышеуказанных представлений о строении атомов.

Как известно, элементы, поскольку дело идет об их физических

и химических свойствах, можно расположить в так называемую естественную систему, обнаруживающую своеобразное родство между различными элементами. В физических и химических свойствах элементов, как впервые было показано Менделеевым и Лотаром Мейером, проявляется определенная периодичность, если расположить элементы в ряд, совпадающий в основных чертах, с последовательностью возрастающих атомных весов. На фиг. 1 дан обзор естественной или периодической системы элементов; но элементы здесь расположены не так, как при обычном изображении системы, а по способу датского химика Юлиуса Томсена, давшего ценные работы в этой области. На фигуре элементы обозначены своими обычными химическими знаками; различные вертикальные столбцы соответствуют так называемым периодам. Элементы в последовательных столбцах, обладающие гомологичными физическими и химическими свойствами, связаны между собою чертами. Четырехсторонние скобки вокруг некоторых групп элементов в позднейших периодах, свойства которых обнаруживают типические отклонения от упомянутой простой периодичности у элементов первых периодов, имеют определенное значение, к которому мы вернемся в дальнейшем.



Фиг. 1. [Естественная система элементов].

При развитии наших идей о строении атомов, характерные черты естественной системы получили необычайно простое объяснение. Так было признано, что число, прибавленное на фигуре к различным элементам и указывающее место соответственного элемента в системе, так-называемое атомное число, в точности равно числу электронов, движущихся в нейтральном атоме вокруг ядра. Этот простой закон был впервые установлен, хотя и в несовершенной форме, Ванден Бруком после того, как мысль об этом подсказана была определениями числа электронов в атоме по методам Дж. Дж. Томсона, а также исследованиями Рёзерфорда, дозволившими прямое измерение заряда атомного ядра. Как мы увидим, рассматриваемый закон получил самые разнообразные и убедительные подтверждения, особенно в знаменитых исследованиях Мозлея о рентгеновских спектрах эле-

ментов. Может быть, я вправе здесь напомнить также и о том, что простая связь между атомным числом и зарядом ядра дает непосредственное объяснение закона, который установлен исследованиями изменений в химических свойствах радиоактивных элементов, следующих за излучением α- или β-лучей, и который находит столь простое выражение в так-наз. законе радиоактивного смещения.

Устойчивость атома и электродинамическая теория.

Лишь только мы попытаемся установить более тесную связь между свойствами элементов и строением атомов, как мы наталкиваемся на серьезную трудность; оказывается, что, несмотря на вышеупомянутую аналогию, имеются существенные различия между атомами и планетной системой. Хотя движения тел в планетной системе подчиняются всеобщему закону тяготения, но они не определяются целиком одним этим законом, а зависят еще существенным образом от предыдущей истории системы. Так, длина года определяется не только массами солнца и земли, но также и отношениями, которые существовали при образовании солнечной системы и о которых мы не имеем точных сведений. Если в нашей солнечной системе появилось бы вдруг постороннее небесное тело, которое приблизилось бы к земле, то мы должны были бы ожидать, что отныне длина года будет существенно иной, чем раньше. Совсем иначе должно обстоять дело с атомами. Неизменность определенных свойств элементов заставляет признать, что состояние атома не может испытывать длительных изменений от внешних воздействий. Лишь только атом снова предоставляют самому себе, как частицы его должны расположиться и начать двигаться способом, вполне определяемым электрическими зарядами и массами частиц. Убедительнейшим свидетельством этого являются спектры, т. е. состав излучения, которое испускается при известных обстоятельствах разными веществами и которое может быть исследовано с исключительной точностью при помощи соответственных аппаратов. Как известно, длины волн спектральных линий, которые во многих случаях могут быть измерены с точностью более одной миллионной, остаются при одних и тех же обстоятельствах одинаковыми в пределах точности измерения, совершенно независимо от воздействий, которым подвергались до того испускающие излучение вещества. На этом факте, ведь, и основывается спектральный анализ, который оказал такие неоценимые услуги химикам при исследовании элементов и который показал нам, что даже на отдаленнейших небесных телах встречаются элементы с теми же самыми свойствами, что и здесь, на земле.

Пока мы остаемся на почве обыкновенных механических законов, мы, исходя из своего представления о строении атомов, не в состоянии объяснить характерную для атомов устойчивость, необходимую для истолкования свойств элементов. Положение вещей не становится нисколько лучше, если мы привлечем к рассмотрению хорошо известные электродинамические законы, установленные Максуэллом на основе великих открытий Эрстеда и Фарадея в первой половине прошлого столетия. Теория Максуэлла оказалась в состоянии не только объяснить уже известные электрические и магнитные явления; величайшим триумфом ее явилось предсказание ею открытых впоследствии Герцем электромагнитных волн, нашедших теперь такое обширное применение в беспроволочной телеграфии. Одно время казалось даже, что теория эта, в ее переработке Лоренцом и Лармором, приспособивших ее к атомистической концепции электричества, способна будет объяснить свойства элементов во всех их подробностях. Достаточно вспомнить только об огромном впечатлении, произведенном Лоренцом, когда вскоре после открытия Зееманом своеобразного изменения, испытываемого спектральными линиями в магнитном поле, он дал простое и непринужденное объяснение этого явления в его основных чертах. Лоренц допустил, что излучение, наблюдаемое нами в случае какой-нибудь спектральной линии, испускается электроном, совершающим гармоническое колебание вокруг положения равновесия, испускается точно таким образом, каким испускаются электромагнитные волны в беспроволочной телеграфии под влиянием электрических колебаний в антенне; он показал, как наблюдавшееся Зееманом изменение спектральных линий в точности соответствует изменениям в движениях колеблющегося электрона, в предположении воздействия на последний магнитного поля. Однако на основе этой теории оказалось невозможным дать более точное объяснение спектров элементов или хотя бы наметить общий тип законов для длин волн, определяющих линии этих спектров, установленных с большой точностью известными работами Бальмера, Ридберга и Рица. После того, как нам выяснилось строение атомов, эти трудности выступают еще яснее, ибо пока мы остаемся на почве классической электродинамической теории, для нас остается непонятным даже, как вообще получаются спектры, состоящие из резко очерченных линий. Эта теория вообще несоединима с допущением существования атомов описанного строения, ибо движение электронов означало бы постоянное излучение энергии атома, которое прекратилось бы тогда, когда все электроны упадут на ядро [1]).

Возникновение теории квантов.

Между тем нашелся выход для преодоления вышеназванных различных трудностей, благодаря введению идей из круга предста-

[1]) Главное затруднение заключается в том, что в одной части теории Бора мы должны принимать классическую механику и электродинамику, в других же частях той же самой теории мы от нее отказываемся. До сих пор еще не установлена граница приложимости теории Максуэлла-Лоренца и не выяснено, как и чем мы ее должны дополнить. *Прим. ред.*

влений так-называемой теории квантов, радикально порывающих с теми взглядами, которыми пользовались до того при всякой попытке объяснения естественных явлений. Как известно, первый зародыш этой теории заключается в работах Планка от 1900 г. о законе теплового излучения, который, благодаря своей независимости от специфических свойств отдельных веществ, особенно пригоден для испытания применимости законов классической физики к атомным процессам. Планк изучал равновесие излучения между известным количеством систем того же состава, как и системы, на которых Лоренц основал свою теорию явления Зеемана; он мог не только показать, что классическая электродинамика не в состоянии объяснить явлений теплового излучения, но также, что можно добиться полного согласия с законом теплового излучения, если допустить—в явном противоречии с классической теорией,—что энергия колеблющегося электрона изменяется не непрерывным образом, а скачками, так что энергия системы всегда равна целому числу, так-называемых, „квантов энергии“ [1]). Величина подобного кванта оказалась пропорциональной числу колебания частицы, о котором, в согласии с классической теорией, было принято, что оно равно числу колебаний испускаемого излучения. Коэффициент пропорциональности, так-называемую планковскую постоянную пришлось, в зависимости от характера всей теории, признать новой универсальной константой, подобной скорости света и заряду и массе электрона.

Положительные результаты, полученные Планком, первоначально стояли совершенно особняком в науке; но несколько лет спустя важные работы Эйнштейна в этой области дали им весьма разностороннее применение. Эйнштейн обратил, во-первых, внимание на то, что требование ограничения значений энергии колебания частиц может быть проверено исследованиями запаса теплоты кристаллических тел, ибо в последних приходится иметь дело как раз с подобными колебаниями, хотя, правда, не с колебаниями отдельного электрона, а целого атома вокруг положений равновесия в кристаллической решетке. Как известно, согласие с теорией Планка, которое Эйнштейну вскоре удалось здесь доказать, было в значительной мере подкреплено позднейшими работами различных авторов. Далее Эйнштейн обратил внимание на другой вывод, вытекавший из учения Планка, именно, что энергия излучения колеблющихся частиц может испускаться и поглощаться только в так-называемых „квантах излучения“, величина которых равна произведению из планковской постоянной на число колебаний. В своем стремлении придать этому выводу наглядное значение Эйнштейн пришел к установлению так-

[1]) Выражение в „явном противоречии с классической теорией“, может быть, очень уж сильно, вообще на „квантовые“ законы нельзя смотреть, как на нечто окончательное. Не исключена возможность „объяснения“ этих законов, как на это указывает Рёзерфорд в своей последней речи на съезде Британской ассоциации. *Прим. ред.*

назыв. „гипотезы световых квантов“, согласно которой энергия излучения должна—в противоположность к электромагнитной теории Максуэлла—распространяться не в виде электромагнитных волн, но в виде световых атомов незначительной величины, из которых каждый содержит количество энергии, в точности соответствующее одному кванту излучения. Эта концепция привела Эйнштейна к хорошо известной теории фотоэлектрического эффекта, которая пролила совершенно новый свет на это решительно непонятное с точки зрения классической теории явление, и предсказания которой так точно подтвердились опытами, что мы в измерениях фотоэлектрического эффекта имеем, может быть, самое точное средство для определения планковской постоянной. Но, несмотря на свою эвристическую ценность, гипотеза световых квантов, совершенно бессильная перед лицом явлений интерференции, неспособна объяснить нам природу излучения. Достаточно напомнить только о том, что факты интерференции являются нашим единственным средством для изучения состава излучения и для более точного определения числа колебаний, имеющего такое решающее значение для величины световых квантов.

В следующие годы были предприняты с разных сторон попытки применить точку зрения квантов к вопросу о строении атомов, при чем придавали большее значение то одному, то другому из выводов, полученных Эйнштейном из концепции Планка. В качестве известнейших попыток этого рода, не давших, однако, окончательных результатов, я могу назвать работы Штарка, Зоммерфельда, Газенэрля, Хааса и Никольсона. К этому же времени относится одна работа датского химика Бьеррума, которая, хотя и не занимается непосредственно строением атомов, имела значение для развития теории квантов. Бьеррум в 1912 г. обратил внимание на то, что можно изучить вращение молекулы в каком-нибудь газе через посредство изменений известных линий поглощения в зависимости от температуры. В то же время он указал на то, что действие это должно заключаться не в непрерывном расширении линий, как это можно было ожидать по классической теории, не ставившей никаких ограничений вращательному движению молекулы; в связи с теорией квантов он предсказал, что линии должны расщепляться на некоторое количество компонентов, благодаря тому, что молекула обладает лишь дискретными возможностями вращения. Предсказание это было несколько лет спустя блестящим образом подтверждено опытом шведской исследовательницы Евы фон Бар, и явление это приходится еще и теперь считать одним из убедительнейших доказательств правильности теории квантов, хотя, с нашей теперешней точки зрения, приходится кое в каких существенных деталях изменить ее первоначальное толкование.

Квантовая теория строения атомов.

Между тем открытие Рёзерфордом атомных ядер (1911) пролило новый свет на вопрос о дальнейшем развитии теории квантов. Как мы уже видели, это открытие показало, что классические концепции совершенно не годятся для объяснения существеннейших свойств атомов. Поэтому пришлось искать такой формулировки принципов теории квантов, которая могла бы удовлетворить требованиям об устойчивости атомного строения и о составе испускаемого атомом излучения, требованиям, вытекающим из наблюдаемых нами свойств атомов. Подобная формулировка была в 1913 г. предложена докладчиком, выставившим два постулата, содержание которых можно резюмировать следующим образом:

I. Среди мыслимых состояний движения в какой-нибудь атомной системе находится известное число так-называемых стационарных состояний; относительно этих последних принимается, что движение частиц в этих состояниях происходит в значительной мере согласно законам классической механики; но они отличаются особенной механически необъяснимой устойчивостью, благодаря которой всякое длительное изменение в движении системы должно состоять в полном переходе от одного стационарного состояния к другому [1]).

II. В противоречии с классической электромагнитной теорией, в самих стационарных состояниях не происходит никакого излучения; но процесс перехода между двумя стационарными состояниями сопровождается испусканием электромагнитного излучения, обладающего тем же составом, каким обладает излучение, испускаемое по классической теории электрической частицей, совершающей гармоническое колебание с постоянным числом колебаний. Но это число колебаний ν не находится в простом отношении с движением частиц атома, а дается условием:

$$h\nu = E' - E'',$$

где h есть планковская постоянная, а E' и E'' представляют значения атомной энергии в двух стационарных состояниях, образующих начальное и конечное состояние процесса излучения. Наоборот, освещение атома электромагнитными волнами этого же числа колебаний дает начало процессу поглощения, благодаря которому атом переводится из последнего состояния в первое.

[1]) По классической теории мыслимо бесконечное разнообразие орбит—путей электронов вокруг ядра. Из этого бесчисленного количества орбит теория квант, руководствуясь совершенно пока непонятной гипотезой, отбирает некоторые вполне определенные орбиты, которые объявляются устойчивыми—это точно так же не более, как смелая гипотеза. *Прим. ред.* См. А. К. Тимирязев „Теория „квант" и современная физика",—„Под знаменем марксизма" № 2—3, 1923 г.

В то время, как первый постулат имеет в виду всеобщую устойчивость атомов, как она обнаруживается в химических и физических свойствах элементов, второй постулат имеет, главным образом, в виду существование спектров, состоящих из резко очерченных линий. В то же время входящий во второй постулат квантовый момент дает исходный пункт для объяснения упомянутых в предыдущем эмпирических законов спектров элементов. Наиболее общий из этих законов, установленный Ритцем комбинационный принцип говорит, что число колебаний ν для каждой из спектральных линий какого-нибудь элемента может быть выражено формулой:

$$\nu = T'' - T',$$

где T'' и T' представляют два, так называемых, „спектральных члена", принадлежащих к некоторому многообразию подобных, характерных для соответственного элемента, членов [1]).

Согласно нашим постулатам, закон этот можно просто объяснить, исходя из допущения, что спектр испускается при переходе между некоторыми стационарными состояниями, в которых числовые значения энергии атома равны значениям для спектральных членов, помноженным на планковскую постоянную. Это объяснение комбинационного принципа отступает от наших обычных электродинамических объяснений не только в том пункте, что мы отрицаем наличие простой связи между движением атома и испускаемым излучением; отступление от обычного описания природы выступает особенно резко, может быть, в другом пункте, там, где появление спектральных линий, соответствующих комбинациям известного спектрального члена с различными другими членами, объясняется тем, что состав испускаемого атомом излучения зависит не только от состояния атома при начале процесса излучения, но и от состояния, в которое приводится атом в конце процесса. В первую минуту можно было бы, казалось, ожидать, что указываемое формальное объяснение комбинационного принципа вряд ли можно связать с современным учением о строении атома, которое основывается, ведь, на опытах, объясняемых при помощи законов классической механики и электродинамики. Но более точное исследование показало, что можно, на основе указанных постулатов, установить тесную связь между различными спектрами элементов и строением атомов.

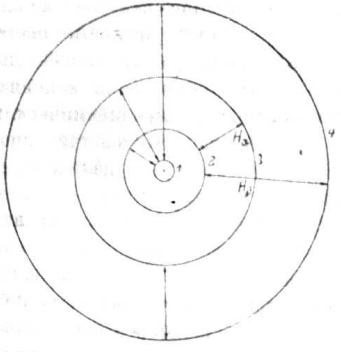
Водородный спектр.

Из всех известных нам спектров наиболее простой — это водородный спектр; числа колебаний для линий этого спектра можно, как известно, выразить с большой точностью формулой Бальмера:

$$\nu = K\left(\frac{1}{n''^2} - \frac{1}{n'^2}\right),$$

[1]) Об этом см. подробнее „Под знаменем марксизма" № 2—3, А. Тимирязев „Теория „квант" и современная физика".

где K есть некоторая постоянная, а n' и n'' — два целых числа. Таким образом в этом спектре мы имеем дело с простым рядом спектральных членов вида $\frac{K}{n'^2}$, правильно убывающих с возрастанием числа n. Мы должны поэтому, в согласии с нашими постулатами, допустить, что каждая из линий водородного спектра испускается при процессе перехода между двумя, принадлежащими к одному ряду, стационарными состояниями водородного атома, в которых числовое значение энергии атома равно $\frac{hK}{n^2}$. Согласно нашему представлению о строении атома, водородный атом состоит из положительного ядра и одного электрона, который — поскольку мы вправе применять здесь механические идеи — описывает, с большим приближением, периодическую эллиптическую орбиту, с ядром в одном из фокусов эллипса. Как показывает простое вычисление, большая ось орбиты обратно пропорциональна работе, которую следует доставить, чтобы удалить электрон от ядра на бесконечное расстояние; в связи с вышеизложенным, мы должны принять, что эта работа в стационарных состояниях равна в точности $\frac{hK}{n^2}$. Мы приходим таким образом к некоторому многообразию стационарных состояний, для которых ось орбиты электрона принимает ряд дискретных значений, пропорциональных квадрату целого числа. На приложенной фигуре 2 это изображено схематическим образом. Ради простоты электронные орбиты в стационарных состояниях представлены в виде кругов, между тем, как, в действительности, согласно теории, нет никаких ограничений для эксцентриситета орбит: теория устанавливает только длину большой оси. Стрелки символизируют процессы перехода, соответствующие красной и зеленой водородным линиям $H\alpha$ и $H\beta$, число колебаний которых дается бальмеровской формулой, если придать значения: $n''=2$, $n'=3$ и 4. Далее даны процессы перехода, соответствующие первым трем линиям найденной Лайманом в 1914 г. серии ультра-фиолетовых линий, числа колебаний которых даются формулой, если взять $n''=1$, а также первая линия инфракрасной серии, открытой несколько лет тому назад Пашеном и выражаемой формулой при $n''=3$.



Фиг. 2. [Схематическое изображение стационарных состояний водородного атома].

Указываемое объяснение водородного спектра приводит естественным образом к тому, чтобы рассматривать этот спектр, как свидетельство процесса, путем которого электрон „связывается" ядром. В то время, как наибольший спектральный член порядкового числа 1 соответствует конечной стадии процесса связывания, малые спектральные члены, относящиеся к большим порядковым номерам, соответствуют стационарным состояниям, означающим начальные стадии процесса связывания, когда орбиты электрона имеют еще крупные размеры и когда работа, долженствующая быть доставленной, чтобы удалить электрон от ядра на бесконечное расстояние, еще мала. Конечную стадию процесса связывания мы можем назвать „нормальным состоянием атома", и оно отличается от прочих стационарных состояний тем свойством, что, согласно постулатам, строение атома может быть здесь изменено лишь путем доставления энергии, благодаря которому электрон переводится на орбиту с большими размерами, соответствующую некоторой прежней стадии процесса связывания.

Вычисленная на основе указываемого объяснения спектра величина орбиты электрона в нормальном состоянии хорошо совпадает с величиной атомов элементов, вычисляемой с помощью кинетической теории газов из свойств газов. Но так как из требуемой постулатами устойчивости стационарных состояний непосредственно следует, что невозможно вполне описать взаимодействие между двумя атомами во время удара при помощи законов классической механики, то нельзя проследить дальше сравнение между обеими этими величинами, исходя из изложенных здесь взглядов.

Однако более тесную связь между спектром и атомной моделью можно получить путем исследования движения в тех стационарных состояниях с большим порядковым номером, где величина электронной орбиты, а также и число оборотов изменяется сравнительно незначительно при переходе от одного стационарного состояния к другому. Именно, удалось показать, что число колебаний излучения, испускаемого при переходе между двумя стационарными состояниями, в которых различие порядковых номеров мало по сравнению с абсолютной величиной этих номеров, совпадает, с большой точностью, с числом колебаний одной из слагающих гармонического колебания, на которые может быть разложено движение электрона, а также с числом колебаний одной из систем волн в излучении, испускаемом, согласно законам классической электродинамики, благодаря движению электрона [1]). Требование, чтобы имело место подобное совпадение на указанной границе, где стационарные состояния лишь незначительно разнятся друг от друга, равнозначно тому, чтобы постоянная в бальмеровской формуле могла выражаться следующим равенством:

$$K=\frac{2\pi^2e^4m}{h^3},$$

[1]) Этот очень важный результат указывает путь, по которому следует итти для выяснения связи между теорией квант и классической механикой. В самом деле результат подсчета излучения, получаемого при перескакивании электрона с орбиты, очень удаленной от ядра, на другую, также удаленную, совпадает с тем, что мы получили бы, идя по пути классической теории. Таким образом для наружных частей атома обе теории практически совпадают. *Прим. ред.*

где e и m выражают соответственно заряд и массу электрона, а h есть планковская постоянная. Это равенство фактически оправдалось в пределах той значительной точности, с которой известны значения входящих в него величин e, m и h, в особенности после прекрасных исследований Милликена.

Результат этот означает не только доказательство связи между водородным спектром и моделью водородного атома, которая так тесна, как этого можно было вообще лишь ожидать, считаясь с отступлениями наших постулатов от законов классической механики и электро-динамики; он указывает в то же время, что теорию квантов, несмотря на радикальный характер этого отступления, можно рассматривать, как естественное преобразование основных понятий классической электро-динамики. К этому важному вопросу мы еще вернемся в дальнейшем. Сперва же мы покажем, как, исходя из объяснения водородного спектра на основе наших постулатов, можно с разных сторон осветить родство между свойствами различных элементов.

Отношения родства между элементами.

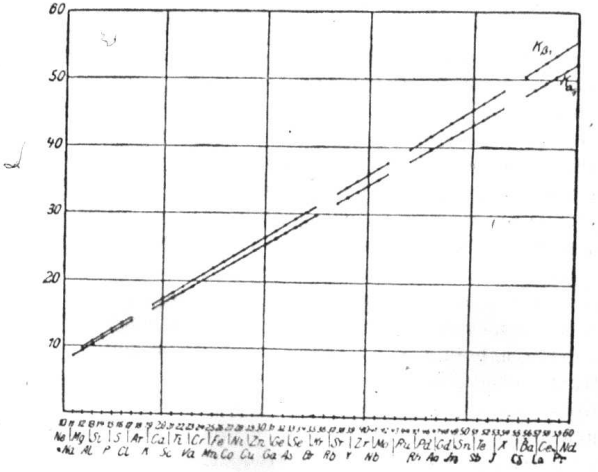
Изложенные выше рассуждения можно непосредственно применить к тому процессу, благодаря которому электрон связывается ядром, обладающим произвольным данным зарядом. Производя выкладки, мы приходим к выводу, что в стационарном состоянии, соответствующем данному значению числа n, большая ось орбиты обратно пропорциональна заряду ядра, а работа, необходимая для удаления электрона от ядра, прямо пропорциональна квадрату заряда ядра. Поэтому спектр, испускаемый во время связывания электрона ядром, обладающим зарядом в N раз большим, чем заряд водородного ядра, может быть представлен формулой:

$$\nu = N^2 K \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right).$$

Если мы придадим в этой формуле N значение 2, то мы получим спектр, содержащий в видимой спектральной области ряд линий, который наблюдался несколько лет назад в некоторых звездных спектрах и который Ридберг, на основании тесной аналогии с выражаемыми бальмеровской формулой сериями линий, приписал водороду. Никому не удалось получить этих линий в чистом водороде, но как раз перед установлением теории водородного спектра Фоулеру удалось наблюдать указываемую серию линий благодаря тому, что он производил сильные разряды в смеси водорода и гелия. Но и этот исследователь принял данные линии за водородные линии, ибо тогдашние наблюдения не позволяли предполагать, что два различных вещества могут обнаруживать столь сходные свойства, как те, которые наблюдались у указанного спектра и у водородного. Однако

теория показала ясно, что наблюдаемые линии должны принадлежать спектру гелия, который только, в отличие от обыкновенного спектра гелия, испускается не нейтральным атомом, а ионизированным атомом гелия, состоящим из одного единственного электрона вращающегося вокруг ядра с двойным зарядом. Этим был указан особый вид сходства между свойствами элементов, соответствующий в точности нашим теперешним представлениям об атомном строении, согласно которым физические и химические свойства какого-нибудь элемента определяются в первую голову только электрическим зарядом атомного ядра.

Вскоре после выяснения этого вопроса было установлено существование всеобщего сходства аналогичного рода между свойствами элементов. Это было сделано Мозлеем в его хорошо известных изы-



Фиг. 3. [Квадратный корень из числа колебаний двух характеристичных рентгеновских линий в его зависимости от атомного числа].

сканиях о характеристических рентгеновских спектрах элементов, изысканиях, которые оказались возможными благодаря открытию Лауэ интерференции рентгеновских лучей в кристаллах и благодаря основанным на этом открытии исследованиям В. Г. и В. Л. Брагтов [1]). Оказалось именно, что рентгеновские спектры различных элементов обнаруживают гораздо более простое строение и гораздо бо́льшее сходство между собой, чем оптические спектры элементов; именно, оказалось, что спектры изменяются от элемента к элементу в точном соответствии с вышеуказанной формулой для спектра, испускаемого при связывании электрона ядром, если только в этой фор-

[1]) Одновременно с Браггами (отцом и сыном) аналогичное исследование было выполнено в Москве проф. Ю. В. Вульфом. *Прим. ред.*

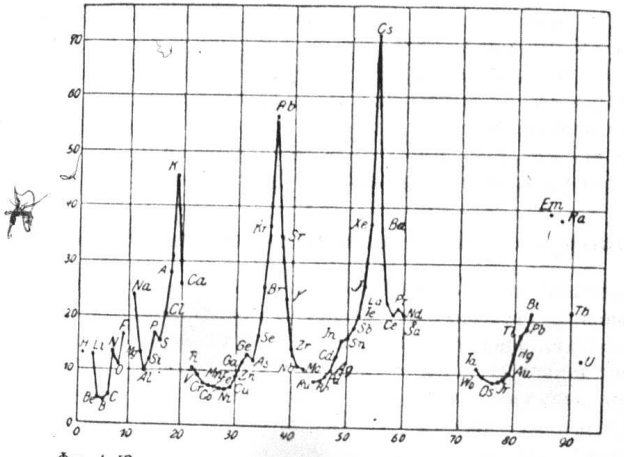
муле N будет означать атомное число соответствующего элемента. Эта формула оказалась в состоянии даже дать с значительным приближением числа колебаний для самых жестких рентгеновских линий, если принять для n′ и n″ небольшие целые числа. Это открытие оказалось очень важным во многих отношениях. Во-первых, родство между рентгеновскими спектрами различных элементов оказалось столь простым, что стало возможно установить определенным образом атомные числа для всех известных элементов, а благодаря этому предсказать с уверенностью атомные числа для всех тех, до сих пор неизвестных, элементов, для которых имеется место в естественной системе.

На фигуре 3 представлены для двух характеристических рентгеновских линий так-называемой K—группы, обладающей максимальной способностью проходить сквозь толщу материи, квадратные корни из чисел колебаний в их зависимости от атомного числа. Точки лежат с весьма значительным приближением на прямых линиях, равномерное протекание которых обусловливается тем, что, при принятых для атомных чисел значениях, исходили не только из известных элементов, но, как мы видим, оставили свободное место между элементами молибденом (42) и рутением (44), как это принято было и Менделеевым в его первоначальном изложении естественной системы элементов. Далее простые законы рентгеновских спектров подтвердили общие теоретические взгляды как в вопросе об основных чертах строения атомов, так и в вопросе об идеях, положенных в основу объяснения спектров. Сходство между рентгеновскими спектрами и спектром, испускаемым при связывании одного единственного электрона атомным ядром, основывается попросту на том, что, в случае рентгеновских спектров, дело идет о переходах между стационарными состояниями, сопровождаемыми изменениями движения электрона во внутренней области атома, где влияние притяжения ядра перевешивает силы отталкивания других электронов.

Сходство между другими свойствами элементов представляет часто гораздо более запутанный характер; это происходит от того, что дело здесь идет о процессах, касающихся движения электронов во внешних частях атома, где силы взаимодействия между электронами того же порядка величины, что и притяжение ядра, и где, поэтому, это взаимодействие играет соответственную роль.

Характерный пример этого мы имеем в вопросе об объеме, занимаемом элементами. Как известно, уже Лотар Мейер обратил внимание на своеобразное периодическое изменение, обнаруживаемое в системе элементов отношением атомного веса к плотности, так-называемым атомным объемом. Представление об этом изменении дает фиг. 4, на которой атомный объем изображен в виде функции атомного числа. Трудно найти большую противоположность, чем эта фигура и предыдущая. В то время, как рентгеновские спектры изменяются равномерно вместе с атомным числом, атомные объемы показывают резко периодическое изменение, точно соответствующее изменению в химических свойствах элементов, обнаруживающемуся в естественной системе их.

Вполне сходное явление наблюдается и в обыкновенных оптических спектрах элементов. Несмотря на огромное различие между этими спектрами, уже много лет тому назад Ридбергу удалось подметить некоторое общее сходство между водородным спектром и спектрами прочих элементов. Хотя спектральные линии элементов с высшим атомным числом являются комбинациями более сложного многообразия спектральных членов, которого нельзя выразить просто рядом целых чисел, все же спектральные члены можно расположить в ряды, каждый из которых обнаруживает сам по себе большое сход-



Фиг. 4. [Зависимость атомного объема элементов от атомного числа].

ство с рядами членов в водородном спектре. Это сходство обнаруживается в том, что эмпирическое выражение для членов в каждом ряду может быть представлено с большой точностью в виде $\frac{K}{(n+\alpha_k)^2}$, где K—та самая постоянная, которая выступает в водородном спектре и которая часто называется постоянной Ридберга, n означает целые числа по порядку, а α_k—некоторая постоянная, различная для различных рядов. Это родство с водородным спектром заставляет нас рассматривать указанные спектры, как последнюю ступень процесса, благодаря которому образуется нейтральный атом путем уловления ядром и связывания друг за другом электронов. Ясно именно, что последний уловленный электрон будет подвержен в начальных стадиях процесса связывания, когда его орбита еще велика по сравнению с орбитами связанных раньше электронов, действию сил со стороны ядра и

этих электронов, которые лишь мало отличаются от сил, с которыми притягивался бы ядром электрон в водородном атоме во время его движения по орбитам соответствующих размеров [1]).

Рассмотренные здесь спектры, для которых имеет силу закон Ридберга, испускаются элементами при электрических разрядах в обычных условиях и часто называются дуговыми спектрами; если же элементы подвергаются особенно сильным разрядам, то они испускают так-называемые искровые спектры, у которых прежде не удавалось найти таких закономерностей, как у дуговых спектров. Но вскоре после того, как было установлено приведенное выше объяснение происхождения водородного спектра, Фоулер (1914) нашел, что можно установить эмпирические формулы для линий искровых спектров, вполне соответствующие Ридберговскому закону, с той только разницей, что постоянная должна быть заменена значением $4K$. Но так как мы видели, что постоянная в выражении для спектра, испускаемого при связывании электрона ядром гелия, равна как раз $4K$, то стало ясно, что искровые спектры происходят от ионизированных атомов, и что их испускание соответствует предпоследней ступени в образовании нейтрального атома путем последовательного уловления и связывания электронов.

Поглощение и возбуждение спектральных линий.

Изложенная теория возникновения спектров дала далее возможность объяснить своеобразные законы, управляющие спектрами поглощения элементов. Как показали уже Кирхгофф и Бунзен существует точное отношение между избирательным поглощением элементами излучения и их спектрами испускания—обстоятельство, на котором основывается применение спектрального анализа к небесным телам. Однако с точки зрения классической теории было непонятно, почему элементы в парообразном состоянии поглощают известные линии спектра испускания, а других нет. Но наши постулаты заставляют нас принять, что поглощение излучения, соответствующего определенной спектральной линии, которая испускается при переходе от одного стационарного состояния атома к другому с меньшей энергией, обусловливается возвращением атома от ниженазванного состояния к первому, при соответственном поглощении энергии. Это объясняет нам, почему пар или газ при обыкновенных обстоятельствах обнаруживают избирательное поглощение лишь для таких спектральных линий, которые возникают при переходе из состояния, соответствующего более ранней стадии процесса связывания, в нормальное состояние. Лишь при более высокой температуре или под влиянием электрических разрядов, когда значительное количество

[1]) Связь между спектром водорода и спектрами щелочных металлов: лития, натрия калия, цезия установлена проф. Д. С. Рождественским в 1919 году в Петербурге.

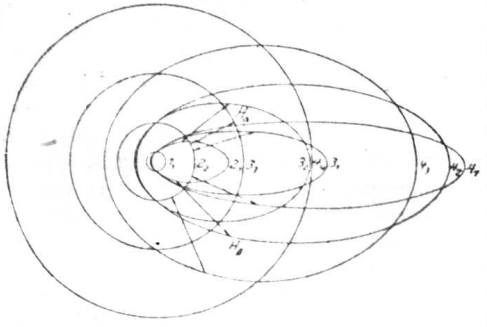
атомов выводится всегда из нормального состояния, мы можем, в согласии с опытом, ожидать поглощения для других линий спектра испускания.

Весьма прямое подтверждение нашего, основывающегося на вышеуказанных постулатах, толкования линейных спектров получилось дальше благодаря опытам возбуждения спектральных линий и ионизации атомов путем столкновения с свободными электронами, обладающими данными скоростями. Решительным шагом вперед в этой области явились хорошо известные исследования Франка и Герца (1914). При этих опытах обнаружилось, что, путем столкновения с электронами, атому можно сообщить не любое количество энергии, а лишь количество, соответствующее переходу атома из нормального состояния в некоторое другое стационарное состояние, о существовании которого свидетельствуют спектры и энергия которого определяется величиной спектральных членов.—Далее, разительное свидетельство независимости процессов, порождающих испускание различных спектральных линий, согласно нашим постулатам, было получено прямым доказательством того, что атомы, приведенные путем столкновений в некоторое стационарное состояние, с большей энергией могут возвратиться к нормальному состоянию при испускании излучения, соответствующего одной единственной спектральной линии. Продолжение исследований о столкновении электронов, в которых приняло участие значительное количество физиков, подтвердило в подробностях предположения о происхождении сериальных спектров. Именно можно было показать, что для ионизации атомов путем столкновения электронов, необходима энергия, в точности соответствующая работе, потребной, согласно теории, для удаления от атома последнего уловленного электрона; работа эта равняется произведению из планковской постоянной и соответствующего нормальному состоянию спектрального члена, который, по вышеизложенному, является как раз предельным значением числа колебаний для связанных с избирательным поглощением спектральных серий.

Теория квантов многократно периодических систем.

Если можно было, таким образом, исходя из основных постулатов теории квантов, объяснить некоторые общие черты свойств элементов, то для более подробного объяснения этих свойств необходимо было более точное развитие теории. Более широкая теоретическая основа для этого была создана за последние годы благодаря развитию формальных методов, позволяющих установить стационарные состояния для движений электронов более общего типа, чем рассмотренные до сих пор. Для чисто периодического движения, какое мы встречаем у простого гармонического осциллятора и,—по крайней мере, в первом приближении—в случае движения электрона вокруг положительного ядра, многообразие стационарных состояний может

быть выражено просто рядом целых чисел. Но для движений указанного, более общего, типа, для так называемых, многократно периодических движений стационарные состояния образуют более сложное многообразие, в котором, согласно упомянутым формальным методам, каждое состояние характеризуется несколькими целыми числами, так-называемыми „квантовыми числами". В развитии этой теории приняло участие множество исследователей, а введение нескольких квантовых чисел можно свести к работам самого Планка. Но толчком к решительному шагу вперед в изучении атомов было данное Зоммерфельдом (1915) объяснение тонкой структуры водородных линий, получаемой при наблюдении водородного спектра с помощью спектроскопов огромной разрешающей силы. Эта тонкая структура происходит оттого, что уже в водородном атоме мы имеем дело не с чисто периодическим движением. Вследствие происходящего, согласно теории относительности, изменения массы электрона в связи с его скоростью, орбита электрона испытывает очень медленную прецессию в своей плоскости [1]). Поэтому движение носит двоякопериодический характер и, кроме числа, которое характеризует члены в формуле Бальмера и которое мы назовем „главным квантовым числом", так как оно главным образом определяет энергию атома, описание стационарных состояний требует еще одного квантового числа, которое мы назовем „побочным квантовым числом".



Фиг. 5. [Электронные орбиты в стационарных состояниях водородного атома; при вычислениях приняты в расчет изменчивости массы электрона].

Картина движения в определенных таким образом состояниях дана на фиг. 5, изображающей относительную величину и вид электронных орбит. Каждая орбита обозначена символом n_k, в котором n означает главное квантовое число, а k побочное квантовое число. Все

[1]) Изменение массы со скоростью даже в той форме, в какой оно обычно дается в теории относительности, не требует для своего вывода допущения принципа относительности. Формула $m = \frac{m_0}{\sqrt{1+\beta^2}}$, где m_0 масса покоющегося электрона, а m масса движущегося и $\beta = \frac{v}{c}$, отношение скорости электрона к скорости света может быть, как показал недавно Ф. Ленар, получена независимым от принципа относительности путем. Таким образом работа Зоммерфельда не может служить подтверждением принципа относительности. *Прим. ред.*

орбиты с одним и тем же значением для главного квантового числа имеют, в первом приближении, одну и ту же большую ось, между тем как орбиты с одним и тем же значением k имеют одинаковой величины параметр, т.-е. наименьшую хорду, проходящую через фокус. Так как значения энергии для различных состояний с одним и тем же значением n, но различными значениями k, мало отличаются друг от друга, то мы получаем для каждой водородной линии, соответствующей определенным значениям n' и n'' в бальмеровской формуле, ряд различных процессов перехода, для которых числа колебаний испускаемого излучения, вычисленные согласно второму постулату, не одни и те же в точности. Как показал Зоммерфельд, полученная путем подобных вычислений картина компонентов для каждой водородной линии совпадает в пределах точности опытов, с наблюдениями над тонкой структурой водородных линий. На фигуре стрелки означают переходы, порождающие компоненты красной и зеленой линий водородного спектра, числа колебаний которых получаются, если в бальмеровской формуле принять $n''=2$, а $n'=3$ и 4.

Но при рассмотрении фигуры не следует забывать, что описание орбит несовершенно, ибо при принятом масштабе нельзя было изобразить медленно происходящую прецессию. Прецессия эта происходит так медленно, что даже в случае орбит, вращающихся самым быстрым образом, электроны описывают около 40.000 оборотов, прежде чем перигелий опишет один оборот [1]). Тем не менее эта прецессия единственная причина, объясняющая состав характеризуемого побочными квантовыми числами многообразия стационарных состояний. Если, например, водородный атом подвержен действию слабых внешних сил, нарушающих правильную прецессию, то орбита электрона в стационарных состояниях примет совершенно другие формы, чем указанные на фигуре. Одновременно с этим станет размытой тонкая структура, но водородный спектр будет состоять всегда из линий, выражающихся с большим приближением формулой Бальмера, и это связано с тем, что здесь сохраняется приблизительно периодический характер движения. Спектр испытывает значительные изменения лишь тогда, когда возмущающие силы будут настолько велики, что орбиты претерпевают нарушение уже во время одного оборота. Поэтому часто встречающееся утверждение, будто введение двух квантовых чисел является условием необходимым для объяснения формулы Бальмера, представляет непонимание существа теории.

Теория Зоммерфельда оказалась в состоянии объяснить не только тонкую структуру водородных линий, но и тонкую структуру линий в сходном с водородным спектром искровом спектре гелия, где рас-

[1]) Перигелием называется точка орбиты, наиболее близкая к ядру. На фиг. 5 ядро находится в центре кругов. Перигелии эллиптических орбит находятся слева от центра изображенных кругов. Прецессией в данном случае будет медленное вращение эллиптических орбит вокруг центра. Все вытянутые орбиты надо представить себе вращающимися вокруг центра кругов.

стояние между компонентами линий, вследствие большей скорости электронов, значительно больше и могло быть измерено со значительно большей точностью; оказалось даже возможным объяснить некоторые черты в тонкой структуре рентгеновских спектров, где разница чисел колебаний достигает значений в миллион слишком раз больших, чем значения разниц чисел колебаний компонентов водородных линий..

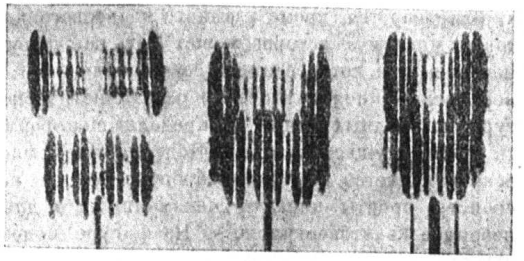
Вскоре после этого Эпштейну и Шварцшильду удалось одновременно (1916) объяснить путем соответственных рассуждений, подробности характерных изменений, испытываемых водородными линиями в электрическом поле и открытых Штарком в 1914 г. Вскоре затем Зоммерфельд и Дебай дали одновременно (1917) объяснение существенных особенностей явления Зеемана для водородных линий. В этом случае применение постулатов привело к выводу, что допустимы лишь известные ориентировки атома по отношению к магнитному полю; этот своеобразный вывод теории квантов получил недавно (1922) прямое подтверждение к прекрасном опыте Штерна и Герлаха об отклонении быстро движущихся атомов серебра в неоднородном магнитном поле.

Принцип соответствия.

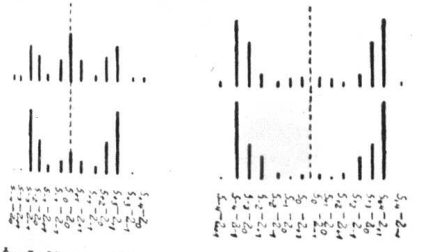
В то время, как эти успехи спектральной теории основывались на разработке формальных методов для определения стационарных состояний, докладчику удалось впоследствии, в связи с очень важными работами Эренфеста и Эйнштейна, осветить теорию с новой точки зрения, благодаря рассмотрению замеченной уже в водородном спектре своеобразной формальной связи между теорией квантов и теорией классической электродинамики. Это привело к установлению, так-называемого, „принципа соответствия“, согласно которому появление связанных с излучением переходов между стационарными состояниями атома сводится к появляющимся в движении атома компонентам гармонического колебания, обусловливающим по классической теории состав испускаемого, благодаря движению частиц, излучения. Так, согласно этому принципу, принимается, что каждый процесс перехода между двумя стационарными состояниями связан с соответствующим компонентом гармонического колебания, и при том так, что вероятность этого перехода зависит от амплитуды колебания, а поляризация [1]) испускаемого при этом переходе излучения зависит от особенностей колебания, аналогично соответственной зависимости интенсивности излучения и поляризации в системе волн, которая испускалась бы, согласно классической теории, атомом благодаря наличности указываемого компонента колебания.

[1]) Плоско-поляризованным лучом называется такой луч, у которого колебания лежат в определенной плоскости, проходящей через направление луча.

С помощью принципа соответствия оказалось возможным углубить и развить дальше упомянутые выше результаты. Так удалось дать полное квантовое объяснение явления Зеемана для водородных линий, которое, несмотря на существенно различный характер гипотез, лежащих в основе обеих теорий, очень сходно с данным Лорентцом на основе классической теории объяснением. Что касается явления Штарка, по отношению к которому классическая теория была совершенно беспомощной, то, с помощью принципа соответствия, удалось развить квантовое объяснение настолько, что можно было объяснить даже поляризацию различных компонентов, на которые расщепляются линии, а также своеобразное распределение интенсивности между компонентами. Этот последний вопрос был подробно разработан Крамерсом, и приложенная фигура может дать представление о том, насколько детально объяснение рассматриваемого нами явления. Фиг. 6 представляет один из известных прекрасных снимков Штарка, изображающих расщепление водородных линий. Рисунок дает представление о том, как сложно это явление и как своеобразно изменяются интенсивности от компонента к компоненту; в то время, как компоненты внизу фигуры поляризованы перпендикулярно к полю, верхние компоненты поляризованы параллельно ему.



Фиг. 6. [Явление Штарка для водородных линий H_δ, H_γ и H_β].



Фиг. 7. [Явление Штарка для водородной линии H_γ. Сравнения между наблюдением (вверху) и теорией (внизу). Направо—паралл. компоненты, налево—перп. компоненты].

На фиг. 7 дано схематическое изображение экспериментальных и теоретических результатов для линии H_γ, число колебаний которой дается формулой Бальмера, если положить в ней $n''=2$, а $n'=5$. Вертикальные линии означают компоненты расщепления: на правой части фигуры изображены параллельно поляризованные компоненты, а на левой перпендикулярно поляризованные. Экспериментальные данные приведены в верхней половине диаграммы. Расстояние линий от пунктирной линии дает измеренное смещение компонентов, а их

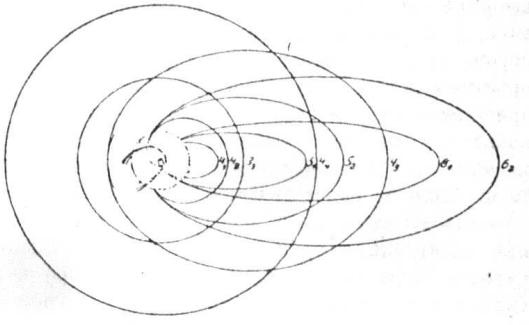
длина пропорциональна относительной интенсивности компонентов, определенной Штарком по зачернению фотографической пластинки. На нижней половине диаграммы приводится для сравнения по рисунку из работы Крамерса картина теоретических результатов. Присоединенные к линиям символы $(n'_s—n''_{s''})$ означают процессы перехода между стационарными состояниями атома в электрическом поле, при которых испускаются эти компоненты. Стационарное состояние характеризуется, кроме главного квантового числа n, побочным квантовым числом s, которое может быть как положительным, так и отрицательным, и которое имеет совершенно иное значение, чем квантовое число k, появляющееся в релятивистической теории тонкой структуры водородных линий и определяющее формулу электронной орбиты в невозмущаемом атоме. Под влиянием электрического поля глубоко изменяется как форма орбиты, так и ее положение, но известные свойства орбиты остаются неизменными и для описания их служит побочное квантовое число s. На фигуре положение компонентов соответствует числам колебаний, вычисленным для различных переходов, и длина линий пропорциональна вероятности для различных процессов перехода, определенной на основании принципа соответствия, дающего также поляризацию излучения, соответствующего этим переходам. Мы видим таким образом, что теория объясняет все главные черты опыта, и мы можем сказать, на основании принципа соответствия, что явление Штарка отражает до мельчайших подробностей действие, оказываемое электрическим полем на орбиты электронов в водородном атоме, хотя, в противоположность к явлению Зеемана, расщепления в этом случае так запутаны, что на основе классической теории электромагнитного излучения вряд ли можно было бы распознать движение, получающееся в результате этого воздействия.

И для сериальных спектров элементов с высоким атомным числом, объяснению которых дал сильный толчек Зоммерфельд введением нескольких квантовых чисел для описания электронных орбит, получились интересные результаты. Именно, с помощью принципа соответствия удалось вполне объяснить своеобразные правила, управляющие капризными, на первый взгляд, появлениями комбинационных линий; можно сказать, что теория квантов не только дала простое объяснение комбинационного принципа, но существенно содействовала также рассеянию мистического тумана, облекавшего долгое время применение этого принципа.

Столь же плодотворными оказались эти воззрения при изучении так называемых **полосатых спектров**. Эти спектры, в отличие от линейчатых, производятся не отдельными атомами, но целыми молекулами; огромное богатство линиями этих спектров осъясняется сложностью движений, производимых колебаниями атомных ядер друг относительно друга и вращением всей молекулы, как одного целого. Первым применил наши постулаты к этой проблеме Шварцшильд, но развита была теория шведским физиком Гойрлингером, который своими важными работами пролил много света на строение и происхождение полосатых спектров. Относящиеся сюда идеи восходят непосредственно к упомянутой в начале доклада теории Бьеррума о влиянии вращения молекул на инфракрасные линии поглощения газов. Конечно, мы теперь не думаем, что вращение обнаруживается в спектре так, как этого требует классическая электродинамика, а, наоборот, что компоненты линий вызываются переходами между стационарными состояниями, которые отличаются друг от друга вращательным движением. Но тот факт, что явление сохраняет свои существенные черты, является типичным следствием закономерности, выраженной в принципе соответствия.

Естественная система элементов.

Изложенные в предыдущем взгляды касательно объяснения спектров дали основу для теории строения атомов элементов, которая оказалась в состоянии объяснить в общих чертах свойства элементов. Эта теория основывается в первую голову на рассмотрении того способа, каким можно представить себе образование атомов путем последовательного уловления электронов и связывания их с ядром. Как мы видели, оптические спектры свидетельствуют о последней ступени этого процесса. Представление о характере процесса, как его дает более подробное исследование спектров, можно получить из фиг. 8, содержащей схематическое изображение орбит в стационарных состояниях, соответствующих испусканию дугового спектра калия. Кривые изображают формы орбит, описываемых последним условленным электроном в атоме калия в стационарных состояниях, являющихся стадиями процесса, благодаря которому связывается 19-ый электрон после того, как первые 18 электронов уже связаны на своих нормальных орбитах. Чтобы не усложнять фигуры, на ней не изображены орбиты этих внутренних электронов, а область, внутри которой они движутся, представлена только пунктирной окружностью. В атомах с несколькими электронами орбиты будут носить вообще запутанный характер. Но, вследствие симметрического характера окружающего ядро силового поля, движение каж-



Фиг. 8. Электронные орбиты в стационарных состояниях атома калия, соответствующих испусканию дугового спектра

дого электрона можно рассматривать приблизительно, как плоское периодическое движение, на которое налагается равномерное вращение в плоскости орбиты. Поэтому каждая электронная орбита в первом приближении является двояко периодической и выражается двумя квантовыми числами подобно стационарным состояниям в водородном атоме, когда рассматривается, в связи с теорией относительности, явление прецессии.

Поэтому на фиг. 8, как и на фиг. 5, электронные орбиты отмечены символом n_k, где n это главное квантовое число, а k побочное квантовое число. В то время, как в начальных стадиях процесса связывания, где квантовые числа велики, орбита последнего уловленного электрона проходит совершенно вне области последнего уловленного электрона, иное наблюдается в последних стадиях его. Так, в атоме калия электронные орбиты с побочными квантовыми числами 2 и 1 проникают во время своего обращения, как указано на фигуре, во внутреннюю область. Вследствие этого орбиты будут очень резко отклоняться от простого кеплерова движения: они будут состоять из ряда следующих одна за другой внешних орбитных петель, которые имеют одну и ту же величину и форму, но из которых каждая повернута по отношению к предыдущей на значительный угол. Эти внешние орбитные петли, из которых на фигуре нарисована только одна, и из которых каждая совпадает довольно близко с частью Кеплерова эллипса, связаны, как указано на рисунке, рядом внутренних орбитных петель запутанного характера, в которых электроны сильно приближаются к ядру. Это касается в особенности орбиты с побочным квантовым числом 1, которая, как показывает более подробное исследование, приближается к ядру действительно ближе, чем какой бы то ни было из ранее связанных электронов. Благодаря этому проникновению во внутреннюю область оказывается, что, хотя соответственные электронные орбиты протекают по большей части в таком же силовом поле, как поле, окружающее ядро в водородном атоме, но сила, с которой электрон удерживается атомом на данной орбите, гораздо больше, чем сила, с которой связан электрон в водородном атоме на орбите с тем же главным квантовым числом; и точно также максимальное расстояние электрона от ядра во время обращения гораздо меньше, чем на аналогичной орбите в водородном атоме. Как мы увидим, эта особенность в связывании электронов в атомах со многими электронами существенно важна для понимания своеобразного периодического изменения свойств элементов в связи с атомным числом, определяющим место в естественной системе.

На прилагаемой таблице (см. стр. 125) дан обзор результатов, которые получил автор по вопросу о строении атомов электронов, исходя из точки зрения о последовательном уловлении и связывании электронов атомным ядром. Стоящее рядом с различными элементами число—есть атомное число, указывающее все количество электронов в нейтраль-

Обзор групп— электронов в нормальном состоянии атомов элементов.

Übersicht über die Elektronengruppen im Normalzustand der Atome der Elemen.e.

	1_1	$2_1\,2_2$	$3_1\,3_2\,3_3$	$4_1\,4_2\,4_3\,4_4$	$5_1\,5_2\,5_3\,5_4\,5_5$	$6_1\,6_2\,6_3\,6_4\,6_5\,6_6$	$7_1\,7_2$
1 H	1						
2 He	2						
3 Li	2	1					
Be	2	2					
B	2	2	)				
— —	—	— —					
10 Ne	2	4 4					
11 Na	2	4 4	1				
12 Mg	2	4 4	2				
13 Al	2	4 4	2 1				
— —	—	— —	— —				
18 A	2	4 4	4 4				
19 K	2	4 4	4 4	1			
20 Ca	2	4 4	4 4	2			
21 Sc	2	4 4	4 4 1	(2)			
22 Ti	2	4 4	4 4 2	(2)			
— —	—	— —	— — —	—			
29 Cu	2	4 4	6 6 6	1			
30 Zn	2	4 4	6 6 6	1			
31 Ga	8	4 4	6 6 6	2 1			
— —	—	— —	— — —	— —			
36 Kr	2	4 4	6 6 6	4 4			
37 Rb	2	4 4	6 6 6	4 4	1		
38 Sr	2	4 4	6 6 6	4 4	2		
39 Y	2	4 4	6 6 6	4 4 1	(2)		
40 Zr	2	4 4	6 6 6	4 4 2	(2)		
— —	—	— —	— — —	— — —	—		
47 Ag	2	4 4	6 6 6	6 6 6	1		
48 Cd	2	4 4	6 6 6	6 6 6	2		
49 In	2	4 4	6 6 6	6 6 6	2 1		
— —	—	— —	— — —	— — —	— —		
54 X	2	4 4	6 6 6	6 6 6	4 4		
55 Cs	2	4 4	6 6 6	6 6 6	4 4	1	
56 Ba	2	4 4	6 6 6	6 6 6	4 4	2	
57 La	2	4 4	6 6 6	6 6 6	4 4 1	(2)	
58 Ce	2	4 4	6 6 6	6 6 6 1	4 4 1	(2)	
59 Pr	2	4 4	6 6 6	6 6 6 2	4 4 1	(2)	
— —	—	— —	— — —	— — — —	— — —	—	
71 Cp	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	4 4 1	(2)	
72 —	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	4 4 2	(2)	
— —	—	— —	— — —	— — — —	— — —	—	
79 Au	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	1	
80 Hg	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	2	
81 Tl	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	2 1	
— —	—	— —	— — —	— — — —	— — —	— —	
86 Em	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	4 4	
87 —	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	4 4	1
88 Ra	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	4 4	2
89 Ac	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	4 4 1	(2)
90 Th	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	4 4 2	(2)
— —	—	— —	— — —	— — — —	— — —	— — —	—
118?	2	4 4	6 6 5	8 8 8 8	8 8 8 8	6 6 6	4 4

ном атоме[1]). Числа в различных столбцах указывают количество электронов на орбитах, соответствующих приведенным наверху значениям главного и побочного квантового числа. По общепринятому обозначению мы будем, ради краткости, орбиту с главным квантовым числом n называть n-квантовой орбитой. Первый связанный электрон в каждом атоме движется по орбите, соответствующей нормальному состоянию в водородном атоме и означенной квантовым обозначением 1_1. В водородном атоме имеется только один электрон; относительно же атомов других элементов мы принимаем, что и у них ближайший электрон связан и движется по подобной одноквантовой орбите типа 1_1. Как показывает таблица, следующие электроны связываются по двухквантовым орбитам. Вначале связывание происходит по 2_1-орбите, но впоследствии электроны связываются по 2_2-орбитам, пока, после связывания первых десяти электронов в атоме, мы не получаем замкнутую конфигурацию двухквантовых орбит, из которых, по нашему допущению, имеется по четыре орбиты каждого вида. Эту конфигурацию мы встречаем в нейтральном атоме впервые у неона, являющегося завершением второго периода в системе элементов. Идя дальше, мы замечаем, что следующие электроны связаны на трехквантовых орбитах, пока, по завершении третьего периода системы, мы не встречаем впервые у элементов четвертого периода электронов на четырехквантовых орбитах и т. д.

Эта картина атомного строения воспроизводит многие черты, отмеченные уже в работах прежних авторов. Попытки объяснить естественную систему элементов на основании допущения группового распределения электронов в атоме восходят еще к работам Дж. Дж. Томсона от 1904 г.; впоследствии эту точку зрения развил в особенности Коссель (1916), который в то же время пытался связать распределение электронов на группы с закономерностями, установленными в последние годы в рентгеновских спектрах. Льюис и Ленгмьюр тоже пытались, исходя из распределения электронов на группы, объяснить сходства между свойствами различных элементов. Однако эти авторы принимают, что электроны не движутся вокруг ядра, а занимают положение равновесия[2]). Но этим путем невозможно установить связи между свойствами элементов и экспериментальными результатами, касающимися строения атомов. Для электронов невозможны статические конфигурации равновесия, если силы, действующие между частицами атома, подчиняются хотя бы приближенно законам, установленным для притяжения и отталкивания электрических зарядов. Для картины атомного строения, построенной на основе квантовой теории, характерна именно возможность детального объяс-

[1]) Т.-е. находящихся вне ядра: радиоактивные явления показывают нам, что и в самом ядре атома находятся электроны, дающие начало β-лучам. Эти электроны в приведенный подсчет не входят. *Прим. ред.*

[2]) Это не совсем так: Ленгмьюр в своих работах не отрицает движения электронов. *Прим. ред.*

нения свойств элементов, основывающихся на этих законах электрического притяжения и отталкивания. Что касается этой картины, то мысль связать распределение электронов на группы с классификацией электронных орбит по возрастающему квантовому числу подсказывалась мозлеевским открытием законов рентгеновских спектров и работами Зоммерфельда о тонкой структуре этих спектров. Это и было сделано Фегардом, который несколько лет назад предложил, в связи с исследованиями о рентгеновских спектрах, распределение электронов на группы в атомах элементов, обнаруживающее в разных отношениях сходство с распределением их в вышеуказанной таблице. Но основа для более детального начертания этой картины была создана лишь в последнее время, благодаря более тщательному изучению процессов связывания электронов в атоме, экспериментальное свидетельство о которых мы имеем в оптических спектрах и характерные черты которых помог в особенности осветить принцип соответствия. Важным обстоятельством является здесь то, что ограничение в протекании процессов связывания, обнаруживающееся в появлении многоквантовых электронных орбит (в нормальном состоянии атома), может быть приведено в естественную связь с общим условием для появления процессов излучения при переходах между стационарными состояниями,—условием, которое формулируется в названном принципе соответствия. Другой существенной чертой теории является влияние на силу связывания и на размеры орбит, оказываемое проникновением позже связанных электронов в область ранее связанных: пример его мы видели при описании происхождения спектра калия. В этом именно обстоятельстве можно видеть основную причину резко периодических изменений свойств элементов, ибо, благодаря ему, размеры атомов и химические свойства гомологичных элементов в различных периодах, как, например, щелочных металлов, обнаруживают гораздо большее сходство, чем этого можно было бы ожидать на основании прямого сравнения орбиты последнего уловленного электрона и орбиты с тем же квантовым числом в водородном атоме.

Указанное нарастание главного квантового числа у последнего уловленного электрона в атоме, которое мы встречаем при поступательном движении в ряду элементов, объясняет далее характерное отклонение от простой периодичности, обнаруживающееся в естественной системе и отмеченное на фиг. 1 заключением в скобки некоторых рядов элементов в позднейших периодах системы. Впервые мы встречаемся с подобным отступлением в четвертом периоде; причину этого можно легко выяснить на фигуре, изображающей орбиты последнего уловленного электрона у калия, являющегося как-раз первым элементом четвертого периода Здесь, впервые, в ряду элементов мы наталкиваемся на случай, когда главное квантовое число орбиты последнего уловленного электрона в нормальном состоянии атома больше, чем в одной из прежних стадий процесса связывания. Нор-

мальное состояние соответствует здесь 4_1-орбите, при которой сила связывания электрона, благодаря его проникновению во внутреннюю область, гораздо больше, чем у любой четырехквантовой орбиты в водородном атоме, и даже больше, чем у двухквантовой орбиты в этом атоме. Сила связывания электрона поэтому в два слишком раза больше, чем в круговых 3_3-орбитах, которые остаются совершенно вне внутренней области и у которых сила связывания только немного отличается от силы связывания трехквантовой орбиты в водородном атоме. Но положение вещей изменится, если мы станем рассматривать связывание 19-го электрона у элементов с высшим атомным числом, благодаря гораздо меньшей относительной разнице между силовыми полями вне и внутри области первых 18 связанных электронов. Как вытекает из исследования искрового спектра кальция, уже здесь сила связывания электрона на 4_1-орбите только немногим больше, чем на 3_3-орбите, а как только мы переходим к скандию, мы должны допустить, что 3_3-орбита представляет здесь орбиту 19-го электрона в нормальном состоянии, так как она будет соответствовать более сильному связыванию, чем 4_1-орбита. В то время, как группа электронов с двухквантовыми орбитами получает свое окончательное завершение в конце второго периода, развитие, испытываемое группой электронов с трехквантовыми орбитами в течение третьего периода, можно считать не завершенным, а лишь предварительным: как показывает таблица, эта группа электронов, приняв электроны на трехквантовых орбитах, получает у заключенных в скобки электронов четвертого периода дальнейшее развитие. Это приносит с собой новые особенности, ибо развитие группы электронов с четырехквантовыми орбитами, так сказать, приостанавливается, пока трехквантовая группа электронов не достигнет своего окончательного завершения. Хотя мы еще не в состоянии дать во всех подробностях объяснение процесса развития трехквантовой группы электронов, но все же, исходя из теории квантов, мы в состоянии понять, почему впервые в четвертом периоде системы элементов появляется ряд следующих друг за другом элементов, со столь сходными свойствами, как свойства железных металлов; мы в состоянии даже понять, почему эти элементы обнаруживают хорошо известные парамагнитные свойства. Впрочем, уже Ладенбург высказал—без всякого отношения к теории квантов—мысль, что следует связать химические и магнитные свойства упомянутых элементов с развитием некоторой группы электронов в атоме.

Я не буду вдаваться в дальнейшие многочисленные подробности; я замечу только, что факты, встречаемые нами в пятом периоде, получают то же объяснение, что факты из четвертого периода, ибо свойства заключенных в скобки элементов этого периода основываются, как явствует из таблицы, на стадии развития четырехквантовой группы электронов, начало которой положено включением электронов на 4_3-орбитах. Но в шестом периоде мы встречаемся, наоборот, с новыми фактами. В этом периоде мы встречаемся не только с известной стадией развития групп электронов, с 5 и 6 квантовыми орбитами, но находим также и окончательное завершение развития четырехквантовой группы элементов, начало которой было положено первым появлением электронных орбит 4_1-типа в нормальном состоянии атома. Это развитие выражается характерным образом в появлении в шестом периоде особого семейства элементов, которое называется семейством редких земель. Эти элементы обнаруживают, как известно, в своих химических свойствах еще гораздо большее родство между собой, чем элементы в семействе железных металлов; происходит это от того, что мы имеем здесь дело с развитием группы электронов, лежащей глубже в атоме. Интересно заметить, что теория может также объяснить естественным образом тот факт, что элементы эти, столь сходные между собой во многих отношениях, обнаруживают все же значительные различия в своих магнитных свойствах. Мысль о том, что появление редких земель имеет своим источником развитие некоторой внутренней группы электронов в атоме, была высказана с разных сторон. Так ее высказал Фегард; одновременно с работой докладчика мысль эта была, в связи с статической атомной моделью Лангмьюра, анализирована дальше Бюри под углом зрения систематической связи между химическими свойствами и распределением на группы в атомах. Но, в то время как до сих пор нельзя было дать никакого теоретического объяснения подобного развития внутренней группы электронов, углубление теории квантов дает столь естественное объяснение этого явления, что можно без преувеличения сказать, что, если бы не было давно установлено прямыми химическими исследованиями существование редких земель, то можно было бы теоретически предвидеть появление семейства элементов этого типа внутри шестого периода естественной системы элементов.

При переходе к седьмому периоду системы мы впервые встречаем семиквантовые орбиты, и мы должны рассчитывать натолкнуться внутри этого периода на одинаковые по существу факты, как и в шестом периоде, ибо до первой ступени в развитии семиквантовых орбит должно ожидать дальнейших ступеней развития в группах с 6 и 5-квантовыми орбитами. Но не удалось получить прямого подтверждения этой гипотезы, ибо в начале седьмого периода известны лишь немногие элементы, что, как можно допустить, связано с неустойчивостью ядер с большим зарядом, обнаруживающейся в резкой радиоактивности элементов с высшими атомными числами.

Рентгеновские спектры и строение атомов.

Излагая теорию строения атомов, мы до сих пор напирали, главным образом, на образование атомов путем последовательного улавления электронов. Но изложение наше было бы очень не полно, если бы мы не указали на аргументы в пользу теории, подсказываемые

исследованиями рентгеновских спектров. С тех пор, как преждевременная смерть Мозлея [1]) оборвала его основоположные работы, изучением этих спектров продолжал с замечательном успехом заниматься проф. Зигбан в Лунде. Исходя из собранного им и его сотрудниками огромного материала, удалось в последнее время создать классификацию рентгеновских спектров, которую легко объяснить при помощи теории квантов и для установления которой существенное содействие оказали вышеупомянутые работы Косселя и Зоммерфельда. Во-первых, оказалось возможным, как и в оптических спектрах, выразить число колебаний каждой линии рентгеновского спектра в виде разности двух спектральных членов, характерных для соответствующего элемента. Затем здесь удалось установить связь с атомной теорией, исходя из допущения, что каждый из этих спектральных членов, помноженный на постоянную Планка, равен работе, которую нужно доставить атому, чтобы удалить из него один из внутренних электронов. Удаление одного из внутренних электронов, в согласии с выше изложенными взглядами об образовании атома путем уловления электронов, дает начало процессам перехода, при которых место удаленного электрона будет занято электроном, принадлежащим к одной из слабо связанных с атомом групп электронов, так что после перехода в этой последней группе не будет хватать одного электрона. Таким образом в рентгеновских линиях можно видеть свидетельство процесса, при котором атом испытывает реорганизацию, следующую за некоторым возмущением внутри него. Согласно нашим взглядам на устойчивость конфигурации электронов, подобное возмущение должно состоять в окончательном удалении некоторых электронов из атома или же, по крайней мере, в их переходе с их нормальных орбит на орбиты с высшими квантовыми числами, чем квантовые числа полных групп; обстоятельство это ясно выражается в характерном различии между избирательным поглощением в рентгеновской области и таким же поглощением в оптической области спектра.

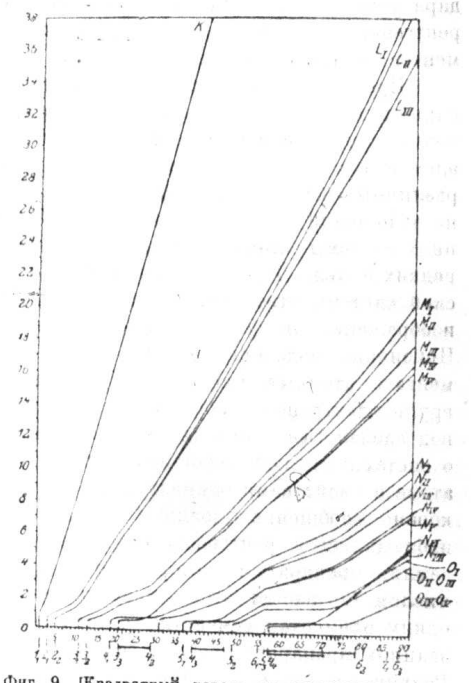
Благодаря упомянутой классификации рентгеновских спектров, недавно удалось, путем более точного исследования того, как изменяются с атомным числом выступающие в рентгеновских спектрах члены, добиться прямого подтверждения некоторых теоретических выводов о строении атомов. На фиг. 9 абсциссы пропорциональны атомным числам, а ординаты—квадратным корням из спектральных членов, символы же K, L, M, N, O при отдельных членах относятся к характеристичным линиям в избирательном поглощении элементами рентгеновских лучей, прерывностям, которые были первоначально открыты Баркла еще до того, как в интерференции рентгеновских лучей в кристаллах было найдено средство для более точного изучения рентгеновских спектров [2]).

[1]) Был убит во время военных действий у Дарданелл.

[2]) Это весьма интересный случай: характеристическое излучение, соответствующее спектральным линиям в рентгеновском спектре, было известно уже на основании измерений поглощения лучей Рентгена до того времени, когда было окончательно установлено, что рентгеновские волны—действительно, короткие электромагнитные волны.

Прим. ред.

Хотя кривые протекают вообще очень равномерно, но они все же обнаруживают ряд отступлений от равномерного протекания, которые были выяснены в особенности новейшими исследованиями Костера, работавшего в течение нескольких лет в лаборатории Зигбана. Эти отступления, открытые лишь после опубликования изложенной выше теории атомного строения, соответствуют в точности тому, что следовало ожидать согласно этой теории. Внизу фигуры вертикальными черточками указано, где, согласно теории, должны появиться в нормальном состоянии атома n_k-орбиты указываемого типа. Мы видим, как возможно было связать появление какого-нибудь спектрального члена с наличностью некоторого электрона, который движется по орбите определенного типа и удалению которого из атома соответствует указанный член. Тот факт, что вообще каждому орбитному типу n_k соответствует не одна только кривая, является выражением некоторого усложнения в спектрах, вдаваться в рассмотрение которого было бы здесь излишним и которое должно объясняться отступлениями электронных орбит от описанного раньше простого типа движения, отступлениями, происходящими от взаимодействия различных электронов внутри одной и той же группы. Промежутки в системе элементов, в которых происходит, под влиянием включения в атом электронных орбит известных типов, дальнейшее развитие внутренней группы электронов, указаны на фигуре горизонтальными линиями, исходящими от вертикальных черточек, снабженных соответственным квантовым числом. Мы видим, что такое развитие внутрен-



Фиг. 9. [Квадратный корень из спектральных членов рентгеновских спектров в его зависимости от атомного числа].

ней группы выражается повсюду характерным образом в форме кривых. В частности, можно протекание N-и O-кривых рассматривать, как прямое свидетельство той стадии развития группы электронов с четырехквантовыми орбитами, которая является причиной появления редких земель. Хотя одним из важных результатов открытий Мозлея было установление того факта, что в рентгеновских спектрах, повидимому, не встречаются те сложные отношения родства, которые обнаруживает большинство других свойств элементов, но теперь, благодаря успехам последних лет, мы замечаем внутреннюю связь между рентгеновскими спектрами и всеобщими отношениями родства элементов внутри естественной системы.

Прежде чем закончить этот доклад, я хотел бы указать еще на один пункт, в котором рентгеноспектроскопические исследования подтвердили теорию. Дело идет о свойствах неизвестного до сих пор элемента с атомным числом 72. По этому вопросу высказывались различные взгляды относительно выводов, которые можно извлечь из отношений родства в естественной системе, и во многих изложениях системы этому элементу отводилось место внутри семейства редких земель. Но уже Юлий Томсон в своем изложении периодической системы отвел гипотетическому элементу, подобно нам в нашем изображении на фиг. 1, гомологичное титану и цирконию место. Признание подобного родства выражается и в строении этого элемента с атомным числом 72, указанным в таблице, дающей обзор групп электронов в нормальном состоянии атомов. Подобный же вывод сделал Бюри, исходя из своих, приведенных выше, соображений о систематической связи между распределением групп электронов в атоме и свойствами элементов. Но полгода тому назад было опубликовано сообщение Довилье о некоторых слабых линиях, которые наблюдались в рентгеновском спектре одного, содержащего редкие земли, препарата и которые были приписаны элементу с атомным числом 72; насчет этого элемента принимали, что он тождествен с одним элементом семейства редких земель, наличие которого в названном препарате предполагал уже несколько лет тому назад Юрбен. Разумеется, это сообщение должно было первоначально вызвать сомнения в правильности некоторых теоретических заключений. Но новое исследование показало, что допущение, будто элемент с атомным числом 72 обнаруживает такие же химические свойства, как и редкие земли, потребовало бы такого изменения в прочности связи электронов в зависимости от атомного числа, которое несовместимо с общими постулатами теории квантов. Так обстояло дело, когда совершенно недавно доктор Костер и проф. Гевеси, находящиеся теперь оба в Копенгагене, решили пересмотреть вопрос путем рентгеноспектроскопических исследований некоторых препаратов, содержащих цирконий. Я могу сообщить, что эти исследователи, как-раз, на-днях обнаружили в исследованных минералах присутствие значительных количеств элемента с атомным числом 72, химические свойства которого показывают тесное родство со свойствами циркония и существенное отличие от свойств редких земель [1]).

Я надеюсь, что мне удалось этим докладом дать вам возможность обозреть важнейшие результаты, полученные за последние годы в области атомной теории. В заключение я хотел бы сделать еще несколько замечаний общего характера о том, как следует оценивать полученные результаты, коснувшись, в частности, вопроса о том, насколько можно говорить, в связи с этими результатами, об объяснении в обычном смысле слова. Под теоретическим объяснением естественных явлений понимают вообще классификацию известной области наблюдений с помощью аналогий, заимствованных из других областей наблюдения, где, как воображают, имеют дело с простыми явлениями; и максимум того, что можно требовать от теории, заключается в том, чтобы классификация эта была проведена как можно дальше, дозволяя предсказанием новых явлений расширить область наблюдений. Рассматривая атомную теорию, мы оказываемся в своеобразном положении, ибо, с одной стороны, не может быть речи об объяснении в указанном смысле, так как мы имеем здесь дело с явлениями, которые по своей природе проще, чем явления какой бы то ни было другой области наблюдения, где мы имеем всегда дело с фактами, вызываемыми совместным действием множества атомов. Мы, поэтому, вынуждены быть более скромными в своих требованиях и довольствоваться представлениями, формальными в том смысле, что они не обладают той наглядностью, которую мы привыкли требовать от представлений, которыми оперируют естественно-научные теории. Имея это в виду, я и старался убедить вас, что, с другой стороны, полученные результаты удовлетворяют, во всяком случае, до известной степени требованиям, ставимым всякой теории, и пытался показать всем, что развитие атомной теории содействовало классификации обширных областей наблюдения и предсказанием новых явлений указало путь к усовершенствованию этой классификации. Но вряд ли необходимо подчеркивать, насколько зачаточный характер носит еще теория, и как много имеется основных вопросов, ждущих еще своего ответа.

[1]) Прибавление после доклада: о результатах исследований Костером и Гевеси нового элемента, которому они дали имя г а ф н и я, см. заметку этих авторов в Naturwissens n, 23 февраля 1923 г.

Естествознание и диалектика.

II. Диалектика в химии.

„Противоречие ведет вперед".
Гегель.

В предыдущей статье мы установили, что процессы, протекающие в природе, в частности химические процессы, являются процессами диалектическими. Посмотрим теперь, как развивалась и как развивается научная теория в области химии. Проходит ли научная теория в своем развитии через противоречия, отрицания? Конечно, здесь нет возможности остановиться подробно на анализе развития научной теории во всех областях химии, а придется коснуться отдельных моментов. Одни из наиболее основных понятий химии,—молекула и атом,—дают очень яркий пример развития через противоречия и отрицания. Основным законом, при помощи которого определяются молекулярные и атомные веса, является закон Гей-Люссака (1808 г.),—объемы реагирующих газов, а также и объем образовавшегося вещества (в газообразном состоянии) находятся в отношении небольших целых чисел. И тогда же было высказано мнение, что в одинаковых объемах газов при равных температурах и давлениях содержится по одинаковому числу атомов. Но вот здесь-то и получилось противоречие. Приведем слова Дальтона, установившего знаменитый закон кратных отношений [1]): „Начиная размышлять о теории смешанных газов, я думал, что частицы всех газов имеют одну и ту же форму (под формою частиц я разумею непроницаемое ядро вместе с окружающей его тепловой атмосферой). Я допускал, что в одном объеме кислорода находится такое же количество атомов, как и в одном объеме водорода. Но впоследствии я пришел к другому мнению, и к нему привели меня следующие доводы: один атом окиси азота состоит из одного атома азота и одного атома кислорода Если бы в равных объемах было равное число атомов, то при соединении одного обеъма азота с одним объемом кислорода должен был бы образоваться один объем окиси азота, а между тем из опытов Генри видно, что образуется почти два объема: поэтому окись азота должна бы была заключать в том же объеме только половину количества атомов, содержащихся в азоте и кислороде". Итак, теория говорит, что при одинаковых условиях в равных объемах содержится атомов поровну, но экспериментальные данные отрицают это. Противоречат закону Гей-Люссака также и три правила, установленные Дальтоном для определения атомных весов (Dalton, New system etc., 1, 213). Те противоречия, которые делали закон Гей-Люссака несовместимым с атомистической теорией, были разрешены итальянским ученым Авогадро (1811 г.).

[1]) Dalton, New system of chemical philosophy, 1, 188.

Авогадро отличает частички двух типов,—molécules intégrantes и molécules élémentaires, т.-е. в наших терминах молекулы и атомы. Molécules intégrantes простого вещества (элемента) могут состоять из нескольких molécules élémentaires, иначе говоря, молекула простого вещества может состоять из нескольких атомов этого же вещества. Под влиянием химических сил molécules intégrantes (в наших терминах молекулы) могут разлагаться на molécules élémentaires (т.-е. на атомы). Указанные выше противоречия разрешаются следующим образом: 1) закон о равном числе атомов в одинаковых объемах газов при равных условиях исправляется следующим образом,—в одинаковых объемах газов при равных условиях содержится одинаковое число частиц, молекул (molécules intégrantes); 2) реакция образования окиси азота объясняется следующим образом,—в этом процессе молекулы азота, так же, как и молекулы кислорода (molécules intégrantes), делятся пополам, на отдельные атомы каждая (molécules élémentaires). Каждый атом азота соединяется с одним атомом кислорода,—и в результате получается двойное число частиц, молекул, окиси азота, сравнительно с тем числом молекул, которое заключалось в азоте или кислороде до реакции. Отсюда ясно, что окись азота, взятая при тех же условиях, должна занимать вдвое бо́льший объем, так как она содержит двойное число молекул. Но в кругу химиков все эти воззрения обратили на себя мало внимания. Очевидно, считали недоказанным различие между атомом и молекулой. Химики стали искать новых точек опоры для определения атомных весов, появляется понятие химического эквивалента, что в дальнейшем приводит к смешению понятий атомного веса и эквивалента и потребовалась энергичная борьба, чтобы добиться разделения этих различных понятий. В сороковых годах девятнадцатого столетия французский химик Жерар вновь выдвигает закон Авогадро и показывает всю важность этого закона. Но вновь обнаруживается ряд фактов, противоречащих закону Авогадро-Жерара даже и при том условии, что мы принимаем молекулы и атомы и допускаем, что молекула простого вещества может состоять из нескольких атомов. Молекулярный вес некоторых соединений, напр., хлористого аммония, определенный на основании закона Авогадро-Жерара, оказался почти вдвое меньше, чем следовало на основании чисто химических соотношений. Это привело к тому, что многие химики отказались от закона Авогадро-Жерара и, оставив атомные веса, стали выражать формулы при помощи химических эквивалентов, напр., известный химик Гмелин в его знаменитом курсе химии. Устранить это новое противоречие удалось французскому химику Сент-Клер Девиллю его учением о диссоциации: при высокой температуре, при которой приходится определять плотность газа,—а зная ее и молекулярный вес,—вещества, дающие величины молекулярного веса, противоречащие закону Авогадро-Же-

рара, распадаются на более простые молекулы. Напр., хлористый аммоний в значительной степени распадается на аммиак и соляную кислоту. Вследствие этого распада число молекул в газе увеличивается почти вдвое, что влечет за собой уменьшение почти в два раза плотности газа, а следовательно, и молекулярного веса (молекулярный вес равен удвоенной плотности по водороду). Таким образом окончательно были устранены противоречия и установлены понятия молекулы и атома. В дальнейшем развитии атомистическая теория вновь проходит через ряд противоречий. Согласно атомистической теории химическая формула вполне выражает свойства вещества. Напр., если химику сказать, что имеется вещество, формула которого H_2O, то для химика ясно, что это вода, т.-е. вещество со вполне определенными свойствами. Но оказалось, что существуют совершенно различные вещества, которым приходится придать одну и ту же химическую формулу. Напр., винный спирт,—формула его C_2H_6O и диметиловый эфир, формула которого также C_2H_6O. Спирт при обыкновенной температуре—жидкость, натрий действует на спирт, выделяет из него водород. Диметиловый эфир при обыкновенной температуре является газом, натрий не действует на него, не выделяет водорода. Это противоречие устраняется следующим образом: необходимо принять во внимание расположение атомов в молекуле, „архитектуру" молекулы. Тогда спирт и диметиловый эфир получают различные структурные формулы и каждая из этих формул вполне выражает свойства того вещества, которому она принадлежит. Но в дальнейшем мы вновь наталкиваемся на противоречие: оказывается, что одному и тому же веществу приходится придать в одно и то же время две различные формулы, напр., так называемому ацетоуксусному эфиру. Противоречие это раскрывается следующим образом: такие соединения как ацетоуксусный эфир представляют собою равновесную систему двоякого рода молекул. Для ацетоуксусного эфира имеем следующую равновесную систему:

$$CH_3—CO—CH_2—COO—C_2H_5 \rightleftarrows CH_3—C(OH)=CH—COO—C_2H_5.$$

кетонная форма — энольная форма.

Эти формы легко и быстро переходят одна в другую. Отделение этих модификаций друг от друга удалось химику Кнорру, который работал при достаточно низкой температуре и тем в достаточной степени замедлил превращение одной формы в другую. Не останавливаясь на целом ряде других противоречий в процессе развития атомистической теории, перейдем к системе Менделеева. Как известно, в основу системы Менделеева положено то утверждение, что атомный вес, масса атома, есть наиболее важная константа, вполне определяющая свойства вещества. „Масса вещества есть именно такое его свойство, от которого должны находиться в зависимости все остальные свойства" (Основы химии. Изд. 7-ое, стр. 456). „Если все элементы расположить в порядке по величине их атомного веса, то получится периодическое повторение свойств. Это выражается законом периодичности: свойства простых тел, также форма и свойства соединений элементов, находятся в периодической зависимости от величины атомных весов элементов" (Основы химии. 7-ое изд., стр. 458). Но уже давно было установлено, что положение в периодической системе аргона, иода, кобальта противоречит периодическому закону. По своему атомному весу аргон должен стоять после калия, но по всем своим свойствам аргон должен стоять впереди калия, то же самое мы имеем для теллура, который должен стоять после иода, и для кобальта, который должен стоять после никеля, а не впереди его. Далее, с несомненностью установлено, что существуют элементы с различным атомным весом, но с совершенно одинаковыми свойствами. Эта разница между атомными весами может доходить до восьми единиц. Как пример можно привести обыкновенный свинец (атомный вес 207,2), радиевый свинец (атомный вес 206,2), ториевый свинец (атомный вес 208,1). Найдены „разные сорта" хлора с атомным весом 35 и 37. Далее установлено, что существуют элементы, имеющие один и тот же атомный вес, но совершенно различные свойства. Такие элементы известны среди радиоактивных веществ. Таким образом мы имеем отрицание основного положения, на котором построена вся система Менделеева, т.-е. масса вещества, вес атома, не является тем свойством, от которого должны находиться в зависимости все остальные свойства. Итак, в системе Менделеева не только имеются противоречия, но и сама система, как таковая, отрицается. Как же разрешаются эти противоречия, что приходит на смену указанному выше отрицанию? Как показали исследования последних лет и еще ранее явления радиоктивности, атом является сложной системой, напоминающей строение солнечной системы. В центре атома мы имеем ядро, которое в свою очередь обладает сложным строением, и несет на себе положительный заряд, являющийся алгебраической суммой положительных и отрицательных зарядов. Вокруг этого положительно заряженного ядра движутся электроны (атомы отрицательного электричества), образующие так называемые электронные оболочки. Все свойства вещества определяются зарядом ядра атома. Рассеяние α-лучей радиоактивных веществ дает возможность определить заряд ядра атома. Если расположить элементы в порядке возрастания заряда ядра атома, то они расположатся в том же порядке, как и по атомным весам, при этом оказывается, что заряд ядра атома численно равен порядковому номеру элемента. Таким образом элементы, имеющие один и тот же заряд ядра атома, но различный атомный вес, тождественны по своим свойствам. Элементы, имеющие различный заряд ядра атома, но одинаковый атомный вес, различны по своим свойствам. Если

принять во внимание все вышеизложенное, то система Менделеева может быть сохранена в следующей новой формулировке,—свойства простых тел, также форма и свойства соединений элементов, находятся в периодической зависимости от величины заряда ядра атома. Вместе с тем устраняются и противоречия в положении аргона, теллура и кобальта. Эти элементы располагаются в системе Менделеева в полном согласии с зарядом ядра атома. Итак, теория строения атома устраняет те противоречия и отрицания, которые мы встретили в системе Менделеева. Теория строения атома, предложенная датским физиком Нильсом Бором, несомненно является очень ценной теорией. Но свободна ли сама эта теория от противоречий? Ответим на это словами известного немецкого физика Штарка, в его речи, произнесенной им 5 июня 1920 г. в связи с получением Нобелевской премии: „Теория Бора в своих допущениях содержит такие постулаты, которые противоречат не только теории Максвелла, но и духу физики" (S. Stark, Änderungen der Struktur und des Spektrums chemischer Atome. Nobelvortrag, Leipzig 1920). Но, несмотря на все противоречия, теория Бора все же оказывается чрезвычайно ценной теорией. В чем же заключаются противоречия, лежащие в основе теории Бора? Теория строения атома, высказанная Рёзерфордом,—в центре атома положительно заряженное ядро, вокруг которого движутся электроны,—оказывается несостоятельной потому, что движущийся электрон должен испускать электромагнитную энергию. Вследствие этого скорость электрона должна замедляться и спустя определенное время электрон должен упасть на положительно заряженное ядро. Для устранения этого противоречия Бор предложил следующие постулаты: 1) Электрон может обращаться вокруг ядра только по определенным орбитам, определяемым теорией квант (о теории квант мы ниже скажем несколько слов). 2) „Эти дозволенные пути (называемые также „статическими" путями) устойчивы и именно устойчивы потому, что электрон—в противоречии с классической теорией электронов [1])—не излучает при своем обращении по ним" (Рейхе, Теория квант, ее происхождение и развитие. Современные проблемы физики, Госиздат, 1922). 3) Перескакивая с одной возможной орбиты с бо́льшей энергией на другую возможную орбиту с меньшей энергией, электрон испускает при этом однородное (монохроматическое) излучение с числом колебаний, определяемым теорией квант ($\nu = \frac{w_1 - w_2}{h}$, где ν—частота колебаний, h—постоянная Планка, w_1 w_2 — энергии начальной и конечной орбит). „Именно эта третья гипотеза представляет особенные трудности для нашего мышления и ее следует считать лишь провизорной формулировкой баланса энергии" (там же, стр. 28). В своем докладе, прочитанном в Копенгагене 8 октября

[1]) Курсив мой.

1921 г., Бор придает новую форму теории атома. В этой модели атома электроны не лежат в одной плоскости, а расположены с определенной симметрией в пространстве. Если раньше электроны вращались кольцами по 8 электронов на одной и той же орбите, то теперь у каждого электрона своя орбита, независимая от других орбит. Но каждая из этих орбит подчинена требованию теории квант,—устойчивые движения могут происходить только по определенным орбитам. Бор пытается дать модель атомов всех элементов и, исходя из этих моделей, объяснить периодический закон Менделеева, а также показать процесс образования атома путем „улавливания" положительно заряженным ядром отдельных электронов. Бор ожидал, что эта модель атома приведет к согласию с экспериментальными данными,—„в противоположность условиям вычисления кольцевой модели пространственная конфигурация электронов требует большой вычислительной работы и расчеты Крамерса не дали еще пока окончательных результатов. В той степени приближения, с которой они до сих пор были проведены, эти вычисления дают надежду на то, что результаты их совпадут с экспериментальными данными. Окончательный результат ожидается с большим интересом, ибо этот простейший пример дает возможность проверить те исходные точки зрения, с помощью которых мы делаем попытку определения стационарных состояний в атомах, имеющих более чем один электрон" (Новые идеи в физике, Сборн. 9, стр. 109). Расчет, о котором говорит Бор, опубликованный в Zeitschrift für Physik, февраль 1923 г., показал, что на основе классической механики невозможно детальное вычисление пространственных моделей: модель устойчивая с точки зрения теории квант оказывается неустойчивой с точки зрения классической механики. Итак, еще лишний раз подчеркивается противоречие между теорией Бора и классической механикой. Несомненно не так легко примирить все эти противоречия, и потребуется немало времени для этого. „Гораздо вероятнее, что понадобится более столетия, прежде чем мы изучим структуру химических атомов так же точно, как структуру нашей солнечной системы" (Stark, Nobelvortrag, 1920). Конечно, трудно указывать тот или другой срок, но, несомненно, времени понадобится порядочно. В научных теориях в области химии мы встречаемся не только с учением о веществе, но и с учением об энергии. Посмотрим, как развивалось в области химии учение об энергии. Наша статья сильно затянулась, и поэтому мы остановимся только на некоторых моментах в развитии учения об энергии в приложении к химическим процессам. Одним из важных принципов, определяющим направление химических процессов, был принцип максимальной работы, высказанной М. Бертло в 1867 г.,—всякое химическое превращение ведет к таким веществам, при образовании которых выделяется наибольшее количество тепла. Но целый ряд фактов показал, что этот принцип находится в противоречии с установленными фактами. Известен целый ряд соединений, которые

образуются с поглощением тепла (эндотермические реакции). Метод получения азотной кислоты из воздуха, сыгравший большую роль в мировой войне, основан на процессе образования окиси азота, сопровождающемся поглощением тепла. При этом с повышением температуры не только не разлагается образовавшаяся окись азота, но, наоборот, увеличивается количество окиси азота, образующейся из азота и кислорода. Принцип максимальной работы был заменен учением об энтропии и учением о свободной энергии. Итак, классическая теория в учении об энергии также проходила через противоречия и отрицания. Перейдем теперь к теории квант, той теории, которая в настоящее время получила громадное значение и для физики и для химии, как мы это уже видели, рассматривая теорию Бора. Теория квант родилась из противоречия. Возникла эта теория в 1900 г., после того, как Луммер и Принсгейм произвели свои основные измерения над излучением „черного тела" (1897—1899 г.г.). В своем исследовании, произведенном в 1900 г., Луммер и Принсгейм показали, что в области длинных волн формула Вина безусловно не соответствует наблюдениям. Основываясь на этих экспериментальных данных, Планк положил начало своей теории квант: весь запас энергии данной системы (осцилляторов) был разделен на определенное количество конечных элементов энергии (квантов энергии). Эти кванты распределяются между отдельными осцилляторами по законам теории вероятности. Для элемента энергии, кванта энергии, Планк дал следующее выражение $\Sigma = h\nu$, где Σ означает квант энергии, h — постоянная Планка, ν — частота колебаний. Энергия осциллятора с частотой колебаний ν ($\Sigma = h\nu$) отнюдь не является непрерывно меняющейся величиной, но она всегда равна целому кратному кванта. Все попытки сохранить классическую теорию приводили к противоречию с опытом, т.-е. давали неверный закон излучения, стоявший в резком противоречии с данными опыта (так называемое распределение Релей-Джинса). Итак, положение, выставленное Планком, явилось отрицанием классической теории лучеиспускания. В 1911 г. на конгрессе Сольвея Лоренц показал, в самом общем виде, что, если пользоваться гамильтоновыми уравнениями механики и законом равномерного распределения, то мы неизбежно приходим к неверному закону излучения. Итак, всякая попытка вывести закон излучения на основании классической электродинамики и статики безусловно обречена на неудачу. Неизбежен резкий конфликт с классической теорией. „Осциллятор не может поглощать и испускать любые количества энергии, он может поглощать и испускать только целые кратные Σ (испускание и поглощение квантами). Это заключение самым резким образом противоречит классической электродинамике [1]; ибо согласно теории электронов, электромагнитный осциллятор (например, колеблющийся электрон) излучает и поглощает в поле излучения всегда непрерывно". (Рейхе, там же, стр. 11). Но и сама теория квант проходит в своем развитии через противоречия. Так, напр., Лоренц указал, что поглощение энергии квантами привело бы к следующему: при достаточно слабом внешнем поле излучения время, необходимое осциллятору для поглощения одного кванта, оказалось бы невероятно велико. Но тогда оказалось бы возможным оборвать излучение раньше, чем осциллятор успеет поглотить полный квант энергии. Тогда Планк изменил свою формулировку следующим образом: абсорбция (поглощение) протекает непрерывно по законам классической электродинамики; поэтому при поглощении энергия осциллятора меняется непрерывно; излучение же происходит прерывно, квантами. В дальнейшем развитии теория квант проходит новые фазы,—теория квантов действия. Но мы не станем дальше останавливаться на теории квант. Укажем только еще на одно противоречие, к которому приводит классический статистический метод,—это в теории атомных теплоемкостей. Знаменитый закон Дюлонга-Пти говорит, что атомная теплоемкость твердого тела в среднем равна 5,94 cal., независимо от температуры. Но уже давно известен ряд уклонений от закона Дюлонга-Пти, особенно при низких температурах. Уже в 1875 г. Ф. Вебер, исследуя теплоемкость алмаза, определил, что при температуре —50°, атомная теплоемкость его равна около 0,76 cal. И в данном случае приходится отказаться от равномерного распределения энергии. Мы не имеем возможности останавливаться на применении теории квант в области фотохимических процессов и т. д.,—потребовалось бы не одна, а несколько статей. Также приходится оставить без рассмотрения химическую механику, теорию растворов и т. д. И здесь научная теория также проходит через противоречия и отрицания. Подробный анализ развития теории во всех областях химии потребовал бы целой книги. Но и приведенных данных вполне достаточно для того, чтобы можно было сказать: процесс развития научной теории в области химии есть процесс диалектический. Воистину „противоречие ведет вперед".

Я. С. Пржеборовский.

[1] Курсив мой.

Ленин и эс-эры.

В течение всей своей революционной деятельности В. И. Ленин вел беспощадную борьбу с социалистами-революционерами, уже давно предугадав контр-революционную природу этой партии. В ряде статей, напечатанных в „Искре“, „Вперед“, „Пролетарии“ и т. д. т. Ленин разоблачал „оппортунизм“, „авантюризм“, „вульгарный социализм“, беспринципность партии эс-эров. Гениальный теоретик и великий практик пролетарской революции уже в 1902 г. дал блестящую характеристику партии эс-эров, характеристику, вполне оправданную всей последующей деятельностью этой партии. Эта характеристика под заголовком „Почему социал-демократия должна объявить решительную и беспощадную войну социалистам-революционерам“ напечатана впервые в августовском номере (№ 14) „Прожектора“. Этой неизданной статье, предоставленной редакции „Прожектора“ институтом Ленина, т. Л. Каменев предпосылает следующие строки:

„Прилагаемые „тезисы“ тов. Ленина под характерным и боевым заглавием: „Почему с.-д-тия должна объявить решительную войну социалистам-революционерам“ написаны не в 1917 и не в 1918 г.г., а в 1902 г. Эти тезисы легли в основу беспощадной борьбы „Искры“ с эс-эрами, а протекшие со времени их написания 20 лет, наполненных войнами и революциями, целиком подтверждают характеристику, данную Вл. Ил. этой партии. Тем лучше для марксизма, как метода познания исторических явлений, тем хуже—для эс-эров. Вл. Ильич встретил их в штыки и уничтожил в открытом бою“.

Эти тезисы, как увидим, легли в основу всех последующих статей Ленина об эс-эрах. Тезисы эти формулированы, как полагается, кратко. Чтобы сделать их вполне понятными для рядового читателя, мы пополним их цитатами из статей т. Ленина, пользуясь вышедшими томами „Собрания сочинений“ Н. Ленина (В. Ульянова).

На поставленный им вопрос „Почему социал-демократия должна вести беспощадную борьбу против эс-эров“ т. Ленин в первом пункте своих тезисов отвечает:

„1. Потому, что течение нашей общественной мысли, известное под именем „социалистически революционного“, на самом деле отодвигается и отодвинулось от единственной международной теории революционного социализма, которая только существует в настоящее

время, т.-е. от марксизма. В великом расколе международной социал-демократии на оппортунистическую („бернштейнианскую“ тож) и революционную это течение заняло совершенно неопределенную и непозволительную половинчатую позицию, между двух стульев, признавши марксизм „поколебленным“ („В. Р. Р.“ № 2, с. 62) на основании только одной буржуазно-оппортунистической критики, обещая с своей стороны заново и по своему „пересмотреть“ марксизм и не делая ровно ничего для исполнения этого грозного обещания“.

В статье „Революционный авантюризм“, напечатанной в „Искре“ № 23 1 авг. 1902, т.-е. в том же году, когда были написаны тезисы, опубликованные ныне в „Прожекторе“, мы читаем более подробное развитие т. Лениным первого пункта тезиса, цитированного выше:

„Направления, имеющие солидные основания в классовом строе такой быстро развивающейся капиталистической страны, как Россия, находят почти сразу „свою полочку“ и нащупывают родственные им классы. Пример: „эволюция“ г-на Струве, с которого революционеры-рабочие всего $1^1/_2$ года тому назад предлагали „сорвать маску“ марксиста и который уже теперь выступил без маски сам, как вождь, или „прислужник“ либеральных помещиков, гордых своей почвенностью и трезвенностью. Наоборот, направления, выражающие только традиционную неустойчивость воззрений промежуточных и неопределенных слоев интеллигенции, стараются заменить сближение с определенными классами тем более шумным выступлением, чем громче гремят события. „Шумим, братец, шумим“—таков лозунг многих революционно настроенных личностей, увлеченных вихрем событий и не имеющих ни теоретических, ни социальных устоев.

„К таким „шумным“ направлениям принадлежат и „социалисты-революционеры“, физиономия которых вырисовывается все яснее и яснее. И пора уже пролетариату внимательно присмотреться к этой физиономии, отдать себе точный отчет в том, что представляют из себя в действительности люди, которые тем настойчивее ищут дружбы, чем ощутительнее становится для них невозможность существовать, как особому направлению, без тесного сближения с действительно революционными общественными классами.

„С принципиально-теоретическим заявлением соц.-революционеры собрались выступить только в № 2„ Вестн. Русск. Рев.“ в редакционной недописанной статье: „Мировой рост и кризис социализма“. Мы усердно рекомендуем эту статью всем тем, кто хочет иметь наглядное представление о полнейшей теоретической беспринципности и шаткости (а также об искусстве прикрывать таковую потоком слов). Все содержание этой высоко замечательной статьи может быть передано в двух словах:

„Социализм вырос в мировую силу, социализм (марксизм) раскалывается теперь вследствие войны революционеров („ортодоксов“) с оппортунистами („критиками“). Мы, соц.-революцион., „конечно“, не сочувствовали никогда оппортунизму, но мы скачем и играем по по-

воду „критики", освободившей нас от догмы, мы тоже боремся за пересмотр этой догмы—и, хотя мы еще ровно никакой (кроме буржуазной оппортунистической) критики не показали, хотя мы ровно ничего еще не пересмотрели, но эта наша свобода от теории и должна быть вменена нам в нарочитую заслугу. Тем более должна быть вменена в заслугу, что в качестве свободных от теорий людей, мы яро стоим за всеобщее объединение, мы горячо осуждаем всякие принципиально теоретические споры. „Серьезная революционная организация, —пресерьезно уверяет нас „В. Р. Р." № 2, стр 127),—отказалась бы от решения вечно разъединяющих спорных вопросов социальной теории, что, конечно, не должно мешать теоретикам искать их решения", или, прямее, писатель пусть пописывает, читатель—почитывает, а мы, пока суд и дело, возрадуемся по случаю освобожденного пустого места.

„Серьезно разбирать эту теорию уклонения (по случаю собственно споров) от социализма разумеется не доводится. По нашему мнению, кризис социализма обязывает сколько-нибудь серьезных социалистов именно к тому, чтобы обратить усиленное внимание на теорию,—решительнее занять строго определенную позицию, резче отмежеваться от шатких и ненадежных элементов. По мнению же соц.-революц , раз существует „даже у немцев" раскол да разброд, так нам, россиянам, и сам бог велел гордиться тем, что мы сами не знаем, куда бредем. По нашему мнению, отсутствие теории отнимает право существования у революционного направления и неизбежно осуждает его, рано или поздно на политический крах. По мнению же соц.-рев. отсутствие теории—весьма хорошая вещь, особливо удобная для объединения. Как видите, нам и им не столковаться, ибо и говорим-то мы на разных языках. Одна надежда: не образумит ли их г. Струве, который тоже (только посерьезнее) говорит об устранении догмы и о том, что „наше" дело (как и дело всякой буржуазии, обращающейся к пролетариату) не разъединить, а объединить. Не увидят ли когда-нибудь соц.-рев. при помощи г. Струве, какое действительное значение имеет их позиция освобождения от социализма для объединения и объединения по случаю освобождения от социализма".

Во 2-м пункте тезисов мы читаем:

„2. Потому, что с-р-овское течение беспощадно пасует перед тем господствующим направлением русской общественно-политической мысли, которое должно быть названо либерально-народническим. Повторяя ошибку „Нар. Воли" и всего старого русского социализма вообще, с.-р. не видят полной дряблости и внутренней противоречивости этого направления и ограничивают свое самостоятельное творчество в области русской революционной мысли простой приставкой революционной фразы к ветхому завету либерально-народнической мудрости. Русский марксизм впервые подорвал теоретические основы либерально-народнического направления, обнаружил его буржуазное и мелкобуржуазное классовое содержание, повел против него войну и ведет

ее, не смущаясь переходом целой кучи критических (оппортунистических) марксистов в лагерь противников. Но с.-р. занимали и занимают во всей этой войне позицию (в лучшем случае) враждебного нейтралитета, усаживаясь опять-таки между двух стульев посреди русского марксизма (от которого они переняли только громкие обрывки) и квази-социалистического либерально-народнического направления".

Более подробно развивает эту мысль т. Ленин в № 3 „Вперед" от 11 января 1905 года (см. т. VI, стр. 53—59).

В этой статье т. Ленин пишет между прочим следующее:

„Социал-демократы считают социалистов-революционеров представителями крайней левой фракции нашей буржуазной демократии. Соц.-рев. негодуют на это и видят в таком мнении не что иное, как скверное стремление унизить противника и заподозрить чистоту его намерений и добросовестность. На самом же деле такое мнение не имеет ничего общего ни с каким заподозреванием, будучи лишь марксистской характеристикой классового происхождения и классового характера воззрений соц.-рев. Чем яснее и определеннее излагают свои воззрения соц.-рев., тем более подтверждается марксистская характеристика их воззрений. Громадный интерес представляет в этом отношении проект программы партии соц.-рев., напечатанный в № 46 „Рев. Россия".

„Проект представляет из себя значительный шаг вперед не только в отношении большей ясности изложения принципов. Прогресс сказывается и в содержании принципов, прогресс от народничества к марксизму, от демократизма к социализму. Плоды нашей критики, направленной против соц.-рев. на-лицо: критика заставила их с особенной силой подчеркнуть свои социалистические благие намерения и свои общие с марксизмом воззрения. Тем ярче выступают черты старых, народнических, расплывчато-демократических воззрений. Тому, кто упрекнул бы нас в противоречии (с одной стороны, признание социалистических благих намерений соц.-рев., с другой стороны, характеристика их социальной природы, как буржуазно-демократической), мы напомним, что еще в Коммунистическом Манифесте анализированы были образчики социализма не только мелко-буржуазного, но и буржуазного. Благие намерения быть социалистом не исключают буржуазно-демократической сущности.

„Три основные черты миросозерцания соц.-рев. выступают перед нами при ознакомлении с проектом. Во-первых, теоретические поправки к марксизму. Во-вторых, пережиток народничества во взглядах на трудовое крестьянство и аграрный вопрос. В-третьих, такой же пережиток народнических мнений о небуржуазном будто бы характере предстоящей России революции.

„Я сказал: поправок к марксизму. Именно так. Весь основной ход идей, весь остов программы свидетельствует о победе марксизма над народничеством. Это последнее все еще живет (при помощи

впрыскиваний ревизионизма самой последней моды), но лишь в виде частичных „исправлений" марксизма. Возьмите главную обще-теоретическую поправку: теорию благоприятного и неблагоприятного отношения между положительными и отрицательными сторонами капитализма. Эта поправка, поскольку она не сводится к одной путанице, есть внесение в марксизм старого русского субъективизма. Признание „творческой" исторической работы капитализма, обобществляющего труд и создающего „социальную силу", способную преобразовать общество, силу пролетариата, такое признание есть разрыв с народничеством и переход к марксизму. В основу теории социализма кладется объективное развитие экономики и классового деления. Поправка: „в некоторых отраслях промышленности, в особенности же земледелия, и в целых странах" отношение положительных и отрицательных сторон капитализма" становится (вот даже как!) все менее и менее благоприятным". Это—повторение Герца, Давида, Ник.—она и В. В. со всей его теорией об особых „судьбах капитализма в России". Отсталость России вообще и русского земледелия в особенности выступает уже не как отсталость капитализма, а как самобытность, оправдывающая отсталые теории. На-ряду с материалистическим пониманием истории проглядывает стародавний взгляд на интеллигенцию, которая будто бы в состоянии выбирать более или менее благоприятные пути для отечества и стать внеклассовым судьей капитализма, а не выразителем класса, который порождается как раз в силу разрушения старых форм жизни капитализмом. Чисто по-народнически упускается из вида тот факт, что капиталистическая эксплоатация в России приобретает особенно отвратительные формы, вследствие переживания отношений докапиталистических.

„Еще яснее народническая теория выступает в рассуждениях о крестьянстве. Во всем проекте употребляются без различия слова: трудящиеся, эксплоатируемые, рабочий класс, трудовая масса, класс эксплоатируемых, классы эксплоатируемых. Если бы авторы подумали хоть над этим последним, нечаянно сорвавшимся у них, выражением (классы), то они поняли бы, что трудятся и подвергаются эксплоатации при капитализме не только пролетарии, но и мелкие буржуа. Про наших соц.-рев. приходится сказать то же, что было сказано про легальных народников, им предстояла честь открыть невиданный в мире капитализм без мелкой буржуазии. Они говорят о трудовом крестьянстве, закрывая глаза на тот доказанный, изученный, подсчитанный, описанный, разжеванный факт, что среди этого трудового крестьянства сейчас уже безусловно преобладает у нас крестьянская буржуазия, что зажиточное крестьянство несомненно имеет право на звание трудящегося, тем не менее не обходится без найма работничков и держит в своих руках уже теперь больше половины производительных сил крестьянства...

„Мы подошли теперь к третьему из намеченных выше главных пунктов проекта. Авторы его порвали уже со взглядом последовательных народников, которые были против политической свободы, способной-де лишь передать власть в руки буржуазии. Но остатки народничества выступают очень ясно, когда проект дает характеристику самодержавия и отношения к нему разных классов. И здесь—как и всегда—мы видим, что первые же попытки мелко-буржуазной революционной интеллигенции изложить точно понимание действительности ведут неминуемо к полному изобличению противоречивости и устарелости ее точки зрения. (Заметим поэтому в скобках, что именно к вопросу о понимании действительности надо сводить всегда споры с соц.-рев., ибо только этот вопрос вскрывает отчетливо причины нашего глубокого политического расхождения.)

„Более реакционный, чем где-либо,—читаем в проекте,—класс крупных промышленников и торговцев все сильнее нуждается в покровительстве самодержавия против пролетариата"... Это неверно, ибо нигде в Европе не сказывается так, как у нас, равнодушие передовых буржуа к самодержавной форме правления. Недовольство самодержавием усиливается среди буржуазии, несмотря на боязнь пролетариата, отчасти уже просто потому, что полиция при всей ее безмерной власти не может вытравить рабочего движения. Говоря о „классе" крупных промышленников, проект смешивает подразделение и фракции буржуазии со всей буржуазией, как классом. Это тем более неправильно, что именно средних и мелких буржуа всего менее способно удовлетворить самодержавие.

„...Поместное дворянство и деревенское кулачество все сильнее нуждается в такой же поддержке против трудовых масс деревни"... Вот как. Откуда же земский либерализм? Откуда взаимное влечение культурнической (демократической) интеллигенции к хозяйственному мужичку и обратно? Или кулак не имеет ничего общего с хозяйственным мужичком?

„...Путаница проекта есть неизбежный результат смешения народничества с марксизмом. Только марксизм дал научно правильный, подтверждаемый все более и более действительностью, анализ отношения между борьбой за демократию и борьбой за социализм. И у нас, как во всем мире, есть демократия буржуазная и демократия рабочая. И у нас, как и во всем мире, социал-демократия должна беспощадно разоблачать неизбежные иллюзии буржуазной демократии и непонимание ею своей природы. И у нас, как во всем мире, сознательный пролетариат должен поддерживать буржуазную демократию в ее оппозиции или ее борьбе против остатков крепостничества, против самодержавия, ни на минуту не забывая о своей классовой особности и о своей классовой цели ниспровержения буржуазии".

Третий пункт тезисов гласит:

„3. Потому, что с.-р., в силу их указанной выше (полной) беспринципности в вопросах международного и русского социализма, не понимают или не признают единственного действительно - революционного принципа классовой борьбы. Они не понимают, что действи-

тельно-революционной и истинно-социалистической может быть в современной России лишь партия, сливающая социализм с русским рабочим движением, которое все с большей силой и с все большей широтой порождается развивающимся русским социализмом. Отношение с.-р. к русскому рабочему движению всегда было зрительски-диллетантское и когда, например, это движение заболело от поразительно быстрого роста (экономизмом), г.г. с.-р. с одной стороны злорадствовали по поводу ошибок людей, работавших над новым и трудным делом пробуждения рабочих масс, а с другой стороны, бросали палки под колеса революционного марксизма, поведшего и победоносно проведшего борьбу с этим экономизмом. Половинчатое отношение к рабочему движению неизбежно ведет к фактическому отстранению от него и, в силу этого отстранения, партия с.-р. лишена всякого социального базиса. Она не опирается ни на один общественный класс, ибо нельзя назвать классом группы неустойчивой (и переходной) интеллигенции, которая считает (называет) „широтой" свою расплывчатость и беспринципность".

Возвращаясь к тому же вопросу во второй статье о революционном авантюризме, напечатанной в „Искре" № 24 от 1 сентября 1902 года, т. Ленин пишет:

„Мы видели, что главное „преимущество" с.-р. состоит в свободе от теории, главное искусство их—умение говорить, чтобы ничего не сказать. Но, чтобы дать программу, надо как-никак высказаться. Надо, например, выкинуть за борт догмат русских с.-д. конца 80 и начала 90 г.г. о том, что нет революционной силы, кроме городского пролетариата". Какое это удобное словечко—„догмат"! Достаточно извратить слегка враждебную теорию, прикрыть это извращение жупелом „догмата",—и готово дело.

„Весь современный социализм, начиная с Комм. Манифеста, покоится на той несомненной истине, что единственно действительно революционным классом капиталистического общества является пролетариат, остальные классы могут быть и бывают революционны лишь отчасти и лишь при известных условиях. Спрашивается, что же надо думать о людях, которые „превратили" эту истину в догмат русских с.-д. определенной эпохи и пытаются уверить наивного читателя, будто этот догмат был-всецело основан на вере в отдаленность открытой политической борьбы.

„Против учения Маркса о единственном, действительно-революционном классе современного общества с.-р. выдвигают троицу: „интеллигенция, пролетариат и крестьянство", обнаруживая этим безнадежную путаницу понятий. Если вы противополагаете интеллигенцию пролетариату и крестьянству,—значит, вы понимаете под ней известный социальный слой, группу лиц, занимающих такую же определенную социальную позицию, как определенная социальная позиция наемных рабочих и крестьян. Но в качестве такого слоя русская интеллигенция является именно буржуазной и мелко-буржуазной интеллигенцией. По отношению к этому слою вполне прав г. Струве, называющий свой орган органом русской интеллигенции. Если же вы говорите о всех интеллигентах, которые еще не заняли никакой определенной социальной позиции или уже выбиты жизнью со своей нормальной позиции и переходят на сторону пролетариата,—то тогда совершенно нелепо противопоставлять эту интеллигенцию пролетариату. Как и всякий другой класс современного общества, пролетариат не только вырабатывает свою собственную интеллигенцию, но и берет себе также сторонников из числа всех и всяких образованных людей. Поход с.-р. против основного „догмата" марксизма лишний раз доказывает только, что всю силу этой партии представляет та кучка русских интеллигентов, которые от старого отстали, а к новому не пристали."

Пункт 4-ый тезисов:

„4. Потому, что, пренебрежительно относясь к социалистической идеологии и желая опереться заодно и в равной мере на интеллигенцию, или пролетариат, или крестьянство, партия с.-р. тем самым неизбежно (независимо от ее воли) ведет к политическому и идейному порабощению русского пролетариата русскою буржуазною демократией. Пренебрежительное отношение к теории, уклончивость и виляние по отношению к социалистической идеологии неминуемо играют на руку идеологии буржуазной. Русская интеллигенция и русское крестьянство, как социальные слои, сопоставляемые с пролетариатом, могут быть опорой только буржуазно-демократического движения. Это не только соображение, обязательно вытекающее из всего нашего учения, по которому, например, мелкий производитель лишь постольку является революционным, поскольку он порывает все счеты с обществом товарного хозяйства и капитализма и переходит на точку зрения пролетариата,—нет,—это кроме того и прямой факт, начинающий сказываться уже теперь. А в момент политического переворота и на другой день после этого переворота этот факт неизбежно скажется еще с гораздо большей силой. С.-революционаризм есть одно из тех проявлений мелко-буржуазной идейной неустойчивости и мелко-буржуазной (опошления) вульгаризации социализма, с которыми с.-демократия всегда должна и будет вести решительную войну".

Пятый тезис:

„5. Потому, что уже те практические программные требования, которые с.-р. успели, не скажу: выставить, а хотя бы: наметить, обнаружили уже с полной ясностью, какой громадный вред приносит на практике беспринципность этого направления, например, аграрная программа-минимум, набросанная в № 8 „Рев. России" (может быть, вернее было сказать: разбросанная среди избитых посылок нашего народничества, во-первых, вводит в заблуждение и крестьянство, обещая ему „минимум"—социализацию земли, и рабочий класс, поселяя в нем совершенно неверное представление о действительном характере крестьянского движения. Такие легкомысленные обещания только компрометируют революционную партию (вообще) и в частности учение науч-

ного социализма об обобществлении всех средств производства, как нашей конечной цели. Во-вторых, ставя в свою программу-минимум поддержку и развитие кооперации, социалисты-революционеры совершенно сходят тем самым с почвы революционной борьбы и принижают свой якобы-социализм до уровня самого дюжинного мелкобуржуазного реформаторства. В-третьих, восставши против требования с.-д-тии уничтожить все средневековые путы, связывающие нашу общину, прикрепляющие мужика к наделу, лишающие его свободы передвижения и неизбежно обусловливающие его сословную приниженность, соц.-рев-ры показали этим, что они не смогли даже уберечь себя от реакционных учений русского народничества".

Более подробное развитие формулированного выше тезиса мы находим в статье: Les beaux esprits se rencontrent (по-русски примерно: свой своему поневоле брат), напечатанной в „Искре" № 38, 15 апр. 1903 г. (т. IV, стр. 213—216).

„Знаменитая аграрная программа-минимум наших социалистов-революционеров (кооперация и социализация) обогатила русскую социалистическую мысль и русское революционное движение в июне 1902 года. Немецкая книга известного оппортуниста (бернштейнианца тож) Эдуарда Давида: „Социализм и сельское хозяйство" вышла в свет в феврале 1903 года. Повидимому, не может быть и речи о том, чтобы последующее произведение оппортунистической мысли заключало в себе оригинал предыдущих упражнений „социалистско-революционной" мысли. Но как же объяснить тогда поразительное, бросающееся в глаза сходство и даже принципиальное тождество программы русских соц.-рев. и немецких оппортунистов. Не является ли уже „оригиналом" „Рев. Россия", а копией—„капитальный" (по отзыву корреспондента „Русск. Вед.") труд Давида. Две основные идеи, и соответственно им два главных пункта программы проходят красной нитью через весь „труд" Давида. Он воспевает сел.-хоз. кооперации, ожидая от них всех благ, требуя содействия их развитию со стороны соц.-демократии и не замечая (совсем как наши соц.-рев.) буржуазного характера этих союзов мелких хозяйчиков с мелкими и крупными капиталистами земледелия. Давид требует превращения крупных земледельческих хозяйств в мелкие, восторгаясь выгодностью и рациональностью, экономностью и производительностью хозяйств „des Arbeitsbauern"—по-русски буквально „трудового крестьянина", выставляя верховное право собственности общества на землю и пользование землею вот этих мелких „трудовых крестьян". Положительно немецкий оппортунист совершил плагиат у русских „социалистов-революционеров". Мелко-буржуазности „трудового крестьянина" в современном обществе, его промежуточного, переходного положения между буржуазией и пролетариатом, его стремления „выйти в люди" (т.-е. стать заправским буржуа) путем бережливости, усердия, недоедания и чрезмерной работы, его стремления к эксплоатации труда сельских „работников",—ничего этого не видит, конечно, ни немецкий

мелкий буржуа-оппортунист, ни русские мелкие буржуа—„социалисты-революционеры".

„Да, да, les beaux esprits se rencontrent, и в этом заключается разгадка столь трудной, на первый взгляд, задачи: определить, где копия и где оригинал. Идеи, выражающие потребности, интересы, стремления и вожделения известного класса, носятся в воздухе и скрыть тождество этих идей не в силах никакое разнообразие костюма, никакие варианты то оппортунистической, то „социалистически-революционной" фразы. Шила в мешке не утаишь.

„Во всех европейских странах, в России в том числе, неуклонно идет вперед и „утеснение" и упадок мелкой буржуазии, не всегда выражающийся в ее прямом и непосредственном вытеснении, но в громадной массе случаев ведущий к сужению в экономической жизни, к ухудшению ее условий существования, к усилению ее необеспеченности. Все ополчается против нее: и технический прогресс крупных хозяйств в промышленности и в земледелии, и развитие крупных магазинов, и рост предпринимательских союзов, картелей и трестов, и даже рост потребительских товариществ и муниципальных предприятий. А на-ряду с этим „утеснением" мелкой буржуазии в земледелии и промышленности идет нарождение и развитие „нового среднего сословия", как говорят немцы, нового слоя мелкой буржуазии, интеллигенции, которой тоже все труднее становится жить в капиталистическом обществе и которая в массе своей смотрит на это общество с точки зрения мелкого производителя. Совершенно естественно, что отсюда с полной неизбежностью вытекает широкое распространение и постоянное возрождение в самых разнообразных формах мелкобуржуазных идей и учений. Совершенно естественно, что русский „социалист-революционер", всецело плененный идеями мелко-буржуазного народничества, оказывается „поневоле братом" европейского реформиста и оппортуниста, который, когда хочет быть последовательным, неизбежно договаривается до прудонизма. Именно этим последним термином и характеризовал Каутский совершенно справедливо программу и точку зрения Давида.

„Мы сказали: „когда хочет быть последовательным" и подошли таким образом к той существенной особенности,—отличающей современных соц.-рев. и от старого русского народника, и от некоторых, по крайней мере, европейских оппортунистов,—которую нельзя не назвать авантюризмом. Авантюризм не думает о последовательности, стараясь только уловить момент, воспользоваться борьбой идей для оправдания и сохранения безыдейности. Старый русский народник хотел быть последовательным и отстаивал, проповедывал и исповедывал свою особую программу. Давид хочет быть последовательным и решительно восстает против всей „марксистской аграрной теории", решительно проповедует и исповедует превращение крупных хозяйств в мелкие, не боясь, по крайней мере, иметь смелость своего мнения, не боясь открыто выступить сторонником мелкого хозяйства.

Наши соц.-рев... как бы это помягче выразиться... гораздо „благоразумнее". Они никогда не восстают решительно против Маркса,— Боже сохрани. Они, напротив, походя щиплют цитатами и Маркса и Энгельса, уверяя со слезами на глазах, что они с ними почти во всем согласны. Они не ополчаются на Либкнехта и Каутского,— напротив, они глубоко и искренне убеждены, что Либкнехт был соц.-революционер,—ей богу был соц.-революционер. Они не выступают принципиально сторонниками мелкого хозяйства,—напротив, они горой стоят за „социализацию земли", и только невзначай случается им проговориться, что эта всеобъемлющая, русско-голландская социализация означает все, что угодно: и переход земли в собственность общества и в пользование трудящихся (совсем как у Давида), и просто переход земли в руки крестьян, и, наконец, совсем уже „просто": даровую прирезку...

„Благоразумные" приемы наших соц.-рев. до такой степени уже знакомы нам, что мы позволим себе, в заключение, дать им один благой совет.

„Вы попали в не очень ловкое положение, господа, что и говорить. Все время уверяли, что не имеете ничего общего ни с оппортунизмом и реформизмом на западе, ни с мелко-буржуазными симпатиями к „выгодному" мелкому хозяйству,—и вдруг является книга заведомого оппортуниста и сторонника мелкого хозяйства, который с трогательной скрупулезностью „копирует" вашу „социально-революционную" программу. Положение, можно сказать, хуже губернаторского. Но не смущайтесь: из него легко выпутаться. Стоит только... цитировать Каутского.

„Пусть не думает читатель, что это описка. Нисколько. Каутский ополчается против прудониста Давида,— именно поэтому солидарные с Давидом соц.-рев. должны цитировать Каутского совершенно так же, как они уже цитировали раз Энгельса. Возьмите № 14 „Рев. России" и вы прочтете там на странице седьмой, что „перемена тактики" у соц.-дем. по отношению к крестьянству „была узаконена" одним из отцов научного социализма Энгельсом, — Энгельсом, который ополчился против менявших тактику французских товарищей. Как можно доказать это фокусническое положение? Очень просто. Надо, во-первых, „цитировать" слова Энгельса, что он стоит решительно на стороне мелкого крестьянства (и умолчать о том, что именно эту самую мысль выражает программа русских соц.-дем., зовущая всех трудящихся на сторону пролетариата. Надо, во-вторых, по поводу „уступок бернштейнианству" со стороны менявших тактику французских товарищей, сказать: „смотри превосходную критику этих уступок у Энгельса". Вот этот самый испытанный прием мы советуем господам соц.-рев. употребить и теперь. Книга Давида узаконила перемену тактики в аграрном вопросе. Теперь уже нельзя не сознаться, что можно оставаться в рядах соц.-дем. партии и ортодоксы могут не видеть этого. Но, с другой стороны, надо признаться, что Давид в отличие от благородных соц.-дем., делает некоторые уступки бернштейнианству. „Смотри превосходную критику этих уступок у Каутского".

В другой статье („Искра" № 24, 1 сент. 1902 г.) тов. Ленин пишет о том же вопросе (т. IV, стр. 133—136):

„Программа-минимум соц.-рев., будучи основана на вышеразобранной теории, является настоящим курьезом. Два пункта в этой „программе": 1) „социализация земли, т.-е. переход ее в собственность всего общества и в пользование трудящихся"; 2) „развитие в крестьянстве всевозможных видов общественных соединений и экономических кооперации для „чисто" политической борьбы"... для постепенного высвобождения крестьянства из-под власти денежного капитала... (под власть промышленного)... и для подготовления грядущего коллективного земледельческого производства". Как солнце в малой капле вод, отражается в этих двух пунктах весь дух современного „социал-революционаризма". В теории — революционная фраза вместо продуманной и целой системы возарений, на практике— беспомощное подхватывание того или иного модного средствица вместо участия в классовой борьбе,— вот все, что у них есть. Поставить рядом в программе-минимум социализацию земли и кооперации, для этого необходимо было, признаемся, редкое гражданское мужество. Наша программа-минимум, с одной стороны Бабеф, с другой — г. Левитский. Это неподражаемо.

„Если бы можно было серьезно отнестись к этой программе, то нам бы пришлось сказать, что, обманывая себя звуком слов, соц.-рев. обманывают и крестьянина. Это обман, будто „всевозможные кооперациц" играют революционную роль в современном обществе и подготовляют коллективизм, а не укрепление сельской буржуазии. Это— обман, будто как „минимум", как нечто столь же близкое, как кооперации, можно ставить в виду „крестьянства" — социализацию земли. Всякий социалист пояснил бы нашим соц.-рев., что уничтожение частной собственности на землю может быть теперь лишь непосредственным преддверием уничтожения ее вообще, что одна передача земли „в пользование трудящихся" еще не удовлетворила бы пролетариат, ибо миллионы и десятки миллионов разоренного крестьянства не в состоянии уже вести хозяйства на земле, даже если бы она у них была. А снабжение этих разоренных миллионов орудиями, скотом и пр. было бы уже социализацией всех средств производства и требовало бы социалистической революции пролетариата, а не крестьянского движения против остатков крепостничества. Соц.-рев. смешивают социализацию земли с ее буржуазной национализацией. Эта последняя мыслима, говоря абстрактно, и на базисе капитализма, без уничтожения наемного труда. Но именно пример тех же соц.-рев. наглядно подтверждает ту истину, что выдвигать требование национализации земли в полицейском государстве значит — затемнять единственно

революционный принцип классовой борьбы и подливать воду на мельницу всякой казенщине.

„Мало того, соц.-рев. спускаются и до прямой реакционности, когда восстают против требования проекта нашей программы: „отмена всех законов, стесняющих крестьянина в распоряжении его землей". Во имя народнического предрассудка об „общинном начале" и „уравнительном принципе", они отказывают крестьянину в таком „элементарнейшем гражданском праве", как право распоряжаться своей землей, они благодушно закрывают глаза на сословную замкнутость действительной общины, они становятся защитниками полицейских запрещений, установленных и поддерживаемых „государством"... земских начальников. Мы думаем, что не только г. Левитский, но и г. Победоносцев не очень испугаются требования социализации земли для уравнительного пользования ею, раз это требование выдвигается, как минимум, на-ряду с которым фигурируют и кооперации, и защита полицейского прикрепления мужика к обеспечивающему его казенному наделу.

„Пусть послужит аграрная программа соц.-рев. уроком и предостережением для всех социалистов, наглядным примером того, к чему приводят безыдейность и беспринципность, называемые некоторыми легкомысленными людьми свободой от догмы. Как только дошло до дела, у соц.-рев. не оказалось на-лицо ни одного из трех условий, необходимых для выставления последовательной социалистической программы: ни ясной идеи о конечной цели, ни правильного понимания этого пути, который ведет к этой цели, ни точного представления о действительном положении дел в данный момент и о ближайших задачах этого момента. Конечную цель социализма они только затемнили, смешав социализацию земли с ее буржуазной национализацией, спутав примитивную крестьянскую идею о мелком уравнительном землепользовании с учением современного социализма о переходе всех средств производства в общественную собственность и об организации социалистического производства. Их представление о пути, ведущем к социализму, бесподобно характеризуется заменой классовой борьбы развитием кооперации. В оценке данного момента аграрной эволюции России они забыли мелочь: остатки крепостничества, давящие нашу деревню. Знаменитая троица, выражавшая их теоретические взгляды,— интеллигенция, пролетариат и крестьянство—дополнялась не менее знаменитой „программной" троицей: социализация земли—кооперация—прикрепление к наделу.

„Сравните с этим программу „Искры", которая указывает единую конечную цель всему борющемуся пролетариату, не сводя ее до „минимума", не понижая ее ради приспособления к идеям некоторых неразвитых слоев пролетариата или мелких производителей. Путь для достижения этой цели один и в городе и в деревне — классовая борьба пролетариата против буржуазии. Но, кроме этой классовой борьбы, продолжается еще вестись в нашей деревне и другая: борьба

всего крестьянства против остатков крепостничества. И в этой борьбе партия пролетариата обещает свою поддержку всему крестьянству, стараясь указать настоящую цель его настоящего врага, считая нечестным и недостойным относиться к мужику, как к подопечному, скрывать от него, что он может добиться в настоящее время и немедленно только полной отменой всех следов и остатков крепостничества, только очищением пути для более широкой и более трудовой борьбы всего пролетариата против всего буржуазного общества.

Тезис шестой:

„6. Потому, что, ставя в свою программу террор и проповедуя его как средство политической борьбы в современной его форме, с.-р. приносят этим (самый) серьезный вред движению, разрушая неразрывную связь социалистической работы с массой революционного класса. Никакие словесные уверения и заклятия не могут опровергнуть того несомненного факта, что современный террор, как его применяют и проповедуют с.-р., ни в какой связи с работой в массах, для масс и совместно с массами не стоит, что партийная организация террористических актов отвлекает наши крайне немногочисленные организаторские силы от их трудной и далеко еще не выполненной задачи организации революционной рабочей партии, что на деле террор социалистов-революционеров является ничем иным, как единоборством, всецело осужденным опытом истории. Даже иностранные социалисты начинают смущаться той крикливой проповедью, которую ведут теперь наши с.-р. В русских рабочих массах эта проповедь прямо сеет вредные иллюзии, будто террор „заставляет людей политически мыслить хотя бы против их воли" („Р. Р." № 7, стр. 4), будто он „вернее, чем месяцы словесной пропаганды, способен переменить взгляд"... тысяч людей на революционеров и на смысл их деятельности, будто он способен „вдохнуть новые силы в колеблющихся, обескураженных, пораженных печальным исходом многих демонстраций" (там же) и т. п. Эти вредные иллюзии могут привести только к быстрому разочарованию и к ослаблению работы по подготовке натиска масс на самодержавие".

По вопросу о терроре мы читаем в „Искре" № 23, 1 авг. 1902 г. (т. IV, стр. 120—126):

„Защищая террор, непригодность которого так ясно доказана опытом русского революционного движения, соц.-рев. из кожи лезут, заявляя, что они признают лишь террор вместе с работой в массах, и что поэтому те доводы, которыми русские соц.-демократы (и на долгое время) опровергли целесообразность такого приема борьбы, к ним не относятся. Тут повторяется история, очень похожая на их отношение к „критике". Мы не оппортунисты,—кричат соц-рев., и в то же время сдают в архив догму пролетарского социализма на основании одной только оппортунистической и никакой иной критики. Мы не повторяем ошибки террористов, мы не отвлекаем от работы в массах, уверяют соц.-рев.; и в то же время усердно рекомендуют партии

такие акты, как убийство Балмашевым Сипягина, хотя всякий прекрасно знает и видит, что ни в какой связи с массами этот акт не стоял и, по способу его совершения, не мог стоять, что ни на какое определенное выступление или поддержку толпы совершавшие этот акт лица и не рассчитывали, и не надеялись. Соц.-рев. наивно не замечают того, что их склонность к террору связана самой тесной причинной связью с тем фактом, что они с самого начала стали и продолжают стоять в стороне от рабочего движения, не стремясь даже сделаться партией ведущего свою классовую борьбу революционного класса. Усердная божба очень часто заставляет насторожиться и заподозрить правдивость того, кто нуждается в крепкой приправе. И мне часто вспоминаются слова: Как божиться-то не лень! когда я читаю уверения соц.-рев.: „Мы не отодвигаем террором работы в массах". Ведь это уверяют те самые люди, которые уже отодвинулись от соц.-демократического рабочего движения, действительно поднимающего массы, и которые продолжают отодвигаться от него, хватаясь за обрывки каких угодно теорий.

„Прекрасной иллюстрацией сказанного может служить прокламация 3 апреля 1902 г., изданная „партией соц.-рев". Это—самый живой, близкий к непосредственным деятелям, самый аутентичный источник. „Постановка вопроса о террористической борьбе" в этой прокламации „целиком совпадает" и „с партийным воззрением", по ценному свидетелбству „Рев. России" (№ 7, стр. 24).

„Прокламация 3 апр. замечательно аккуратно копирует шаблон „новейшей" аргументации террористов. Вам всего прежде бросаются в глаза слова: „Мы зовем к террору не вместо работы в массах, а именно для этой самой работы и одновременно с нею". Бросаются же они в глаза потому, что набраны шрифтом втрое более крупных размеров, чем остальной текст (прием, повторяемый, конечно, и „Рев. Россией"). Это ведь так просто, в самом деле. Напечатать жирным шрифтом „не вместо, а вместе"—и все доводы соц.-демократов, весь урок истории сразу отпадает. А попробуйте-ка прочитать всю прокламацию и вы увидите, что божба жирного шрифта всуе приемлет имя масс. То время, „когда выйдет из тьмы рабочий народ" и „мощной народной волной в куски разобьет железные ворота—увы" (буквально так: увы), „еще не так скоро наступит, и, страшно подумать, сколько при этом будет жертв". Разве эти слова: „увы, еще не скоро", не выражают собой полного непонимания массового движения и неверия в него. Разве не выдуман нарочно этот довод в насмешку над тем фактом, что рабочий народ уже поднимается. И, наконец, если бы даже этот избитый довод так же основателен, как он на самом деле вздорен, то из него вытекла бы особенно рельефно негодность террора, ибо без рабочего народа бессильны, заведомо бессильны, всякие бомбы.

„Слушайте дальше: „Каждый террористический удар как бы отнимает часть силы борцов за свободу". И раз террор будет проведен

систематически, то очевидно, что наша чаша весов, наконец, перевесит. Да, да, для всякого очевидно, что перед нами в самой грубой форме величайший из предрассудков терроризма: политическое убийство само собой „перебрасывает силу". Вот вам, с одной стороны — теория перебрасывания силы, а с другой — „не вместо, а вместе"... Как божиться-то не лень!

„Но это еще цветочки. Ягодки впереди будут. „В кого бить", спрашивает партия соц.-рев. и отвечает: в министров, а не в царя, ибо „царь не доведет дело до крайности" (откуда это они узнали!), да притом же „это и легче" (буквально так): „никакой министр не может засесть во дворце, как в крепости". И эта аргументация заканчивается следующим рассуждением, которое заслуживает быть увековеченным, как „образец теории" соц.-рев. „Против войны у самодержавия есть солдаты, против революционных организаций—тайная и явная полиция, но что спасает его"... (кого его? самодержавие, автор незаметно для себя отождествил уже самодержавие с тем министром, в которого бить легче)... „от отдельных личностей или небольших кружков, беспрерывно, неизвестно даже друг от друга, готовящихся к нападению и нападающих. Никакая сила не поможет против неуловимости. Значит, наша задача ясна: смещать всякого властного насильника самодержавия единственным способом, который оставило нам самодержавие,—смертью". Какие бы горы бумаги ни исписали соц.-рев., уверяя, что они своей проповедью террора не отодвигают, не дезорганизуют работы в массах, им не опровергнуть потоками слов этого факта, что действительная психология современного террориста верно передается именно цитируемой прокламацией. Теория перебрасывания силы естественно дополняется теорией неуловимости, теорией, окончательно переворачивающей вверх дном весь опыт прошлого и всякий здравый смысл. Что единственная „надежда" революции есть „толпа", что бороться с полицией может единственно революционная организация, руководящая (на деле, а не на словах) этой толпой, эта—азбука. Это стыдно доказывать. И только люди, которые все позабыли и ровно ничему не научились, могли решить „наоборот", договорившись до баснословной вопиющей нелепости, что „спасти" самодержавие от толпы могут солдаты, от революционных организаций—полиция, а от отдельных личностей, охотящихся на министров, не спасет ничто.

„Это баснословное рассуждение, которому, мы уверены, суждено сделаться знаменитым, вовсе не простой только курьез. Нет, оно поучительно тем, что смелым доведением до абсурда разоблачает основную ошибку террористов, общую им с экономистами (может быть, надо уже сказать: с бывшими представителями покойного экономизма). Эта ошибка состоит, как мы уже много раз указывали, в непонимании основного недостатка нашего движения. Благодаря необычайно быстрому росту движения, руководители отстали от массы, революционные организации оказались недорослими до революционной актив-

ности пролетариата, неспособными итти впереди и руководить массами. Что такого рода несоответствие существует, в этом не усомнится ни один добросовестный человек, сколько-нибудь знакомый с движением. А раз это так, то очевидно, что теперешние террористы являются настоящими экономистами наизнанку, впадая в столь же неумную, но противоположную крайность. В такое время, когда революционерам не достает сил и средств для руководства поднимающейся уже массой, звать к такому террору, как устройство, отдельными личностями и неизвестными друг другу кружками, покушений против министров,—это значит тем самым не только обрывать работу в массах, но и вносить в нее прямую дезорганизацию. Мы, революционеры, „привыкли робко жаться в кучу,—читаем мы в прокламации 3 апреля —и даже тот новый, смелый дух, который повеял в последние 3—4 года, создал пока более подъем настроения толпы, чем личностей". В этих словах много нечаянно сказанной правды. И именно эта правда наголову разбивает проповедников терроризма. Из этой правды всякий думающий социалист делает вывод: надо энергичнее, смелее и стройнее действовать кучей. А соц.-рев. умозаключает: „стреляй, неуловимая личность, ибо куча, увы, еще не скоро, да и солдаты против кучи есть". Совсем уже это неразумно, господа!

„Не обходится прокламация и без теории эксцитативного террора. „Каждый поединок героя будит во всех нас дух борьбы и отваги",—говорят нам. Но мы знаем из прошлого и видим в настоящем, что только новые формы массового движения или пробуждение к самостоятельной борьбе новых слоев массы действительно будят во всех дух борьбы и отваги. Поединки же, именно постольку, поскольку они остаются поединками Балмашевых, непосредственно вызывают лишь скоропреходящую сенсацию, а посредственно ведут даже к апатии, к пассивному ожиданию следующего поединка. Нас уверяют, далее, что „каждая молния террора просвещает ум", чего мы, к сожалению, не заметили на проповедующей террор партии соц.-рев. Нам преподносят теорию крупной и мелкой работы: „у кого больше сил, больше возможности и решимости, тот пусть не успокаивается на мелкой работе; пусть ищет и отдается крупному делу,—пропаганде террора в массах, подготовлению сложных... (теория неуловимости уже забыта) ...террористических предприятий". Не правда ли, как это удивительно, умно: отдать жизнь революционера за месть негодяю Сипягину и замещение его негодяем Плеве—это крупная работа. А готовить, напр., массу к вооруженной демонстрации—мелкая. Вот „Рев. Россия" в № 8 как раз поясняет это, заявляя, что о вооруженных демонстрациях „легко писать и говорить, как о деле неопределенно далекого будущего", „но все эти разговоры имели до сих пор лишь теоретический характер". Как хорошо знаком нам этот язык людей, свободных от стеснительности твердых социалистических убеждений, от обременительного опыта всех и всяких народных движений. Непосредственную ссязательность и сенсационность результатов они смешивают с практичностью. Требование неуклонно стоять на классовой точке зрения и блюсти массовый характер движения является для них „неопределенным" „теоретизированием". Определенностью в их глазах является рабское следование за каждым поворотом настроения и... неизбежная, в силу этого, беспомощность при каждом повороте. Начинаются демонстрации—и от таких людей льются кровавые фразы, толки о начале конца. Остановка демонстрации—опускаются руки, и, не успев износить сапог, мы уже кричим: „народ, увы, еще не скоро"... Новая гнусность царских насильников —и мы требуем, чтобы нам указали такое „определенное" средство, которое бы служило исчерпывающим ответом именно на это насилие, такое средство, которое бы давало немедленное „перебрасывание силы", и мы гордо обещаем это перебрасывание. Такие люди не понимают того, что одно уже это обещание „перебрасывания" силы является политическим авантюризмом, и что их авантюризм зависит от их беспринципности.

„Социал-демократия всегда будет предостерегать от авантюризма и безжалостно разоблачать иллюзии, неизбежно оканчивающиеся полным разочарованием. Мы должны помнить, что революционная партия только тогда заслуживает своего имени, когда она на деле руководит движением революционного класса. Мы должны помнить, что всякое народное движение принимает бесконечно разнообразные формы, постоянно вырабатывая новые, отбрасывая старые, создавая видоизменения или новые комбинации старых и новых форм. И наш долг активно участвовать в этом процессе выработки приемов и средств борьбы. Когда обострилось студенческое движение, мы стали звать рабочего на помощь студенту („Искра", № 2), не берясь предсказывать формы демонстраций, не обещая от них ни немедленного перебрасывания силы, ни просвещения ума, ни особой неуловимости. Когда упрочились демонстрации,—мы стали звать к организации их, к вооружению масс, мы выдвинули задачу подготовки народного восстания. Нисколько не отрицая в принципе насилия и террора, мы требовали работы над подготовкой таких форм насилия, которые бы рассчитывали на непосредственное участие массы и обеспечивали бы это участие. Мы не закрываем глаз на трудность этой задачи, но мы твердо и упорно будем работать над ней, не смущаясь возражениями, что это—„неопределенно-далекое будущее". Да, господа, мы стоим и за будущие, а не за одни только прошлые формы движения. Мы предпочитаем долгую и упорную работу над тем, за чем есть будущее, „легкому" повторению того, что уже осуждено прошлым. Мы будем всегда разоблачать людей, у которых на языке война с шаблонами догмы, а на деле только и есть, что шаблоны самых обветшалых и вредных теорий перебрасывания силы, разницы между крупной и мелкой работой и, конечно, уже теории поединка и единоборства. „Как некогда в битвах народов вожди их решали бой единоборством, так и террористы в единоборстве с самодержа-

вием завоюют России свободу", — так заканчивается прокламация 3 апр. Такие фразы достаточно перепечатать, чтобы опровергнуть их.

„Кто действительно ведет свою революционную работу в связи с классовой борьбой пролетариата, тот прекрасно знает, видит и чувствует, какая масса непосредственных и прямых запросов пролетариата (и способных поддерживать его народных слоев) остается неудовлетворенной. Тот знает, что в массе мест, в целых громадных районах, рабочий народ буквально рвется на борьбу, и его порывы пропадают даром за недостатком литературы, руководителей, за отсутствием сил и средств у революционных организаций. И мы оказываемся, — мы видим это, что мы оказываемся, — в том же проклятом порочном круге, который, как злой рок, тяготел так долго над русской революцией. С одной стороны, пропадает даром революционный порыв недостаточно просвещенной и неорганизованной толпы. С другой стороны, пропадают даром выстрелы „неуловимых личностей", теряющих веру в возможность итти в ряду и шеренге, работать рука об руку с массой.

„Но дело еще вполне поправимо, товарищи. Потеря веры в настоящее дело не более, как редкое исключение. Увлечение террором не более, как скоропреходящее настроение. Пусть же сомкнутся плотнее ряды социал-демократов, и мы сплотим в одно целое боевую организацию революционеров и массовый героизм русского пролетариата".

В статье „Новые события и старые вопросы", напечатанной в „Искре" № 29, 1 дек. 1902 г. (т. IV, стр. 183), т. Ленин, говоря об известной Ростовской стачке, превратившейся в политическую демонстрацию, снова возвращается к вопросу о терроре:

„Только такие массовые движения, связанные с наглядно выступающим перед всем ростом политического сознания и революционной активности рабочего класса, заслуживают названия действительно революционных актов и способны внушить действительное одобрение тем, кто борется за русскую революцию. Мы видим тут не пресловутый „индивидуальный отпор", связь которого с массами состоит только в словесных заявлениях, в напечатанных приговорах и т. п. Мы видим действительный отпор толпы, и неорганизованность, неподготовленность, стихийность этого отпора напоминают нам, как неумно преувеличивать свои революционные силы, как преступно пренебрегать задачей внесения вот в эту настоящим образом борющуюся у нас на глазах толпу большей и большей организованности и подготовленности. Не создавать посредством выстрелов поводы для возбуждения, материал для агитации и для политического мышления, а научиться обрабатывать, использовать, брать в свои руки тот материал, которого слишком достаточно дает русская жизнь, — вот задача, единственно достойная революционера. Соц.-рев. не могут нахвалиться тем, как велико „агитирующее" действие политических убийств, о которых шушукают так много и в либеральных гостиных, и в простонародных кабачках.

Для них ничего не стоит (благо они свободны от всяких узких догм сколько-нибудь определенной социалистической теории) заменить (или хотя бы даже дополнить) политическое воспитание пролетариата произведением политической сенсации. Мы же считаем способными иметь действительно и серьезно „агитирующее" (возбуждающее), и не только возбуждающее, но и (это гораздо более важно) воспитывающее действие, *только* события, в которых действующим лицом является сама масса, которые порождаются ее настроением, а не инсценируются „с специальной целью" той или иной организацией. Мы думаем, что целой сотне цареубийств не произвести никогда такого возбуждающего и воспитывающего действия, как это одно участие десятков тысяч рабочего народа в собраниях, обсуждающих их насущные интересы и связь политики с этими интересами, — как это участие в борьбе, действительно поднимающей новые и новые „непочатые" слои пролетариата к более сознательной жизни, к более широкой революционной борьбе. Нам говорят о дезорганизации правительства (вынужденного сменять господ Сипягиных господами Плеве и „подбирать" себе на службу самых гнусных проходимцев), а мы убеждены, что отдавать одного революционера хотя бы за десять проходимцев значит дезорганизовать только свои собственные ряды, которые и без того редки, так редки, что не поспевают за всей работой, „спрашиваемой" от них рабочими. Мы думаем, что настоящей дезорганизацией правительства являются такие и только такие случаи, когда действительно организуемые самой борьбой широкие массы заставляют правительство растеряться, когда законность требований передовых людей рабочего класса выясняется уличной толпе и начинает даже выясняться части войска, призываемого для „усмирения", когда военным действиям против десятков тысяч народа предшествует колебание властей, не имеющих никакой реальной возможности определить, до чего доведут эти военные действия, когда в убитых на поле гражданской войны толпа видит и чувствует своих товарищей, своих сочленов и накопляет в себе новый запас ненависти и желание более решительной схватки с врагом. И не отдельный проходимец, а весь современный строй выступает уже здесь врагом народа, против которого ополчаются местные и петербургские власти, полиция, казаки и войско, не говоря уже о жандармах и судах, дополняющих и завершающих, как всегда, всякие народные восстания.

„Да, восстания. Как ни далеко было от „настоящего" восстания начало этого, повидимому, стачечного движения в далеком провинциальном городе, а его продолжение и его финал невольно наводят на мысль именно о восстании. Обыденность повода к стачке, мелкий характер выставленных рабочими требований особенно сильно оттеняют и могучую силу солидарности пролетариата, увидевшего сразу, что борьба железнодорожных рабочих есть его общее дело, и восприимчивость его к политическим идеям, к политической проповеди, и

готовность отстаивать грудью в прямом сражении с войсками те права на свободную жизнь, свободное развитие, которые успели уже стать общим и элементарным достоянием всех мыслящих рабочих. И тысячу раз прав был Донской Комитет, который в прокламации, целиком воспроизведенной нами ниже, говорил „всем гражданам“ о Ростовской стачке, как об одном из приступов к общему подъему русских рабочих с требованием политической свободы. На событиях такого рода мы действительно наблюдаем воочию, как всенародное вооруженное восстание против самодержавного правительства созревает не только как идея в умах и программах революционеров, но также и как неизбежный, практически-естественный, следующий шаг самого движения, как результата растущего возмущения, растущего опыта, растущей смелости масс, получающих такие ценные уроки, такое великолепное воспитание от русской действительности.

„Неизбежный и действительный шаг,—сказал я,—и спешу оговориться: если только мы не позволим себе ни на шаг уклониться от надвигающейся на нас, нависшей над нами задачи помочь этим поднимающимся уже массам подняться смелей и дружней, дать им не двух, а десятки уличных ораторов и руководителей, создать настоящую боевую организацию, способную направлять массы, а не так называемую „боевую организацию“, которая направляет (если направляет) неуловимых личностей. Трудна эта задача, что и говорить, но мы с полным правом можем видоизменить так часто и так неудачно приводившиеся в последнее время слова Маркса и сказать: „Каждый шаг действительного движения важнее дюжины“ индивидуальных покушений и отпоров, важнее сотни только интеллигентских организаций и „партий“.

Тезисы Ленина, легшие в основу всех его статей об эс-эрах, написанных в течение последующих лет, прежде всего крайне интересны для изучения психологии творчества гениальных умов, одаренных необыкновенной интуицией. В этом отношении тезисы представляют крайне ценный документ, проливающий яркий свет на психологию творчества. С помощью интуиции гениальный мыслитель устанавливает в данном случае сразу вехи работы, которую он ведет затем в течение десятков лет.

* * *

Тезисы Ленина об эс-эрах, формулированные им впервые в 1902 г. и развитые в целом ряде статей, начиная, как мы видели, с того же 1902 г.,—продукт тонкого и глубокого применения марксистского анализа, как единственно правильного метода познания самых сложных явлений общественной жизни, и вместе с тем показатель гениальной, может быть, беспримерной прозорливости автора этих тезисов.

Не даром партия эс-эров старалась отвлечь народные массы, пролетариат и беднейшее крестьянство от непосредственного участия

в борьбе за лучшее будущее. Классовым инстинктом эс-эры чувствовали, что, начав борьбу собственными силами с царизмом и правящими классами, народные массы, руководимые пролетариатом, не удовлетворятся жалкими уступками, вроде либеральных реформ, парламентского строя и т. п., и попытаются взять свою судьбу в собственные руки. Когда то, чего так боялась партия эс-эров, осуществилось на деле, и рабоче-крестьянские массы, может быть, и коряво, но своими руками, стали строить свое государство, эс-эры бросились в объятия сначала русской буржуазии, а затем окончательно продались международной буржуазии, сделавшись агентами иностранного капитала и иностранной интервенции, оказывая японцам содействие в оккупации Сибири, англичанам—Кавказа с нефтяными источниками и т. д. В настоящее время партия эс-эров с ненавистью относится к могучему социально-революционному движению, развивающемуся во всей Европе и особенно в Германии, и ждет своего спасения не от торжества этого движения, а от победы реакции во всем мире и неизбежной в таком случае новой интервенции в России. Не нужно обладать гениальной прозорливостью Ленина, чтобы иметь основание с полной уверенностью утверждать, что эти новые ожидания и планы эс-эров будут так же жестоко разбиты, как и вся их предшествующая программа действий.

Мих. Павлович.

Реалистические элементы в воззрениях Роберта Оуэна и их влияние на его пропаганду и деятельность.

В своей автобиографии Оуэн сообщает, что идея об образовании характера внешней средой вместе с идеей об ошибочности и вреде религий и о пагубных последствиях всякого рода наказаний сложилась у него постепенно в самом юном возрасте под влиянием наблюдения над окружающей жизнью и размышления над прочитанным [1]). Он искренно считал эту идею своей собственной, когда в первом

[1]) Он пишет, что главным вопросом, которым он был более всего заинтересован в период пребывания на службе у Мак-Гёффога, т.-е. в возрасте 12—13 лет, был вопрос религиозный. „После долгих колебаний и душевного разлада,—пишет он,—я принужден был отказаться от глубоко внедрившихся в мою душу христианских верований. Но, будучи принужден отказаться от верований этой секты, я в то же время почувствовал необходимость отвергнуть и все другие верования, так как я открыл, что все они основаны на одном и том же абсурдном представлении, что каждый человек создает свои собственные качества, предопределяет свои собственные мысли, волю и действия и ответствен за них перед богом и ближними. Мои собственные размышления заставили меня притти к совершенно другому заключению (курсив мой *А. А.*). Мой разум учил меня, что я не в состоянии образовать ни одного из моих качеств, что они внедрены в меня Природой, точно так же, как язык, религия и привычки внедрены в меня обществом; что природа дала мне известные естественные качества, а общество направило их“ (The Life of R. Owen written by himself т. I, стр. 16).

своем крупном сочинении поднес ее публике в чистом виде, вариациях и выводах под заглавием „Новый взгляд на общество".

Но как ни смотреть на этот вопрос,—считать ли, что Оуэн дошел до идеи об образовании характера внешней средой своим собственным умом или подобно всем передовым мыслителям своей эпохи заимствовал ее непосредственно или через вторые руки у французских материалистов XVIII в.,—важен следующий факт.

Став в первооснове своего миросозерцания на материалистическую точку зрения [1]), Оуэн, подобно указанным мыслителям, неспособен был сделать всех выводов из этой идеи, когда перешел к вопросу о том, чем же обусловливается строение и развитие этой общественной среды и чем можно содействовать ее видоизменению. Подобно своим учителям, он выдвинул противоречивое положение, что современная общественная среда есть результат людских заблуждений, грубых суеверий и злых стремлений и потому для преобразования среды необходимо перевоспитать людей в „добре" и „истине". Мы не станем останавливаться на этом противоречии, в которое впадала большая часть французских материалистов XVIII века, противоречии, прекрасно выясненном Г. В. Плехановым в его знаменитом сочинении „К вопросу о развитии монистического взгляда". Укажем только на следующее. Если б Р. Оуэн остался при указанном противоречивом положении и всех вытекающих из него выводов, он едва ли занял бы в истории английского и всемирного социализма то положение, которое он по праву занимает; из него, быть может, вышел бы видный педагог, к чему у него было несомненное призвание, или обыкновенный в английской среде капиталист-филантроп, быть может, с более гуманным, чем у его собратьев, миросозерцанием и более широким размахом благотворительности, но столь же узкий по своей деятельности и ее результатам.

Но, к счастью, у Оуэна оказался более глубокий и пытливый ум, чем требовалось для усвоения неоригинальной и малоплодотворной для его практической программы идеи об образовании характера. У него нашелся более плодотворный учитель—английская действительность. Эта действительность властно воздействовала на его ум, выдвигая вопросы и требуя их разрешения. И вот, исходя из анализа

[1]) Роберт Оуэн в период оформления его миросозерцания был целиком под властью материалистических идей в области философии природы. Эти идеи он смело развивал в манчестерском литературном обществе и в более интимном кружке, собиравшемся в коллегии д-ра Бенса. Когда на одном из этих собраний зашла речь об открытиях Лавуазье и Шапталя, Оуэн, в противовес преобладавшему среди членов общества взгляду, высказал ту мысль, что вселенная, по его мнению, не более, чем обширная лаборатория, а человек — химическое соединение, только более сложное, чем другие. Его прозвали „философом, намеревающимся делать людей при помощи химии"; ему также дали прозвище „мыслящей машины", так как он проповедывал, что таковой делает человека природа и общество. К сказанному нужно прибавить его ранний атеизм и ту исключительную роль, которую он придавал опыту в области познания.

фабричной системы, Оуэн начал вносить новые элементы в свое миросозерцание.

В миросозерцании Оуэна таким образом переплетены два ряда идей—утопических и реалистических. Первый ряд идей идет у него от его идэ-фикс об образовании характера и приводит его к архиутопической тактике, обесплодившей столько мощных его усилий; второй ряд идей продиктован правильными выводами из наблюдений над сочащейся кровью действительностью. Нетрудно убедиться, что этот второй ряд идей не только составляет самую интересную и оригинальную часть его воззрений, но сыграл также очень важную роль в его практической деятельности.

Если мы рассмотрим наиболее оригинальные и богатые по содержанию произведения Оуэна, написанные им в период 1813—1820 г.г. [1]) и присоединим к ним кое-что из позднейших его сочинений (например, из „Социальной системы", „Революции в теории и на практике", „Книги нового нравственного мира"), то увидим, что он здесь подвергает критике всю экономическую и социальную действительность: производство, обмен и распределение продуктов в существующем иррациональном строе, индивидуальный принцип экономики в теории и на практике; обосновывает и защищает трудовое мерило ценности; с удивительной глубиной объясняет роль машины для развития капиталистического строя, дает объяснение экономических кризисов, выясняет роль внутреннего рынка для их устранения; и вскрывая попутно ряд противоречий в которых бьется капитализм, он, на основании целого ряда фактов, горячо и убедительно доказывает близость и неизбежность социального переворота. О всех этих вещах Оуэн говорит с удивительной бессистемностью; некоторые чрезвычайно интересные мысли он роняет как бы мимоходом, что указывает, какое сравнительно второстепенное место он сам отводил идеям этой категории, от чего, впрочем, они не теряют своей глубины, ценности и практического значения для его деятельности.

В нижеследующем постараемся систематизировать его воззрения, относящиеся к перечисленным вопросам и установить их значение для теории и практики его деятельности.

1. Машина и ее роль в социально-экономическом процессе.

Двойственная роль машины, как благодеяния и проклятия для трудовых классов, ни одним из социальных мыслителей и экономистов начала XIX века не была понята и истолкована с такой ясностью, как это сделано Оуэном. В этом отношении он явился учителем учителей своей эпохи.

Впервые, как известно, Оуэн касается этого вопроса в „Докладе

[1]) Позднейшие произведения Оуэна являются повторением или систематизацией того, что высказано им в этот период.

Комитету Ассоциации для облегчения положения пауперов" (1817 г.). Здесь его взгляд не отличается еще законченностью, так как к причинам перепроизводства и безработицы он относит также и окончание „великой войны", вследствие чего самостоятельная роль машины не выступает с такой ясностью. Ход его мыслей здесь таков [1]):

Введение машин в мануфактурах Великобритании, ускоренное изобретениями Аркрайта и Уатта, понизило цену предметов при их посредстве изготовляемых, что чрезвычайно увеличило спрос на них и крайне содействовало расширению кадров рабочих, занятых в этих производствах. Это повело к быстрому увеличению богатства капиталистов и предпринимателей, что послужило дальнейшим толчком для изобретений и расширения промышленности. Так, одно техническое усовершенствование рождало другое в быстрой последовательности [2])... Индивидуальное богатство вскоре перешло в национальное процветание. Несмотря на двадцатипятилетнюю войну с Францией, требовавшую громадных, невиданных до сих пор расходов, Англия достигла такой степени богатства и политического могущества, созданного богатством, что оно смущало ее врагов и изумляло друзей. Сама война, опустошительная и разорительная для союзников, казалось, служила причиной дальнейшего развития неистощимых богатств Великобритании [3]). Но вот война прекратилась и вместе с ней исчез колоссальный потребитель продуктов, производимых при посредстве машин. Пришлось сократить производство. Но тут оказалось, что механическая сила машин гораздо дешевле человеческого труда. Произошло массовое увольнение рабочих и рабочая плата упала значительно ниже средств, необходимых для существования при обычном уровне потребностей [4]).

[1]) Интересно отметить, что, приступая к своему докладу, Оуэн сразу становится на реалистическую почву. „Для правильного понимания этого интересного вопроса (т.-е. вопроса о способах облегчения положения неимущих, прилагающих свой труд в промышленности и земледелии),—начинает Оуэн,—необходимо уяснить влияние главных причин, коим следует приписать ныне существующие бедствия, достигшие небывалых размеров в нашей стране и в немалой степени поразившие и другие страны. Тогда мы найдем, что корень зла следует искать в состоянии вещей, порожденном самим обществом. Анализ этого состояния укажет нам средства противодействия существующему злу". (Курсив мой *А. А.* Report to the Committee, Life of R. Owen, т. I A, стр. 53—64). Что под „корнем зла" подразумеваются прежде всего чисто экономические причины, а не моральные, видно из того, что вслед за этим коротеньким вступлением идет изображение экономического состояния Англии после войны.

[2]) „Первым следствием новых технических условий явился рост частных богатств, что давало новый импульс к дальнейшим изобретениям. Так, одно техническое усовершенствование рождало другое в быстрой последовательности, и в немного лет они не только были повсеместно применены на мануфактурах Соединенного Королевства, но ревниво заимствовались другими странами Европы, а также Америки" (цит. Report, стр. 54).

[3]) „Без нового источника богатств, созданного машинами, — говорит Оуэн в своей „Революции в теории и на практике",— не было бы возможности вести войны для свержения Наполеона и поддержания аристократических принципов общественного устройства".

[4]) См. цит. Report, стр. 53—55.

Таким образом, как доказывает Оуэн, то, что послужило к расцвету промышленности, к повышению политического могущества Великобритании и увеличению ее национального богатства, т.-е. введение машин в мануфактуру, послужило одновременно причиной нищеты и бедствий для рабочего класса.

В результате всего этого, как отмечает Оуэн, мы видим такое противоречивое явление: Соединенное королевство Великобритании и Ирландии испытывает ныне (середина 1817 г.) гораздо более бедствий, нищеты и злополучия, чем эти страны знали за последние века, между тем как это государство никогда до сих пор не владело таким избытком сверхизобильных средств (an excess of superabundant means) для освобождения всего населения от этих несчастий, упадка и опасности (из речи на митинге 14 августа 1817 г.).

Через несколько месяцев после выступления с „Докладом Комитету" (а именно на митинге 21 августа 1817 г. в лондонской таверне) Оуэн в своей речи указывает на другое явление, к которому привело введение механических двигателей, а именно на то, что „результатом этой незамеченной перемены в способе производства предметов потребления у нас и в прочих странах мира было громадное увеличение количества ежегодно производимых продуктов без одновременного возрастания покупательной способности рабочих в такой же пропорции (курсив мой. *А. А.*). Первое значительно превзошло второе. Это отсутствие спроса заставило предпринимателей сократить производство, и так как машины были более дешевой производительной силой, то прежде всего стали увольнять рабочих. Оуэн вполне правильно указывает рабочим, что радикалы неправы, считая одной из главных причин бедствий, претерпеваемых рабочим классом, громадный государственный долг и высокие налоги. Пусть,—говорит он,—мы завтра будем освобождены от национального долга и всяких налогов и пусть государство при этом откажется от всякого вознаграждения за оказываемые им гражданам услуги, это не изменит к лучшему положения рабочих, которые через несколько лет будут страдать еще больше, чем до сих пор. Исцеления от недуга нужно искать совершенно в другом направлении. Нужно дать правильное приложение этой магической силе (magic pover), т.-е. машине, которая до сих пор не была известна миру. А пока это не будет сделано, рабочие не только не освободятся от своих бедствий, но их положение в дальнейшем еще будет ухудшаться. Оуэн формулирует все сказанное кратко, сильно и выпукло в следующем изречении: „Машина, которая могла быть сделана величайшим благом для человечества, при существующих условиях стала его величайшим проклятием" [1]).

[1]) „Mechanism which may be made the greatest of blessings to humanity is under the exsisting arrangements its greatest curse" (Life of R. Owen, т. I A, стр. 111).

Наконец, в „Докладе Совету Лэнаркского графства" Оуэн отмечает третий социальный результат введения машин в производство, а именно то обстоятельство, что машины содействовали концентрации капиталов, сосредоточению в руках немногих собственников богатств, произведенных трудом рабочих для дальнейшей эксплоатации рабочих.

„Введение паровой и прядильной машины,—пишет он в указанном докладе,—невероятным образом увеличило природные силы человека. В продолжение полстолетия машины увеличили производительные силы или способности к созданию богатств населения этих островов (т.-е. Великобритании и Ирландии) более чем в 12 раз, помимо того увеличения производительных сил, к которому они привели в других странах.

„Но в то же время паровая и прядильная машины с бесконечными механическими изобретениями, которым они дали толчок, навлекли на общество бедствия, которые в настоящее время значительно превосходят благодеяния от них происходящие. Они создали кучу богатств, сосредоточив их в руках немногих, которые при их помощи продолжают поглощать богатства, производимые промышленным трудом многих (курсив мой. *А. А.*)[1]). Благодаря этому рабочие стали простыми рабами невежества и произвола этих монополистов и находятся в гораздо более безнадежном и бедственном состоянии, чем они были до того, как имена Уатта и Аркрайта стали известны в Англии. И все же эти знаменитые и гениальные люди были орудиями подготовки общества для важных и благодетельных перемен (курсив мой. *А. А.*), которые должны совершиться в самое ближайшее время.

„Все теперь знают, что благодеяния, которые эти изобретения должны были принести обществу, не осуществились; состояние общества, вместо того, чтобы улучшиться, ухудшилось благодаря новым обстоятельствам, созданным этими изобретениями, и общество, таким образом, двинулось не вперед, а назад"...

„Все наши блестящие усовершенствования в искусствах и науках,—прибавляет он дальше,—имели последствием деморализацию общества вследствие неправильного использования вновь созданных машинами богатств".

В приведенных нескольких цитатах изображены почти все главные последствия водворения машинного производства: 1) Благодаря экономическим выгодам машинного способа производства капиталы сосредоточились в руках немногих лиц—крупных капиталистов. 2) Эти капиталы явились результатом не воздержания их владельцев от потребления, как уверяют представители классической школы политической экономии, а обязаны своим возникновением эксплоатации капиталистами рабочих,—эксплоатации, которая все более усиливается благодаря дальнейшим успехам техники и дальнейшему вследствие этого сосредоточению капиталов в руках этих немногих капиталистов. 3) Таким образом, благодаря изобретению машин, на одной стороне,—на стороне немногих,—увеличилось богатство, могущество и счастье, в то время как на другой стороне,—на стороне подавляющего большинства, т.-е. всех трудящихся,—увеличились бедность, порабощение и несчастье. В результате трудящиеся классы после изобретения машин стали несравненно несчастнее, чем они были до того, как славные имена Уатта и Аркрайта стали известны миру. 4) Но не нужно отчаиваться; те, которые своими изобретениями невольно содействовали увеличению бедствий трудовых классов, теми же изобретениями подготовили общество для важных и благодетельных перемен коммунистического строя.

[1]) „They have created an aggregate of wealth and placed it in the hands of a few, who by it aid, continy to absorb the wealth produced by the industry of many" (Там же, стр. 274).

2. Критика принципа индивидуализма и конкуренции. — Возражения против теории Мальтуса. — Указание отрицательных последствий разделения труда.

Критику экономической действительности иррационального строя мы находим почти во всех произведениях Роб. Оуэна, но в более или менее систематическом виде; как оценка целокупного процесса производства, обмена и распределения она дана, главным образом, в „Докладе Совету Лэнарк. графства" и в „Книге нового нравственного мира", отчасти в „Социальной системе". Нельзя сказать, чтобы взгляды Оуэна в этой области отличались ясностью, глубиной и законченностью; однако и здесь мы находим ряд реалистических черт и удачных замечаний.

Здесь мы рассмотрим только отдельные стороны этой критики.

Само собой понятно, что Оуэн был ярым противником индивидуалистического принципа вообще и в частности в экономической жизни.

„Общепринятое мнение среди экономистов,—говорит он,—утверждает, что человек может лучше соблюсти свои интересы с наибольшей выгодой одновременно для себя и для публики, когда он предоставлен своим индивидуальным усилиям и свободной конкуренции со своими ближними, чем когда при содействии каких-либо общественных учреждений его интересы будут объединены и согласованы с интересами всего общества.

„Принцип индивидуального интереса, противопоставленный, как мы это видим в действительности, общественному благу, рассматривается самыми знаменитыми экономистами как краеугольный камень социальной жизни, без которого общественная система не могла бы существовать.

„Но если б им стали известны удивительные последствия согласования и единения, они признали бы, что нынешний строй обще-

ства — самый антисоциальный, нецелесообразный и иррациональный, какой только можно себе вообразить; что под его влиянием все высшие качества человеческой природы подавляются с самого младенчества и пускаются в ход самые неестественные средства, чтобы вызвать вреднейшие наклонности...

„От этого принципа индивидуального интереса возникли все разделения и несогласия среди человечества, бесконечные заблуждения и раздоры классов, сект, партий и национальной розни, результатом которых является взаимная ненависть и все дурные страсти, все преступления и бедствия, которые до сих пор отягощали человеческий род.

„Коротко говоря, если б мы хотели указать на одну из наиболее односторонних теорий, идущих вразрез с истиной, то мы назвали бы теорию, которая полагает, что индивидуальный интерес, в том смысле, в каком этот термин понимается в настоящее время, есть более выгодный принцип для построения социальной системы, благодетельной для всех, чем принцип единения и взаимной кооперации.

„Первый принцип действует, как громадная тяжесть, подавляющая самые ценные способности и наклонности и дающая неправильное направление всем человеческим силам. Этот принцип принадлежит к числу тех великолепных (если можно так выразиться) заблуждений, которые, будучи настойчиво проводимы на практике, приводят в своем развитии к тысяче бедствий. Основной принцип указанных экономистов, вместо того чтобы увеличивать богатства наций и индивидов, сам является единственной причиной бедности. Если на то пошло, то обратимся к опыту, который нам показывает, что в области разрушения второй принцип, т.-е. согласование и объединение, достигает результатов, в тысячу раз превышающих необъединенные усилия толпы, где каждый действует по своему усмотрению; почему же посредством того же принципа нельзя достичь таких же результатов в области созидания и сохранения. Да, всем хорошо известно, что посредством объединения людей и интересов можно достичь того, к чему мы бесплодно будем стремиться и чего невозможно выполнить посредством индивидуальных усилий и при разделении интересов...

„Принцип единения людей до сих пор применялся только в одном случае — при защите себя от нападения или при нападении на других. Только война для самосохранения и истребления объединяла до сих пор людей. В настоящее время необходимость, столь же могущественная, заставляет людей объединяться для производства и сохранения. К счастью для человечества, система индивидуальной противоположности интересов в своих заблуждениях и непоследовательности достигла крайних пределов: окруженные самыми многочисленными средствами создания богатств, люди пребывают в нищете, охватившей большую часть населения, и среди опасностей, угрожающих всем прочим от последствий этой нищеты“ (курсив мой *А. А.*)[1].

В своих ранних сочинениях (1813—1820 г.г.) Оуэн не выступает против отдельных экономистов, за исключением Мальтуса. Это вполне понятно, если принять в соображение то обстоятельство, что, наподобие Фурье, Оуэн экономистов считает чуть ли не шарлатанами и полагает, что достаточно их опроверг, доказав, с одной стороны, отрицательные последствия индивидуального принципа в экономической действительности и экономической теории, а с другой — все неисчислимые выгоды принципа единения и кооперации. Но теория Мальтуса имела видимость правдоподобия, и на нее в первую очередь опирались все враги рабочего класса, все, которые считали вредными и, в лучшем случае, безнадежными всякие мероприятия в пользу улучшения положения тех, которых безжалостное развитие капиталистического строя выбрасывало за борт жизни.

В четвертом „Опыте об образовании характера“ Оуэн говорит:

„Мальтус вполне прав, говоря, что население мира всегда приспособляется к количеству пищи, производимой для его существования. Но он не сказал, насколько больше пищевых средств разумный и трудолюбивый народ добудет с данного участка сравнительно с невежественным и плохо управляемым народом...

„Дело в том, что человек не знает границ своей способности к добыванию пищи. Как увеличилась она за последнее время в нашей стране! А между тем даже и у нас сознание этой истины пребывает еще в младенчестве. Но если сравнить эту способность к добыванию средств с усилиями бушменов и других дикарей, то получится отношение единицы к тысяче“. [2])

В статье „Новый взгляд на общество“, напечатанной накануне августовских митингов 1817 года в лондонских газетах и имеющей форму вопросов и ответов, Оуэн ставит вопрос, касающийся теории Мальтуса.

„Вопрос. Не будут ли эти учреждения (т.-е. села единения и кооперации) содействовать размножению населения несоразмерно с средствами существования в прогрессии, слишком угрожающей благосостоянию общества?

„Ответ. У меня нет никаких опасений в этом отношении. Всякий сельский хозяин знает, что каждый работник, ныне занятый в земледелии, может произвести в пять или шесть раз больше пищевых продуктов, чем он в состоянии употребить; и потому, если он даже останется при тех средствах производства, какими он располагает в настоящее время, то из естественных условий не вытекает, чтобы „население давило на средства существования“ до тех пор, пока вся земля не будет полностью использована.

[1]) Report to the County'Life of R. Owen, т. I A, стр. 285—286.
[2]) Life, т. I Essays, стр. 327—328.

„Невозможно сомневаться в том, что только искусственный закон спроса и предложения, основанный на принципе личной выгоды и враждебный общему благосостоянию, вызвал такое положение, что население „давит" на средства к существованию. Неизбежным следствием принципа личной выгоды является то, что производство пищевых продуктов в нормальный год ограничивается количеством, необходимым для населения данного участка, соразмерно с его привычным потреблением. Следовательно, в хороший год, т.-е. благодаря хорошему урожаю, получится изобилие пищи,—и она будет дешева; а в плохой год, смотря по степени недорода, пищи будет мало, — она вздорожает, и настанет голод. А между тем ни один человек, практически знакомый с делом, ни на минуту не усомнится, что в годы, непосредственно предшествующие самому ужасному голоду, имеются все средства для того, чтобы дать возможность населению, при надлежащем устройстве,— если б оно знало, как его достичь,— сделать запасы пищевых продуктов, далеко превышающие даже всякую надобность. Что бы ни казалось ученым, писавшим и размышлявшим об этом предмете, годичный прирост населения совершается в арифметической прогрессии и иным быть не может; между тем каждый человек приносит с собой в свет средства, которые даже при современном состоянии научных знаний и при надлежащем руководстве дают ему полную возможность производить в десять раз больше пищи, чем он сам потребляет. Таким образом опасения за бедствия, какие могут быть вызваны избыточностью населения, до тех пор пока вся земля не превратится в сплошной в совершенстве возделанный огород, оказываются, по внимательном рассмотрении, чистым обманом воображения, рассчитанным единственно на то, чтобы держать людей без нужды в невежестве, пороке и преступлениях и воспрепятствовать людям стать такими, какими они должны быть — хорошо воспитанными и хорошо обученными, деятельными, честными и счастливыми при разумной системе взаимной доброжелательности и помощи,— системе, которая легко может быть осуществлена и может охватить все общество и проникнуть во все его разветвления" [1].

В цитированных отрывках Оуэн, как мы видим, критикует современный способ производства, выдвигая против индивидуализма и конкуренции принцип единения и кооперации. Здесь нет ни слова об образовании характера и перевоспитании, хотя Оуэн, конечно, придает громадное значение этому,—впрочем, вполне реальному,— фактору производства. Оуэн глубоко убежден, и он вполне прав, что случай, основанный на индивидуализме и конкуренции, ведет к малопроизводительности труда и к нецелесообразной растрате его в целом ряде производств и занятий, имеющих целью удовлетворение мнимых потребностей, а подчас только организацию насилия и разрушения.

[1]) Life, т. 1 A, стр. 74—75.

Между тем производство, основанное на единении и кооперации и опирающееся на „научные силы", т.-е. развитую технику, должно повести не только к необыкновенному повышению производительности труда, но и к значительному его сбережению, вследствие уничтожения ненужных профессий и исчезновения мнимых потребностей.

К числу отрицательных последствий индивидуального принципа в экономической жизни Оуэн относит разделение труда. Оуэн решительно несогласен с экономистами, единогласно считающими разделение труда основой его производительности. По его мнению, наоборот, разделение труда ведет к уменьшению количества и ухудшению качества полезных и нужных продуктов труда, создавая множество ненужных профессий и ненужных предметов, притупляя умственные и нравственные качества работника, вызывая в нем тоску и отвращение, вследствие одуряющего однообразия труда.

Оуэн подходит к вопросу, прежде всего, с точки зрения конечной цели человеческого общежития, именно создания условий наибольшего счастья человечества, но он в то же время не игнорирует чисто экономической стороны вопроса.

Рассматривая вопрос о человеческом счастье, Оуэн устанавливает, что одним из таких условий является „здоровое чередование физических и умственных занятий соразмерно с силами и способностями индивида"... „Человек очень сложная живая машина, объединение механических и химических элементов. При мудром строе машина эта может функционировать в высшей степени гармонично и производительно, создавая, как результат своей деятельности, счастье для себя и для других. Но, когда некоторые части этой машины непрерывно находятся в действии, а другие остаются без движения и не функционируют, тогда индивидуальная человеческая машина не обладает достаточной законченностью и не может работать надлежащим образом; ее силы и способности портятся, и человек остается несовершенным иррациональным существом" [1]).

В „Докладе Совету Лэнаркского графства" Оуэн, излагая принципы переходного периода от старой к новой системе общества, замечает: „При нынешней системе существует самое детальное разделение умственных занятий и ручного труда среди лиц, принадлежащих к трудовым классам; частные интересы находятся в постоянном противоречии с общественным благом; в населении всех стран с детства воспитывается мнение, что благосостояние их наций несовместимо с прогрессом и счастьем других наций. Таковы средства, при помощи которых старое общество стремится достичь желанных целей жизни. Предлагаемые здесь подробности плана основаны на принципах, ведущих к противоположной практике; эти принципы суть: широкое сочетание умственных и физических сил работников, полное совпадение частного и общественного интереса, воспитание в нациях

[1]) The Book of the New Moral World, ч. III, стр. 30.

идеи, что их силы и счастье могут достичь естественного и полного развития только при одновременном развитии сил и счастья других наций. Вот действительное различие между тем, что есть, и тем, что должно быть" [1]).

Разбирая в том же докладе вопрос о количестве земли, необходимой для общины рекомендуемого им размера, Оуэн пишет:

„Современное общество, сбиваемое с пути истины односторонними теориями, совершило много практических ошибок; но самая большая из этих ошибок быть может та, которая заключается в отделении работника от его пищи, благодаря чему его существование ставится в зависимость от неопределенных доставок, делаемых ему другими членами общества, как мы это видим при нынешней фабричной системе. Грубая ошибка предполагать, что при таком разделении может быть произведено больше хотя бы для содержания одного индивида. Между тем, если б население какого-нибудь округа занялось земледелием в сочетании с фабричным производством, как подсобным промыслом, то продуктами своего производства оно могло бы содержать гораздо больше людей с большим комфортом, чем такое же население того же округа при отделении труда земледельческого от фабричного. В хорошо устроенных поселениях для рабочих пища рабочего всегда будет производиться им самим, что чрезвычайно выгодно как в производственном, так и в потребительном отношении" [2]).

При новой системе,—говорит далее Оуэн,—„земледелие вместо того, чтобы быть; как до сих пор, только занятием крестьян или фермеров с умами, столь же мало культивированными, как и возделываемая ими почва, станет приятнейшим занятием людей, воспитанных в лучших привычках и наклонностях, вполне освоившихся с полезными практическими искусствами и науками, и с умами, полными ценных сведений и всевозможных знаний, способных к организации и ведению учреждений, где будут скомбинированы земледелие, ремесло и промыслы, при чем все эти объединенные отрасли будут стоять на гораздо более высокой ступени совершенства, чем в современном строе, где они отделены и изолированы друг от друга" [3]).

„Общепринятое мнение,—говорит в том же докладе Оуэн,—рекомендует детальное разделение труда и противоположение интересов. Но нетрудно убедиться, что это детальное разделение труда и противоположение интересов суть не более как синонимы бедности, невежества и всякого рода разрушений, всякого рода распрей в обществе, преступлений, несчастий и умственного вырождения.

„Чтобы избежать этих бедствий, которые держат человеческий род в самом деградированном состоянии, каждый ребенок в рекомендуемых общинах, по мере его естественного развития, будет посвящен в практику всех главных операций своей общины, благодаря чему его работа во все времена и при всех обстоятельствах даст обществу большой излишек над издержками его содержания.

„Богатства, которые индивид, при сравнительно легкой и всегда здоровой работе сумеет создавать в проектируемых общинах, поистине неисчислимы. Они дадут ему силы гиганта сравнительно с теми силами, которыми обладает нынешний рабочий. Таким образом раз на всегда будет положен конец существованию живых машин, которые в состоянии только итти за плугом, переворачивать глыбы земли или делать одну какую-нибудь незначительную операцию в ограниченной области промышленного труда или вырабатывать какой-либо пустой ничтожный продукт, без которого общество легко может обойтись. Вместо нездорового точильщика булавок, выделывателя гвоздяных головок, связывателя обрывающихся при прядении ниток или грубого земледельца, бесчувственно глазеющего на окружающую его почву без понимания того, что вокруг него делается, и без разумных мыслей в голове, возникнет рабочий класс, полный активности и вооруженный полезными знаниями, с привычками, развитием, манерами и наклонностями такого рода, что самые низшие из его среды будут стоять на много ступеней выше самых лучших членов трудовых классов минувшего и настоящего времени" [1]).

Подводя итог изложенному в настоящем параграфе, мы видим, что хотя Оуэн и далек в своей критике индивидуального принципа и разделения труда от того объективного метода, который он применяет при исследовании роли машины в экономическом процессе, но все же он стремится решить выдвинутый вопрос исходя из принципа наилучшей организации производства и максимальной производительности труда. Нельзя не признать, что он прав, когда утверждает, что принцип индивидуализма и конкуренции в экономике является причиной недостаточной производительности и нецелесообразной растраты труда; что этот принцип ведет к классовой, партийной и национальной розни; что против теории Мальтуса можно выдвинуть принцип высокой производительности труда, организованного при посредстве усовершенствованной техники и на основах единения и кооперации.

Наконец, нельзя не признать, что Оуэн правильно подметил характерный факт превращения современного ему рабочего в придаток машины со всеми вытекающими отсюда последствиями для его физического и духовного развития. Нужно, впрочем, заметить, что Оуэн, как видно из предыдущего, высказывался не против разделения труда вообще, а, главным образом, против отделения физического труда от умственного и земледельческого от промышленного, надеясь в своих коммунистических общинах объединить эти виды труда для производства максимального количества полезных продуктов и для создания идеальной личности рабочего.

[1]) Цит. Report, Life, стр. 289—290.
[2]) Цит. Report, там же, стр. 282.
[3]) Цит. Report, там же, стр. 273—274.

[1]) Цит. Report, там же, стр. 297—298.

3. Внутренний рынок, как средство избавления от перепроизводства и кризисов.—Трудовое мерило ценности.

Если мы захотим отметить главный недостаток современного строя, который заставил Оуэна выступить со своей антикапиталистической пропагандой, то должны будем указать на кризис и безработицу. Это было первое противоречие капиталистического строя, которое глубоко поразило его сердце филантропа. С одной стороны, он видел обилие товаров—предметов питания, одежды, утвари и пр.,—не находивших сбыта, а с другой—массу тружеников, голодающих, одетых в рубища, лишенных приюта или теплого угла, несмотря на наличность этого изобилия продуктов. С одной стороны, небольшая кучка лиц, владеющая этой массой товаров, лежащих в безопасности на их складах, жалуется на разорение, потерю состояния, а с другой—люди, производящие эти предметы и в них нуждающиеся, не могут их получить, чтобы удовлетворить свои потребности. Какая нелепость! Изобилие, как причина голода; груды продуктов, как препятствие к удовлетворению элементарных потребностей! Ясно, что строй, порождающий подобные нелепости, нелеп в своей основе. И Оуэн особенно резко подчеркивает эту бессмыслицу, когда, обращаясь к капиталистам, сидящим над грудами своих богатств и плачущим о своем разорении, иронически восклицает: „Сожгите свои запасы—и вы избавитесь от угрожающих вам опасностей, уничтожьте излишки—и производство вновь войдет в свою колею!“.

Ясно видя несостоятельность капиталистического строя в его основе, Оуэн все же стремится открыть непосредственные причины кризисов и безработицы, ввиду тех практических задач, которые связаны с вопросом об их устранении или, по крайней мере, смягчении. Он с разных сторон подходит к этому роковому дефекту капиталистического строя. Сначала, т.-е. в 1816 г., он видит причины этих явлений, во-первых, в окончании войны, вследствие чего промышленность внезапно лишилась колоссального потребителя, и во-вторых, в вытеснении живого человеческого труда мертвым механизмом. Из этих двух причин первая—временная, преходящая; зато вторая не только носит постоянный характер, но имеет тенденцию все более усиливаться, ибо, по мере развития техники, вытеснение машиной человеческого труда должно увеличиваться. Нужно, следовательно, создать для труженика такие социальные условия, чтобы машина, являющаяся сама по себе благодетельной силой, была не врагом его, а другом и помощником.

Вскоре Оуэн подходит к вопросу с другой стороны. Он видит, что число фабрик и заводов растет и поглощает все новые кадры рабочих, между тем заминки в производстве приобретают чуть ли не хронический характер, и бедствия рабочих все усиливаются; теперь он с большей ясностью видит то несоответствие, которое в капиталистическом строе существует между производством и потреблением, и, ища непосредственную причину этого явления, он приходит к выводу, что она кроется в отсутствии у рабочего покупательной способности; последнее в свою очередь является результатом крайне недостаточного вознаграждения рабочих за их труд. Оуэну кажется, что такое обворовывание рабочих есть следствие употребления неправильного мерила ценности. Достаточно заменить искусственное (денежное) мерило ценности естественным (трудовым) и равновесие восстановится. Оуэн, однако, не уясняет ни себе, ни своим слушателям, возможно ли водворить в капиталистическом обществе проектируемые им отношения между капиталом и трудом и не привело ли бы это,—если допустить такую возможность,—к крушению капиталистического строя. Важно, однако, то, что Оуэн правильно намечает проблему: необходимо установить равновесие между производством и распределением. Он считает достаточным для этого создание обширного внутреннего рынка. Эти идеи он развивает в „Докладе Совету Ланаркского графства“.

Во вступительной части доклада Оуэн среди прочих тезисов выдвигает следующие два: 1) что непосредственной причиной безработицы является избыток продуктов всякого рода, вследствие чего при современном характере торговли все рынки мира ими переполнены; 2) что если б можно было найти нужные рынки, то существующие богатства могли бы быть еще более увеличены в чрезвычайном размере, вследствие привлечения к работе всех безработных, лучшего применения сил тех рабочих, которые уже заняты работой, и в особенности вследствие безграничного увеличения „научных“, т.-е. механических, производительных сил.

Но где найти рынки для вновь производимых продуктов, для продуктов, которые будут производить привлеченные к работе безработные, раз все рынки мира, как только что указано, уже переполнены продуктами фабричного производства всех передовых стран?

„Эти рынки,—отвечает Оуэн,—не нужно искать далеко за морями, они находятся под самым носом у капиталистов, экономистов и государственных деятелей, которые их ищут; это—сам рабочий класс. Чтобы превратить его в искомый рынок, необходимо, чтобы рабочий получал действительное, а не мнимое вознаграждение; чтобы он получал вознаграждение, соответствующее труду, который он вкладывает в производимые им продукты.

„Рынки мира,—подчеркивает Оуэн,—создаются только вознаграждением, получаемым рабочими за их промышленный труд; и эти рынки будут более или менее обширны, более или менее прибыльны в зависимости от того, будут ли рабочие лучше или хуже вознаграждаемы за свой труд. Но существующий строй не вознаграждает надлежащим образом рабочего, а это ведет к отсутствию рынков сбыта.

„Чтобы воссоздать и расширить спрос в соответствии с предло-

жением, которое все более и более увеличивается, благодаря последним научным и иным со дня на день прогрессирующим улучшениям и усовершенствованиям, необходимо ввести естественное мерило ценности. Это сразу удалит задержку, парализующую промышленность страны; а опыт покажет, что этот результат не может быть достигнут никакими иными средствами" [1]).

Каково же должно быть это правильное „естественное" мерило ценности? Поставив себе этот вопрос, Оуэн прежде всего отвечает на него критикой существующих средств обмена.

Вопрос о неудовлетворительности денежной системы, как известно, был одним из жгучих вопросов британской экономики и финансов как во время войны с Наполеоном, так и после нее. Некоторые буржуазные экономисты видели в несовершенстве монетной системы причину кризисов со всеми их последствиями. Банкир Аттвуд, один из лидеров первого периода чартизма, стал в оппозицию к правительству за то, что оно ограничило обращение бумажных денег; „с ограничением орудий обмена,—как он уверял,—начался упадок в делах, ибо стеснение в обмене капитала на труд мешало обращению хозяйственных благ". Аттвуд, как мы видим, подходил к вопросу с точки зрения интересов капиталистов. Оуэн тоже был затронут вопросом о „наилучшем мериле ценности и орудии обмена", но подошел к вопросу с другой совершенно стороны—с точки зрения интересов рабочих. И он, подобно другим экономистам, критикуя монетную систему, высказывал мнение, что орудие обмена должно обладать эластичностью, т.-е. легкой растяжимостью и сжимаемостью, должно существовать в необходимом количестве и быть неизменным в своей ценности. Но он шел дальше этой критики, требуя замены существующего мерила ценности таким, которое превращала бы внешнюю ценность продуктов во внутреннюю.

„Одним из ухищрений (современного строя) для достижения максимума зла и минимума добра,—уверяет Оуэн,—является выдумка распределять богатства посредством орудия, создающего вечную жажду купить дешево и продать дорого, посредством искусственного представителя богатства, который неспособен сжиматься и расширяться подобно реальному богатству, но который в действительности является непрерывной причиной нарушения всех здоровых принципов производства и распределения богатства, причиной неисчислимых бедствий для человеческого рода.. В правильно или рационально устроенном обществе золото, серебро или кредитные бумаги никогда не будут употребляться, как средства обмена" [2]).

„Средство для легкого удобного и справедливого обмена, поскольку такое средство будет требоватися, должно обладать способностью растяжения до нужных пределов и сжимания до самых мел-

[1]) Цит. Report, там же, стр. 278.

[2]) The Book of the New Moral World, ч. II, стр. 26.

ких величин сообразно расширению и сжиманию самого богатства, подлежащего обмену. Оно должно также, поскольку оно является представителем богатства, быть неизменным в своей ценности. В настоящее время подобное средство легко может быть реализовано. Это средство во всякое время будет соответствовать потребностям общества, даст немедленно свободу и плодотворный стимул промышленности и таким образом навсегда положит конец жалобам отдельных индивидов на отсутствие выгодных занятий и, следовательно, конец нищете или страху нищеты" [1]).

Против денежного мерила ценности Оуэн выдвигает трудовое мерило, довольно подробно разъясняя его сущность и все выгоды, которые общество получит в результате его применения. Если мы внимательно присмотримся к рассуждениям Оуэна в этой области, то увидим, что он близко подходит к вопросу о прибавочной ценности и о среднем общественно-необходимом рабочем времени, как основе для измерения количества труда, вложенного в тот или иной продукт. Но в то же время Оуэн не обнаруживает склонности делать из выдвигаемых им положений тех радикальных выводов, которые напрашиваются сами собой. Так, признавая труд единственным источником ценности [2]), он должен был бы признать за рабочим право на весь продукт его труда, а между тем он требует для рабочего только „справедливую и твердо установленную долю" (a fair and fixed proportion) создаваемого им богатства. Нетрудно, однако, догадаться, что подобное противоречие не есть результат недостаточной продуманности [3]); причина в том, что Оуэн не хочет сразу разорвать с господствующими классами и лишить кого бы то ни было „хотя бы атома его привилегий". И это стремление примирить непримиримое заставляет его поступаться логикой и справедливостью.

Обратимся, однако, к изложению самого Оуэна.

В своем, цитированном уже нами, „Докладе Совету", имевшем целью разъяснить причины кризиса 1819—1820 г.г. и указать средства избавления от безработицы, Оуэн говорит: „Одно из мероприятий, которое он (докладчик) намерен предложить с целью распространить благосостояние по всей стране, является перемена в мериле ценности"... „Ваш докладчик,—продолжает далее Оуэн,—после глубокого изучения этих (экономических) вопросов практически и теоретически в продолжение периода свыше 30 лет... теперь осмеливается выдвинуть, как один из результатов этого изучения и опыта, положение, что естественным мерилом ценности в принципе является человеческий труд или комбинированные физические (дословно „ручные") и умственные силы человека, приведенные в действие; и что было

[1]) Там же, стр. 27.

[2]) „Ручной труд, надлежащим образом направленный, есть единственный источник всякого богатства и национального благоденствия" (Report, стр. 264).

[3]) Хотя и во многих других пунктах оуэновское понимание трудовой теории ценности сильно хромает.

бы чрезвычайно благодетельно и даже абсолютно необходимо ввести этот принцип немедленно в практику...

„Те, которые имеют поверхностный или пристрастный взгляд на этот вопрос, могут сказать, что человеческий труд или сила настолько неодинаковы в различных индивидах, что их средняя величина не может быть установлена. Однако средние физические силы людей, как и лошадей (различные в различных индивидах), вычислены для научных целей, при чем обе эти средние служат для измерения неодушевленных сил. По тому же принципу может быть вычислена средняя величина человеческого труда. И так как труд составляет сущность всякого богатства, то его ценность в каждом произведенном продукте может быть вычислена, и соответствующим образом установлена его меновая ценность по отношению к другим продуктам труда, при чем все данные, сюда относящиеся, остаются неизменными для определенного периода. Человеческий труд таким образом приобрел бы свою естественную или внутреннюю ценность, которая возрастала бы по мере прогресса науки, а к этому, заметим кстати, наука должна стремиться, как к одной из самых полезных своих целей“ [1]).

„Спрос на человеческий труд не будет более подвержен капризу случайности; поддержание человеческой жизни перестанет быть вечно меняющимся в своих размерах предметом коммерции, как мы это наблюдаем в настоящий момент, и рабочий класс не будет уже более рабом искусственной системы заработной платы, более жестокой по своим последствиям, чем системы рабства, которые человечество когда-либо практиковало в варварский или цивилизованный период своего существования“ [2]).

Оуэн делает экскурсию в область истории обмена, чтобы прочнее обосновать пользу и необходимость перехода к естественному мерилу ценности.

„Основным принципом мены,—пишет Оуэн в том же докладе,—было получить в обмен на предполагаемую себестоимость продукт или на труд, заключающийся в нем (равною?), себестоимость или (равное?) количество труда, заключающегося в другом продукте. Это был единственно справедливый принцип обмена. Но по мере возрастания изобретений и открытий, а также чрезвычайного расширения человеческих потребностей этот способ обмена был найден непрактичным. Мена была вытеснена торговлей, принцип которой заключается в том, чтобы произвести или приобресть каждый продукт за самое низшее количество труда и получить в обмен за него самое высшее количество труда. Для достижения этого необходимо было искусственное мерило ценности, и металлы, по общему согласию всех наций, стали применяться для этой цели.

[1]) Цит. Report, Life, т. I A, стр. 268.

[2]) Цит. Report, там же, стр. 268.

„Этот принцип, по мере развития его применения, принес много крупных выгод, хотя одновременно причинил немало крупных бедствий. Но, подобно мене, он соответствовал определенной ступени общественного развития.

„Он поощрял изобретения, развивал промышленность и талант и содействовал проявлению таких видов энергии, которые при других условиях остались бы непробужденными и неизвестными человечеству. Но в то же время он сделал человека невежественным и индивидуалистически эгоистичным, ввергнул его в борьбу с братьями-людьми, породил обман и мошенничество, слепо толкал человека вперед на создание богатств, но лишил его умения наслаждаться ими. Гоняясь изо всех сил за тем, чтобы превзойти других, он загонял самого себя. Но непреоборимая сила обстоятельств толкает его теперь на тот путь, который приведет его к мудрости, которой он так долго был лишен. Он откроет все выгоды, могущие произойти от соединения на практике лучших сторон принципов мены и торговли и уничтожения тех их отрицательных сторон, неудобство и вред которых доказаны на опыте [1]).

„Это существенное улучшение в общественном прогрессе может быть легко достигнуто, если продукты будут обмениваться... сообразно количеству труда, в них вложенному, что может быть с точностью установлено“ [2]).

Став на этот правильный путь в вопросе о мериле ценности, Оуэн спешит с него сойти, чтобы заменить количество вложенного в продукт труда „себестоимостью“. „Фактически,—говорит он,—дело так происходит и отмечается на практике тем, что на коммерческом языке технически называется „своей ценой“, себестоимостью (prime cost) или чистой стоимостью всего труда, содержащегося в продукте, считая, что материал, вошедший в этот продукт или употребляемый при его изготовлении, образует часть всего труда“. Ища далее более прочную единицу измерения трудового дохода рабочего, он приходит к выводу, что точный размер этого дохода будет зависеть от того, что при надлежащем рассмотрении будет представлять собой действительная стоимость дневного труда, исчисленная в предметах необходимости и комфорта, которые средний работник при умеренном напряжении своих сил и способностей в состоянии ныне произвести“ (курсив мой. *А. А.*) [3]).

При такой „справедливой и твердо установленной“ оплате труда рабочих Оуэн надеется создать внутренний рынок и установить

[1]) Не касаясь вопроса о том, насколько здесь верно изображены исторические и экономические причины эволюции обмена, приходится отметить, что Оуэн, которому вообще чужда историческая точка зрения, в данном вопросе с пользой для защищаемого им взгляда прибегает к диалектическому методу, рассматривая развитие обмена и торговли по трехчленной формуле тезиса, антитезиса и синтеза.

[2]) Цит. Report, там же, стр. 278—279.

[3]) Цит. Report, там же, стр. 278—279.

равновесие между производством и распределением. Это второе решение той же задачи об устранении кризисов и безработицы, которую он в то же время предлагал разрешить посредством устройства поселков единения и кооперации.

4. Не назад, а вперед!—Грядущая социальная революция и ее неизбежность.

Уже из вышеизложенного [1]) видно, как глубоко проник Оуэн в сущность капиталистического строя. Он открыл пружины, толкающие этот строй к гибели, т.-е. противоречия, лежащие в его основе,—противоречия, из коих одни способны вызвать печаль и гнев в мыслителе, их изучающем, другие—невольную улыбку, несмотря на то, что последние, как и первые, в конкретной действительности означали бедствия и страдания тысяч и сотен тысяч людей. Оуэн ясно видел все главные вопиющие дефекты существующего строя: бедствие и вырождение рабочего класса взамен отдаваемого им обществу тяжелого сверхчеловеческого труда; голодовки тружеников при наличии избытка продуктов, произведенных их руками и гниющих на складах их собственников; изнурение и истребление детей непосильным трудом на фабриках и в мануфактурах рядом с безработицей взрослых рабочих, обрекаемых вследствие этого на гибель вместе с их семьями; экономическое порабощение („хуже рабства в Индии и Америке") рядом с громкими словами о прелестях „самой лучшей в мире" конституции; расцвет политического могущества государства рядом с обнищанием и моральным упадком народных масс; груды богатства в руках немногих, и груды страданий на долю подавляющего большинства.

И все же Оуэн зовет своих сограждан и все человечество не назад, а вперед! Чтобы понять, насколько Оуэн в этом отношении стоял выше современных ему критиков капиталистического строя, вспомним, что многие из них как в Англии, так и во Франции (напр., Сисмонди и писатели сходного с ним направления), сравнивая современное положение фабричных рабочих с относительным благополучием и даже „счастливым" существованием их отцов и дедов—земледельцев и кустарей, выдвинули лозунг: назад, к земле! [2]). Вспомним далее, как сильно было движение назад среди самих рабочих, поджигавших фабрики, разбивавших машины, ходатайствовавших перед парламентом о восстановлении силы старых законов, являвшихся оплотом цеховых пережитков в промышленности.

[1]) А также из данных, приведенных нами в предыдущей статье об Оуэне (см. „Страница из пропаганды и деятельности Р. Оуэна",—„Под знаменем марксизма" № 8—9).

[2]) Вспомним, что в социальной программе чартизма было сильное направление, выдвигавшее на первый план проект возвращения от фабричной системы к земледелию, и именно к строю мелкого землевладения зажиточного крестьянства („свой участок, свой дом, свой огород, свое гумно, своя кладовая").

Оуэн первый из социальных мыслителей понял, что средства избавления от бед капитализма нужно искать в самом капитализме, „ибо существующий строй вырабатывает свое собственное исцеление при помощи той практики бедствий, которую он рождает". Правда, он не хотел итти до конца тем путем, на который толкала эта „практика бедствий"; он предлагал собственные средства исцеления безболезненные и безопасные, но и в этом он шел не назад, а стремился соединить положительные элементы минувшей эпохи с благодеяниями промышленного и общесоциального прогресса. Но что замечательнее всего, точка зрения Оуэна (на движение вперед, а не назад) основывалась не на субъективно-утопических мечтах, а на ясно-сознанной необходимости и неизбежности этого движения вперед.

Точка зрения Оуэна на рассматриваемый вопрос прекрасно иллюстрируется некоторыми местами из его „Речи к глазговским фабрикантам" (1815). Вспомним, например, следующее место. Указав, что даже среди представителей правительства есть немало держащихся того мнения, что фабричная промышленность приняла слишком широкие размеры и что ее следовало бы поэтому ограничить, он дает лицам указанной категории следующий ответ. Развитие фабричной промышленности есть, во-первых, явление, независящее от желания или нежелания отдельных лиц; во-вторых, это развитие, сейчас приносящее столько бедствий, в конце концов, будет иметь благодетельные последствия; наконец, хотя до распространения фабричной промышленности трудовые классы жили гораздо лучше, чем ныне, но мы не могли бы теперь вернуться в наше прежнее положение, если б даже пожелали, „ибо без хлопчатобумажной промышленности наше увеличивающееся население не имело бы средств к жизни, государство не имело бы чем уплачивать процентов по национальному долгу и у него не было бы должных средств на содержание флота и армии. Наше существование, как независимой державы, ныне—увы!—зависит от расширения этой отрасли промышленности, которая не может быть заменена никакой другой. Приходится поэтому констатировать, что главная опора политического величия и процветания нашей страны есть промышленность" [1])...

В своем „Докладе Комитету" (1817 г.) Оуэн, отвечая на выдвинутый им вопрос о том, как поступить: сократить ли до минимума пользование механизмами или обречь на голодную смерть миллионы людей или же найти полезное применение для их сил, находит, что отказ от пользования машинами не только невозможен в экономическом отношении, но был бы неслыханным варварством.

„...При существующей коммерческой системе,—говорит он,—механическая сила не может быть выведена из употребления в одной стране, когда в других она продолжает применяться, ибо это разорит ту страну, в которой ею перестанут пользоваться. Поэтому ни один

[1]) См. Life of R. Owen, т. I A, стр. 16—17.

народ не откажется от машины, и, если б такой акт был возможен, то он явился бы несомненным признаком варварства тех, кто сделал бы подобную попытку" [1]).

Оуэн таким образом понимал прогрессивную роль капитализма и его объективную необходимость, но он также глубоко проник в его отрицательные стороны и с изумительной глубиной понял, что в недрах капитализма вырабатывается его противоядие.

Оуэн ясно видел происходившую на его глазах классовую борьбу. Правда, он не представлял себе достаточно ясно классовой структуры общества, смешивая с классами секты, партии и отдельные общественные группы, не видя, что эти последние суть формы и проявления классовой борьбы, но он ясно видел, что эта борьба должна привести к социальной революции и видел „признаки времени", указывающие на ее неизбежность. Конечно, Оуэн не был бы самим собой, то-есть утопистом, если б он стремился использовать классовую борьбу для осуществления своих социальных идеалов; подобно всем утопистам он боялся классовой борьбы, уверенный, что гражданская война должна привести к гибели культуры [2]). Вот почему он считает необходимым предупредить общество и правительство о грядущей катастрофе, заклиная их спешить с принятием мер для ее предупреждения. Но в его пропаганде мы видим моменты, когда, отчаявшись в благоразумии и способности правительств положить конец существующим бедствиям, он готов был опереться на пролетариат и желал, чтобы разразилась революционная буря.

О назревающей радикальной перемене в социальном строе он вскользь говорит в самых ранних своих произведениях. Но вполне определенно и резко высказывается об этом в первый раз в „Докладных Записках" правительствам Европы и Америки (1818 г.).

Содержание первой записки очень кратко. Заверив правительства Европы и Америки, что он при подаче настоящей докладной записки не руководился ни классовыми, ни партийными, ни сектантскими, ни национальными целями, и тем менее стремлением к богатству, почету или славе, так как все это в его глазах имеет значение не больше детской погремушки, он самым серьезным образом обращает внимание правительств на то, что „наступил момент, когда очень большая перемена в человеческих делах будет насильно (курсив мой. *А. А.*) произведена в мире, перемена, подобной коей мир еще не был свидетелем. Наступил момент, когда человеческий род будет освобожден от заблуждений, которые до сих пор его опутывали, в результате чего препятствия, стоящие по пути к усовершенствованию человечества и доставлению ему счастья, будут удалены"... „Непосредственными причинами, делающими эту перемену верной и необходимой, являются тягостные последствия новой научной силы (т.-е. механических изобретений. *А. А.*) и быстрое возрастание знаний среди всех классов людей (курсив мой. *А. А.*). Первое скоро сделает человеческий труд крайне малоценным при создании богатств, а второе сделает очевидным для народа возникающую для него вследствие этого крайнюю необходимость дать другое направление своим силам и научит его также, как может быть достигнута эта перемена".

[1]) Report to the Committee, Life, т. I A, стр. 55.

[2]) В этой боязни в сильной степени сказалось влияние недавно пережитой французской революции.

Указав на борьбу, существующую между „научной силой", т.-е. машинами, и ручным трудом, между знанием и невежеством, на борьбу, исход которой ни в ком не может возбуждать сомнений,— Оуэн выражает уверенность, что правительства не могут желать возрастания бедствий своих народов, ибо в результате этих бедствий должны возникнуть опасности для всех классов общества без исключения. Он, поэтому, предлагает к услугам правительств свои знания и опыт для „принятия мер, необходимых, чтобы приостановить развитие бедствий, существующих среди рабочих классов... Раньше, чем наступит момент, когда крайние страдания и умственная зрелость народа не оставят более времени, требуемого для спокойного размышления".

Итак, что говорит Оуэн правительствам Европы и Америки в изложенной докладной записке? Во-первых, что насильственный социальный переворот, какого мир до сих пор еще не видел, вот-вот разразится; что непосредственными причинами, делающими этот переворот верным и необходимым, являются машинное производство и развитие знаний среди народа, т.-е. экономический прогресс и развитие самосознания трудовых масс; в-третьих, что сами указанные обстоятельства научат рабочих, как произвести этот переворот. Приходится признать, что в рассматриваемом вопросе Оуэн чрезвычайно близок к воззрениям научного социализма.

Еще больше красноречивых страниц, изображающих близость и неминуемость социального переворота, мы находим в „Книге нового нравственного мира", где этому вопросу посвящена вся ее 7-ая часть, которая, согласно ее заглавию, является заключением, выведенным из всего, что изложено во всех предыдущих частях.

— Каковы признаки времени, указывающие на скорое наступление момента водворения на земле рациональной системы?—спрашивает Оуэн.

— Таких признаков,—отвечает он,—много [1]). Самый выдающийся и важный, делающий эту перемену настоятельно необходимой—есть теперешнее состояние Британской империи,—самой сильной и самой передовой в научном и экономическом отношении из всех существующих и когда-либо существовавших империй... Несмотря на обладание ею в изобилии всякого рода богатством и средствами, необходимыми

[1]) Все нижеследующее о признаках надвигающейся революции цитировано из The Book of the New Moral World, изд. 1844 г., ч. VII, стр. 1—27.

для бесконечного его развития, миллионы ее наиболее промышленного населения в мире страдают более от бедности и страха ее, чем какой-либо другой народ или нация.

„Резкое противоречие, являемое крайностями научных знаний и невежества, богатства и бедности, экстравагантной роскоши и самой низкой ступени нищеты и падения, в то время как падение, испорченность, нищета, невежество могли бы с величайшей пользой для всех быть уничтоженными навеки,—все это является самым верным признаком, что такое крайне низкое состояние общества не может быть более терпимо".

„Механические изобретения, химические открытия с бесчисленными улучшениями в других искусствах и науках, имеющих целью облегчить человеку труд производства богатств и удешевить продукты этого производства и рядом с этим падение рыночной цены труда и невозможность дать средства к жизни приросту населения—это другой признак времени, что великая органическая реформа не может быть долее откладываема... Агитация, вызванная этими все возрастающими бедствиями и развиваемая в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе есть следующий признак времени, свидетельствующий, что великая перемена в человеческом существовании близка и надвигается"...

Указав, что количество работы, которое теперь можно получить от технических усовершенствований, равно четырехкратной сумме ручного труда, который может дать население всего земного шара, Оуэн восклицает:

„Какое безумие, что эта громадная сила так плохо эксплоатируется и направляется современной иррациональной системой, что в результате получаются бедность и преступления, вместо богатства и добродетели!...

„Но эта производительная сила, кажущаяся столь громадной в сравнении с размерами ее в Британии около века тому назад, есть только зародыш силы, которой может быть дано безграничное развитие; ибо это развитие кажется неисчерпаемым и растет вместе с его движением вперед...

„Между тем эта новая громадная и безграничная сила, предназначенная для создания богатств и уничтожения бедности, употреблялась и употребляется для лишения богатства миллионов людей и для создания бедности для них и страха бедности в сердцах всех людей.

„Что сила, которая под мудрым управлением могла бы произвести богатств более, чем нужно для удовлетворения населения всего света, настолько плохо применяется, что является причиной бедности и неуверенности в завтрашнем дне для миллионов населения самых передовых стран света, это есть знамение времени, показывающее, что великая перемена в человеческих делах необходима немедленно, в чем ни один здравый ум не может и не должен сомневаться.

„Отсутствие всяких попыток со стороны самой богатой и мощной из всех когда-либо существовавших империй к устройству разумных учреждений как для предупреждения самой бедности, так и для уничтожения страха ее в сердцах людей на будущее время, есть еще один показатель, что современная система совершенно не соответствует той высоте, до которой человечество достигло благодаря науке, основанной на опыте.

„Невероятные разоблачения касательно степени нищеты и развращенности современного человечества, ежедневно публикуемые в прессе и дающие самое очевидное доказательство, что среди наиболее передовых наций мира такие происшествия, как ужасы медленного умирания от голода при самых потрясающих обстоятельствах, представляют частое явление, и происходят как в метрополии Британской империи, так и в провинциях, являются еще одним доказательством,—если дальнейшие доказательства еще требуются,—что современное общество, вследствие необычайных перемен, пережитых им за последнее столетие, требует для себя совершенно другого устройства, чем то, которое оно имеет.

„Когда общество достигло знания средств, которые, будучи научно применены, могут превратить производство богатств в количестве, превышающем потребности и желания всех, в предмет удовольствия и развлечения, в самое веселое времяпрепровождение для людей молодого и среднего возраста, и когда в то же время при существующей социальной системе создание богатств сделалось причиной рабства для многих и предметом раздоров для всех; когда оно стало причиной всякого рода обманов, насилий, несправедливостей и гнета, разделяющих людей на враждебные друг другу классы и таким образом делающих поведение всех людей крайне иррациональным,—становится ясным для тех, чьи взгляды благодаря приобретению разнообразных знаний стали шире, что великая органическая перемена в жизни общества очень близка и необходима для блага человеческого рода".

Оуэн перечисляет еще целый ряд признаков времени, указывающих на близость социальной революции. Среди этих признаков времени он указывает: на развитие самосознания среди низших классов, которые „более осведомлены относительно самых важных предметов, чем весь высший класс был еще недавно и чем многие из этого класса сейчас осведомлены о тех же предметах"; на всеобщее недовольство управляемых на всем свете всеми прошлыми и настоящими правительствами, ибо при всех существовавших и существующих формах правления—монархии, олигархии, аристократии, республике, демократии—„общественная система являлась и является смесью несправедливостей, невежества и грубых абсурдов" вследствие того, что „все существовавшие до сих пор правительства были правительствами насилия и обмана". Оуэн далее указывает на существующее разделение общества на классы, при котором для сохранения обще-

ственной системы нужно управление народом посредством насилия и обмана [1]); на презрительное отношение миллионов народа к парламентским говорильням трех величайших стран света, ибо извергаемая ими ежедневно мешанина нелепостей как бы рассчитана на то, чтобы заслужить этим собраниям ту дурную репутацию, которой они всюду пользуются [2]).

И еще немало признаков грядущей революции перечисляет Оуэн, выводя эти признаки из классовой структуры современного общества и его классовой борьбы, явившейся результатом введения механических изобретений, которые, будучи сами по себе благодеянием для трудящихся, при современном социальном строе стали для них проклятием.

Но революция не только надвигается, она неизбежна.

„Правительства всего мира будут вскоре принуждены, в целях собственной защиты, осуществить эту новую (рациональную) систему, чтобы предохранить управляемые ими страны от анархии гражданской войны и разрушения",—так начинает Оуэн вторую главу цитируемой нами 7-й части „Книги нов. нравств. мира", этим косвенно указывая на неизбежность этой гражданской войны.

Что революция неизбежна, об этом Оуэн заявляет еще ранее в „Воззвании к пяти великим державам Европы и Америки". В этом воззвании он определенно заявляет, что прогресс техники и знаний делают революцию „настолько непреодолимой, что не найдется на земле такой силы, которая могла бы приостановить ее или замедлить ее наступление. Революция эта будет осуществлена или посредством разума, или посредством насилия над обществом при всеобщем духовном регрессе и при чрезвычайных бедствиях для многих". Это заявление, что если переворот не будет произведен сверху, он будет

[1]) Оуэн попутно делает следующее замечание, указывающее на исключительное значение, придаваемое им техническому прогрессу в деле установления социального равенства. „Неравенство будет по необходимости непрерывным источником беспокойства, неудовольствия и агитации. Но до последних открытий, изобретений и улучшений в науках и искусствах и в особенности до изобретений и открытий в области механики и химии это равенство в социальном положении и воспитании было неосуществимо... Пока не обеспечена была возможность приложения этой новой научной силы в самых широких размерах для всеобщей службы и блага человечества, необходимы были рабы и слуги, чтобы дать возможность немногим делать изобретения, открытия и улучшения. Но теперь все это достигнуто в таких размерах, которые необходимы для превращения современного неравенства социального положения и воспитания в равенство в том и другом отношении, и гораздо более того, для создания таких внешних условий и таких условий развития, которых ни один класс ни в одной стране никогда не достигал.

[2]) Оуэн в брошенных мимоходом замечаниях обнаруживает свой взгляд на объективность исторического процесса. „Порицания и взаимные обвинения между партиями за предыдущее несчастное управление человечеством и поведение правительств бесполезны. Теперь ясно видно, что пережитые периоды были неизбежными последствиями обстоятельств, не зависевших ни от правителей, ни от управляемых. Эти предшествующие обстоятельства были необходимы для того, чтобы произвести нынешние, как нынешние необходимы, чтобы произвести будущие".

сделан снизу,—Оуэн повторяет во многих местах, где касается этого вопроса.

Во 2-й главе 7-й части „Книги нов. нравств. мира" он говорит еще более энергичным тоном: „Общество проснулось. Оно спрашивает, откуда это право или сила одного невежественного человека господствовать над другим? Оно убеждается, что его права были предметом захвата и что до сего дня одна только сила была правом, эта сила до сих пор была в руках немногих, объединившихся для господства над многими разъединенными. Но эти многие на пути к объединению—и тогда сила будет с ними".

И далее: „Возможно, что путем временного безнравственного союза между главными правительствами Европы и ежегодного увеличения сухопутных и морских военных сил и посредством обмана, питаемого суевериями, удастся на короткий период удержать господство нынешней иррациональной системы, противоречащей благоденствию и счастью людей всех климатов и всех цветов кожи, но увеличение страданий и бедствий, которое получится в результате этого мероприятия, заставит страдающие миллионы воскликнуть голосом общественного мнения всего света: „Система бедствий и нелепых безумств дошла до своего предела, и дольше мы ее терпеть не будем!"

5. Влияние изложенных идей на деятельность Оуэна.

Если мы пробежим все изложенное нами в настоящей и предыдущей статье об Оуэне, то увидим, что здесь перед нами целое миросозерцание, во всех своих частях основанное на наблюдении окружающей действительности; вместе с тем мы убедимся, что на всех приведенных нами страницах Оуэн нигде ничего или почти ничего не говорит об образовании характера и других излюбленных им вещах, связанных с этой идеей.

В нижеследующем мы хотели бы показать, какую значительную роль указанный социально-экономический анализ сыграл во всей пропаганде и деятельности Роб. Оуэна. К сожалению, размеры статьи не позволяют нам остановиться на этом подробно, и мы рассмотрим выдвинутый вопрос хотя бы в общих чертах.

Идея об образовании характера внешней средой, как нам известно, сложилась у Оуэна в ранней молодости. Он руководился ею в своих отношениях к рабочим еще в бытность управляющим фабрикой Дринкуотера; но в этот период он еще не был коммунистом. Быть может, коммунистические мечтания в неоформленном виде уже носились в его уме; но в его „Автобиографии" мы не находим никаких указаний на то, чтобы в этот период у него возникали планы, подобные его будущим проектам устройства сел единения и кооперации.

В 1800 г. Оуэн вступает в управление Нью-Лэнарком. Наконец, перед ним открывается широкая возможность для осуществления своих идей и принципов, возможность произвести эксперимент

(как он выражается в своей „Автобиографии"), к которому он так долго искал удобного случая приступить. „Мне предстояло,—пишет он,—серьезно приступить к великому эксперименту (курсив мой. *А. А.*), который должен был мне доказать на практике, насколько правильны или неправильны принципы, вошедшие в мое убеждение, как вечные принципы истины, которые, будучи приложены на практике, должны были дать одно великое, вечное, доброе; я должен был приступить к самому важному для человечества эксперименту (курсив мой. *А. А.*) который когда-либо был предпринят в какой-либо части света. Этот опыт заключался в том, чтобы установить, может ли характер человека быть лучше сформирован, а общество лучше устроено и управляемо посредством лжи, обмана, насилия и страха, посредством воспитания человечества в невежестве и суеверии,—или посредством истины, милосердия и любви, вытекающих из точного знания человеческой природы и устроения общественных учреждений в согласии с этим знанием".

Таким образом мы видим, что Оуэн приступает к нью-лэнарскому опыту со всем пафосом своих излюбленных идей. Но каковы мероприятия, при помощи которых он их осуществляет? Мы не находим в них еще ни атома коммунизма, и их нет у него в продолжение еще многих лет, пока он оставался под единственным влиянием своей теории образования характера и перевоспитания человечества. Это лучше всего видно из его социальной программы в этот период, относительно которой мы находим точные указания в его „Опытах". В эту программу, кроме мероприятий по улучшению условий труда рабочих и их материального положения в объеме, произведенном в Нью-Лэнарке (уменьшение рабочего дня, увеличение заработной платы, улучшение квартирных условий и способов приобретения здоровых и более дешевых пищевых продуктов, уничтожение штрафов и наказаний), мы находим меры по улучшению их умственного и нравственного уровня, каковы: борьба с пьянством и религиозной нетерпимостью, лекции и собеседования в „Новом Институте", библиотека, вечеринки; наконец, меры (впрочем, очень недостаточные) по обеспечению старости и инвалидности.

Таким образом мы видим, что программа Оуэна, пока он находился целиком и единственно под влиянием своей первоначальной теории, была очень и очень скромна в сравнении с коммунистической программой, выдвинутой впоследствии.

Первый проект рудиментарной коммунистической общины мы находим в „Докладе Комитету ассоциации помощи пауперам" (1817 г.)[1]).

Чем навеяна ему идея выступить с этим проектом, с которым, быть может, он уже носился и раньше (в особенности после ознакомления

[1]) Правда, в конце 4-го опыта Оуэн рекомендует государству иметь всегда для безработных наготове общественные работы; но между этим предложением и поселками единения и кооперации, проектируемыми в „Докладе Комитету", нет ничего общего.

с брошюрой Джона Беллерса)? Прежде всего, анализом экономической действительности, где, с одной стороны, он видел чудодейственную силу машины, способной создавать счастье для всех, а с другой—кризисы и безработицу, порождаемые неразумным приложением этой силы. Под влиянием этого основного противоречия капиталистического строя, с особенной резкостью проявившегося после окончания войны с Наполеоном, Оуэн выступил со своим проектом поселков единения и кооперации, являющихся зародышем и прообразом его коммунистических общин [1]). Основная мысль доклада высказана в следующих словах: „Ближайшей причиной современной нужды является понижение оценки человеческого труда; это произошло вследствие повсеместного введения машин в мануфактуры Европы и Америки, но всего более Британии, в которой этот переворот был сильно ускорен изобретениями Аркрайта и Уатта". Развивая дальше эту мысль, он кончает выводом, что „для бедных и безработных классов должно быть изыскано прибыльное занятие, в котором работа машин должна служить в помощь труду, а не вытеснять его, как в настоящее время".

Оуэн вдруг делает отступление от принятой им с самого начала чисто экономической аргументации, чтобы заговорить вдруг о „дурных и порочных" привычках бедняков, о необходимости их перевоспитания; но и это отступление в область морали имеет в виду также и экономические цели. „Труд одних людей,—аргументирует он,—более ценен, чем других; это происходит исключительно от разницы в получаемом ими воспитании и образовании"... „Одно и то же количество и качество труда под одним руководством дает несравненно более ценные результаты, чем под другим"... и т. п. Оуэн отсюда делает вывод о необходимости перевоспитания бедняков и надлежащего руководства их трудом. Само предложение об устройстве проектируемых поселков мотивируется столь же экономическими причинами, сколь моральными. Всякий план для улучшения положения безработных должен заключать способы, которые „обеспечивали бы соответственный труд взрослым, организовали бы их работу и расходы таким образом, чтобы от этого для них самих и для общества получалась бы наибольшая выгода, и вообще поставили бы их в такие условия, которые... тесным образом объединяли бы их интересы и обязанности". Наконец, из 12 преимуществ проектируемого плана, перечисляемых в заключении, бо́льшая часть (7—8) носит экономический характер. Таким образом в этом докладе, являющемся в пропаганде Оуэна поворотным пунктом от филантропии к коммунизму, мы видим преобладание социально-экономического анализа над морально-психологическим; из внимательного ознакомления с ним мы

[1]) Правда, и здесь Оуэн еще не ставит точки над i, не произносит слова „общая собственность"; но из краткого описания устройства поселка и предполагаемого образа жизни его обитателей видно, что в основу его кладется коммунистический принцип.

убеждаемся, что вся основа его и весь его план навеяны зрелищем кризиса и безработицы, с одной стороны, и чудес новоизобретенной технической силы, „магической силы“ (magic power) – с другой.

С этого момента Оуэн подводит под свою излюбленную утопическую идею социально-экономический базис. Общественное единение и кооперация становятся возможными благодаря изумительным результатам новой научной силы, т.-е. изобретений и открытий механики и химии. Оуэн неоднократно говорит об обильных и даже сверхобильных средствах (superabundant means) для производства богатств; он вычисляет грандиозные цифры производительных сил, находящихся ныне в обладании человечества, благодаря чему становится возможным производство сверх-излишка богатств и, следовательно, всестороннее удовлетворение человеческих потребностей. Начиная с 1817 г. он аргументирует главным образом этим доводом. Он, наконец, выражается гораздо категоричнее, когда заявляет (в 7-ой части „Книги нов. нравств. мира“), что „до последних открытий, изобретений и улучшений в науках и искусствах, и в особенности до изобретений и открытий в области механики и химии равенство в социальном положении и воспитании было неосуществимо“. Наконец, само отрицание собственности становится у него возможным только благодаря чудесам новой техники, благодаря создаваемым при ее помощи колоссальным богатствам, дающим громадные излишки после всестороннего удовлетворения всех потребностей.

Раз технические средства достигли такой высоты, что богатства могут быть производимы в количестве, превышающем все потребности, то, как говорит Оуэн в „Социальной Системе“, „никто не будет так неразумен, чтобы брать на себя труд и заботы, связанные с присвоением собственности и сохранением ее за собой. Неравномерно делить богатство между людьми и накоплять его для индивидуальных целей будет казаться делом столь же бесполезным и вредным, как—скажем—деление воздуха и воды на неравные порции и захват и накопление их отдельными лицами“.

В 3-ей главе 6-ой части „Книги нов. нравств. мира“ наш автор, останавливаясь на вопросе о снабжении населения продуктами в рациональном строе, восклицает: „Да! механика и химия и другие науки и искусства разрушили и уничтожили возможность дальнейшего существования индивидуалистического и отталкивающего современного строя... К счастью для человечества, механика и химия, которые, под влиянием индивидуализма, столь увеличили нищету тружеников промышленности, безнравственность и несчастья всех живущих, наконец, предназначены к разрушению бедности, страха ее, безнравственности и несчастий всякого рода“... Благодаря указанному техническому прогрессу „продуктов всегда будет производиться больше, чем требуется для удовлетворения потребностей всех членов общества, и тогда все получат свободный доступ к их употреблению... Как воздух—самое ценное для человека из благ,—свободно употребляется всеми без препирательств, точно таким же образом будут потребляться и другие богатства, ибо при рациональном общественном устройстве их будет всюду заготовлено в изобилии“. Собственность таким образом падет сама собой.

Но вернемся на момент к нью-лэнаркскому периоду. Вспомним, с каким торжественным и радужным настроением Оуэн приступил к своему „эксперименту“. Он тогда, как мы указывали, находился всецело под влиянием своей излюбленной идеи о перевоспитании рабочих, о создании из них новой породы людей. И однако, как он приступает к делу? Начинает ли он с пропаганды или морального давления? Нет, он начинает с материального улучшения положения рабочих. И этим путем он достигает свою главную цель—улучшение морального облика рабочих, действительно в те времена обладавших очень дурными наклонностями, так как большинство из них на подобных удаленных от сельских мест фабриках набиралось из подонков рабочего класса. Даже воспитательная программа его „Института для образования характера“, эта давно лелеянная им мечта, в осуществление которой он стремился вложить весь энтузиазм своих первоначальных верований, создается им на реальной основе, вытекавшей из глубокого понимания экономической действительности, что дало повод К. Марксу сказать, что „из фабричной системы, как можно проследить в деталях у Роберта Оуэна, вырос зародыш воспитания будущего, которое для всех детей с известного возраста соединит производительный труд с обучением и гимнастикой, при чем это будет не только методом повышения общественного производства, но и единственным методом создания всесторонне развитых людей“. Роберт Оуэн создал новое пролетарское направление в педагогике и опередил, таким образом, на многие десятилетия свое время, благодаря единственно той животворной струе реализма, которой он сумел заразиться от прикосновения с фабричной системой и проникновения в ее тайны.

О том, как много реализма и как много ясного понимания и чутья действительности проявил Оуэн в своей агитации за фабричное законодательство, это мы постарались показать в предыдущей статье о Роберте Оуэне; в этой полосе деятельности у нашего утописта как будто совершенно исчез вес арсенал его утопических доводов, и он оперирует только данными экономического анализа, давая на заре капиталистического строя вполне правильную постановку рабочему вопросу.

Участие Оуэна в кооперативном и трэд-юнионистском движении составляет самую яркую страницу из его пропаганды и деятельности. В этот период (1828—1834 г.г.) Оуэн, более чем когда-либо за свою многолетнюю деятельность, сблизился с рабочим движением своей эпохи, увлекаемый потоком классовой борьбы, изменяя своей прежней утопической тактике, что дало повод поклонникам его миролюбия сокрушаться о том, что он изменил чистоте своего внеклассового знамени.

Производительные кооперативы, справедливые базары обмена и трэд-юнионы были им скомбинированы в целостный план преобразования общества, основанный на изложенных нами выше теоретических предпосылках.

Отнесшись первоначально (после возвращения из Америки в 1827 г.) очень презрительно к кооперативным „лавочкам", Оуэн вскоре изменил свой взгляд на этот предмет, когда пришел к мысли, что при посредстве производительных союзов можно наметить новый план для создания строя единения и кооперации внутри капиталистического общества, строя, который при достаточном развитии сделает индивидуализм и конкуренцию невыгодными и излишними. Согласно этому плану производительные кооперативные ассоциации и отдельные производители должны были вступать в непосредственные меновые отношения, для чего нужно было создать кооперативные организации обмена или справедливые базары труда. Для последних уже существовало теоретическое обоснование в трудовой теории ценности, изложенной в его „Докладе Совету Лэнаркского графства" и теперь повторенной в журнале „Кризис"; в том же журнале развивалась теория безболезненного преобразования общества посредством кооперации. Впрочем, Оуэн был далек от немедленного осуществления этого плана [1]). Своим многочисленным сторонникам он внушал ту мысль, что необходимо предварительно сорганизовать производителей по всем отраслям производства, но, поддавшись настойчивым просьбам своих последователей, он устроил первый опыт обменного банка, который, как известно, оказался неудачным. Стоял ли Оуэн в своей затее с производительными ассоциациями и обменными банками на утопическом пути? Конечно, да; но, во-первых, для нас важно то, что он здесь шел путем чисто экономическим; а, во-вторых, разве эту утопию не повторяли впоследствии многие из вождей рабочего движения, и среди них такие выдающиеся, как Прудон, Луи-Блан и Лассаль?

Когда кооперация стала падать, Оуэн сделал самый крайний шаг влево,—он стал во главе трэд-юнионистского движения, стремясь сделать его орудием своих конечных целей. По его плану трэд-юнионы должны были быть преобразованы в „национальные компании"; эти „компании" должны заведывать соответствующими отраслями труда, к каждой из них переходят орудия производства данной отрасли; земледельческий союз должен будет взять в свои руки владение землей, союз рудокопов—рудники, союз ткачей — ткацкие фабрики. Увлекаемый логикой движения, Оуэн изменяет своему принципиально-отрицательному отношению к стачкам. Ряд наступательных стачек этого периода происходит, как можно судить по всем данным, с согласия и одобрения Оуэна. В этом движении Оуэн вновь является перед нами утопистом-реалистом, предвосхитившим отчасти программу современных синдикалистов, отчасти—гильдейцев [1]).

[1]) Мы, к сожалению, вследствие размеров статьи, принуждены отказаться от более подробного рассмотрения этого периода деятельности Оуэна, рассмотрения, которое показало бы нам, насколько глубоко кооперативное движение было связано с нуждами эпохи, с нуждами мелких производителей, сталкиваемых в ряды пролетариата ходом капиталистического процесса.

О том, как велико было влияние пропаганды Роб. Оуэна этого периода на рабочее движение, можно видеть из того обстоятельства, что после нового поворота Оуэна к чистому утопизму брошенные им в рабочее движение кооперативные и коммунистические идеи продолжают давать всходы еще в продолжение нескольких десятилетий.

Чтобы закончить об этом периоде, скажем два слова об основанном Оуэном вместе с несколькими единомышленниками „Обществе национального возрождения". Здесь Оуэн продолжает свою деятельность в пользу улучшения положения рабочих, начатую им 20 лет перед тем. Целью этого общества была борьба за минимальный рабочий день и максимальную заработную плату. Общество выдвинуло требование восьмичасового рабочего дня; под его влиянием во многих городах с развитой ткацкой промышленностью возникли „комитеты для борьбы за сокращение рабочего дня", агитация которых привела к принятию впоследствии билля о десятичасовом рабочем дне. Здесь Оуэн вновь выступает перед нами как реалистический деятель, целиком исходящий из животрепещущих нужд рабочего класса.

Когда мы пробегаем в 7-й части „Книги нового нравственного мира" его красноречивые „знамения времени", предвещающие близость революции, нам чудится драма в душе великого утописта. С одной стороны, объективный анализ экономической и социальной действительности говорит ему с несомненностью, что социальная революция близка и неизбежна; а, с другой стороны, под влиянием субъективных элементов своего миросозерцания он стремится противостать объективному ходу вещей, приостановить своей проповедью надвигающуюся революционную бурю. Поистине трагическая позиция для деятеля, отдавшего все свои стремления и помыслы на службу бьющемуся в тисках капитализма рабочему классу.

Арк. А—н.

[1]) Этот период деятельности Оуэна представляет большой интерес и заслуживает внимательного исследования.

Анри де Сен-Симон — идеолог индустриализма.

I.

В литературе о Сен-Симоне общепринято разграничение доктрины учителя от мировоззрения школы. Отмечая отсутствие системы, некоторую путанность идей Сен-Симона, исследователи часто как бы игнорируют его учение, не замечая, что оно представляет собою законченное целое, что под „сен-симонизмом“ следует понимать не только доктрину школы, но и оригинальное наследство главы ее. Мы хотим поэтому в этой статье заняться исключительно выяснением философского и социально-политического учения Сен-Симона, чтобы определить его место в истории социализма и его связь с научным социализмом, с марксизмом. Надо при этом отказаться от экскурсий в область сен-симонизма: знакомство с идеями Базара и Анфантена устанавливает часто предвзятую точку зрения у исследователей и определяет заранее оценку Сен-Симона и его учения. Сен-симонизм, правда, был продолжением, углублением и развитием отдельных сторон мировоззрения учителя, но он возник в другой исторической обстановке, его носителями были представители других социальных групп. Необходимо, таким образом, не только разграничение доктрин школы и учителя, но также следует избегать, чем грешат биографы Сен-Симона, оценки его учения, исходя из анализа литературного наследства „сен-симонистской церкви“.

Судьба Сен Симона, быть может, одна из наиболее оригинальных в истории человеческой мысли. При жизни философа преследовала судьба: он голодал и был предметом издевательств. После его смерти на него ополчилось буржуазное общественное мнение Франции. Среди его врагов О. Конт—его ученик—особенно отличался поношением памяти учителя. „Шарлатан“ или „сумасшедший“, так долго называли его во Франции. Ученые обыватели, конечно, не способны были понять слов Сен-Симона: „безумие не что иное, как высшая экзальтация, и эта экзальтация необходима для совершения великих дел... В храм Славы входят только клиенты домов сумасшедших, но не все клиенты домов сумасшедших попадают в храм Славы. На миллион одному удается войти—остальные свертывают себе шею“. Гениальный Сен-Симон, по необъятному энциклопедизму своих знаний, по остроте своего исторического анализа, был на много голов выше всякого либерала-идеолога после-революционной эпохи. Он мог поэтому казаться чудаком, даже сумасшедшим... Вспомним при этом, что только в 1832 г. самый преданный ученик С.-Симона, О. Родригес, впервые опубликовал в более или менее систематизированном виде часть работ учителя. В 1859 г. изданы были „Избранные сочинения“ и только в 1865—1875 г.г., согласно завещанию Анфантена, удалось, наконец, дать полное собрание трудов Сен-Симона и сен-симонистов (сорок семь томов). Марксу, между прочим, пришлось знакомиться с Сен-Симоном по изданию О. Родригеса и L. Reybaud (в его „Etudes“—1840 г.), поэтому, как замечает Г. Экштейн в своей статье: „Старый и новый Сен-Симон“ [1]), Маркс мог иметь дело лишь с небольшим числом произведений Сен-Симона. „Письма женевского обывателя к современникам“ и „Новое христианство“—вот собственно основные работы Сен-Симона, как материал для суждений Маркса о нем.

Сам метод работ Сен-Симона, как и судьба его литературного наследства, наконец, то, что школа оттеснила, так сказать, его учение—способствовало разноречивым суждениям о философе. На-ряду с бранными кличками одних, надо поставить обоготворение других. И до сих пор восторженные биографы Сен-Симона часто анализ подменяют восторгом и „экзальтацией“. Научное изучение Сен-Симона началось сравнительно недавно. Уже проделана большая критическая работа. И мы теперь стоим пред возможностью нового „ниспровержения“ философа. Нас здесь интересует судьба Сен-Симона в марксистской литературе. В „Коммунистическом Манифесте“ Сен-Симон причислен к славной плеяде „утопических социалистов“. Там сказано: „собственно коммунистические и социалистические системы Сен-Симона, Фурье, Оуэна и т. д. возникают в первый неразвитой период борьбы между пролетариатом и буржуазией“... У Энгельса („Развитие социализма—от утопии к науке“) Сен-Симон причислен к гениальным предшественникам марксизма. Энгельс ищет „под фантастическим покровом утопий зародыши гениальных идей, всюду разбросанных в теориях великих утопистов и незаметных для простых филистеров“, и замечает о Сен-Симоне: „широта взглядов Сен-Симона позволила ему уловить зародыши почти всех позднейших социалистических идей, не относящихся к области чистой экономики“... И, как в „Анти-Дюринге“ Энгельс не ослабляет этот взгляд свой на Сен-Симона, в конце концов, он в целом его не изменяет. Мы знаем, что Маркс в дальнейшем переменил свое суждение о философе. В III т. „Капитала“, в отделе пятом II-й части, о „распределении прибыли на процент и предпринимательский доход“ (гл. 36 „Докапиталистические отношения“), мы читаем: „Совершенно так же, как у физиократов „cultivateur“ означает не действительного земледельца, а крупного арендатора, у Сен-Симона, а в некоторых случаях и у его учеников, travailleur означает не рабочего, а промышленного или торгового капиталиста. Не следует вообще забывать, что лишь в последней своей работе „Nouveau Christianisme“ Сен-Симон прямо выступил от лица рабочего класса и объявил его эмансипацию конечной целью своих стремлений. Все его более ранние произведения фактически представляют лишь прославление современного буржуазного общества в противоположность феодальному, или прославление промышленников и банкиров в противоположность маршалам и юристам, фабриковавшим законы в наполеоновскую эпоху. Какая разница с одновременными суждениями Оуэна!“ Энгельс считает необходимым ослабить это замечание Маркса. В примечании к цитированным словам он пишет: „При переработке рукописи Маркс, несомненно, сильно изменил бы это место. Оно навеяно ролью лже-сен-симонистов в эпоху второй империи во Франции, где как раз в то время, когда Маркс писал эти строки, долженствовавшие спасти мир, кредитные фантазии школы реализовались по исторической иронии в виде спекуляции неслыханного дотоле размера. Впоследствии Маркс говорил лишь с удивлением о гении и энциклопедической голове Сен-Симона. Если последний в своих ранних произведениях игнорировал противоположность между буржуазией и пролетариатом, едва нарождавшимся

[1]) Dr. G. Eckstein: Der alte und der neue Saint-Simon,—„Archiv für die Geschichte des sozialismus und der Arbeiterbevegung“, II B.

тогда во Франции, если он причислял часть буржуазии, занятую производством к travailleur, то это соответствует также воззрению Фурье, стремившегося примирить труд и капитал, и объясняется экономическим и политическим положением тогдашней Франции. Если Оуэн в этом пункте видел дальше, то лишь потому, что он жил в другой обстановке, среди промышленной революции и сильно обострявшихся уже классовых противоречий". Подобное категорическое утверждение Энгельса вряд ли, как нам кажется, может быть поколеблено замечанием т. Рязанова, что характеристика Сен-Симона, как „гения и энциклопедической головы не имеет ничего общего с тем фактом, что из всех трех утопистов наименьшее влияние на Маркса имел Сен-Симон. Характерно, что Маркс ни разу не ссылается на Сен-Симона в подтверждение своих взглядов ни во всех четырех томах „Капитала", ни в каком другом своем произведении" [1]). При всем методологическом значении примечания Маркса для исследования сен-симонизма, мы отнюдь ни в этом замечании, ни в некоторых замечаниях Энгельса в „Анти-Дюринге" не можем видеть окончательное суждение о Сен-Симоне. Для Маркса и Энгельса Сен-Симон был „социалистом-утопистом" [2]). Правда, его значение в истории социализма меньше, чем Фурье или Оуэна, но он все же подобно им является предшественником социализма, как науки, т.-е. марксизма. При чем предшественниками они являются и в смысле, так сказать, теоретическом, и социально-практическом. Для Энгельса гениальность Сен-Симона в том, что он в 1802 г. понял, что французская революция была классовой борьбой не только между дворянством и буржуазией, но также между дворянством, буржуазией и неимущими классами. Энгельс отмечает также гениальную мысль Сен-Симона о происхождении политических учений из экономических основ. Правда, эта идея у него в зародыше, но „зато по содержанию ясно выражена та мысль, что политическая власть над людьми должна превратиться в управление вещами, в заведывание процессами производства". Тов. Рязанов готов согласиться, что в этом последнем пункте Сен-Симон оказал влияние на марксизм. Мы будем иметь возможность в дальнейшем подробно остановиться на вопросе о влиянии сен-симонизма на марксизм, здесь нам важно отметить, что марксистское исследование Сен-Симона после Маркса и Энгельса должно было только начаться [3]).

Г. Плеханов, один из бесспорно талантливейших учеников Маркса, в вопросе о Сен-Симоне занял совершенно определенную позицию. Он считает его социалистом-утопистом и предшественником марксизма, как методологии истории. Сен-Симон углубил взгляд историков реставрации по вопросу о соотношении между „базой и надстройкой". Он подчеркнул роль промышленного развития и, как замечает Плеханов: „логическое развитие этих взглядов должно было привести его к тому выводу, что законы производства суть те законы, которыми определяется в конечном счете общественное развитие"... Если он не дошел до этой мысли, то марксизм продолжил его дело. Плеханов и в дальнейшем не изменил своей точки зрения на Сен-Симона. В статье об „утопическом социализме" он писал, что Сен-Симон, как

[1]) „Комм. Манифест", с введением и примечаниями Д. Рязанова. 2-ое издание, стр. 248—249.

[2]) Скажем точнее: ни Маркс, ни Энгельс не дали нам окончательно оформленной точки зрения, отрицающей Сен-Симона, как социалиста-утописта.

[3]) Мы здесь оставляем в стороне вопрос, почему Маркс и Энгельс высказывают столь противоречивые взгляды на С.-С. Для этого у нас нет достаточно данных. Строить предположения вряд ли целесообразно.

и все французские социалисты в огромном большинстве случаев далеко уступают английским в понимании истинной природы непосредственных социально-экономических результатов современного им прогресса техники, но и для него Сен Симон, Фурье и Оуэн остаются славной триадой утопического социализма. Марксистское исследование Сен-Симона, однако, и после Плеханова не могло считаться законченным, хотя бы потому, что приведенное выше замечание Маркса заставляло критически относиться к установившемуся мнению. При этом успехи в области изучения предшественников марксизма выдвигали снова вопрос о Сен-Симоне и настоятельно требовали его пересмотра.

Мы не можем здесь, конечно, заниматься историографией вопроса. Отметим только отдельные этапы на пути „ревизии" марксистского взгляда на Сен-Симона. В своих работах о Сен-Симоне [1]) Фр. Мукле окончательно покончил с представлением о нем, как об утописте. Он считает его причисление к утопистам недоразумением и видит в нем представителя реалистического, научного мировоззрения и предшественника Маркса. Для Ф. Мукле характерной особенностью Сен-Симона является его историзм. Но и он не может окончательно отрешиться от представления о Сен-Симоне, как о социалисте. Мукле считает, что в произведениях философа слышны отзвуки социализма. Правда, индустриализм сущность его учения, но этот индустриализм связан с заботой о „наиболее многочисленном и наиболее бедном классе" общества. Еще дальше идет Г. Экштейн в своей статье-рецензии на книгу Мукле. Для него С.-С. „ни социалист, ни утопист". И в то время, как Мукле пытается доказать, что в области материалистического объяснения истории Маркс был „учеником Сен-Симона", что Маркс только создал систему из элементов сен-симонизма, Экштейн утверждает, что марксизм отнюдь не является органическим продолжением сен-симонизма. Но и он вынужден признать оригинальность доктрины, как „философии истории". Он видит, чем обязан Сен-Симон своим предшественникам и что дал он последующим поколениям. Г. Экштейн утверждает, „что выстрелы на холмах „Croix Rouje" у Лиона (1831) убили сен-симонизм", но для своего времени это учение было кульминационным пунктом философско-исторической мысли. Г. Кунов продолжает дальше разрушительную работу Мукле и Экштейна. Он отрицает всякую оригинальность за его учением. „Много выводов, которые С.-С. дали имя великого философа истории и предшественника марксистского материалистического понимания истории, при ближайшем рассмотрении оказываются лишь вариацией или продолжением мыслей Кондорсе и Рейналя" [2]).

По мнению Г. Кунова, [С-Симон, не только не социалист, но и не утопист („In wirklichkeit ist er veder Utopist, noch Sozialist"), и не оригинальный мыслитель. Так марксистская критика попыталась окончательно развенчать философа начала XIX века. Вот почему восторженное замечание проф. В. Святловского в предисловии к книге „Сочинения Анри де Сен-Симона": „Как колоссальный и мощный маяк мысль Сен-Симон стоит на пути духовного развития своей эпохи: можно без преувеличения сказать, что XIX век развивался под знаком Сен-Симона. Он—узловая станция великих магистралей своего времени...", для нас само по себе мало убедительно. Мы не можем

[1]) Muckle Fr.: Saint-Simon und die ökonomiche Geschichtstheorie: „Henri de Saint-Simon—die Persönlichkeit und ihr Werk".

[2]) H. Cunov: Die Marxsche Geschichts, Geselschafts-und Staatstheorie", стр. 160.

также здесь обойти молчанием довольно осторожное и весьма неопределенное суждение о Сен-Симоне В. П. Волгина. В предисловии к „Изложению доктрины" мы читаем: „Доводы тех, кто считает невозможным видеть в Сен-Симоне социалиста, представляются нам достаточно убедительными". Это, повторяем, осторожное, но весьма неопределенное замечание еще более подчеркивает необходимость вплотную подойти к изучению Сен-Симона [1]).

Марксистская критика подошла к оценке Сен-Симона, желая определить его место в истории социализма вообще и марксизма в частности. Теперь проделана уже большая часть работы: дано утверждение о социализме и утопизме одного из идеологов начала XIX ст., эпохи промышленного подъема Франции. Но, оценив по заслугам Сен-Симона, как социалиста, марксистская критика до сих пор просмотрела, по нашему мнению, его значение исключительно как идеолога индустриализма, капиталистической системы. Таким образом, центр тяжести должен быть перенесен от критики сенсимонизма, с точки зрения социализма, к его исследованию со стороны развертывающейся индустриальной системы.

Сен-Симон жил и писал в определенный период истории Франции: предреволюционная Франция, великая революция, империя Наполеона и реставрация—такова та эпоха-океан, которая была социальной средой его творчества. И, если конец XVIII века служил обстановкой для подготовки его к философскому поприщу, то начало XIX ст. (империя Наполеона и Реставрация) было ареной его деятельности. В увлечении критикой его теории позднейшая марксистская литература не отдает достаточного внимания феодальным, или вернее, феодально-индустриальным элементам его доктрины,—в то время как сочетании элементов феодализма и индустриализма послереволюционной эпохи самое характерное для Сен-Симона. В учении Сен-Симона, как это указывал еще Виппер, есть бесспорно элементы торийского „социализма" à la Карлейль, выросшие на французской почве. Но „патриархализм" его учения ви Экштейн, ни Кунов не отмечают... Необходимо иметь в виду все время связь сен-симонизма с реакционной и либеральной школой послереволюционной эпохи.

Таким образом, отрешившись от общепринятого взгляда на Сен-Симона, как социалиста и утописта, как на предшественника марксизма, постараемся по возможности сжато анализировать его философскую и социально-политическую доктрину исключительно как продукт своего времени. Познакомимся с Сен-Симоном, как идеологом крупной индустрии в пореволюционной Франции.

II.

Сен-Симон выступил на арену философской деятельности сорока лет от роду. Всего 25 лет творил он на благо промышленной Франции. Его мысль развивалась и огромной ошибкой будет рассматривать доктрину С.-С. от „Писем женевского обывателя к современникам" (1802 г.) до „Новое христианство" (1825 г.), как нечто неизменное. Если в первое время С.-Симон уделял главное внимание науке, в организации ее видел главную свою задачу, то во второй период он оставляет проекты преобразования науки и переходит к обсуждению плана общественного переустройства. Его теперь интересует будущее индустриального общества и индустриального класса; только

[1]) Мы не предполагаем здесь исчерпать всю марксистскую литературу о Сен-Симоне: ограничимся лишь, по нашему мнению, наиболее существенным.

к концу его жизни обе эти задачи вытесняются третьей: учением о морали. Новая религия должна спасти человечество. Устанавливая это подразделение, мы только подчеркиваем центральную идею каждого периода, отнюдь не предполагая, что между ними нет органической связи. От первой работы до последней одна мысль красной нитью проходит через творчество С.-С.: организация индустриального общества. Для этой цели С.-С. пользуется различными средствами, он чутко прислушивается к борьбе общественных сил в стране и не чужд политических вопросов своего времени.

В первых своих произведениях Сен-Симон выступает с гимном науке и с проектом организации и реформы науки. В чем сила науки? „Наука полезна именно тем, что она дает возможность предсказывать, и потому-то ученые превосходят всех людей... Ученый, друзья мои, это человек, который предвидит",—читаем мы в письмах. Значение науки не в каких-либо абстракциях, а в ее жизненном практическом применении. „Ученые,—поучает Сен-Симон представителей „третьего класса" (т.-е. неимущих),—могут предсказывать. „астрономы определяют относительное положение различных точек земли; их же предсказания дают возможность плавать по самым обширным морям"; химики говорят вам, что „из этого камня вы можете сделать известь, а из того не можете..., что таким то определенным количеством золы такого то дерева вы выбелите ваше белье так же хорошо, как гораздо большим количеством золы какого-либо иного дерева"... Но наука служит не только для этих низменных, повседневных целей, она единственный источник богатств современного общества. Однако значение науки не ограничивается тем, что она способствует производству материальных ценностей. Сен-Симон выдвигает во главу угла социальное значение науки. Он обращается к „третьему классу" и говорит: „В интересах общего блага господство должно распределяться пропорционально просвещению. Посмотрите, что произошло во Франции, когда там господствовали ваши товарищи: благодаря им там появился голод". Но представители собственников должны также не забывать, что они остаются во „втором классе" только потому, что они обладают просвещением. Сила знания удерживает неимущих в подчинении. „И пока вы, господа, не примете предложенную мною меру (создание Совета Ньютона), вы будете подвергаться каждый в своей стране таким же несчастиям, какие перенесла часть вашего класса, находящегося во Франции",—замечает С.-С. Эту мощную силу науки, как производительницы материальных благ и социально-регулирующий фактор, Сен-Симон не перестает подчеркивать. Состояние умов в Европе такое, что в Англии, Франции, Германии и Италии возможен новый взрыв революции, если не будут приняты меры предосторожности. Эта мера сводится к организации Совета Ньютона из ученых, писателей, художников и музыкантов. Им должно быть передано духовное управление Европой. Ученые—сила, в их руках „скипетр общественного мнения"; мощь их при объединении в корпорацию, „имеющую своей главной связью философию, основанную на идее тяготения, будет неисчислима". Наука—новая религия, ученые—жрецы, Эту мысль С.-С. развивает беспрерывно. Мы в дальнейшем будем иметь возможность подробнее остановиться на анализе организации „новой научной церкви". Но о какой науке идет речь? Речь идет об опытной, позитивной науке. Астрономы изгнали астрологов, химики—алхимиков, физиологи должны изгнать философов. Физиология должна стать наукой об обществе. Мораль, политика, философия станут позитивными науками и тогда религия усовершенствуется, место духовенства займет новая корпорация жрецов и „евро-

пейская ученая корпорация" станет верховным арбитром в национальных и классовых столкновениях человечества [1]).

Сен-Симон не был специалистом ни в одной индуктивной науке. Он был философом. Его задача сводилась к выяснению общих принципов и объединению частных наук в единое целое. Если после Бэкона европейская мысль пользовалась методом à posteriori, то теперь Сен-Симон зовет вернуться к априорному мышлению. Это отнюдь не предполагает отказ от опытного знания. „В позитивной системе предполагается, что вселенной управляет один закон, и ученые вынуждены будут установить посредствующие идеи между причиной и следствием". Но работы наших предшественников были только подготовительными работами. Они создали ту сумму знаний, которая необходима для того, чтобы привести человеческий ум в состояние, дающее ему возможность начать набрасывать научную систему. Только с этого момента начнется эпоха „положительной системы". Но открыть общее в частном, это значит установить основной принцип, единый закон. Вот путь, по которому идет научная мысль С.-С.: „в первой статье мы установим,—пишет он,—принципы, во второй мы будем применять их к идее тяготения, в третьей мы сделаем общее приложение их к системе наших познаний". Закон всеобщего тяготения становится тем самым основным принципом и единым законом, который управляет органическим и неорганическим миром. Методом исследований служит дедукция. В сочинении „Всеобщее тяготение" С.-С. предлагает любопытный и характерный для него прием исследования: для проверки результатов науки он предлагает обосновывать их изучением *отдаленного прошлого и отдаленного будущего*. Критика с точки зрения этого „отдаленного будущего даст нам возможность безошибочно судить о настоящем". Итак, в области научной мы имеем поиски монистической системы, построенной дедуктивно на заранее установленном принципе.

Сен-Симон материалист: „Вселенную,—пишет он,—уже не будут представлять себе состоящую из двух различных естеств; именно—физического и морального. Явления, которым ныне приписывается сверхъестественная или божественная первопричина, будут рассматриваться как результат действия невесомых жидкостей" [2])... Но этот материализм часто стыдливый, и Сен-Симон убежден, что то, что в его время называют материализмом—скорее спиритуализм, потому что материалисты идею бога заменили идеей закона или точнее: „из бога, как существа, извлекли идею закона", в то время как спиритуалисты создают идею бога, „воплощая абстракцию". Своими учителями, предшественниками Сен-Симон считает Кабаниса, Биша и Вик Д'Азира, доктора Бургона. Его поэтому особенно интересуют вопросы физиологии и сравнительной анатомии. И прежде всего С.-Симону важно установить монизм в самой природе. Он делит мир на два царства вместо трех и устанавливает новую классификацию наук, в основу которой он кладет деление дисциплин по принципу априорных и апостериорных наук: „частная физика или наука об *анализе* свойств и отношений тел" и „общая физика или наука об *обобщении* свойств и отношении тел". В органическом мире Сен-Симон опровергает деление растительного и животного царства и считает, что органический мир от неорганического отличается тем, что в первом действие жидкостей преобладает над действием твердых тел, а во втором наоборот. „Присутствие и циркуляция флюидов в органических трубках необходимо для развития и поддержания жизни". Роль флюидов и отличает организованное тело от неорганизованного. Единство природы переносится и на животный мир. Идея развития — центральная в мировоззрении Сен-Симона. Человек наиболее интеллектуально-развитое существо только потому, что оно наиболее организованное существо. Если бы человек исчез, то его место занял бы бобр (но не обезьяна), как наиболее организованное существо, так как только у бобра особенно сильно развит большой палец, и он существо общественное. Для доказательства своей основной и излюбленной мысли об интеллекте, пропорциональном организации тела, Сен-Симон прибегает к опыту над „айверонским дикарем". И здесь он следует по стопам XVIII в., когда „идея дикаря" была исходным пунктом всякого научного исследования. Чтобы превратить „дикаря" в культурного человека надо, прежде всего способствовать дальнейшему усовершенствованию его физической организации. „Айверонский дикарь"—Виктор потому отстал, что его гортань и мыслительный аппарат, оставаясь долгое время в бездействии, потеряли гибкость, необходимую для сочетания и произношения условных знаков". Мы имеем здесь дело с идеями—отзвуком учения Ламарка. Вообще обще-философская и научная концепция Сен-Симона меньше всего может претендовать на оригинальность. Большинство его идей в области философской наследие мысли XVIII в. и успехов науки XIX в. Они приобретают цену лишь постольку, поскольку он их применяет в области „социальной физики", анализируя человека и общество. Беспомощность Сен-Симона в вопросе общей науки выявилась особенно в его споре с Лапласом, где он опровергал астрономическую систему последнего. И Сен-Симон очень скоро отказывается от специальных изысканий в этой области, он суживает и углубляет свое исследование на вопросах „индустрии и морали". Важно здесь будет только подчеркнуть, откуда шли импульсы научно-философского творчества Сен-Симона. Для этого стоит лишь присмотреться к роли науки в эпоху революции и в развитии индустрии эпохи реставрации. Победа французской революции в Европе многим обязана техническим усовершенствованиям: химик Бертоллэ открыл новый способ добычи селитры; на Гренельском пороховом заводе изготовлялось теперь в три часа столько же пороху, сколько раньше в продолжении суток. Революционные армии, по словам Жореса, выступали как революционные энциклопедии. И эта роль науки особенно явственно выступает в эпоху Реставрации в области машинного производства. Чудеса техники на глазах С.-С. превратили Англию в богатейшую страну мира. Прикладной и социальный характер науки был очевиден.

Но социальное значение позитивной науки, как регулятора классовой борьбы, не в частных ее достижениях, а в общих принципах, указаниях для управления. Это одно уже могло толкнуть мысль С.-С. в сторону научного монизма, тем более, что в эпоху Канта, Лапласа, Ламарка, живые наследники философии XVIII века не могли не пойти по пути выработки позитивной научной системы. И вместе с тем превращение науки в религию, закона о всеобщем тяготении — в бога, апелляция к науке-религии, к ученым-жрецам (арбитрам социальной борьбы)—отзвуки реакционной и реставрационной идеологии в доктрине Сен-Симона.

Основой социальной философии Сен-Симона служит разграничением между понятиями общество и государство. Это разграничение

---

[1]) „Счастлива будет та эпоха, когда честолюбие начнет видеть величие и славу только в приобретении новых знаний и покинет нечистые источники, которыми оно пыталось утолить свою жажду... Довольно почестей Александрам! Да здравствуют Архимеды!" —„Письма" (1802 г.).

[2]) Сен-Симон: „Сочинения"—„Всеобщее тяготение", стр. 55.

у Сен-Симона—плод опыта Великой революции и тех конституций, которые обнаружили бессилие разума и политической власти, направленных против внутренних социальных сил, формирующих общество. Г. Кунов показал, что и в этом вопросе С.-Симон имеет своих предшественников. Сама идея о необходимости разграничить общество и государство появилась на протяжении XVII и XVIII ст. в результате наблюдения над первобытными народами после открытия Америки и мощных социальных сдвигов эпохи торгового капитала. Те же явления послужили исходным пунктом для выяснения социальной связи между индивидуумом и обществом. Общество по Сен-Симону не сумма индивидуумов, это: „совокупность и союз людей, занятых полезными работами". Таким образом, интерес к социальному моменту связан с необходимостью выяснить и трудовые связи, создающие общество. Мысль Сен-Симона идет по пути отрицания теории „общественного договора". Весь вопрос только в том, в какой мере ему удалось дать правильное представление о социальных связях. Человек—существо общественное, как все в мире, природу его можно понять в развитии. Отсюда историзм Сен-Симона. „Будущее,—читаем мы у него,—слагается из последних членов ряда, в котором первые члены составляют прошлое: таким образом изучение хода человеческого разума в прошлом откроет нам путь, по которому он пойдет в будущем". Историзм предполагает правильную постановку вопроса о прогрессе, о закономерности, и тем самым предвидение будущего. И все эти три элемента мы имеем в учении Сен-Симона. „Всякий попятный шаг был бы нам бесполезен; к счастию он для нас невозможен". Прогресс—имманентная сила общественного развития. Поэтому С.-С. осуждает всякую попытку возвращения вспять. Золотой век не в прошлом, а в будущем человечества. Этой идеей прогресса, которая стала религией буржуазии, С.-Симон дает классическую формулировку: „воображение поэтов поместило золотой век в колыбели человеческого рода, среди невежества и грубости первобытных времен; но это время правильнее отнести к железному веку. Золотой век не позади нас, но впереди: он заключается в совершенстве социального строя. Наши отцы его не видели; наши дети когда-нибудь его достигнут; нам надлежит проложить путь для них" [1]. В этом утверждении, быть может, нет оригинальной мысли, которая была бы чужда Кондорсе. Но в отличие от последнего С.-С., скажем, пытается реабилитировать средневековье. Ведя борьбу против антропоморфизма в учении о природе, С.-С. считает неправильным взгляд некоторых просветителей, на все, что предшествовало XVIII веку и революции, как на сплошную темноту и невежество. Эпоха средних веков—эпоха органическая, и поэтому она должна для нас служить прообразом социального творчества. Мы оставляем пока в стороне вопрос о диалектике в учении Сен-Симона, мы подчеркиваем историзм его доктрины, веру в прогресс. Но в отличие от идеи круговорота у Вико и от идеи беспрерывного прогресса (Кондорсе, Гердер) учение Сен-Симона ставит вопрос о диалектике развития, хотя, как мы увидим в дальнейшем, не может его разрешить.

Поступательный ход истории у Сен-Симона связан с идеей закономерности общественного развития. „Верховный закон прогресса человеческого разума,—говорит Сен Симон,—подчиняет себе все, надо всем господствует; люди для него только орудия... И хотя эта сила (т.-е. закон) исходит от нас, мы столь же мало можем избавиться от

[1] Сен-Симон, „О преобразовании европейского общества".

ее влияния или подчинить ее себе, как изменить по своему произволу действие силы, заставляющей землю вращаться вокруг солнца. Мы только и можем, что сознательно подчиниться этому закону (нашему истинному предвидению), отдавая себе отчет, который он нам предписывает, вместо того, чтобы подчиняться ему слепо. Заметим мимоходом, что именно в этом и будет заключаться шаг вперед, который суждено совершить философскому сознанию". Мы потому цитировали это место из сочинений Сен-Симона, чтобы обратить внимание читателей на фатализм, связанный с понятием закономерности в представлении нашего философа. Но цитированное нами место служит для многих исследователей (Мукле) доказательством, что Маркс ученик Сен-Симона. У Сен-Симона совершенно отсутствует представление о связи между неизбежным ходом исторического процесса и социальным действием, о природе и условиях возникновения последнего. Фатализм дает ему дар исторического предвидения и формирует его идею о прогрессе. И пусть нас при этом не обманывает то, что Сен Симон ждет спасения от эдикта королевской власти или от административно-финансового постановления совета индустриалов. Фатализм предполагает утопизм: ведь если неизбежно при всех условиях созревание известного порядка и столь же неизбежна деятельность в заранее предопределенном направлении человеческого коллектива, то тем самым активность людей есть ни что иное, как выполнение заранее выработанного плана. Вот почему, по мнению Сен-Симона, философ не изобретает систему, не творит конституцию, а ее подмечает. С этой точки зрения закон в представлении Сен-Симона есть нечто неизменное, это принцип. Закон всеобщего тяготения, к которому он предполагает свести и социальные явления, божественного происхождения.

В какой мере эта историческая реабилитация средневековья и фатализм общественного развития основа марксизма? Не правильнее ли здесь обратить внимание на связь этих идей с идеями реакционной послереволюционной литературы? И, безусловно, прав Виппер, когда утверждает, что эти передовые идеи философии истории у Сен-Симона, правда,—продукт буржуазного развития, но промежуточной средой для них служила реакционная школа [1]. Реакционеры протестуют против ломки и стройки новых конституций. В них де-Местр и Бональд видят „метапсихику". Они указывают в то же время на факт, который лежит глубже, чем политическая игра красок на поверхности общественной жизни. Социологический анализ реакционеров был, таким образом, шагом назад, и к ним примыкал Сен-Симон в борьбе с метафизикой политики и в интересе к социальному моменту. Но связь эта с реакцией не прямая: она не дает нам ключа к воззрениям С.-С., если мы одновременно не учтем, что Сен-Симон приспособляет свою реакционную идею к строю индустрии и идеологии капиталистической системы. Эта вторая сторона выступит перед нами ярко при разборе исторического процесса в представлении Сен-Симона.

Прежде всего Сен-Симон в оценке исторического процесса дуалист. При чем дуализм у него выступает в форме параллелизма двух основных факторов общественного развития. И поэтому не без основания Д. Б. Рязанов расценивает его, как идеалиста, а Мукле, скажем, как материалиста и предшественника Маркса.

„Первые люди,—читаем мы у С.-С.,—имели над животными, стоящими наиболее высоко после них на ступени организации, лишь пре-

[1] Р. Виппер: „Социальная философия Сен-Симона", журн. „Мир Божий", 1901 г., кн. 12.

восходство ума"... Появление языка повлекло за собой образование абстрактных понятий и разделение общих понятий, причин и следствий. С этого момента проведена была демаркационная линия, отделившая человека от животного. И этот исходный момент социальной истории человека связан с общим представлением о характерах общественного развития у философа. Когда Сен-Симон поэтому приступает к анализу развития Америки, он считает необходимым формулировать свою задачу так: выяснить, какой социальный строй вытекал из духа и нравов американского народа. Таким образом идеализм, без всяких оговорок, как бы характеризует учение Сен-Симона. И в самом деле присмотримся к его анализу общественного развития. Первые люди превосходят животных своим умом и памятью. Затем человеческий род находится в том состоянии, в каком его нашел Кук на берегах Магелланова пролива: люди живут в пещерах, не умеют строить себе жилищ, не признают над собой начальников, не умеют добывать огня. Дальше: люди построили жилища, подчиняются начальникам, имеют зачатки языка. Затем: полное развитие языка и полное подчинение начальникам связано с людоедством. И тут С.-С. замечает: людоедство возникло только после того, как люди достигли некоторого умственного развития. „Причина этому,—объясняет он,—очень проста: человек покушается на убийство себе подобного не раньше того времени, когда он изобретает смертоносное орудие нападения". Таковы начальные этапы прогресса. Дальнейшая эволюция выражается в появлении классов, в появлении религиозного культа и духовенства и, наконец, в дальнейшем развитии ремесла и прикладного искусства. Перуанцы и мексиканцы в том состоянии, в котором нашли их испанцы, умели уже обрабатывать металл и украшать им свои жилища. Но введение нового фактора (орудий производств) в историю отнюдь не должно означать, что с этого момента он определяет ход общественного развития. Египтяне сделали большие успехи в области искусства и ремесла, но эти успехи последствие решающего момента: изобретения условных письменных знаков и т. д. Подобный ход размышления над историческим процессом дают основание Мукле заметить: „Основным моментом исторического развития являются у С.-С. умственные успехи". Смена одной религиозной системы другой, как наиболее общее и высшее выражение всей суммы знаний эпохи, является стимулом исторического развития (вспомним закон трех стадий). Вот почему кризис Римской империи наступил тогда, когда политеизм сменился теизмом, а социальный кризис, переживаемый нами,—последствие поисков общей науки, единого принципа для социального переустройства. Отсюда и подобная схема новой истории Европы. Коперник низвергает научную систему мира и устанавливает новую: это подрывает здание христианской религии. Затем следует политическая революция Лютера. Он „ослабляет политическую связь", религиозный авторитет наук, соединявший Европу, и хочет подчинить Европу светской власти, но это ему не удается; снова научная система Бэкона опрокидывает старую систему знаний и Novum organum кладет начало открытиям. Галилей продолжает дело Коперника. Теперь факты лежат в основе знаний: христианство снова получает удар. Тогда приходит английская политическая революция XVII ст. Она устанавливает новый государственный порядок в Англии, но во Франции Людовик XIV довел страну до гибели тем, что он, подобно Карлу V, пытался подчинить всю Европу своей светской власти; новая научная революция Ньютона и Локка рождает новые капитальные идеи, они дают французам материал для энциклопедии. Отсюда

Великая Французская Революция. Она кончается неудачей. Но за нею должна последовать новая революция в науке, и она спасет человеческое общество от всяких революционных потрясений.

Такова в общих чертах та идеалистическая философия истории, которую мы находим у С.-С. на-ряду с „историческим материализмом".

Для Сен-Симона, как мы указали выше, „общество—это союз людей на основе трудовых связей". И эти связи он пытается вскрыть. Первые шаги человека связаны с его умственным развитием,—читаем мы у Сен-Симона. А в другом месте: „Какое громадное превосходство человек получил над всеми другими животными с той поры, когда научился добывать огонь и поддерживать его, изготовлять веревку и употреблять ее". И на это значение для исторического развития орудий производства С.-Симон указывает часто, но без всякой системы, повсюду подчеркивая, что влияние этого фактора, как и вообще всякого социально-экономического фактора, вторично: важнее всего ход умственного прогресса. Такое же отсутствие установившейся точки зрения мы обнаружим у С.-С. и в вопросе о роли географических условий для истории общества. Он понимает, что климат, фактор постоянно действующий, не может объяснить нам исторической действительности в ее развитии. „Рим, этот город, бывший резиденцией римских сенаторов, стал теперь местопребыванием паяцев, скоморохов и шутов",—пишет он. Однако особенности развития египтян, греков, римлян и сарацин, четырех народов, последовательно бывших авангардом человеческого рода, следует искать в том, что „они заселяли изолированные страны" [1]).

Политический строй не может служит объяснением социальных особенностей общества: Дания и Турция сугубо монархические страны, но тем не менее Дания страна с наиболее широкой свободой, а Турция—страна деспотии. Причины этому, как видно, следует искать не в формах правления. И Сен-Симон категорически утверждает: „Закон, который организует собственность, имеет наибольшее значение" и управление ею, учреждения для ее охраны—фундамент общества. Для Сен-Симона в индустрии коренятся, в конечном счете, общественные силы. Дуализм, однако, остается характерной особенностью его философии истории. „Прогресс человеческого ума,—читаем мы в „Науке о человеке",—революции, которые совершаются в ходе развития знаний, придают каждой эпохе ее характер", а в „Катехизисе промышленности" С.-С. заявляет: „Процесс индустрии наиболее позитивный по своим результатам, чем всякий другой". Сен-Симон исследует историю религии, он считает необходимым реорганизовать современное христианство, подведя под него научный базис. Современная наука должна стать ее фундаментом. Почему? Дело в том, что когда Иисус вверил своим апостолам „высшую миссию", тогда общество состояло из хозяев и рабов, цивилизация находилась в детстве; когда Лютер приступил к своим преобразованиям, он не учел, что „общественное устройство зиждилось уже на иных основаниях". Открытие Америки дало людям понятие о протяжении земельных владений, развитие наук привело к развитию промышленности. В XIX в., конечно, еще более чем во времена Лютера, необходимо христианство приспособить к прогрессу человеческого

[1]) В журнале „L'industrie" С.-С. объясняет особенности фр. революции тем, что Франция континентальная страна. Он пишет: „Если бы Франция была островом, ее революция была бы более краткой и менее жестокой..., но революция эта была бы более ублюдочной, неполной революцией"...

разума. Но эта блестящая и безусловно гениальная мысль для своего времени (зависимость религии от общественного строя) не уничтожает и другое утверждение: религия, и на ней построенное мировоззрение, остается регулирующим фактором истории.

С представлением о роли экономического фактора у Сен-Симона связана и оценка классов и классовой борьбы. Что такое класс? Сен-Симон вопрос этот поставил, но не мог дать удовлетворительного ответа. Он не вскрыл происхождение класса из экономической жизни общества. Классы перед нами прежде всего выступают как идеологические группы. Так, в Египте впервые по Сен-Симону появление классов относится к разграничению духовной власти и светской, отделению жрецов от народа. И это определение класса соответствует идеалистической философии С.-С. Но классы образовались и другим путем: завоевание—повивальная бабка классового деления общества. „Когда франки победили галлов и разделили между собой территорию, они оказались в одно и то же время вождями промышленников и предводителями военных сил в стране". Галлы превратились в орудия производства, они были прикреплены к земле. Но крестовые походы и нужда в деньгах франков повлекли за собой освобождение крестьян-галлов за выкуп. Франки снабдили за деньги галлов землей, таким образом создан был промышленный класс, как класс отличный от военного сословия. Крестовые походы вызвали роскошь дворян. „Вежливость мужчин способствовала развитию кокетства женщин, а женщины, став кокетками, усвоили себе вкус украшений" и т. д. Так промышленность получила импульс для развития. Значение промышленного класса росло. В интересах этого класса была централизация власти и в XV в. образовалась лига между королевской властью и промышленностью против дворянства, „между королем Франции и галлами против потомков франков". В дальнейшем дворянство и королевская власть все более и более попадает под опеку промышленного класса. В 1789 г. революция пыталась, но безуспешно, покончить с властью франков, и только теперь открытие новой науки даст возможность завершить с успехом исторический процесс. Как мы видим, у Сен-Симона довольно смутное представление о том, что такое класс и о процессе его возникновения. И когда С.-С. утверждает, что до 1789 г. во Франции существовали три класса: дворяне, городское сословие (буржуазия) и промышленники, а после революции два—буржуазия и промышленники, то он делает лишь один шаг вперед по сравнению с идеей „трех сословий" в представлении аб. Сийеса. Но несколько яснее преставление у Сен-Симона о ходе классовой борьбы промышленников и дворян. Он отдает себе отчет в сущности буржуазной революции. Он пишет: причину революции надо искать в том, что „нашей существенно промышленной управляет существенно феодальное правительство". Здесь пробивается представление о диалектическом процессе развития, но только пробивается. Диалектика остается чуждой Сен-Симону. Правда, Сен-Симон устанавливает разницу между органическими и критическими эпохами. Но мы видели, что научные революции влекут за собой революции политические, однако установление индустриального строя, победа новой системы позитивной науки освобождает общество от всякой революции. Здесь мы подходим к чрезвычайно интересной черте в мировоззрении Сен-Симона. Свою социальную философию он черпает из противоречий между феодальной и буржуазной системой. Поэтому размах его научной мысли, предел его философского анализа не выходит, так сказать, за рамки социальных

противоречий этих систем. И ошибочно будет предполагать, что, развивая свою социальную философию, он дает что-либо больше, чем он может дать в переходную эпоху от феодализма к капитализму. Мы увидим еще в дальнейшем, что Сен-Симон ни одним словом не пытается вскрыть сущность, тайну капиталистического производства ни в смысле экономическом, ни в смысле социальном. Но именно поэтому ему чужда идея диалектики, именно поэтому он не может вскрыть корней социальных отношений и основные стимулы общественного прогресса. Не случайно, что именно Маркс распознал тайну исторического процесса, не случайность, что пролетариат дал идеолога, который смог разгадать сфинкса и, говоря словами Плеханова, дать ключ к вопросу о связи между „средой и мнением". Многие из исследователей Сен-Симона готовы признать, что Маркс проделал большую работу, создал систему из отдельных мыслей Сен-Симона. Так, Мукле опровергает утверждение Барта, который в своей книге „Философия истории, как социология" отрицал всякую оригинальность за марксистской философией истории. Но ошибка Мукле в том, что он „новое количество не переводит в другое качество". Дело, конечно, не в том, что Сен-Симон дал зародыши идей марксизма. Сен-Симон мог дать систему, которая имела своим источником предшествующее историческое развитие и конкретную историческую среду, так как их мог понять идеолог индустриализма. Вот почему он не является предшественником Маркса в таких вопросах, как диалектика или экономическое понимание истории. Маркс, конечно, ничего общего не имеет с фатализмом исторического процесса, теорией классов или, наконец, с дуализмом философии истории С.-С. Но чем же тогда объяснить общее в учении Сен-Симона и Маркса? Это-то и заставило Кунова, Экштейна и даже Мукле выяснить корни марксистских идей у Сен-Симона. И, как следовало ожидать, сен-симонизм, как философия истории, оказался наследством идей фрранцузской революции. Мысли С.-С. оказались не „открытием", а лишь новой формулировкой того, что провозглашали, скажем, Тюрго, Рейналь, Барнов, Кондорсе. Сен-Симон подытожил опыт своих предшественников. Кунов поэтому отрицает всякую оригинальность за Сен-Симоном. Он цитирует Рейналя, автора книги: Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes (1774) и с полной убедительностью доказывает нам, что постановка вопроса о связи между промышленной жизнью и нравами у Рейналя еще более яркая, чем у Сен-Симона. Мы позволим себе процитировать одно из подобных указаний Рейналя: „Мануфактуры способствовали развитию умов и науки. Факел индустрии осветил далекий горизонт... Механика способствовала развитию математики. Все ветви единого ствола научного дерева развивались в связи с прогрессом искусства и ремесла. Горное дело, мельницы, суконная фабрикация и искусство окрашивания тканей расширило историческое значение физики и естествознания"... Таким образом Рейналь в объяснение связи между наукой и промышленностью стоит выше, чем Сен-Симон. Но последний уступает и Марату в остроте классового анализа хотя бы потому, что Марат ясно видит роль классовой борьбы между имущими и неимущими в ходе общественного развития. Что касается значения института собственности для образования социальных групп, роль промышленности в победе третьего сословия над феодалами, то и здесь сен-симонизм имеет предшественников. Укажем хотя бы на Барнава, которого почему-то Мукле даже не упоминает. Барнав один из деятелей Вел. Фр. революции в своем „Введении во фр. революцию" делает попытку материалистического

объяснения истории. „Там, где,—пишет он,—единственным источником дохода служит земля, крупные имения должны поглотить мелкие; тогда как там, где промышленность и торговля являются источниками дохода, там последним и определяется развитие хозяйства“ „Новое распределение богатства,—продолжает Барнав,—вызывает новое распределение власти. Как владение землей возрастило аристократию, так индустриальная собственность приводит к народовластью“. Как видим, и здесь есть нечто общее с Сен-Симоном (но и с Марксом).

Итак, тот круг идей, который как бы превращает Сен-Симона в марксиста, относится еще к XVIII в., и Рейналь, и Барнав, а также Тюрго таким образом могут быть причислены к „марксистской“ или „сен-симонистской“ школе. Безусловно, все эти изыскания построены на недоразумении. Маркс, творец исторического материализма, отнюдь не имеет ничего общего с „экономическим материализмом“, свободным от революционно-классового содержания и пролетарской почвы, на которой он вырос. Сен-Симон с Рейналем и Барнавом дети одной эпохи, хотя различных ее периодов, но Маркс—идеолог новой эпохи, нового класса. Его учение восприняло литературное наследство прошлого, но это не значит, что оно механически его продолжает.

Значит ли это, что философия истории Сен-Симона лишена какой бы то ни было оригинальности и самостоятельного значения? Нет! Это не так. Сила Сен-Симона не только в одном абстрактном теоретическом мышлении. Он хочет создать систему „позитивной политики“ и там, где он пытается формулировать основы индустриальной системы на базе своего научного анализа, он становится оригинальным. Он здесь, если угодно, продолжатель философии XVIII в., но и ее преодоление, так же как эпоха послереволюционная во Франции, не есть только продолжение старого порядка и революции, а ее „качественное“ изменение. Считать Сен-Симона учителем Маркса мы имеем право с тем же основанием, как считать Маркса учеником энциклопедистов и материалистов XVIII в. Но философия Сен-Симона безусловно кульминационный пункт буржуазной идеологии реставрационной эпохи.

III.

Сен-Симон—творец новой научной системы—не чужд грешной земле. Он живо реагирует на все события современности: дает им оценку, ищет выхода и стремится помочь своим ближним. Ему смешны те ученые, которые в своем кабинете забывают о кровавых событиях современности. „Господа, изучающие неорганизованную материю, бесконечно малые величины, алгебру и арифметику,—обращается он к ученым в „Науке о человеке“,—кто дал вам право занимать теперь передовые научные позиции? Человеческий род переживает кризис, наиболее сильный из всех, испытанных им с момента своего существования; какие усилия делаете вы, чтобы закончить этот кризис? Какими средствами располагаете вы для восстановления порядка в европейском обществе. Вся Европа истекает кровью, что вы делаете для прекращения этой бойни? Ничего! Мало того. Именно вы совершенствуете средства разрушения, именно вы руководите их употреблением; во всех армиях вы стоите во главе артиллерии; вы руководите атаками городов“... Ученые, по словам Сен Симона, не занимаются наукой о человеке, они заимствовали в ней только одно наблюдение, что выгодно льстить сильным мира сего. „Оставьте управление научной мастерской,—обращается философ с призывом к ученым,—пустите нас согреть ее (науку о человеке. *Ц. Ф.*), сердцу, которое застыло под вашим председательством. Мы сосредоточим все внимание науки на работах, которые, реорганизуя общество, могут привести к всеобщему миру. Откажитесь от председательства, мы заменим вас!“ В этом отрывке весь Сен-Симон с его горячей верой в науку, с его болью за горести человечества. Он отчаялся в благоразумии ученых, и, не отказывая им в их талантах, он передаст вскоре инициативу успокоения Европы в руки ученых-практиков, индустриалов.

Большинство произведений Сен-Симона написаны в связи с выработкой какого-либо плана спасения Европы. Уже в „Письмах“ (1802 г.) организация Совета Ньютона предполагает внести успокоение в общество, где пока царствует анархия. „Всеобщее тяготение“ (1813 г.) имеет в виду найти „средство заставить англичан признать независимость флота“. В этом произведении Сен-Симон обращается со смелым призывом к Наполеону отказаться от планов покорения мира, и новой наукой, построенной на едином принципе, божественном законе „всеобщего тяготения“, он думает убедить его в своей правоте. Все остальные произведения посвящены той же цели. Раньше ученые, потом индустриалы и, наконец, сторонники новой морали любви к ближним должны иметь в виду, что только они в состоянии возвратить спокойствие Европе, преобразовать европейское общество. „Время не ждет,—обращается он лишний раз к ученым,—кровь льется, поспешите высказаться!“ Он советует для быстроты и решительности делегировать от каждого европейского научного общества по одному или нескольким депутатам в Рим с полномочием избрать папу, который возьмет на себя руководство возрождением Европы. Но оставим в стороне эти средневековые, утопические планы философа. Нам важно здесь отметить, что связь с современностью не только лейтмотив его творчества, больше того, вся его научная система, как и философия истории и мораль, только средство в его практической политике по преобразованию и успокоению Европы. К сожалению, до сих пор исследователи мало уделяли внимания публицистике Сен-Симона, больше его философии—истории и „социализму“.

Сен-Симон пережил Вел. Революцию и империю, он жил в эпоху формирования буржуазного государства и, следовательно, в эпоху обостренной классовой борьбы, феодальной и капиталистической системы. На его глазах политические формы рушились, как карточные домики. Он, как мы указывали выше, вместе с реакционными философами обратил свое внимание на социальный момент, но не отказался от идеи изобрести (по мнению Сен-Симона, „подметить“) новую, наилучшую политическую форму для общества. Для этого, конечно, политика должна была стать позитивной наукой, частью общей научной системы... „Прогресс человеческого ума дошел до того,—пишет он,—что наиболее важные суждения о политике могут и должны быть непосредственно выведены из познаний, приобретенных в высших науках и в области физики. Придать политике положительный характер—вот цель моего честолюбия“... Политика должна стать позитивной наукой, и лица, которые занимаются этой наукой в юности, должны надлежащим образом изучить все отрасли знания и в особенности физиологию, чтобы в будущем, в занятиях государственных, они могли „рассматривать задачи, предлагаемые им на разрешение, только как вопросы гигиены“. Но общество есть трудовая связь людей. Вот почему та часть позитивной науки, которая называется политикой и которая теснейшим образом связана с физикой и физиологией, должна быть наукой, построенной на изучении производства“, т.-е. наукой, ставящей себе целью установление порядка ве-

щей, наиболее благоприятного всем видам производства. Политика таким образом не что иное, как политическая экономия. Однако в области экономической меньше всего проявился гений Сен-Симона. Он черпал свои экономические идеи у Сея, и можно сказать с полной категоричностью, что в его произведениях нет ни одного абзаца, где бы он рассматривал значение машины, этого регулятора экономической жизни своего времени. Все внимание Сен-Симона направлено на область „чистой" политики, организации государственной власти и классовой борьбы. Его политика, как наука, построена не на экономике, а на истории. История должна стать наукой, чтобы политика могла управлять человеческим обществом. История пока не вышла из детских пеленок, и не напрасно ее называют „требником королей", но этот требник ничего не стоит. Дело не в собирании фактов, более или менее точно доказанных. Надо эти факты объединить общей теорией, и только тогда история сможет стать наукой, т.-е. сможет давать и королям, и подданным необходимые указания о том, что произойдет в результате того, что произошло. До сих пор существовали национальные истории, но никто еще не написал истории человеческого рода, так как никто еще не стал на „общую точку зрения". История должна стать наставницей жизни. Но где будет взята эта „общая точка зрения"? Мы выше говорили о значении „единого принципа" в научной концепции Сен-Симона. Поиски подобного принципа—бесспорно наследие XVIII века [1]).

Но, если история наставница жизни, то бывают такие эпохи, когда жизнь направляет интересы историка и руководит им в его исследовательской работе. Более чем когда-либо это верно по отношению к эпохам революционным. Два момента определили характер „общей точки зрения" философа: Вел. франц. револ. и прогресс индустрии. Этот опыт может быть объединен: речь идет о судьбе промышленного класса. Боязнь революции, стремление избежать ее в дальнейшем, при окончательном формировании индустриального строя,—вот собственно импульс социально-политического реформаторства Сен-Симона. Но боязнь революции не может избавить буржуазию эпохи реставрации от необходимости бороться за свой политический идеал. Эта борьба должна быть мирной, ее успех покоится на тенденции исторического развития: борьба общин за свои права, помощь короля, Фр. революция и роль промышленных интересов в эпоху империи и реставрации свидетельствуют о неизбежности победы индустриальной системы, помимо революции и против феодалов и народных низов. Пример Америки и судьба Англии должны служить иллюстрацией этой основной мысли.

Мы утверждаем: в боязни и осуждении революции 1793 года импульс социально-политического реформаторства Сен-Симона. И в самом деле. Сила имущих в их просвещении. „Вы очень малочисленны,—обращается он к собственникам,—по сравнению с теми, кто не имеет собственности; почему же они вам повинуются? Потому, что превосходство вашего просвещения дает вам способ объединить свои силы, а это, обыкновенно, дает перевес в борьбе, которая по самой природе вещей всегда происходит между ними и вами". Итак, между имущими и неимущими возможна беспрерывная гражданская война. Имущие должны принять срочные меры, предлагаемые Сен-Симоном, иначе произойдут несчастия для собственников всей Европы,

[1]) Еще Ф. Энгельс, а за ним и Плеханов установили особенность утопического социализма вообще в его связи с философией XVII в.: апелляцию к „естественному праву" и „природе человека". У С.-С., в отличие от Фурье и Оуэна, эта природа, однако, совпадает с „идеализированным индустриалом".

какие перенесли уже богатые во Франции. Да, богатые должны избегать ссор с учеными, должны поддержать их проекты реорганизации общества, иначе они заставят их искать союза с неимущими.

К Великой революции больше всего были расположены люди низшего класса, и ими руководила страсть к равенству. „Люди, принадлежащие к последнему классу, были расположены больше всех к равенству в силу своего невежества". Они неистово отдались этой идее, а „целью страсти к равенству было разрушение социальной организации, существовавшей в момент ее взрыва". Сен-Симон не перестает пугать своих читателей призраком революции. Ненависть к революции и определяет его отрицательное отношение к критическим эпохам, его поиски мирных средств для перехода к новому строю. Вот почему он неоднократно подчеркивает momento mori: помните о страшной эпохе террора, когда власть неимущих породила голод и угрожала уничтожением богачам и всем собственникам. Но Сен-Симон умеет не только пугать буржуазию призраком революции, он умеет ее во-время успокоить. Как странно звучит в устах социалиста или даже друга народных масс следующая тирада: „Теперь, когда национальная гвардия организована по всей Франции, когда милиция эта, по существу своему свободомыслящая, главным образом составлена из собственников, когда в числе командующих ею офицеров мы встречаем всюду главнейших землевладельцев, наиболее крупных промышленников, богатейших негоциантов, теперь, когда всюду пролетарии разоружены, возможно ли опасаться восстания якобинцев?" Нам могут сказать, что ненависть к революции является общей чертой утопического социализма, но не забудем при этом, что у Оуэна, Фурье ненависть к революции идет рука об руку с критикой порожденного ею капиталистического строя. Но Сен-Симон видит только позитивные стороны этой системы [1]).

Для Сен-Симона характерна вообще ненависть ко всякому массовому движению. Для него преобразователей строя, исторически подготовленного, будет герой, какая-нибудь сильная личность. Так научная система будет создана „одной личностью". Но не только научная система. „Если внимательно вникнуть в идеи, которые руководят правительством во всех отдельных отраслях управления, то можно заметить, что все эти идеи были в свое время открыты гениальными людьми. Следовательно, гениальные люди просвещают правителей так же, как и управляемых. Этого гения он ищет и в Бонапарте, и в Людовике XVIII. Королевская власть—самое мощное орудие осуществления индустриальной системы и „просвещенный абсолютизм", обоснование которому дает С.-С., лучшим образом характеризует ту промышленную группу, интересы которой он представляет. Ведь не только империя Наполеона была эпохой буржуазной диктатуры, Бурбоны существовали долгое время благодаря поддержке буржуазии, крупных индустриалов и капиталистов-землевладельцев. Утописты тем и отличаются от научных социалистов, что они не верят в массовое движение, но ни у кого из них, как у Сен-Симона, эта массо-боязнь не приняла такой формы, как у нашего философа. Боязнь революции и ненависть к неимущим, носителям политической власти, привела его к теории просвещенного абсолютизма.

Постараемся кратко изобразить ход исторического развития, который привел к победе индустрии, как решающего фактора. Мы во второй главе познакомились с теорией возникновения классов по Сен-

[1]) Любопытно, что Оуэн под понятием революции, имеет ввиду социальную революцию, а Сен-Симон исключительно пример прошлого: 1792—1794 г.г.

Симону. Мы видели, как побежденные галлы выкупили свою личную свободу и землю у дворян, как роскошь последних и кокетство женщин в связи с крестовыми походами создали промышленность. В дальнейшем развитие промышленности было причиной борьбы общин против феодалов. Но, как отмечает Иванов в своей книге о Сен-Симоне в отличие от О. Тьерри, он в союзе короля с общинами видел причину их успехов. В дальнейшем во Франции союз королевской власти и промышленников против феодалов способствовал дальнейшему подъему индустриалов, а в 1789 г. была сделана попытка утверждения промышленного строя. „Общественные группировки потеряли свою силу, сословное деление не представляло больше преимуществ и неудобства его чрезвычайно возросли". Правительственная власть требовала выполнения обязанностей, но не предоставляла гражданам прав, и она должна была пасть. Революция, однако, только в начале казалась чисто промышленной, она скоро потеряла этот характер. Ее падение—результат деятельности не промышленных классов, буржуазии, т.-е. военных не дворянского происхождения, юристов, разночинцев и рантьеров. И это-то было причиной, почему она, в конце концов, попала в руки правительства невежественных классов. Оценка фр. революции не лишена ясности. С.-Симон прежде всего видит ошибку революции в провозглашении декларации прав человека. Оно было следствием невежества французов: они отвыкли от прав гражданина. „Не будучи в состоянии требовать блага, которое уже не сознавалось ими, они отдались неясным и неопределенным стремлениям к воображаемому благу; будучи невежественными в политике, они обратились к природе". Они не знали границ своих мечтаний. „Пусть исчезнут вдруг границы полей, и не будет больше собственности; каждый захочет владеть всем",—с осуждением замечает Сен-Симон. Вспомним споры в Национальном Собрании по вопросу о провозглашении декларации и нам станет ясной близость Сен-Симона к тем группировкам, которые отрицали необходимость этой декларации. Нельзя давать народу, говорили представители финансовой и промышленной знати Франции (городской и сельской), подняться на вершину горы, чтобы он мог обозреть все сокровенные тайны социального строя. Сен-Симон в первый период революции принимал в ней живейшее участие. Он отказался от своего титула и считал необходимым обратиться к Нац. Собранию с общим предложением по этому вопросу. Но Сен-Симон возмущается, что в дальнейшем ряд привилегий был уничтожены без выкупа и, как только революция стала народной, он занялся земельной спекуляцией. В дальнейшей своей философско-публицистической деятельности С.-С. много сделал для защиты собственников национальных имуществ и проектировал даже их объединение, создание союза новых земельных собственников. Сен-Симон во имя интересов промышленного класса выступает против Робеспьера, как и против Директории. Он после краткой поддержки Наполеона обращает свои взоры на Бурбонов и по существу не считает нужным радикальное изменение или уничтожение этой политической власти.

Революция по Сен-Симону таким образом установила две важные вещи: „быть управляемым стеснительная штука", но „отсутствие всякого правительства еще худшее зло". Революция дала ему и третий урок, приобщим мы от себя. Говоря словами С.-С.: „Опыт показал, что правительство невежественного класса было наиболее несносным из всех. Счастье, что власть не может долго оставаться сконцентрированной в подобных руках". Но революция не закончила своего дела. Преувеличивают, когда утверждают, что она уничтожила феодальные и теологические власти, она подорвала только доверие к тем принципам, которые

составляют их основу. Задача построения нового общества впереди. Англия и Америка могут дать необходимые указания, как построить его.

Как видим, революция, к которой С.-С., вообще говоря, относится отрицательно, однако не отметается им в его политических расчетах и планах социальных реформ. С.-С. имеет совершенно определенную точку зрения на события революции. Его сочувствие всецело на стороне первых шагов революции, всецело против ее социального и народного характера. Но посмотрим теперь, что дает ему опыт изучения Америки и Англии для дальнейших построений.

Многие биографы считают, и не без основания, что наблюдение за промышленным развитием Америки привело впервые С.-С. к его идее индустриализма. В письме к американцу С.-С. пишет: „То, что доныне считалось мечтанием, что отнесено к фикциям, здесь, наконец, осуществилось" [1]). В Америке правители употребляли все свои силы и всю свою власть, чтобы обеспечить личную и общественную свободу. Бок-о-бок двигалось улучшение жизни индивидуальной и общественной, и, наконец, „ежедневный беспримерный рост населения, просвещения и богатств этого общества" служили гарантией американской свободы и уроком Европе. Англия наиболее промышленная стр на в Европе, и, конечно, интерес к ней Сен-Симона соответствует интересу его к индустриальному строю вообще. Но в вопросе об Англии мировоззрение С.-С. знало два этапа: энтузиазм и восторженное отношение сменились критической оценкой. В своей работе „О преобразовании европейского общества" Сен-Симон ищет выхода из угрожающей как Франции, так и Англии революции и видит выход в создании по образу и подобию Англии парламента во всех европейских странах и общеевропейского парламента. Этот парламент прежде всего должен быть построен на принципе сочетания властей: власть общих интересов (короля), власти частных интересов (палаты общин) и власти регулирующей (палаты пэров). И когда он конструирует всеевропейский парламент, он не забывает упомянуть о высоком цензе, необходимом для участия в этом парламенте. „Собственность создает прочность правительства,—читаем мы у Сен-Симона,—но только тогда, когда она не отделена от просвещения". Каждый из членов палаты общин должен обладать по меньшей мере 25.000 франков поземельной ренты. Член палаты пэров должен обладать 500.000 франков поземельной ренты. Если ученые не обладают этой собственностью, они должны быть наделены ею. При подобной организации национальной и европейской власти возможно будет достигнуть устойчивости правительственного режима и избежать революции. Разве не политический строй Англии дает ей перевес, как экономической силе? Так рассуждает С.-С. в первое время. Но в „Катехизисе промышленника" его отношение к Англии изменилось. Франция не должна повторить английского примера. Англия построена не на базе единого принципа индустриальной системы, а на смешанном принципе, соединении феодальных элементов с индустриальными; ее социальная система „привела в действие одновременно феодальный принцип и промышленный". Это смешение коренится в истории обоих народов. Англия обязала дворян, юристов, рантьеров и чиновников вести национальные дела в интересах промышленности, французская революция уничтожила дворянство, а остальные промышленные классы подчинила приказу промышленников. Смешение двух принципов приводит Англию к постоянным кризисам, поддерживает

[1]) „Письма к американцу" из журнала „Промышленность или рассуждения политические, моральные и философские" за 1817 и 1818 г.г.

непрерывный кризис в стране; Англия „больна бледной немочью", чтобы вылечиться ей нужно перестроить общество, положив в основу единый принцип. Но какие моменты характеризуют феодальные пережитки в общественном строе Англии? „Так, у них мы замечаем существование пресса матросов (насильственная вербовка людей в матросы),—пишет С.-С.,—рядом с законом Habeas corpus; там можно видеть пастуха, ведущего одновременно свою жену и овцу. Он продает свою жену за шиллинг, не подвергаясь никакому наказанию за унижение женщины, с которой он обращается, как со скотиной, и рискует поплатиться штрафом в 5 фунт. стерлингов за грубое отношение к своей овце. Богатый, многочисленный и по преимуществу промышленный город Манчестер не имеет представителя в парламенте, между тем как какой-нибудь лорд, собственник земли, на которой расположены местечки, ныне совершенно оставленные, посылает сам до 10 депутатов, которыми он пользуется для поддержания своих феодальных интересов, для возможно большего увеличения своего политического значения и чтобы вынудить у министра крупную взятку за счет народа. Сто томов in folio, напечатанных наиболее мелким шрифтом, было бы недостаточно для того, чтобы дать отчеты о всех органических непоследовательностях, существующих в Англии" [1]). Мы преднамеренно привели столь длинную цитату, чтобы выявить социальную сущность политики Сен-Симона. Англия начала XIX века страдает уже не только от пережитков феодализма, но и от противоречий капиталистической системы. Но „рабочего вопроса" Сен-Симон не желает видеть и, когда он возмущается пастухом, продающим свою жену и овцу за шиллинг, он ни словом не обмолвился об аграрной революции и социальном порядке, породившем подобное явление. Но зато сколько внимания вопросу о реформе избирательного права в интересах промышленников! Наблюдения над Англией и Америкой убедили Сен-Симона в значении индустриальной системы, и к построению ее и соответствующего ей политического порядка во Франции С.-Симон приступает. Он хочет только, чтобы в отличие от Англии индустриальная система Франции не страдала непоследовательностью,—словом, он ищет конституцию идеальной индустриальной системы.

Искусство управлять сводится к умению организовывать производство. Политическая экономия должна занять подобающее ей место. „В начале она опиралась на политику, политика теперь должна опираться на нее, или вернее она будет включать в себя всю политику". Но политическая экономия у Сен-Симона не всегда означает теорию капитализма, это скорее политика, имеющая в виду интересы производства прежде всего. „Производство полезных вещей—единственно-разумная и положительная цель, которую могут ставить себе политические общества, и, следовательно, принцип уважения производства и производителей бесконечно более плодотворен, чем принцип уважения собственности и собственников". Подобное утверждение Сен-Симона связано с его представлением о сущности капитала. Капитал и труд—нечто единое. Надо стремиться к тому, чтобы „трудящийся капиталист" не только в области индустрии обладал свободой по отношению к кредитору, владельцу денег, но и в области земледелия; надо дать победу капиталистическому земледелию над феодальным. Концентрированная собственность—идеал Сен-Симона. Сен-Симон ставит интересы производителей выше интересов собственников. Можно здесь, при желании, видеть социалистическую идею,

[1]) „Катехизис промышленников", вторая тетрадь.

но следует не забывать, что здесь интересы производителей противопоставляются не собственности вообще, а исключительно феодальной собственности. Капиталистическая собственность—трудовая собственность. И там, где Сен-Симон считает возможным изменение института собственности, он имеет в виду исключительно революцию против феодальной собственности. В промышленности и в промышленных идеях можно найти спасение и окончание революции, утверждает Сен-Симон. „Я полагаю, что единственной целью, к которой должны быть направлены все наши мысли и все наши усилия, является строй наиболее благоприятствующий промышленности, понимаемый в наиболее широком смысле этого слова, охватывающий собой все виды полезных работ". Этот строй имеет в виду промышленную теорию и ее приложение физический труд, как и умственный, такую политическую власть, где деятельность направлена лишь в сторону устранения всего того, что мешает полезным работам, правление, „где все подчинено тому, чтобы рабочие, соединение которых составляет истинное общество, могли непосредственно и с полной свободой обмениваться между собой продуктами их промышленных работ; такое, наконец, правление, где общество, которое одно лишь знает, что ему приличествует, чего оно хочет и что предпочитает, было бы также единственным судьею достоинства и полезности работ". В таком обществе производитель от потребителя будет ожидать вознаграждения за свои услуги, и только после организации подобного общества люди будут делать сознательно и с большим результатом то, что они до сих пор делали слепо, нерешительно и неплодотворно. Так рисует нам Сен-Симон свой идеал индустриального общества, в котором все построено на принципе ассоциации производителей и гармонии труда. Это общество „сделает прыжок из царства необходимости в царство свободы". В идее ассоциации производителей Мукле видит зародыш социализма, но ассоциация производителей у Сен Симона только идеализация капиталистической игры производительных сил. Идея ассоциации не имеет ничего общего с идеей обобществления, хотя бы потому, что для Сен-Симона она уже почти целиком реализована во Франции эпохи реставрациии. Передача власти в руки индустриалов только оформит и завершит тенденцию развития. Ведь конституцию общества не находят, не изобретают, а только подмечают. „В обществе, где все участники вносят свои способности и свою долю ценностей, господствует дух ассоциации,—пишет Сен-Симон,—там нет другого неравенства, кроме того, которое несоответствовало бы способностям и внесенным долям (паям). Устранение подобного неравенства бесемысленно, смешно и преступно. Каждый получает ту долю материальных благ и достигает того значения, которое соответствует его способностям и взносам". По этому поводу Экштейн замечает: все это соответствует ассоциации, как ее понимала манчестерская школа. Что именно так, а не иначе следует представлять себе идею ассоциации в индустриальном обществе, станет нам особенно ясно при ближайшем рассмотрении состава индустриального класса и организации индустриальной власти [1]). Индустриал противопоставляется Сен-Симоном буржуа и дворянину. В „Le parti national ou industriel comparé au parti antinational" (1819 г.)

[1]) Знаменитая мысль Сен-Симона о замене управления людьми управлением вещей по существу ничего общего не имеет с представлением марксизма об „отмирании государственной власти". Эта мысль С.-С. безусловно связана у него с либеральным представлением о роли государственной власти, которая не должна вмешиваться в общественную жизнь. Его взгляд на государство не мешал ему быть сторонником просвещенного абсолютизма и создать проект авторитарного государства имущих над неимущими.

наш философ дает нам примерно следующую схему современного общества. К индустриальной партии принадлежат те, кто 1) выполняет непосредственно полезные работы для общества; 2) те, кто руководят работами или которые вложили в предприятие капитал; 3) те, кто выполняет работы, полезные для производителей (ученые, художники); к антинациональной партии относятся: 1) потребители, но не производители, 2) выполняющие бесполезные работы (легисты) и 3) политические враги индустриалов. Мы можем уточнить понятие индустриала в представлении Сен-Симона. В знаменитой „Параболе" дан следующий список индустриального класса помимо ученых, художников, инженеров и часовых дел мастеров: банкиры, купцы, земледельцы, заводчики и фабриканты оружия, кожевники, красильщики, горновладельцы, владельцы фабрик сукна, шерсти, шелка, полотна, железных изделий, фаянса и фарфора, хрусталя и стекла. Судовладельцы, типографы, гравера и ювелиры и проч. рабочие по металлу. Каменщики, плотники, кузнецы, столяры, слесаря и т. п., „различные профессии, наиболее способные в науках, в изящных искусствах и ремеслах". К ним причислены три тысячи лучших ученых, артистов и ремесленников Франции; при этом дано примечание, которое гласит: „Обычно ремесленниками называют только простых рабочих. Во избежание недоразумений мы понимаем под этим названием всех тех, кто занимается материальным производством, а именно: землевладельцев, фабрикантов, коммерсантов, банкиров и всех служащих или рабочих, которых они употребляют". И, наконец, суммируя свой анализ класса индустриалов в „Катехизисе промышленника" (тетрадь первая), он, в ответ на вопрос: „Что такое промышленник?", отвечает: „промышленник—это человек, работающий с целью производить или доставлять различным членам общества одно или несколько материальных средств для удовлетворения их потребностей или их физических наклонностей... Все промышленники, взятые вместе, образуют три большие класса, называемые хлебопашцами, фабрикантами и купцами". Если угодно в этом анализе состава индустриального класса—ключ к пониманию Сен-Симона. Прежде всего бросается в глаза смешение всех капиталистов и рабочих в один класс производителей. Если он проводит какие-либо борозды в социальном теле, то только отделяя производителей от непроизводителей. К непроизводительным классам относится дворянская знать, крупные землевладельцы, буржуазия, рантьеры, „нетрудящиеся капиталисты". Рабочие—часть индустриального класса. Кажется странным, почему Сен-Симон в области политической ясно представляет себе, что такое „неимущий класс"? Он им пугает индустриалов, он в них видит угрозу для общества. Но, приступая к анализу индустриализма, С.-С. теряет из виду это разграничение: рабочий и капиталист—члены одного класса. Поэтому индустриальная система предполагает следующее разделение труда: „я думаю,—пишет он,—что всем классам общества будет хорошо при таком устройстве: духовная власть в руках ученых, светская—в руках собственников; власть же выбирать людей, призванных выполнять обязанности великих вождей человечества—в руках всего народа; заработная плата—народу, правителям—уважение". Или еще яснее: „на каждого возложена обязанность постоянно давать своим силам употребление, полезное для человечества; руки бедняка продолжают кормить богатого, богач получает повеление работать головой, а если его мозг неспособен к работе, то он принужден будет работать руками" [1]. Это разделение прав и обязанностей в общем и целом

[1]) „Письма женевского обывателя к современникам".

повторяет формулу „старого порядка" о распределении обязанностей между тремя сословиями: дворянство служит мечем, духовенство—молитвами, третье сословие платит налоги. Феодальные термины заменены капиталистическими, но сословная по существу организация общества остается. Небольшое замечание. Когда С.-С. отдает власть избирать в руки народа, то не следует ошибаться: он меньше всего предполагает идею народного суверенитета. Эта идея отклонена им, как метафизическая. Ведь общество потому пострадало от неимущих классов во время их господства, что число правителей было большое, их обязанности оплачивались, „чтобы,—как пишет С.-С.,—дать доступ к управлению людям неимущим". Нет, власть в обществе должна принадлежать не собственникам вообще, а крупным капиталистам. Как в вопросе о представительстве в парламент, так и в вопросе организации власти ценз играет существенную роль, и там, где С.-С. говорит о собственности, он не забывает прибавить крупная собственность. Этому положению Сен-Симон дает теоретическое обоснование в четвертой тетради „Катехизиса промышленности": „богатые,—читаем мы там,—всегда будут пользоваться преимуществом над бедными,—посвящать больше времени своему образованию, так что общая доктрина будет им преподаваться более распространенно, чем бедным". Но философ нас утешает: образование бедных будет поставлено так хорошо, что богатые не смогут злоупотребить своим знанием. Мы готовы поверить этой особенности идеализированного капиталистического общества, свободного от своих социальных противоречий...

Мы возвращаемся к идее ассоциации. После анализа состава индустриального класса нам стало ясно одно; речь здесь идет не о гармонии труда и капитала в смысле Фурье, а о чем-то другом. Ассоциация построена на фиксации существующей формы буржуазной собственности, классовых противоположностей, ею созданных, но только без классовых конфликтов и революции, которые исчезают на завтра после научной революции и введения индустриальной системы. Но идея ассоциации имеет в себе еще одну особенность. Перед нами организация не одной какой-либо группы промышленного класса, а класса в целом: это универсальная социальная форма власти индустриалов. Мы подчеркиваем эту особенность доктрины Сен-Симона. Буржуазия, как и всякий класс, проходит сложный путь своего развития. Она становится классом, в обоих смыслах этого слова, лишь в результате длительного процесса исторического развития. Во Франции на протяжении большей части XIX ст. идет борьба за создание универсальной формы государственной власти, представляющей интересы не той или другой группы буржуазного класса (финансовой, промышленной, мелкой буржуазии), а класса в целом. С.-С. дает нам эту универсальную форму. Вот почему такую большую роль в его доктрине играют банки и банкиры. „До XVIII в. земледельцы, фабриканты и купцы образовали только отдельные корпорации. Начиная от конца царствования Людовика XIV, эти три большие категории трудящихся объединились в финансовом и политических отношениях посредством создания нового вида промышленности, где частные интересы находятся в совершенном согласии с общими интересами промышленников. Эта новая отрасль промышленности дала возможность установить промышленникам кредитную систему. Речь идет о „банковой промышленности". Банкиры начали совершать все денежные операции и приобрели большой кредит. Они давали большие ссуды под проценты купцам и фабрикантам, и тем самым последние смогли расширить свои операции и произвести большую массу богатств. Банкиры

дали индустриальному классу денежную силу, „значительно превосходящую денежные средства всех других классов вместе взятых и даже фонды правительства“ [1]. Так естественно среди массы производителей выделяются две группы: крупные индустриалы—собственники и банкиры. Эти группы—естественно вожди широкой массы промышленного населения.

Между промышленным классом и непроизводительными группами („буржуазией“) расположен посредствующий класс. Сюда относятся корпорации легистов, военные, потомки галлов, ставшие артиллеристами, стрелками и, наконец, землевладельцы. Эти группы—виновники извращений Великой революции. Из их среды вышел буржуа Наполеон, который восстановил феодализм в свою пользу. Посредствующий класс беспомощен и даже вреден для индустриального общества, и в будущем индустриальном обществе выполнение их функций должен взять на себя промышленный класс. Дело не в том, что сами функции посредствующего класса будут уничтожены. Нет, они будут существовать, но выполнение их перейдет в руки самого индустриального класса.

Мы подошли вплотную к вопросу об организации государственной власти. В вопросе о существе этой власти С.-С. своеобразно, как и во всем остальном, сочетает либеральные принципы с феодальной авторитарностью. Лучшая организация власти это та,—читаем мы в одном месте,—которая меньше всего вмешивается в ход промышленной жизни. С.-С. некоторое время поддерживал идею lessez faire, lessez passer в либеральном истолковании начала XIX ст., пока не связался окончательно идеологически с индустриалами и заменил эту идею „невмешательства“ новым принципом организации государственной власти. Промышленный класс—это основной класс, „класс-кормилец“ всего общества и он может обратиться к ученым и тем более ко всем другим не-промышленникам и сказать им: „Мы согласны кормить вас, доставлять вам жилища, одевать вас и сообща удовлетворять все ваши физические наклонности только при известных условиях“. Так изменил С.-С. свой взгляд на роль ученых и промышленников в государственной жизни [2]. Промышленники, наиболее видные безвозмездно возьмут на себя труд управления государственными финансами. Они будут законодательствовать и укажут места всем остальным классам; они окажут им внимание соразмерно той пользе, которую они доставляют промышленности. Современный парламент, в котором индустрия не имеет почти своего представительства, должен быть распущен, чтобы уступить место другим учреждениям, служащим интересам народа. И здесь произошло изменение идей С.-С. В эпохе „Преобразование европейского общества“ он мечтал о парламентской системе для всех стран, теперь он отбрасывает ее и заменяет другой организацией государственной власти. Новое здание должно состоять из трех депутатских камер. Первая палата Chambre d'invention состоит из 300 членов и трех секций. В первой секции участвуют 200 гражданских инженеров, вторая—из 50 писателей и литераторов, третья—из 50 художников. Эта палата предлагает законы в интересах промышленности.

[1] „Катехизис промышленника“—первая тетрадь.

[2] „Я посвятил себя,—пишет С.-С.,—на службу индустриального могущества..., я взял на себя задачу осуществить права индустриалов..., я превратил себя в их агента и адвоката и обязался упрочить за ними уважение, на какое они имеют право, и влияние, какое они должны иметь на ход общественных дел“... В обращениях к индустриалам он подписывается: „имею честь пребыть с совершеннейшей преданностью политическим интересам индустриалов“ (Oeuvres, XXI, 167,156,41).

Вторая палата—Chambre d'examen эти законы обсуждает. Ее образуют 300 членов: 100 физиков, 100 филологов и 100 математиков. И, наконец, палата исполнения—Chambre d'execution, основная в государственном здании, составлена будет из представителей различных отраслей промышленности. Члены этой палаты должны быть людьми очень богатыми. Задача этой палаты санкционировать законы первых двух и особенно заботиться о реорганизации гражданского права, собственности в интересах промышленности [1]. С.-С. стремится изыскать „меры для прекращения революций“ и реорганизует министерства. Министром финансов будет тот, кто десять лет был деятельным на поприще индустриальном. Создана будет палата индустрии. Министерство внутренних дел будет соответственным образом реорганизовано в целях обслуживания промышленности и передано в руки купцов и индустриалов.

В основу этого плана реорганизации государственной власти лежит принцип, прекрасную формулировку которого дал О. Конт, ученик С.-Симона, в „Системе позитивной политики“, составляющей третью тетрадь „Катехизиса промышленника“. Эта тетрадь была безусловно составлена под наблюдением С.-С. и с основными идеями ее он был согласен, о чем он и говорит в предисловии. В конце концов подтверждение этих мыслей мы находим и в собственных сочинениях Сен-Симона. „Короли находятся в противоречии с фактами,—читаем мы в третьей тетради „Катехизиса“,—а народы—с принципами“. Эти ложные принципы: догма о народном суверенитете, доктрина о разделении и равновесии властей. Эти анти-феодальные и анти-теологические догмы могли играть и сыграли блестящую разрушительную роль, но „орудия войны“ не могли стать в силу чудесного превращения вдруг „орудием строительства“. Нет ничего более блестящего с этой точки зрения, чем разделение и связь духовной и светской власти, установленная в эпоху расцвета папского престола. „Эта великая и красивая концепция была главной причиной силы и поразительной прочности, которыми отличалась феодально-теологическая система во время своего блеска“. Организованность общества, связанного феодально-теологической системой, построенного на принципах феодальной иерархии, разумном подчинении слабого и покровительства сильного. Оно построено на корпоративном принципе и всеобъемлющей ассоциации производителей (третья тетрадь „Катехизиса“).

Мы пока здесь остановим наш разбор индустриальной системы. Обратим внимание только на одно. Так же, как в вопросах философии истории, так и в вопросах построения самого промышленного общества, размах мысли С.-С. не выходит за пределы противоречий между феодальной и индустриальной системами. С.-С. орудует исключительно материалом и опытом своего времени. „Проблема капиталистической эксплоатации,—пишет Мукле,—в противоположность феодальной, С.-С. совершенно чужда“... Мы скажем больше: ему чужд анализ самой капиталистической системы даже вне вопроса об эксплоатации. Он не анализирует фактов развернутой капиталистической системы, так как стоит у ее истоков. Он идеализирует ее, изображает систему, капиталистическую по содержанию, но феодальную по форме. И в самом деле, где мог бы он взять материал для построения плана социальной организации, исключающей анархию, вне средневековой авторитарно-церковной организации? Ведь позитивные силы

[1] Вспомним организацию государства при Наполеоне: трибунат, Законод. Корпус и Сенат имели в виду обеспечение власти от потрясений, законодательство революционных мер.

преодоления капитализма, как и отрицательные стороны его, остались неизвестны нашему философу.

Построение индустриальной системы—дело королевской власти, ученых и промышленников. Они создают свою индустриальную партию в противовес партий либеральной. Еще ко времени 1817—1818 г.г. С.-С. делил существующие во Франции партии на свободомыслящих, ретроградных и неподвижных. Неподвижные—это те, которые хотят во имя умеренности соединить старые учреждения с новыми; отсталые стремятся вернуться назад. С.-Симон причисляет себя к свободомыслящей партии. Эта партия передает в руки правительства власть и деньги в очень ограниченных размерах. Свободомыслящие враги революции и власти народа, они хотят мирными средствами опрокинуть феодальные и теологические учреждения. Но уже в „Катехизисе" Сен-Симон резко отграничивает себя от либералов. Понятие „свободомыслящие"—утверждает он,—не было достаточно ясным и отчетливым. С.-Симон заявляет, что теперь (20-ые годы XIX ст.) наступило время разделить либеральную партию: индустриалы должны занять место либералов, которые в погоне за властью провозгласили лозунг: „удались, чтобы я занял твое место". Либералы представлены буржуазией и легистами. Индустриальная партия должна охватить исключительно членов промышленных классов. Либерализм сохраняет свою связь с революцией: патриотической и бонапартистской партиями. Индустриальная партия отрицает свою связь с революцией. Название „индустриальная" партия одновременно показывает цель и средство: „цель—это положить в основании социальной организации интерес большинства; средство—поручить наиболее крупным промышленникам управление государственными финансами". Индустриальная партия определяет свое место в социальной борьбе эпохи Реставрации: С.-С. зовет ее к поддержке правого и левого центра [1]).

Таким образом наш философ формулирует довольно отчетливую соц.-полит. программу. Но в этой программе нет места рабочему вопросу и социализму. „Социалист ли Сен-Симон?" спрашивает Мукле и отвечает: „...Сен-Симон не социалист, несмотря на то, что так часто утверждали обратное. Но часто доносятся до нас из его произведений социалистические ноты, как отзвуки еще неясной цели будущих битв". Бесспорно эти отзвуки имеются. Но их связь с социализмом самая отдаленная. Во всяком случае с научным и даже утопическим социализмом они ничего общего не имеют. Прежде всего С.-Симону чуждо представление о пролетариате, хотя он ясно разграничивает индустриалов и буржуазию. Это не значит, как мы уже указали, что он не имеет в виду опасности, угрожающей обществу от неимущих. Но они для него не являются самостоятельной силой будущей реорганизации общества. Больше того. Неимущие играют весьма незначительную роль и в будущем обществе, где власть принадлежит крупным промышленникам. Индустриальная система закрепляет существующие социальные противоречия, уничтожая только теневые стороны ее. Успехи промышленности сами по себе гарантируют разрешение социальной проблемы. И даже в „Новом христианстве"—произведении социалистическом, по представлению многих исследователей, эта мысль повторяется неоднократно. „Святейший отец,—обращается С.-С. к римскому папе,—человеческий род переживает в настоящий момент великий умственный

[1]) Правый и левый центр представляли крупных индустриалов и капиталистов землевладельцев, как и ученых Франции.

кризис, обнаруживаются три новые силы: возрождаются искусства, науки начинают занимать первенствующее место среди всех прочих отраслей нашего знания, а великие промышленные предприятия направляются к улучшению доли бедного класса, в большей степени и более непосредственно, чем какие-либо меры, которые до этого времени применялись как светской, так и духовной властью" (курсив наш. *Ц. Ф.*). Таким образом бедность порождена „умственным кризисом" и улучшение положения неимущих классов может быть наилучшим образом достигнуто не какой-либо социальной реформой, а дальнейшим прогрессом капиталистического производства. Да и вообще наш философ при всей остроте своего теорегического анализа в период наиболее тягостный для пролетаризирующихся масс остается слеп к их горестям. В одном из своих произведений он заявляет: „В Англии наиболее многочисленный класс (неимущие) наилучшим образом обеспечены жильем, продовольствием и одеждой" [1]). Не забудем, что это было сказано в начале XIX ст. об Англии.

Нельзя, однако, отрицать, что в 20-х годах XIX в. в творчестве С. С. произошло какое-то изменение. Во главу угла выдвинута была мораль. Если мы,—утверждает С.-С. в сочинении „Новое христианство",—сделали большие успехи в области положительных и специальных наук, математике, физике, химии и физиологии, то в „науке гораздо более важной для общества, чем физические и математические познания", в науке, „которая образует общество и которая ему служит основой", в морали, человечество достигло самых незначительных успехов. Но дело в том, что эта наука-мораль имеет в виду принципы неизменяющиеся на протяжении уже более 1800 лет. „С той поры все поиски гениальнейших людей не открыли принципа, который превосходил бы своей всеобщностью или полезностью принцип, возвещенный в ту эпоху основателем христианства; я скажу больше: когда общество потеряло из виду этот принцип, когда оно перестало руководствоваться им в своих поступках, оно тотчас же оказалось под игом цезаря, т.-е. под владычеством физической силы, которую этот принцип подчиняет силе умственной". Основной принцип морали, о котором говорит С.-С., это христианское правило: „все люди должны быть между собой братьями". Таким образом сама постановка социальной проблемы С.-Симоном связана со значением морали, а, следовательно, со значением религии в его мировоззрении.

В период 1825 г. Франция вступает в революционную полосу, капиталистическая система начинает обнаруживать свою сущность в отношении неимущих, и религия, попечение о бедных, занимает теперь нашего философа. Если раньше индустриальная система облечена была в феодальные формы, то теперь теология вытесняет окончательно капиталистически-революционные элементы в доктрине С.-Симона, и он формулирует идеи „христианского социализма". Присмотримся ближе к этой новой служебной роли религии в представлении Сен-Симона и к содержанию проповедуемого им „социализма". Нам приходилось неоднократно подчеркивать социальную роль науки и религии в доктрине философа. Служебное значение религии в социальных конфликтах общества особенно часто подчеркивает С.-С „Верование тех, кто трудится над усовершенствованием научной системы, не должно быть одинаковым с верованием простого народа. Лица, посвятившие себя изучению наук, должны верить, что вселенная управляется единым законом, они должны изучать

[1]) Oeuvres, I, 83.

этот общий закон... для поддержания общественного порядка. Простой народ должен верить, что вселенной управляет всемогущее существо, что это существо, этот бог принял человеческий образ, что он открыл своим апостолам все, что людям важно знать." Сен-Симон имеет предшественников в установлении служебной роли религии. Вольтер, как и другие просветители в их борьбе с религией, однако не отрицали за ней роли социального тормоза. И когда Робеспьер водружал алтарь Верховного Существа, он имел в виду преимущественно это прикладное значение религии. Теория теофилантропии в эпоху Директории, конкордат Наполеона и католическая реакция эпохи Реставрации, могли направить социальную и „социалистическую" мысль Сен-Симона только в эту сторону. Да и вообще эпоха С.-С. знала исключительно, так сказать „реакционную" постановку социальной проблемы. В эпоху Вел. фр. революции, в дни Конвента, социальный вопрос неимущих стал во весь рост. Его по своему разрешало рев. правительство и „бешеные", но и те и другие могли представить только такой план его разрешения, какой мог возникнуть не среди развертывающихся противоречий капиталистической системы, а в обстановке докапиталистической среди мелкой буржуазии, люмпенпролетарских и пролетарских масс Франции. Вот почему все эти „планы" разрешения социального вопроса были реакционной утопией в эпоху развивающегося капитализма, когда не обнаружились еще отрицательные стороны этой системы, Сисмонди в последующее время продолжал эти идеи. Правда, Бабеф внес нечто новое в социальную борьбу. Но и его коммунизм остается по существу аграрным. Таким образом Сен-Симону, положившему в основу своей доктрины промышленное капиталистическое предприятие, пришлось черпать средства разрешения социального вопроса, когда он перед ним встал, лишь в реакционных теориях прошлого и настоящего. Но его капиталистическая, индустриальная сущность, направила его мысль не в сторону идей Сисмонди, проклинающего машину. И здесь выступает теология. „Религия должна направлять общество к великой цели возможно быстрого улучшения судьбы беднейшего класса",—пишет Сен-Симон. Неизмеримое большинство населения могло бы пользоваться существованием гораздо более удовлетворительным, как в нравственном, так и в физическом отношении, нежели то, каким они пользуются теперь, если бы в дело вмешалась религия, если бы осуществлена была основная идея христианской морали. Но при этом богатые не должны забыть: „Увеличивая счастье бедняков, этим самым улучшили бы они свое собственное существование". Богатые должны направить свою энергию в сторону наибольшего развития промышленности, огромное количество работы спасет бедняков и таким образом, „отнюдь не беднея от денежных жертв, богатые еще разбогатеют одновременно с бедными". Богачи опять-таки должны стоять во главе новой религии. Вот почему С.-С. обращается к ним раньше всего. „Сначала я должен был обратиться к богатым и могущественным, чтобы расположить их благосклонно к новому учению", чтобы показать им, что оно не противоречит их интересам, и убедить их в том, что помощь беднякам лишь способствует их богатству. Казалось бы, обычные рассуждения утопического социализма, но лишь с небольшой разницей. С.-Симон отнюдь не предлагает изменить существующее капиталистическое общество. Оно остается таким, каким оно есть. Социальные противоречия не исчезают, им С.-С. придает лишь патриархальный характер, и „лица, стоящие во главе промышленных предприятий,—читаем мы у С.-С.,—суть природные покровители

рабочего класса"... Весь социализм его, в конце концов, сводится к некоторым филантропическим мерам, к укреплению патриархальных нравов в существующей и развивающейся индустрии. Вот когда и где проявился утопизм и беспомощность Сен-Симона. Его социализм—отражение этой беспомощности и бессилия, он связан с теологическо-феодальными элементами доктрины.

Мы видим таким образом значительную разницу в постановке вопроса С.-Симоном и утопическим социализмом вообще. Прежде всего С.-С. от французского утопизма отличает то, что он в основу кладет промышленное предприятие, во-вторых, то, что в отличие от Оуэна и Фурье у него отсутствует всякая критика капиталистической системы. Утопический социализм (XIX ст.) предполагает существование капиталистической системы, обнаружившей свои отрицательные стороны, когда на-лицо еще нет тех позитивных сил, которые ведут к преодолению капиталистической системы. Здесь отличие утопического социализма от научного. Но таким образом С.-Симон стоит вообще вне истории социализма. С.-Симон не утопист, поскольку он верит в железную необходимость победы капиталистической системы и ее идеализирует. К его времени окончательно и бесповоротно изжил себя феодализм, сложилась капиталистическая система, не обнаруживая пока еще своих отрицательных сторон, и на-лицо были все позитивные силы победы капиталистического строя, но не социализма. Сен-Симон представлял собой поэтому основателя системы научно-обоснованного капитализма, но не социализма. Он хотел не реорганизовать, а организовать капиталистическое общество [1]). И для последней задачи воспользовался опытом эпохи. А когда в 20-х годах XIX в. началось усиленное развитие машинного производства, когда кризисы промышленности обострили нужду масс, когда буржуазия Франции под знаменем либерализма выступила против Бурбонов, и широкое народное движение (с 1824 г.) создало предпосылки июльской революции, утопизм Сен-Симона и беспомощность им идеализированной индустриальной системы выступили наружу. С этого момента, собственно, начался кризис его доктрины: создана была школа. Сен-симонистская школа в лице Анфантена продолжала теологическую мысль учителя, Базар попытался в интересах неимущих использовать индустриально-революционное содержание доктрины, но доктрина Сен-Симона, как самостоятельное целое, перестала существовать. Июльская монархия банкиров, банковая система и „христианский социализм" были лишь издевательством над учением Сен-Симона (Г. Экштейн).

Маркс и Энгельс использовали литературное наследство Сен-Симона, как и просветителей XVIII в. и историков Реставрации, но не продолжали их учения. „Маркс,—как замечает Мукле,—это Сен-Симон стремящегося к политической самостоятельности пролетариата". Это чрезвычайно остроумно и правильно подмечено, но подобное положение уничтожает всякое заявление Мукле о том, что марксизм создан путем органического соединения чужих принципов, сведенных в новую систему. Доктрина Сен-Симона выросла из противоречий феодальной и капиталистической си-

[1]) Вспомним, что писал С.-С. в „Profession de foi des ondateurs de la politique positive": „Я верую в то, что промышленная собственность есть та, которой принадлежит преимущественное право вотировать налоги. ...Я верую, что богатые промышленники, повелевая рабочими в ежедневных трудах, через это являются начальниками народа, которого они составляют необходимую часть, откуда следует, что они прямые и естественные начальники трудящейся нации, единственные, которой нравственность и здравый смысл позволяют дать публичные права"...

стемы, она была идеализацией индустриального строя. Доктрина Сен-Симона принадлежит к общественной мысли XVIII в. и к идеологии эпохи Реставрации; утопический социализм относится к половине XIX века эпохе кризисов роста капиталистической системы; марксизм оформился во второй половине XIX столетия, когда обнаружились все положительные и отрицательные элементы системы и когда на лицо были все предпосылки для роста „могильщика капиталистического строя". Методологически важное замечание Маркса о Сен-Симоне должно заставить нас пересмотреть установившийся взгляд на этого оригинального идеолога индустриализма [1]).

Ц. Фридлянд.

[1]) Огромно значение Сен-Симона в истории общественной мысли XIX ст. Достаточно назвать только учеников Сен-Симона: О. Тьерри и О. Конта. Но элементы его доктрины мы находим и в разнообразной идеологии буржуазии наших дней. Безусловно, в социально-политическом мировоззрении О. Шпенглера, Ратенау и даже у Виппера („Круговорот истории"), или у бывш. премьера Франции Кайо мы находим элементы доктрины Сен-Симона и сен-симонистов. Кое что от Сен-Симона мы имеем и в новейшей программе герм. с.-д. Но это, конечно, тема для самостоятельной статьи.

Механика творчества и литературная критика.

Со времен Белинского и до наших дней критика с некоторыми оговорками повторяет, что „литература есть отражение жизни". Каждый критик, особенно критик-марксист, давая оценку литературному произведению, смотрит, какая сторона жизни, в какой мере и в свете какого мировоззрения отражается в рожденных образах писателя.

Выяснение того, как процесс отражения проходит в творчестве писателя, в значительной степени помогает критику выявить внутреннюю сущность писателя, отделив в ней случайное и временное от основного и характерного. Особенную важность это приобретает в наше переходное время, когда жизнь полна глубоких противоречий—экономических, идеологических, психологических и бытовых, когда идет генеральная переоценка ценностей, когда необыкновенно трудно проникнуть, как говорится, в душу писателя, часто говорящего пролетарским языком и пролетарскими образами, но отражающего чуждые рабочему классу мысли и настроения.

Художественная литература не вымысел, она не противоположна действительности, но в то же время она не отражает жизни так, как фотографическая пластинка отображает запечатленный ей образ. Фотографический портрет с наибольшей точностью передает черты лица—линии глаз, губ, лба и т. п., но он почти всегда ниже портрета, сделанного кистью художника; в последнем может быть меньше физического сходства, но больше сходства духовного. Художественный образ всегда идеален, т.-е. в нем из массы отдельных черт путем отбора, устраняя одни, подчеркивая и сочетая другие, художник перерабатывает и обобщает основные черты, как он сам чувствует и понимает. В содержании образа нет ничего такого, чего нельзя было бы найти в действительности, но все-таки это не просто действительность, а действительность абстрагированная, обобщенная сообразно наклонностям и настроениям художника. Это легко видеть на любом литературном произведении. Возьмите „Степь" А. Чехова и сравните ее со степью, описанной Н. Гоголем. Попробуйте отделить вымысел от действительности. Даже самая кропотливая работа не даст нужных результатов, однако элементы действительности родят в читате-

ле самые разнородные настроения, благодаря тому, что они содержат в себе частицы „души“ писателя. Литература должна быть верна действительности, но это ни в какой степени не значит, что задача художественной литературы заключается в простом и точном отражении действительности. Литература, как всякое искусство, как наука, несоизмерима с действительностью. Она не столько отражает действительность, сколько изучает ее. Путь художественного творчества поэтому сходен с творчеством научным; он определяется взаимоотношениями субъекта и объекта творчества и этим обусловливает отношение художественного образа к действительности. Каковы же эти взаимоотношения? Знать их необходимо каждому критику, и для этого следует прибегнуть к психофизиологическому анализу.

Согласно с современным состоянием естественных наук, мы вместе с проф. Дж. Лёбом твердо убеждены, что сознание „является функцией особой машины, которую можно назвать машиной для ассоциативной памяти. В чем бы ни состояла сущность этой машины, во всяком случае она сходна с фонографом в том отношении, что все впечатления воспроизводятся ею в том же хронологическом порядке, в каком они на нее падали, безразлично, вызывались ли эти впечатления одной и той же или различными физическими силами, как свет и звук... Возможно, что механизм ассоциативной памяти отчасти стоит в зависимости от свойств липоидных (жироподобных) составных частей нервной системы... Дыхание регулируется автоматически; однако из дыхательной сферы даются известные сигналы в область сознания так же; то же самое и в еще большей степени относится и к другим автоматическим движениям“. Это обязывает нас сделать небольшую экскурсию в область психофизиологии.

В процессе творчества субъект ставит себя в такое положение к объекту, что создается ряд отношений, в результате которых складываются ощущения, представления и мысли. Результат отношений в значительной степени зависит от состояния субъекта, которое обусловливается социальным положением художника, идеологией и психологией той общественной группы, из которой он вышел и интересы которой выражает. Ощущения локализируются в одних сферах мозговой коры, представления, воспоминания ощущений,—в других. Первые могут возникать только при наличии объекта, для вторых наличность объекта необязательна. По законам ассоциации представления переходят в мысли. Мысли, во времени совершенно независимые от чувственных раздражений, от наличности объекта, казалось, должны бы притти в анархическое состояние, но фактор подбора подготовляет переход к логическому мышлению. Он же весьма серьезное значение имеет и в процессе формирования художественного образа. В этом процессе вновь возникающие ощущения и складывающиеся представления вступают во взаимодействие с представлениями и

мыслями, возникшими ранее и уже ставшими привычными. Сила той или другой стороны процесса определяет его исход и накладывает определенный отпечаток на родившуюся мысль, на выкристаллизовавшийся образ. Когда чувственные раздражения и представления писателя, вызванные пролетарской революцией, начинают при помощи подбора переходить в поэтический образ, представления и мысли, рожденные старой жизнью и ею укрепленные, оказывают сопротивление новым ощущениям и представлениям,—и, как учит теория и подтверждает практика, в результате получается в большинстве случаев что-то смешанное, в котором величина нового и старого зависит от исхода борьбы разновременно возникших ощущений, представлений и мыслей.

Каждый из нас по ежедневным наблюдениям знает, что, благодаря регулярным упражнениям, мускул увеличивается в своем объеме; то же самое происходит и с нервной узловой клеткой. Чем больше она функционирует, тем величина ее тела становится значительнее, увеличивается ее живая материя. В связи с этим увеличивается и импульс узловой нервной клетки. Импульс доходит до своего конечного пункта через ряд других узловых нервных клеток, их импульс также имеет важное значение. Слабо развитые узловые нервные клетки не всегда смогут довести импульс до конца, он прерывается в пути, или же доходит до конца ослабленным. Наоборот, сильно развитые узловые клетки передают импульс в более отчетливом и ярком виде, и такой импульс при известных условиях может преодолеть и даже вытеснить результаты прежних импульсов. Чем реже проходят через узловые клетки однородные раздражения, тем слабее импульсы, тем слабее соответствующая им ассоциативная способность. Наоборот, при частом упражнении узловых клеток, при однохарактерных раздражениях их, они охотнее, свободнее пропускают новые аналогичные раздражения, задерживая, ослабляя и даже совсем прерывая раздражения непривычные или мало привычные. Если первые проходят по нервному пути, как электрическая искра по проводу, вторые должны еще прокладывать себе путь, преодолевая препятствия, заключающиеся в свойствах узловых клеток. Момент этот известен в науке, как процесс торможения. Проф. Дж. Лёб указывает, что „если нерв или мышца подвергаются в какой-либо точке раздражению, эта точка становится электроотрицательной по отношению к соседней покойной точке. Короткое время спустя эта последняя в свою очередь переходит в возбужденное состояние; тогда она делается электроотрицательной по отношению к дальнейшей точке нерва и т. д. Во время возбуждения вдоль нерва движется по обе стороны от раздражаемой точки пояс, обладающий отрицательным потенциалом“. Ссылаясь на Бернштейна и Германна, он указывает, что „отрицательная волна движется с той же скоростью, как и волна возбуждения, и что в процессе передачи возбуждения играет роль разность потенциалов, возникающая в раздражаемой точке нерва“; он допус-

кает, что проводящим элементом нервного ствола служит осевой цилиндр, который окружен жидкостью, проводящей ток. Когда какой-нибудь пункт осевого цилиндра находится в возбужденном состоянии, этот пункт становится электроотрицательным по отношению к соседнему с ним, электроположительному пункту. Вследствие таких условий возникает маленький ток, идущий через жидкий проводник. Анод этого тока лежит в точке деятельного участка, катод—в точке покойного участка. Согласно с законом раздражения при замыкании тока возбуждение родится на катоде, т.-е. в точке покойного участка, а анод переходит в состояние пониженной возбудимости; другими словами, анод переходит в покой". Этот процесс продолжается на всем пути продвижения раздражения. Упомянутые токи, как утверждают некоторые ученые, являются результатом выработки кислоты, а всякого рода химические изменения в тканях и нервах сопровождаются изменениями в качестве и количестве электролитов. Проф. И. Павлов в своей книге „Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности животных" описал переход нервного тока с одного пути на другой или, как он выразился, „перекючение нервного тока" и указал, что процесс этот зависит от физиологической силы данных центров или степени их раздражимости, причем раздражение направляется в сторону сильнейшего центра.

Писатель с сильно развитыми в определенном направлении узловыми нервными клетками легко и быстро претворяет свои ощущения и представления в поэтические образы, если путь через узловые клетки соответствующим раздражением проторен, приготовлен предыдущей их деятельностью, т. е. если новые раздражения по своему содержанию совпадают с прежними. Если же это совпадение частично, то нужна особенная сила нового раздражения, чтобы перевоспитать узловые нервные клетки писателя, чтобы перестроить нервный путь, приспособив его к новым раздражениям. Нужно разрушить целый ряд ассоциативных связей, ставших обычными, механичными, чтобы облегчить процесс образования новых ассоциаций, еще непривычных для данной нервной системы. В этом процессе имеют значение многие физико-химические процессы вплоть до характера автоматических обычных движений, питания, температуры, воздуха и т. д., что дает определенную среду в зависимости от классового положения писателя. Большею частью, в силу только что указанных чисто-физиологических факторов, не исключая, конечно, и социологических, писатель из буржуазной среды не в силах понять пролетарской революции, а тем более воплотить ее в поэтических образах. Старая психология и идеология сложным физиологическим путем, только что нами изображенным, не пускают и не ассимилируют новой психологии и новой идеологии.

Эти мысли нам хотелось бы иллюстрировать хотя бы одним-двумя примерами из области труда. Возьмем ткача. В довоенное время хороший ткач зарабатывал рублей на пять больше среднего ткача.

Это преимущество складывалось в результате упорной тренировки слуха. Хороший ткач по звуку снующего челнока определяет неправильный его ход, во-время принимает соответствующие меры, чтобы избежать остановки станка. Новичку это дается с большими трудностями. Токарь по металлу гладкость полируемой поверхности определяет, проводя по ней своей рабочей мозолистой рукой; и никакая кисейная барышня с мелькающими по клавишам рояля пальцами, с хорошим слухом не в силах без соответственной организации нервной системы сравняться с ткачом или с металлистом в определении качества полировки. В обычной жизни при объяснении подобных явлений ссылаются на специальность. Но что такое специалист? От обыкновенного человека или специалиста в другой области он отличается только тем, что его нервная система в силу самых различных условий,—по сложным физико-химическим законам внутри себя,—вырабатывает для себя наиболее благоприятные условия образования нужных ассоциаций и навыков. Этот же закон, так называемой, механики душевной жизни управляет и областью художественного творчества, только в творчестве процесс этот сложнее и чувствительнее, деликатнее.

Попробуем, хотя бы в самом схематичном виде, проследить с указанной психофизиологической точки зрения процесс образования художественного произведения в наших современных условиях; это позволит нам сделать несколько небесполезных выводов для литературной критики,—выводов, правда, не новых, но не обоснованных с психоаналитической точки зрения и еще недостаточно усвоенных.

Весьма интересно проследить, как зарождается замысел большого художественного произведения. Необходимо выделить следующие моменты: общий аффективный тон произведения, формирование главного действующего лица или центрального события, согласование второстепенных моментов с основным. Благодаря наибольшей согласованности указанных моментов, литературно—художественное произведение достигает наибольшего совершенства, необходимого единства, без которого произведение в сущности и не живет.

История литературы, живописи и музыки дает много фактов, свидетельствующих, что аффективный тон произведения складывается часто как-будто неожиданно, от случайных впечатлений, вдруг, сразу. В этот момент познавательные и интеллектуальные элементы сводятся к минимуму, только в дальнейших стадиях творческого процесса они выступают ярче и с большей силой. Гете, например, передает следующее предание о Шекспире: „первая мысль о „Гамлете" пришла Шекспиру, когда дух всего произведения, как целого, неожиданно предстал его душе, и он в приподнятом настроении сразу охватил взглядом отдельные ситуации, характеры и развязку всей драмы". А. Федоров в своих воспоминаниях об А. Чехове рас-

сказывает, как он сам описывал творческий момент: „Посмотришь на жизнь, на людей... Потом гуляешь где-нибудь в Ялте на набережной вдруг пружинка в голове „чик",—и готов рассказ". Этот таинственный процесс совершается где-то глубоко в подсознательном, но он совершается по указанным выше психо-физиологическим законам, организуя в единое прежние и новые ощущения и представления. Сознание в этом процессе находится как бы в дремотном состоянии и не оказывает, зачастую, своего решающего давления на образование новых ассоциативных связей,—но классовое состояние организма в физиологическом смысле, если так можно выразиться, несомненно, обусловливает процессы подсознательного, они зависят, например, от состояния жироподобных тел нервных клеток или парциального давления кислорода в воздухе. Мы не знаем, какую силу сопротивления или помощи и в каких комбинациях оказывает сознание или простое раздражение на ассоциативную способность узловых клеток и отбор, но в этом процессе надо искать ключ к разрешению того факта, что иногда художник, враждебно настроенный к новым настроениям и формам жизни, т.-е. в силу физиологической необработанности и неорганизованности своей нервной системы неспособный понять современность, в подсознательном формирует аффективный тон, который, разрастаясь, бурно выявляется наружу, разрушая старые навыки и привычки узловых клеток и создавая новые.

Этот аффективный тон, в наше время совпадающий с революционной жизнью, часто искажается, когда художник начинает выявлять главное действующее лицо. В процессе разработки подсознательное заменяется сознанием, да еще классовым и иногда ярким, сильным, враждебным новому. Аффективный тон современности как будто остается, остаются и факты времени, но перевоплощение их в художественную форму происходит уже под давлением старых навыков узловых клеток, препятствующих и тормозящих слагающиеся новые представления и мысли.

Возьмем наших молодых писателей—писателей из мелко-буржуазной среды. По свойственному им положению они не могли быть довольными царским режимом, в известной доле они недовольны, конечно, и капиталистической жизнью. Чувство протеста в политической области сменялось иногда бунтом в области идеологической. Они, например, надевали желтые кофты, с человеческого языка переходили на язык дикарей, а, может быть, и просто звериный язык. В эпоху революции они, естественно, как в приемниках, улавливают в своих узловых нервных клетках элементы современного аффективного тона жизни для его образования путь подготовлен определившимися свойствами нервной системы к определенного рода ассоциациям. Но проникнуть в глубь, в сущность революционных явлений, писатель не в состоянии, тут он беспомощен, потому что в его узловых нервных клетках нет таких сильных элементов, которые постепенно притягивали бы частицы сущности октябрьской революции, копили бы их, разрушая старые ассоциативные навыки нервной системы и укрепляя

новые, развивая через это восприимчивость. Нужны очень сильные удары истории по сознанию этих людей, чтобы они в той или иной степени могли стать попутчиками пролетариата. Некоторые налаживаются на современный лад, а другие, как ни корми, все в лес смотрят. Вот, например, Б. Пильняка кто-то командировал за границу, как уверяют злые языки, с целью собирания материалов для фельетонов. На этих фельетонах легко проследить, чем живет его нервная система, какие ассоциации у него окрепли так, что ничем их не вышибешь. И не привлечено ли его внимание к английским крестьянам окрепшей способностью его узловых нервных клеток к усвоению элементов крестьянской мелко-буржуазной жизни с коровой, курочками, поросенком в одном из уездных городов Московской губернии? В результате сознательных и бессознательных приспособлений писателя получается произведение, созвучное нашей эпохе больше по внешнему материалу, чем по внутреннему содержанию; оно у него ни с чем не ассоциируется, в прошлом нет ничего такого, чтобы способствовать этому.

Аналогичный процесс происходит и при формировании главного действующего лица или центрального события, при разработке второстепенных частей, только в данной стадии художественного творчества процесс сложнее, так как сильное влияние оказывает идеология и только-что подготовленный аффективный тон произведения. В процессе формирования главного лица этот фон может усилиться или ослабеть, но он уже величина неотъемлемая. На этой ступени творчества процесс отбора ощущений, представлений и мыслей идет медленнее, слабее, старое оказывает больше сопротивления новому, чем при образовании аффективного тона. Укатанный и утрамбованный путь движения нервного раздражения, приспособленный для быстрого прохождения старых ощущений, ставших привычными, в значительном количестве отложившихся в определенных сферах мозга и привлекающих к себе, как магнит, все старое, оказывается совершенно неприспособленным для прохождения новых ощущений. Нервная система как бы саботирует, выражаясь научным языком,—тормозит. Таков процесс почти у всех, так называемых, литературных попутчиков нашей революции.

В данном случае необходимо подчеркнуть и тот факт, что наша современная жизнь полна противоречий, и эти противоречия с неизбежностью, по законам механики, так называемой, душевной жизни отлагаются как в сознании писателя, так и в его подсознательном.

К. Маркс в предисловии к „Критике политической экономии" писал: „При рассмотрении таких (социальных) революций следует всегда иметь в виду различие между материальным переворотом в экономических условиях производства, который можно определить с естественно-научной точностью, и юридическими, политическими, религиозными, художественными или философскими, словом—идеологическими формами, в которых люди воспринимают в своем созна-

ний этот конфликт и во имя которых борются". И продолжает далее: „Как нельзя судить об отдельном человеке по тому, что он о себе думает, точно так же нельзя судить о такой революционной эпохе по ее сознанию; скорее это сознание следует объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями".

В полемике с Ант. Лабриолой Г. Плеханов, развивая мысль К. Маркса, указывал, что „возникновением, изменением и разрушением ассоциаций идей под влиянием возникновения, изменения и разрушения известных комбинаций общественных сил, в значительной степени объясняется история идеологий". Признавая противоречивость современности, памятуя, что идеология и психология в своем развитии отстают от развития производственных отношений, приходится констатировать, что даже класс, совершающий социальную революцию, не может перешагнуть через исторически неизбежные противоречия, их отражает в своем сознании, усугубляя их, поскольку навыки старой культуры в области быта, морали, методов мышления и познания еще крепко держат сознание современного пролетария. Естественно, что у общественных промежуточных групп, из которых выходят Пильняки, Эренбурги и многие другие, эти противоречия и консерватизм сознания настолько выпирают, что невольно относишься к этим писателям с большой осторожностью, несмотря на их талантливость. Нужен длительный период времени влияния „разрушения известных комбинаций общественных сил", чтобы разрушить и переорганизовать их „электромагнитное поле" сознания. Вряд ли выдержит это их нервная система.

Небезынтересно остановиться еще на одной стороне вопроса о создании главного действующего лица, на выяснении процесса восприятия чужого „я" и перевоплощаемости. Известно, что познание чужого „я" и своего собственного „я" идет как равнодействующая двух сил: острой наблюдательности чужой психики и объективно-верного наблюдения своей собственной. Все, что разобщает писателя с жизнью окружающих его людей, с их внутренним миром, ослабляет остроту наблюдательности,—все, что внутри писателя мешает правильному самопознанию и самооценке, вредно отражается и на познании окружающих, на перевоплощении, поскольку мы представление о чужом „я" составляем по аналогии с собственной личностью. Познать чужие переживания непосредственно или путем умственного заключения нельзя. Познание их—результат воображения и чувств, возникающих в зависимости от телесных проявлений людей, нас окружающих. Получаемые впечатления непроизвольно ассоциируются у писателя с аналогичными впечатлениями и настроениями, полученными ранее. Ясно, что писатель не может познавать прямо или постигать интуитивно чужое „я", тем более в объективированном виде. Вчувствование художника в психику наблюдаемого лица может достигать яркости объективации, иногда превращаться в иллюзию, галлюцина-

цию, но ни на минуту нельзя упускать из виду ту огромную роль, которую в данном случае играют личные чувства и настроения художника к изображаемому лицу, которые складываются и определяются по известным нам психофизиологическим законам. Все новое в ассоциативной цепи усваивается с большим трудом, особенно это станет ясным, если мы признаем, что процесс вчувствования не требует при своем многократном повторении наличности объекта.

В одном из своих писем Ф. Достоевский писал: „Я сцену тотчас же и записываю так, как она мне явилась впервые, и рад ей, но потом целые месяцы, год обрабатываю ее, вдохновляюсь ею по нескольку раз (потому что люблю эту сцену) и несколько раз что-нибудь прибавлю к ней или убавлю"... „Работа, между тем, идет в голове,—рассказывает И. Гончаров,—лица не дают мне покоя, пристают, позируют в сценах, я слышу отрывки их разговоров,—и мне часто казалось, правда господи, что я не выдумываю, а что все это носится в воздухе около меня, и мне надо только смотреть и вдумываться".

В то время, как писатели-художники так описывают творчество, внутри их, по описанию проф. И. Павлова, происходит следующий процесс:

„Происходит нервная деятельность определенного участка больших полушарий, в данный момент, при данных условиях, обладающего известной оптимальной возбудимостью. В этот же момент вся остальная часть больших полушарий находится в состоянии более или менее пониженной возбудимости. В участке больших полушарий с большей возбудимостью легко образуются новые условные рефлексы и успешно вырабатываются дифференцировки. Это есть, таким образом, в данный момент, так сказать, творческий отдел обоих полушарий. Другие же отделы их, с пониженной возбудимостью, на это неспособны, и их функцию при этом, самое большее, составляют ранее выработанные рефлексы, стереотипно возникающие при наличности соответствующих раздражителей. Деятельность этих отделов есть то, что мы субъективно называем бессознательной, автоматической деятельностью. Участок с оптимальной деятельностью не есть, конечно, закрепленный участок; наоборот, он постоянно перемещается по всему пространству больших полушарий в зависимости от связей, существующих между центрами, и под влиянием внешних раздражений. Соответственно, конечно, изменяется и территория с пониженной возбудимостью".

„Если бы можно было видеть сквозь черепную крышку и если бы место больших полушарий с оптимальной возбудимостью светилось, то мы увидали бы на думающем сознательном человеке, как по его полушариям передвигается постоянно изменяющееся в форме и величине, причудливо-неправильных очертаний, светлое пятно, окруженное на всем остальном пространстве полушарий более или менее значительной тенью".

Оформление главного действующего лица и систематизация всех других образов может складываться преднамеренно, в угоду каким-либо определенным целям, и субъективно-непроизвольно, в силу оп-

ределенной „установки“ нервной системы, обусловливаемой прежним опытом, зависящим от классового положения писателя-художника. Тут выступает особый рефлекс, который проф. И. Павлов называет рефлексом цели, который непрестанно стремится „к обладанию определенным раздражающим предметом, понимая обладание и предмет в широком смысле слова“. Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение вообще для каждого из людей и особенно для художников. Он, конечно, физиологически определяется физико-химическими процессами внутри нервной системы, но нервная система материал для своей лаборатории получает из своего классового бытия, идеологического и просто физического, связанного с определенным питанием, квартирой и другими условиями жизни.

Принцип „бытие определяет сознание“, подкрепленный психоанализом внутреннего мира писателя и его героев, позволит критику не только установить общий классовый характер художественного произведения, но и довести свой критический анализ,—да будет позволено сказать так ради ясности схемы,—до первичных ощущений, до их борьбы за свое существование во внутреннем мире писателя-художника.

С. Фрейд, разбирая характеры „Макбета“ и „Росмерсгольма“, путем своего психоанализа выясняет, „что силы совести, заставляющие человека впадать в болезнь не от неудовлетворенности, как обычно, а в момент успеха, интимно связаны с эдиповским комплексом, с отношением к отцу и матери, как, быть может, и вообще все наше чувство“. Дальше он устанавливает, что бывают нередко случаи, когда чувство вины возникает ранее преступления, целиком им обусловленного.

Мы не будем останавливаться на верности его суждения, например, о совести,—нас, ведь, интересует другая сторона; и мы ни на минуту не забываем, что голова психоаналитика, как и разбираемые им характеры, подчинена одним и тем же законам психофизиологии и классового общества. Важно то, что психоанализ помогает на основе экспериментальных данных восстанавливать родословную чувств, настроений, характеров, историю их сплетения, борьбы и мирного сожительства, привлекая на помощь не только общественную среду, классовую идеологию, но, так сказать, и число потребленных калорий в пище. Психоанализ позволяет довести классовый анализ до максимальной точности и полноты.

„Поэт,—говорит С. Фрейд,—правда, в силах овладеть нами своим искусством во время представления и парализовать, тем самым, нашу мысль, но он не в состоянии помешать нам пытаться в дальнейшем понять эти впечатления из его психологического механизма“. В силу этого он, например, считает, что автор „Макбета“ не должен был сокращать естественную последовательность событий, якобы, жертвуя пошлой правдоподобностью. Эта непоследовательность, с точки зрения психоанализа, многие чувства и настроения, как бы естественные

и неизбежные, ставит под знак вопроса и заставляет думать, что с одного человека они перенесены на другого и в его жизнь включены только по внешней, логической последовательности, идя в разрез со всей механикой так называемой душевной жизни.

На основе чистого психоанализа С. Фрейд не в состоянии разрешить вопрос, в силу каких мотивов робкий честолюбец превращается в безумного тирана, а упорная, твердая, как камень, подстрекательница становится больной, кающейся. В этом случае на помощь психоанализу должен быть привлечен марксизм со своей классовой идеологией, он подскажет, какие классовые моменты и какое содержание внесли во внутренний мир героя, сделав на первый взгляд невероятные превращения.

Если психоанализ позволяет нам заглянуть в черепную коробку и посмотреть, как там живут и работают ощущения, представления и мысли, если марксизм, расшифровывая понятие среды и бытия, с точностью указывает, откуда, когда и какие раздражения попадают в физикохимическую лабораторию нервной системы, то марксизм и психоанализ, подкрепляя и дополняя друг друга, могут дать возможность понять человека с такою же ясностью, с какой, например, патологоанатом, по органам вскрытого трупа, устанавливает действительные причины смерти, нередко совершенно не предвиденные никем ранее.

Для более точного уяснения вопроса об оформлении главного действующего лица при применении психоанализа нужно иметь в виду традиции, чтение, память и наследственность. Все это весьма важные моменты, особенно, например, наследственность, которая делает, если можно так выразиться, узловые нервные клетки и более сложные сферы мозга и кривенькими и хроменькими и способствует живучести той или другой „установки“ нервной системы.

Из всего сказанного выше ясно, как трудно, а порою прямо-таки невозможно художнику из буржуазии проникнуть в сущность революционной эпохи. Все происходящее больше разобщает его с жизнью, вышибает из колеи, как, например, случилось с Буниным, Горьким, Зайцевым и многими другими, загоняя их в мир своих старых переживаний, индивидуальных настроений.

Когда мы говорим о пролетарской литературе, прежде всего встает вопрос, кто является ее творцом и носителем, и мы со всей убежденностью отвечаем: рабочий класс.

Это, конечно, не значит, что выходец из другой общественной группы не сможет выразить настроений и стремлений рабочих масс. Но этот выходец—исключение, и появление его возможно только до определенной ступени классового развития пролетариата; кроме того, он не сможет с надлежащей полнотой и отчетливостью передать всего. Художник не из пролетарского класса, даже и в том случае, когда его идеология, а отчасти и психика, совпадает с идеологией и

психикой рабочего класса, может выражать чувства пролетариата только благодаря наблюдениям над этими чувствами, так сказать, из-вторых рук, а не непосредственно.

Если учение о реакциях и вообще психоанализ устанавливает, что в понимании чужого „я" наблюдатель вносит много от своего собственного „я", что в высокой степени затрудняет задачу, затушевывая ясность чужого „я", подрывая объективность, то тем более все это усиливается в тех случаях, когда наблюдаемый и наблюдатель принадлежат к разным общественным группам, да еще враждебным. В этом случае писатель-художник переживает наблюдения над рабочим классом, и поскольку он не живет с ним единой слитной жизнью, он не имеет тех первичных ощущений, которые есть на-лицо у писателя-рабочего. Отсюда, однако, не следует делать и того вывода, что всякий рабочий-писатель есть носитель пролетарской литературы в том высоком смысле, как это понимается в наши дни,—он может быть даже враждебен рабочему классу, зараженный отрицательными моментами буржуазной культуры. Это тоже исключение, хотя и нередкое.

Однако все эти исключения не опровергают основного положения, что только рабочий класс через своих более или менее талантливых представителей и на известной ступени своего общественного развития сможет создать пролетарскую литературу в нашем смысле. Небольшая история рабочей литературы наглядно показывает, как эта литература растет вместе с ростом рабочего класса, как она постепенно, но неуклонно, освобождается от пут буржуазной культуры.

В сущности, эти же самые теоретические соображения лежат в основе нашей практики, когда мы на ответственные партийные и советские посты стремимся выдвинуть рабочих. А в чем кроется физиологическая база, когда мы высмеиваем „интеллигентские выдумки и фантазии" людей, сжившихся, сросшихся с рабочим классом?

Если актер, как рассуждает г. Мюнстерберг, не в состоянии вчувствоваться в гнев изображаемого им лица до тех пор, пока его мускулы не придут в соответствующее напряженное состояние и не произойдет соответствующего изменения в кровообращении и деятельности желез, то и писатель-художник не в состоянии вчувствоваться в переживания чуждого ему класса до тех пор, пока его организм не приобретет нужных физиологических навыков, а это возможно только в одинаковых условиях жизни.

При анализе литературно-художественных произведений марксистский критик исходит обычно из определенных идеологических предпосылок, не входя в анализ того, как в сознании художника психофизиологически сложился известный образ.

После того, как наука с достаточной убедительностью доказала, что так называемая психика и психические явления, по существу своему, есть не что иное, как физико-химические процессы, процессы

энергетического характера, нам нельзя уже ограничиться общим положением „бытие определяет сознание". Необходимо проследить, как и в какой степени оно определяет сознание данного художника, имеющего определенную психологическую установку, зависимую от классового его положения, наследственности и тренировки.

После замечательных в этом отношении работ датского психофизиолога А. Лемана, исследований динамики жизни Дж. Лёба, работ по психотехнике Г. Мюнстерберга, работ проф. И. Павлова о высшей нервной деятельности животных и других работ, критика должна внимательно сосредоточиться над изучением психоанализа. Да и не только она. Это изучение необходимо социологу, экономисту, критику, художнику, врачу, технику, педагогу, оратору и многим другим.

И если кто-либо из марксистских критиков сумеет марксистский анализ сочетать с психоанализом при разборе, например, сочинений Б. Пильняка, ему, несомненно, удастся выяснить, в силу каких свойств нервной системы и благодаря какой „установке", писателю понадобилось в уста начальника женотдела тов. Ордыниной вложить слова: „Я иногда до боли, физически, реально, начинаю чувствовать, осязать, как весь мир, вся культура, все человечество, все вещи, все стулья, кресла, комоды, платья пронизаны полом,—нет, не точно,—пронизаны—половыми органами, даже не род, нация, государство, а вот носовой платок, хлеб, камень... Почему не разорвались ни часы, ни сердце?—Когда все тело разорвано, раздвоено—половыми органами. Я не одна. У меня кружится голова. И я чувствую, что вся революция—вся революция—пахнет половыми органами".

Психоанализ подкрепит критика-марксиста, когда он будет выяснять, почему Б. Пильняк, превратив революцию в рязанскую бабу и сведя ее к половым функциям, увидел в неслыханном движении только мусор, пену, хлам революции,—почему он слеп к внутренним импульсам пролетарской революции, которые наполняют безграничным энтузиазмом, геройством, благородством даже и тех, у которых с уст не сходит матерное слово, которые не умыты и не причесаны.

Литературная критика интересуется не только содержанием художественного произведения, но и его формой. Вне ее произведения теряет свою силу, значимость, да и вообще перестает быть художественным произведением. Психоанализ дает твердое обоснование мысли, что форма неотделима от содержания, что то и другое тесно связано, одно другим обусловливается и оформляется в результате сложного психофизиологического процесса. В доказательство можно сослаться хотя бы на исследования проф. К. Корнилова. В своей книге „Учение о реакциях", касаясь творчества Родэна и в частности останавливаясь на его скульптуре „Мысль", он задается вопросом, почему изображена только одна голова, и на основе изучения реакций—он утверждает, в согласии с проф. Мейманом, что „очень напряженное мышление подсказывает такие веские аргументы в пользу самых противоречивых решений, что в итоге получается бездействие", что „при

интенсивной мысли телесного не существует". Статуя—апофеоз созерцания, полного игнорирования практической жизни, и скульптор, чтобы не изображать „бездействующие", „бестелесные" члены тела, как бы дисгармонирующие с активностью мысли, дал одну голову. Но эта форма выражения, скажем схематично, вполне буржуазна. Идея противоположения разума воле свойственна богословию, философии самых древних времен. Этот вопрос разрешали Шопенгауэр и Ницше. Рабочий класс, в процессе своего развития, сумел наиболее гармонично объединить интеллект и волю, и при оценке скульптуры пролетарской мысли, пролетарского мыслителя, критик должен много подумать над формой произведения и, может быть, вынужден будет признать форму Родэна или Микель-Анджело, создавшего своего „Мыслителя", несовременной, устаревшей.

Психоанализ открывает путь к точному выяснению, насколько неизбежно, как долго и в какой степени пролетарский художник вынужден пользоваться формами художников: футуристов, имажинистов конструктивистов и т. п.

Путь психоанализа при сочетании с марксизмом поможет разрешить одну из самых сложных проблем, как содержание и форма в физико-химической лаборатории мозга объединяются в единое целое, нераздельное.

Гейманс, например, установил, что флегматики предпочитают работать по утрам, склонны к прогулкам, но не имеют интереса к красотам природы, —нервозные, наоборот, работают по вечерам и мечтательны.

Эти характерные коррелации, влияя на усвоение нового содержания, не могут не оставить следа и на выработке формы, в которую облекается содержание, и на общем аффективном тоне произведения, если текущая жизнь, „бытие", не изменит соотношения сил между „торможением" и „способствованием" нервной системы данного художника.

Психоанализ с каждым днем завоевывает отдельные области жизни, знания и техники, его ожидает великое будущее. В соединении с марксизмом он явится могучим орудием для критика искусств, равно и других форм идеологии.

Однако, пользуясь методами и добытыми результатами психоанализа, надо помнить, что люди, разрабатывающие его, еще во многом находятся в путах старого мировоззрения, и там, где они пробуют делать философские обобщения, сходя со строго экспериментальной почвы, они впадают в идеализм. Нередко случается это, например, с С. Фрейдом. Психоанализ—строго экспериментальный метод, этого нельзя забывать ни на одну минуту. Предметом его является „бытие", которое обусловливается общественно-экономическими отношениями людей.

Психоанализ должен и может быть на службе у марксизма. Он не опрокидывает положения, что „бытие определяет сознание", а экспериментально подкрепляет его, учитывая идеологическую роль хорошей пищи, квартиры, тепла, света и пота, у разных общественных групп равняющихся далеко не одинаково численным калориям, дающим материал для деятельности мозговой лаборатории.

Литературная критика нуждается в психоанализе особенно в наше время, полное многих противоречий.

И мы должны изучать его и применять, не боясь, что литература и искусство перейдут на точку зрения „общечеловеческую", скорее, чем мы сумеем его применить.

Валерьян Полянский.

ТРИБУНА.

Некоторые проблемы марксистской теории классов.

Как известно, наши отечественные противники марксизма, начиная с Ю. Делевского и Туган-Барановского и кончая Питиримом Сорокиным, не раз утверждали, что ни Маркс, ни его последователи не дали цельной и систематической теории классов, что, в частности, у самого Маркса можно найти несколько определений понятия „класс", отличающихся одни от других. Признавая значительную долю истины в этих утверждениях и не останавливаясь на причинах указанного явления, можно только возразить, что, несмотря на отсутствие у Маркса детально разработанной теории классов, дух учения Маркса о классовой борьбе и данные им самим классические образцы классового анализа общественных явлений настолько точно и однородно были восприняты теоретиками революционного марксизма, что у них никогда не возникало серьезных разногласий относительно конкретного применения этого плодотворнейшего метода исторического исследования.

Но, одинаково применяя принцип классового деления общества, принцип классовой борьбы, понятие классовой психологии и идеологии, марксисты далеко не во всем согласны между собой в самом определении понятия класс и в том критерии, каким нужно пользоваться для решения вопроса, на сколько классов делится современное капиталистическое общество. Известная работа проф. Солнцева, теоретические выводы которого почти целиком принимает Н. И. Бухарин в своей книге, подводит итоги всем теоретическим разногласиям в этой области и пытается по-своему интерпретировать Маркса. Между тем, эта интерпретация, особенно в той форме, которую придал ей т. Бухарин, вызывает ряд серьезных сомнений. И если принять во внимание то грандиозное распространение, которое получила книга Бухарина, ту почти обязательную силу, какую имеют его формулировки для всей нашей учащейся молодежи, если вспомнить также то актуальное значение, какое имеют некоторые вопросы теории классов, то будет вполне понятным наше желание поделиться своими сомнениями с читателями „Под знаменем марксизма".

Остановимся прежде всего на определении класса по Бухарину. „Под общественным классом разумеется совокупность людей, играющих сходную роль в производстве, стоящих в процессе производства в одинаковых отношениях к другим людям, при чем эти отношения выражаются также и в вещах (средствах труда)" (стр. 325—326, подчеркнуто у автора).

Нельзя сказать, чтобы это определение отличалось большой точностью. В самом деле, „отношения, выражающиеся также и в вещах", т.-е. отношение к средствам производства, упомянутое у т. Бухарина как бы между прочим в скобках, это отношение является коренным, основным в определении класса (что отчас и признает дальше и он сам). Из этого отношения вытекают и формы доходов и отношения к другим классам. Поэтому правильнее было бы определить класс, как „совокупность людей, играющих сходную роль в процессе производства и находящихся в сходных отношениях к средствам производства". Это определение, стоя целиком на производственной основе и избегая этим поверхностного деления на „богатых" и „бедных", при помощи которого ничего нельзя объяснить в сложной борьбе классов современности, в то же время из совокупности обоих критериев выводит и ту долю общественного продукта, которая достается каждому классу, и отношение его к другим классам, и ту общественную психологию, которая характерна для данного класса.

Это же определение дает, как нам кажется, возможность построить более сложную, более отвечающую конкретной исторической обстановке систему деления общества на классы, чем та, которую предлагает т. Бухарин. У него всякая общественная формация делится (и в этом он целиком идет за Солнцевым и отчасти за Богдановым) на два основных класса („классы в собственном смысле слова"): „командующий и монополизирующий средства производства—с одной стороны; класс исполняющий, лишенный средств производства, работающий на первый класс,—с другой стороны". При этом обычное у Маркса деление современного общества на три класса—землевладельцев, капиталистов и рабочих—Бухарин, вслед за Солнцевым, отводит при помощи того соображения, что землевладельцы не играют основной роли в капиталистическом процессе производства.

Но из этого вытекает несколько серьезных проблем. Прежде всего, все ли члены данного общества (напр., капиталистического) принадлежат к каким-либо классам, или же эта честь—принадлежать к „классам в собственном смысле слова"—достается лишь на долю капиталистов и рабочих, а вся остальная масса общества вынуждена довольствоваться положением „промежуточных" и „переходных" групп, как это утверждает т. Бухарин (стр. 334—335)? Далее, как применить бухаринское деление всякой общественной формации на два основных класса, командующих монополистов средств производства и обездоленных „исполнителей", к обществу, где основной массой населения являются мелкие товаро-производители,

а промышленный капитал и пролетариат существуют лишь в зародыше, напр., к населению колонизуемых стран, как Северные штаты Америки (в которых не было рабства) в первые десятилетия XIX века, или как Австралия и Новая Зеландия в более поздние времена? Другими словами, является ли мелкая буржуазия самостоятельным классом или же только переходной, разлагающейся группой?

Что в развитом капиталистическом обществе мелкая буржуазия занимает промежуточное положение между капиталистами и рабочими, что часть ее непрерывно разоряется, пополняя ряды пролетариата, а другой части, гораздо менее многочисленной, удается иногда (все реже и реже) подняться до положения средней буржуазии,— все это общеизвестно. Но мы знаем также, что Маркс несколько переоценивал темп капиталистического развития и, в частности, быстроту, с какой разлагаются все виды и группы мелкой буржуазии. Мы знаем теперь, что если исторически мелкая буржуазия, в лице крестьянства и городских ремесленников, предшествовала современному капитализму, то, с другой стороны, она оказалась устойчивее самого капитализма: в самом деле, крушение капитализма и диктатура пролетариата, как переходный этап к социализму, несомненно везде или почти везде будут сопровождаться сохранением значительных групп мелкой буржуазии, которые лишь постепенно окажутся ассимилированными, втянутыми в социалистическое производство. Можно ли в таком случае к классу, из которого вырос капитализм и который этот капитализм переживет, относиться так пренебрежительно (конечно, в теоретическом смысле этого слова), как к классу „переходному", разлагающемуся и потому не заслуживающему того, чтоб называться подлинным, настоящим классом?

Но, могут нам возразить, если мелкая буржуазия есть класс, то каковы же экономические признаки этого класса?

Чтоб ответить на этот вопрос, вернемся к двум основным признакам (определенная роль в процессе производства и определенное отношение к средствам производства), характеризующим класс, и на основании комбинации которых можно, как нам кажется, установить не двухчленное и даже не трехчленное, а пятичленное деление капиталистического общества. В самом деле, с точки зрения той роли, которую данная часть общества играет в производстве (в широком смысле этого слова), т.-е., включая и обмен, все общество можно разделить на две группы: в одну войдут рабочие, вся мелкая буржуазия и представители капитала, поскольку они играют активную роль в процессе производства в качестве организаторов и руководителей. В другую группу на одном полюсе войдут все, живущие исключительно рентой, т.-е., конечно, прежде всего и главным образом мелкие собственники, а на противоположном полюсе за пределами всякого производства окажется люмпен-пролетариат, т.-е. группа, известная не только капитализму, но и другим общественным эпохам

в моменты распада и игравшая нередко в истории (напр., в древнем Риме) крупную политическую роль, в качестве орудия в борьбе господствующих классов, партий или отдельных лиц.

Наоборот, если разделить общество по признаку отношения к средствам производства, то на одной стороне окажутся все собственники, от крупных землевладельцев до мелкой буржуазии, а на другой и промышленный пролетариат и люмпен-пролетариат. И, лишь соединяя оба признака, мы получим ту схему, которой соответствует конкретно, исторически выросшее и отличающееся характерными психологическими особенностями деление на классы.

I. Крупные землевладельцы. В производстве не участвуют (мы берем чистый тип английского землевладения, который имелся в виду и Марксом), но в то же время владеют важнейшим средством производства—землею, при чем это средство производства не может быть ни увеличено, ни воссоздано, что делает из владения им особую привилегию. Этот исключительный характер землевладения, легко превращающий его в монополию, и та огромная реакционная социально-политическая роль, которую крупное землевладение играло во все исторические эпохи, не исключая и эпохи капитализма (до недавнего времени в Англии и России, а в таких странах, как Германия или Япония, даже и теперь), дает нам полное право выделять крупных землевладельцев, живущих рентой, в особый класс.

II. Вся масса активных капиталистов. В производстве участвуют и владеют средствами производства.

III. Пролетариат. В производстве участвует, но средствами производства не владеет.

IV. Люмпен-пролетариат. Средствами производства не владеет, но и в производстве не участвует.

Наконец, V, мелкая буржуазия. Средствами производства владеет (и в этом отношении сходна с двумя другими имущими классами), но владеет в таких размерах, которые вынуждают ее участвовать в производстве личным, преимущественно физическим трудом (в этом ее отличие от настоящей буржуазии и сходство с пролетариатом).

Вот это личное, непосредственное участие в самом процессе производства (или обмена) и является характерным социально-экономическим признаком мелкой буржуазии, который позволяет объединить в этом классе мелкого лавочника, хозяина-ремесленника, эксплоатирующего труд подмастерьев, состоятельного крестьянина, пользующегося наемной силой („кулака")—с ремесленником-одиночкой или малоземельным, однолошадным крестьянином. Имущественные различия между ними неизмеримо меньше, чем различие, напр., между мелким или даже средним фабрикантом, с одной стороны, и Морганом или Стиннесом—с другой, что не мешает нам объединять их по основному признаку в один класс буржуазии или капиталистов. Точно также всех представителей мелкой буржуазии, незави-

симо от того, пользуются ли они наемным трудом или нет, объединяет то, что все они—собственники и в то же время все работают физически наравне со своими рабочими. Это и создает своеобразную психологию мелкой буржуазии, которая в одни исторические моменты чувствует себя солидарной со всеми собственниками вообще, а в другие—наоборот, с рабочим классом [1]).

Итак, т. Бухарин не считает настоящим классом мелкую буржуазию, из недр которой вырос современный капитализм, которая на заре капиталистического развития играла огромную историческую роль (стоит вспомнить эпоху реформации, затем английскую и особенно французскую революцию) и с экономическими и психологическими особенностями которой пролетариату в высшей степени приходится считаться в эпоху крушения капитализма (тем более, что квалифицированная верхушка его сама в значительной мере заражена мелко-буржуазной психологией и идеологией).

Зато, низводя мелкую буржуазию в „переходные классы", тот же т. Бухарин, вслед за Каутским и отчасти за Богдановым, возводит в ранг „промежуточных" классов интеллигенцию (Каутский, как известно, считает интеллигенцию и „служащих" новым „средним сословием" в капиталистическом обществе). При этом он почему-то из всей интеллигенции выделил техническую интеллигенцию и именно ее объявил целым „промежуточным классом" в то время как техническая интеллигенция своими низшими элементами теснее всего соприкасается с высшими, наиболее квалифицированными группами пролетариата (и по своим экономическим признакам, и по своей социальной психологии), тогда как высшие группы этой интеллигенции, исполняющие функции управления и надзора, сливаются с буржуазией.

Вообще же вопрос об интеллигенции и ее роли в классовом обществе—один из наиболее интересных в теоретическом отношении. Я здесь его касаться не буду, так как ему посвящен ряд статей в недавно вышедшем моем сборнике „На идеологическом фронте". Повторю лишь, что, по-моему, интеллигенция в гораздо меньшей степени, чем мелкая буржуазия, заслуживает того, чтобы быть причисленной к отдельному классу, хотя бы и „промежуточному". По своей экономической основе она—в общем и целом—составляет наиболее квалифицированную часть пролетариата, а по некоторым своим, вытекающим из ее экономического положения, социально-психологическим особенностям, больше всего приближается к мелкой буржуазии (при чем и в этом отношении лишь количественно, а не качественно отличается от верхних слоев пролетариата).

Резюмируем. По мере развития капитализма, капиталисты и

[1]) Между прочим, небесполезно будет напомнить, что в своих статьях и речах посвященных крестьянству, Ленин всегда рассматривает его именно, как класс мелкой буржуазии.

рабочие приобретают несомненно все большее экономическое и политическое значение, все больше подчиняют себе другие, близкие им классовые группы, становятся все более решающими факторами общественной жизни. Но из этой тенденции, думается нам, отнюдь не следует, что можно из теоретического анализа классового общества устранять, как „промежуточные" и „переходные", другие классовые группы, обладающие вполне устойчивыми и легко определимыми классовыми признаками. При чем в наибольшей степени это относится к мелкой буржуазии, наиболее живучему классу современного общества, который, быть может, на некоторый исторический период в ряде стран—переживет и буржуазию, и пролетариат.

Б. Горев.

Ответ тов. Баммелю.

В № 6—7 „Под знаменем марксизма" помещен отзыв Гр. Баммеля о I томе моего „Методологического введения в науку и философию". Я с благодарностью приму все обоснованные возражения на мои воззрения. Но мне очень бы не хотелось, чтобы некоторые из этих возражений основывались на недоразумениях. Все мы знаем, как трудно бывает сразу охватить в деталях мало привычный нам строй чужой мысли —нередко истинный смысл утверждений того или другого автора выясняется лишь после вторичного пересмотра его книги или в связи с теми или иными дискуссиями... Кстати сказать, в связи с этим мне часто приходит в голову, что было бы весьма полезно рецензентам книг перед составлением своих отзывов просто побеседовать с их авторами. Это предохранило бы критиков от возможных недоразумений и сохранило бы время, труд и бумагу, которые уходят на последующее выяснение подлинных воззрений авторов.

Пусть не посетует на меня уважаемый рецензент, если я укажу ему на некоторые ошибки в истолковании, а частью и антиципации моих взглядов, в которые он впал.

Первый упрек, который рецензент мне делает, состоит в том, что я, будто бы, указывая на необходимость „европеизироваться" в области философии, имею в виду так или иначе работать на пользу той „европейской философии, идеалистической в своем существе", которой рецензент враждебен. Этот упрек основан на нескольких фразах моего „Предисловия". Но, ведь, кроме предисловия есть целая книга. Вместо того, чтобы догадываться, не хочет ли Ивановский защищать такую-то философию, было бы проще, с одной стороны, посмотреть, что именно он защищает в уже вышедшей книге, а с другой—подождать до выхода следующего тома (если судьбы издательств будут тому благоприятны), где вопрос о „философии" составит предмет специального рассмотрения. Странно, что рецензент с самого начала так недоверчиво настроен, хотя он хвалит мое изложение первой же философско-методологической проблемы—вопроса о классификации наук. „Мы имеем здесь,—говорит он,—очень добросовестное, чрезвычайно удобопонятное изложение главнейших типов наук, их форм, методологии и содержания их проблем"...

Второе недоразумение: рецензент полагает, что, во-первых, мне следовало бы говорить (не о философии) о „философиях“ (т.-е. о методологиях отдельных наук), а, во-вторых, „упразднились бы и все понятия гносеологии, онтологии и т. д., с которыми расстаться В. Ивановскому уж больно грустно“. Тут, что ни слово, то недоразумение... Философия не сводится на „методологии отдельных наук“, потому что она должна быть методологией всей культуры в ее целом (как это у меня и выясняется в общей, предварительной форме; детали будут в дальнейшем).

Во-вторых, что мне „уж больно грустно расстаться с понятиями гносеологии, онтологии и т. д.“—это уже „чтение в сердцах“. И оно тем более странно, что я всего менее „онтологист“ (в противоположность большинству русских мыслителей): я методолог... И если я говорю, что „онтологическая“ точка зрения Платона была такая-то, а Спинозы такая-то и т. п.,—то как же это иначе-то сказать? Или об этом надо вовсе умолчать? Или исказить историю и факты?.. На это-я, конечно, не пойду; да вряд ли и рецензент этого потребует... Но тогда в чем же дело?

Что я не расстаюсь с „понятиями“ гносеологии, это верно, и в этом характерная черта моих воззрений. Но надо меня не просто за это упрекнуть, а показать, что я не прав. „Гносеологии“ у меня будет отведен III-й том, и разговор о ней будет позже. Теперь скажу только, что познавание и знание суть факты, и как таковые должны быть научно изучены. И такое научное их изучение и есть учение о познании, или гносеология, так, как я ее понимаю. А за другое понимание я не отвечаю. И поскольку сами естественные науки суть системы знания, и они должны опираться на логику и теорию знания, т.-е. на научно-разработанную гносеологию,—на научную философию.

Впал в недоразумение рецензент и в вопросе о двух точках зрения на знание: точек зрения социологической и логической. Буду ли я „развивать логику свою самостоятельно и независимо от исторического метода“, это рецензент увидит во II и III томах. Но что наука имеет обе эти стороны, это просто факт. Поясню детским примером. Что „атом состоит из электрических элементов“—это положение имеет свой генезис—историко-социологический. Но создаваемое на основании его представление о материальном мире, есть вопрос научно-методологический, логико-химический.

Возникает наука при таких-то и таких условиях; но, раз возникши, она подчиняется критериям истины, дает систематическое представление о той или другой части мира и т. д. Где здесь внутреннее противоречие? Где „дань“ одиозной рецензенту „европейской философии“, столь будто бы (мной) восхваляемой и вошедшей (мне) в плоть и кровь“? Тут не стремление „воздать кесарево кесарю, а божие богови“, а просто более широкий учет фактического положения вопроса, всех его сторон—больше ничего.

Далее, мне думается, что при более детальном изучении исторического отдела моей книги должно оказаться, что в ней есть целый ряд моих самостоятельных воззрений, далеко не совпадающих с „самым обычным идеалистическим трафаретом“, как это полагает рецензент. У Спинозы, конечно, есть элемент мистический в моем смысле (я резко различаю мистику от магии: Спиноза крайнейший враг всякой магии).

Мне не совсем ясна и общая оценка моей книги. Рецензент в начале хвалит вторую часть моей книги, в середине называет меня „сильным и крупным мыслителем“, в конце пишет, что книга „говорит о большом и весьма трезвом замысле автора“, и тут же прибавляет: „книга, несомненно, не безнадежно плоха. Ее следует переработать... Всю первую часть следовало бы выбросить, оставив лишь историко-культурные экскурсы. Не думаю, впрочем, чтобы из этого что-нибудь вышло“.

Мне кажется в такой оценке все же больше психологии, чем логики. Она мне несколько напоминает известный отзыв Собакевича о провинциальных чиновниках: „один прокурор порядочный человек, да и тот, сказать по правде, свинья“.

Во всяком случае я благодарю рецензента за его отзыв и во II томе постараюсь яснее и полнее изложить те пункты, по которым, как мне кажется, рецензент, а за ним и публика, могут впасть в недоразумения.

В. Ивановский.

P. S. Я не остановился на выяснении моего отношения к марксизму, потому что никакую самостоятельно выработанную точку зрения нельзя сделать понятной без тех или других детальных соображений. Прибавлю все-таки, что, выдвигая на первый план методологическую точку зрения и ставя в зависимость от нее всю вообще проблему бытия, я холоден к философскому, онтологическому материализму (как и к онтологическому „идеализму“, спиритуализму и проч.). Однако к историческому материализму и к „историческому методу“, о котором говорит рецензент, я далеко не равнодушен. И большие следы этого есть в моей книге. Мне думается, что эту сторону моих воззрений рецензент не совсем дооценил. Те же взгляды я развивал, например, и в моей большой работе „Очерк истории ассоциационизма“, где я английский ассоциационизм истолковываю, как мировоззрение английской „радикальной интеллигенции“, выводя его основные характерные черты из общественных условий момента. Этих воззрений я держусь с давних уже пор, и мог бы сослаться на мои небольшие работы в старых марксистских органах печати. Только на-ряду с историческим происхождением теорий я подчеркивал их систематическое содержание и значение. Подробнее о марксизме я буду говорить в следующих томах моей работы. Тогда, я уверен, отпадет целый ряд недоразумений рецензента.

В. И.

Несколько ответных замечаний.

Отвечая на замечания В. Ивановского, я с самого начала не могу не согласиться с ним, когда он говорит, что ему „очень бы не хотелось, чтобы некоторые из (моих) возражений основывались на недоразумениях“. Прочтя его „ответ“, „к сожалению, я не могу сказать о себе, что я был введен в заблуждение какими-либо недоразумениями“. Впрочем, может быть сжатый язык моего отзыва много оставил неясного, но вопросы, вызвавшие возражения т. Ивановского, думается, были освещены мною в достаточной степени. Мои замечания в ответ уважаемому автору будут очень кратки.

1. „Первый упрек... будто бы я, указывая на необходимость „европеизироваться" в области философии, имея в виду так или иначе работать на пользу... европейской философии". Для автора „европеизироваться" значит „поставить" „в основу философского мышления науку, как таковую". Поэтому я спрашивал: „какая же это научная философия? В чем ее отличие от „ненаучной?" Не эта же европейская, идеалистическая философия выдвигает тот же принцип мнимой научности? Отсюда два вывода: первый: — в мои намерения не входило приписать В. Ивановскому желание „работать в пользу европейской философии"; второй: — в своем ответе ему и следовало ответить на вопрос о том, каким образом логико-методологическая проблема науки является „независимой теоретической проблемой", имеющей „свой особый внутренне закономерный строй и состав, свою логику"...

2. Вместо того, чтобы догадываться, не хочет ли Ивановский защищать какую-то философию, было бы проще с одной стороны посмотреть, „что именно он защищает в уже вышедшей книге, а с другой стороны подождать до выхода следующего тома". У меня сказано: „Так как в моем распоряжении лишь первый том, то придется ограничиться немногими замечаниями относительно той принципиальной части книги, которая является основанием и предпосылкой для всего последующего хода исследования". Отсюда вывод: догадываться мне не приходилось ни о чем; предо мною была принципиальная часть и она была предметом моей критики. Это упустил из виду уважаемый автор в своем „ответе".

3. То же самое следует сказать и о „втором недоразумении". В. Ивановский только повторяет свою мысль: „философия не сводится к „методологии отдельных наук", потому что она должна быть методологией всей культуры в ее целом". Но именно то, что философия „не сводится" к методологиям отдельных наук и заставляло меня в моем отзыве усмотреть неясность и противоречивость в основном понятии автора — в понятии „научной" философии. Я спрашивал: в каком смысле философия может быть научной, не переставая быть философией? Если она имеет свои особые задачи и предметы изучения, то не определяются ли и задачи и предметы ее теми научными методами, на которые она должна опираться, по мысли нашего автора? Отсюда вывод: близость „научной" философии В. Ивановского ко всем попыткам современного „европейского" „идеализма" ориентировать философию на „факте" (— тоже на факте, т. Ивановский), — на факте „науки" (— не той же самой ли науки, т. Ивановский?), — эта близость самоочевидна. Эта двусмысленность принципиальной позиции автора остается не устраненной в его „ответе".

4. Теперь о двух „точках зрения". Это чрезвычайно важный и несомненно сложный вопрос, и уже то, что необходимость его постановки сказалась в рецензируемой книге, характеризует его автора, как глубокого и чуткого мыслителя. Замечание его, однако, только заостряет ту самую мысль, против которой и было направлено самое главное из моих возражений. „Возникает наука при таких-то и таких-то условиях, но, раз возникши, она подчиняется критериям истины"... и т. д. В ответ — пусть читатель не сетует на меня за длинную цитату — мне остается лишь привести одно место из моей рецензии:

„Эта неясность в основном понятии книги Ивановского имеет, однако, более глубокие корни в общей полосе наметившегося среди идеалистически мыслящих философов „преодоления" идеализма. Объ-

яснимся. — В. Ивановский признает, что возможны две точки зрения на науку: социологическая и логико-методологическая. С одной стороны для него несомненно, что знание в своей элементарной форме возникает первоначально из практической деятельности, а с другой стороны, „столь же несомненно", что наука имеет некую „самостоятельную цель" и „свой особый внутренне закономерный строй и состав, свою логику". „Оба эти положения (говорит он, — курсив мой) равно справедливы; но они относятся к разным сторонам факта науки. Первое составляет ответ на вопрос о происхождении отдельных элементов и частей научного знания; второе касается систематического состава науки. Первое имеет дело с социально-психологической, второе — с логико-метологической проблемой науки". По мысли автора, это две совершенно различные проблемы. Исходя именно из такой постановки вопроса, и можно очевидно, утверждать таким образом: „сейчас философия (какая?) переживает новый кризис. Хотелось бы думать, что она выйдет из него преобразованной и возрожденной, хотелось бы видеть, наконец, торжество не прикладной (к религиозным или политическим настроениям), а подлинной, независимой теоретической философии", философии, „именно как таковой" (курсив всюду автора!). Следовательно, смысл разграничения двух точек зрения на знание понятен: если логическая точка зрения независима от социологической, то нет никаких препятствий к тому, чтобы развивать логику свою самостоятельно и независимо от исторического метода. Будучи позитивистом по натуре, В. Ивановский не может не отдать дань и историзму своего времени, но „европейская", столь восхваляемая им и вошедшая в его плоть и кровь, школа философии тоже требует „своей" дани, ибо всякое развитие — и даже развитие процесса смерти и самоупразднения — непрерывно. Тут-то и возникает спасительная теория — „кесарю кесарево, а богу — божие". Другими словами, марксизм превращается в точку зрения, для того, чтобы легче всего было от него отказаться тогда, когда это и удобно и выгодно для собственной теории. Здесь В. Ивановский, как сильный и крупный мыслитель, отражает основную первичную ошибку всех современных оторвавшихся от идеализма и не приставших к материализму философов".

Гр. Баммель.

P. S. Мне думается, что доказывать неразрывное единство так назыв. „исторического материализма" и материализма „философского", как выражается В. Ивановский, значит ломиться в открытые двери. Исторический материализм, как мировоззрение, следует мыслить в широкой систематической связи того самого „философского онтологического материализма", на котором покоятся все области современного естествознания и к которому уважаемый автор „холоден". Никаких шатаний мы не приемлем. Формула воинствующего материализма должна быть выражена ясно и отчетливо.

Г. Б.

СООБЩЕНИЯ и ЗАМЕТКИ

„Die Neue Zeit".

Умер, Касьяновна, умер, болезная...
Н. А. Некрасов.

Умер, незаметно, без шума: скорее погас былой светильник международного революционного социализма, покрытый смрадом и чадом последних лет тления.

По существу он умер давно—1/VIII 1914 года, когда германская социал-демократия так цинично изменила всем тем заветам, которые неустанно в течение 30 лет пропагандировал „Neue Zeit". Те бесцветные, эклектические и оппортунистические тетради, которые выходили по старой памяти еженедельно под старым же названием, только оскорбляли славную память о революционных трехдесятилетиях журнала, которому так многим обязано рабочее движение и революционный марксизм.

„Die Neue Zeit" основан ровно 40 лет назад в 1883 году, выходил сперва в виде ежемесячника, а потом еженедельно.

Мы не можем сейчас останавливаться сколько-нибудь подробно на заслугах этого положительно единственного в своем роде журнала. В ближайших номерах нашего журнала мы попытаемся более подробно остановиться на деятельности и значении его. Для настоящей заметки достаточно будет напомнить нашим читателям, что Каутский - революционер почти весь—за исключением двух-трех крупных работ—развернулся на страницах „Neue Zeit", редактором которого он долгое время—до 1917 г.—являлся. Исключительно великую роль играл он и в эпоху, когда Бисмарк загнал германскую соц.-дем. в подполье: будучи единственным теоретическим легальным органом, он из недели в неделю последовательно пропагандировал революционный марксизм; Меринг, Плеханов, В. Либкнехт, А. Бебель, П. Лафарг, Р. Люксембург—вот та славная старая гвардия революционного марксизма, которая на страницах его вела войну с ревизионизмом (Бернштейн, Давид и др.), с неокантианцами (Шмидт и др.) с оппортунизмом всех видов и сортов.

Для нас „Neue Zeit" перестал существовать, повторяем, с августа 1914 г. Теперь мы не жалеем о том, что германская социал-демократия наконец-то приостановила его. Оппортунистический „Neue Zeit" нам причинял только боль. Нашей заметкой мы хотим лишь отметить, что последние годы не заставят нас забыть славные статьи „Neue Zeit".

Материалист.

Об институте Ленина.

Осенью текущего года в Москве при ЦК РКП начал организовываться институт Ленина.

В настоящее время сконструирован Совет института, которому надлежит руководить работой. (В состав Совета входят: председатель т. Каменев, члены: Зиновьев, Сталин, Н. К. Ульянова, Лядов, Бубнов, Зеленский, Бухарин, Невский, Аросев).

11/XI—23 г. состоялось первое заседание Совета, на котором был определен в общих чертах объем работы Института на ближайшее время. Вся предстоящая работа разделяется на две части:

А. Дальнейшее пополнение материальной части Института (рукописи, нелегальные издания, библиотека произведений Ленина и о нем, и по социальным и историческим вопросам, фотографии их и проч. изображения Ленина, подарки Ленину) и систематизация вновь поступающих материалов.

Б. Научно-исследовательская работа над произведениями Ленина, новое издание трудов В. И. Ленина и дача разъяснений и указаний в ответ на поступающие запросы по всей деятельности и произведениям Ленина.

В связи с осуществлением первой части задач Института Совет постановил:

1) Признать необходимым сосредоточение в архиве Института по возможности всех рукописных материалов Ленина и исторических материалов, непосредственно относящихся к его жизни и деятельности (также в оригиналах).

2) Библиотеку Института составить из произведений Ленина на всех языках во всех изданиях, сочинений о нем и его деятельности и тех произведений по социально-экономическим и историческим вопросам, которые потребуются для научно-исследовательской работы.

3) Обратиться в Соц. Академию и Институт Маркса и Энгельса с просьбой о передаче Институту имеющихся у них дублетов, необходимых для Института книг.

4) Признать необходимым выбрать один или два наиболее удачных снимка Ленина, каковые отпечатать и рекомендовать в партийном и советском порядке всем учреждениям и организациям, желающим приобрести портрет Ленина.

В план научной и издательской деятельности Института включить:

1) Окончание издания полного собрания сочинений Ленина, редакцию которого перенести в Институт.

2) Второе издание собрания сочинений Ленина в исправленном виде.

3) Издание краткой систематизированной библиографии Ленина для руководства различных кружков и пр. и полной хронологической библиографии (русской и иностранной).

4) Издание сборника имеющихся в архиве Института материалов по истории выработки программы партии.

5) Одобрить издание периодического бюллетеня Института.

Для обсуждения и выработки издательского плана и техники его выполнения созвать в ближайшие дни расширенное заседание Совета Института, с участием следующих лиц: т.т. Ионова, Шмидта, Кривцова, Покровского, Скворцова-Степанова, Ольминского, Бонч-Бруевича, Овсянникова, Товстухи, Панова, Новицкого.

Основным, так сказать, капиталом, опираясь на который Институт сможет осуществить намеченные научные задачи является его архив.

Архив В. И. Ленина, имеющийся в Институте, распадается на две части:

1) Архив старый—1895—1917 г г.

2) Архив новый—1917—по сегодня.

В архиве старом встречаются неустановленные даты, клички, шифрованные письма и пр. —вообще такие материалы, которые требуют над собою кропотливой, архивной, научной, исторической работы. В архиве новом—тут все документы точно датированы, обращены к определенным лицам или учреждениям, нет в них того, что называется законспирированным и что

мешает часто установить место написания, авторство и пр. Поэтому первоначальная систематизация старого архива несколько отличается от нового тем, что в первом всякий документ записывается в более детальный каталог, чем во втором случае.

По своему количеству старый архив значительно превышает новый. Если принять за архивную единицу нечто имеющее самостоятельную ценность, будь то толстая тетрадь, например, тетрадь В. И. Ленина: „Материалы к выработке программы РСДРП" или письмо, или, наконец, маленький клочек бумаги, на котором, скажем, написаны фамилии выступающих ораторов на каком-нибудь совещании—то в старом архиве после тщательного его разбора когда целый ряд архивных единиц оказалось возможным соединить под одним номером—таковых оказывается около 2.000.

Из них уже закаталогизированных инвентарно и по алфавиту авторов 1.000 экземпляров. По главнейшим авторам уже зарегистрированные документы располагаются таким образом:

Ленин—339 статьи, проекты, резолюции, заметки, письма.

Аксельрод—48 главным образом письма.

Мартов—60 письма и проекты.

Плеханов—71 письма и проекты.

Остальные документы составляют собою либо письма—Васильева, Носкова, Блуменфельда, Литвинова, Дана, Потресова, Дейча, Каутского, Бебеля—в небольшом количестве каждого из упомянутых авторов, либо резолюции различных комитетов и групп.

Со времени опубликования воззвания ЦК РКП от 8-го июля стал поступать новый материал. Большая часть этого материала состоит из оригинальных записок В. И. Ленина. Среди них имеются записки т.т. Зиновьеву, Хинчуку, Курскому. Записки, адресованные последнему, едва ли не самые интересные, так как среди них имеются поправки В. И. Ленина к кодексу. В самое последнее время Институт стал получать такие материалы, как дело Енисейского генерал-губернатора—относящиеся к пребыванию В. И. Ленина в ссылке, документы департамента полиции, относящиеся к наблюдению за Лениным и его сторонниками, наконец, дело из Казанского университета о Вл. Ильиче—студенте.

Одновременно с этим Институт предпринял и активные шаги по добыванию материалов главным образом за границей. В этом направлении удалось достать письма Ленина (оригиналы) следующие: 34 письма Ленина к П. Б. Аксельроду (за 1900—1901, 1902 г.г.), письмо Носкову (Глебову) из Парижа (1902 г.), оригинал доклада Ленина на Белостокской конференции (902), „программа Северного Союза РСДРП" и собственноручная критика ее Лениным, рукописный экземпляр брошюры Ленина (с которого она набиралась) „Задачи русской социал-демократии", 4 письма Елизаровой к П. Б. Аксельроду (1897—1898 г.г.), письмо П. Б. Аксельрода к П. Б. Струве, скопированное рукою Ленина,—о плане совместного издания периодического обозрения, письмо Ленина еще из России за границу относящееся к 1895 г. Часть этого письма зашифрована. Шифр в настоящее время раскрыт.

Внутренняя работа архива сосредоточивается, главным образом, на сверке копий с рукописями, подготовляя их, таким образом, к академическому изданию. Первой книгою, которая намечается Институтом к выходу, будет, вероятно, сборник материалов по истории выработки программы нашей партии. Он редактируется и подбирается директором Института т. Каменевым. Примечания к этим материалам подготовляются архивом. Подготовляемый труд будет содержать в себе проект программы Ленина, комиссионный проект, писанный рукою Мартова и Ленина, возражения на него Плеханова, замечания Ленина на возражения Плеханова, возражения

В. Засулич на замечания Ленина и письма разных лиц трактующие о программе, как-то: письма Аксельрода, Потресова, Плеханова.

Таким образом по этим материалам можно будет проследить непосредственно всю работу по выработке программы РСДРП. Вместе с материалами непосредственно относящимися к программе нашей партии, подготовляемая книга вместе с приложениями составить 600—700 страниц.

По мере разработки архива будет вестись подготовка к академическому изданию сочинений Владимира Ильича.

В настоящее время архивом Института уже пользуются различные издания.

В самое последнее время в Институте организуется особый справочный отдел. Основной задачей его является давать справки по отдельным вопросам, касающимся литературных трудов В. И. Ленина В задачи этого отдела должно входить также дача разъяснений по различным вопросам, касающимся деятельности В. И. Ленина. Отдел все это может в полной мере осуществить лишь опираясь на обширный и разработанный архив.

А. Аросев.

Открытие памятника К. А. Тимирязеву.

4 ноября, у Никитских ворот, был открыт памятник (работы скульптора Меркулова и архитектора Осипова) ученому и революционеру Клименту Аркадьевичу Тимирязеву.

На открытии присутствовали многочисленные делегации.

Вечером того же дня в Политехническом Музее состоялось организованное Главнаукой торжественное заседание, посвященное памяти К. А. Тимирязева.

Ко II тому Собр. соч. В. И. Ленина.

На-днях, просматривая „Начало", я заметил, что во II томе Собрания сочинений В. И. Ленина пропущена одна заметка из № 4—апрель 1899 г.

Заметка посвящена разбору книги Karl Kautsky „Die Agrarfrage—Eine Uebersicht über die Tendenzen der modernen Landwirtschaft und die Agrarpolitik U. S. W. Stutgart, Diez. 1899 (К. Каутский, „Аграрный вопрос"). Заметка имеет тем большее значение, что она оценивает книгу Каутского в духе ортодоксальном, в противовес Булгакову, который в № 1—3 того же „Начала" дал критический разбор этой же книги. Таким образом заметка эта является очень важной для оценки его статьи против книги Булгакова, написанной Лениным впоследствии.

Материалист.

Письмо в редакцию.

Ввиду того, что моя заметка о книге Г. В. Плеханова и В. И. Ленина „Против Богданова", помещенная в № 8—9 нашего журнала вызвала неправильные толкования прошу редакцию в ближайшем номере журнала поместить мои два слова в разъяснение ее:

Говоря о Богданове, как об оппортунисте, я выразился о нем, как о „ренегате“, но по недосмотру было при этом пропущено слово „большевизма“, что сильно меняет смысл всей фразы, которую надлежит читать: „Я этим не имею в виду Богданова—он давно является оппортунистом теоретически и ренегатом большевизма—политически“ и т. д.

С товарищеским приветом

Материалист.

От редакции.

Ввиду многих устных и письменных запросов, редакция считает нужным разъяснить следующее:

Всю ответственность за ведение журнала несет его ответственный редактор тов. **В. Тер.**

Начиная с № 6—7 т.т. **А. Деборин, В. Невский, Д. Рязанов, А. К. Тимирязев,** оставаясь постоянными сотрудниками журнала, не принимают непосредственного участия в его редакции.

Опечатка.

В номере 8—9 нашего журнала в ст. Эдингтона „Внутренность звезд“, на стр. 170, 14-ая строка сверху, вкралась досадная опечатка: вместо 30.000 следует читать 3.000.

БИБЛИОГРАФИЯ

Марксизм и этика. Сборник статей под ред. Розанова, Я. С. (Из серии „Проблемы марксизма“). Изд. Госуд. Издат. Украины, 1923 года (место изд. не указано). VIII+320 стр. Тираж—10.000.

„Наше время—время великих целей. В этом печать его“. Если эта характеристика Троцкого, данная нашей эпохе, верна, то верно будет положение, что наше время—время великой борьбы за осуществление этих целей. Наше поколение вступило в эту борьбу, имея в авангарде железную когорту старой гвардии с ее испытанным штабом вождей. Но ему не след забывать, что не за горами тот день, когда старая гвардия с ее штабом растает в боях, и когда вся тяжесть борьбы ляжет исключительно на его плечи. Борьба потребует колоссальных сил, выдержки и энтузиазма. Вот почему каждый час того льготного периода „новобранства“ должен быть использован нами для усвоения опыта своего „дядьки“, гвардии старшего поколения. Вот почему в первую голову мы должны приняться за усвоение того теоретического багажа, каким владеет этот „дядька“. Именно, в первую голову,—ибо без усвоения его искусство „дядьки“ понято быть не может, а, просто перенятое, оно в прок не пойдет.

С этой точки зрения, нельзя не отметить вновь появившейся книги, заголовок которой я выписал в начале своей заметки. Было бы неправильно думать, что этот сборник исчерпывает круг вопросов, содержание которых определяется его названием: очевидно, что этика еще ждет своего исследователя-марксиста, даже и после очень ценной попытки в этом направлении Каутского. Но, тем не менее, сборник предоставляет достаточный материал, чтобы войти в круг вопросов этики в той постановке се, какую она принимает у марксистов. Сборник открывается статьей Меринга: „Существует ли единая этика?“, дающей оценку „Немецкому Обществу этической культуры“, организованному в Берлине в начале 90-х г.г. прошлого века группой профессоров. Затем следуют статьи того же Меринга, представляющие его полемику, ведшуюся „более из чувства признательности“, с инициаторами Общества, выступавшими в прессе „по поводу“ оценки Меринга. Они носят заголовки: „Этика и классовая борьба“ и „Этика, этика... без конца“. В полемике принял участие и Каутский, статья которого „Еще об этике“ имеется на-ряду с вышеназванными статьями Меринга в I отделе. Среди них вставлена коротенькая статья Теннис, одного из организаторов Общества: „Еще об этике“, ответ Рерингу. Для современного читателя историческая обстановка этой полемики не имеет значения (в особенности для читателя русского), но самый вопрос, вокруг которого загорелся спор, существует ли единая этика, общая всем классам, сохраняет свой интерес и до наших дней. Следующий, II отдел, заключает в себе полемические статьи Каутского против Ферстера, по вопросу о значении классовой борьбы для нравственного сознания. Материал дискуссии с интересом прочтет каждый из нас, так как, в сущности, Каутский здесь отвечал на те возражения, на которые теперь приходится отвечать коммунистам: классовая борьба сни-

жает человека до уровня животного—вот довод д-ра Ферстера, против которого сражался Каутский. Центральное место в сборнике занимают споры, разгоревшиеся вокруг книги самого Каутского „Этика и материалистическое понимание истории". Из самой книги приведены две главы: „Этика Канта" и „Основы морали", а затем даны статьи Бауэра, русских учеников Плеханова, Аксельрод Л. И. и Иоффе А. М. и Квессель, при чем статьи последнего и ответы на них Каутского сгруппированы в специальный отдел о генезисе морали, в состав которого вошли еще две статьи Лафарга: „О происхождении идеи добра" и „О происхождении идеи справедливости". Эти два отдела представляют главный интерес всего сборника. Первый из этих отделов имеет своим назначением выяснить взаимоотношения этики марксизма и этики кантианства. Здесь Каутский выдерживает натиск со стороны Бауэра, старающегося состряпать амальгаму из кантианства и марксизма. Статья Аксельрод, задаваясь вообще целью отметить слабые места книжки Каутского, в частности останавливается на неправильности стремления Каутского провести резкую границу между теорией познания и этикой Канта. Иоффе задается намерением проверить легенду о социализме Канта путем сопоставления его с Мандевиллем. Последний отдел занят полемикой Каутского с Квессель, который в выведении последним нравственного чувства из животного царства усмотрел „недостаточно убедительное доказательство" категорического императива Канта. Совершенно самостоятельный интерес представляют статьи Лафарга, разбирающие на фоне богатого исторического материала вопрос о происхождении идеи добра и справедливости. . Нельзя не отметить, что книга требует известной подготовленности, в особенности в двух своих последних отделах.

А. Троицкий.

Аллер Макс. Марксизм, как пролетарское учение о жизни. Перевод с нем. под ред. и с предисловием И. Давыдова, изд. „Книга", М.—Пгр. 1923 г. 54 стр.

Адлер Макс. Марксизм, как пролетарское мировоззрение, пер. с нем. Госиздат Украины, Харьков 1923 г. 44 стр.

О марксизме сказано и написано так много, что подчас кажется и сказать уже нечего. Но книга Макса Адлера показывает, что при активном, действенном подходе всегда можно сказать интересное и ценное. При всех ее органических недостатках, что оговорено в предисловии и в ряде примечаний И. Давыдова, в книге имеется очень ценное.

В чем сущность, в чем основа марксизма?—спрашивает автор и отвечает: „Настоящая работа хочет показать, как жизненный труд К. Маркса, несмотря на всю глубину своей мысли и трудную форму, в действительности, находит свою естественную жизненность в насущнейших интересах пролетариата. Благодаря этому марксизм может быть понят в его основных мыслях каждым пролетарием. Мало того, он должен быть понят пролетарием, как действительное самоуяснение о его собственной жизни и предназначении. В этом смысле марксизм есть пролетарская наука" (стр. 11—все цитаты по изд. „Книги"). По существу „Маркс в своей научной работе исследовал и выразил только то, что составляет жизнь и страдание пролетариата, что захватывает его судьбу и надежды" (15). Отсюда глубокая любовь и привязанность пролетариев всего мира к тому, „кто сказал пролетариату то слово, которое пролетариат отыскивал, живя среди гнета, страданий и нищеты" (17).

Отсюда проистекает общая социологическая и философская задача. „Было бы заманчиво проследить на отдельных понятиях, при помощи которых Маркс строил новое познание, связь его научной работы с интересами развития и освобождения пролетариата" (18). Ведь подобной же созвучности стройной системы с массовыми настроениями мы не имели до сих пор ни разу.

Но эта большая работа трудна и сложна и потому „на примере некоторых главных понятий марксистского учения мы покажем эту связь" (18). И вот в этих примерах, в их трактовке—сила работы Адлера, которая может сослужить большую службу нашим пропагандистам. Эти примеры покажут им, по какому пути надо итти, чтобы сделать марксизм родным каждому пролетарию. Мы сознательно употребляем это слово, потому что оно лучше иных выразит эту интимную, теснейшую связь пролетариата и марксизма.

Основной чертой марксистского учения об обществе Адлер считает учение об обобществлении человека, об обобществленном человеке, так как по Марксу человек не только механически входит в общество, живет в нем, но главное находится в трудовых отношениях сотрудничества с членами общества, при чем характер этого обобществления исторически изменяется. И даже больше того: мы можем наметить линию развития, по которой идет это обобществление человека. „И вот смысл этого вообще столь трудного для понимания понятия обобществления, когда мы хотим уразуметь его социологическую и психологическую природу, рабочий тотчас схватывает, исходя из условий своей жизни: общительности и дружелюбия между людьми еще нет и человеческое общество в этом смысле вообще еще не существует, его необходимо, наоборот, еще создать. Никто этого не чувствует так болезненно, как пролетариат" (23). Что это понятие обобществленного человека действительно книга за семью печатями для буржуазных социологов, покажет любой пример, скажем Питирима Сорокина, который страницы посвящает выяснению природы характера общественных связей группы людей случайно сошедшихся в ресторане, совершенно между собою незнакомых, обедающих за разными столиками и тотчас расходящихся.

„Основные мысли экономического анализа представляются рабочему простым описанием его исполненного страданий жизненного опыта" (35). „Сведение этого экономического фетишизма к борьбе отдельных факторов производственного процесса, сведение его к великой экономической противоположности между собственниками средств производства и обладателями одной только рабочей силы должно было предстать в его (рабочего) глазах в виде теоретического воспроизведения его собственных элементарных ощущений и взглядов" (38). „Учение о диалектическом характере исторического развития снова предстоит перед рабочим, как повесть об его жизненной судьбе" (44). „При таком детальном анализе ярко вскрывается, что истинный смысл марксизма представляет собою для рабочего выражение его повседневного опыта" (28).

Марксизм поэтому можно брать только полностью или отвергать весь. „Маркса нужно рассматривать не только как мыслителя-экономиста, а прежде всего как мыслителя-социолога" (20). „Поэтому же ни в коем случае нельзя отказаться от диалектики Маркса-Энгельса" (41).

Изложение М. Адлером сложных вопросов диалектики и классовой борьбы мы считаем очень удачным. „Диалектика М.-Э. обозначает прежде всего определенную форму бытия, именно, что все существующее, как бы оно ни казалось нам неизменным, охвачено потоком неустанного, неведающего покоя, но закономерного превращения. И таким образом вещи, собственно говоря не существуют, а всегда становятся, возникают" (41—42). „Диалектика обозначает далее форму мышления, которая подходит к действительности не с застывшими раз на-всегда данными понятиями, а способна также проделать в мышлении это непрестанное движение и изменение действительности" (42). Только диалектика дает нам возможность осмыслить процесс в целом, когда „разобщенность вещей, их кажущаяся самостоятельность и раздельность исчезают и уступают место их связанности в процессе их становления" (42). Хорошо далее показан диалектический процесс, лежащий в основе классовой борьбы. Повторяем, этими своими чертами книга Адлера должна завоевать русского читателя и очень желательна самостоятельная проработка тех вопросов связи теории и практики, о чем говорит Адлер.

Но есть и ряд недоумений и невязок, на которые также следует обратить внимание. В этом отношении „Книга", снабдив настоящее издание предисловием и рядом примечаний, поступила более правильно, чем Госиздат Украины, который выпустил свое издание вовсе без оговорок.

По М. Адлеру основным мотивом всей революционной деятельности Маркса „служит реформа сознания" (9). Это верно и неверно, и, выставляя такой голый тезис, Адлер погрешает против своего же собственного толкования диалектики. Дальше он говорит о „стремлении Маркса к самоуяснению, к проверке своего собственного суждения о социальной связи, поскольку она сокрыта за поверхностной общественной видимостью" (9). И дальше (17) выходит, что стоило Марксу „самоуясниться" и сказать пролетариату искомое слово, как, „словно по мановению волшебного жезла, было вызвано к жизни могучее движение". Думается, что такая терминология может привести к плачевным результатам.

Также сомнения вызовут стр. 47 и сл., где речь идет об этических моментах. По мнению Адлера, борьба угнетенного класса всегда является „борьбой за право, борьбой за победу морали и разума". Поэтому „в классовой борьбе стремящийся вперед класс необходимо защищает идеальные требования, свободу, равенство, братство" (курсив мой. *Ст. Кр.*). На этих обмолвках долго останавливаться не приходится,—их слабость очевидна. И мы видим, что нелегко Адлеру полностью и безоговорочно вернуться на путь марксизма: блуждания в дебрях идеализма даром не проходят.

В силу этого приходится рекомендовать книгу Адлера с оговорками, но рекомендовать усиленно, так как своим оригинальным подходом она может принести большую пользу и побудить пойти по такому же пути.

Перевод Укриздата полнее, но свободнее обращается с содержанием (пример: учение об обобществлении человека всюду дано как учение о человеке, как члене общества—чем совершенно смазывается основное различие между буржуазной и пролетарской социологией). Но если перевод „Книги" ближе к подиннику, то уже близостью школьного перевода. Приведу к примеру только одну фразу: „Люди, когда они делают свою историю, они совершенно свободны, так что по своему желанию могут делать что угодно, или же они зависят от чего-то и от чего именно?" И таких фраз совершенно невразумительных можно найти сколько угодно. К тому же перевод „Книги" неполон: так, почему-то не дана Гервеговская „Союзная песнь". Поэтому желательно появление этой интересной книги в хорошем переводе и с рядом оговорок и указаний на ошибки автора.

Ст. Кривцов.

Э. Борель. Случай. 215 стр. Госиздат. 1923 г.

Тема книги Бореля—о законах случая—одна из наиболее интересных проблем современного естествознания; кроме того рецензируемая книга является, в сущности, единственной на русском языке, трактующей указанный вопрос в полном объеме. Но развитие этой темы оказалось Борелю не по плечу; его мышление страдает такой расплывчатостью и специфически мещанской ограниченностью, что за его книгой мы не можем признать никаких достоинств.

Первая часть книги Бореля популярно излагает математическую теорию вероятностей. Автор—сам математик, и, казалось бы, что при изложении математического учения находится в своей сфере; тем не менее, и здесь его изложение нельзя признать удовлетворительным. Прежде всего Борель не отмечает признанного в настоящее время положения, что действительным предметом теории вероятностей, как точной науки, является область массовых явлений, где ее выводы достоверны, и где господствует закон больших

чисел. Применение же теории вероятностей к единичным испытаниям, например, вычисление шансов отдельного игрока в той или иной игре, не имеет никакого научного значения, хотя бы уже потому, что здесь вероятность отклоняется от 0 и 1 и приближается к $^1/_2$, т.-е. к полной неопределенности. Подобные задачи характеризовали период детства теории вероятностей, который она давно переросла. Несмотря на это, более половины книги Бореля относится именно к рассмотрению индивидуальных испытаний.

От книги, которая не только по шаблону излагает математическую теорию, но и пытается осветить вопрос с философской стороны, мы вправе ждать раскрытия секрета математических формул теории вероятностей, которые представляются профанам в виде какой-то магии. Каким образом, исходя из простой вероятности, из неопределенного ожидания, приходят путем математических выкладок к закону больших чисел, к полной практической достоверности? Здесь надо было показать, что математические выкладки являются всего лишь техническим подсчетом всех возможных расположений в массовом масштабе, и что указанный подсчет приводит к вполне определенным результатам: в массовом масштабе подавляющее число расположений принадлежит к таким, в которых случайности распределены равномерно. Правда, Борель пытается дать некоторые объяснения. Он объясняет употребление арифметического треугольника и говорит, что мы могли бы достичь всех выводов теории вероятностей путем простого применения арифметического треугольника, на что потребовалось бы только более времени. Но такую попытку объяснения мы не можем признать достаточной.

Понятия объективной и субъективной вероятности не выяснены Борелем сколько-нибудь отчетливо. Борель говорит только, что различие между субъективной и объективной вероятностью не является безусловным. Замечание, без сомнения, правильное, но для того, чтобы оно вообще имело смысл, надо было сначала ясно очертить указанное различие. Когда мы знаем все постоянные свойства объекта, например, число и цвет шаров в урне, и не знаем только их расположения—мы имеем объективную вероятность. Такая вероятность не меняется от случая к случаю; все испытания, поэтому, независимы друг от друга. Если же мы не знаем точно общего числа шаров в урне или же числа шаров отдельного цвета, тогда вероятность субъективна, она меняется после каждого испытания, и независимых испытаний быть не может. В этом случае мы имеем обратное применение формул теории вероятностей, то, что носит название вероятности причин. Этих объяснений мы у Бореля не находим, и таким образом вероятность причин изложена в книге Бореля без понимания ее смысла.

Переходя к применению законов случая в социологических науках, Борель опять дает доказательства неясности своего мышления. В чем заключается закон больших чисел? В чем заключается метод статистики? Имеет место прямое или обратное применение закона больших чисел в статистике? На эти вопросы у Бореля нет точных ответов. Борель много говорит о статистической истине; но статистическая истина для него только истина не вполне достоверная, приблизительная, относительная и т. д. Он не имеет понятия, что статистика только особый метод познания объективных соотношений в человеческом обществе, что статистика стремится свести к нулю значение случайных отклонений, что случайности в массовом масштабе сами себя упраздняют, компенсируя действия друг друга.

В мышлении Бореля нет и следов диалектики. Он не знает о том, что истина всегда конкретна; он ищет абстрактного, метафизического решения практических вопросов. Он много занимается „софизмом кучи зерна". Сколько зерен могут составить кучу? Выше какого возраста дети не могут пользоваться бесплатным проездом по железным дорогам? Где та граница роста, ниже которой следует забраковать новобранца? Точное разрешение подобных вопросов представляются Борелю чрезвычайно затруднительным.

Но где Борель обнаруживает полное непонимание научного метода, так это в вопросе о приложении законов случая к физическим наукам. Борель совершенно не отличает разницы между применением теории вероятностей к общественным и к физическим наукам, между статистикой и статистической механикой. Но в действительности здесь существует вполне определенное принципиальное различие. В статистике мы имеем массовые наблюдения единичных случаев, их сводку, и только затем уже переход к общим законам. Здесь имеет место обратное применение законов больших чисел. В физике же не делается никакой массовой регистрации индивидуальных фактов, тут исходят из знакомых уже общих законов, из объективных свойств молекул, атомов, электронов. Применение закона больших чисел прямое. Борель же думает, что статистическая механика, так же как и статистика, характеризуется главным образом неопределенностью данных, из которых приходится делать выводы. Но в настоящее время почти вся физика, за исключением некоторых отделов, прибегает к исчислению случайностей. Таким образом, по Борелю, выходит, что почти вся физика основывается на неопределенности данных. Борель и не подозревает, что в физике понятие случайности имеет специальное значение, что здесь случайным называется все то, что проистекает из неустойчивого расположения частей.

Если расположение частей неустойчиво, то одно размещение беспрерывно сменяется другим, третьим и т. д., и каждое из этих бесчисленных расположений, следующих друг за другом, зависит не столько от постоянных качеств вещей, сколько от расположения непосредственно предшествующего. При этих условиях быстро исчезает всякий порядок, всякая правильность в расположении, если даже она первоначально имела место; расположение частей становится неупорядоченным и хаотическим. Таково, согласно кинетической теории, расположение газовых молекул. Точно также при игре в карты считается неудобным сдавать не тасованную колоду; сдавать начинают только после того, как неустойчивые комбинации несколько раз сменили друг друга. После же этого всякое расположение карт в игре, в том числе и упорядоченное (напр., „большой шлем“) признается всецело случайным. Другой пример: расположение неподвижных звезд случайно, потому что неустойчиво. Каждая звезда обладает собственным движением; настоящее расположение звезд определено не постоянным законом, а предшествовавшим неустойчивым расположением, которое произошло в свою очередь также из предшествовавшего расположения и т. д.

В физике, таким образом, случайность вовсе не противопоставляется детерминизму, и статистическое объяснение вовсе не противопоставляется механическому. Борель же думает, что если мы признаем полную детерминированность мира молекул, то мы уже не сможем прибегнуть к статистическим приемам, а должны знать расположение каждой отдельной молекулы, должны „написать бесконечное количество уравнений“, для чего не хватит всей нашей жизни. И, наоборот, если мы прибегнем к исчислению случайностей, то мы отказываемся тем самым от механического объяснения. Только из такого непонимания проистекают рассуждения Бореля о том, что если бы даже молекулы обладали свободной волей,—конечные результаты вычислений остались бы теми же самыми.

Между тем, кинетическая теория в физике признает полную детерминированность мира молекул и в то же время прибегает к статистическому методу. Технический подсчет возможных расположений показывает, что подавляющее большинство расположений принадлежит к классу неупорядоченных равномерных расположений; таким образом, точное знание того или иного отдельного расположения молекул становится совершенно излишним. Статистическое объяснение, таким образом не только не противоречит механическому, но само считается наилучшим механическим объяснением. Этого метафизик Борель переварить не может. К людям, подобным Борелю, относятся слова Маркса: „Когда он устанавливает различные определения, они тотчас же затвердевают у него под руками, и он видит самую вредную софистику в стремлении так столкнуть между собою эти понятия, чтобы они вспыхнули огнем“ („Морализирующая критика и критикующая мораль“. Против Карла Гейнцена).

Своеобразное соединение двух понятий—строгой механической необходимости и случайности всегда было особенностью материалистического атомизма, начиная с Демокрита и Эпикура Можно прибавить, что синтез этих двух понятий всегда был сильной стороной атомизма; именно это соединение необходимости и случайности привлекало умы к атомистическим теориям (речь идет, конечно, не о мещанских умах), позволяя объяснять явления игрою стихийных сил. Но у прежних атомистов объяснение явлений посредством случайностей не было стройной законченной теорией; скорее это была удачная догадка, как бы предчувствие широких горизонтов и не раскрытых еще возможностей, связанных с учением об атомах. Только современная физика выяснила всю важность и все значение атомизма. Только в работах Больцмана и Джиббса механическая необходимость и случайность по-настоящему столкнулись и „вспыхнули огнем“; их соединение получило строгую математическую обработку и блестящее экспериментальное подтверждение. Новейшие исследователи, перенесшие статистические методы в электродинамику, шли по следам Больцмана и Джиббса. В результате соединения понятий необходимости и случайности выработалось современное понятие статистического закона природы.

Еще не так давно был распространен взгляд, что законы природы представляют собою совокупность способностей, прирожденных материи, совершать правильные движения или располагаться в организованные группы, результатом чего является прочный и гармонический порядок в природе. Вот картина, приятная сердцу мещанина, которому оставалось только подмалевать к ней „творца“! Но такой взгляд безжалостно разрушен наукой. Законы природы естественны и стихийны в полном смысле этого слова; они представляют собою только общий результат бесчисленных неупорядоченных движений частиц.

В главе „О философском значении законов случая“ Борель, в согласии с идеями Больцмана, рассматривает всеобщий закон рассеяния тепла, как движение вселенной от менее вероятного состояния к более вероятному. Однако теория Больцмана предусматривает и обратный процесс возникновения менее вероятных комбинаций в бесконечности пространства и времени. Формулы теории вероятностей предусматривают не только выравнивание всех различий в общем и целом, но и отклонения от наиболее вероятного состояния в отдельных случаях. Как велики могут быть подобные отклонения? В бесконечности пространства и времени они могут быть как угодно велики и, след., достаточны для образования новых космических систем. Такой же точки зрения придерживается и Нернст (см. В. Нернст, Мироздание в свете новых исследований, Госиздат 1923), предусматривающий необходимость мало вероятного возникновения тяжелых атомов в эфире. Таким образом новые космические системы, взамен разрушающихся, возникают с необходимостью в силу законов случая, вследствие постоянной смены всевозможных комбинаций.

Борель не согласен с изложенной идеей Больцмана. Почему же он не согласен? Здесь он не аргументирует, но только высказывает свои симпатии и антипатии. Идея односторонней эволюции вселенной более ему по душе, так как при этом можно говорить о начале и конце этой эволюции, можно также намекнуть насчет верховного „разума“, который, мол, управляет эволюцией вселенной. Правда, Борель признается, что ему, как „получившему научное воспитание“, внушают большое отвращение всякие „абсолютные начала“. Но, с другой стороны, он признается также, что „теория эпифено-

менального сознания", т.-е. попросту материализм, внушает ему еще большее отвращение. Приходится из двух зол выбирать меньшее, и г. Борель выбирает конечно, „абсолютные начала" и „разум", управляющий эволюцией вселенной.

Таким образом в последней главе книги мещанский образ мыслей Бореля обнаруживает себя с полной ясностью.

И. Орлов.

Н. Бор. Три статьи о спектрах и строении атомов. Перевод С. И. Вавилова. Госиздат. 1923 г. Цена 1 р. 25 коп.

За десять лет своего существования теория строения атома, данная Бором и представляющая, как известно, математическую интерпретацию модели атома, предложенной на основании чисто-экспериментальных данных Рёзерфордом, прошла через три стадии. Вначале казалось, что, несмотря на всю смелость и необычность ее основных положений, блестящее истолкование при ее помощи целого ряда хорошо известных эмпирических законов, предсказание ряда новых фактов и необыкновенная точность выписанных данных, говорят за ее полную и безоговорочную приложимость ко всей области явлений, происходящих в атоме. Следующий период представляет, с одной стороны, попытку еще большего уточнения теории при помощи введения в формулы поправок, требуемых, теорией относительности, а с другой, разработки вопросов, связанных с распространением квантовой динамики на более сложные системы. В это же время возникает и знаменитый „принцип соответствия", сущность которого заключается в попытке установить связь между процессами, протекающими по законам классической физики, и процессами, подчиняющимися постулатам теории квант. Наконец, в недавнее время теория вступила в последнюю фазу своего развития: Бор нашел возможным построить модели атомов всех химических элементов, дающие более или менее полное изображение их главнейших физических и химических свойств.

Переведенная на русский язык книга Бора дает читателю достаточно ясное представление о всех этих моментах в развитии теории атома. Она начинается с доклада, прочитанного им 20 декабря 1913 г., в Копенгагенском физическом О-ве. Доклад этот содержит основные положения теории Бора и их главнейшие следствия: теоретическое обоснование формулы для вычисления спектров, данной Бальмером, вычисления входящей во все спектральные формулы т.-н. постоянной Ридберга и т. п. Теперь все это настолько хорошо известно всякому, хоть немного интересующемуся физикой, что нет особой нужды излагать все это, но некоторые места доклада являются интересными в том, что показывают отношение Бора к его теории в момент их зарождения. Бор несколько раз подчеркивает, что здесь дело идет не столько об объяснении, сколько о возможности построения формальной теории спектров.

Вторая статья посвящена, главным образом, „принципам соответствия", представляющим попытку связать „догмы" квантовой теории с ясными законами классической электродинамики. Здесь находится разбор попыток истолкования движений электронов в атоме, находящемся не в обычном состоянии, а подвергнутом действию мощного электрического или магнитного поля. Штарк и Зееман уже давно установили, что свет, испускаемый атомами, в таких условиях отличен от обычного: спектральные линии подвергаются расщеплению. Теоретическое изучение этих явлений оказалось чрезвычайно плодотворным для развития теории атома. По своему содержанию вторая статья наименее доступна для среднего читателя, хотя Бор и не приводит там никаких сложных вычислений, а, м.-б., именно в силу этого. Только тот, кто находится в курсе литературы по экспериментальному исследованию спектров и теоретических работ по строению атома сможет вполне разобраться в ней.

Наконец, предметом разбора в третьей статье (доклад 8 октября 1921 г., там же) является грандиозная по своему замыслу попытка дать схему строения всех элементов периодической системы, объясняющую их физико-химические свойства. Основной мыслью является представление об образовании атомов различных элементов путем постепенного захвата электронов ядром. Число электронов, как известно, равняется у каждого элемента номеру занимаемого им места в системе Менделеева. Бор и разрешает задачу об образовании систем, состоящих из положительно заряженного ядра и требуемого количества электронов. Получающиеся модели имеют некоторые черты, которыми они существенно отличаются от большинства предложенных раньше. Во-первых, Бор приходит к заключению, что некоторые электроны двигаются по настолько сильно вытянутым эллиптическим орбитам, что время-от-времени попадают во внутренние области атома и приближаются к ядру на расстояние меньшее, чем ранее их связанные т. ск. „внутренние" электроны. Во-вторых, Бор предполагает, что внутри атома любого элемента, кроме водорода, находится корфигурация из ядра и двух электронов, соответствующая нейтральному атому гелия. Остальные электроны располагаются уже соответственно возможностям, предоставляемым этой основной конфигурацией. Это является чрезвычайно важным потому, что таким образом все грандиозное здание боровской системы тесно связано с правильностью этой основной единицы — атома гелия. К сожалению, колоссальная вычислительная работа, произведенная в недавнее время учеником Бора, Крамерсом, привела к печальному результату, что модель атома гелия неверна и менее устойчива, чем реальный гелий. Тут существуют только два выхода: или отказаться от данной Бором модели атома гелия, или от закона Кулона и законов обыкновенной механики, при чем пока нет никаких указаний, чем могут быть заменены эти киты нашего физического мировоззрения.

Насколько велик интерес, вызываемый последней статьей Бора, указывает появление за сравнительно короткий срок ее третьего перевода. Выработается ли из теории Бора полная теория атома, или она останется гениальной, полу-интуитивной попыткой истолкования и расширения спектральных формул, покажет будущее. Но во всяком случае роль, сыгранная ею за короткий десятилетний промежуток, в качестве стимула, заставившего пересмотреть многие положения, считавшиеся незыблемыми, огромна. Поэтому появление книги Бора, дающей основные тезисы его теории и их развитие, хотя и мало доступной читателю неспециалисту, следует признать весьма знаменательным явлением. Те же из читателей неспециалистов, которые не боятся затратить труд и время на чтение этой книги, во всяком случае будут вознаграждены более, чем если они поглотят одну из бесчисленных книг об принципе относительности, украшающих окна всех книжных магазинов.

Все статьи прекрасно переведены С. И. Вавиловым, которым написаны также и весьма интересные добавления. К книге приложен хорошо выполненный портрет Бора.

Вл. Семенченко.

Л. М. Клейнборг. Н. И. Зибер. Изд. Кн-во „Колос". П-р. 1923 г.

За последнее время наша литература проявляет интерес к Н. И. Зиберу. Это одно из самых отрадных явлений наших дней.

Н. И. Зибер, примечательнейшая фигура 70-х и 80-х годов, незаслуженно был предан забвению.

Объяснить это обстоятельство следует многими причинами: он писал о предмете, который не представлял интереса для широкой читающей публики, хотя в свое время его трудами зачитывалась молодежь; его слог и манера письма чрезвычайно старомодны и тяжеловаты, наконец, его понимание Маркса

и марксизма, его академическое приверженство очень скоро оказалось недостаточным, появилось революционное направление марксизма, которое, естественно, должно было оттеснить назад ученый марксизм Зибера. Но самое главное обстоятельство заключалось в том, что университетская наука не могла простить смелому профессору его марксистские и материалистические „заблуждения".

Теперь давно наступила пора дать надлежащую оценку его научной деятельности, и мы с удовольствием констатируем появление вышеназванной специальной брошюры о нем, как и статьи о нем проф. Слабченко, являющейся вступительной к переизданным Укр. Госиздатом „Очеркам первобытной экономической культуры". Не менее замечательны и заслуживают особого внимания страницы, посвященные ему Овсянико-Куликовским, в вышедших недавно особым изданием „Воспоминаниях" его.

В истории марксизма в России Н. И. Зибер занимает исключительно важное положение.

Судьбы учения Маркса в России представляют собой явление чрезвычайно интересное. Первые „марксисты" были, как это ни странно, лавристы, люди глубоко эклектического мировоззрения, неспособные понять теорию Маркса по самому складу своего мировоззрения. Со свойственной всем эклектикам неразборчивостью они смешивали Маркса с Контом, со Спенсером, с Дюрингом, с Прудоном, ни одной минуты не задумываясь над тем, допускает ли общая концепция данного мыслителя такого рода операции. И все-таки лавризм имел огромное положительное влияние на умы.

В значительной мере под влиянием проповедей Лаврова и деятельности лавристов к концу 70-х годов Маркс стал самым популярным и авторитетным именем для русской журналистики и публицистики.

В то время, как западно-европейские университеты упорно замалчивали Маркса и его труды, в России спустя четыре года после выхода первого тома „Капитала"—в 1871 г. появилась работа Зибера, „впервые популяризирующая и выдвигающая на должное место автора „Капитала", и вслед за тем в 1872 году выходит в свет и первый русский перевод этого тома в количестве трех тысяч экземпляров, в переводе Германа Лопатина и Николая — она. Общеизвестно, как был расхватан этот объемистый том; известно также, как Маркс относился к этим своим успехам в России: „Не ирония ли это судьбы,—писал он,—что русские, на которых вот уже лет 25 как я непрерывно нападал, и притом не только на немецком, но также и на французском и английском языках, постоянно „благоволили" ко мне. В 1843—1844 годах в Париже тамошние русские аристократы носили меня на руках. На мое сочинение против Прудона, а также на книгу, вышедшую у Дункера („К критике политической экономии"), нигде не нашлось большего сбыта, чем в России. И первая чужая нация, переведшая „Капитал", это русская". Он не придавал этому обстоятельству большого значения и был очень несправедлив. Псевдомарксисты семидесятых годов сделали очень многое для того, чтобы появился и оформился Н. И. Зибер, они и создали ту атмосферу, в которой мог созреть такой глубоко-сочувственный марксизму ученый. Но одновременно это же обстоятельство и сильно мешало ему вести активную борьбу за правильно понятый марксизм. Он прекрасно видел слабые стороны разных „марксидов", знал, в чем скрыта их ошибка, он хорошо видел, что Н.—он, В. В. и др. экономисты вульгаризируют Маркса, соединяют его с бакунизмом, от чего получается что угодно, только не марксизм, но он не полемизировал с ними, не боролся за марксизм—в этом основной недостаток его марксизма. „Зибер не считал своевременным ломать копья по этому пункту. Из всего литературного наследства, оставшегося нам от Зибера, нельзя указать ни одной статьи, в которой он поставил бы этот вопрос. Он, который так весь целиком был в экономическом движении Запада, ни одним откликом не подошел к экономике России в то время, как В. В. и Николай—он уже

хоронили капитализм в России, а вместе с тем то понимание экономического развития России, убежденным сторонником которого был Зибер".

Ведь, это ему принадлежит знаменитое изречение, ставшее позже, в 90-х годах, особенно знаменитым: „Пока мужик не вываривается в фабричном котле, ничего у нас путного не будет". И все-таки, невзирая на это, он не писал ни одной строчки против легальных народников, он избегал полемики с ними.

Чем это объяснить? Разумеется, страшно неразвитым состоянием рабочего класса и его движения.

Зиберу не чужда классовая точка зрения, но он не в состоянии приложить ее к действительности, да и самая действительность не давала к тому достаточного материала.

Он рассматривал свою деятельность как подготовительную, популяризаторскую и ее он выполнял с большим мастерством.

Его огромное влияние на первое поколение революционных марксистов, в частности на Г. В. Плеханова, было исключительно большое. Между прочим, следует отметить, что ни Клейнборт, ни проф. Слабченко не обратили должного внимания на это обстоятельство, а между тем это одна из великих заслуг Зибера.

Не место в библиографической заметке останавливаться подробнее на изложении по существу. Интересующихся мы отсылаем к перечисленным изданиям, в частности брошюре Клейнборт, которая составлена живо и читается с интересом.

Одно только замечание по вопросу, с нашей точки зрения, представляющему не малый интерес. Клейнборт пишет: „Тем менее может быть сомнения в том, что Зибер был учеником Маркса „не только в области теоретической экономии, а и в области философско-исторических взглядов", как это утверждает в своих воспоминаниях Н. К. Михайловский. Правда, такой авторитет в этом деле, как Плеханов, опровергая это, ссылался на неоднократные беседы с Зибером, в продолжение которых он ни разу не слышал от него ссылок на диалектическое развитие. По словам Плеханова, Зибер не раз уверял его, что ему даже совершенно неизвестно значение Гегеля в развитии новейшей экономии. Однако, как ни авторитетен здесь Плеханов, был близок к истине, конечно, Михайловский, не допуская даже мысли о том, чтобы „столь трудолюбивый и вдумчивый ученый, как Зибер", так таки до конца своих дней и не догадался о связи новейшей экономии с Гегелем, чтобы наталкиваемый на этот сюжет, даже разговором, он им не заинтересовался и отделался ответом: мне, мол, неизвестно значение Гегеля в новейшей экономии" (стр. 56).

Тут простое недоразумение, если не стремление без нужды во что бы то ни стало модернизовать Зибера. На самом деле, в „Монист. взгляде" примечание Плеханова, о котором идет речь, гласит: „Господин Михайловский уверяет, что Н. Зибер, доказывая в своих спорах с ним неизбежность капитализма в России, „употреблял всевозможные аргументы, но при малейшей опасности укрывался под сень непреложного и непререкаемого трехчленного диалектического развития" („Русск. Мысль", 1892, книга 6, отд. II, стр. 196). Он уверяет также, что все, как он выражается, пророчество Маркса относительно исхода капиталистического развития опирается лишь на триаду". О Марксе мы поговорим ниже, а о Н. Зибере заметим, что нам приходилось не раз беседовать с покойным и не разу не слышали мы от него ссылок на диалектическое развитие. Он не раз сам говорил, что ему совершенно неизвестно значение Гегеля в развитии новейшей экономии. Конечно, на мертвых все валить можно и потому показания Михайловского не опровержимо (Сочин., том VII, стр. 124).

Непонятно, в чем видит Клейнборт ошибку и возможную неточность у Плеханова. В доказательство своего утверждения он ссылается на тот факт,

и марксизма, его академическое приверженство очень скоро оказалось недостаточным, появилось революционное направление марксизма, которое, естественно, должно было отнестись назад ученый марксизм Зибера. Но самое главное обстоятельство заключалось в том, что университетская наука не могла простить смелому профессору его марксистские и материалистические „заблуждения".

Теперь давно наступила пора дать надлежащую оценку его научной деятельности, и мы с удовольствием констатируем появление вышеназванной специальной брошюры о нем, как и статьи о нем проф. Слабченко, являющейся вступительной к перезданным Укр. Госиздатом „Очеркам первобытной экономической культуры". Не менее замечательны и заслуживают особого внимания страницы, посвященные ему Овсянико-Куликовским, в вышедших недавно особым изданием „Воспоминаниях" его.

В истории марксизма в России Н. И. Зибер занимает исключительно важное положение.

Судьбы учения Маркса в России представляют собой явление чрезвычайно интересное. Первые „марксисты" были, как это ни странно, лавристы, люди глубоко эклектического мировоззрения, неспособные понять теорию Маркса по самому складу своего мировоззрения. Со свойственной всем эклектикам неразборчивостью они смешивали Маркса с Контом, со Спенсером, с Дюрингом, с Прудоном, ни одной минуты не задумываясь над тем, допускает ли общая концепция данного мыслителя такого рода операции. И все-таки лавризм имел огромное положительное влияние на умы.

В значительной мере под влиянием проповедей Лаврова и деятельности лавристов к концу 70-х годов Маркс стал самым популярным и авторитетным именем для русской журналистики и публицистики.

В то время, как западно-европейские университеты упорно замалчивали Маркса и его труды, в России спустя четыре года после выхода первого тома „Капитала"—в 1871 г. появилась работа Зибера, „впервые популяризирующая и выдвигающая на должное место автора „Капитала", и вслед за тем в 1872 году выходит в свет и первый русский перевод этого тома в количестве трех тысяч экземпляров, в переводе Германа Лопатина и Николая — она. Общеизвестно, как был расхватан этот объемистый том; известно также, как Маркс относился к этим своим успехам в России: „Не ирония ли это судьбы,—писал он,—что русские, на которых вот уже лет 25 как я непрерывно нападал, и притом не только на немецком, но также и на французском и английском языках, постоянно „благоволили" ко мне. В 1843—1844 годах в Париже тамошние русские аристократы носили меня на руках. На мое сочинение против Прудона, а также на книгу, вышедшую у Дункера („К критике политической экономии"), нигде не нашлось большего сбыта, чем в России. И первая чужая нация, переведшая „Капитал", это русская". Он не придавал этому обстоятельству большого значения и был очень несправедлив. Псевдомарксисты семидесятых годов сделали очень многое для того, чтобы появился и оформился Н. И. Зибер; они и создали ту атмосферу, в которой мог созреть такой глубоко-сочувственный марксизму ученый. Но одновременно это же обстоятельство и сильно мешало ему вести активную борьбу за правильно понятый марксизм. Он прекрасно видел слабые стороны разных „марксидов", знал, в чем скрыта их ошибка, он хорошо видел, что Н.—он, В. В. и др. экономисты вульгаризируют Маркса, соединяют его с бакунизмом, от чего получается что угодно, только не марксизм, но он не полемизировал с ними, не боролся за марксизм—в этом основной недостаток его марксизма. „Зибер не считал своевременным ломать копья по этому пункту. Из всего литературного наследства, оставшегося нам от Зибера, нельзя указать ни одной статьи, в которой он поставил бы этот вопрос. Он, который так весь целиком был в экономическом движении Запада, ни одним откликом не подошел к экономике России в то время, как В. В. и Николай—он уже

хоронили капитализм в России, а вместе с тем то понимание экономического развития России, убежденным сторонником которого был Зибер".

Ведь, это ему принадлежит знаменитое изречение, ставшее позже, в 90-х годах, особенно знаменитым: „Пока мужик не выварится в фабричном котле, ничего у нас путного не будет". И все-таки, невзирая на это, он не писал ни одной строчки против легальных народников, он избегал полемики с ними.

Чем это объяснить? Разумеется, страшно неразвитым состоянием рабочего класса и его движения.

Зиберу не чужда классовая точка зрения, но он не в состоянии приложить ее к действительности, да и самая действительность не давала к тому достаточного материала.

Он рассматривал свою деятельность как подготовительную, популяризаторскую и ее он выполнял с большим мастерством.

Его огромное влияние на первое поколение революционных марксистов, в частности на Г. В. Плеханова, было исключительно большое. Между прочим, следует отметить, что ни Клейнборт, ни проф. Слабченко не обратили должного внимания на это обстоятельство, а между тем это одна из великих заслуг Зибера.

Не место в библиографической заметке останавливаться подробнее на изложении по существу. Интересующихся мы отсылаем к перечисленным изданиям, в частности брошюре Клейнборт, которая составлена живо и читается с интересом.

Одно только замечание по вопросу, с нашей точки зрения, представляющему не малый интерес. Клейнборт пишет: „Тем менее может быть сомнения в том, что Зибер был учеником Маркса „не только в области теоретической экономии, а и в области философско-исторических взглядов", как это утверждает в своих воспоминаниях Н. К. Михайловский. Правда, такой авторитет в этом деле, как Плеханов, опровергая это, ссылался на неоднократные беседы с Зибером, в продолжение которых он ни разу не слышал от него ссылок на диалектическое развитие. По словам Плеханова, Зибер не раз уверял его, что ему даже совершенно неизвестно значение Гегеля в развитии новейшей экономии. Однако, как ни авторитетен здесь Плеханов, был близок к истине, конечно, Михайловский, не допуская даже мысли о том, чтобы „столь трудолюбивый и вдумчивый ученый, как Зибер", так таки до конца своих дней и не догадался о связи новейшей экономии с Гегелем, чтобы наталкиваемый на этот сюжет, даже разговором, он им не заинтересовался и отделался ответом: мне, мол, неизвестно значение Гегеля в новейшей экономии" (стр. 56).

Тут простое недоразумение, если не стремление без нужды во что бы то ни стало модернизовать Зибера. На самом деле, в „Монист. взгляде" примечание Плеханова, о котором идет речь, гласит: „Господин Михайловский уверяет, что Н. Зибер, доказывая в своих спорах с ним неизбежность капитализма в России, „употреблял всевозможные аргументы, но при малейшей опасности укрывался под сень непреложного и непререкаемого трехчленного диалектического развития" („Русск. Мысль", 1892, книга 6, отд. II, стр. 196). Он уверяет также, что все, как он выражается, пророчество Маркса относительно исхода капиталистического развития опирается лишь на триаду". О Марксе мы поговорим ниже, а о Н. Зибере заметим, что нам приходилось не раз беседовать с покойным и не разу не слышали мы от него ссылок на диалектическое развитие. Он не раз сам говорил, что ему совершенно неизвестно значение Гегеля в развитии новейшей экономии. Конечно, на мертвых все валить можно и потому показания Михайловского не опровержимо (Сочин., том VII, стр. 124).

Непонятно, в чем видит Клейнборт ошибку и возможную неточность у Плеханова. В доказательство своего утверждения он ссылается на тот факт,

что Зибер изложил и частью перевел „Анти-Дюринг", а „изложив книгу Энгельса, остаться в неизвестности о значении Гегеля в теории К. Маркса невозможно" (стр. 58).

Известность известности рознь. Разумеется, Зиберу было **известно** то, что Энгельс **знал** и говорил об этом значении, но это еще далеко не говорит за то, что сам Зибер считал объяснения Энгельса достаточными.

Это не аргумент,—во всяком случае это плохой аргумент. Для правильного понимания Анти-Дюринга в его философской и социологической части нужны были иные условия. Во время Зибера их не было, и поэтому нет ничего непростительного в том, если Зибер действительно не знал и остался в неизвестности в вопросе о значении Гегеля в теории Маркса.

Но в общем книжку Клейнборта читать следует. Это первая брошюра, посвященная Зиберу.

К статье проф. Слабченко, которая представляет собой краткую биографию и более обстоятельное изложение социологических и правовых воззрений Зибера, нам хотелось бы сделать одно лишь примечаньице. На странице XXVII он пишет: „Из приведенных данных видно, насколько Зибер опередил свою эпоху. Выдвинутое Зибером значение навыков нашло подтверждение лишь через 20 лет в исследованиях **Гефдинга**. Зиберовские наблюдения над первобытной семьей и родом подтвердились работами Каутского. Отмечавшиеся Зибером солидарность и взаимная помощь людей в борьбе за жизнь проверены и доказаны П. **Кропоткиным**. Указание на наличность интуитивных явлений в настоящее время развернулось в целую дисциплину, равно как и указания на коллективного индивидуума выросли в коллективную психологию. Значение роста населения, отмечавшееся Зибером, считается в настоящее время общепризнанной истиной. Чисто исторические соображения и выкладки, например, о системах огораживания, подтверждаются изысканиями академика **Виноградова**. Различные положения Зибера в области права показывают, что он во многих случаях, пусть не всегда, основательно опередил свое время. Так, в вопросе об уголовной символике, например, им опережен был **Биндинг**. О трудовом договоре—**Лотмар**, о принципе универсальности в праве—**Покровский**" (стр. XXVII). (Курсивы мои. Мат.) Изложенное проф. Слабченко не всегда неверно. Доля истины в нем есть. И эту долю не следует упускать из виду Клейнборту. Но даже и при допущении справедливости слов Плеханова, проф. Слабченко пересаливает. Из отрывка, приведенного мной, выходит, что Зибер опередил во всех направлениях явных идеалистов и метафизиков. Т.-е., рассуждая положительно, выходит, что Зибер почти во всех своих утверждениях сам был идеалистом и метафизиком. Это не верно.

К чести Зибера и громадной его научной заслуге следует отнести то, что идеалистический элемент в его воззрениях был ничтожен,—ровно столько, сколько должно было быть его в воззрениях проф. марксиста, не связанного с рабочим движением и революционной борьбой.

Как брошюра Клейнборта, так и статья проф. Слабченко страдают недочетами, иногда крупными, но иной литературы нет, и мы очень рекомендуем хоть по реферируемому материалу познакомиться с этим чрезвычайно интересным представителем раннего российского марксизма.

Материалист.

Г. В. Плеханов. „Очерки по истории русской общественной мысли XIX века". Сборник статей. Раб.-коопер. изд. „Прибой". Пгр. 1923 г. Стр. 312.

Сборник включает в себе следующие десять статей: 1) 14-ое декабря 1825 года, 2) Пессимизм П. Я. Чаадаева, 3) М. П. Погодин и борьба классов, 4) В. Г. Белинский, 5) Философские взгляды А. И. Герцена, 6) Герцен-эмигрант, 7) А. И. Герцен и крепостное право, 8) Н. Г. Чернышевский, 9) „Освобождение" крестьян (справка к 50-летию), 10) Предисловие к русск. издан. книги А. Туна.

Разумеется, нам незачем расхваливать статьи по существу,—Плеханов не нуждается в рекомендации, и даже те статьи его, которые защищают спорные положения, — даже они представляют большой интерес, не говоря уже о статьях, собранных в настоящем сборнике; они представляют совершенно исключительный интерес и не о них будет у нас разговор.

Мы ниже хотим сказать несколько горьких упреков по адресу редактора (-ов?) сборника, который (-ые?), как при составлении сборника, так и в предисловии, допустили ряд совершенно непозволительных вольностей и неточностей,—выражаюсь так неопределенно, желая быть мягким.

На самом деле, издатели (нужно полагать, что они же и редакторы) пишут: „В своей вышедшей части названная работа („Ист. русск. общ. мысли". *В. В.*) охватывает движение русской общественной мысли на пространстве XVI—XVIII в.в. Но у Плеханова, как свидетельствует выпущенный Т-вом „Мир" проспект (на 14 стр.), был подробно разработан и план остальных трех томов, посвященных XIX веку. Мало того, — значительную часть материала, который должен был войти в эти тома, он почти уже окончательно обработал, поместив ряд статей в журналах и др. изданиях на отдельные темы. В заграничном плехановском архиве, вероятно, также найдется немало, быть может, уже вполне готовых глав. Их, конечно, следовало бы раздобыть для издания полного собрания сочинений Плеханова, предпринятого недавно Социалистической Академией в Москве (пока вышло 4 тома)" [1]).

Каждому внимательному читателю известно, что в архиве Плеханова нашлась лишь одна глава—„Радищев", о которой стало известно еще **весной** из корреспонденции Дейча в „Пролетарской Революции"; нужно полагать, что письмо Дейча известно и издателям. Собрание сочинений Плеханова издает не Соц. Академия, — на обложке каждого из известных издателям 4 томов очень ясно написано „**Институт К. Маркса и Ф. Энгельса**". Это не одно и то же.

Но самое плохое—это то, что издатели сочли, что все написанные до „Истории русской общественной мысли" статьи, трактующие вопросы истории общественной мысли в России, являлись „почти уже окончательно" обработанными главами следующих томов этого большого труда. Это не так. К своей „Истории" он приступил лишь после первой революции (1905—1907 г.г.). Но даже и после 1908 г. не все статьи по истории русской общественной мысли имели то назначение, какое хочет приписать им редакция сборника; многие из этих статей были написаны совершенно независимо, часть их юбилейные, лишь некоторые представляют собою действительно отрывки и главы будущих томов „Истории".

Это не значит, что на этом основании нельзя было собрать статьи, быть может, имевшие и другое назначение, но представляющие подходящий материал для сборника. Мое замечание сводится к тому, что при составлении сборника надлежало принять в расчет не только тему, но и повод, а еще более—назначение, какое ей давал сам автор.

Оно означает, одновременно и тем самым, что при подборе статей нужно иметь в виду, что не каждую статью можно окарнать, приспосабливая ее к своим целям.

Редакция ошиблась при разборе, что к чему, не приняла в расчет вышеизложенные соображения и получилось, разумеется, не так, чтобы очень ладно. Приведем пример, по-нашему особенно выпукло подчеркивающий справедливость наших указаний: одну из самых лучших статей Плеханова:

---

[1]) Г. В. **Плеханов**, „Очерки по истории русск. общ. мысли XIX века", стр. 3.

„Пессимизм, как отражение экономической действительности", написанную тогда, когда Плеханову было не до „Истории общественной мысли", когда он вел жестокую войну с народниками в 1895 году, редакция вздумала приспособить к своим задачам, т.-е. сделать статьей исторической, с каковой целью она выбросила половину статьи, где говорится не о пессимизме Чаадаева, а уже об Успенском. Результаты получились плачевные. Вся ценность этой статьи была в том, что она убийственно разоблачала народников, ведь, все относящееся к французским просветителям, к тому и написано, а по произволу редакции сборника она должна стать образцом бесстрастного академического повествования, а самое главное — получилась статья с излишним балластом сторонних экскурсов. Но, кроме этого, само собой разумеется, редакция реферируемого сборника ничем не отличается от других редакций и перепечатывает статью, не задаваясь вопросом: а не коверкал ли себя Плеханов в угоду цензуре, и не следует ли современного нашего читателя освободить из-под опеки царской цензуры? В этой же статье о „Пессимизме" читатель натыкается не раз на фразу: „цитированный нами друг и младший современник Чаадаева" — это тот самый „друг", которому принадлежат трагические слова: „За что мы проснулись", т.-е. небезызвестный А. И. Герцен.

В своей статье Плеханов всюду его называет вышеприведенным длинным предложением по соображениям цензурным (статья-то, ведь, появилась в сожженном цензурой сборнике: „Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития"), — почему бы редакции не расшифровать эти и подобные места? А построение сборника! Построен он чрезвычайно неряшливо и без всякого плана. Плеханов, как известно, из среды русских просветителей чрезвычайно высоко ставил Белинского и Чернышевского и, наоборот, очень не высоко ценил Герцена; „блестящий, но поверхностный Герцен" — это, ведь, он его так обозвал. И, несмотря на это, редакция отвела Герцену в сборнике ровно половину места (125 страниц), рядом с этим пропущена статья о Некрасове, статья о Добролюбове и мало ли еще,—их очень много пропущенных. Сама редакция в предисловии перечисляет добрый десяток.

Сборник своих статей составить нелегко, но чужих статей—еще труднее, особенно когда этот чужой—Плеханов. В таких случаях редакция обязана считаться не только с общим мировоззрением автора, но не может не принимать в расчет его симпатии и антипатии, его оценки, тому, какое место отводит он сам данному явлению, писателю и т. д., и т. д.

Оправдывая поспешность, с какой составлен сборник, редакция пишет: „Громадная ценность работ Плеханова, уже опубликованных, по развитию общественной мысли в России в XIX ст., и то обстоятельство, что работы эти в издании Соц. Академии выйдут в свет не ранее 3 — 5 лет, побудили нас выпустить некоторые из них в предлагаемом сборнике" [1]). И тут неточностей не мало; но самое досадное заблуждение (досадное для издательства, конечно) — это насчет срока выхода томов, которые интересуют редакцию сборника.

Имея некоторое касательство к изданию собрания сочинений Плеханова, смею уверить тов. из „Прибоя", что преувеличение в сроке появления следующих томов очень большое,—примерно раз в 12, не менее. Так, напр., томы X, XII и XIV находятся в печати, должны выйти в свет в непродолжительном времени, тт. XVI, XVII, XIX и XXIII готовы к печати и выйдут не позже начала 1924 г.

Единственная заслуга сборника—это то, что он облегчает читателям пользоваться теми статьями Плеханова, которые были опубликованы в журналах и не были доступны широкой публике. Но, месяцев через 3—5, с появлением соответствующих томов, его ценность будет минимальная.

В. В—ян.

[1]) Г. В. Плеханов, „Очерки по истории русской общественной мысли XIX века", стр. 4.

Г. Роланд-Гольст. Жан-Жак Руссо. Его жизнь и сочинения. Перев. с немецкого Ад. Острогорской. „Новая Москва". 1923. Стр. 290.

Издательство „Новая Москва" выпустило уже вторую марксистскую работу, посвященную женевскому гражданину. В отличие от В. Засулич, давшей опыт исключительно общественных идей Руссо, автор рецензируемой монографии поставил себе целью представить обширный очерк жизни и учения мыслителя. Мы бы сказали даже, что биография Руссо отодвинула далеко на задний план его учение. Роланд-Гольст пять шестых своей книги отдает событиям из жизни Руссо и только, к сожалению, одну шестую часть— изложению и анализу его взглядов, а между тем эта, именно, глава, „Произведения великих годов", представляет лучшие страницы книги.

Автор, стоя на точке зрения метода исторического материализма, широко берет своего героя в связи с эпохой и общественными отношениями Швейцарии и Франции. Те главы, в которых даются исторические картины этих стран („Женева в начале XVIII столетия" и „Общественное и умственное движение во Франции в середине XVIII столетия") являются поистине великолепными. Одна из них представляет прекрасную страницу из истории Франции века просвещения.

Автор талантливо выявляет экономический базис страны, нарастание капитализма со всеми сопутствующими промышленной революции явлениями. Дается краткая, но яркая характеристика сословий, их взаимоотношений и изображается уже оформившееся классовое расслоение внутри третьего сословия. Удачно отмечает Роланд-Гольст, что ожесточенная интеллектуальная борьба во Франции середины столетия была ни чем иным, как одной из форм классовой борьбы.

Сильной главой книги, повторяем, является и та, в которой дан краткий очерк учения Руссо. Автор стремится представить воззрения Руссо на отношения человека к богу и на отношения людей между собою. Естественно, что канвой служат ему „Эмиль", „Общественный договор" и „Новая Элоиза" (обе диссертации Руссо рассматриваются в главах биографического характера).

Деизм Руссо автор считает воззрением одной части третьего сословия, именно забитой и экономически маломочной провинциальной мелкой буржуазии, которая не могла отказаться от мысли воздаяния в будущей жизни за свои попираемые добродетели. В противоположность деизму материализм и атеизм концентрируется в кругах крупной буржуазии и образованной буржуазной интеллигенции, овладевшей наукой и техникой. Если это и так, то следовало бы указать, что чем ближе к революции, тем больше проникал атеизм и в широкие массы, по крайней мере, трудящихся в промышленных пунктах.

Автор справедливо считает, что „реакционность" Руссо следует искать не в его деизме, но в его экономической системе, в его идеале мелкобуржуазного общества. Деизм Руссо позволяет Роланд-Гольст провести любопытную параллель между женевским гражданином и кенигсбергским мыслителем, Кантом. Оба они ограничивают область знания, чтобы дать место вере.

Переходя к „Общественному договору" и анализируя его, автор указывает на революционное требование народного владычества, как на вывод из трактата, не забывая, однако, об экономической реакционности Руссо. Автор всякий раз подчеркивает элементы дуализма в воззрениях мыслителя. Он справедливо усматривает этот дуализм, кроме указанных двух областей, еще в смешении „великого принципа освобождения личности ребенка с индивидуалистическими анти-социальными тенденциями" в области воспитания, а также в проблеме любви и брака („Новая Элоиза").

Излагая вкратце идеал общественного устройства общества, как он рисовался Руссо, автор противополагает „революционную и политическую

утопию мещанского индивидуализма" Руссо цели пролетарских революционеров, которую он, с нашей точки зрения, двусмысленно и неточно называет „более возвышенной мечтой".

Но эта „устарелость" для нас Руссо не закрывает от автора его положительной исторической роли. Идеи Руссо имели громадное значение в разразившейся вскоре после его смерти революции, что и отмечается автором в качестве заключительного аккорда книги.

Что касается той доминирующей части книги, где автор изображает личную жизнь Руссо, детально следит за всеми ее разнообразными событиями и пытается дать психологическую характеристику этого вечного странника,—она представляется нам выполненной не вполне удовлетворительно. Автор базируется почти исключительно на „Исповеди" Руссо и смотрит на всю его личную жизнь, на все его многочисленные житейские встречи, на дружбу и ссоры с товарищами глазами самого Руссо. Между тем, „Исповедь", как это теперь вполне установлено в литературе, требует к себе сугубого критического отношения. Руссо писал ее в последние годы жизни, после разрыва со всеми друзьями, часто выставляя себя виноватым там, где был прав, и обеляя себя в тех случаях, когда чувствовал некоторую неловкость. Ряд фактов, особенно первых лет жизни, мог свободно изгладиться из его памяти и получить чисто субъективную оценку. Базирование автора на „Исповеди" и отсутствие критической точки зрения на нее тем более странно, что он принимает версию душевной болезни Руссо в последние годы жизни.

Личность Руссо, как мыслителя и человека, видимо, захватила автора; мы бы сказали, что чувствуется „влюбленность" автора в предмет своего исследования, и поэтому самое исследование страдает иногда от недостатка объективности.

Особенно не посчастливилось от подобного приема автора французскому материализму XVIII века и его отдельным представителям. Такие положения, как „материализм превозносит исключительно чувственное наслаждение, как единственную форму любви, согласную с природой человека" (стр. 188), „материалистическое нравственное учение отрицает в человеке социальные наклонности" (стр. 170), „Гельвеций называет эгоизм нормой всякого действия" (стр. 80), обнаруживают только полную неосведомленность автора относительно учения материалистов и, во всяком случае, требуют от автора доказательства, между тем, он бросает их мимоходом, как истины самоочевидные.

Если говорить о личностях материалистов, то они выступают со страниц книги Роланд-Гольст точь-в-точь в таком же непривлекательном виде, как они изображены самим Руссо в его „Исповеди" уже после окончательного с ними разрыва. Здесь не место говорить об отношениях Руссо к материалистическому ядру Энциклопедии, но приходится отметить, что автор даже не попытался проникнуть в более глубокие корни их ссоры, корни, которые, прежде всего, таятся в окончательном расхождении основных принципов воззрения мыслителей. Точно так же автор по-просту уклонился от серьезной историко-литературной проблемы,—мы имеем в виду роль Дидро в первом „Рассуждении" Руссо.

Вместо всего этого читатель, если он несколько осведомлен о деятелях французского материализма, о фактах их жизни и характерах, принужден изумляться, узнавая от автора о „долгой литературной махинации между г-жей д'Эпинэ, Гриммом и Дидро" (стр. 120), о „кучке, толпившейся вокруг богатого эпикурейца Гольбаха" (стр. 132), о „нахальном поведении Гримма" (стр. 133), „о болтовне Дидро, который никогда не умел держать язык за зубами" (стр. 144 и 241), о „клике Гольбаха", которая „злобно смеялась" над несчастным Руссо (стр. 258) и т. п.

У нас нет возможности в пределах настоящей заметки, да, по правде сказать, нет и охоты, вскрыть всю неистинность таких утверждений, хотя это легко было бы сделать путем ссылок на ряд мест из произведений Дидро, на ряд корреспонденций Гримма, мемуаров Морелле и Мармонтеля и т. д. Подобные выпады свидетельствуют лишь о том, что проистекает от излишней пристрастности, „влюбленности" в своего героя, в исторических исследованиях даже авторов-марксистов.

Суммируя сказанное, мы приходим к выводу, что учению Руссо в книге Роланд-Гольст посчастливилось гораздо больше, чем, с точки зрения объективной, личности мыслителя, а в особенности тем, кто его окружал. Приходится пожалеть, что биографическая часть книги неимоверно разрослась за счет и в ущерб той части,—блестящей по изложению и прекрасной по содержанию,—которую можно назвать идеографической.

Не представляя ученого критического труда, книга Роланд-Гольст тем не менее, благодаря своей популярности, пригодна для ознакомления с эпохой и учением Руссо.

И. Л.

Роза Люксембург. Письма к Карлу и Луизе Каутским (1896—1918 г.г.). Изд. „Красная Новь". 1923 г. 194 стр.

Читатель будет разочарован, если поверит редактору предисловия, что в письмах „находит себе отражение ее (Люксембург. *Н. Л.*) политических взглядов вплоть до того момента (курсив мой), когда Роза Люксембург вместе с Карлом Либкнехтом становится основательницей германской коммунист. партии" (9 стр.). Такого материала письма дать не могут, ибо, начиная с 1909—1910 г.г. в своих письмах Люксембург почти не касается политических вопросов.

Дело в том, что подавляющее большинство писем, помещенных в книге, адресованы жене Каутского. Последняя для Люксембург была не политическим другом, а просто другом. Значит, во всяком случае, ее эволюция здесь отражена быть не может.

Если уж оценивать письма в целом, то они интересны тем, что дают богатый материал для знакомства с Люксембург, как с человеком, обладающим широким эстетическим кругозором, с богатой душой художника, личностью глубокой и всесторонне образованной, с Люксембург, умеющей, как все великие люди, наслаждаться богатством природы, любящей ее.

Интерес политический представляют преимущественно первые три отдела.

Цельной картины, за исключением русского вопроса, они не дают. Ряд политических тем и вопросов затронуты бегло и отрывочно. В этом отношении их и сравнивать нельзя с письмами хотя бы Маркса и Энгельса, Маркса к Кугельману и т. д. О причинах я уже говорил выше. Наиболее цельны и интересны замечания о России.

В 1905 г. Люксембург едет в Польшу и там руководит революционной работой. Все ее письма за этот период дышат бодростью, которая не уменьшается ни после поражения революции, ни сидением в тюрьме.

Люксембург сразу оценивает благотворное и глубокое влияние революции на классовую сознательность нашего пролетариата: „у масс обнаруживается такой героизм и классовое чувство, которые я бы охотно показала милым немцам. Рабочие повсеместно по собственному почину принимают такие меры, как постоянное еженедельное отчисление работающими однодневного заработка в пользу безработных и т. д. Все это делается настолько просто, гладко и как нечто само собой разумеющееся. В самом деле чувство солидарности и братства (у польских рабочих. *Н. Л.*) с русскими рабочими развито настолько сильно, что невольно этому удивляешься, хотя над развитием этого чувства мы достаточно поработали" (95 стр.).

Революция неизмеримо много сделала в деле углубления классового антагонизма, в обострении и уяснении всех отношений. Всего этого за границей не видно (96 стр.).

Роза Люксембург сразу поняла дух революции, ее мощный размах и оценила ее историческое значение.

Тот кратковременный неестественный союз с меньшевиками, который стал у нее нарождаться, бесследно исчез в 1905—1906 г.г., когда меньшевистские рыцари стали петь похоронную революции. Их поведение находит себе достаточную оценку в ее письмах.

„Судя по последнему номеру русского патриотического органа от конца февраля, путаница и колебания там ужасающи. Рыцарь печального образа „Георгий" (Плеханов. *Н. Л.*) с своей стороны достаточно поработал для опозорения партии (курсив мой). Я непременно хочу присутствовать у них на семейном торжестве (Люксембург говорит здесь о 4-м Стокгольмском съезде. *Н. Л.*) и обрушить на них гром и молнии" (103—104 стр.).

В другом письме она снова возвращается к Плеханову: „Общее положение великолепно: единственные путаники—наши друзья Георгий и К°, и у меня чешутся руки от желания хорошенько с ними посчитаться" (104 стр.).

Эта оценка укрепляется у нее окончательно, когда она побывала в Петербурге.

„Меня чрезвычайно обескуражило общее впечатление растерянности, дезорганизации и, прежде всего, путаница в понятиях о тактике. Ей-богу, (революция. *Н. Л.*) велика и могуча, только бы с.-д. ее не погубили" (курсив мой. *Н. Л.*).

Что Роза Люксембург разорвала с меньшевиками уже в начале революции, показывает ее отношение к выборам в Гос. Думу: „По поводу общего положения замечу, что „выборы" провалились по всей России. Русские рабочие в $^9/_{10}$ случаев проводили бойкот и делали это вопреки указаниям половины с.-д. Масса еще раз оказалась более зрелой, чем ее „вожди" (103 стр., курсив мой).

И, узнав, что Бернштейн защищает выборы в Думу, она пишет: „Как я слышала, Эде горячо выступал в защиту Думы. Как только я заполучу плод его творчества, я охотно пощиплю его в „Neue Zeit" (там же).

Так отнеслась Люксембург к русской революции. Даже в дни намечавшегося поражения, когда она уже сама сидела в польской тюрьме, ее не покидала бодрость и твердость: „Мои друзья настоятельно требуют, чтобы я телеграфировала Витте и написала здесь германскому консулу. И не подумаю об этом. Эти господа могут долго ждать, прежде чем социал-демократка попросит у них защиты и права. Да здравствует революция! Будьте бодры и веселы, иначе я буду на вас очень сердиться. На воле идет работа хорошо. Я уже читала новые номера газеты. Ур-ра" (99 стр.).

Мы знаем, что весь опыт, классовый опыт 1905 г., Люксембург пыталась сделать достоянием западно-европейского пролетариата. Блестящим свидетельством этого является ее работа „Всеобщая забастовка и немецкая с.-д.".

Целый ряд замечаний Розы Люксембург о России относится уже к другому периоду—1917—1918 г.г. Это был тот период, когда Люксембург еще осторожно и критически присматривалась к Октябрю и нашей партии. Но и тогда она уже сумела понять его значение и дать оценку зап.-европ. критикам.

„Да, о большевиках. Конечно, они не во всем правы в их фанатическом стремлении к миру (речь идет о переговорах с немцами. *Н. Л.*). Но, в конце концов, они не виноваты. Они в безвыходном положении, и, выбирая из двух зол, выбирают меньшее. На других лежит ответственность

за то, что русская революция идет на пользу дьяволу(!)... Подметем-ка лучше у собственных дверей" (82 стр.).

В другом письме она говорит: „Конечно, в этом шабаше ведьм они не смогут удержаться не потому, что статистика доказывает отсталость экономического развития России, как высчитал твой ученый супруг, но потому, что с.-д. высоко-развитого Запада состоит из самых жалких трусов и спокойно будет смотреть, как русские истекают кровью. Но так погибнуть лучше, чем остаться „жить для отечества"—это акт всемирно-исторического значения, следы которого не исчезнут вовеки (176 стр., курсив мой).

В ряде мест она предостерегает Каутского от излишнего оптимизма по отношению к с.-д., считая неверным его взгляд, что якобы последняя чумда парламентского кретинизма. Частенько она подгоняет и подбадривает Каутского в борьбе с ревизионистами. Перед Бременским партейтагом 1904 г., когда последние хотели взять реванш за левые решения Амстердамского конгресса, Люксембург ему пишет: „Что ты основательно разобьешь Курта (Эйснера), Георга (Граднауера) и К°—я нисколько не сомневаюсь. Но ты должен сделать это с радостью и охотой, а не как тягостное интермеццо, потому что публика всегда чувствует настроение борющихся, а радость в бою придает чистоту звуку и моральное превосходство" (73 стр.). В другом месте по поводу Гамбургской забастовки она дает чрезвычайно меткую характеристику заправилам германского рабочего движения: „A propos: ур-ра Гамбург! Я была горда и счастлива, узнав об этом. Только бы на этом не успокоилось. Наверно, отцы уже принялись „опустошать" (93 стр.).

Таковы, в общем, наиболее важные и интересные замечания политического характера в этих письмах.

25 лет стояла Люксембург на революционном посту. Вне его она не видела смысла жизни; даже смерть она ожидала встретить именно здесь.

Н. Ленцнер.

Издатель: **Кн-ство „Материалист".** Отв. редактор **В. Тэр.**

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ, ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.

Издание—Книгоиздательства „МАТЕРИАЛИСТ".

***Ответ. редактор* B. TEP.**

Выходит книгами не менее 15 листов.

Прием по делам редакции ежедневно от 12—4 ч. дня.

Редакция просит авторов статей присылать рукописи, написанные четко на одной стороне листа.

Непринятые рукописи не возвращаются.

ПРОДАЖА

ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ Г. МОСКВЫ И ПРОВИНЦИИ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1924 г.: на год (не менее 8 книг)—**20** руб. червон., на полгода (не менее 4 книг)—**11** руб. черв.

за 1923 г.: с пересылкой—**13** руб. **50** коп. червонных, без пересылки—**12** руб. червонных.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА

принимается червонцами или совзнаками по курсу дня взноса в конторе редакции—Никольская, 11 и в изд. „Московский Рабочий"—Б. Дмитровка, 26.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и КОНТОРЫ:

Москва, Никольская, д. 11, тел. 2-34-53.

1923 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

„ПУТЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ"

(2-Й ГОД ИЗДАНИЯ)

ЖУРНАЛ ПОСВЯЩЕН ВОПРОСАМ ТЕОРИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ, МЕТОДОЛОГИИ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ, БЫТА.

ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА: 1. Общий. 2. Экспериментальный. 3. Бытовой. 4. Реферативный. 5. Библиографический. 6. Профессиональный. 7. Информационный.

К участию в работе журнала привлечены научные силы в области педагогической мысли Федерации и Запада.

Имеются корреспонденты в столичных городах Европы.

Журнал распространяется в количестве 10.000 экземпляров по всей Советской Федерации, а также за границей.

Об'ем—20-30 печатных листов.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА (с пересылкой):	на 1 год (12 мес.)	8 р.	к.
	„ 1/2 „ (6 „)	4 „	50 „
	„ 1/4 „ (3 „)	2 „	20 „

При коллективной подписке—не менее 3-х экземпляров—и для посредников (при выписке не менее 10 экземпляров)—20% скидки.

ПЛАТА ЗА ОБ'ЯВЛЕНИЯ:	за 15 строк (1/4 стран.)	20 р.
	„ 30 „ (1/2 „)	35 „
	„ 60 „ (1 „)	60 „

Цены действительны на январь месяц, после чего они будут изменяться соответственно валютным изменениям, об'являемым Госбанком.

При повторных об'явлениях—скидка по соглашению. Для посредников скидка 20%.

Оптовая закупка и прием подписки могут производиться у представителей конторы:

МОСКВА, А. А. Шумович, Кривоколенный пер., 14, кв. 17. Тел. 2-57-80. КИЕВ, „Сорабкоп" Правление—Крещатик, 29, Книжный отдел и склад—Крещатик, 22. ЕКАТЕРИНОСЛАВ, Иванов, ГУБОНО.

Адрес редакции и конторы: Харьков, ул. Артема, № 51. Телеграфный: Харьков Наркомпрос журнал.

„СЕЛЬСКОЕ и ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Научный орган Наркомзема РСФСР.

Под редакцией **С. С. Базыкина (Расинского)**. При ближайшем участии **С. М. Дубровского**, проф. **А. С. Фабриканта**, проф. **М. М. Шульгина**. Секретарь редакции **Л. И. Каштанов.**

Журнал имеет следующие постоянные отделы:

I. Экономика и организация хозяйства.
II. Земледелие и животноводство.
III. Землеустройство и мелиорация.
IV. Лесоводство.
V. Государственные и сельско-хозяйственные предприятия.
VI. Сельско-хозяйственное обозрение.
VII. За границей.
VIII. Научная хроника.
IX. Критика, библиография и указатель новых книг.

По наиболее актуальным вопросам сельского и лесного хозяйства, требующим более подробного освещения, журнал дает специальные приложения.

Адрес редакции и Главной Конторы:

Москва, Старая площадь, дом 6, 5-й этаж. Телефоны: 1-80-93 и 99-04.

Прием ежедневно от 2 до 3 ч. дня. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА.

СКЛАДЫ ИЗДАНИЙ в кн. магазинах Издательства Наркомзема „НОВАЯ ДЕРЕВНЯ".

Москва, 1) Угол Тверской и Моховой. 2) Бол. Златоустинский пер., д. 6.

Петроград, Проспект 25 октября (б. Невский), 54.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ ЛУЧШИХ МАГАЗИНАХ ДРУГИХ ФИРМ.

Изд. К-ва „Материалист".

Адрес редакции и конторы: Никольская ул., д. 11. Тел. 2-34-53.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ.

№ 11—12

Ноябрь—Декабрь 1923.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ"
МОСКВА

Книгоиздательство „МАТЕРИАЛИСТ".

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. А. Деборин — Людвиг Фейербах с двумя гравюрами на дереве И. Павлова, 360 стр., цена 1 руб. 50 коп. черв.

Л. Фейербах — Принципы материалистической теории познания, с прилож. статьи А. М. Деборина—„Л. Фейербах" и гравюрой на дереве И. Павлова, 209 стр., цена 1 руб. черв.

Библиотека „Атеистические памфлеты XVIII столетия" под редакцией А. М. ДЕБОРИНА.

Лишь спустя два года издательство оказалось в состоянии приступить к изданию этой крайне важной и чрезвычайно актуальной серии.

Атеистические памфлеты XVIII века давно оценены по заслугам. Припомним только, что было сказано о них двумя нашими авторитетнейшими теоретиками—В. И. Лениным и Г. В. Плехановым.

„Бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на господствующую поповщину публицистика старых атеистов 18-го века сплошь и рядом окажется в 1000 раз более подходящей для того, чтобы пробудить людей от религиозного сна, чем скучные, сухие, не иллюстрированные почти никакими умело подобранными фактами, пересказы марксизма, которые преобладают в нашей литературе и которые (нечего греха таить) часто марксизм искажают" („Под знаменем марксизма" № 3 за 1922 год, стр. 7). Отзыв Плеханова мы не приводим в надежде, что его блестящие очерки по истории материализма известны нашим читателям.

Из этой серии вышел и поступил в продажу:

вып. 1—**ГОЛЬБАХ — Здравый смысл** с пред. А. М. Деборина.

Печатается и скоро выйдет:

вып. 2—**Ж. МЕЛЬЕ - Извлечения из завещания.**

вып. 3—**ГОЛЬБАХ—Разоблаченное христианство.**

Готовится к печати ряд других книг, о которых будет об'явлено особо.

Адрес кн-ва: Москва, Никольская ул., д. 11. Телефон 2-34-53.

МАРТАКОЧ

Большая ежедневная газета на АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ.

Орган Заккрайкома РКП. Издается в Тифлисе.

С 10 октября подписная плата:

на месяц в Тифлисе—**1** р. черв.

„ „ вне Тифлиса—**1** р. **25** к. черв.

ПРИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПОДПИСКЕ **25%** СКИДКИ.

Адрес редакции: ТИФЛИС, ул. Троцкого (бывш. Центр. Вел.), д. № 6.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 11–12

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 1923

HOOVER MAR LIBRARY

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ"
МОСКВА

Главлит № 16859. Тираж 6.000 экз

Типография „Красный Пролетарий" Изд-ва „Красная Новь", Пименовская ул., д. 1-16.

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
Д. Рязанов.—Вступительные замечания	
Г. В. Плеханов.—Письма к Фр. Энгельсу	5
„ —Письма к Р. Фишеру	13
	28
В. Ванеян.—Г. В. Плеханов—III. Социализм и политическая борьба:	
б. Гегемония пролетариата в буржуазной революции	31
в. Пролетариат и либеральная буржуазия	46
г. Пролетариат и крестьянство	66
А. Деборин.—Гольбах	80
Гольбах.—Четыре главы из „Система природы"	93
Г. Баммель.—Демокрит, III. К вопросу о жизни и личности Демокрита	133
Б. Быховский.—О методологических основаниях психоаналитического учения Фрейда	158
А. Тимирязев.—По поводу речи Рутерфорда	178
Э. Рутерфорд.—Электрическое строение материи	180
В. Невский.—Марксизм и естествознание	204
И. Орлов.—„Чистая геометрия" и реальная действительность	213
В. Сергеев.—Штурм неба в эпоху гражданской войны в древнем Риме	220
П. Месяцев.—Русские экономисты за границей	245
И. Ковалевский.—К проблеме общественно-необходимого рабочего времени	252

Трибуна.

И. Разумовский.—Наши „Замвридплехановы"	277
В. Румий.—Ответ на ответ	282

Библиография.

И. Л.—Новые книги по историческому материализму	287
И. Л—з.—Е. А. Энгель. Очерки материалистической социологии	292
И Карев.—А. Шрейдер. Очерки философии народничества	294
А. Троицкий.—В. Струминский. Психология	299
Читатель.—Г. В. Плеханов. От идеализма к материализму	304

В. Полянский.—В. В. Воровский. Литературные очерки 305
В. П.—М. С. Григорьев. Введение в поэтику 307
В. Семенченко.—Дарвин. Приливы 309
И. Орлов—В. Оствальд. Великий элексир 312
В. В.—Г. В. Плеханов.—Русские рабочие в революционном движении 314
Читатель.—Бюллетень института В. И. Ленина 315
Ц. Фридлянд.—В. П. Волгин. Очерки по истории социал. Б. И Горев. История социал. 315
И. Ленцнер.—Ц. Фридлянд и А. Слуцкий.—Хрестоматия по истории революционного движения в Западной Европе 315
Келлер.—Проф. Л. Любимов.—Курс политической экономии 326
. 323

Сообщения и заметки.

Второй том собрания сочинений К. Маркса и Фр. Энгельса 329
Оглавление за 1923 год. 331

Предисловие к письмам Г. Плеханова к Ф. Энгельсу и Р. Фишеру.

Письма Г. Плеханова к Ф. Энгельсу, которые мы печатаем ниже, имеют большое значение, как новый материал для биографии основоположника русского марксизма и истории его личных отношений к одному из творцов научного социализма.

Они представляют огромный интерес и для истории первых организационных и тактических разногласий в среде русской революционной социал-демократии. Как видит читатель, они бросают свет на некоторые, оставшиеся до сих пор совершенно неизвестными или темными страницы в истории русского и польского революционного социал-демократического движения.

Плеханов познакомился с Энгельсом сейчас же после Парижского Международного Конгресса в июле 1889 года, когда он совершил, вместе с Аксельродом, поездку в Лондон [1]).

Первое письмо Плеханова к Энгельсу, имеющееся в нашем распоряжении, относится к марту 1893 года. Из него видно, что в течение $3^1/_2$ лет, прошедших после их личного свидания, они не переписывались. Сношения с Энгельсом поддерживались Верой Засулич, которая и раньше служила главным представителем группы „Освобождение Труда"—как до ее окончательного оформления, так и после нее—в переговорах с Марксом и Энгельсом. Последний еще в 1890 г. написал специально для русских товарищей статью „О внешней политике русского царизма", которая напечатана была в „Социал-Демократе".

Из первого письма мы узнаем, что известные „Очерки по истории материализма" предназначались сначала для „Neue Zeit" и, вероятно, только потому, что разрослись далеко за пределы нормальной статьи, вышли отдельными изданиями.

[1]) „В 1889 г. я, побывав на Международной выставке в Париже, отправился в Лондон, чтобы лично познакомиться с Энгельсом. Я имел удовольствие, в продолжение почти целой недели, вести с ним продолжительные разговоры на разные практические и теоретические темы". Ст. „Бернштейн и материализм"—Сочинения, т. XI, стр. 21—22.

Алексей Михайлович Воден, о котором пишет во втором письме Плеханов, приехал за границу летом 1892 г. Конец лета и осень он провел в Морнэ в департаменте Верхней Савойи, куда Плеханов переехал после высылки из Женевы. „Нас сблизили, — пишет нам А. М. Воден, — философские интересы, и наши разговоры касались преимущественно философских тем. Георгий Валентинович очень интересовался тогда восстановлением деталей философских взглядов Маркса и Энгельса в этот период, когда они были im Werden, и подчеркивал важность философских произведений Маркса и Энгельса, относящихся к этой, столь плодотворной, эпохе. Когда весной 1893 года я поехал в Лондон, Г. В. дал мне рекомендательное письмо к Энгельсу".

Третье письмо, от которого сохранилась только заключительная часть, писано, по всей вероятности, в апреле 1894 года, как видно из писем Плеханова к Рихарду Фишеру, которые мы печатаем в этой же книжке. Свою рукопись „Анархизм и социализм" он отослал в Берлин в начале апреля и только после этого узнал, что ее будет переводить на немецкий язык (с французского) Эдуард Бернштейн.

Статья Н. Михайловского, о которой упоминает Плеханов, напечатана была в „Русском Богатстве", в январской книжке 1894 года[1]). Против цитируемого места Плеханов полемизирует в своем ответе Михайловскому [2]). Он, однако, ошибался, думая, что известное письмо Маркса было адресовано редактору „Вестника Европы". В действительности оно было адресовано редакции „Отечественных Записок".

Мы долго колебались, следует ли опубликовать уже теперь 4-е письмо Плеханова. Правда, почти все упоминаемые в нем лица умерли; не только сам Плеханов, но и те, против которого он направляет свои нападки. Но в письме проскальзывает такое острое чувство озлобления против Розы Люксембург и Льва Иогихеса, всей своей жизнью и трагической смертью доказавшим свою безграничную преданность делу пролетариата, что только с большим трудом побеждаешь неприятное чувство. Письмо представляет яркое свидетельство, до каких размеров может доходить фракционное озлобление и какой слепотой оно поражает даже очень проницательных людей.

К сожалению, история группы „Социал-Демократической Библиотеки", а также первых шагов „Социал-Демократической партии Польши и Литвы", очень мало известна. Мы вынуждены со своей стороны ограничиться только несколькими замечаниями, надеясь, что очень немногочисленные участники этих событий, еще оставшиеся

[1]) Перепечатана в сборнике его статей под названием „Литературные воспоминания и современная смута", том II, стр. 232—274.

[2]) „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю",—Сочинения, том VII, стр. 241—242.

в живых (со стороны поляков—Варский и Мархлевский, со стороны русских—П. Аксельрод, Л. Аксельрод-Ортодокс, Блюменфельд), сделают все необходимые дополнения. Мы пока ограничиваемся немногими замечаниями.

Группа „Социал-Демократической Библиотеки" является первой „оппозицией" группе „Освобождение Труда", которая успела отлиться в форму особой агитационно-издательской группы со своим особенным центром. Ей предшествовали другие оппозиционные группировки или течения, но они не выходили за пределы „устной традиции" и ограничивались конфликтами между группой „Освобождение Труда" и ее „периферией" в самой Швейцарии.

Первый конфликт относится уже к зиме 1887—1888 гг. Во главе „оппозиции" стояли Соловейчик и Слепцова. „Молодые" товарищи требовали для себя известных прав как в области организационной, так и в области литературно-издательской. Насколько мне известно из рассказов, „молодые" требовали, чтобы литературе для рабочих отводилось и больше средств, и больше места. Среди изданий группы „Освобождение Труда" организация первого русского „Социал-Демократического Союза", несомненно, явилась уступкой требованиям „молодых". Сам Соловейчик уехал в Россию, где очень скоро был арестован. После трехлетнего заключения в „Крестах", тяжело отразившегося на его психике, он был освобожден и кончил жизнь самоубийством.

К первой оппозиции принадлежал и Парвус, приехавший в Швейцарию еще осенью 1887 года и принявший после очень деятельное участие в дискуссии 1888 года.

Вторая оппозиция сложилась после „голодного года". Ее лидером и организатором был Лев Иогихес, он же Грозовский, он же Тышко, расстрелянный немецкими палачами в тюрьме в марте 1919 года.

Я познакомился с Грозовским в декабре 1890 года в Цюрихе. Он только что бежал из России. Не потому, что хотел „уклониться от неприятностей военной скужбы", как пишет Плеханов, забывший, что его ближайший друг, Лев Дейч, тоже был военным дезертиром. Сильно скомпрометированный, он, только благодаря своим конспиративным навыкам, не был привлечен вместе со многими виленскими товарищами к процессу первомартовцев 1887 года (Ульянова и др.). Народоволец, тесно связанный с польскими „пролетариатцами", он уже был в значительной степени заражен марксизмом. При поступлении на военную службу он, как это тогда практиковалось, был бы несомненно послан в Среднюю Азию с особым „волчьим паспортом". Он потому предпочел уехать за границу, чтобы поработать над своим теоретическим развитием и затем вернуться назад для нелегальной

работы. Я помню хорошо, как он корпел над Рикардо и Марксом, принимая в то же время самое деятельное участие в делах тогдашней Цюрихской колонии, членами которой являлись многие способные студенты и студентки, в том числе Роза Люксембург, Х. Раковский, Юлий Мархлевский и др. Когда между мною и Плехановым возникло крупное недоразумение, посредником между нами выступил Грозовский. Второй раз мы встретились летом 1891 года на Фирвальштедтском озере в Веггисе, где жили тогда Парвус и Люксембург. Помню хорошо, как Грозовский доказывал мне необходимость „помириться" с Плехановым. Я скоро после того уехал в Россию и встретился с Грозовским много лет спустя, когда он уже ушел из русского движения.

Некоторые данные о том, что происходило после 1891 года, мы находим в статье Ю. Мархлевского [1]):

„Очутившись в Швейцарии, он вошел в сношение с Плехановым, но скоро с ним разошелся. Это было время, когда в кругах русской социал-демократии господствовали очень неприглядные отношения. В России движение только нарождалось; в эмиграции Плеханов хозяйничал по собственному усмотрению. Кто не ладил с ним лично, тот попадал в опалу и за ним оспаривали право называть себя социал-демократом. Тов. Иогихес был не из покладистых и не пожелал подчиняться такому режиму. С ним скоро сошлись другие члены эмиграции и решили действовать самостоятельно. Самым насущным был вопрос о революционном издательстве; и эмиграционная молодежь, и рабочие кружки в России страшно нуждались в литературе. Иогихес располагал довольно большими средствами и, собрав кружок сотрудников (Кричевский, Рязанов, Парвус), приступил к издательству „Социал-Демократической Библиотеки". Тут сразу сказались его организационные способности. Сам он не писал, но редактором был образцовым, до педантизма аккуратным; книжки библиотеки издавались великолепно, хорошо был поставлен и транспорт".

Тов. Мархлевский ошибается. Я в то время сидел уже в „Крестах" и не имел никакого отношения к „Социал-Демократической Библиотеке". Это lapsus memoriae, объясняющийся тем, что тов. Мархлевский знал от Грозовского о его знакомстве со мной и предполагавшейся совместной работе. О всем этом эпизоде я узнал только в 1900-м году, когда опять, после многих лет тюрьмы и ссылки, попал за границу.

Верно только, что Грозовский рассчитывал на литературное сотрудничество Парвуса и Кричевского. Но первый, уже обративший на себя внимание статьями в „Neue Zeit" о Бем-Баверке и в „Vorwarts'е" о голоде в России, в действительности не принял никакого участия в работе новой группы. Он поместил только, под фамилией Игнатьева, в „Neue Zeit" подробный реферат о первомайских речах виленских рабочих, вышедших в издании „Социал-Демократической Библиотеки". С 1894 года он окончательно перешел в ряды немецкой социал-демократии. Только после приезда „молодых"—Ленина, Мартова, Потресова—он принял впервые участие в литературных органах российской социал-демократии.

[1]) „Памяти Розы Люксембург и Льва Иогихеса",—„Коммунистический Интернационал" 1919 год, № 3.

Главным литературным работником группы был Борис Наумович Кричевский (умер в Париже в 1919 году). Ему принадлежат изданные группой переводы Маркса („Наемный труд и капитал", „18-е Брюмера") и Каутского („Эрфуртская программа"), а также две популярные брошюры („Борьба английских рабочих за свободу" и „Как бельгийские рабочие боролись за свободу").

Среди литературных заявлений этой группы нет ни одного, на основании которого можно было бы судить, какие принципиальные или тактическое разногласия отделяли ее от группы „Освобождение Труда". Подбор изданий свидетельствует лишь о том, что группа действительно неуклонно проводила свой план издания пропагандистской библиотеки для рабочих.

Но у самого Плеханова мы находим указание и на тактические разногласия в связи с голодом 1891—1892 года. Оно устанавливает связь между заграничной „оппозицией" и теми оппозиционными голосами, которые раздавались в самой России против взглядов, развивавшихся Плехановым как в его статье „Всероссийское разорение", так и в „Письмах о задачах социалистов в борьбе с голодом в России".

Во „Всероссийском разорении" Плеханов выставил следующие три ближайших требования:

1) Немедленно найти средство для продовольствия сорокамиллионного населения пострадавших от неурожая губерний и для помощи рабочему классу, бедствующему от причиненной неурожаем безработицы.

2) Помочь русскому крестьянству восстановить свое земледельческое хозяйство, в конец разоренное многовековым грабежом, практиковавшемся помещиками и царскими чиновниками.

3) Сверху донизу переделать нашу финансовую систему, всею своей тяжестью лежавшую до сих пор на спине крестьянина.

Именно для осуществления этих требований, должны были, по мнению Плеханова, „все честные русские люди, которые, не принадлежа к миру дельцов, кулаков и русских чиновников, не ищут своей личной пользы в бедствиях народа, немедленно начать агитацию в

пользу созвания Земского Собора, долженствующего сыграть роль Учредительного Собрания, т.-е. положить основы нового общественного порядка в России".

Эта постановка вопроса вызвала целый ряд недоразумений в социал-демократической среде. Кое-какие указания на это мы находим в названных нами выше „Письмах", в которых Плеханов сделал попытку обосновать свой взгляд более подробно:

„В моей статье „Всероссийское разорение" некоторые увидели отказ от прежней социал-демократической программы и не то поворот, не то отступление в сторону „чистой политики", политики свободной от примеси невозможного теперь „социализма".

„Когда в статье „Всероссийское разорение" я писал, что все честные русские люди, т.-е. все те, которые не продали царю своей совести и которые не хотят, по выражению поэта, в роковое время позорить гражданина сан, должны агитировать в пользу созвания Земского Собора, мысль об отказе от классовой борьбы была от меня дальше, чем когда бы то ни было. И если, как мне пишут из России, некоторые молодые товарищи с неприятным для них удивлением увидели в названной статье именно эту мысль, то остается только пожалеть, что предлагаемые письма не вышли раньше".

В post scriptum'е к „Письмам" Плеханов цитирует еще одно заявление русских товарищей, показывающее, что статья „Всероссийское разорение" была „плохо истолкована русскими читателями".

„Как вы думаете достичь поставленных себе задач, вроде сбора трехсот миллионов рублей, которых не даст Вышнеградский?—спрашивает меня живущий в России читатель,—или что вы понимаете под восстановлением разоренного крестьянского хозяйства?—на каких началах: мелкого землевладения или общины? Тогда—как согласить это „с нашими разногласиями"?

К чему сводились разногласия Плеханова с Иогихесом и его товарищами, теперь сказать трудно. Но несомненно, что группа молодых имела все основания протестовать против той формулировки, которую взгляды Плеханова нашли в статье „Всероссийское разорение" и которую он поспешил исправить в своих „Письмах".

Но к разногласиям по вопросу о голоде прибавились и разногласия по польскому вопросу. Из письма Плеханова мы узнаем теперь, что ему была прекрасно известна роль, которую играл Иогихес в деле организации Польской Социал-Демократической Партии. Борьба между польскими марксистами и Польской Социалистической Партией началась незадолго перед Цюрихским Международным конгрессом.

Опираясь на старое требование Маркса и Энгельса,—необходимость восстановления старой Польши,—Польская Социалистическая Партия, в которую вошли в очень небольшом количестве представители старого „Пролетариата" и в очень большом количестве польские буржуазные националисты, прикрывавшиеся социалистической фразеологией, заняла сейчас же позицию, крайне вредную для интересов русского рабочего движения. В то время, как польские социал-демократы отстаивали с самого начала необходимость тесной солидарной борьбы польского и русского пролетариата против царизма, польские социалисты употребляли все усилия, чтобы дискредитировать или свести совсем на-нет успехи молодого русского рабочего движения. Эта тактика через несколько лет вынудила и Плеханова порвать с лидерами P. P. S.

А пока на Цюрихском конгрессе в 1893 году Плеханов поддерживал P. P. S. Его показанию в письме к Энгельсу необходимо теперь противопоставить показания тов. Мархлевского:

„Варшавские рабочие прислали мандат мне, заграничные группы дали мандаты Розе Люксембург и тов. Варскому. Против нас повели бешеную кампанию вожаки P. P. S.,—кампанию, в которой они прибегли к гнуснейшему средству, выдвинув против тов. Варского заведомо ложное обвинение, что он „русский агент". Так как среди них были люди, давно поддерживавшие хорошие отношения с вождями Интернационала—с Энгельсом, Вильгельмом Либкнехтом и др.,—то им легко было представить дело в таком виде, что мы, мол, являемся кучкой интриганов, нарушающих единство польского социализма. Несмотря на блестящую речь Розы Люксембург, опровергавшую эту ложь, конгресс решил не признать мандатов ее и тов. Варского. Очень неблаговидную роль сыграл в этом деле Плеханов: он был хорошо знаком с польскими делами, и достаточно было одного слова этого популярного в Интернационале человека, чтобы изобличить интригу, но он предпочел молчать и потом признался, что ему неловко было „итти против мнения старика Энгельса".

Тов. Мархлевский вполне прав, указывая, что Плеханов в этом деле играл решающую роль. За признание мандата Люксембург высказалось такое значительное число делегатов, что Бюро уже готово было допустить ее. При голосовании по национальностям семь высказалось за, девять—в том числе Плеханов, единственный делегат от России, и Польша—против.

Современному читателю нечего доказывать, что отчет Люксембург о движении в Польше не был ни иезуитским, ни лживым. Наоборот, он является одним из интереснейших документов в истории польского марксизма, показывающих, как рано Люксембург вскрыла буржуазный характер всей программы P. P. S.

Нам, к сожалению, не известна речь Плеханова, произнесенная им по приглашению комитета, в котором, по его собственному признанию, верховодили чистые патриоты более или менее католической окраски.

Нужно прибавить, что если характеристика Иогихеса мало соответствует действительности, то характеристика Кричевского, наоборот, довольно верна. Будущий теоретик „Рабочего Дела“ был плохим революционным практиком и очень легко поддавался различным настроениям.

В пятом письме Плеханов продолжает убеждать Энгельса, чтобы он не давал предисловия к переведенной Кричевским брошюре „Internazionales am dem Volksstaat“. Перевод статьи о Ткачеве и послесловие к нему, сделанный В. Засулич, вышел в августе 1894 года [1]). Предисловие написано Плехановым в Морнэ, в июле 1894 года. Энгельс, как видно, предпочел отказаться совсем от предисловия, которое у него просили обе стороны.

В этом же письме Плеханов, которому из писем Энгельса известно было, какую роль играет Николай Даниельсон, как главный информатор Маркса и Энгельса о России, начинает свою кампанию против „человека, который, при своих знаниях, мог бы дать русской читающей публике нечто лучшее“, но к которому он еще в только что упомянутом предисловии к статьям Энгельса о Ткачеве относится очень мягко.

А Николай—он как раз в это время употреблял все усилия, чтобы убедить Энгельса выступить публично в споре, который завязался в русской легальной литературе в связи с его „Очерками нашего дореформенного общественного хозяйства“. Осторожный Энгельс, продолжая непосредственно убеждать Николая—она в ошибочности некоторых его взглядов, в то же время справляется у Плеханова и других русских марксистов, какую позицию занимает Николай—он в спорах между народниками и социал-демократами.

Обо многих этих вопросах Энгельс мог беседовать с Плехановым, когда последний был выслан в июле 1894 года из Франции и, не имея возможности вернуться в Женеву, уехал в Лондон, где и написал „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю“. Этими беседами объясняется, вероятно, в немалой степени категорическая просьба Энгельса—в письме к Николаю—ону от 24 ноября 1894 года—ни в коем случае не цитировать его мнения в полемике с П. Струве. „В самом деле, если бы мои мнения, высказанные в частных письмах, появились в русской прессе, с моего предварительного согласия, то я не имел бы после этого никакого оправдания в глазах моих русских друзей—здесь и на континенте,—которые настойчиво побуждают меня к деятельному вмешательству в русские споры с целью исправить мнение того или другого писателя по тому или другому пункту“.

---

[1]) „Фридрих Энгельс о России“, Женева 1894.

Плеханов продолжал настаивать на этом и после отъезда из Лондона. Энгельс не соглашался. А в начале июня 1895 года уже показались признаки болезни, которая в два месяца положила конец его жизни. Последнее письмо Плеханова—оно писано в начале июня—застало Энгельса уже на смертном одре.

Главные факты из истории рабочего движения начала царствования Николая II теперь слишком хорошо известны, чтобы останавливаться на них. Известны также почти все фамилии, упоминаемые Плехановым. Фрейбергер—врач в Лондоне, женатый на первой жене Каутского, принимавшей деятельное участие в рабочем движении в начале 90-х годов.

Письма Г. Плеханова к Рихарду Фишеру не нуждаются ни в каких комментариях. Фишер заведывал типографией и издательством „Vorwärts'a“. Когда-то большой радикал, он с тех пор стал очень умеренным и занимает теперь место на правом фланге немецких социал-демократов.

Д. Рязанов.

Письма Плеханова к Энгельсу.

I.

Дорогой и уважаемый учитель!

Сообщаю Вам адрес, о котором Вы меня просили: Madame Bograde-Plekhanoff, 5, Rue des Allemands, Génève.

Я счастлив сообщить его Вам и, следовательно, быть вправе ожидать от Вас письма. Если я сам первый не написал Вам, то это объясняется тем, что я не хотел мешать Вам и заставлять Вас тратить время. Я теперь мечтаю о путешествии в Лондон, где я мог бы увидеть Вас и побеседовать с Вами о положении в России и о моих теоретических работах. Но я еще не знаю, когда мне удастся осуществить эту мечту. Дни, которые я провел в Лондоне в Вашем обществе, принадлежат к самым счастливым моментам моей жизни. Я подготовляю теперь ряд статей (для „Neue Zeit“) о Гольбахе, Гельвеции и Марксе, и чем больше выясняются мои мысли по поводу французского материализма XVIII столетия, тем более восторгаюсь я теми страницами, которые Вы написали по этому поводу в Вашем труде „Людвиг Фейербах“ и т. д. Эта брошюра дает внимательному читателю больше, чем могут дать сотни томов, написанных официальными философами, философами ex professo. Мне говорили, что Вы написали несколько доброжелательных слов обо мне Каутскому по поводу моей статьи о Гегеле. Если это верно, то мне не надо лучшей похвалы. Все, чего я бы желал, это быть не совсем недо-

стойным учеником таких учителей, как Маркс и Вы. Привет гражданке Элеоноре Маркс-Эвелинг и ее мужу. В. З. [1]) сердечно кланяется Вам. Примите, дорогой учитель, уверение в моей искренней преданности.

Г. Плеханов.

P. S. Вот уже больше 3 месяцев, как я вернулся в Женеву, благодаря влиянию молодой женевской рабочей партии. Но дело еще не решено окончательно. Возможно, что мне придется опять уехать во Францию, где я жил (в департаменте Верхней Савойи) последние 3 года.

Г. П.

Женева, 25 марта 1893.

II.

Мой дорогой учитель!

Податель этого письма, Алексей Воден, молодой русский студент из наших друзей, очень прилежный и очень способный. Единственное несчастье его состоит в том, что он слишком много работал, работал до тех пор, пока не заболел: он стал ужасно нервным. Уезжая в Лондон, он просил меня рекомендовать его Вам. Делаю это тем более охотно, что убежден, что Вам интересно будет видеть одного из лучших представителей нашей русской молодежи. Он славный малый, и я уверен, что он извлечет большую пользу из знакомства с Вами. Он не то, что немцы называют ein Mann der That, но он действительно чрезвычайно способен к теоретическому труду, а Вы хорошо знаете, что люди этого закала часто очень полезны для движения.

В. З. кланяется Вам и в свою очередь просит Вас хорошо принять нашего молодого друга. Путешествие в Лондон и Ваши беседы составят эпоху в его жизни.

Примите, дорогой учитель, уверение в полной моей преданности. Привет m-me Луизе Каутской. Я имел удовольствие познакомиться с ней в Цюрихе.

Г. Плеханов.

Génève, 5, Rue des Allemands.
2 апреля 1893.

III.

Отрывок.

У меня нехватает почтовой бумаги. Извините меня. Единственная лавка в деревне, где я живу (Морнэ), очень далеко, а дождь льет, как из ведра. Я продолжаю:

Вы видите, что если во времена Маркса наши революционеры

[1]) В. Засулич.

могли черпать некоторую энергию в той идее, что Россия не пройдет через фазу капитализма, то та же самая идея в наше время становится чрезвычайно опасной утопией. В настоящее время безусловно необходимо бороться с ней.

Кстати. От времени до времени английские консулы печатают отчеты о состоянии промышленности в разных странах. Составляют ли эти отчеты отдельные книги, или они печатаются в каких-нибудь официальных журналах? Каково их точное заглавие? Вы сильно обяжете меня, если сообщите мне кое-что по этому поводу.

Несколько лет тому назад очень много писали о книге одного англичанина о русской промышленности. По-русски фамилию этого англичанина писали Эджеворт, я не знаю, как ее пишут по-английски. Знакома ли Вам такая книга? Известны ли Вам вообще английские книги, трактующие этот вопрос? Что говорят английские газеты о русских товарах на Чикагской выставке? Напишите мне об этом несколько слов.

Я говорил Вам о полемике Михайловского против Вас и против Маркса. Вот образчик его аргументации. Я цитирую то, что Вы пишете в „Людвиге Фейербахе" по поводу одной из Ваших рукописей, написанной 50 лет тому назад: „она показала мне, как неполны были в то время наши экономические познания". „Вы видите, — восклицает г-н Михайловский, — их познания были недостаточны в то время, а между тем их исторический материализм возник уже тогда, следовательно, он построен на недостаточном основании". Ну, разве это не очень остроумно? И этот господин наиболее интеллигентный из этих господ искателей настоящего экономического пути для Святой Руси! Это тот самый господин Михайловский, против которого было направлено письмо Маркса. Мне кажется, что в проекте Маркса письмо должно было быть адресовано не Михайловскому, а редактору „Вестника Европы". Этот господин до комизма гордится этим письмом. Он следующим образом излагает весь этот инцидент. До прочтения его статьи: „Карл Маркс перед судом Ю. Жуковского" Маркс думал, что Россия должна пройти через капитализм; но, прочитав эту замечательную статью, он изменил свое мнение. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, как говорит наш Лермонтов.

Пишите мне,—если у Вас будет охота,—по адресу моей жены: Bogtade-Plekhanoff, 5, Rue des Allemands, Génève. Меня опять выслали из Женевы, и возможно, что меня вышлют также из Франции.

Если Вы увидите Бернштейна, спросите его, что сталось с моей статьей об анархистах; кончил ли он перевод? Привет от всех нас.

Преданный Вам Г. Плеханов.

IV.

Мой дорогой учитель.

Группа Кричевского, Игнатьева и компании составляет совершенно особую группу, заслуживающую подробной характеристики.

Кричевский находится за границей с 1887 г. Он не принимал активного участия в русском движении. Он жил в каком-то провинциальном городе, где принадлежал к одному из тех кружков молодежи, которые занимаются чтением и распространением революционных брошюр, если к этому представляется случай. Как ни было невинно подобное занятие, его было достаточно, чтобы скомпрометировать Кричевского. Он покинул Россию. В то время багаж его социалистических идей был очень легковесен и в особенности очень мало ценен: русский народник, т.-е. наполовину демократ, наполовину анархист. Но этот человек не лишен некоторой дозы интеллигентности. Он читал и учился за границей. Он понял, что его социализм не имеет ничего общего с современным социализмом. Он становится социал-демократом. Некоторое время он был с нами. Но, мало активный по своему темпераменту, он не мог много сделать, в особенности, благодаря своему положению эмигранта, совершенно неизвестного в России. Он учился, делал переводы для немецких социалистических газет (он перевел почти все мои статьи для „N. Z.“; он перевел мои статьи о Чернышевском); он написал для „N. Z.“ статью под заглавием „Русское революционное движение прежде и теперь“ (1890). Если Вы читали эту статью, она должна была произвести на Вас неприятное впечатление: слишком много доктринерства, слишком мало понимания революционной стороны нашего движения. Кричевский принадлежит к тому типу талмудистов новейшего социализма, которые умеют схватить его букву, но не дух. Он представляет нечто вроде „истинного“ социалиста, возмущающегося против всего, что хотя бы сколько-нибудь противоречит формулам, запечатлевшимся в его памяти. Но так как он никогда не пользовался влиянием, то с ним худо ли, хорошо ли можно было бы столковаться, если бы он не встретился с некиим Иогихесом, его злым гением, его теперешним вдохновителем.

Что касается г-на Иогихеса (его псевдонимы: 1) Грозовский, 2) Левка; под этим последним именем он известен Мендельсону и его друзьям), то он оставил Россию, чтобы уклониться от неприятностей военной службы. Но до совершения этого акта практического антимилитаризма он принадлежал к революционной группе в Вильне. Он содействовал доставке в Россию нескольких кило революционных книг; он вел сношения с пограничными евреями-контрабандистами. Его молодые друзья (по большей части, гимназисты)

объявили его большим конспиратором. Но его несчастье состоит в безграничном тщеславии и в том, что он совершенно не стесняется в средствах. Его идеалом практического человека является Нечаев, приемы которого Вам известны. Но как ни был ограничен Нечаев, у него не было недостатка в энергии, и он не щадил своей собственной жизни. Нечаев в миниатюре, Иогихес обладает энергией только для интриг за границей. На этом поприще он неутомим, неисчерпаем и в особенности беспристрастен. Будучи родом из Вильны, он знает польский язык, и пользуется этим, чтобы интриговать как среди поляков, так и среди русских. Мендельсон расскажет Вам, что он сделал, чтобы повредить польскому движению. Я расскажу Вам его поступки, касающиеся русского движения.

Пока он был в России, Иогихес выдавал себя за народовольца. Но уже тогда он понимал, что общее течение уже не в пользу Народной Воли. Приехав за границу, он объявил себя социал-демократом. Он старался сблизиться с нами. У нас не было никакого желания отталкивать его. Он обратился к нам за советами относительно его будущей деятельности. Мы ему ответили, что, ввиду того, что, по его словам, он обладает организаторским талантом, он должен поехать в Россию.—Но у меня нет паспорта.—Вы его получите.—У меня нет денег.—Они найдутся. Когда все трудности были устранены, и надо было ехать, Иогихес заявил, что он получил от одного из своих друзей 15 тысяч рублей „для дела“ и что он считает себя обязанным остаться за границей, чтобы сделать хорошее употребление из этих денег (!). Я и до сих пор не знаю, откуда взялись эти деньги; я думаю, что он имел их уже во время переговоров с нами (говорят, что мать его очень богата). Как бы то ни было, г-н Иогихес предложил нам новые условия: 1) он остается за границей; 2) он употребляет проценты с капитала для нужд движения; 3) во всяком предприятии он один имеет столько голосов, сколько мы все: все наши сношения с нашими товарищами в России он отныне будет вести один, мы должны ему передать все наши адреса, все наши знакомства (это последнее условие делало его иногда почти подозрительным). Мы поняли, что этот человек только революционный карьерист, Streber, как говорят немцы. Наши взаимные отношения стали очень холодными. Он дал, однако, немного денег для наших изданий, но в то же самое время он вел глухую кампанию против нас везде, где он только мог. Он искал случаев составлять нам оппозицию.

Первым таким случаем явился голод в России. Мы говорили во всех наших брошюрах и во всех письмах, посылаемых в Россию, что наши товарищи должны воспользоваться положением для конституционной агитации. Г-н Иогихес третировал нас, как изменников социализма: „для истинного социалиста конституционная агита-

ция не имеет смысла". Отсюда Вы видите глубину его идей. Но он еще не боролся с нами открыто; он только угрожал нам, что перейдет на сторону Лаврова. Это нас очень мало трогало, тем более, что у Иогихеса, по нашему мнению, было достаточно ума, чтобы понять, что Лавров остается все более и более одиноким, изолированным. И в самом деле Иогихес не совершил этой ошибки. Но он сумел привлечь на свою сторону Кричевского и вместе с ним начал издавать „Социал-Демократическую Библиотеку". Вдруг Кричевский стал нашим ожесточенным врагом.

Между тем, открылся Цюрихский конгресс. Иогихес, который, как я уже говорил, беспристрастно интриговал и среди поляков, и среди нас, основал за две недели до конгресса социалистический польский журнал „Sprawa Robotnicza" (Рабочее Дело); ко времени конгресса появился только один номер его. Но не важно. Он послал некую Люксембург в качестве делегатки журнала. Делегатка Иогихеса, в компании с другим „товарищем", представила лживый и иезуитский отчет о движении в Польше. Вся польская делегация с негодованием отвергла ее. Она обратилась ко мне, указывая, что, ввиду того, что она родилась в русской Польше и что ее друзья работают там, она не хочет быть с поляками, а хочет быть с русскими. Несмотря на протесты польской делегации, Бюро допустило m-lle Люксембург. Поляки апеллировали к конгрессу. Голосование происходило по национальностям; конгресс аннулировал решение Бюро. Я голосовал с польской делегацией, против допущения m-lle Люксембург. Я не мог поступить иначе, потому что, поддерживая предложение об аннулировании польской делегации (т.-е. предлагая делегатам русской Польши войти в русскую делегацию, делегатам Австрии в австрийскую делегацию и т. д.), я требовал бы нового раздела Польши, другими словами—я сделал бы колоссальнейшую глупость. Г-н Иогихес воспользовался этим вторым случаем, чтобы назвать меня—на этот раз открыто—предателем социализма и союзником буржуазных патриотов (эти буржуа: это - Мендельсон и его друзья). Г-н Кричевский поднял еще больший шум, и раскол совершился. Впрочем, гражданка Элеонора Маркс-Эвелинг знает перипетии этой борьбы членов конгресса против и за прекрасную m-lle Люксембург. (На конгрессе она фигурировала под другим именем.)

По случаю столетней годовщины польской революции 1794 г. Иогихес и компания метали против меня громы и молнии, как только он узнал, что комитет празднества пригласил меня выступить с речью.

Кстати, именно интриги этих господ и польских друзей m-lle Люксембург заставили меня спросить через посредство Бернштейна Ваше мнение об этом деле. Я думал, что Мендельсон уже информировал Вас о том, что происходило в Цюрихе.

Празднество происходило 14 мая. Приехав в Цюрих, я узнал, что внутри комитета произошло несколько революций (Polska nie zadem stoi) и что в данном случае верховодят чистые патриоты (более или менее католической окраски). Я обратился за советом к нескольким польским социалистам, жившим в Цюрихе. Они сказали мне, что они все равно придут на празднество и что они просят меня притти говорить. Я не отказался. В первой половине своей речи я привел Ваше и Маркса мнение о польском вопросе, во второй половине я сказал, что, как русский, я от всего сердца за независимость Польши, потому что я убежден, что, чем больше в Варшаве господствует порядок, тем больше вешают в Петербурге. „Чистые" и „истинные" во вкусе г-на Иогихеса не преминут напасть на меня после моей речи, как они это делали до нее. Но я считаю свою позицию неприступной.

Но вернемся к делу.

Все предприятие Кричевского и Игнатьева (я не знаю этого господина; я думаю, что это новый псевдоним Иогихеса, который хотел бы испытать его на литературном поприще) направлено непосредственно против нас и против поляков при посредстве m-lle Люксембург. Оно имеет целью создать пьедестал г-ну Иогихесу. „Нам не хватает популярности", наивно говорил Кричевский одному из моих друзей. Для приобретения популярности, переводят Маркса, просят у Вас предисловий. Популярность этих господ сильно повредит русскому, а также польскому движению. Я уверен, что Вы не захотите поддерживать такого жалкого дела.

Вас удивляет, что эта компания сделала новый перевод „Наемного труда и капитала". Более того. Как только появилась Ваша брошюра „Internationales" и т. д., Вера Засулич перевела Ваш ответ Ткачеву и Nachtrag. Я предупредил Кричевского, что мы собираемся издать этот перевод. Он сделал другой перевод, который он издает теперь и для которого он просит у Вас предисловие. Они хотят создать такую же анархию, какая царствует среди народовольцев, где всякий делает то, что он хочет.

Десять лет тому назад Засулич, сделав перевод Вашего „Развития социализма", просила у Вас разрешения издать на русском языке Ваши произведения и произведения Маркса. Вы не отказали нам в этом разрешении. Засулич считала, что поступает соответственно этому, когда переводила „Soziales aus Russland". Но два издания в одно и то же время не имеют никакого смысла. Бесполезно говорить, что мы с радостью напечатаем предисловие, если Вы нам его дадите.

Я нахожу теперь, что уже давно должен был написать Вам обо всем этом. Но Вы понимаете, как это тяжело. Это пахло бы интригой, а я ненавижу интриги.

Я прочел свое письмо Аксельроду. Он совершенно согласен со мной. Засулич могла бы еще кое-что прибавить к характеристике Иогихеса, который внушает ей глубокое отвращение.

Аресты в России, к сожалению, очень многочисленны. Арестовано много интеллигентов („intelligentia"). Но удар далеко не непоправим.

Привет Вам, дорогой учитель. Прошу Вас передать привет Бернштейну. Я очень благодарен ему за его истинно-дружеское письмо. Из „N. Z." я узнал, что только что появился немецкий перевод моего Чернышевского. Я позволю себе послать Вам экземпляр.

Я ничего не сказал в моем письме о польских делах. Скажу только одно: Мендельсон, может быть, сделал ошибки, но не Иогихес и компания спасут положение.

P. S. Аксельрод считает нужным, во избежание недоразумений, прибавить, что мы предлагали Иогихесу поехать в Россию лишь после того, как он много раз выражал желание совершить эту поездку. Иогихес всегда выражал сильное презрение по отношению к тем революционерам, которые оставались за границей без абсолютной необходимости. Привет от нас всех. Преданный вам

Г. Плеханов.

Так как я останусь еще некоторое время в Цюрихе, прошу Вас адресовать Ваш ответ—если ответ будет, а мы будем ждать его с нетерпением—Аксельроду, 33, Mühlegasse, Zürich.

Цюрих, 16 мая 1894.

V.

Дорогой гражданин Энгельс,

Спешу Вам ответить, но разрешите мне начать с самого интересного вопроса: *Н.—он* и его книга.

Вы говорите, что он боялся последствий нашествия капитализма в Россию. Это вполне понятно, но, с другой стороны, в чем и каким образом русская сельская община помогла бы нам избежать тех зол, которых он опасался? Каково современное положение этой общины?

Уже в 1879 г. известный Орлов (основатель статистики русских земств) писал в своей книге: „Формы землевладения в Московской губернии", что для самых бедных членов общины (а их очень много) она стала вредным институтом (для беднейшей части крестьян община стала тормозом, бичем. Бич—fleau). Не имея средств для обработки своих земель, эти члены общины платят однако налоги, как если бы они пользовались своими наделами. Эти налоги (а они очень высоки) правительство берет с их заработной платы в качестве фабричных рабочих. При этих условиях

разрушение общины было бы очень чувствительным облегчением для этих людей. А у правительства было бы одним поводом меньше заставлять платить тех, которые что-нибудь имеют, за тех, которые ничего не имеют; вместе с общиной отпадает и круговая порука. Ослепление наших народников и даже наших либералов по поводу общины идет так далеко, что они сами говорят правительству: но кто же будет платить налоги, если община будет разрушена? Вы согласитесь, что это значит слишком далеко заходить в своей наивности, если не в глупости. Они повторяют здесь то, что сказал уже наш Торквемада-Победоносцев, который в очень интересной статье в реакционном „Русском Вестнике" говорит: сельская община спасет нас от рабочего движения и от социализма. И в самом деле, старый общинник (член общины) был так мало революционен, что русский царизм мог бы существовать еще тысячи лет, если бы экономическое движение не преобразовало его способа существования, а затем и его образа мыслей. Теперь можно без всякого преувеличения сказать, что чем больше разрушается наша старая экономическая структура, столь любезная Н.—ону, тем больше мы приближаемся к революции.

Н.—он ставит вопрос о капитализме так, как будто его еще нет в России. На самом же деле мы уже страдаем от капитализма и страдаем еще потому, что капитализм у нас слабо развит. Одно страдание над другим, это в сильной степени увеличивает наши экономические бедствия, не говоря уже о нашем политическом положении, которое превосходит все, что можно сказать дурного о нем.

Но предположим, что община—наш якорь спасения. Кто осуществит предлагаемые Н.—оном реформы? Царское правительство? Лучше чума, чем реформы, исходящие от подобных реформаторов! Социализм, насаждаемый русскими исправниками, что может быть более химерического?

Впрочем, правительство делает все возможное, чтобы разрушить злополучную общину.

Последние аресты в России коснулись приблизительно *2.000* человек. Большая часть арестованных уже освобождена.

Перейдем теперь к Кричевскому.

Если судить по отрывку из его письма, на которое Вы ссылаетесь, то он сам признает, что он знал о нашем намерении издать Вашу брошюру lange vor dem 10.—mai (задолго до 10 мая). Он говорит только, что он знал о этом aus dritten Hand (из третьих рук). Но „Hand" (источник), из которого он об этом знал, это наборщик их собственной типографии. При демократических нравах русских революционеров наборщик типографии—это почти что член редакции. А что касается наборщика, то я сообщил ему о нашем намерении

именно для того, чтобы он сообщил об этом Кр. Он мне ответил через одного из наших болгарских друзей, который вместе с тем и его друг, что он сообщил об этом намерении редакции „Социал-Демократической Библиотеки", но что редакция настаивает и хочет безусловно, чтобы он начал набирать брошюру.

Кричевский утверждает, что мы обязаны были сообщить в печати о нашем намерении издать эту брошюру. Это, может быть, было бы полезно, но не с точки зрения психологии г-на Кричевского, который принял твердое решение издать брошюру во что бы то ни стало. По правде сказать, я не напечатал объявления, чтобы избавить читателей от удивления по поводу этого двойного издания социал-демократами одновременно одной и той же брошюры. Я знал, что по этому поводу будут очень много говорить, и чтобы избежать этого, я готов был писать Вам и спросить у Вас совета, но воздержался от этого по соображениям, о которых я писал в своем письме из Цюриха.

Но я хорошо помню, что наборщик Кр. и комп. несколько раз говорил нашему посреднику: Плеханов хорошо бы сделал, если бы лично написал Иогихесу. Я считал такой поступок бесполезным, так как знаю г-на Иогихеса. Теперь я предполагаю, что редакция „Социал-Демократической Библиотеки" написала своему наборщику, что она не считает его письмо официальным. Она уже тогда склонна была говорить о его письме, как об известии, полученном из третьих рук („aus dritten Hand"). Так как наборщик, работая у них, хорошо относился к нам (лучше, чем к ним), он хотел бы своим советом заставить меня помешать проекту Иогихеса. Но довольно, эти господа были хорошо и надлежащим образом предупреждены.

Само собою разумеется, что, приводя им этот факт, Вы не назовете имени Иогихеса; меня обвинят в разоблачении псевдонима. Фамилия наборщика Блюменфельд.

Нахальство Крич., как общее правило, не удивляет меня. Нахальство в его натуре. Но чтобы он был нахален даже по отношению к Вам, это удивляет меня даже с его стороны.

Со дня на день я и Вера (которая живет здесь под псевдонимом) ждем высылки. Казимир Перье не будет нас долго щадить. Жандармы и шпионы постоянно шныряют около нашей квартиры.

Итак, мы вероятно очень скоро увидимся. Привет Вам, Бернштейну, Эвелингам и m-me Луизе Каутской. В. З. всем Вам кланяется.

Преданный Вам Г. Плеханов.

Morнex, 10 июля 1894 г.

VI.

Дорогой генерал,

Я несколько раз приходил к Вам, когда Вы менее всего этого ожидали. Вероятно, Вас очень удивляли эти несвоевременные визиты. Скажу вам в чем дело.

У Вас есть несколько редких книг („Neue Rheinische Zeitung", напр., газета и журнал), которые я с нетерпением жажду, по крайней мере, просмотреть, если уж нельзя их прочесть. Я приходил просить у Вас разрешения приходить рыться в них у Вас. Но каждый раз у меня не хватало мужества, потому что я говорил себе, что это будет Вам мешать. Но надо однако покончить с этим вопросом, и я прошу Вас написать мне, возможно ли это дело, и когда мое посещение будет наименее неприятно для Вас.

Я считаю задачей моей жизни пропаганду Ваших идей и идей Маркса. Я должен поэтому быть хорошо с ними знаком. Вот смягчающее обстоятельство, которое Вы, надеюсь, примете во внимание.

Преданный Вам Г. Плеханов.

30 октября 1894.
95, St Stephens Avenue, 95
Shepherd's Bush, W.

VII.

Женева, 2 февраля 1885 (1895).

Неделю тому назад я послал Вам через Веру русскую книгу, по поводу которой мне было бы очень любопытно знать Ваше мнение. Но очень возможно, что Вы еще не получили книги, так как Вера, как видно, очень больна. Именно о ее болезни я и хочу с Вами поговорить.

Со времени ее пребывания в Швейцарии Вера так мало заботилась о себе, что только по нашим настояниям она соглашалась принимать некоторые лекарства. Теперь она далеко от нас, и я уверен, что она совершенно отказалась от лечения. Ее надо заставить лечиться. Доктор Фрейбергер окажет нам огромную услугу, если будет посещать Веру и выслушивать ее. Я не пишу ему непосредственно, так как предполагаю, что он может быть очень занят и что поэтому моя просьба будет ему неприятна. Если нет,—а Вы знаете это лучше кого бы то ни было,—поговорите с ним о Вере и попросите его написать мне пару слов о состоянии нашей упрямой больной. Кланяйтесь ему от меня, ему и madame Фрейбергер.

Вы вероятно читали в газетах, что Николай II заявил, что он пойдет по стопам своего „незабвенного" родителя. Это поддаст либерального духа нашему „обществу", которое в этом очень нуждается.

Мы, конечно, не будем на это жаловаться.

Я надеюсь, что Вы здоровы, несмотря на русские холода, которые стоят теперь в Лондоне.

Я, моя жена и Аксельрод, который теперь в Женеве, мы всё шлем Вам сердечный привет.

Преданный Вам **Г. Плеханов.**

VIII.

Женева, 20 февраля 1895 г.

Генерал,

Я не ответил Вам немедленно, потому что понимал, как трудно устроить это дело. Очевидно, что Фрейбергеру неудобно явиться в качестве врача без приглашения Веры. С другой стороны, если бы Вера решилась говорить о своей болезни Бернштейну или Элеоноре Маркс-Эвелинг, это было бы уже началом благоразумия, что при ее характере кажется мне совершенно невозможным. Из этого положения есть только один выход: это напасть на Веру, когда она придет к Вам. Видя, что Вы на моей стороне, она сдастся без боя.

Я послал Вере январский № „Русского Богатства“. В этом № есть критика Вашей книги „Происхождение семьи, собственности и т. д.“ некоего Зака. Это господин, совершенно неизвестный в нашей литературе, и, если судить по началу, он ничего хорошего не обещает. Критика эта нелепа, как и все нападки этого журнала, направленные против Вас и против Маркса. Что меня удивляет, это что г-н Даниельсон продолжает сотрудничать в журнале, характер которого теперь уже вполне определился. Впрочем, сам Даниельсон в статье, направленной против П. Струве, говорит о правительстве Николая II, как о правительстве, которое может взять на себя дело „организации производства“ в нашей стране. Уже по одному этому он является реакционером и утопистом в одно и то же время. Меня совершенно не удивляет подобный вздор со стороны Михайловского. Уже во времена Лорис-Меликова он ясно изложил свою „программу“, в которой царское правительство фигурирует в роли мироторца и организатора. Но переводчик „Капитала“ должен был обладать большим политическим тактом. Даниельсон причинит много зла нашему революционному движению. Может быть, Вы могли бы высказаться по поводу этого вопроса, напр., в „Neue Zeit“. Это такой важный вопрос, что ему стоит посвятить несколько страниц. И Ваш голос быстро положил бы конец всяким „превратным толкованиям“ этого господина.

Если наши „wahre Sozialisten“ („истинные социалисты“) порядочно реакционны, за то наши земства зашевелились. Вы, без сомнения, знаете о петиции Тверского земства? Петиция Черниговского земства еще более определенна. Молодой идиот Зимнего дворца своей речью оказал огромную услугу революционной партии. Прошу Вас передать мой привет Фрейбергерам и Эвелингам.

Преданный Вам **Г. Плеханов.**

P. S. Читали ли Вы лекцию Жореса об идеализме и материализме? Странный „философ“ этот господин Жорес!

Мой теперешний адрес: 6, Rue de Candolle, Génève.

IX.

3 марта 1895 г.

Генерал,

Прежде всего о Вере. Благодарю Вас за Ваше великодушное предложение, которое я рассматриваю, как трогательное доказательство Вашей дружбы к нам, но даю Вам честное слово, что Вера не нуждается в деньгах. Я надеюсь, что она еще долго не будет в них нуждаться. К сожалению, по отношению к ней дело не в посылке денег, но в том, чтобы заставить ее тратить их. У нее есть свои принципы, она не позволяет себе „роскоши“, а она называет роскошью то, что другие называют необходимым. В этом она неисправима. Когда мы вместе жили в Морне, я заставлял ее иметь здоровую и разнообразную пищу, заказывая ее хозяйке для нее обеды каждый день. В Лондоне, будучи одна, она пользуется своей свободой совершенно не обедать. Кусок жареного мяса, иногда две чашки чая или кофе с несколькими хлебцами—вот ее обыкновенная пища. Я браню ее за это во всех моих письмах, но она не обращает на это внимания. Что могу я сделать при этих условиях. Это поистине непростительная растрата сил, драгоценных для нашего движения. Побраните ее с своей стороны,—Вы нам окажете услугу.

Я прекрасно понимаю, что чтение „Русского Богатства“ не привлекательное дело для Вас. Но мы принуждены это делать во всяком случае. Мне кажется, что Вы не имеете точного представления о политическом кретинизме этих господ. Приведу пример. В конце царствования Александра II, во время диктатуры Лорис-Меликова, когда существовала некоторая свобода печати, тот же самый г. Михайловский, с которым мы теперь полемизируем, писал в одной из своих статей, что в России миссия решения социального вопроса принадлежит правительству. На Западе дело обстоит не так, говорил он, но мы вовсе не западники. Это было на

писано тогда, когда революционеры вели с русским правительством борьбу на жизнь и смерть и когда это правительство ставило себе вопрос, не уступить ли. Вы видите отсюда, как этот вид утопического социализма, поборником которого является Михайловский, реакционен и вреден у нас. В данный момент, когда так называемое общество будирует против Николая II, Даниельсон, „друг Маркса", переводчик „Капитала" (между прочим, переводчик, принадлежащий к категории traditori [1]), „истинный марксист" и т. д., и т. д., и т. д., опять удивительно кстати начинает разводить ту же самую чепуху. Будь я на месте Николая, я наградил бы орденом г-на Даниельсона!

Положение у нас так ясно, что не надо долго его изучать, чтобы осудить Staats-Sozialismus (государственный социализм) Даниельсона. Несколько слов осуждения с Вашей стороны имели бы большое значение, и именно об этой поддержке русской революции говорил я в своем предыдущем письме. Так как Вы очень заняты, то я больше не говорю об этом. Но если речь идет о выборе между Даниельсоном и Лориа, то я скажу Вам: генерал, выбирайте Даниельсона: это важнее.

При этом я прилагаю ответ русских либералов на знаменитую речь Николая. Письмо было перепечатано в Лондоне, но оно подлинное. Оно обошло всю Россию прежде, чем попало в Лондон. Из письма Вы увидите, что мы можем надеяться на лучшие времена.

Что касается меня, то я думаю, что через 4—5 лет в России возродится терроризм. Желательно это, или нет, но это неизбежно.

Прошу Вас передать от меня привет и благодарность Фрейбергеру.

Преданный Вам **Г. Плеханов.**

6, Rue de Candolle.

X.

6, Rue de Candolle.

Мой дорогой генерал,

Прошла уже целая вечность с тех пор, как я не писал Вам. Этому мешала работа, усталость и постоянное недомогание, следствие усталости и сидячей жизни, которую я веду. Но мне многое нужно Вам сказать.

Вы уже знаете, что Николай младший оказался отъявленным реакционером. После нескольких незначительных попыток либерализма он решил придерживаться того же направления, которого держался его дорогой родитель. Дурново и другие действующие лица предшествовавшего царствования могут только радоваться. Проявляются большие строгости по отношению к печати, аресты не прекращаются.

[1]) traditore по-итальянски значит предатель. (Прим. перев.).

В начале мая (старого стиля) в Москве был сделан набег и было арестовано около 80 человек обоего пола. Этот удар постиг либералов и социал-демократов. Среди арестованных много рабочих. Аресты среди рабочего класса явились результатом первого мая, которое праздновалось в Москве на собрании, в котором участвовало *126* делегатов рабочих групп. Это празднование было в то же самое время чем-то вроде местного съезда Москвы и ее окрестностей. Полиция пронюхала о том, что произошло, и наносила свои удары наудачу, так как она ничего определенного не знала. Однако она захватила несколько человек действительно „виновных" с ее точки зрения. Особенное усердие полицейских вызывала Ярославская стачка, о которой Вы, без сомнения, слышали. В самом начале мая (старого стиля) забастовало *8.000* рабочих. Были вызваны солдаты. Между войсками и стачечниками произошло настоящее сражение. Восемь рабочих было убито, *16* ранено. Последние известия, которые я имел об этом деле, были от 8 мая, т.-е. 20 мая нового стиля; стачка еще продолжалась. Я еще не знаю, в каком положении дело теперь.

Известия из Петербурга также не блестящи. Вернее сказать, они хороши, поскольку речь идет о всеобщем недовольстве; революционное движение теперь сильнее, чем было за последние десять лет, но правительство заняло оборонительную позицию. В России начинается горячее время. Co to będzie, co to będzie! (Что же будет, что же будет!).

Спасибо за „Klassenkampf". Кстати. Разрешите ли Вы нам перевести Вашу книгу о „Положении рабочего класса в Англии" и Вашего „Dühring's Umwälzung"? Это для издания в России. Но... там есть цензура, и в данный момент она не особенно любезна. Наоборот.

Посылаю Вам русскую брошюру. Прочтите конец этой брошюры, и Вы увидите, что борьба наших народников „против капитализма" все более и более вырождается в союз с царизмом. Самая лучшая критика этой великолепной „программы" содержится в Коммунистическом манифесте („истинный немецкий социализм"). Sic transit gloria народников! И Даниельсон в этой компании! Как Вы поживаете, дорогой генерал? Часто ли Вы видите Веру? Привет Бернштейнам, Эвелингам, Фрейбергерам, Мендельсону и всем Вашим лондонским друзьям. Сердечно преданный Вам

Г. Плеханов.

P. S. Вы очень обяжете меня, если пришлете новую книгу Лориа.

Письма Г. Плеханова к Р. Фишеру [1]).

I.

Господину Р. Фишеру, Берлин.

Дорогой товарищ!

Извините, что не ответил Вам раньше. Ваше письмо было адресовано в Морнэ, между тем, я нахожусь в настоящее время в Женеве (я получил разрешение). Я очень польщен предложением, которое Вы делаете мне, написать брошюру против анархистов, тем более, что в настоящее время они причиняют слишком много вреда международной рабочей партии. Я согласен с предлагаемым Вами планом. К сожалению, я не могу точно указать Вам, сколько мне понадобится времени, чтобы написать эту брошюру. У меня случилось несчастие, у меня более двух недель тому назад умерла дочь, и я нравственно разбит и не в состоянии работать. Я понимаю, что для нас, пролетариев, нравственные страдания являются роскошью,— роскошью, на которую мы не имеем никакого права, — но я болен и не могу wegraisonniren (победить ее рассудком) болезни, как говорите вы, немцы. Я надеюсь, однако, что через несколько дней победит моя воля, и я опять стану работоспособным. Когда я закончу те несколько статей, которые я должен послать Каутскому, я примусь за упомянутую брошюру. Я работаю довольно быстро, вопрос не является для меня новым, и я думаю, что работа скоро будет закончена. Но тем не менее я не могу сказать ничего более точного. Напишите мне, какой Вы можете назначить крайний срок, и тогда мы увидим.

Повторяю, мне бы очень хотелось исполнить эту работу, но я не хотел бы давать Вам обещания, исполнению которого может помешать состояние моего здоровья. Скажите мне, удовлетворит ли Вас обещание сделать это возможно скорее?

Что касается гонорара, то я ничего не могу сказать. Вы заплатите мне столько, сколько партия найдет нужным заплатить.

Передайте поклон Либкнехту, если Вы его увидите?

Примите, дорогой товарищ, уверение в совершеннейшем моем почтении. Пишите мне по адресу моей жены: Madame Bograde-Plékhanoff, 5, Rue des Allemands, Génève.

Преданный Вам **Г. Плеханов.**

С нетерпением жду Вашего ответа.

---

[1]) Перевод А. Е. Гурвич.

II.

Дорогой товарищ! Женева, 1 февраля 1894.

Благодарю Вас за выражение сочувствия по поводу постигшего меня несчастья. Мне уже лучше в настоящее время. Я работаю уже, и это имеет большое значение; труд быстро излечит меня. Итак, я принимаю Ваше предложение: 1-го марта статья об анархистах будет готова и послана Вам. Прошу Вас известить меня открытым письмом о получении этого письма, чтобы я был уверен, что оно не затерялось. Прошу Вас также передать поклон Либкнехту. Примите, дорогой товарищ, уверение в моей преданности. Жду Вашего ответа.

Г. Плеханов.

III.

Génève, 5, Rue des Allemands.
16 марта 1894.

Дорогой гражданин!

Я не могу прислать рукопись скорее, чем через десять дней. Мне пришлось больше поработать над этой статьей, чем я рассчитывал. А я не хотел торопиться со статьей, разбирающей такой важный вопрос. Несмотря на все мои старания, мне не удалось получить всю литературу немецких независимых. Прошу Вас, выпишите мне возможно скорее те их произведения, которые Вы считаете самыми значительными и самыми характерными для их тенденций. Прошу извинить мое опоздание, но оправданием мне служит желание хорошо выполнить труд, за который я взялся.

Тысяча рукопожатий.

Преданный Вам **Г. Плеханов.**

P. S. Прошу Вас ответить мне открытым письмом о получении моего письма. **Г. П.**

IV.

Дорогой гражданин!

Посылаю Вам свою рукопись: Анархизм и социализм. Вы можете сделать с ней, что Вам будет угодно. Вы сами увидите, что я не мог сделать эту работу скорее. Я надеюсь, что вопрос об анархизме исчерпан, я не представляю себе, с какой еще стороны можно рассматривать анархизм. Жду Вашего ответа и льщу себя надеждою, что Вы будете довольны моей работой. Очень прошу Вас сохранить французский оригинал. Привет Вам и Либкнехту.

Преданный Вам **Г. Плеханов.**

Génève, 5, Rue des Allemands.
5 апреля 1894.

P. S. Само собою разумеется, что я считаю нужным читать корректуры ,чтобы убедиться, что перевод был хорошо сделан. **Г. П.**

V.

Дорогой гражданин!

Вы пишете мне, что рукопись немного слишком длинна. Но Вы согласитесь, что, раз вопрос об анархизме был затронут, его следовало основательно разобрать, и в таком случае несколько лишних страниц не играют роли. Я счастлив, что перевод будет сделан Бернштейном, потому что перевод будет прекрасно сделан.

Вы делаете мне любезное предложение прислать мне часть гонорара раньше напечатания статьи; я Вам очень благодарен и сознаюсь, что Вы очень меня обяжете этим авансом. Адрес для посылки денег тот же, что и для простой корреспонденции: 5, Rue des Allemands, Madame Боград-Плеханов (или просто Боград), доктору медицины, Женева.

Привет Вам и Либкнехту.

Преданный Вам Г. Плеханов.

P.S. Моя фамилия лучше передается латинскими буквами, как я написал. Я подписываюсь Plekhanoff, когда имею дело с французами, потому что французы произносят Plechanoff как Pleschanoff. Вот почему я хотел бы, чтобы на брошюре было написано Plekhanoff.

Женева, 9 апреля 1894.

VI.

Женева, 17 апреля 1894.

Дорогой гражданин!

Извините, что я не тотчас же ответил Вам: я был болен.

Благодарю Вас за присылку денег. Что же касается размера гонорара, то я могу лишь повторить то, что я уже писал Вам в одном из моих писем. Вы заплатите мне столько, сколько Вы платите другим. Итак, вопрос исчерпан.

Я ужасно счастлив узнать, что Вы довольны моей работой. Если я в состоянии буду своим пером быть полезным германской партии, авангарду социалистического пролетариата, мне гораздо легче будет переносить изгнание, чем в настоящее время.

Сердечный привет Вам и Либкнехту.

Преданный Вам Г. Плеханов.

Г. В. Плеханов.

III. Социализм и политическая борьба.

Статья 6. Гегемония пролетариата в буржуазной революции.

1.

Я уже говорил, что в решении вопроса об отношении социализма к политической борьбе заслуга Плеханова далеко не ограничивается тем, что он перенес на русскую почву опыт западно-европейского рабочего движения.

Его решение этого сложного вопроса имеет очень много своеобразного, обусловленного особенностями развития России.

В чем эти особенности?

В том чрезвычайно важном обстоятельстве, что „социалистическое движение началось у нас уже в то время, когда капитализм был еще в зародыше. Эта особенность русского исторического развития не придумана славянофилами и славянофильствующими революционерами. Она составляет бесспорный, всем известный факт, который принесет огромную пользу делу нашего рабочего класса, если только русские социалисты не растратят своей умственной и нравственной энергии на постройку воздушных замков в стиле удельно-вечевой эпохи“ [1]). Вся мудрость революционной тактики заключалась в том, чтобы учесть это безусловно важное обстоятельство и максимально использовать его для целей социализма. Но еще более важна была задача определить, как это своеобразие русской истории должно было влиять на видоизменение событий ближайшего будущего, как оно должно было влиять на отношения классовых сил в этих событиях.

Самый заманчивый метод—перенесение на русскую почву шаблона западных народов. На самом деле, все крупные западные народы пережили свои буржуазные революции, при чем не одну, а по нескольку, и неизменно каждый раз взаимоотношения классов в этих революциях складывалось таким образом, что третье сословие руками народа вытаскивало себе каштаны из огня, народ делал революцию под руководством мелко-буржуазной и буржуазной интеллигенции и непременно оказывался при этом в проигрыше. Если приложить этот шаблон к России, то события должны были бы развернуться таким образом, что рабочий класс вступил бы в революцию под руководством буржуазии и мелко-буржуазной интеллигенции.

Что России придется пережить буржуазную революцию—в этом сомневаться было невозможно после того, как вопрос о судьбах капи-

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 271.

тализма был разрешен в смысле грядущего в самом недалеком будущем торжества его. Более того—было уже совершенно несомненно, что вся надежда народников и народовольцев на то, будто момент политической революции будет одновременно и началом социалистического переустройства, — была фантастичной, ни на чем не основанной надеждой.

„Связывать в одно два таких существенно-различных дела, как низвержение абсолютизма и социалистическая революция, вести революционную борьбу с расчетом на то, что эти моменты общественного развития совпадут в истории нашего отечества—*значит отдалять наступление и того и другого*“ [1]).

Это ни в коей мере не означает, что моменты эти друг от друга отдалены столь на много, что ни думать, ни заботиться о конечной цели—о социальной эмансипации рабочего класса—не следует,—наоборот, от революционеров зависит очень многое в деле сближения этих двух моментов.

„Современное положение буржуазных обществ и влияние международных отношений на социальное развитие каждой цивилизованной страны дают право надеяться, что социальное освобождение русского рабочего класса последует очень скоро за падением абсолютизма. Если немецкая буржуазия „*пришла слишком поздно*“, то русская запоздала еще более, и господство ее не может быть продолжительным. Нужно только, чтобы русские революционеры, в свою очередь, не „слишком поздно“ начали дело подготовки рабочего класса, дело, теперь уже ставшее вполне современным и насущным“ [1]).

Буржуазная революция в России неизбежна, и она не может протекать по западному шаблону, во-первых, вследствие вышеизложенного своеобразия русской истории, а во-вторых, потому, что опыт Запада многому научил и еще научит русский рабочий класс, так рано оформившийся в класс для себя.

Таково то своеобразное положение, которое делает также чрезвычайно своеобразными задачи социализма в России. Определить эти своеобразные задачи было тем важней, что их выдвинуло само рабочее движение.

Прежде всего и естественно возникает вопрос о характере грядущей революции и участии в ней рабочего класса. Какую роль отводит рабочему классу такая оригинальная ситуация?

Роль революционного авангарда, прежде всего. Говоря о задачах рабочей социалистической партии, Плеханов пишет в „Социализме и политической борьбе“, что она должна „выставить требование демократической конституции, которая, вместе с „правами человека“, обеспечила бы рабочим „права гражданина“ и дала бы им, путем всеобщего избирательного права, возможность активного участия в политической жизни страны“ [2]). Такая политическая программа вызовет сочувствие всех непротивников демократии, все русское общество взялось бы агитировать за такую программу, оно перестало бы смотреть на революционеров, как на людей с незрелой мыслью. „Этот невыгодный для революционеров взгляд уступил бы место уважению общества не только к их героизму, но и к их политической зрелости. Постепенно это сочувствие перешло бы в активную поддержку или, что вероятнее, в самостоятельное общественное движение, и тогда пробил бы, наконец, час падения абсолютизма. Социалистическая партия играла бы в этом

[1]) Г. В. Плеханов, Соч., т. II., стр. 86.
[2]) Там же, стр. 83.

освободительном движении весьма почетную и выгодную роль. Ее славное прошлое, ее самоотвержение и энергия придали бы вес ее требованиям, и она имела бы, по крайней мере, шансы завоевать таким образом *народу* возможность политического развития и воспитания, а *себе*—право открытого обращения к нему со своей проповедью и открытой организации в особую партию“ [1]).

Концепция получается совершенно ясная: социалистическая рабочая организация, это—тот авангард, на котором лежит тяжелая, но почетная обязанность организации общества, инициативы в борьбе и при умелом и тактическом ведении дела также и руководство им. Но никто не может гарантировать рабочему классу, что он, беря на себя инициативу борьбы, руководя ею, не окажется в подсчете с одними потерями без прав и без завоеваний. „Без силы нет и права. Всякая конституция—по прекрасному выражению Лассаля — соответствует или стремится притти в соответствие с „*реальными, фактическими отношениями сил, существующими в стране*“. Поэтому наша социалистическая интеллигенция должна позаботиться о том, чтобы еще и в доконституционный период изменить эти фактические отношения русских общественных сил в пользу рабочего класса. В противном случае, падение абсолютизма далеко не оправдает надежд, возлагаемых на него русскими социалистами или даже демократами. Требования народа и в конституционной России могут быть оставлены совсем без внимания или удовлетворены лишь настолько, насколько это необходимо для усиления его податной способности, ныне почти совершенно истощенной хищническим характером государственного хозяйства. Сама социалистическая партия, завоевавши у либеральной буржуазии свободу слова и действия, может очутиться в „исключительном“ положении, подобно положению современной немецкой социал-демократии. В политике на благодарность вчерашних союзников и нынешних врагов может рассчитывать лишь тот, кому невозможно рассчитывать на что-либо более серьезное“ [2]). Это говорит опыт западных революций. Из практики рабочего движения западных народов можно привести не мало примеров подобного трагического финала. Участие в борьбе еще плохая гарантия; нужно добиться такого положения, при котором рабочий класс не только был бы простым участником революционной борьбы третьего сословия, одной из его составных частей, но чтобы сама борьба протекала под фактическим руководством пролетариата. Это и будет лучшей гарантией того, что ни общество не будет обмануто в своих ожиданиях, ни рабочий класс в осуществлении своих задач, т.-е. создание таких условий, которые благоприятствовали бы его борьбе за окончательную экономическую эмансипацию.

Но как это сделать? Какими средствами рабочий класс сумеет еще до конституционного периода изменить фактические отношения общественных сил в свою пользу? Т.-е., говоря проще, как рабочий класс может в доконституционную эпоху готовиться стать руководителем революции.

Средствами, верность которых уже достаточно была испытана в Западной Европе рабочим классом: организацией в самостоятельную политическую партию, сплоченностью и ясностью своего политического сознания. Я сказал: средства эти испытаны в Западной Европе. Но есть существеннейшее различие: Западно-европейский пролетариат стал прибегать к этим средствам лишь после *своих* буржуазных ре-

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 83—84.
[2]) Там же, стр. 84.

волюций и верность этих средств он испытал не в революции, а в повседневной борьбе и в подготовке рабочего класса к грядущим революциям, в то время как в России пролетариат имеет полную реальную возможность все эти средства употреблять на дело подготовки рабочего класса уже к своей буржуазной революции. Впрочем, и это различие обусловлено тем своеобразием экономики и классовых отношений России, о котором я говорил уже выше.

Спора быть не может, все приведенное нами трактует вопрос чрезвычайно обще и глубоко теоретически. В „Социализме и политической борьбе" еще не все (далеко не все!) ясно автору, однако не видеть, что сам вопрос перед Плехановым встал уже в 1883 году и что он пытается не случайно, а логически совершенно последовательно и связанно с общим ходом мысли, дать на него ответ,—не заметить этого можно лишь при явном нежелании видеть факты.

И когда Лавров, возражая Плеханову, говорит о сомнительном будущем группы „Осв. Труда", Плеханов совершенно резонно указывает ему, что народовольческая программа стала тормозом революционному развитию и что альтернатива, которая стоит перед революцией в России, выражается в суровой и неумолимой формуле: либо она поставит свое дело на карту заговора, либо выдвинет новую силу, которая возьмет в свои руки дело организации и руководства революционным движением.

Такой новой силой должно быть рабочее движение: „Для социалистов было бы очень невыгодно, если бы руководство борьбой перешло в руки наших либералов. Это сразу лишило бы их всего прежнего влияния и на долгие годы отсрочило бы создание социалистической партии в передовых слоях народа. Вот почему мы и указываем нашей социалистической молодежи на марксизм, эту алгебру революции, как я назвал его в своей брошюре, эту „программу", научающую своих приверженцев пользоваться каждым шагом общественного развития в интересах революционного воспитания рабочего класса. И я уверен, что рано или поздно наша молодежь и наши рабочие кружки усвоят эту единственно революционную программу" [1]), усвоят для того, чтобы руководство революционной борьбой не передать либералам.

Проблема так именно и стояла: кому будет принадлежать руководство борьбой и грядущей революцией? Из предыдущего очерка мы узнали, как следует организовывать и сплачивать силы рабочего класса и тем изменить в свою пользу фактическое соотношение сил в русском обществе. Мы ниже увидим, как себе представлял Плеханов руководство революционной борьбой. Его основной элемент оставался—все та же забота о работе над политическим сознанием рабочего класса. Народовольцы думали, что рабочие важны для революции, но они были очень далеки от того, чтобы смотреть на них, как на исключительных представителей революции. „Не так будет рассуждать социал-демократ, убежденный в том, что не рабочие нужны для *революции* а революция нужна *для рабочих* (разрядка моя. *В. В.*). Для него пропаганда в рабочей среде будет главной целью его усилий, и он не откажется от нее, не испытавши всех средств, которые находятся в его распоряжении, не сделавши всех усилий, на которые он способен. И чем более будет проникаться истинно-социалистическими взглядами наша революционная интеллигенция, тем возможнее и легче будет казаться ей деятельность между

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., т. II, стр. 104.

рабочими по той простой причине, что тем сильнее будет стремиться она к такого рода деятельности" [1]).

Само собой разумеется, работа в рабочей среде трудная, но далеко не безнадежная: опыт „Сев.-Рус. Раб. Союза" и „Земли и Воли"—блестящие тому доказательства. Работа эта медленная, но без нее не сделать ни шагу к свободе, ибо совершенно бесспорно, что „всякий, желающий поскорее добиться свободы, должен стараться заинтересовать рабочий класс в борьбе с абсолютизмом" [2])... Только посредством этого мы можем избавиться от невыносимого ига абсолютизма. Но западно-европейская история дает не мало примеров того, как рабочий класс „очень часто боролся против абсолютизма под знаменем и под верховным руководством буржуазии. Отсюда явилась умственная и нравственная зависимость его от вожаков либерализма, вера в исключительную святость либеральных девизов, убеждение в неприкосновенности буржуазного порядка. В Германии понадобилась вся энергия и все красноречие Лассаля, чтобы только подорвать духовную связь рабочих с прогрессистами. Наше „общество" лишено такого влияния на рабочий класс, и социалистам нет ни нужды, ни выгоды создавать его заново. Они должны указать рабочим их собственное, рабочее знамя, дать им вожаков из их собственной, рабочей среды, короче, должны позаботиться о том, чтобы не буржуазное „общество", а тайные рабочие организации приобрели господствующее влияние на умы рабочих. Этим в значительной степени ускорится образование и рост русской рабочей социалистической партии, которая сумеет завоевать себе почетное место среди других партий, после того, как она еще в пеленках способствовала падению абсолютизма и торжеству политической свободы" [3]).

Так, рабочие, проникнув идеей и принципами современного социализма, сами уже „сумеют пройти между Сциллой и Харибдой, между политической реакцией государственного социализма и экономическим шарлатанством либеральной буржуазии" [4]).

По самой природе обсуждаемых вопросов „Наши разногласия" не могли долго заниматься вопросом, нас интересующим, и, как убедится читатель, позиция, занятая им в „Н. Р", значительно менее отчетлива, чем то было в „Социализме и политической борьбе".

О том, что самый характер и предмет книги не давали ему возможности заняться этим вопросом, свидетельствует и то, что в программе 1884 г., т.-е. того же года, что и „Н. Р.", по этому вопросу Плеханов пишет значительно более отчетливо и ясно: „Одним из важнейших следствий этого отсталого состояния производства было и есть до сих пор неразвитое состояние среднего класса, который неспособен у нас взять на себя инициативу борьбы с абсолютизмом. Социалистической интеллигенции пришлось, поэтому, стать во главе современного освободительного движения, прямой задачей которого должно быть создание свободных политических учреждений в нашем отечестве, при чем социалисты, с своей стороны, должны стараться доставить рабочему классу возможность активного и плодотворного участия в будущей политической жизни России" [1]).

Но самым интересным в этом отношении являются его „Современные задачи русских рабочих", где он делает сразу огромный шаг вперед в этом вопросе и пишет, объясняя, почему он обращается

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 342.
[2]) Там же, стр. 344.
[3]) Там же, стр. 346.
[4]) Там же, стр. 356.

именно к рабочим: называя социал-демократию „партией рабочей по преимуществу, я хочу только сказать, что наша революционная интеллигенция должна итти с рабочими, а наше крестьянство должно итти за ними. При такой постановке вопроса, наша социал-демократическая партия может сохранить свой рабочий характер, вовсе не впадая во вредную исключительность" [1]). Повторяю, это чрезвычайно знаменательно именно потому, что здесь сделана попытка дать в краткой и ясной формуле отношение между рабочим авангардом и руководителем и руководимыми классами и группами. Плеханов предупреждает рабочих, что придет время, когда сами „высшие классы будут просить вашей помощи в борьбе с царем, когда они сами будут толкать вас на борьбу за свободу. Но, пользуясь этим выгодным для вас обстоятельством, вы все-таки должны начать эту борьбу на свой собственный страх и для достижения своих собственных целей. Не забывайте, что в политике нет благодарности, и если вы не будете думать сами о себе, то другие будут думать о вас лишь до тех пор, пока им нужно будет пользоваться вашей силой. Но как только дело дойдет до выгод, принесенных борьбою, то высшие классы будут помнить только о себе, да разве еще о том, чтобы держать вас в узде и в повиновении. Но если вы будете сильны и сплочены, если вы сознательно пойдете к своей цели, то вы сумеете отстоять свои права и недаром затратите свои силы" [2]).

Особую классовую политику за особые классовые цели—вот что должен преследовать рабочий класс в будущей революции; несомненно, эти основные классовые интересы совпадут с интересами крестьянства, которое именно поэтому и пойдет за рабочим классом. Но руководство пролетариатом революционной борьбой в том именно и должно выражаться, что он ведет в революции ясную классовую линию, направляя события в направлении своих интересов.

От этих его заявлений до его речи на Парижском международном конгрессе, последовавшем через четыре года, был лишь один шаг.

2.

Но прежде всего два слова о программе 1888 г. В ней Плеханов делает значительный шаг вперед по сравнению с программой 1884 г.

Если в первом проекте еще видны очень заметные следы уступок народовольству и народническим предрассудкам, то во втором проекте уже нужды абсолютно никакой в этой уступке не было, хотя от такого изменения ситуации второй проект не избавился окончательно от ошибок: кое-какие ошибки сохранились, но не о них речь у нас—в проекте 1888 г. вопрос о роли рабочего класса в грядущей рабочей революции освещен значительно яснее, чем в первом проекте.

„Разложение общины создает у нас новый класс промышленного пролетариата. Более восприимчивый, подвижной и развитой, класс этот легче отзывается на призыв революционеров, чем отсталое земледельческое население. Между тем как идеал общинника лежит назади, в тех условиях патриархального хозяйства, необходимым политическим дополнением которых было царское самодержавие, участь промышленного рабочего может быть улучшена лишь благодаря развитию новейших, более свободных форм общежития. В лице этого класса народ наш впервые попадает в экономические условия, общие всем цивилизованным народам, а потому только через

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 363.
[2]) Там же, стр. 371.

посредство этого класса он может принять участие в передовых стремлениях цивилизованного человечества. На этом основании русские социал-демократы считают первой и главнейшей своей обязанностью образование революционной рабочей партии. Рост и развитие такой партии встретит, однако, в современном абсолютизме очень сильное препятствие" [1]).

Если сравнивать приведенный отрывок с тем, что он говорил в своей статье „Современные задачи русских рабочих", то мы вынуждены будем признать больше ясности в утверждениях 1885 года, однако не следует забывать, что программа, поневоле чрезмерно сжатая, и должна была быть в своих утверждениях более осторожной, чем статья. Точно так же, как в другой своей статье, относящейся к тому же году, что и второй проект программы, Плеханов лишь вскользь, хотя и настойчиво, говорит о гегемонии рабочего класса в ближайшей революции.

Ведя беседу с либералом о том, „как добиваться конституции", социалист (Плеханов) весь центр тяжести переносит на вопрос о том, как должны вести себя по отношению к движению рабочего класса либералы и что должны сделать они для приближения революции; говоря об этом, нельзя было не указать либералу, какова будет роль рабочего класса в этой революции: „вообразим себе, что петербургское „общество", проникшись революционным духом, строит баррикады, между тем как рабочий класс остается в стороне от этого движения. Одной полиции, одних дворников было бы достаточно для того, чтобы перевязать представителей „общества" и рассадить их по участкам. Отсюда неизбежно следует такой вывод: для того, чтобы добиться конституции, мы должны вовлечь рабочий класс в борьбу против абсолютизма, возбудить в нем симпатии к свободным политическим учреждениям. Другого пути у нас нет и быть не может" [2]). Без рабочего класса и разговор о конституции приобретает комический характер, ибо не будет силы, которая сумеет защитить Земский Собор, скажем, от расправы будочника Мымрецова. Такой силой, единственно реальной силой является рабочий класс. „Политическая свобода будет завоевана рабочим классом, или ее вовсе не будет" [3]).

Через год после этого „разговора" в Париже собрался первый Международный конгресс социалистов.

Вот как формулировал перед представителями международного пролетариата Плеханов перспективы революционного движения в России: „Пролетариат, образующийся вследствие разложения сельской общины, нанесет смертельный удар самодержавию. Если оно, несмотря на героические усилия русских революционеров, до сих пор не побеждено в России, то это объясняется изолированностью революционеров от народной массы. Силы и самоотвержение наших революционных идеологов могут быть достаточны для борьбы против царей, как личностей, но их слишком мало для победы над царизмом, как политической системой. Задача нашей революционной интеллигенции сводится, поэтому, по мнению русских социал-демократов, к следующему: она должна усвоить взгляды современного научного социализма, распространить их в рабочей среде и с помощью рабочих приступом взять твердыню самодержавия. Революционное

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 402.
[2]) Там же, т. III, стр. 16.
[3]) Там же.

движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может" [1]).

Это было смело, но читатель видит, что только западно-европейским товарищам могло показаться все это новинкой, для русских же, которые вели к тому времени яростные дискуссии по этим вопросам, у которых уже совершенно ясно наметился взгляд, высказанный так ярко и удачно Плехановым на конгрессе, все это было совершенно привычной мыслью. Русские революционеры имели до того не одну возможность по трудам того же Плеханова притти к этому выводу.

Революция восторжествует в России как рабочая революция, но что она даст принципиально нового, что вносит появление рабочего класса на сцене нового в русскую историю? Многое, и прежде всего то, что с его появлением всякие разговоры о, якобы, самобытных путях должны быть совершенно отброшены: „В нашем отечестве образование этого класса имеет еще большее значение. С его появлением изменяется самый характер русской культуры, исчезает наш старый, азиатский экономический быт, уступая место иному, европейскому. Рабочему классу суждено завершить у нас великое дело Петра: довести до конца процесс европеизации России. Но рабочий класс придаст совершенно новый характер этому делу, от которого зависит самое существование России, как цивилизованной страны. Начатое когда-то сверху, железной волей самого деспотичного из русских деспотов, оно будет закончено снизу, путем освободительного движения самого революционного изо всех классов, какие только знала история. Герцен замечает в своем „Дневнике", что в России, собственно говоря, нет народа, а есть только коленопреклоненная толпа и палач. В лице рабочего класса в России создается теперь народ в европейском смысле этого слова. В его лице трудящееся население нашего отечества впервые встанет во весь рост и позовет к ответу своих палачей. Тогда пробьет час русского самодержавия" [2]).

Задача тем более трудная, что рабочий класс, выбиваясь снизу собственными силами, должен был преодолеть не только сопротивление всех вековых общественных самобытных устоев, но и косность интеллигенции. Интеллигенция должна была понять, что именно „сила рабочего класса" и есть та сила, которая призвана спасти революцию от бессилия. „Поймет или нет, но события ждать ее не станут. Отсутствие союзников из „интеллигенции" не помешает нашему рабочему классу сознать свои интересы, понять свои задачи, выдвинуть вожаков из своей собственной среды, создать свою собственную, рабочую интеллигенцию.

Такая интеллигенция не изменит его делу, не оставит его на произвол судьбы. Нужно, однако, еще раз заметить, что в своей борьбе с самодержавием рабочий класс будет, по всей вероятности, не один, хотя, разумеется, только он один способен придать ей решительный оборот" [3]). За рабочим классом пойдут и буржуазия, и „общество", и торгово промышленный мир, но силу руководящую и последовательную составит рабочий класс, только он способен доводить демократизацию страны до конца, завоевать политические права и свободы навсегда.

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том IV, стр. 54.
[2]) Там же, том III, стр. 78.
[3]) Там же, стр. 79.

Очень скоро это теоретическое положение получило подтверждение на практике. Празднование в России 1 мая в самый глухой 1891 год и речи четырех рабочих особенно ярко иллюстрировали правильность того положения, что ранее чем в России какой-либо класс пришел в сознание—рабочий класс организовался и выступил на политическую авансцену со своей собственной классовой точкой зрения.

В предисловии к этим четырем речам Плеханов пишет: „У нас привыкли толковать о русской самобытности, распространяться на ту тему, что Россия не Запад. Привычка эта вкоренилась так сильно, что даже мы, западники до конца ногтей, поклонники всего человеческого и ненавистники всего „самобытного", не можем не заплатить ей дань. Да, Россия не Запад. Да, русская жизнь имеет свои неоспоримые особенности. Но в чем заключаются они, эти особенности? Не удаляясь в глубь времен, мы можем сказать, что теперь они сводятся к следующему. Политическое сознание в русском рабочем классе пробудилось раньше, чем в русской буржуазии. Наша буржуазия требует пока только субсидий, гарантий, покровительственного тарифа и вывозных пошлин: русские рабочие требуют политических прав. Это значит, что рабочие опередили буржуазию, и что все действительно передовые люди должны стать под знамя рабочих" [1]).

Это неоспоримый факт. Действительно все передовое, что не хочет коснеть в болоте самобытности, неминуемо должно было стать под знамя пролетариата, поскольку рабочий класс носитель самых передовых тенденций, а его партия не могла не быть самой западнической из всех до нее существовавших, как Плеханов говорит во „Внутренем обозрении": „Рабочий класс прямо не в состоянии будет найти иной роли, чем та, которую этот класс имел на Западе, совершенно так же, как не могли бы наши современные художники не быть реалистами, если бы даже и захотели этого. Русский рабочий класс, это—тот класс, которому суждена наиболее европейская роль в русской политической жизни, поэтому и партия, представляющая его интересы, необходимо будет более западническою изо всех русских партий" [2]).

Под руководством своей западнической партии, методами западного политического движения, т.-е. классовой борьбой, пролетариату России удастся осуществить свою задачу—завоевание политических свобод и политических прав, низвержение самодержавия. Именно подмеченное западническое существо пролетариата и его движения и делает его гегемоном грядущей революции. На самом деле, Россия совершенно несомненно стала на путь экономического развития Запада, вся жизнь, весь хозяйственный уклад в своем развитии следовал по пути Запада, а интеллигенция, либеральная буржуазия и мелкая буржуазия продолжала старую болтовню о самобытных путях развития: один только рабочий класс силою вещей, самим своим положением, в начале стихийно, а затем и организованно и сознательно, выдвигал и отражал, понимал совершенно отчетливо потребность и требования развивающегося вперед к крупной промышленности нового хозяйственного уклада.

Все своеобразие проистекало не от своеобразия хозяйственных форм, не от своеобразия „путей России", а от того чрезвычайно интересного обстоятельства, что задачу, которую по самому существу

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 208.
[2]) Там же, стр. 238.

своему должна была бы выдвинуть, поставить на очередь передовая буржуазия,—ставил и готовился разрешить рабочий класс.

По существу говоря, ни в одной революции буржуазия сама одна не в силе бывала разрешить основательно, последовательно и до конца задачи своей собственной революции. Всегда во всех до того совершавшихся революциях основной решающей с и л о й бывал народ, при чем чем ближе к концу XIX в., тем все более и более расплывчатый народ вытеснял собою рабочий класс.

Но в перспективе назревающей русской революции плюс к этой общей всем европейским революциям имелась еще и та особенность, что не только ее подготовка, не только ее основной силой, но и ее дирижером вынужденно должен был быть рабочий класс. Это нужно было рабочему классу России понять, это мог понять лишь политически сознательный рабочий класс.

Отсюда совершенно ясно, что вопрос о подготовке, практической организации сил, к грядущей революции сводился к вопросу о росте классового сознания пролетариата. Все, кто способствуют этому росту—тем самым работают на революцию, те, кто препятствуют ему своею деятельностью, являются злейшими врагами революции. Программа действий, которая своей ясностью не оставляет никаких сомнений. Но когда Плеханов развивал ее в своих двух брошюрах по поводу голода—„Всероссийское разорение" и „О задачах социалистов",—то не только в лагере врагов, но и в лагере единомышленников возникло много недоразумений и послышалось много возражений. Однако все возражения являлись результатом всего более непонимания основных задач момента, были продиктованы скорее неумением приложить революционную теорию к разрешению революционных задач, чем ошибками Плеханова.

На самом деле, основываясь на заключительных словах „Всероссийского разорения", некоторые соц.-демократы обвиняли Плеханова в том, будто он забывал за политическими задачами страны классовые задачи пролетариата. Это было, разумеется, ошибкой, и Плеханов в своей второй брошюре дал надлежащую отповедь обвинителям.

Не в том дело, на что особенно напирали противники: тот, кто выдвигает основной задачей социалистов непрестанную работу над ростом классового сознания пролетариата, тот тем самым ни минуты не упускает из виду великие цели пролетариата и его движения. „Мы знаем, товарищи, путь, ведущий социалистов к их великой цели. Он определяется немногими словами: с о д е й с т в и е р о с т у к л а с с о в о г о с о з н а н и я п р о л е т а р и а т а. Кто содействует росту этого сознания, тот социалист. Кто мешает ему, тот враг социализма. А кто занимается делом, не имеющим к нему непосредственного отношения, тот не имеет непосредственного отношения и к социализму. Помня это, мы без всякого труда решим наши снециально-русские задачи" [1]).

Дело политического воспитания рабочего класса не может быть оставлено на буржуазии: „Если в период борьбы с самодержавием буржуазия будет единственной политической воспитательницей пролетариата, то он не достигнет той степени сознательности и того революционного настроения, какие свойственны были ему в том случае, если бы за его политическое воспитание взялись социалисты. Другими словами: с о д е й с т в о в а т ь р о с т у к л а с с о в о г о с о з н а н и я п р о л е т а р и а т а—з н а ч и т к о в а т ь о р у ж и е, н а и б о л е е о п а с н о е для с у щ е с т в у ю щ е г о с т р о я. Очень плохой совет дают нам

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 400.

люди, убеждающие нас „на время оставить социализм". Не доктринерство, а самый зрелый расчет и самый верный революционный инстинкт заставляют нас твердо и неизменно держаться социализма" [1]).

Совершенно ясно таким образом, как жестоко ошибались те, кто обвиняли Плеханова в том, будто он за политическими задачами дня не видел великих целей пролетариата. „Рабочий класс, в среду которого проникла мысль о политической свободе, это уже сознательный рабочий класс. Но пока он говорит т о л ь к о о политической свободе, его политическое сознание находится еще в неразвитом состоянии, оно еще не стало к л а с с о в ы м е г о с о з н а н и е м. На эту высшую ступень политического развития рабочий класс поднимается только тогда, когда научается понимать свои особые классовые интересы, свое отношение к буржуазии, причины своего подчинения эксплоататорам. Тогда политическая свобода перестает играть в его глазах роль панацеи, способной излечить общественный организм от всех возможных болезней. Тогда он ставит перед собой задачу своего экономического освобождения, великую цель, „к о т о р о й в с я к о е п о л и т и ч е с к о е д в и ж е н и е д о л ж н о б ы т ь п о д ч и н е н о, к а к с р е д с т в о" [2]).

Он совершенно справедливо чувствует себя более чем оскорбленным упреками „некоторых молодых товарищей из России". „Когда в статье „Всероссийское разорение" я писал, что все честные русские люди, т.-е. все те, которые не продали царю своей совести и которые не хотят, по выражению поэта, в роковое время позорить гражданина сан, должны агитировать в пользу созвания земского собора, мысль об отказе от классовой борьбы была от меня дальше, чем когда бы то ни было. И если, как мне пишут из России, некоторые молодые товарищи с неприятным для них удивлением увидели в названной статье именно эту мысль, то мне остается только пожалеть, что предлагаемые письма не пришли раньше" [3]). Тот факт, что Плеханов—последовательный марксист, уже делает невозможным то обвинение, которое выдвигают „некоторые молодые". „Подобно немецким коммунистам сороковых годов, мы будем поддерживать всякое революционное движение, направленное против существующего порядка. Но ни одно из них, какие бы размеры оно ни приняло, не заставит нас спрятать свое собственное знамя. И лишь в той мере будем мы желательными и сильными союзниками других, более или менее революционных партий, в какой сумеем распространить среди русского пролетариата наши с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к и е идеи" [4]), и не только демократические элементы общества, но и „бедные крестьяне (а таких большинство) непременно пойдут за социал-демократами, если только те не пожелают оттолкнуть их, что, конечно, невозможно" [5]).

Социал-демократия, авангард рабочего класса во главе гигантской революции, объединяющая все демократические элементы и крестьянскую бедноту,—такова перспектива великих грядущих революционных событий.

Так постепенно кристаллизовалась в работах Плеханова идея гегемонии пролетариата в буржуазной революции, хотя самый этот, ставший впоследствии чрезвычайно ходким, термин еще не был в ходу, не был распространен в революционном обиходе.

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 403.
[2]) Там же, стр. 405.
[3]) Там же, стр. 409.
[4]) Там же, стр. 409.
[5]) Там же, стр. 410.

3.

Мы так долго останавливались на трудах Плеханова 80-х годов именно потому, что многие историки марксизма и социал-демократии в России,—преимущественно меньшевики,—склонны были, а тов. А. Мартынов даже написал целую большую статью в доказательство этого, доказывать, что идея гегемонии пролетариата возникла в социал-демократии России не ранее 90-х годов, автором этой мысли—утверждал тов. А. Мартынов—был не Плеханов, а П. Аксельрод.

Читатель, надеюсь, убедился в совершенной вздорности подобного утверждения: идея гегемонии пролетариата проходит красной нитью через всю литературу группы „Осв. Тр.“, начиная с первой ею изданной брошюры Г. В. Плеханова „Социализм и политическая борьба“.

Идея гегемонии пролетариата означала не что иное, как то утверждение, что пролетариат в России, силою объективного хода экономического развития, должен и выступит в качестве руководителя революционной борьбой против абсолютизма и что всякий, кто за общественный прогресс в России, не может не способствовать тому, чтобы рабочий класс подготовился к этой роли руководителя. Когда он станет готовым к этой роли? Когда он придет к ясному классовому сознанию. Следовательно, полезность деятельности лиц и групп с точки зрения общественного развития России измеряется тем, настолько их деятельность способствует развитию классового сознания пролетариата.

Только фракционная ослепленность меньшевистских историков не позволяла видеть, что все эти мысли неустанно повторялись Плехановым на всем протяжении 80-х годов.

Не Аксельрод, а именно Плеханов являлся творцом идеи гегемонии пролетариата,—идеи, которая вытекала с неизбежностью из приложения Марксова метода к решению российских задач, вытекала из оценки революционных перспектив в России.

Но если в 80-х и в начале 90-х годов проблема ставилась и разрешалась исключительно теоретически, то уже непосредственно после голода рабочее движение так усилилось и выросло, что к концу 90-х годов проблема революции стала вопросом ближайшей практической деятельности. Отсюда и понятно, почему все вопросы, связанные с революционной практикой, именно в эту эпоху особенно четко вырисовались и особенно отчетливо формулировались. В числе других проблем революционной практики и вопрос о гегемонии пролетариата особенно остро выпятился в эпоху борьбы с экономизмом, ранним и наиболее примитивным видом оппортунизма в России.

Потому с особенной силой выдвигались революционные моменты и заострялись боевые лозунги, что появилось течение, п р и т у п л я ю щ е е революционное острие движения.

В своей первой статье в „Искре“—„На пороге XX века“, где Плеханов с такой пророческой проницательностью предвидит в будущем образование социал-демократической „горы“ и „жиронды“, обсуждая задачи российского рабочего движения и перспективы его развития, заканчивает статью словами: „Россия может и должна многому научиться у западно-европейских социалистов. Самый главный и ничем не заменимый урок, даваемый нам всей историей западно-европейского социализма, заключается в том, что в каждой данной стране ближайшие задачи и тактика рабочей партии определяются действительными общественными отношениями этой страны. Забывать об этих отношениях, руководствуясь общими положениями социализма, значит покидать почву действительности. Нам, русским социал-демократам, необходимо помнить, что XX век ставит перед нами такую политическую задачу, которая с большей или меньшей полнотой уже решена на Западе; у нас во всей красе цветет то самодержавие, о котором западно-европейские люди знают только по-наслышке. Разрушение самодержавия безусловно необходимо для успешного и правильного развития нашей партии. Если между западно-европейскими социалистами и их великой целью стоит эгоизм имущих классов, то между зарождающейся партией и западно-европейской социалистической семьей стоит, подобно китайской стене, с а м о д е р ж а в н ы й ц а р ь с е г о п о л и ц е й с к и м г о с у д а р с т в о м. Но нет такой стены, которую не могла бы разрушить человеческая энергия. Р у с с к а я с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к а я п а р т и я в о з ь м е т н а с е б я и н и ц и а т и в у б о р ь б ы с а б с о л ю т и з м о м (курсив мой. *В. В*), и она нанесет ему смертельный удар, опираясь на более или менее энергичную, прямую или косвенную, поддержку всех тех элементов, на которые давит теперь тяжелое, неуклюжее здание неограниченной монархии.

П о л и т и ч е с к а я с в о б о д а б у д е т п е р в ы м к р у п н ы м к у л ь т у р н ы м з а в о е в а н и е м Р о с с и и XX в е к а [1]).

Даже Мартынов не собрался духом отказать в яркой и смелой постановке вопроса о гегемонии пролетариата Плехановым на страницах „Искры“. Мы приведем еще более блестящее тому доказательство; прежде всего остановимся на его основной статье, направленной против экономизма—„Еще раз социализм и политическая борьба“.

На том основании, что Плеханов непрерывно подчеркивал необходимость использовать и поддерживать всякие революционные и оппозиционные движения, направленные против царизма, его обвиняли (не кто иной, как экономисты!) в том, будто он проповедует сближение пролетариата с буржуазией в ущерб интересам классовой борьбы. Ничего не стоило Плеханову доказать, что именно экономисты, а не кто-либо иной, являются теми, кто проповедует забвение классовой борьбы. Точка зрения социал-демократов совершенно иная. „Наша партия, не имеющая решительно никакой склонности к самоубийству, возьмет на себя почин борьбы с абсолютизмом, а следовательно, и г е г е м о н и ю в этой борьбе; чем более многочисленны и разносторонни станут ее приемы, тем яснее сделается для всех искренних врагов существующего политического порядка,—для всех тех, в душе которых любовь к политической свободе не перевешивается стремлением к эксплоатации рабочих,—что они должны поддержать нашу партию в интересах своего собственного дела. Мало-по-малу они привыкнут смотреть на ее победы и на ее поражения, как на свои собственные победы и поражения. И наша партия сделается таким образом о с в о б о д и т е л ь н и ц е й par excellence, центром, к которому будут тяготеть все демократические симпатии и из которого будут исходить все наиболее крупные революционные протесты. Тогда в ее распоряжении окажутся такие силы и такие материальные средства, о каких безумно было бы и мечтать при нынешних условиях. Но ни одна единица этих сил и ни одна копейка из этих средств не будет затрачена на подчинение пролетариата какому-нибудь чуждому влиянию и на достижение каких-нибудь вредных для него целей. Напротив, все эти силы и все эти средства будут служить достижению его собственных целей и упрочивать его собственное влияние

[1]) Г. В. П л е х а н о в. „На пороге XX века“. Искра, № 2.

на другие общественные элементы, потому что направлять и распределять их будет его собственный передовой отряд: социал-демократическая партия" [1]).

В сущности говоря, решительнее и яснее нельзя было и формулировать идею гегемонии, которая приобрела в этой борьбе и свое название. В приведенном отрывке не только дана точная формула идеи—в ней заключается широко намеченная картина самого процесса руководства, в чем и как оно должно проявляться.

В дальнейшем „Искре" было уже не до теорий, она уже практически пыталась разрешить проблему, поскольку рабочий класс, как могучая революционная сила, вышел на мостовую. Демонстрации рабочих и план использования их, организации сопротивления полицейским, план поддержки студенческих волнений, план использования аграрных волнений—все это было лишь попыткой, блестящей и чрезвычайно плодотворной приложить теорию к потребностям практической политики, чем занималась вся „Искра" и, прежде всего, Плеханов.

Возражая против проповеди мести правительству путем террора, Плеханов писал: „Умерщвление—не убийство. Но оно не есть также и путь к победе. Карая отдельных слуг царя, оно не разрушает царизма. Мы очень ценим самоотвержение лиц, подобных Балмашову и Карповичу. Но мы стремимся к низвержению целой системы. Мы стоим на классовой точке зрения. А с этой точки зрения, самым верным и совершенно незаменимым средством борьбы с царизмом была и остается агитация в рабочем классе для развития его политического самосознания и организации его для дальнейшей, все более и более упорной и победоносной агитации. Только на фундаменте политического самосознания русского пролетариата может быть воздвигнуто здание русской политической свободы. Русское революционное движение восторжествует, как движение рабочей массы, или совсем не восторжествует" [2]).

Говоря о всеобщей стачке на юге, он опять вспоминает террористов и противопоставляет им соц.-дем. тактику: „В прежнее время, когда наше революционное движение было движением небольшого слоя разночинцев и когда все его силы исчерпывались небольшими партизанскими отрядами, гибель каждого отдельного борца обыкновенно зажигала в сердцах его немногочисленных товарищей жажду мести. Теперь, когда в движение вошли широкие слои пролетариата, гибнут уже не отдельные лица; теперь кровь льется ручьями, и теперь жажда мести горит в тысячах и тысячах рабочих сердец. Но, сообразно с ростом нашего движения, растет и цель, которую ставят себе мыслители. Гибель отдельных представителей власти не имеет для них значения. Их жажда мести может быть удовлетворена только крушением всей, так позорно давящей нашу страну, политической системы. А к этой цели ведет только один путь: политическое воспитание рабочей массы. Над этим воспитанием и трудится российская социал-демократия. Это—свойственный ей род терроризма, и этот терроризм несравненно страшнее и опаснее для правительства, чем терроризм „первой манеры" [3]). Такая месть и такой террор действительно оказались страшнее самодержавию, чем террор эс-эров—индивидуальный террор.

[1]) Г. В. Плеханов. „Еще раз социализм и политическая борьба". Заря, № 1.
[2]) Г. В. Плеханов, т. XII, „Смерть Сипягина и наши агитационные задачи".
[3]) Г. В. Плеханов, т. XII, „Всеобщие стачки на юге".

В другом месте, по поводу белого террора самодержавия, Плеханов говорит: „Ответом на белый террор правительства должно быть усиление революционной агитации в массе. На этом пути нам придется испытать жесточайшее преследование. Много крови прольется на нем, много товарищей вырвет из наших рядов Молох в полицейском мундире. Но мы не покинем его, так как он один ведет к победе. Держась его, мы можем быть уверены, что силы нашей революционной армии будут постоянно увеличиваться, что на место павших борцов будут становиться новые, все более и более многочисленные рекруты свободы, и что мы отомстим царизму, победив его и не оставив в его безобразном здании камня на камне" [1]).

По поводу крестьянских волнений Плеханов писал: „Царская власть, вообще, может в настоящее время только мешать развитию русской народной жизни. Поэтому развитие русской народной жизни делает положение царской власти все более и более шатким. Гражданская свобода может быть принесена русскому крестьянину только политическим освобождением России. Поэтому русский крестьянин вынужден будет принять участие в политическом освобождении России, если только захочет добиться гражданской свободы. А в нем пробуждается уже сильное стремление к ней. Новые условия его быта вызывают в нем новые потребности и разбивают его старые предрассудки. Крестьянские волнения прошлого года—только „пролог пролога" великой драмы, которая готовится к постановке на русской исторической сцене и которая озаглавлена двумя словами: „падение царизма" [2]). При этом, если припомнить его слова о том, что инициатива и руководство борьбой за падение самодержавия принадлежат рабочему классу, то станет совершенно понятно подлинно революционная суть приведенного отрывка: многомиллионное крестьянство, возглавляемое сознательным пролетариатом—это такая сила, одно появление коей на исторической сцене приведет к развязке „великой драмы".

Я не буду умножать выписки, их можно было бы подобрать ровно столько, сколько им написано в „Искре" до II съезда статей. Я только хочу повторить то, что я говорил выше: уже с 1902 года социал-демократия очутилась перед таким высоким подъемом рабочего движения, что вопрос о гегемонии пролетариата из теории стал вопросом практики, и понадобилось непосредственное приложение теории к практике. „Искра" сделала в этом смысле все, что мыслимо.

И нельзя не отметить, что приложение показало, как верна была сама идея гегемонии пролетариата, насколько она плодотворна при ее последовательном использовании, а самое главное как она неизбежно вытекала из объективного хода вещей—практика осуществляла гегемонию ранее того, как идея дошла до массы—лучшее доказательство ее безусловной правильности.

Вопрос о гегемонии пролетариата был одним из жгучих вопросов первой революции, но о том, как Плеханов понимал и применял эту идею в эпоху 1905—1907 г.г. мы поговорим особо. Им же очень много занимались в полемике с ликвидаторством. При чем в эпоху борьбы с этим новым типом оппортунизма Плеханов вместе с нашей партией защищал идею гегемонии от ликвидаторов, которые не прочь были в числе прочих идей ликвидировать и эту.

Сам Плеханов, говоря о гегемонии пролетариата в своих возражениях А. Мартынову, замечает, что и большевики неправильно

[1]) Г. В. Плеханов, „Белый террор". Искра, № 48.
[2]) Г. В. Плеханов, „Отмена круговой поруки". Искра, № 38.

поняли его идею, и что, якобы, попытка большевиков „конкретизировать" идею была попыткой бланкистской. Разумеется, это утверждение носит совершенно явственные следы тогдашних фракционных отношений. Два направления социал-демократии пытались конкретизировать одну и ту же идею, высказанную в эпоху, когда не было разногласий между ними,—только внимательный разбор попыток, т.-е. тактик, этих двух направлений в революции дает возможность судить о том, кому лучше удалось или, еще яснее, кто действительно реализовал идею гегемонии пролетариата, а чья деятельность коренным образом мешала конкретизации ее.

Мы этим займемся ниже, скажем лишь, забегая вперед, что самый беглый обзор тактики большевиков и самого Плеханова в революции 1905 года покажет, что Плеханов жестоко ошибался в своем утверждении. В 1905 году единственно подлинными и последовательными защитниками идеи гегемонии пролетариата в революции были большевики.

Статья в. Пролетариат и либеральная буржуазия.

1.

Но если гегемония пролетариата в буржуазной революции таким образом с самого же начала возникновения марксизма в России была провозглашена как нечто неизбежное и объективно обусловленное, то тем самым принципиально намечалось и направление в правильном решении вопроса об отношении к тем классам общества, которые были непосредственно заинтересованы в будущей революции, вели более или менее последовательную борьбу за нее, и которым должен был руководить пролетариат в борьбе против самодержавия. Такими группами и классами были либеральная буржуазия, мелко-буржуазная интеллигенция и крестьянство.

Вопрос об отношении пролетариата к более или менее оппозиционно настроенным классам и группам принадлежит к числу тех проблем „Социализма и политической борьбы", которые всего более занимали Плеханова, над разрешением которых он всего более трудился. До самой первой революции—с начала своей социал-демократической деятельности—Плеханов не выпускал из сферы обсуждения эти вопросы, которые становились все актуальней по мере роста рабочего движения: заслуга его в решении этих вопросов исключительно великая.

В вопросе об отношении к либеральной буржуазии позиция, защищаемая Плехановым до II съезда, была очень законченна, позиция им почти с самого же начала определенная совершенно ясно и без колебаний и неизмененная до самого II съезда и после. Может быть, мне будет разрешено заранее отметить, что именно это обстоятельство привело Плеханова к тому, что в этом вопросе в эпоху первой революции он был всего далее от подлинно революционной позиции большевиков.

Но это лишь мимоходом, а теперь попытаемся по возможности сжато проследить его взгляд на отношение пролетариата к либеральной буржуазии,—вопрос, которым он задается уже в первом же своем памфлете.

В „Социализме и политической борьбе" Плеханов, подвергая суровой критике программу Исп. Ком. Нар. Воли, касается и вопроса

об отношении к либералам. Критикуя требования „радикального политического переворота", он спрашивает: „Разве экономический переворот входит в интересы русского либерализма? Разве наше либеральное общество сочувствует аграрной революции, которой, по словам „Народной Воли", будут добиваться крестьянские депутаты? Западноевропейская история говорит нам весьма убедительно, что там, где „красный призрак" принимал хоть сколько-нибудь грозные формы, „либералы" готовы были искать защиты в объятиях самой бесцеремонной военной диктатуры. Думал ли террористический орган, что наши русские либералы составят исключение из этого общего правила? Если так, то на чем основывал он свое убеждение?" [1]).

Эти вопросы были тем более законными, что народовольцы расчеты свои строили не только на одних рабочих и крестьянах, но и на „обществе". Рассчитывать, что представители „общества", т.-е. средняя буржуазия и интеллигенция, будут поддерживать захват власти с целью коренного экономического переворота—было, по меньшей мере, фантастическим расчетом. „Как ни забито, как ни задавлено русское общество, но оно вовсе не лишено инстинкта самосохранения и ни в коем случае не пойдет добровольно навстречу „красному призраку"; указывать ему на такую „постановку" задач партии—значит лишать себя его поддержки и рассчитывать лишь на свои собственные силы" [2]). Совершенно правильно. А собственных сил народовольчества без „общества" было ни в коем случае не достаточно для подобных радикальных переворотов: несколько отрядов революционной интеллигенции, отдельные кружки городских рабочих и единичные крестьяне—были бы слишком узким основанием для захвата власти и экономического переустройства страны. „Мы думаем, что единственно нефантастической целью русских социалистов может быть теперь только завоевание свободных политических учреждений, с одной стороны, и выработка элементов для образования будущей рабочей социалистической партии России—с другой. Они должны выставить требование демократической конституции, которая, вместе с „правами человека", обеспечила бы рабочим „права гражданина" и дала бы им, путем всеобщего избирательного права, возможность активного участия в политической жизни страны. Не пугая никого далеким пока „красным призраком", такая политическая программа вызвала бы к нашей революционной партии сочувствие всех, не принадлежащих к систематическим противникам демократии; вместе с социалистами под ней могли бы подписаться очень многие представители нашего либерализма. И между тем как захват власти той или другой тайной революционной организацией всегда останется лишь делом этой организации и лиц, посвященных в ее планы, агитация в пользу названной программы была бы делом всего русского общества, в котором она усиливала бы сознательное стремление к политическому освобождению. Тогда интересы либералов действительно „заставили" бы их „вместе с социалистами действовать против правительства", потому что либералы перестали бы встречать в революционных изданиях уверения в том, что ниспровержение абсолютизма будет сигналом социальной революции в России. Вместе с тем, другая, менее пугливая и более трезвая часть либерального общества перестала бы видеть в революционерах непрактичных юношей, задающихся несбыточными и фантастическими планами" [3]).

---

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 75.
[2]) Там же, стр. 76.
[3]) Там же, стр. 83.

Эта программа была на целую голову выше всех до того существовавших программ. Однакоже ее слабые стороны сейчас не трудно заметить, спустя сорок лет. Но не следует забывать, что на лбу этой программы красуется печать этой эпохи, и всякий, кто захочет ее критиковать, должен вспомнить 1883 год, обстановку и условия, общественные отношения и состояние революционной работы эпохи. Ниже мы увидим, что забвение этого приводит к печальным результатам, печальным для тех, кто не видит печать времени на тактике группы „Осв. Труда".

Если либеральная буржуазия, так-называемое общество, действительно настроена оппозиционно против самодержавия, то почему же незаметно это? Ни в одной стране „общество" не вступало в борьбу с „главным врагом" до тех пор, пока не чувствовало за собой поддержку рабочего класса, „народа", без такой поддержки оно было трусливо, ибо оно было бессильно.

„Наше общество" не может еще рассчитывать на такую поддержку рабочих; оно не знает даже, на кого направит свое оружие рабочий-инсургент: на защитников абсолютной монархии или на сторонников политической свободы. Отсюда его робость и нерешительность, отсюда овладевшее им теперь тяжелое и безнадежное уныние. Но измените положение дел, обеспечьте нашему „обществу" поддержку одних только городских предместий,—и вы увидите, что оно знает, чего хочет, и умеет говорить с властью языком, достойным гражданина. Припомним петербургские стачки 1878—1879 годов. Слух об этих стачках интересовал далеко не одних социалистов. Они стали событием дня, ими интересовался чуть ли не весь интеллигентный и мыслящий Петербург. Вообразите теперь, что в стачках выразился не только антагонизм интересов нанимателей и рабочих данной фабрики, но также начинающийся политический разлад петербургского рабочего класса с абсолютной монархией. Обращение полиции со стачечниками дало не мало поводов к проявлению такого разлада. Представьте же себе, что рабочие Новой Бумагопрядильни требовали не только повышения заработной платы для себя, но также известных политических прав для всех русских граждан. Буржуазия увидела бы тогда, что ей нужно серьезнее, чем прежде, считаться с требованиями рабочих. Кроме того, все те ее либеральные слои, экономическим интересам которых успех стачечников не грозил бы прямым и непосредственным образом, почувствовали бы, что их политические требования приобрели, наконец, твердую почву, и что поддержка рабочего класса делает гораздо более вероятным счастливый исход борьбы с абсолютизмом. Политическое движение рабочих вдохнуло бы новую уверенность в сердца всех сторонников политической свободы" [1]).

Политические требования „общества" реализуются только тогда, когда рабочий класс поддержит их, отсюда совершенно ясно—России нужна не террористическая борьба, а серьезная деятельность в рабочей среде, организация сил рабочего класса, агитация и пропаганда в его среде принципа „современной социальной демократии".

Если представители „общества" не в состоянии в силу своего положения вести эту агитацию и пропаганду, то революционная интеллигенция может взять на себя эту задачу, может и должна взять ее, ибо это вернейший путь к осуществлению политической свободы.

В своей очень популярной статье, писанной для рабочих, „Современные задачи русских социалистов", Плеханов, объясняя им тактику использования и поддержки либерального движения, объясняет, исходя из того положения, что „между вашими врагами, которые так

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 344.

часто соединяются против вас, между правительством и высшими классами нет единодушия" [1]), царь хочет оставить себе полную деспотическую власть самодержца, представители буржуазии требуют конституционного правления. „Вот этот-то раздор в лагере ваших врагов, вот эта-то необходимость ограничения царской власти и облегчат вам завоевание политических прав и политической свободы. Придет время, когда сами высшие классы будут просить вашей помощи в борьбе с царем, когда они сами будут толкать вас на борьбу за свободу. Но, пользуясь этим выгодным для вас обстоятельством, вы все-таки должны начать эту борьбу на свой собственный страх и для достижения своих собственных целей" [2]).

В политике—говорил он не один раз,—нет благодарности, в политической борьбе расчеты свои строит на благородных чувствах другого класса только тот, кто сам слаб и немощен, рабочий же класс, который составляет самую внушительную силу революции, должен сам заботиться о своих правах, своих завоеваниях.

Все это нашло себе отражение в программе 1888 года; крестьянство не сочувствует революционному движению. „Необходимым следствием этого является бессилие и робость тех образованных слоев высших классов, материальным и умственным интересам которых противоречит современная политическая система. Возвышая голос во имя народа, они с удивлением видят, что он равнодушен к их призывам. Отсюда—неустойчивость политических воззрений, а временами и полное разочарование нашей интеллигенции" [3]). Но положение не безнадежно, ибо в результате разложения общины и развития капитализма появляется в России рабочий класс, которому и суждено быть проводником передовых стремлений цивилизованного человечества в России,—общество, таким образом, находит себе твердую опору в проведении своих передовых стремлений.

До сих пор Плеханов лишь мимоходом, между прочими задачами, останавливался и на вопросе об отношении к либералам; самая задача, которую ставила себе к решению группа „Осв. Труда"—заставить революционную интеллигенцию обратиться к марксизму за разрешением противоречий, в которых запуталось революционное движение России, требовала того, чтобы неустанно, рискуя неоднократно повторять свои доводы и мысли, развивались общие положения марксизма. Но уже конец 80-х годов значительно изменил положение. Марксизм имел уже известную аудиторию, заставил себя слушать; противники распространения учения Маркса в лагере революционеров уже не представляли силы ни в теоретическом, ни в практическом отношении; при этом, разумеется, у аудитории марксистской возникала естественная потребность решения и конкретных вопросов тактики. Одним из существенных вопросов тактики в эту переходную эпоху был обсуждаемый вопрос, которому Плеханов стал уделять гораздо больше внимания, чем до того. Основной работой, выясняющей подробно и всесторонне его взгляд на вопрос об отношении пролетариата к либералам, является его разговор с Конституционалистом по вопросу о том, „как добиваться конституции".

2.

Разговор начинает Конституционалист постановкой действительно интересного вопроса. Если социалисты также стремятся к политической свободе, что и представители общества, то не целесообразнее ли

[1]) и [2]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 370.
[3]) Там же, стр. 402.

было бы им отбросить совершенно на время борьбы за политическую свободу вопрос о социализме? „Теперь у нас на очереди не социальный, а политический вопрос. Повалите абсолютизм, добейтесь политической свободы, а потом, уже и говорите о социализме. Тогда это будет вполне своевременно, а потому и не напрасно; теперь же только даром тратите силы“ [1]). При этом К. разъясняет Социалисту, т.-е. Плеханову, что следует делать для того, чтобы добиться конституции; советует перестать быть сектантом, отщепенцем, отложить в сторону социализм и приступить к „политической агитации“. Социалист совершенно законно удивляется такому противопоставлению социализма политической агитации. „Социализм не мыслим без такой агитации“,—говорит он и далее, разъясняя К., что мешает социалистам сталковаться с либералами, он говорит: „Многое и, главным образом, ваше отношение к социализму. Вы не враг социализма, но вы думаете, что те, которые толкуют о нем в настоящее время, начинают дело с конца. Вы советуете нам на время забыть о нем и, так сказать, прикомандироваться к либералам. Мы смотрим на дело совсем иначе, мы думаем, что, если бы наши либералы действительно хотели бороться за политическую свободу, то они, в конце концов, не могли бы придумать ничего лучшего, как пристать к социалистам“ [2]). Разумеется, либералы никогда не пристанут к социалистам, но, быть может, социалисты могут временно бросить социализм? Если бы такой поступок хоть немного приблизил момент завоевания политической свободы, разумеется, не было бы места колебаниям; но в том-то и дело, что, „превратившись в либералов, социалисты только замедлили бы дело политического освобождения России“ [3]), и это по той чрезвычайно простой причине, что этим актом только ослабили бы силу революции; в истории много тому примеров: „общество бессильно без поддержки народа или, по крайней мере, наиболее развитой, наиболее революционной части народа, т.-е. рабочих“ [4]), а советуя отбросить на-время социалистическую пропаганду среди рабочих, естественно, либералы лишь ослабляют тот отряд, без поддержки которого они бессильны.

„В борьбе с правительством высшие классы, из которых состоит „общество“, никогда и нигде не играли роли „регулярной армии“. Это чистая фантазия. Сами по себе они всегда были штабом без армии, как выражается Энгельс, говоря о немецкой буржуазии. Чтобы создать армию, нужна народная масса, нужны силы рабочих. Порукой в этом может служить вся западно-европейская история новейшего времени. А вот этой-то настоящей, а не фантастической армии и не видит за собой „пока что“ наше общество. Поэтому оно и „нерешительно“, зная, что правительство может раздавить его в каждую данную минуту. Поэтому оно „сонно“ и „недеятельно“. Вот этому горю и должны помочь наши революционеры. А раз они возьмутся помогать ему, им уж нельзя будет даже „на время“ забыть, что они социалисты [5]). Сознание, что они социалисты, не только не ослабляет таким образом, а усиливает борьбу, которая не может не быть сопряженной с насилиями.

Надежды на добровольную уступку царского правительства, на внешние силы,—надежды пустые в лучшем случае, а, быть может, и чисто реакционные. „Борьба за политическую свободу должна быть первым фазисом рабочего движения в России“ [1]). Но параллельно с этим имеет большой смысл и значение борьба либерального общества. „Я вовсе не считаю бесполезной борьбу высших и средних классов против правительства, я первый приветствовал бы начало такой борьбы, потому что я понимаю все ее возможное значение. Но я говорю, что это возможное значение не станет действительным до тех пор, пока рядом с движением в обществе не начнется движение в рабочей среде, и я приглашаю нашу революционную молодежь содействовать этому последнему движению. Я говорю ей, что только в рабочей среде она найдет плодотворную почву для своей деятельности, что, пробуждая сознание рабочего класса, она будет способствовать не только освобождению этого класса, но и всех других прогрессивных классов в России“.

Революционеры чураются социал-демократического решения вопроса потому, что они далеки от рабочих. „Пусть только идут наши революционеры к рабочим, сама жизнь сделает их социал-демократами“ [2]), сама жизнь заставит их притти к соц.-демократическому решению проблемы.

Итак, не отказ от классовых позиций и классовой точки зрения, а использование и поддержка всякого революционного движения, направленного против самодержавия,—таков был вывод из спора Плеханова с Конституционалистом.

Падение самодержавия готовят „не одни только революционеры. Сами по себе революционеры были бы не страшны для правительства. Непоправимая беда монархии заключается в том, что даже ее самые верные подданные своей экономической деятельностью приближают ее гибель. А ввиду этого и революционеры могут стать грозной общественной силой. Успех их дела обеспечивается всем складом и всем ходом нашей современной общественной жизни“ [3]). Сила революционеров в том, что ослабляет самодержавие,—это совершенно ясно. „Вопрос лишь в том, сумеют ли революционеры согласовать свои усилия с направлением общественного развития. Говоря вообще, всякий протест против самодержавия согласуется с этим направлением. Но не всякий в одинаковой степени подрывает современный политический порядок. Производительный и полезный труд может быть более или менее производителен, более или менее полезен, смотря по приемам и орудиям трудящегося. Между русскими революционерами теперь единства меньше, чем когда бы то ни было: одни предпочитают один способ борьбы, другой—другие, третьи—третий—и т. д., до бесконечности, сказали бы мы, если бы число русских революционеров не было пока еще очень ограничено. Такое разделение очень печально, так как оно ослабляет силы революционеров. Но оно в то же время и неизбежно“ [4]), неизбежно было в эпоху перехода на новые теоретические рельсы. „Все такого рода пересмотры вызывают множество споров и разногласий. Этим-то и объясняется современное отсутствие единства между русскими революционерами“ [5]). Но программные споры между революционерами не могут продолжаться вечно. „Уже теперь, при всем разнообразии революционных взглядов, ясно, что только два направления могут у нас рассчитывать на будущее: либеральное и социал-демократическое. Все остальные „программы“ представляют собою лишь эклектическую смесь этих

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 12.
[2]) Там же, стр. 13.
[3]) Там же, стр. 15.
[4]) Там же, стр. 16.
[5]) Там же, том IV, стр. 277

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 28.
[2]) Там же, стр. 30.
[3]) Там же, стр. 235.
[4]) Там же, стр. 235—236.
[5]) Там же, стр. 236.

двух направлений и потому осуждены на исчезновение. Постепенно взгляды наших революционеров настолько выяснятся, что их перестанут удовлетворять программы-ублюдки, и тогда одни из них совершенно махнут рукой на социализм и впрягутся в либеральную колесницу, другие же совершенно усвоят себе социалистические взгляды, т.-е. сделаются социал-демократами" [1]). Мысль, высказанная здесь, чрезвычайно интересная, но страдает она отсутствием перспективы,—понадобилось не менее 20 лет, в течение которых Россия два раза пережила буржуазную революцию и совершила октябрьский переворот, для того, чтобы эклектические программы исчезли окончательно. Мелкая буржуазия оказалась гораздо более устойчивой, чем себе представляли в ту эпоху,—и этот факт не мог не ввести основательное изменение в перспективы и расчеты Плеханова. Гораздо скорее либералы пережили свою оппозиционность, чем исчезла со сцены самая эклектическая из всех программ и самая межеумочная из всех партий—партия социалистов-революционеров.

Но кого же тащит за собой либеральная колесница? „Из каких элементов состоит наше „общество"? Частью из чиновничества, частью из дворянства, частью из буржуазии. Чего можно ожидать от каждого из этих слоев? От чиновников в лучшем случае лишь „попустительства", от буржуазии—„легальной" оппозиции против полицейского и бюрократического произвола, от дворянства... но читатель и сам знает, что от дворянства можно ожидать теперь, главным образом, лишь выпрашивания денежных подачек у правительства.

На такой тройке далеко не уедешь. Правда, к трем перечисленным и сильно перемешанным между собой слоям нужно прибавить еще слой идеологов-разночинцев, людей „либеральных профессий", по самым условиям своей жизни враждебных самодержавию. Слой этот очень невелик, но на Западе он сыграл важную историческую роль, увлекая за собой народ в борьбу за политическую свободу. У нас ему не суждено сыграть, повидимому, такой роли, потому что он не имеет никакого влияния на народ. Опираясь на народ и преимущественно на рабочее население крупных центров, либеральные члены общества приобрели бы огромную силу, без поддержки же рабочего населения они—все равно, что несколько нулей без единицы впереди: ничтожество, полнейшее ничто. И ваши либералы даже и не задумываются о необходимости выйти из своего ничтожества, у них даже нет помышления о распространении своих политических взглядов в народе. Можно ли рассчитывать на таких людей? Помилуйте, да, ведь, они и сами никогда на себя не рассчитывали!" [2]).

Может вызвать недоумение кажущееся противоречие: либералы без рабочих полнейшее ничто, а революция при оппозиции либералов становится грозной силой. Но тут никакого противоречия нет, мысль эта равносильна тому утверждению, что только под руководством рабочего класса русское общество способно свергнуть самодержавие, утверждение, которое не только не отрицает гигантского значения для успешной борьбы рабочего класса, вообще оппозиционное настроение „общества", но его предполагает, и, в свою очередь, это же нисколько не противоречит тому, что оппозиция без боевой активной силы рабочего класса не представляет абсолютно никакой опасности для существования царской власти, для самодержавия, есть „ничто", как говорит Плеханов.

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 226.

Этот чрезвычайно энергичный отрывок является теперь, когда мы имеем за собой уже длинный путь проделанной борьбы, почти пророчеством. Буржуазия на Западе действительно была в силе сыграть важную историческую роль, в России же, даже при наличии поддержки могучего революционным энтузиазмом рабочего класса, она не смогла выйти из состояния трусливого шатания в начале борьбы и постоянного предательства в процессе самой борьбы. В России буржуазия тоже сыграла „важную историческую роль", но только отрицательную, в гораздо большей мере и степени, чем положительную. Если ее сравнить с буржуазией западных стран, то не трудно будет установить, что свою историческую миссию западная буржуазия худо ли, хорошо ли выполняла, постоянно прячась за спиной народа,—русская же буржуазия и на это не оказалась способной. Русская буржуазия воистину показала себя нулем для революционной борьбы. Даже имея перед собой такую внушительную единицу, как рабочий класс, она на практике, на деле мало увеличила силу единицы. Меньше, чем то можно было ожидать на основании теоретических выкладок.

Однако ретроспективно нельзя судить о тактических положениях. Всякая тактика обусловливается обстоятельством места и времени, и совершенно понятно, почему в наших суждениях мы обязаны оставаться на исторической почве. А судя с исторической точки зрения мы должны подчеркнуть, что значение оппозиционной атмосферы было исключительно важно тогда.

Но даже и с точки зрения наших современных понятий тактика поддержки и использования либеральной оппозиции была безупречной тактикой. До того, пока эти нули способны увеличивать мощь единицы, до того и нули для единицы имеют огромное значение. Но, ведь, не всегда нули с единицей увеличивают силу и значение ее. Если продолжить ту же аналогию, то нули за единицей нечто диаметрически противоположное нулям перед ней. Одно и то же явление способно усилить, но при известных лишь условиях, при других условиях оно же может стать тормозом развития. Такова диалектика развития.

О либералах вопрос так именно и стоял: использовать их, пока они представляют силу, направленную против самодержавия. Задача политического деятеля таким образом сводилась к тому, чтобы учесть момент, когда наступит переломный предел оппозиции против самодержавия. Мы увидим ниже, что определить этот момент оказалось не столь легким делом, как может показаться с первого взгляда.

Но вернемся к Плеханову.

В библиографической заметке, в том же номере „Соц.-Дем.", где было помещено вышецитированное „Внутреннее обозрение", мы читаем: „Экономически русская промышленная и торговая буржуазия давно уже заняла видную роль в обществе. Ей недоставало политического сознания и развития. С божьей помощью сторонники „патриархальной монархии" дадут ей его своими реакционными попытками решения социального вопроса. Энергично ведя поход против „западного обскуратизма", они толкнут наших буржуа на путь западничества, сделают привлекательными для них западно-европейские либеральные идеи и этим сослужат огромную службу делу русского прогресса. Пусть же работают прилежнее единомышленники „русского дворянина", пусть же реакционные дурачества все сильнее и сильнее возбуждают против современного правительства общественное мнение России. Это очень на-руку нашему брату, революционеру" [1]).

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том IV, стр. 293.

В следующем, третьем номере „Соц.-Дем." опять-таки в заметке о книге Доверина-Чернова пишет: „Если наша торгово-промышленная буржуазия до сих пор еще не стала в оппозиционное отношение к правительству, то причина этого явления кроется именно в его заботливом отношении к ее нуждам. Между тем, как наши либералы предаются отвлеченным рассуждениям о преимуществах „правового порядка" (вернее было бы сказать—предавались, так как теперь наши либералы, превратившись в консерваторов, уже не дерзают распространяться о правовом государстве), царизм привлекает к себе буржуазию всем направлением своей экономической политики. Конечно, не будучи у власти, наши либералы (читай: консерваторы) не могли бы, если бы даже и захотели, подкупить буржуазию какими бы то ни было материальными подачками. Но не в подачках и дело. Самодержавие, одной рукой поддерживающее и охраняющее интересы нашей промышленности, другой рукой в то же самое время не перестает вредить ее интересам. Русский капитализм уже дошел до той стадии развития, на которой отношения его с нашей современной политической системой по необходимости будут становиться все более и более серьезными. Опираясь на это обстоятельство, наша оппозиционная печать,—если бы только у нас была печать, достойная этого названия,—могла бы теперь же начать целый поход против самодержавия"... „Ставши на эту реальную почву, критикуя полицейское государство с точки зрения тех самых экономических нужд, которые оно старается удовлетворить, наша оппозиция впервые стала бы серьезной общественной силой. До тех же пор, пока она будет довольствоваться тем абстрактным либерализмом, который никак не умеет поставить свою программу в связь с важнейшими экономическими интересами страны (по крайней мере в такую связь, которая была бы очевидной не только для теоретиков, но и для людей практического дела), она по-прежнему не увидит в своих рядах никого, кроме „интеллигенции". И по-прежнему реакционеры будут цинично смеяться над ее полнейшим бессилием" [1]).

Отрывки эти интересны во многих отношениях. Во-первых, проводимое старательное выделение либералов и буржуазии в две различные группы по политическим идеалам и по сознательности, затем—и это особенно важно—отметка о фактическом консерватизме громкой либеральной фразеологии, которая „никак не может поставить свою программу в теснейшую связь с важнейшими экономическими интересами страны".

3.

Как он мыслил себе задачу непосредственно практического приложения принципов к революционной повседневной деятельности?

Обсуждая „всероссийское разорение" от голода и говоря о том, что должно делать русское общество для ликвидации последствий его, Плеханов находит, что необходим ряд таких финансово-экономических мероприятий, которые самодержавие, разумеется, не проведет: „Эти реформы могут быть предприняты лишь по почину всей русской земли и осуществлены лишь при ее деятельном участии. Осуществите их—и вы похороните русский царизм. Но никакое правительство никогда еще не поднимало на себя руки. Поэтому, ничего не ожидая от царизма, надо действовать вопреки ему. Все честные русские люди, которые, не принадлежа

[1]) Г. В. Плеханов, Соч., том IV, стр. 303.

к миру дельцов, кулаков и русских чиновников, не ищут своей личной пользы в бедствиях народа, должны немедленно начать агитацию в пользу созвания Земского Собора, долженствующего сыграть роль Учредительного Собрания, т.-е. положить основы нового общественного порядка в России. Разумеется, в деле подобной агитации непременно должны обнаружиться и фракционные различия, существующие в среде людей революционного или оппозиционного образа мыслей. Но эти различия ничему не помешают. Пусть каждая партия и каждая фракция делает дело, подсказываемое ей ее программой. Результатом разнородных усилий явится новый общественно-политический строй, который, во всяком случае, будет большим приобретением для всех партий, кроме достаточно уже опозорившейся партии кнута и палки. То, что мы предлагаем здесь, есть не утопия, умышленная изгнанником, оторванным от родной почвы, а насущное, неизбежное дело. Вы можете, если хотите, осмеять наше предложение сегодня. Но ваша апатия не разрешит страшного вопроса. Если не теперь, то через год, если не через год, то через несколько лет, вам придется считаться с этим вопросом. И тогда, как и теперь, перед вами будет лежать только один путь действий: борьба с царизмом. И чем раньше вступите вы на него, тем больше выиграет вся Россия. Полное экономическое разорение нашей страны может быть предупреждено лишь полным политическим ее освобождением" [1]).

Эта программа была принята не достаточно дружелюбно, как я уже сказал выше. Отвечая недовольным „молодым" из России, Плеханов делает ряд чрезвычайно интересных замечаний и высказывает несколько очень важных для нашей задачи мыслей, на которых мы не можем не останавливать внимание читателей.

Буржуазия может быть верна „престолу" лишь до тех пор, пока „престол" остерегается протягивать руку к его сердцу, т.-е. к ее кошельку, и избегает введения подоходного налога. Как только царизм, проявивший до сих пор истинно-отеческую заботливость об интересах „всероссийского купечества", окажется не в состоянии играть роль насоса, который, выкачивая содержимое народного кармана, переливал его в карман буржуазии, эта последняя сейчас увидит, что ей не остается ничего другого, как с честью похоронить своего „обожаемого" родителя. И она не замедлит исполнить эту священную обязанность" [2]). Но буржуазия не единственная сила в России. Там, где буржуазия, там и пролетариат". „Пролетариат в сравнительно короткое время растратал все „основы" западно-европейского общества. В России же его развитие и политическое воспитание идет несравненно скорее, чем шло на Западе. В России пролетариат растет, мужает и крепнет буквально не по дням, а по часам, как сказочный богатырь. В какие-нибудь десять-двенадцать лет он изменился до неузнаваемости" [3]). Общественное развитие России привело к образованию тех общественных классов, которым суждено быть могильщиком самодержавия. „Один из этих новых на Руси общественных классов,—и наиболее революционный из них: пролетариат—уже теперь, в лице своих лучших представителей, хорошо сознает свои политические задачи. Другой—отсталый (курсив мой. *В. В.*), буржуазия—должен будет сознать свои под страхом разорения. Это уже огромный шаг вперед, это надежное ручательство за лучшее бу-

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 353—354.
[2]) Там же, стр. 382.
[3]) Там же, стр. 383.

дущее, это полное отрицание азиатского застоя, составлявшего когда-то отличительную черту России"... „Старый экономический строй России рассыпается, как карточный домик, как гнилушка, истлевшая и обратившаяся в пыль. И теперь все мы, враги существующего порядка, чувствуем, наконец, твердую почву под ногами: теперь пришло наше время" [1]).

Совершенно правильно, теперь пришло „наше время", но оно накладывает тяжелые обязанности на „нас", ибо задачи, которые выпали на „нашу" долю—грандиозны: предстоящая России революция—борьба за свержение самодержавия—требует от „нас" гигантских подготовительных, организационных и агитационных работ, выполнить которые по плечу только рабочему классу; за короткий срок он проделал уже огромный шаг в деле подготовки революции, выдвинул из своей среды сознательно авангард, задачи которого в более точной форме надлежало определить; более точной потому, что в наличии уже совершенно достаточно объективных условий для конкретного и точного определения задач наиболее сознательного передового отряда.

Какую роль должен взять на себя социалистический авангард пролетариата в предстоящей подготовке революции и в ней самой? Вопрос поставлен не для того, чтобы ответить на него какой-либо общей, ничего не говорящей фразой о пользе политической свободы для социализма,—теперь уже нужны точные, деловые, конкретные указания.

О том, каков был ответ в вопросах партийно-организационных—я уже говорил выше, но и по занимающему нас сейчас вопросу он дал более точные ответы.

„Молодые" упрекали его в том, что он приносит в жертву политической борьбе социализм. Мы уже выше убедились, как неоснователен был подобный упрек. Однако вопрос, сам по себе не безынтересный, имеет огромное тактическое значение и от него нельзя было отделаться простым опровержением.

Каково будет „наше" отношение к политической борьбе? „Подобно немецким коммунистам сороковых годов, мы будем поддерживать всякое революционное движение, направленное против существующего порядка. Но ни одно из них, какие бы размеры оно ни приняло, не заставит нас спрятать свое собственное знамя. И лишь в той мере будем мы желательными и сильными союзниками других, более или менее революционных партий, в какой сумеем распространить среди русского пролетариата наши социал-демократические идеи" [2]).

Агитация за политическую свободу должна итти неразрывно с развитием классового сознания пролетариата, забота о нем должна быть одной из самых важных забот социалиста. „Наша политическая агитация принесет для нас плоды только в том случае, если она будет содействовать росту классового сознания русского пролетариата. Классовое сознание пролетариата—это тот щит, от которого отлетят, как горох от стены, все стрелы враждебных нам партий" [3]). Такая последовательная классовая позиция могла казаться несвоевременной и крайней, однако, как совершенно справедливо говорит Плеханов, „мы социалисты, а в глазах социалистов умеренность вовсе не заслуга" [4]) (курсив мой. *В. В.*). Могли возразить также, что слишком откровенные речи могут напугать либералов. „На это я отвечу вот что: с нашей стороны нелепо было бы умышленно запугивать их; но если они испугаются нас как-нибудь невзначай, помимо нашей воли, то нам остается только пожалеть об их совершенно уж „несвоевременной" пугливости. Во всяком случае, мы считаем самым вредным родом запугивания—запугивание социалистов призраком запуганного либерала. Вред, приносимый таким запугиванием, несравненно больше той пользы, которую могло бы принести убеждение г.г. либералов в нашей умеренности и аккуратности" [1]).

Мы не можем пройти мимо только что приведенного отрывка. Читатель, вероятно, помнит вышеприведенную цитату, где он упрекает народовольцев, которые своим „красным призраком" пугают либералов и отпугивают от революции; мы там же указали, что на том отрывке—печать 1883 года.

Тот отрывок без только что приведенного мог вызвать недоумение и, пожалуй, упрек, в умеренности, нереволюционности, боязни пугать либералов и т. д., хотя и там по общему смыслу совершенно несомненно, что речь идет об умышленном запугивании, однако дополненная только что приведенным мысль эта приобретает глубокий смысл и значение. Действительно, самый вредный вид запугивания „запугивание социалистов призраком запуганного либерала". Эта истина не раз впоследствии была доказана экспериментально. Пугать фантастическими рассказами о непосредственной экономической революции не умно. Но на этом основании пугаться иметь свои последовательно продуманные воззрения—преступно с точки зрения интересов революции.

Гвоздь не в запуганном либерале, дело в трусости общества, в его вялости и нерешительности. Откуда оно взялось? „Общество трусливо, потому что силы его слишком ничтожны перед силами правительства. На силы же учащейся молодежи и революционной „интеллигенции" оно тем менее может возлагать какие-нибудь политические надежды, что и молодежь и „интеллигенция", не будучи в состоянии справиться с правительством, беспрестанно просят у него помощи. Несомненно, бывают обстоятельства, когда даже безнадежная борьба нравственно обязательна для всякого честного человека. Несомненно также, что в современной России обстоятельства сложились именно таким образом. Но все, что ни сказали бы мы „обществу" по этому поводу, остается гласом вопиющего в пустыне. Общество будет трусливо, оно не выйдет из своего политического бездействия до тех пор, пока противники существующего порядка вещей не выставят силы, способной померяться с силой правительства" [2]).

Это—его излюбленная мысль. Где же оно может найти эту силу, не раз уже было указано Плехановым: единственная сила, которая в состоянии вывести общество от бессилия—это рабочий класс. „Только рабочий класс способен нанести смертельный удар царизму. Буржуазия, как русская, так и западно-европейская, в лучшем случае, не пойдет в борьбе против него дальше бессильной оппозиции" [3]). Только рабочий класс. И если находятся в изобилии филистеры, которые с самодовольством указывают на то, будто рабочий класс России „глуп и неразвит", то лучшим ответом на их клевету были непосредственно вслед за голодом 1891 г. последовавшие выступления: „Голод 1891 года застал трудящуюся Россию в самом беспомощном экономическом положении. Но, к счастью, для нее, в политическом отношении она уже не беспомощна. Русский рабочий бедняк, но он не дурак. И в этом обстоятельстве заключается надежнейший залог успеха для революционеров" [4]).

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 384—385
[2]) Там же, стр. 409.
[3]) [4]) Там же, стр. 417.

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 417.
[2]) Там же, стр. 316.
[3]) Там же, стр. 97.
[4]) Там же, стр. 124.

Недаром в 90-м году Плеханов, советуя русским соц.-демократам вести агитацию за празднование 1-го мая, писал: „оно будет больше, чем всякое другое действие, способствовать развитию классового сознания в русском пролетариате. А когда разовьется это сознание, когда русские рабочие возвысят голос в защиту своих интересов, когда они хоть отчасти проникнутся теми стремлениями, которые одушевляют теперь их западных братьев, тогда недолго просуществует и русское самодержавие. Метла рабочего движения навсегда сметет его с лица русской земли“ [1]). Непосредственно вслед за голодом) и даже в год самого голода) началось у нас празднование 1-го мая, много способствовавшее росту революционного авангарда пролетариата.

Приблизительно к этой же эпохе относится другой, для нас чрезвычайно важный документ: я говорю о докладе Брюссельскому Конгрессу 1891 года.

Этот доклад является итоговым отчетом. В нем Плеханов подводит баланс своей политической и тактической деятельности 80 годов, и с этой точки зрения доклад представляет исключительный интерес.

Что говорит он по интересующему нас вопросу? „Наши либералы далеко не находятся у власти: человек с либеральными взглядами является человеком подозрительным в глазах нашего правительства. В качестве партии, оппозиционной нашему современному режиму, либералы, очевидно, являются прогрессивной силой в нашей стране“ [2]).

Но они не борются с правительством активно, ограничиваясь лишь мирной оппозицией. „Либеральные идеи до сих пор очень слабо захватили нашу промышленную буржуазию. В большинстве случаев наши либералы, так же, как и революционеры старого бакунистского закала, принадлежали к так называемой „интеллигенции“. Для многих людей из этого социального слоя либерализм часто является только одной из фаз эволюции. Тот же самый человек, который был „социалистом“ на университетской скамье, становится „либералом“ по получении диплома, когда удалось устроиться и составить себе положение“ [1]).

Выше я уже отметил, что Плеханов отделяет понятие либералы от понятия буржуазия, мы здесь имеем ясную и точную формулировку его мысли. Либерал—это, прежде всего, остепенившийся интеллигент-радикал, отсюда и его различие от западного своего прообраза. „Западные либералы говорят, что рабочий может много выиграть, живя в мире с капиталом. Русские либералы ничего не говорят по этому поводу по той причине, что они отрицают самое существование пролетариата в России“ [2]). Они не прочь пококетничать с народом, но под словом „народ“ они разумеют, подобно своим народническим теориям, крестьянство. Этим русское либеральное движение обрекает себя на бездействие и бессилие, ибо известно, „что везде, где либеральные партии имели влияние на политическую жизнь своей страны, они обязаны были этим влиянием поддержке народа и, в особенности, пролетариата. Без этой ценной поддержки они теряют всю свою силу, потому что вдали от народа либеральная партия только штаб без армии, а штабы сами по себе не могут никому внушать страха“ [3]). Царизм не без основания спокоен по части либералов: он подкупает буржуазию и тем задерживает ее переход в либеральный лагерь, „сторонники которого рекрутируются, главным образом, среди буржуазных идеологов „либеральных профессий“ [1]). Не они, а рабочий класс в состоянии ниспровергнуть самодержание. „С промышленным пролетариатом впервые в нашей истории появляется революционная сила, способная ниспровергнуть царизм и ввести нашу страну в великую семью цивилизованных народов. И мы можем без всякого преувеличения сказать, что вся дальнейшая эволюция России зависит от умственного развития русского пролетариата“ [1]).

[1]) Г. В. Плеханов. Сочин., т. III, стр. 140.
[2]) „Под знаменем марксизма“ № 6—7 за 1923 г., стр. 83.
[3]) Там же, стр. 84.

Не трудно заметить, что Плеханов в кратких словах резюмирует для делегатов Конгресса те свои мысли, которые он развивал в течение всех 80-х годов.

Тем не менее мы сочли важным остановиться на докладе, ибо он дает ясную формулировку того, что понимает Плеханов под либералами и какую зависимость он устанавливает между ними и буржуазией. Это важно именно потому, что, когда в дальнейшем на сцене появятся подлинные идеологи буржуазии, тогдашние либералы потеряют свое самостоятельное значение и своим именем будут украшать совершенно новое содержание.

С ростом рабочего движения неизбежно должен был уже практически возникнуть ряд вопросов вокруг отношения к буржуазным партиям.

Допустим ли компромисс с ними? Анархисты, которые в начале 90-ых годов особенно шумели, выдвигали безоговорочно отрицательный ответ на этот вопрос.

Разумеется, вопрос этот не был столь остр для русских организаций, как для германской партии, но все же ответ Плеханова на этот вопрос, написанный для немцев, и для нас представляет интерес, он позволяет нам выяснить развитие взгляда Плеханова на этот вопрос. „Много говорят о том, что социалисты не должны вступать ни в какие компромиссы с буржуазией. Те, что говорят это, совершенно правы. Но что называть компромиссом с буржуазией? Когда пролетариат борется вместе и одновременно с либеральной буржуазией против феодализма, не может ли тогда показаться, что пролетариат вступил в сделку с буржуазией. Совсем нет, так как всякий компромисс с буржуазией есть политический договор, который в той или иной форме должен задержать развитие классового самосознания рабочих. Поскольку тактика социалистической партии в какой-нибудь стране способствует прояснению этого самосознания, смешно говорить о компромиссах, каковы бы ни были временные отношения социалистов к другим политическим партиям“ [2]).

Это почти то же, что было сказано им в письмах его о голоде, но более ясно и более точно. Вопрос о компромиссе есть вопрос революционной целесообразности. Это несомненно. Но анархисты недаром метафизики, этого им не понять.

4.

Конец 90-х годов почти целиком ушел на теоретическую борьбу с народниками, с бернштейнианцами, неокантианцами, с легальным марксизмом.

Плеханов занимался разработкой целого ряда теоретических проблем, пытался использовать „легальные возможности“ для пропаганды марксизма в России.

[1]) „Под знаменем марксизма“, № 6—7 за 1923 г., стр. 87.
[2]) Г. В. Плеханов, Сочин., том IV, стр. 257.

На практике шла та же подготовка, то же накопление сил для будущего революционного взрыва. Вторая половина 90-х годов была временем созревания тех возможностей, которые давно уже наметились в рабочем классе и о которых неустанно говорил Плеханов. Его пропаганда в этом деле играла исключительно важную роль. Вся подрастающая революционная молодежь на его трудах училась научному социализму, он своей пропагандой готовил основной кадр нарождающейся партии.

Но уже в 1898 году появились симптомы того, что вновь на очередь дня станут вопросы, казалось бы, давно решенные. На этот раз, как результат практики, как потребность самого рабочего движения, встали почти все те вопросы, над разрешением которых так долго трудился Плеханов. В том числе и вопрос об отношении к либеральной буржуазии.

Выдвинутые при новой обстановке старые вопросы тем не менее не становились новыми; то обстоятельство, что в начале XX столетия старые вопросы были вновь выдвинуты, несмотря на их решение, могло натолкнуть на мысль, будто старое решение было неудовлетворительное. Но это не так. Не вследствие ошибок и недооценок в решении, а самой жизнью и самим потоком стихийного движения рабочего класса снизу выдвинуты были они вновь на очередь. То, что было теоретически выведено из разрозненных данных практики рабочего движения нашей страны и опыта западно-европейских партий, то к началу столетия нуждалось в проверке и испытании, то, что было теоретически предположено, то практика реализовала, и в процессе реализации стремилась осмыслить и теоретически оформить.

И читатель не забыл, надеюсь, что до сих пор рассмотренные положения Плеханова блестяще оправдывались при проверке, как столь же блестяще оправдало движение начала столетия учение Плеханова об отношении к либералам.

Одним из ярких доказательств роста пролетариата было возникновение у нас экономизма.

Это было совершенно неизбежным последствием непрерывного роста революционного движения. Были совершенно неизбежны попытки препятствовать возникновению самостоятельности политической партии пролетариата, известные слои рабочего класса, его наиболее привилегированная часть должна была вместе с радикальствующими интеллигентами, примкнувшими к рабочему движению, выдвинуть идею этапов в борьбе пролетариата за свое освобождение, и для данного этапа идею необходимости совместной с либералами и радикалами борьбы с самодержавием; но при „отсутствии самостоятельной политической рабочей партии такое „участие“ по необходимости превратилось бы в простое слияние с радикальной или либеральной буржуазией“ [1]). Эта точка зрения не чужда была и западно-европейской буржуазии, всюду такие попытки были. „Но стремление навязать рабочим этот символ веры означает лишь желание буржуазии эксплоатировать рабочих в политике“ [1]).

Таким образом экономисты играли у нас роль подголосков либерализма, проводниками буржуазного влияния на рабочий класс. Подлинный же представитель рабочего класса рассуждает иначе. „Русский рабочий класс страдает не только от капитализма, но и от недостаточного развития капитализма. Самым тяжелым для пролетариев последствием неразвитости нашей экономики является их политическое бесправие, делающее из них рабов первой встречной кокарды и чрезвычайно затрудняющее их борьбу с капиталистами. Завоевание политических прав, разрушение абсолютизма составляет поэтому необходимое условие правильного развития этой борьбы. Русский социал-демократ выясняет рабочему не только ту враждебную противоположность, которая разделяет его интересы от интересов предпринимателей, но также и ту, которая существует между его интересами, с одной стороны, и интересами самодержавия—с другой. Но интересы самодержавия враждебны интересам не одних только рабочих. Поэтому в борьбе с самодержавием заинтересованы не одни только рабочие. Русская социал-демократия сделала бы непростительную ошибку, если бы она упустила из виду это важное обстоятельство и не сумела воспользоваться им в интересах освободительного движения пролетариата. Она не может игнорировать те слои русского населения, в которых живет дух оппозиции. Маркс и Энгельс высказали в „Манифесте Коммунистической Партии“ ту мысль, что коммунисты обязаны поддерживать всякое революционное движение, направленное против существующего порядка. Эта мысль сохранила все свое великое значение и для нашего времени. Она должна руководить нас в наших отношениях к „обществу“. Мы не только не имеем права игнорировать существующее в его среде оппозиционное течение, но обязаны старательно и постоянно выставлять на вид сторонникам этих течений те наши политические стремления, которые делают из нас самых решительных и самых непримиримых врагов абсолютизма. Нам нечего бояться сближения с оппозиционными слоями нашего общества; нам надо позаботиться только о том, чтобы они не подчиняли нас своему влиянию и руководству. А такое подчинение сделалось бы возможным,—и даже неминуемым,—только в том случае, если бы у нас восторжествовало экономическое направление“ [1]). Но экономизм не восторжествовал и очень скоро был разбит в борьбе, тем самым первая попытка проведения буржуазного влияния на рабочее движение была не из удачных.

Разговор о ненужности особой политической партии при этом, разумеется, сводился к походу против социализма в интересах политической борьбы, к забвению классовой борьбы и сближению пролетариата с буржуазией.

Нужно при этом отметить, что такую тактику Плеханов принимал лишь до тех пор, пока борьба шла против самодержавия и в его лице против остатков феодализма, для запада же, где имеется уже пройденным этот этап, он в этом вопросе примыкал к точке зрения крайних левых. „По вопросу о союзе с буржуазными партиями конгрессу предложено было Гэдом решение, принятое за несколько дней до того на конгрессе французской рабочей партии в Иври и гласящее, что союзы этого рода (не забывайте, товарищи, что речь идет о западе, где уже существует конституционный порядок) всегда опасны для социалистической партии и потому их надо довести до минимума, заключая их только в исключительных случаях и только на время. Это решение было принято конгрессом единогласно. Разумеется, очень можно усумниться в том, что оно вполне точно выражало взгляд сторонников „нового метода“. Но они не возражали против него, вероятно, успокаивая себя тою мыслью, что дело не в самом решении, а в его истолковании“... „Но хотя решение,

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., т. XII, стр. 36 (цитирую по корректуре *В. В.*).

[1]) Там же, стр. 99—100.

принятое в Париже относительно союза с буржуазными партиями и может быть ложно истолковано теми, которые найдут свою выгоду в ложном его истолковании, все-таки не подлежит сомнению, что, принимая это решение, Парижский конгресс сделал все, от него зависящее, для того, чтобы ясно и точно ответить на стоявший перед ним вопрос" [1]). Использовать либеральную буржуазию можно лишь постольку, поскольку она оппозиционна, а ее оппозиция в силу ее положения неизбежно ограничивается борьбой с остатками феодализма. Ликвидация самодержавия ставит на сцену двух антиподов,— буржуазию и пролетариат,—между которыми, разумеется, не может быть никакого разговора о длительном союзе. Это логически неизбежно вытекает из общей позиции Плеханова.

Но вернемся к русским делам. Что не понимают упорно экономисты вслед за либералами, это то, что в политической борьбе нужна сила, которой не может являться либеральная и радикальная интеллигенция. В этом — основной вопрос! „Мы должны быть смирны, потому что мы бессильны. Это по-своему совершенно логично. Кто требует, тот должен быть готов, в случае отказа, вступить в борьбу. Для борьбы нужна сила. Исход борьбы зависит от соотношения сил. Кто заранее сознает себя бессильным, тот не требует ничего; он только просит и надеется. Все это вполне верно и все это значит, что свободо-мыслящая часть русских обывателей добьется своих благих пожеланий только в том случае, если будет обладать силой. Вопрос нашей политической эмансипации есть вопрос силы. Из этого само собой вытекает такой вывод. Кто не содействует, тем или другим способом, росту силы, способной положить конец существующему у нас порядку вещей, тот ровно ничего не делает для освобождения своей родины, а кто по той или другой причине, хотя бы, например, по причине неумения или нетерпения, препятствует росту этой силы, тот совершает тяжкий, хотя, может быть, и невольный грех против свободы" [2]).

Отсутствием этой силы и следует объяснить то, что русское общество до сего времени выдвигает на борьбу с царизмом лишь отдельных благородных лиц из своей среды, а не поднимается как один человек. „Постыдная апатичность нашего общества легко объясняется тем, что оно не могло рассчитывать на деятельную поддержку со стороны народа"... „В обществе явится бодрость и надежда на лучшее будущее, когда оно увидит, что в народной массе или хоть в некоторой, наиболее развитой ее части начинается движение, способное поколебать непоколебимую прежде основу „власти роковой" [3]). Такое движение уже не ожидание, не возможность, а реальный факт—это революционное движение рабочего класса. Массовые забастовки, стихийно прокатившиеся по России, поддержка рабочими студенческих волнений — лучшее указание либералам, где та сила, которая выведет общество из состояния бессилия. „Теперь ясно, что студенчество и общество могут быть сильны не „заботливой благожелательностью царя, составляющей надежную „опору" только для разбойников пешей и конной полиции, а поддержкой со стороны рабочего класса. Теперь борьба с царизмом утрачивает свой, некогда безнадежный характер. Теперь сама жизнь

[1]) Там же, стр. 107, 108.
[2]) Там же, стр. 153.
[3]) Там же, стр. 154, 155.

внятно отвечает на вопрос, где можно найти силу, необходимую для борьбы за политическую свободу" [1]). Таковая сила уже выступила на сцену, и обществу остается лишь поддержать эту силу. „Поддержка со стороны общества ускорит рост и приблизит торжество революционной силы народа" [2]).

Ближайшая задача революции — низвержение самодержавия — есть задача, осуществление которой в интересах не только рабочего класса, но и общества; совершенно ясно, почему интересы авангарда рабочего класса в этом пункте совпадают с интересами свободомыслящей части общества. „Полное и всестороннее совпадение наших интересов с интересами передовых элементов общества, а следовательно, и полное и всестороннее сочувствие этих элементов социал-демократии возможно было бы только в том случае, если бы мы, подобно нашим легальным будто бы марксистам, отказались от мысли о будущей диктатуре революционного пролетариата и ограничились проповедью „социальной реформы", не идущей дальше смягчения некоторых грубых и устранения некоторых отсталых форм эксплоатации человека человеком. Уподобившись таким будто бы марксистам, мы действительно могли бы рассчитывать на симпатии решительно всего общества, за исключением только Разуваевых разных сословий, да небольшой горсти народников старой и новой формации. Сочувствие к нам всех остальных общественных слоев и течений несомненно было бы сильнее, а главное — цельнее. Но тогда мы превратились бы в смягченных и облагороженных буржуа и перестали бы быть партией революционного пролетариата. А это обстоятельство значительно подорвало бы нашу силу, силу всего освободительного движения, идущего из среды народа" [3]).

Подорвало бы, ибо пролетариат, который составляет подлинную реальную силу революции, черпает свою революционную энергию, достигает наибольшей силы тогда, „когда он ясно увидит нашу конечную цель: социальную революцию, полное уничтожение эксплоатации трудящихся. Вот почему ваше превращение в ручных будто бы марксистов было бы очень невыгодно для нас даже с точки зрения нашей ближайшей политической цели, не говоря уже об огромнейшей невыгоде его с точки зрения будущности русского рабочего движения. И вот почему о таком превращении не может быть и речи. Мы будем поддерживать всякое движение, направленное против существующего порядка вещей. Но мы ни на минуту не перестанем вырабатывать в умах рабочих ясное представление о нашей конечной цели. Мы хотим, чтобы борьба с царизмом служила для пролетариата школой, всесторонне развивающей его классовое самосознание" [4]).

Такова та программа действий, которая была выставлена против либеральной кашицы экономистов революционным марксизмом.

Если мы попытаемся в самых общих чертах сравнить ее с той программой, которую развивал Плеханов в 80-ых годах, то читатель, надеюсь, убедится я, что все более и более конкретизируя, уточняя формулировку, по существу Плеханов оставался верен тем же самым своим утверждениям, которые были им высказаны в начале его социал-демократической деятельности.

[1]) Там же, стр. 158—159.
[2]) Там же, стр. 161.
[3]) Там же, стр. 163—164.
[4]) Там же, стр. 164.

При желании можно было бы из „Искры" привести много отрывков, показывающих, как он последовательно и умело применял свои революционные положения к решению повседневных политических задач, но полагаю в этом нет нужды, весь приведенный до сего материал совершенно достаточен для суждения о том, как Плеханов разрешал вопрос, занимающий нас, и как с течением времени это решение все более и более уточнялось и конкретизировалось.

Наша программа формулировала ответ на этот вопрос следующими словами: „Стремясь к достижению своих ближайших политических и экономических целей, Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия поддерживает всякое оппозиционное и революционное движение, направленное против существующего в России общественного и политического порядка, решительно отвергая в то же время все реформаторские проекты, которые связаны с каким бы то ни было расширением или упрочением полицейско-чиновничьей опеки над трудящимися классами" [1]).

Внося таким образом в программу один из главных пунктов „Комм. Маниф." почти целиком, Плеханов имел все основания не ждать никаких возражений, однако вышло не так: на съезде Плеханов столкнулся по этому вопросу с экономистами.

Разъясняя, почему он включил в свой проект программы этот пункт, Плеханов говорит: „Выражение, о котором шла речь, почти буквально взято из „Манифеста Коммунистической Партии". И мы считали полезным повторить его в нашей программе. Мы считали это полезным потому, что хотели оттенить различие своих взглядов от взглядов народников и социалистов-утопистов. Народники и социалисты-утописты высказывались против политической борьбы буржуазии, будучи убеждены, что торжество политической свободы упрочит экономическое господство буржуазии. Мы готовы поддерживать это движение потому, что оно облегчает нашу собственную борьбу с существующим политическим порядком. Но, поддерживая его, мы, согласно тому, что говорится в том же Коммунистическом Манифесте, ни на минуту не перестаем развивать в умах рабочих сознание враждебной противоположности их интересов с интересами буржуазии. И вот почему наша поддержка его не заключает в себе ничего опасного для нас" [2]), отвечая Мартынову, он разъясняет ему, как он понимает этот пункт программы: „Я не понимаю, о чем, собственно, мы спорим. Тов. Мартынов говорит, что мы должны поддерживать только демократические движения. Ну, а как быть с либеральными движениями? Выступать против них? Этого мы не можем, не уподобляясь тем немецким „истинным социалистам", над которыми так едко смеется Маркс в Манифесте Коммунистической Партии. Тов. Мартынов говорит, что мы не должны поддерживать либералов, и поясняет это: мы должны критиковать их, разоблачать их половинчатость. Это верно. Но это мы должны делать также и по отношению к так называемым соц.-революционерам. Мы должны разоблачать их узость, их ограниченность; мы должны показать пролетариату, что истинно революционно теперь только социал-демократическое движение. Но, разоблачая узость и ограниченность всех других движений, кроме социал-демократического, мы обязаны разъяснить пролетариату, что, по сравнению с абсолютизмом, даже конституция, не дающая всеобщего избирательного права, есть

[1]) „Искра" № 21, от 1/VI 1902 г. „Проект программы Российской Социал-Демократической Рабочей Партии".

[2]) Полный текст протоколов. Второй очередной съезд Российск. Социал-Демократической Рабочей Партии. Издание Центрального Комитета, типография Партии.

шаг вперед, и что, поэтому, он не должен предпочитать существующий порядок такой конституции. Повторяю, поддерживать движение, направленное против существующего порядка, не значит говорить пролетариату, что оно достаточно широко, и этого отнюдь не говорит наша программа [1]).

Текст речи передан очень сжато и, нужно полагать, не совсем гладко, но при всем том по этой речи нетрудно составить себе представление о том, какие выдвигались возражения экономистами против этого пункта проекта. Но экономизм был прижат к стене и едва подавал признаки жизни, а после съезда и совсем погиб. Гораздо большую опасность представляло другое течение.

Мы уже выше отметили, что либералы конца 80-х годов рекрутировались из числа остепенившихся радикальствующих интеллигентов с течением времени, по мере левения буржуазии, по мере назревания ее классового самосознания, должны будут уступить свое место иному элементу с ярко выраженным классовым лицом и идеологией; на смену ничего не говорящего народолюбия либералов 80-х годов пришло ярко антипролетарское буржуазное движение, возглавляемое „Освобождением" Петра Струве.

И это было в порядке вещей. Вышедший из народничества трусливый и сантиментальный либерал той эпохи, когда рабочий класс еще только был в процессе собирания своих революционных сил, а под словом народ неизменно понималось крестьянство—был чрезвычайно обескуражен, когда после голода на историческую авансцену выдвинулась такая буйная стихийная сила, как рабочий класс, переворачивавший вверх дном не одно до того установившееся понятие и систему. Старый доморощенный либеральный интеллигент продолжал не понимать суть дела, не видеть противоречие между тем, что есть, и тем, что он себе представляет, в то время, как мелкая буржуазия и молодой капитализм выдвигали на его смену нового человека.

До определенного момента буржуазии был выгоден такой опустошительный поход рабочего класса на пережитки старины; поэтому и его „новые люди" присоединились к этому походу. Но шел он с ним лишь до определенного момента,—до того момента, как не выяснилось, что рабочий класс, его авангард, не только разрушает старые понятия и представления, но и создает свою новую классовую, прямо направленную против капитализма, систему, в которой васильственная революция занимает подобающее себе место повивальной бабки нового общества.

Либеральная интеллигенция новой формации, которая вооружалась марксизмом для борьбы с пережитком старых идеологий, мешающей во многих отношениях развитию идеологии буржуазии—совершенно естественно отошла в лагерь врагов рабочего класса, когда убедилась в невозможности помешать образованию классовой партии пролетариата, когда увидела в этом походе прямую угрозу капитализму, господству буржуазии.

Наиболее опасным врагом рабочего класса представлялись именно они,—кто еще вчера был в числе друзей, а ныне развивал антипролетарскую, антиреволюционную идеологию, противопоставляя революции—эволюцию, насильственным переворотам—мирные реформы. То, что блестяще подметил Плеханов в своей статье против П. Струве в последнем—свойственно всем легальным марксистам.

„Г. П. Струве стоит за „социальную реформу". Мы уже знаем, что эта пресловутая реформа не идет дальше штопания буржуазной

[1]) Протоколы II съезда.

общественной „ткани". В том виде, какой придается ей в теории г. П. Струве, она не только не угрожает господству буржуазии, но, напротив, обещает поддерживать его, содействуя упрочению „социального мира". И если наша крупная буржуазия до сих пор и слушать не хочет об этой „реформе", то это не мешает нашему „нео-марксизму" быть лучшим и самым передовым выражением общих специально политических интересов буржуазного класса, как целого. Теоретики нашей мелкой буржуазии видят дальше и судят лучше, чем дельцы—вожаки крупной. Поэтому ясно, что именно теоретикам нашей мелкой буржуазии будет принадлежать руководящая роль в освободительном движении нашего „среднего класса". Мы нисколько не удивимся, если тот или другой из наших критиков дойдет в этом смысле до степеней весьма „известных" и станет, например, во главе наших либералов".

Именно так. Делец—плохой теоретик и тут всегда дельцу на подмогу идет мелко-буржуазный интеллигент, либерал новой формации, который гораздо лучше, чем делец, выражает общие специально-политические интересы буржуазного класса, как целого; а дошли они действительно до степеней весьма „известных".

Это обязывало партию быть сугубо на чеку и разъяснять рабочему классу характер нового явления; нужно было, пользуясь всяким подходящим обстоятельством, показать передовому рабочему, что скрыто за этой проповедью мирных средств, какая классовая подоплека у этого нового реформизма.

Резолюция второго съезда, предложенная Плехановым, и отмечает как раз это:

„Принимая в соображение, что социал-демократия должна поддерживать буржуазию, поскольку она является революционной или только оппозиционной в борьбе с царизмом, что поэтому социал-демократия должна приветствовать пробуждение политического сознания русской буржуазии; но что, с другой стороны, она обязана разоблачать перед пролетариатом ограниченность и недостаточность освободительного движения буржуазии всюду, где бы ни проявилась эта ограниченность и недостаточность,—Второй Очередной Съезд Р.С.-Д.Р.П. настоятельно рекомендует всем товарищам обращать в своей пропаганде внимание рабочих на антиреволюционность и противопролетарский характер того направления, которое выразилось в органе г. П. Струве „Освобождение".

То, что мы хотели доказать в нашей статье, читатель, вероятно, вывел сам из всего того материала, который мы привели выше. Начиная с самого начала своей социал-демократической, революционно-марксистской деятельности, Плеханов в числе других вопросов дал подлинно революционное решение и по занимаемому нас вопросу; постановления II съезда и формула нашей программы прямо и непосредственный вывод из всего того, что Плеханов писал по этому вопросу.

Статья г. Пролетариат и мелко-буржуазная демократия (крестьянство и интеллигенция).

Но если либеральная буржуазия занимала такое исключительно большое место в политических расчетах Плеханова, то крестьянство, наоборот, было им не дооценено, во всяком случае из всех общественных классов, которыми рабочему классу надлежало руководить, и над

которыми рабочий класс должен был быть гегемоном, крестьянство занимало в его расчетах незаслуженно малое место.

Объясняется это рядом причин. Во-первых, это следует объяснить реакцией против неномерного увлечения крестьянством народников и либералов, во-вторых—и это очень важно отметить—крайне медленный процесс разложения сельской общины давал очень мало оснований надеяться, что крестьянство к моменту революции будет достаточно политически зрело, и затем западно-европейский пример, где крестьянство нередко выступало как реакционная сила,—все эти причины в совокупности мешали Плеханову с надлежащей объективностью оценивать роль крестьянства в предстоящей революции.

Однако было бы большой ошибкой на этом основании утверждать, что Коммунистическая Партия в своем огромном наследстве от Плеханова не имела ничего по вопросу о крестьянстве.

Ошибка. И по вопросу о крестьянстве мы от Плеханова получили много чрезвычайно ценных указаний и суждений, которые в последующем ходе революции вошли целиком в наше большевистское построение, послужили основой нашего большевистского учения.

Попытаемся дать читателю представление о той сумме идей, которую Плеханов до II съезда внес в сокровищницу пролетарской мысли по обсуждаемому вопросу.

Уже с первых шагов марксизма в России враги его бросали ему упрек в том, будто он не придавал никакого значения крестьянству: метафизику, каковыми были и народники и либералы, очень не трудно было из утверждений Маркса сделать ряд выводов, нелепость которых для марксиста не подлежит сомнению. Так, например, из утверждения марксистов, что община разлагается, выбрасывая при этом из деревень пролетаризованную бедноту, служащую резервом для промышленности, постоянный резерв—из которого рекрутируется рабочий класс—враги марксизма делали вывод, будто марксисты учат, что социалисты в среде крестьянства не встретят поддержки до момента, когда крестьянин не превратится в безземельного крестьянина.

Нелепость подобного „вывода" очевидна, ошибка заключается в том, что смешивается в одну кучу неизбежный процесс пролетаризации части крестьянства с сословно-классовыми интересами крестьянства, которые, ведь, действуют параллельно с процессом экономической дифференциации крестьянства под влиянием возникновения и развития в стране капитализма, осознания сословно-классовых интересов хозяйственно устойчивых крестьян-собственников, не народились в непосредственной и прямой связи с процессом развала общины, пролетаризацией бедноты и т. д. Отвечая на подобные умозаключения, Плеханов справедливо отмечает: „Мы думаем, что, в общем, русское крестьянство отнеслось бы с большой симпатией ко всякой мере, имеющей в виду так называемую „национализацию земли". При возможности сколько-нибудь свободной агитации в его среде оно отнеслось бы с сочувствием и к социалистам, которые не замедлили бы, разумеется, внести требование такого рода мер в свою программу. Но мы не преувеличиваем сил наших социалистов и не игнорируем тех препятствий, того сопротивления среды, с которыми им неизбежно придется считаться в своей деятельности. Поэтому, и только поэтому, мы думаем, что им следует, на первое время, сосредоточить главное свое внимание на промышленных центрах. Современное сельское население, живущее при отсталых социальных условиях, не только менее промышленных рабочих способно к сознательной поли-

тической инициативе, но и менее их восприимчиво к движению, начатому нашей революционной интеллигенцией. Ему труднее усвоить социалистические учения, потому что условия его жизни слишком непохожи на условия, породившие эти учения. К тому же, крестьянство переживает теперь тяжелый, критический период. Прежние „старо-дедовские устои“ его хозяйства рушатся, „сама несчастная община дискредитируется в его глазах“, новые же формы труда и жизни еще только складываются, и этот сознательный процесс обнаруживает наибольшую интенсивность именно в промышленных центрах. Как вода, размывая и разрушая одну часть почвы, образует в других местах новые осадки и отложения, так процесс русского социального развития образует новые общественные формации, разрушая вековые формы отношения крестьян к земле и друг к другу. Эти новые общественные формации носят в себе зародыши нового общественного движения, которое одно только и может положить конец эксплоатации трудящегося населения России“ [1]).

Таким новым общественным движением является рабочее движение, которое не может остаться безучастным к судьбам движения крестьянства; социалистическая партия пролетариата, добившись политической свободы, „должна будет начать систематическую пропаганду социализма в среде крестьянства“ [2]).

И если обнаружится, что среди крестьянства имеются возможности сильного самостоятельного движения, то рабочая партия была бы безнадежно доктринерской, если не изменила бы в соответствии с этим распределением своих сил: „едва ли нужно прибавлять, что наши социалисты должны были бы изменить распределение своих сил в народе, если бы в среде крестьянства обнаружилось сильное самостоятельное движение“ [2]).

Нам кажется совершенно бессомненным, что вышеприведенная первая попытка дать систематизированный ответ на отношение к крестьянству способна удовлетворить самого требовательного марксиста.

На самом деле, стоит только не упускать из виду экономическое состояние страны и классовые отношения 80 годов, этот действительно критический период для русского крестьянства, чтобы совершенно оправдать, во-первых, чрезвычайно сдержанный характер ответа, а во-вторых, особенно настойчивое перенесение центра тяжести всей деятельности в рабочую среду. Действительно, единственный класс, который мог особенно быстро прийти к политической зрелости, был рабочий класс, в то время как крестьянство в эту эпоху представляло собой еще совершенно не определившуюся, не дифференцированную, очень косную массу, которая не изжила даже своего сословного лица. Строить свои революционные расчеты на нем было бы чрезмерной близорукостью, ближайшую задачу революции может выполнить лишь рабочий класс, гегемон грядущей революции—ему максимум внимания и труда должны посвятить истинные революционеры.

Повторяю, самый требовательный марксист наших дней не может обвинить Плеханова ни в чем, что бы противоречило марксизму.

„Наши разногласия“ лишь подвели подробный экономический фундамент под вышеприведенное утверждение.

Когда хотят подчеркнуть непоследовательность Плеханова в 80-х годах, обычно указывают на его отношение к общине и роль его в грядущей социалистической революции. „Всем известно,

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 87.
[2]) Там же, стр. 88.

что современная сельская община должна уступить место коммунизму, или окончательно разложиться. В то же время экономическая организация общины не имеет тех пружин, которые толкали бы ее на путь коммунистического развития. Облегчая переход нашего крестьянства к коммунизму, община не может, однако, сообщить ему необходимой для такого перехода инициативы. Напротив, развитие товарного производства все более и более подрывает старый общинный принцип. И нет у нашей народнической интеллигенции возможности одним решительным движением устранить это коренное противоречие. На ее глазах некоторая часть сельских общин падает, разрушается, становится „бичом и тормозом“ беднейшей части общинников. Как ни печально для нее это явление, но она решительно не в силах помочь ему в настоящее время. Между „народом“ и народолюбцами нет решительно никакой связи. Разлагающаяся община остается сама по себе, ее интеллигентные печальники—сами по себе, и ни та, ни другие не в состоянии положить конец этому печальному положению дел. Как же выйти из этого противоречия? Неужели нашей интеллигенции приходится махнуть рукой на всякую попытку практической деятельности и утешаться „утопиями“ во вкусе Г. Успенского? Ничуть не бывало. Наши народники могут спасти, по крайней мере, некоторую часть сельских общин, если только они пожелают апеллировать к диалектике нашего общественного развития. Но и такая апелляция возможна только при посредстве рабочей социалистической партии“ [1]).

Спора быть не может о том, что община разлагается, и при своем распадении она выделяет силу (особенно в промышленных губерниях), которой революционеры не могут пренебречь. Сила эта пролетариат. „Через них и с их помощью социалистическая пропаганда проникнет, наконец, во все закоулки деревенской России. Кроме того, своевременно сплоченные и организованные в одну рабочую партию, они могут послужить главным оплотом социалистической агитации в пользу экономических реформ, предохраняющих общину от повсеместного разложения. А когда придет час окончательной победы рабочей партии над высшими сословиями, то опять-таки она, и только она, возьмет на себя инициативу социалистической организации национального производства. Под ее влиянием—а при случае и давлением—сохранившиеся сельские общины, действительно, начнут переходить в высшую, коммунистическую форму. Тогда выгоды, представляемые общинным землевладением, станут действительными, а не только возможными, и народнические мечты о самобытном развитии нашего крестьянства осуществятся по отношению, по крайней мере, к некоторой ее части. Таким образом силы, освобождающиеся при разложении общины в некоторых местностях России, могут предохранить ее от полного разложения в других местностях. Нужно только уметь правильно и своевременно утилизировать и направить эти силы, т.-е. как можно скорее организовать их в социал-демократическую партию“ [2]).

Несомненно, все это—компромисс, который никак не мирился с тем блестящим анализом хозяйственных тенденций, которые господствовали в России.

Противоречие не скрыть и тем, что Плеханов значительно ослабляет силу своего утверждения оговорками и ограничениями.

Откуда эта невязка? Некоторые историки утверждают, что, на

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 347.
[2]) Там же, стр. 348.

самом деле, Плеханов в эту пору еще не изжил остатков своего былого народничества.

Это не верно. Если бы это было так, тогда противоречивые и непоследовательные суждения заметны были бы на всем протяжении обоих его блестящих трудов. Однако ни один историк этого не утверждал и утверждать не в силе будет. Всему его строгому марксистскому построению резко противоречит лишь его два утверждения: приведенное—об общине и о терроре.

Не ясно ли из этого, что правы не историки, а сам Плеханов, который дает, на наш взгляд, чрезвычайно правдоподобное объяснение обсуждаемому факту?

Нельзя было не считаться с установившимися предрассудками революционной интеллигенции, нельзя было не уступать в пунктах, где такая попытка не могла искривить общую линию ортодоксального марксизма. И Плеханов уступил в двух пунктах наиболее одиозных, но и наиболее безвредных.

Разумеется, ожидаемого эффекта уступка не дала, но это произошло не по вине Плеханова. Уже к концу 80 годов была изжита всякая иллюзия на счет того, что можно привлечь в лагерь революционного марксизма народническую интеллигенцию путем уступок. Правда, оптимистическая компромиссная формула „Наших разногласий" еще сохранена в программе 1888 года. Перечисляя требования, выдвигаемые социал-демократией, Плеханов резюмирует: „Эти требования настолько же благоприятны интересам крестьянства, как и интересам промышленных рабочих; поэтому, добиваясь их осуществления, рабочая партия проложит себе широкий путь для сближения с земледельческим населением. Выброшенный из деревни в качестве обедневшего члена общины, пролетарий вернется в нее социал-демократическим агитатором. Его появление в этой роли изменит безнадежную теперь судьбу общины. Ее разложение неотвратимо лишь до тех пор, пока само это разложение не создаст новой народной силы, могущей положить конец царству капитализма. Такой силой явится рабочая партия и увлеченная ею беднейшая часть крестьянства" [1].

Но уже в разговоре с Конституционалистом он говорит либералу: „Возражая против нас, все вы ссылаетесь на русского мужика; мужик является в вашем представлении несокрушимой плотиной, о которую должны разбиться все волны западно-европейского рабочего движения. Допустим на минуту, что вы правы, что эта плотина действительно так прочна, как вы воображаете. Тогда наше дело становится безнадежным, но вместе с этим, и притом гораздо в большей степени, обнаруживается безнадежность и вашего дела. Если русский крестьянин не способен увлечься социал-демократической программой, то еще меньше способен он проникнуться сознанием прелестей политической свободы. Всегда и везде, как только начиналось образование больших государств, земледельческие общины с их патриархальным бытом служили самой прочной основой деспотизма. Только с разложением этого патриархального быта и с развитием городского населения являлись силы, способные положить предел неограниченной власти монарха. Россия не составляет исключения из этого общего правила" [2].

Однако только с голода можно считать более или менее выяснившимся его взгляд на крестьянство. Голод имел много последствий

[1] Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 404.
[2] Там же, том III, стр. 21.

и обнаружил очень много такого, что творилось в глубине народной жизни.

В числе многих подобных скрытых процессов в годы голода совершенно ясно стало видно классовое расслоение, которое прошло по деревне и продолжало с возрастающей интенсивностью протекать. Было совершенно естественно, разумеется, что при политических расчетах и планах в дальнейшем нельзя было упускать из виду этот факт.

Как повлияло это обстоятельство на построение Плеханова?

В письмах о голоде он пишет: „Крестьяне... Но тут я должен заметить, что крестьянство не класс, а сословие. В этом сословии есть теперь и богачи („тысячники"), и бедняки (деревенская „голь", „кочевые народы"), и эксплоататоры, и их жертвы, словом, люди, принадлежащие к различным общественным классам. Разумеется, сельская буржуазия не станет сочувствовать социал-демократам, но сельский пролетариат всегда был и будет естественным союзником городского. Точно так же и бедные крестьяне (а таких большинство) непременно пойдут за социал-демократами, если только те не пожелают оттолкнуть их, что, конечно, невозможно" [1]. Как он практически представляет работу социал-демократии в крестьянской среде, показывают следующие, очень интересные строки. Предполагая, что Земский Собор уже собран, и что буржуазия вынуждена решать аграрную проблему, он пишет: „Положим, что поднимается речь об уменьшении выкупных платежей. Что делают социал-демократы? Непримиримые и неутомимые революционеры, они ведут беспрерывную агитацию; они громят одних, будят других; они обличают скаредность буржуазии; они „идут в народ" и убеждают крестьян, что их обманывают, их грабят буржуазные депутаты, не решающиеся совсем отменить выкупные платежи. А к чему приведет такая агитация? Крестьянин скажет, что социал-демократы совершенно правы, и если он уже раньше не голосовал за их кандидата, он подаст за него голос в следующий раз. Впрочем, может случиться, что он и не станет дожидаться следующих выборов; может случиться, что народ, как говорили во время Великой Революции, очистит Земский Собор новым революционным взмахом своей руки. Но и в таком случае он будет действовать под руководством социал-демократов.—Или представим себе, что Собор рассуждает о подоходном налоге. Представители буржуазии вилят, что необходимо облегчить давящее крестьянина податное бремя; социал-демократы опять бьют тревогу. Они требуют прогрессивного налога, от которого совершенно была бы избавлена неимущая часть населения. Что возразит бедный крестьянин против их требований? Помилуйте, какие тут возражения? Он скажет, что они совершенно разумны, и он перейдет на сторону социал-демократов, если не сделал этого раньше. Положим, наконец, что на Соборе заговорили об увеличении крестьянских наделов. Буржуазные представители надеются все уладить незначительными прирезками. Но социал-демократы и тут не оставляют их в покое. Они добиваются полной экспроприации крупных землевладельцев и обращения земли в национальную собственность. Неужели крестьяне хоть одним словом осудят их поведение"? [2].

Полную отмену выкупных операций, снятие налогов с малоимущих крестьян, полная экспроприация крупных землевладельцев и превращение земли в собственность народа—действительно, это программа, которой крестьянская беднота не может не увлечься.

[1] Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 410.
[2] Там же, стр. 410—411.

Классовая точка зрения в крестьянском вопросе—одна из самых верных гарантий от ошибок при решении очень запутанной аграрной проблемы.

В тех же письмах Плеханов разъясняет лозунг, который он дал во „Всеросс. разорении" о восстановлении крестьянского хозяйства. „Что понимаем мы под восстановлением в конец расстроенного крестьянского хозяйства? Восстановить крестьянское хозяйство значит, как я говорил уже выше, дать русскому землевладельцу возможность сеять хлеб, а не голод" [1]). Но на какой основе произойдет это восстановление? Трудно предсказать,—быть может, появление новой аграрной буржуазии облегчит это, а, может быть, и другое. „В разгаре революционного движения у крестьян может явиться желание придать делу другой оборот: обеспечить себе настоящую, а не на бумаге только фигурирующую поземельную собственность. И мы непременно будем поддерживать крестьян в таком их намерении. Мы постараемся повести их дальше, вплоть до экспроприации крупных землевладельцев. А что из этого выйдет? Выйдет могучее революционное движение, отстраниться от которого значило бы изменить принципам социализма. Ну, а если крестьяне, отняв земли у крупных землевладельцев, переделят их между общинами? „И в том не вижу я беды" [1]).

Действительно, в том мало беды. Однако это утверждение противоречит формуле „Наших разногласий"—заметит читатель. Противоречит лишь формально, но не по существу, и это формальное противоречие проистекает из тех уступок, о которых я говорил выше. Если отбросить то, что явилось уступкой революционной интеллигенции, то сужденце получится, нисколько не противоречащее тому, что было изложено. „По вопросу об общине русские социалисты-утописты рассуждали так: община хорошее дело; ее надо поддержать; следовательно, мы ее поддержим. Могли быть и другие утописты, которые сказали бы: община тормозит наше общественное развитие; ее надо устранить; следовательно, мы устраним общину. Социал-демократы раз-на-всегда распростились с утопиями; они сказали себе и другим: ход общественного развития определяется не симпатиями той или другой группы людей к тому или другому общественному учреждению, с соотношением общественных сил, от которого, в последнем счете, зависит самая прочность вышеуказанных симпатий. Не от нас зависит изменить ход экономической истории России. Но мы можем понять его и, сильные своим пониманием, явиться сознательными революционными деятелями. Народники плачут о том, что община разлагается. Они не видят того, что разложение общины создает новую общественную революционную силу, которая приведет нас к политической свободе и к социализму. Сила эта—пролетариат, с которым мы должны, прежде всего, сблизиться. Вот и все" [2]).

Этим разъяснением, по-моему, разбивается последнее сомнение насчет подлинных причин, вызвавших то место в „Наших разногласиях", которые я выше привел.

Историки не могут не признать своей ошибки.

То, что так ясно отобразил голод, внесло очень много ясности в построение Плеханова. Пока там интеллигенция спорила о русском социализме, о самобытной России, об исконных началах народной жизни, в глубине России совершался медленно процесс, который основательно изменил экономическое лицо страны, отстранил тот хозяйственный строй, который и породил идеологию самобытности, выдвинув вместо него совершенно иной. Этот процесс естественно оказал очень большое влияние на тактику социал-демократии по вопросу об отношении к крестьянству.

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 418—419.
[2]) Там же, стр. 419.

Всего года два спустя после голода Плеханов писал польским товарищам: „пока мы углублялись в историческое сознание русского народа", окончательно исчезла та экономическая почва, на которой оно выросло. Дело тут не в том, что народ беднел все более и более, как ни важно само по себе это явление. Дело в том, что количественные изменения в положении земледельца, беспрерывно накопляясь, привели к глубокому качественному его изменению. Теперь русский земледелец совсем не тот идеализованный крестьянин, с которым собирались иметь дело революционеры-народники 70-х годов. Совершенно выбитый из своего старого, веками завещанного крестьянского обихода, он поневоле приходит в движение и поневоле начинает расшатывать здание абсолютизма, прочно покоившееся на его широкой спине в течение целых столетий. Вот почему было бы величайшей нелепостью, невероятнейшим, позорнейшим доктринерством думать, что русские социал-демократы не должны воздействовать на крестьянство. Совершенно наоборот. Мы обязаны воздействовать на крестьянство, мы обязаны употребить все усилия, чтобы внести в его среду революционное сознание, заботясь только о том, чтобы крестьянство перестало воздействовать на нас, т.-е. чтобы воспоминание об его „историческом сознании" не поддерживало „интеллигентской" склонности к утопиям. В этом смысле мы и говорим, что, воздействуя на крестьянство, интеллигенция должна твердо держаться точки зрения пролетариата. А кому ясен этот смысл наших слов, тот понимает, что „много" или „мало" у нас „рабочих", но правильная оценка современных наших общественных отношений может быть дана только современным научным социализмом, и что дело не в числе рабочих, существующих в данное время, а в общем направлении нашего экономического развития" [1]).

Так медленно, шаг за шагом, накапливались элементы будущей тактики большевизма. Я нарочно привел большие отрывки, чтобы убедить читателя, что установившийся взгляд не верен и нуждается в очень большом коррективе.

В эпоху „Искры" нужно было бы лишь с возможно большей энергией проводить в жизнь эту программу, экспериментально наметившуюся к концу XIX века. Несколько примеров будет достаточно, надеюсь, чтобы доказать, что „Искра" это и делала, пользуясь всеми удобными случаями и фактами.

Вразумляя экономистов, сколь необходима политика, и рассказывая им, как следует вести политическую агитацию, Плеханов указывает в числе других мер также и усиленное распространение летучек и воззваний. „Замечу кстати, что в листках и воззваниях нам следует обращаться при этом не только к рабочим, но также и к крестьянам, которых этот процесс касается всего ближе. Я уже сказал, что многие промышленные рабочие имеют в деревне отцов и братьев. Но ведь кроме промышленных рабочих есть еще и сельско-хозяйственные. Такими являются те из крестьян, которые по незначительности своего земельного надела живут продажей своей рабочей силы. Эти крестьяне—те же пролетарии, и горе нам, если мы позабудем об этом. Правда, промышленные ра-

[1]) А. Тун, История революционных движений в России, стр. 278.

бочие восприимчивее сельско-хозяйственных, и потому первые наши усилия естественно направляются на промышленные центры. Но чем большим успехом увенчаются эти наши усилия, т.-е. чем более возрастет наше влияние на промышленных рабочих, тем возможнее и необходимее станет для нас революционное воздействие на деревню. Зная это, мы уже теперь должны прокладывать себе дорогу в нее всякий раз, когда к этому представляется удобный повод. А между такими поводами едва ли не первое место принадлежит хроническим голодовкам и сопровождающим их стеснительным распоряжениям нашего попечительного начальства" [1]).

Проект программы в целях „устранения остатков крепостного порядка, тяжелым гнетом лежащих на крестьянах, и в интересах свободного развития классовой борьбы в деревне" [2]) предлагает, как известно: 1) отмену выкупных и оброчных платежей, 2) отмену законов, стесняющих крестьянам распоряжение землей, 3) возвращение выкупных сумм, 4) возвращение отрезков и 5) объявление недействительными кабальных сделок.

Я перечислил это не с тем, чтобы заняться генезисом приведенных требований, меня здесь не занимает история аграрной программы, я это привел для того, чтобы был ясен тот отрывок из его комментария к программе, который разъясняет требования аграрной части программы. Указывая на то место, которое занимает мелкий производитель в обществе, на консервативный характер его стремлений, Плеханов пишет: „В качестве партии, наиболее всех других заинтересованной в торжестве демократических принципов политического устройства, социал-демократия, с своей стороны, выставляет ряд требований, осуществление которых значительно облегчило бы положение мелкого крестьянства,—как и всей вообще трудящейся массы,—ни мало не задерживая при этом быстрого хода современного экономического развития. Эти требования и теперь местами обеспечивают нашей партии сочувствие и поддержку некоторой части крестьянства. Но этим сочувствием они, в большинстве случаев, дарят ее именно как партию демократическую, а не как социальную демократию, не как партию социальной революции. Чтобы научиться ценить ее, как социально-революционную партию, они должны предварительно убедиться в том, что социальная революция представляет для них, как и для рабочего класса, единственный действительный выход из нынешнего тяжелого положения. Но убедиться в этом именно и значит перейти на точку зрения пролетариата. Распространять это убеждение между всеми вообще мелкими производителями (и мелкими лавочниками) составляет бесспорную обязанность международной социал-демократии На эту бесспорную обязанность указывает и наш проект, когда говорит, что социальная демократия, организуя пролетариат, руководя всеми проявлениями его борьбы и выясняя ему историческое значение и необходимость социальной революции, вместе с тем обнаруживает перед всей остальной трудящейся массой безнадежность ее положения в капиталистическом обществе и необходимость социальной революции в интересах ее собственного освобождения от ига капитала" [3]).

---

1) Г. В. Плеханов, Сочин., том XII.

2) „Искра" № 21, от 1/VI—1902 г.—„Проект программы Российской Социал-Демократической рабочей партии".

3) „Заря" № 2 „Проект программы Российской Социал-Демократической Партии".

Во время обсуждения съездом программы много упреков было адресовано Плеханову и искровцам за недостаточную последовательность и решительность программы в аграрной части. Возражая им, Плеханов говорит: „Тов. Мартынов говорит, что отрезки не везде имеют одинаковое значение, так как местами помещики налегали особенно на выкупные платежи. Но здесь мы подкованы на обе ноги, потому что мы требуем возвращения и отрезков, и выкупных платежей. Поскольку же кабальные отношения вытекают из современного положения вещей, способ борьбы с ними указывается другой частью программы. Нам говорят наконец, что наши требования мизерны. Это напоминает возражения, делаемые нам анархистами, которые говорят нам что слишком мизерны требования, подобные, например, требованию сократить рабочий день. По их мнению, надо начать с социализации средств производства. Но это, конечно, только смешно. Когда нас упрекают в том, что мы будто бы против обращения земли в общественную собственность, то забывают, что наша конечная цель именно и заключается в передаче всех средств производства в общественную собственность, но на пути к этой конечной цели мы добиваемся ряда частных реформ. Требование возвращения отрезков принадлежит к числу частных требований. Но оно имеет одну особенность. Оно имеет модернизацию нашего общества. Только такие требования и заключает в себе наша аграрная программа. Когда речь идет о новейшем буржуазном обществе, мы стоим на точке зрения Каутского и не считаем нужным вырабатывать особую аграрную программу. Мы далеки от оппортунизма a la David" [1]).

Возражая Махову, он говорит: „По мнению тов. Махова, возвращение выкупных платежей не только нежелательная, но и демагогическая мера. Чтобы успокоить его, напомню ему требование, выставленное в 1848 году Марксом в „Neue Rheinische Zeitung"—требование о возвращении силезских миллиардов. Таким образом, в ответ на упрек в оппортунизме, скажу только, что этот упрек относится и к Марксу. Но и в самой аргументации Махова нет и намека, что эта мера демагогическая. Пусть даже крестьяне разделят между собой полученные деньги. Я не вижу ничего худого в том, что сотни миллионов пойдут на улучшение крестьянского хозяйства. Такое улучшение, конечно, только увеличит дифференциацию между крестьянами, но не будем этого бояться. Что касается Либера, то должен сказать, что вторая часть его речи не похожа на первую. Сначала он говорил нам об общих требованиях по отношению к крестьянам, а затем уже упрекал в отсутствии требований по отношению к сельско-хозяйственному пролетариату, т.-е. требовал конкретизации. Мы, конечно, не думаем, что в нашей программе нет пробелов, но тов. Либер этих пробелов не указал.

Перехожу к вопросу о знаменитом черном переделе. Нам говорят: выставляя требование о возвращении отрезков, мы должны помнить, что крестьяне пойдут дальше этого требования. Нас это нисколько не пугает. В самом деле: выясним себе значение черного передела. Интересно мнение Энгельса по этому поводу: „В деревне,—говорит он,—черный передел энергичнее всего пропагандируется именно богатыми кулаками, которые надеются, что отобранная у помещиков земля будет делиться „по деньгам", т.-е. перейдет к богачам". И, действительно, такое движение в пользу передела было бы движением в пользу буржуазии. Мы, конечно, не обязаны активно выставлять программу для буржуазии, но если в борьбе против остатков крепост-

---

1) Полный текст протоколов. Второй очередной Съезд Рос. Соц.-Дем. Рабочей Партии. Издание Центрального Комитета. Типография партии.

ных отношений крестьянство пошло по этому пути, то мы стали бы задерживать это прогрессивное движение. Наша роль состояла бы только в том, что, в отличие от наших противников социалистов-революционеров, которые видят в нем начало социализации, мы направили бы все силы, чтобы не оставить у пролетариата никаких иллюзий на счет результатов этого движения. Признавая возможность такого движения, мы должны себе сказать, что не мы, революционные социал-демократы, остановим этот процесс, крикнув ему, как некогда крикнул Архимед римским воинам: „Остановись! Ты испортишь нашу схему“ [1]).

Такова общая позиция Плеханова в вопросе об отношении пролетариата к крестьянскому движению. В „Искре“ уже с самого начала аграрно-крестьянский вопрос лучше всего и всего пристальнее изучал В. И. Ленин. И когда крестьянские волнения стали во всей России играть роль революционирующего фактора, Ленин уже выступал, как руководящий и направляющий политику партии в этом вопросе.

И аграрная часть программы формулирована под исключительным влиянием Ленина так, что история нашей партии заслугу решения аграрной политики соц.-демократии в огромной, исключительно большой степени, отнесет В. И. Ленину, особенно если иметь в виду ту огромную работу, которую он впоследствии проделал в этой области. Однако из вышеприведенного совершенно ясно, что Ленин унаследовал от Плеханова почти все основные элементы своей грядущей аграрной политики. Это ни в коей мере не умаляет значение проделанной В. И. Лениным работы. Наоборот, устанавливая генезис определенных идей Ленина, мы лишь еще сильнее и отчетливее выявим то, что подлинно принадлежит ему.

А устанавливая происхождение учения Ленина о крестьянстве, мы не можем не признать, что огромная доля идей унаследована им от Плеханова.

Приведенный выше материал, по моему разумению, не оставляет на этот счет никакого сомнения.

*

На вопросе об отношении пролетариата к мелкой буржуазной интеллигенции, как его понимает Плеханов, остановлюсь лишь вскользь. В дальнейшем история показала, что самостоятельного значения она не имела, внушительной силы, как единая группа, она не составляла,— в силу своего промежуточного классового положения она в разные этапы борьбы переходила то в одну, то в другую сторону, не усиливая, впрочем, ни ту, ни другую сторону настолько, чтобы приобрести значение самостоятельной общественной силы.

Это не трудно было предвидеть марксисту, и Плеханов, еще задолго до того, как практически интеллигенция показала себя половичатой и нерешительной, предвидел грядущую судьбу этой мелкобуржуазной группы.

В эпоху народничества взгляд на интеллигенцию был чрезвычайно оптимистичен. Тогда „интеллигенция“ играла в наших революционных расчетах роль благодетельного провидения русского народа, провидения, от воли которого зависит повернуть историческое колесо в ту или иную сторону. Как бы кто из революционеров ни объяснял современное порабощение русского народа—недостатком ли в нем

[1]) Полный текст протоколов.

понимания, отсутствием сплоченности и революционной энергии, или, наконец, полной неспособностью его к политической инициативе — каждый думал, однако, что вмешательство интеллигенции устранит указываемую им причину народного порабощения“ [1]).

Интеллигенции было отведено так много места в расчетах всех революционных фракций 70-х годов. Но это нисколько не означало, что революционерам той эпохи—в большинстве своем из интеллигенции—было ясно подлинное классовое лицо интеллигенции.

Наоборот, именно потому они так чрезмерно переоценивали роль ее, что, во-первых, были идеалистами и, во-вторых, не знали классовую природу интеллигенции; не знали и не могли поэтому объяснить свое бессилие, причину безрезультатности своей борьбы. „Русская интеллигенция“ сама есть плод, хотя, правда, совершенно нечаянный, петровского переворота, т.-е. начавшегося с тех пор обучения молодежи в „школах и академиях“. Устроенные более или менее по-европейски, школы эти прививали обучавшемуся в них юношеству многие европейские понятия, которым на каждом шагу противоречили русские порядки и прежде всего практика самодержавия. Понятно, поэтому, что часть русских образованных людей, не удовлетворяясь величественной перспективой табели о рангах, становится в оппозиционное отношение к правительству. Так образовался у нас слой, обыкновенно называемый интеллигенцией. Пока этот слой существовал на социальной основе, восходившей чуть ли не к одиннадцатому столетию, до тех пор он мог „бунтовать“ и увлекаться какими ему угодно утопиями, но не мог ровно ничего изменить в окружающей его действительности. В общем ходе русской жизни этот слой был—слоем „лишних людей“, он весь представлял собой какую-то „умную ненужность“, как выразился Герцен о некоторых из принадлежащих к нему разновидностей. С разрушением старой экономической основы русских общественных отношений, с появлением у нас рабочего класса, дело изменяется. Идя в рабочую среду, неся науку к работникам, пробуждая классовое сознание пролетариев, наши революционеры из „интеллигенции“ могут стать могучим фактором общественного развития,— они, которые нередко в полном отчаянии опускали руки, напрасно меняя программу за программой, как безнадежный больной напрасно бросается от одного медицинского снадобья к другому. Именно в среде пролетариата русские революционеры найдут себе ту „народную“ поддержку, которой у них не было до последнего времени [2]).

Что может сделать интеллигенцию могучим фактором? „Русская интеллигенция никогда не имела ни экономической, ни материальной силы. Она всегда была бедна и малочисленна, но у нее было свое могучее оружие, которое мы назовем оружием идеи. Бедная и малочисленная наша интеллигенция, как главная представительница умственного труда, являлась весьма значительной общественной силой, пока ее идеи хоть немного соответствовали общественному состоянию России. Но если в идеях заключался источник ее силы, то те же идеи могли явиться и причиной ее слабости“... „Материальной и экономической силы у нее, как мы уже сказали, не было никогда, а в настоящее время она утратила и силу идеи. Вот почему она играет теперь самую жалкую роль, умея лишь взывать к состраданию русского самодержца. Это состояние интеллигенции отражается и в ли-

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 132.
[2]) Там же, том III, стр. 78.

тературе. Упадок современной русской литературы означает прежде всего идейную беспомощность современной интеллигенции" [1]).

Такое плачевное состояние русской интеллигенции является результатом того, что интеллигенция не шла далее мелко-буржуазного социализма, а его идеи не развивались далее общих положений о благе народа.

Такая неопределенность идеологии была обусловлена классовым, или скорее межклассовым положением интеллигенции: „Интеллигенция нигде и никогда не составляла общественного класса, это противоречит самому понятию о таком классе. Интеллигенция могла бы, в крайнем случае, составить лишь касту, в качестве ученого сословия" [2]). Ее беда в том именно и заключается, что она сама склонна считать себя за особый общественный класс. „Наша так называемая интеллигенция и без того уже слишком склонна считать себя „самостоятельной общественной силой", которой нужно только придумать хорошенькую программку или,—как выражается „Свобода",—„комплекс принципов", чтобы переделать по-своему все общественные соотношения. Но именно потому наша „интеллигенция" и не приобрела до сих пор всего возможного для нее влияния на общественную жизнь. Пора уже перестать играть словами. То, что в известных кругах называется у нас интеллигенцией, составляет лишь небольшой общественный слой (слой неслужащих образованных „разночинцев"), который не может иметь самостоятельного исторического значения. В виду особенностей его положения, этому слою всего естественнее было бы примкнуть к рабочему классу (это класс в настоящем смысле этого слова), в среде которого нашего образованного разночинца ожидает в высшей степени плодотворная роль. Но этого, разумеется, не будет до тех пор, пока „в комплекс принципов" наших образованных разночинцев будет входить убеждение в том, что они составляют „особый класс", хотя и „не принадлежащий к числу древних политических формаций" [3]). Такая точка зрения—единственно правильная—не только гарантировала Плеханова от переоценки роли интеллигенции, но дала ему возможность правильно определить задачи интеллигенции и перспективы ее деятельности.

Либо с рабочим классом и тогда могучая революционная сила, тогда из „лишних людей" интеллигенция становится необходимостью, либо в буржуазно-либеральный лагерь,—но середина самостоятельного существования как класса, как общественной силы, для интеллигенции невозможна.

Процесс размежевания, расслоения в лагере интеллигенции шел очень долго, но шел именно в том направлении, в котором указывала российская социал-демократия.

Не думаю, чтобы была нужда в большом количестве цитат для доказательства выше высказанного положения. На всем протяжении своей политической и литературной деятельности Плеханов исходил из приведенного положения. Для нас было важно лишь установить, что интеллигенция в политическом построении Плеханова не играла самостоятельной роли.

Самый же вопрос об интеллигенции и ее судьбах нас здесь очень мало занимает.

---

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 247.
[2]) Там же, стр. 269.
[3]) Там же, стр. 270.

Закончим наше изложение взгляда Плеханова на отношение социализма к политической борьбе.

Мы проследили возникновение и развитие отдельных элементов этого основного политического вопроса и несомненно вынуждены признать, что по разобранным нами вопросам Плеханов является в российской социал-демократии (нетрудно было бы доказать, что и во всем II Интернационале) представителем самого последовательного революционного воззрения, во-первых, а самое главное, что Плеханов в этом вопросе является прямым и непосредственным подготовителем российского большевизма—все элементы его учения о социализме и политической борьбе вошли неприкосновенно в идеологию нашей партии и составляли основу нашей тактики начиная со II съезда.

Но это уже другой вопрос, о котором следует говорить особо.

В. Ваганян.

Гольбах.

(К 200-летию его рождения).

I.

В декабре исполнилось двести лет со дня рождения одного из самых выдающихся „просветителей" восемнадцатого века—знаменитого атеиста и материалиста Гольбаха. Можно с уверенностью сказать, что буржуазия современной Франции ничем не отметит этой чрезвычайно важной даты в истории ее развития и борьбы. Гольбах—один из самых крупных идеологов и вождей буржуазии в восемнадцатом веке, ныне ею забыт и предан проклятию. За эти двести лет она не только успела завоевать власть, осуществить для себя всю выставленную Гольбахом и его единомышленниками программу и насладиться вдоволь жизнью, но и забыть увлечения молодости, состариться и приблизиться к своему закату. Что здорово молодости, то старости смерть. Молодости свойственны увлечения. И естественно, что когда буржуазия выступила на историческую арену, она была обуреваема сильными страстями и воодушевлена передовыми идеями. На старости же лет мир представляется ей в совершенно другом, черном свете: буржуазия нынешняя страдает болезнью старости. Она видит впереди свой конец, свой закат, свою могилу. И в то же время на ее же глазах растет и крепнет могучий „могильщик", готовый в любой момент использовать свою силу для выполнения своей исторической миссии. Мировой пролетариат находится ныне в том же положении, в каком французская буржуазия находилась в конце XVIII века. Крушение феодального строя и замена его буржуазным имело значение всемирно-исторического события. Французская революция предуказала более отсталым странам их будущее развитие. Она стала прообразом для целого ряда будущих переворотов. Из идейного арсенала французской революционной мысли и практики черпали орудия борьбы последующие поколения во всех европейских странах. И подобно тому, как английское „просвещение" в качестве порождения и орудия революционной борьбы английской буржуазии послужило опорным пунктом для французской, так и французская

просветительная философия, как более последовательная и радикальная, является исходным пунктом для пролетарского мировоззрения, складывающегося в эпоху „бури и натиска" сороковых годов XIX столетия.

Буржуазия, выступившая с лозунгом „Ecrasez l'infame!", стала богобоязненной. Буржуазия, поставившая себе целью разрушить христианство, церковь и, наконец, религию, как таковую, впоследствии вернулась в лоно ортодоксального католичества. Буржуазия, противопоставившая теологии философию, превратила свою философию в некий вид теологии. Неверующая, атеистическая буржуазия, боровшаяся с феодализмом под знаменем материалистической философии, объявила последнюю „позором" человечества, когда это знамя было завоевано пролетариатом. Лучшие умы, облекавшие в плоть и кровь материалистической философии смутные стремления и потребности своего класса, выковавшие незаменимое оружие, с помощью которого одерживались победы над классовыми врагами—этот идейный авангард, к голосу которого прислушивалась так или иначе вся Европа, изменнически предан забвению и анафеме. Буржуазия в борьбе с пролетариатом вынуждена была, забыв свое прошлое, вернуться к средневековому миросозерцанию, пренебрегая всеми колоссальными успехами положительных наук. При таких условиях, пролетариат оказался единственным законным наследником того идейного богатства, которое осталось от этого замечательного „философского века". Буржуазия отреклась от этого наследия; пролетариат же подхватил его, сохранив при этом благодарную память к этим неустрашимым героям мысли, несмотря на свою ненависть к буржуазии. Такова диалектика истории. И если буржуазия имеет теперь все основания относиться с презрением к своему революционному прошлому, то пролетариат всегда относился с глубоким уважением к деятелям великой революции.

Гольбах принадлежит к тем мыслителям восемнадцатого века, которые подготовили революцию пропагандой своих идей и которые создали мировоззрение революции.

II.

Гольбах родился в декабре 1723 г. в Гейдесгейме, в Баварии. Отец оставил ему большое наследство. Гольбах поселился в Париже, женился на француженке и остался на всю жизнь в этой стране, ставшей для него второй родиной. Он открыл салон, который стал центром материалистической мысли. Здесь по воскресеньям и четвергам собирались Гельвеций, Дидро, Руссо, Гримм, Д'Аламбер, Нэжон и пр. и проводили обычно время в беседах на политические, философ-

ские и литературные темы. Салоны в то время, за отсутствием организованных политических партий, имели огромное значение, поскольку они их заменяли и служили организационными центрами, вокруг которых группировались люди с одинаковыми взглядами и стремлениями. Это были своего рода „партийные" ячейки своеобразного характера с тем, однако, отличием, что собственно политической деятельностью в узком смысле слова не занимались. Вся деятельность носила по преимуществу литературный характер. Но само собою разумеется, что литературная деятельность, которая заключалась в смелом бичевании и обличении церкви, монархии, духовенства и проч. в специальных работах, издававшихся анонимно за пределами Франции, но широко распространявшихся в самой стране, приобретала политический характер и способствовала оформлению взглядов и сплочению всех оппозиционно настроенных элементов. Гольбах являлся главой „философской партии". Он был, по выражению Морелле, maître d'hôtel de la philosophie. Будучи разносторонне образованным человеком, он приходил товарищам на помощь своими обширными знаниями во всех областях. Для Энциклопедии он доставлял статьи и заметки по вопросам естествознания и политики; он занимался много также и переводами работ Толэнда, Коллинса и др. с английского языка, как и работ по химии с немецкого, обогащая тем французскую научную литературу. Самостоятельные литературные выступления Гольбаха по вопросам философии, религии и морали начинаются, повидимому, лишь с 1767 г., т.-е. на 44 году его жизни. Гольбах был человеком скромным, добродушным и среди всеобщего разврата и распущенности тогдашнего французского аристократического общества в нравственном отношении безупречным. Полученное им от отца большое состояние он употребил не на разгульную и развратную жизнь, а исключительно на удовлетворение умственных потребностей. Он отличался широкой благотворительностью. В особенности много помогал своим друзьям и единомышленникам. Гольбах никогда не стремился занять первое место и играть первую роль. Он сам претендовал лишь на роль гостеприимного хозяина дома, всегда ласкового, добродушного, спокойного, но всем интересующегося и на все отзывающегося. В салоне Гольбаха обсуждались все литературные новинки; здесь выдвигались, получали признание и черпали вдохновение молодые таланты; отсюда выходили все революционные произведения, которые произвели переворот в умах. Салон Гольбаха являлся поистине генеральным штабом третьего сословия в его идейной борьбе со старой Францией.

Революция, таким образом, зарождается в XVIII в. в салонах и, в первую очередь, в салоне Гольбаха. Вожди имеют пока-что в виду только идейную борьбу, но идеи становятся, как известно, материальной силой, когда они овладевают массами. Эту истину прекрасно понимают просветители восемнадцатого века. Они тем более ее понимают, что чрезмерно или даже исключительно верят в силу разума. Поэтому они не довольствуются изданием „нелегальной" революционной литературы только для высших кругов интеллигенции и третьего сословия, а проявляют оживленную деятельность в области издания популярной литературы „для народа", т.-е. для масс, для широких кругов населения. И тут мы опять-таки видим на первом месте того же Гольбаха. Мы вовсе не хотим сказать, что просветители сознательно стремились к революции. Для нас важен объективный смысл их деятельности, хотя не следует забывать и того обстоятельства, что многие из них—и в частности Гольбах—отстаивали право народов на революцию. Как бы то ни было, одно несомненно: гольбахианцы многое сделали для подготовки и для формулировки основных лозунгов революции.

С 1767 г. Гольбах начинает печатать одну книгу за другой как в самой Франции (нелегально, конечно), так и за границей. Печатание этих произведений обставлялось с такой таинственностью (соблюдалась конспирация!), что зачастую ближайшие друзья Гольбаха не знали об его авторстве или узнавали случайно. Рукопись в таких случаях передавалась Нэжону, который в качестве книготорговца уже пристраивал ее где-нибудь в Нанси или Амстердаме или другом месте. Сам Гольбах зачастую узнавал о выходе в свет своей книги от кого-либо из своих друзей, успевших уже ознакомиться с содержанием новой книги, в то время как автор еще не видел печатного экземпляра своей работы. Помимо такого индивидуального творчества, которое тоже должно быть понято ограничительно, так как в салоне проблемы, разрабатываемые мыслителями, подвергались коллективному обсуждению, имело место и коллективное творчество в узком смысле слова. Так, напр., Энциклопедия представляет собою результат труда и усилий всех выдающихся ученых и литераторов того времени. Коллективным трудом является и знаменитая „Система природы" Гольбаха. При этом, разумеется, надо помнить, что подобно тому, как душой Энциклопедии, ее истинным организатором и руководителем являлся Дидро, так и настоящим автором „Системы природы" все же является Гольбах, несмотря на то, что некоторые главы написаны Дидро или Лагранжем. Среди „энциклопедистов" Гольбах больше всех выделялся разносторонностью своих знаний, твердостью и выдержанностью направления, так что он один, пожалуй мог привести в законченную систему свои взгляды. Никто не сделал столько для разоблачения христианства и критики религии вообще, сколько Гольбах. Многие из его работ могли бы принести большую пользу в борьбе с религиозными предрассудками и ныне, несмотря на то, что

точка зрения автора устарела, что он подходит ко всем этим явлениям с рационалистической точки зрения. Некоторые его работы являются во всей мировой атеистической литературе единственными в своем роде. Я имею в виду его „Разоблаченное христианство", „Естественная история суеверия", „Здравый смысл", „Жреческий обман" и проч. [1]). Конечно, Гольбах имел некоторых предшественников. Достаточно назвать Мелье. Но надо прямо сказать, что никто с такой настойчивостью, постоянством, убежденностью не боролся против религии, как он. Это он создал специальный род боевой атеистической литературы, в которой, к сожалению, есть еще нужда в наше время.

Материалистическая философия XVIII века получила законченное и систематическое выражение в его „Системе природы", где излагаются воззрения автора на природу, человека, общество, мораль, политику и проч. Это тоже в своем роде единственное произведение в мировой литературе. Ведь надо прямо сказать, что мы до Гольбаха не имели материалистической с и с т е м ы философии, которая, с одной стороны, ставила бы себе непосредственные п р а к т и ч е с к и е задачи, которая бы так тесно сплеталась с проблемами политическими и социальными, ибо каждая строка „системы" упирается в политику и призывает к революции (пусть даже порою и бессознательно для самого автора), а, с другой стороны, формулировала бы м и р о в о з з р е н и е революционного общественного класса, не прикрывая новое содержание старой ф о р м о й, не облекая ее в костюм отживающего класса, а облекая ее в новые формы, в новые одежды восходящего класса. Буржуазия в лице Гольбаха говорит полным голосом, откровенно на своем тогдашнем плебейском языке. В отличие от англичан, французская буржуазия не идет на принципиальные уступки, не хочет знать компромиссов. Она не допускает компромисса даже в деле т е р м и н о л о г и и, отбрасывая беспощадно весь старый хлам, все, что так или иначе исходит от классового врага. Французская предреволюционная литература—и в особенности „Система природы"—является и в этом отношении любопытным предзнаменованием и симптомом чрезвычайно обостренной классовой борьбы, которая получит свое политическое выражение в бескомпромиссной революции. Гильотина в политической борьбе соответствует „Разоблаченному христианству" и „Системе природы" в борьбе идейной.

Влияние Гольбаха на дальнейшее развитие материалистической мысли было огромно. Л. Фейербах, как в своей критике религии, так и в вопросах общего миросозерцания, примыкает непосредственно к Гольбаху и к Гельвецию, разумеется. Маркс и Энгельс также примыкают к французскому материализму; опираясь на Фейербаха и Гегеля, они развивают дальше и углубляют материалистическое миросозерцание. Если при этом прибавить, что „Фурье непосредственно исходит из учения французских материалистов", что бабувисты были материалистами, что и „разработанный коммунизм ведет свое происхождение непосредственно от французского материализма" (слова Маркса), что „учение материализма составляет логическую основу коммунизма" (Маркс), то для читателя станет вполне ясным историческое значение Гольбаха. Французский материализм вошел составной частью в мировоззрение научного коммунизма Маркса-Энгельса. Вот почему, несмотря на его „благородное" происхождение и на его принадлежность к буржуазии по своим взглядам и убеждениям, Гольбах в качестве пламенного борца за а т е и з м и м а т е р и а л и з м, принадлежит также и пролетариату.

[1]) Приходится пожалеть, что эти работы еще до сих пор не переведены на русский язык. Впрочем, „Здравый смысл" на-днях выходит из печати.

III.

Деятельность Гольбаха имела огромное культурно-историческое значение. Освободительные лозунги редко раздавались с высоты профессорских кафедр. В университетах и академиях всегда преподавали казенную философию, проповедывали официальное мировоззрение, т.-е. философию и мировоззрение господствующего класса. Поэтому естественно, что передовые, прогрессивные и революционные идеи рождались в недрах восходящего передового класса, по преимуществу, стало-быть, вне стен официальных „рассадников здания", в оппозиции к господствующим учениям. Не только Гольбаха, но и Вольтера трудно себе представить в роли профессоров, преподающих в университетах королевской Франции XVIII в. История философии приобрела бы совершенно другой характер, если бы историки не ограничивались прославлением главным образом профессоров философии, а обратились бы также к тем революционерам мысли, к которым доценты от философии и „ординарные" профессора относятся свысока, вследствие своей ограниченности и „ординарности". Гольбах является одним из таких революционеров мысли. Кто еще сделал так много в XVIII стол. для разрушения религиозных, метафизических и идеалистических предрассудков и для просвещения масс? Пусть он не обращался непосредственно к народу, но его революционные идеи проникли все же в массы и способствовали их просвещению и их освобождению. Гольбах сознательно стремился построить новую к у л ь т у р у на н о в ы х о с н о в а н и я х и разрушить старый мир, покоившийся идеологически на теологии. Фундаментом новой культуры должны были служить наука и разум—разум не как самодовлеющий фактор, а в союзе с опытом. М а т е р и а л и з м и а т е и з м должны были занять место и д е а л и з м а и т е о л о г и и, человек—место бога. Буржуазия не оказалась способной осуществить

этот грандиозный идеал. Человечество еще и поныне коснеет в предрассудках религиозных и спиритуалистических. Буржуазия из страха перед пролетариатом давно уже пошла в Каноссу,—непосредственно после великой революции. И только на долю пролетариата выпала почетная роль—построить новый мир и новое мировоззрение. Конечно, мировоззрение пролетариата существенно отличается от мировоззрения даже крайних представителей французского просвещения, но нельзя отрицать и того обстоятельства, что такие люди, как Гольбах, положили в фундамент нового здания несколько прочных камней, выдвинув требование атеистической и материалистической культуры, культуры, построенной на науке, а не на варварских предрассудках. Мыслители XVIII в. не понимали той истины, что новое мировоззрение, как идеологическое основание новой культуры, может быть лишь выражением нового общественного строя, нового мира, построенного на коммунистических или социалистических началах, что религиозные предрассудки и матафизические фикции питаются в значительной степени режимом частной собственности, эксплоатации и рабства „народа". Гольбах же думал, что религиозные иллюзии составляют результат заблуждений человечества и обмана жрецов, равно и средства политического порабощения народа. Он полагал, повидимому, что с разрушением феодального режима и торжеством буржуазного порядка непосредственно связано и торжество материализма и атеизма. Знаменитый материалист ошибся. Буржуазия в пылу борьбы с своим вековым врагом действительно пустила в ход это острое оружие, но даже в эпоху революции она пользовалась им крайне осторожно. Во время революции, до которой кстати Гольбах не дожил (он умер 21 января 1789 г.), восторжествовали, и то на короткое время, деистические взгляды Робеспьера, бывшего, как известно, последователем Руссо. Атеизм был представлен в конвенте эбертистами, из которых Клоотс, напр., прямо принадлежал в свое время к кружку энциклопедистов. Гебертисты потерпели поражение. Робеспьер шел в своей демагогии так далеко, что объявил атеизм гебертистов аристократической „идеологией", как мы бы ныне выразились, несмотря на то, что в действительности Гебер, Шомет и Клоотс были представителями пролетарских элементов тогдашней Франции. 24 марта 1794 г. гебертисты были казнены. Так расправилось мелко-буржуазное крыло якобинства с пролетарским, защитники деизма с идеологами атеизма.

IV.

Ниже читатель прочтет несколько глав из „Системы природы". Он ознакомится с взглядами Гольбаха на человека и общество. Этот новый буржуазный человек резко отличается от средневекового

человека, созданного богом, обладающего бестелесной и бессмертной душой и видящего истинную жизнь в потустороннем мире, отражением и тенью коего является мир земной. Человек—творение бога. Так смотрели представители старого мира. Человек—создание природы,—такова новая истина. Он подчинен тем же всеобщим законам, как и другие явления и существа природы. „Человек занимает определенное место посреди той массы существ, совокупностью коих является природа: благодаря своей сущности, т.-е. благодаря отличающему его способу существования, он оказывается способным к различным способам действия или движений, из которых одни просты и видимы, а другие сложны и скрыты". Его жизнь представляет лишь единую цепь необходимых и связанных между собою движений, которые имеют своим принципом или скрытые внутри его причины, как кровь, нервы и пр., или же внешние причины, т.-е. окружающие его предметы, действующие на его чувства и производящие в нем непрестанные изменения. Человек, словом, природное существо. Подобно всем существам природы, и он стремится к самосохранению: он сопротивляется своему разрушению и избегает всего того, что неблагоприятно для его жизни. С другой стороны, он стремится ко всему тому, что делает его счастливым. „Все его способы действия, все его чувства, идеи, страсти, желания и поступки суть необходимые следствия его собственных свойств и свойств, влияющих на него существ". Человек, независимо от своего желания и без своего ведома, входит в определенную систему и непрерывно видоизменяется причинами, определяющими его поведение. Он представляет собою органическое целое,—своеобразное сочетание различных веществ, определяющих его свойства, составляющие сущность человека. Природа не обладает разумом, но она способна производить из своих недр разумные существа, развивая из сочетания материи особую деятельность или способность, называемую интеллектуальной. Человеческий организм есть своеобразная машина, обладающая способностью ощущения, мыслящая и действующая. Все заблуждения людей происходят от того, что они вообразили, будто человек независим от законов природы, будто в его теле существует нематериальное существо—душа. Человек состоит, якобы, из тела и духа. „Человек вообразил, что в нем имеется некая субстанция, отличная от него самого и одаренная тайной силой, субстанция, которой он приписал свойства, совершенно отличные от свойств, действующих на его органы видимых причин и от свойств самих этих органов". Но что такое дух? Это чистое отрицание. Как можно себе мыслить это отрицание, это нематериальное существо действующим на тело, на материю? Очевидно, что мы имеем тут дело с простой химерой, с фикцией. На самом же деле душа

есть не что иное, как то же самое тело, рассматриваемое только в отношении некоторых его способностей, что она подвержена тем же изменениям, что и тело, что ее можно отличить от тела только в абстракции. В действительности все так называемое душевные способности сосредоточены в мозгу, так что можно сказать, что мозг составляет собственно душу человека, и, говоря о душе, мы просто абстрагируем мозг или деятельность мозга от него самого и тем самым от тела. Философы же возводят эту абстракцию в самостоятельную субстанцию. Так, „дикие народы допускают существование духов, чтобы объяснить явления, которых они не знают кому приписать или которые кажется им чудесными". Но разве мы, населяя природу духами, поступаем лучше или иначе, чем дикари? Конечно, мы ушли недалеко от дикарей.

Все наши умственные способности составляют лишь способы существования и деятельности, вытекающие из организации нашего тела. Все они являются лишь модификациями физической чувствительности, т.-е. способности чувствовать. Вся психическая деятельность сводится к этой основной способности. Истинным „седалищем ощущения" является мозг. Движения или сотрясения, которые передаются материальным предметом органам, называются ощущениями. Восприятиями (percepti0ns) называются сотрясения, распространившиеся до мозга. Поскольку же восприятие представляет образ предмета, от которого исходит и к которому стносится ощущение и восприятие, оно называется идеей. Если наши чувства не испытывают никакого воздействия предмета, то мы не можем иметь ни ощущений, ни восприятий, ни идей. Из этих первичных действий, производимых в нас объектами, возникают и развиваются другие интеллектуальные функции, как воображение, суждение, размышление, деятельность, но в основе всех их лежат ощущения. Сознание есть способность различения в самих себе впечатлений и идей, получаемых нами от действующих на наши чувства предметов. Но все эти изменения имеют место лишь до тех пор, пока функционирует мозг. Вся психическая жизнь совершается в мозгу. Он же является и принципом нашей деятельности. Различие интеллектуальных способностей зависит от различия телесной организации, чем и объясняется столь „разнообразное зрелище духовного мира". „Это разнообразие столь же велико, как различие темпераментов или физиономий; из этого разнообразия вытекает непрерывное взаимодействие, образующее жизнь духовного мира; из этого разногласия получается гармония, сохраняющая человеческий род". Это гераклитовское положение о том, что гармония состоит в дисгармонии, что согласие покоится на разногласии, как нельзя лучше выражало идею третьего сословия. „Различие между отдельными индивидуумами,—продолжает Гольбах,—порождает среди них неравенство, которое является опорой общества". Конечно, никто не будет отрицать разнообразия темпераментов, физиономий и способностей людей, никто не будет также спорить и против того, что это разнообразие придает человеческому обществу и своеобразную красоту и гармонию, но дело в том, что, исходя из этих физических (и духовных) различий, Гольбах приходит к выводам социологического и морального характера. Естественные или физические различия являются источником неравенства; неравенство же является основанием общества и морали. „Различие и неравенство физических и умственных способностей делают человека необходимым человеку, делают его общежительным (sociable) и доказывают ему неопровержимым образом необходимость нравственности". Гольбах сводит даже классовые различия к различию способностей и темпераментов. Надо ли доказывать, что социология и этика Гольбаха не выдерживают никакой критики? Если, рассуждает далее Гольбах, все зависит в конечном счете от темперамента, то очевидно, что „если бы мы знали те элементы, которые лежат в основе темперамента какого-нибудь человека, или большинства индивидов какого-нибудь народа, то мы знали бы, что им нужно, знали бы законы, которые им необходимы, учреждения, которые им полезны". Вздорность этих суждений очевидна; однако Гольбах идет еще дальше. Мы можем изменять и даже сделать себе темперамент, т.-е. исправлять природу путем регулирования огненного вещества, называемого флогистоном. От большего или меньшего количества огненного вещества зависят наши умственные способности и качества. Пища, климат, воздух влияют на твердые и жидкие элементы нашего организма и определяют наши склонности. Государи, вельможи, богачи лишены чувствительности, говорит Гольбах. Но разве пища, климат и воздух повинны в отсутствии чувствительности у богачей? Правда, Гольбах понимает „темперамент" шире, включая сюда воспитание и образ жизни. Но от этого дело все же не меняется, так как в основе лежит это „огненное вещество", лежат „твердые и жидкие элементы нашего организма". Если „темпераментом" определяется характер учреждений и законов, то учреждения, в свою очередь, влияют и до известной степени определяют темперамент, т.-е. характер, человека. Темперамент, как мы уже знаем, зависит так же от образа жизни и воспитания. Отсюда ясно, что общественные учреждения в значительной степени „создают" человека.

Однако мы не должны поддаваться темпераменту, который обычно вводит человека в заблуждение. Только опыт и размышление способны направлять нас на правильный путь и приводить к счастью. Но людей, обладающих разумом, очень немного. „Разум

предполагает умеренный темперамент, здравый ум, упорядоченное воображение, знание истины, основанное на надежных опытах, благоразумие и предусмотрительность". Очевидно, что такое счастливое сочетание всех этих способностей в одном человеке составляет редкое явление. Разум есть способность производить опыты, вспоминать, предвидеть будущее и выбирать необходимые для человеческого счастья средства. Опыт и разум научают человека ценить других людей, ибо он убеждается, что люди, с которыми он живет в обществе, необходимы ему. Благодаря опыту и разуму, человек научается проводить различие между добром и злом, добродетелью и пороком. Для достижения личного счастья мы нуждаемся в помощи других; поэтому в наших собственных интересах быть полезными другим людям. В этом и состоит добродетель. „Нравственная обязанность— это необходимость прибегать к средствам, способными сделать счастливыми существа, с которыми мы живем, чтобы побудить их сделать счастливыми нас самих". Счастье есть сообразное с человеческой природой длительное или временное состояние, вытекающее из согласия между человеком и обстоятельствами, в которые поставила его природа. Добродетель не состоит в подавлении страстей, как это проповедывала старая аскетическая мораль. Страсти имеют свое оправдание в самих себе. Они обусловливаются привычками и склонностями, внушаемыми нам воспитанием. Общество создано для счастья людей. Эту основную цель должны иметь в виду, как моралисты, так и политики.

Политика должна регулировать страсти людей, основывая свои принципы на их природе. Иначе говоря, она должна сообразоваться с сущностью и целью общества. Правительство и устанавливаемые им законы должны всегда иметь в виду обеспечение большинству народа тех выгод, ради которых они заключили общественный договор. Эти выгоды суть: свобода, собственность и безопасность. Законы должны уравнивать всех членов общества, т.-е. ослабить естественное неравенство. „Нет отечества без благополучия", восклицает Гольбах. „Рабы не могут быть гражданами", продолжает представитель третьего сословия. „Только свобода, собственность и безопасность делают отечество дорогим". „Без собственности нет отечества,"—заявляет буржуазия устами Гольбаха. Правительство представляет собою огромную силу: оно воспитывает общество, формирует нравы, определяет даже страсти людей и пр. Мы приносим с собой на свет божий лишь потребность самосохранения и стремление к счастью. Общественные учреждения должны исходить из этих потребностей. Но дурная политика и воспитание, скверные учреждения и вредные идеи, противоречащие природе человека, искажают его страсти и приносят ему лишь одни бедствия. Необходимо все это изменить ко

благу общества. Для этого требуется, чтобы общество взяло свои судьбы в собственные руки, чтобы оно организовало новую власть и сделало принципом деятельности правительства всеобщее благо.

IV.

В нашу задачу не входит критика идей Гольбаха. Это слишком легкая и неблагодарная задача. В самом деле, современность отделяет от Гольбаха промежуток времени в 150 лет. Гигантские успехи наук и исторический опыт, проделанный за это время Европой, опрокинули в значительной части теоретические построения Гольбаха. Ныне всякий школьник знает, что человек есть прежде всего существо общественное (и даже классовое), что не от темперамента и фантастического флогистона зависят законы и учреждения людей, что общество возникло не в силу договора, хотя бы и молчаливого, а путем постепенного развития, что мораль, т.-е. понятия добра и зла не являются вечным и неизменными соотношениями. Всякий марксист знает, что коренная ошибка французских просветителей заключалась в их натурализме, рационализма и проч. В оправдание же Гольбаха надо сказать, что он исходил из современного ему состояния наук и что он являлся выразителем исторически назревших потребностей общественного развития. И что в этом отношении он оказался во многих отношениях дальновиднее других крупных умов своего века. Не надо забывать, что Гольбах поставил себе целью построить целое новое мировоззрение и разрушить старую идеологию. При этом необходимо заменить, что принципиальные основы его мировоззрения, а не те или иные выводы и частности, в значительной степени не устарели. Они не устарели потому, что история их не преодолела, не сделала еще излишними. Мы имеем в виду основные атеистические и материалистические моменты его мировоззрения. Конечно, и до Гольбаха было немало материалистов и атеистов. Но он является одним из тех, кто стремился непосредственно изменить все общество, весь быт, всю жизнь, всю культуру, подводя под них атеистический и материалистический фундамент. Это такая огромная историческая заслуга, которая не должна быть забыта передовым классом человечества. Разумеется, Гольбах стремился обосновать буржуазное общество, в котором были бы обеспечены свобода, собственность и безопасность, в котором гармония, т.-е. единство общества, поддерживалась бы дисгармонией, т.-е. неравенством и взаимной конкуренцией. Но для этой цели он вынужден был построить материалистическое мировоззрение. Он считал необходимым выдвинуть новое понимание человека, общества и мира. Человек представляется ему существом земным, чувственным, материальным. Теология наделила человека божественной душой, провозгласила его

бессмертным существом, окружила его небесным ореолом, но лишь для того, чтобы унизить его до степени раба в этой земной жизни. Гольбах требует „низведения" человека до степени физического существа, лишения его всех божественных аттрибутов, но лишь для того, чтобы тем более возвысить достоинство и значение его, чтобы утвердить за ним право на счастье и построить соответственно этому и общество, в котором „всеобщее благо" было бы руководящим политическим принципом. Основная мысль Гольбаха состоит в том, что из мира, общества, морали и политики должны быть изгнаны сверхъестественные существа и всевозможные духи, равно как и метафизические призраки, которые принесли человечеству неисчислимые бедствия, ибо они служили в руках духовенства и господствующих классов орудием порабощения народа. Они находятся в вопиющем противоречии с опытом и разумом; они составляют результат невежества, суеверия и заблуждения человечества. В религиозных догматах и спиритуалистических призраках нет обсолютно никакого научного содержания. Они являются только средством управления и эксплоатации народа.

Учение о человеке, мире и обществе, как и о морали и политике должно быть построено на материализме, т.-е. на научном фундаменте. Между человеком и обществом, т.-е. окружающими его обстоятельствами и условиями, необходимо должно существовать согласие. В этих целях законодательство или правительство, которое является источником господствующих страстей, мнений и идей, должно ставить себе целью воспитание, т.-е. изменение человеческого характера и формирование его взглядов в соответствии с требованиями разума и природы. Гольбах полагал, что буржуазное общество, основанное на частной собственности и формальной свободе, и осуществит эти его требования. Оказалось, что он в этом отношении ошибся. Но зато необходимо подчеркнуть, что из французского материализма, при всей его ограниченности, противоречивости, последующие мыслители могли уже сделать социалистические выводы. Гольбах рассматривал человека, как существо природы, в основание своего учения об обществе положил индивидуум и его неизменную природу. Ему была чужда как историческая, так и социальная точки зрения. Натурализм, индивидуализм, рационализм и антиисторизм—вот основные черты материализма Гольбаха. Тем не менее, этот материализм (через Фейербаха) мог послужить исходным пунктом для дальнейшего развития материалистического мировоззрения и получить свое завершение в марксизме, который положил в основу объяснения исторического процесса материалистические принципы, а в основание изучения мира, человека и общества помимо того и историческую точку зрения.

А. Деборин.

Гольбах.

Четыре главы из „Системы природы".

ГЛАВА VI.

О человеке; о его делении на физического человека и на человека духовного; о его происхождении.

Человек занимает определенное место посреди той массы существ, совокупностью коих является природа: благодаря своей сущности, т.-е. благодаря отличающему его способу бытия, он оказывается способным к различным способам действия или движения, из которых одни просты и видимы, а другие сложны и скрыты. Его жизнь представляет лишь единую цепь необходимых и связавных между собой движений, которые имеют своим принципом или скрытые внутри его причины, как его кровь, нервы, фибры, мышцы, кости, словом, твердые и жидкие вещества, из которых состоит его тело; или же внешние причины, которые, действуя на него, различно модифицируют его, как окружающий его воздух, пища, коей он питается, и вообще все предметы, непосредственно действующие на его чувства и производящие, следовательно, в нем непрестанные изменения.

Как и все существа, человек стремится к самосохранению; он сопротивляется своему разрушению, он испытывает силу инерции, он тяготеет к самому себе, он притягивается сходными с ним объектами и отталкивается противоположными ему, он ищет и преследует одни предметы или пытается устранить другие. Эти различные способы действия и модификации, на которые способен человек, получили разные наименования: мы вскоре будем иметь случай рассмотреть их подробнее.

Какими бы чудесными, непонятными, сложными ни были, как видимые, так и скрытые, способы действия человеческой машины, но, если мы их внимательно исследуем, то мы увидим, что все ее действия, движения, изменения, ее различные состояния, совершающиеся в ней катастрофы, регулируются постоянно теми же самыми законами, какие присущи всем существам, которые природа порождает, развивает, обогащает способностями, растит, сохраняет в течение некоторого времени, а под конец разрушает или разлагает, заставив их изменить свою форму.

Человек вначале представляет лишь незаметную точку, части которой бесформенны, движения и жизнь которой ускользают от нашего взора, одним словом, нечто такое, в чем мы не замечаем никаких признаков качеств, называемых нами чувством, разумом, мыслью, силой, умом и т. д. Точка эта, помещенная в соответствующем вместилище, развивается, расширяется, растет, благодаря непрестанному присоединению родственных ее существу веществ, ко-

торые она привлекает, которые сочетаются и ассимилируются с ней. Человек, выйдя из этого вместилища, способного в течение некоторого времени сохранить, развить, укрепить слабые зачатки его организации, становится затем взрослым: его тело принимает тогда значительные размеры, его движения становятся заметными, он начинает ощущать во всех своих частях, он делается живой и действующей массой, т.-е. такой, которая чувствует, мыслит, исполняет функции, свойственные существам человеческого рода; эта масса становится способной к этому лишь потому, что она мало-по-малу росла, питалась, восстанавливала себя, притягивая к себе и непрерывно сочетаясь с веществами из породы тех, которые мы считаем инертными, нечувствующими, неодушевленными; между тем, именно эти вещества образовали органическое целое, которое действует, живет, чувствует, рассуждает, размышляет, желает, обдумывает, выбирает, и которое способно более или менее успешно работать над самосохранением, т.-е. над сохранением гармонии в своем собственном существовании.

Все движения или изменения, испытываемые человеком в течение его жизни, как со стороны внешних предметов, так и со стороны заключенных в нем самом субстанций, благоприятны или пагубны для его существа, поддерживают его в порядке или приводят в беспорядок, то сообразны, то противоположны существенной тенденции его существования,—одним словом, они или приятны, или неприятны ему: по своей природе человек вынужден одни из них одобрять, другие не одобрять; одни его делают счастливым, другие—несчастным; одни становятся предметами его желаний, другие—его опасений.

Во всех проявлениях человека от его рождения до его смерти, мы видим лишь цепь необходимых причин и следствий, сообразных с законами, общими всем существам природы. Все его способы действия, все его чувства, идеи, страсти, желания и поступки суть необходимые следствия его собственных свойств и свойств, влияющих на него существ. Все, что он делает и что происходит в нем, является следствием силы инерции, тяготения к самому себе, силы притяжения и отталкивания, стремления к самосохранению, одним словом, энергии, общей ему со всеми наблюдаемыми нами существами. Эта энергия проявляется в человеке лишь специфическим образом, зависящим от его особенной природы, отличающей его от существ другой системы или другого порядка бытия.

Источником заблуждений, в которые впал человек, когда он стал изучать самого себя, является, как мы вскоре покажем, его убеждение, будто он движется сам собой, действует всегда в силу своей собственной энергии, будто в своих поступках и желаниях, являющихся мотивами их, он независим от общих законов природы и от предметов, которые природа заставляет—часто без ведома его и всегда вопреки ему—действовать на него. Если бы он внимательно исследовал себя, он понял бы, что все его движения совершенно непроизвольны, он нашел бы, что его рождение зависит от причин, лежащих совершенно вне его власти, что без своего ведома он входит в систему, которая занимает определенное место; что с момента своего рождения до момента своей смерти он непрерывно видоизменяется причинами, которые вопреки ему влияют на его организацию, видоизменяют его существо и определяют его поведение. Малейшее размышление должно было бы показать ему, что твердые и жидкие субстанции, из которых составлено его тело, что весь скрытый механизм его, который он считает независящим от внешних причин, постоянно испытывают влияния этих причин и были бы иначе неспособны действовать. Разве не ясно, что темперамент человека совершенно не зависит от него самого, что его

страсти являются необходимым следствием этого темперамента, что его желания и поступки определяются этими самыми страстями и взглядами, которых он сам себе не дал? Разве большее или меньшее обилие или степень разгоряченности его крови, разве большая или меньшая степень напряженности его нервов и фибр, разве его постоянные и временные наклонности не определяют в каждый момент его мыслей, его видимых и скрытых движений? Разве состояние, в котором он находится, не зависит необходимым образом от той или иной модификации воздуха, от качества его пищи, от происходящих в нем самом скрытых сочетаний, которые сохраняют порядок или вносят беспорядок в его организм? Одним словом, все должно было бы убедить человека, что в каждое мгновение своей жизни он является пассивным орудием в руках необходимости.

В мире, где все связано, где все причины сплетены между собой, не может быть независимой и изолированной энергии или силы. Таким образом вечно активная природа намечает человеку каждую точку линии, которую он должен описать; природа вырабатывает и комбинирует элементы, из которых он должен быть составлен; природа собирает ему его существо, его устремление, его особенный способ действия; природа развивает его, растит, сохраняет на известное время, в течение которого он вынужден исполнить свою задачу; природа помещает на его пути предметы и события, которые действуют на него то приятным для него, то гибельным образом. Природа же, наделив его ощущением, дает ему возможность выбирать предметы и принимать наиболее пригодные для самосохранения меры; природа, по завершении им его жизненной карьеры, приводит его к гибели, заставив его подчиниться всеобщему и постоянному закону, от которого ничто не изъято. Так, движение порождает человека, поддерживает его некоторое время и, наконец, разрушает, заставив вернуться в лоно природы, которая вскоре воспроизведет его распыленным на бесчисленное множество новых форм, различные фазы коих будут пройдены каждой из его частей с той же необходимостью, с какой целое прошло фазы его предыдущего существования.

Существа человеческого рода способны, как и все прочие существа, к двоякого рода движениям: одни—это движения масс, тогда тело в целом или некоторые части его видимым образом переносятся с одного места на другое; другие—это внутренние, скрытые движения, из коих некоторые видимы нами, между тем, как другие происходят без нашего ведома и дают себя знать лишь производимыми ими вовне действиями. В очень сложной машине, оборудованной путем сочетания огромного количества веществ, представляющей большое разнообразие свойств, пропорций, способов действия, движения становятся по необходимости очень сложными; их медленность, равно как и быстрота, делают их часто недоступными самому субъекту, в котором они совершаются.

Поэтому не будем поражаться, что человек встретил столько препятствий, когда он захотел познать свое существо и свой способ действия, и что он придумал такие странные гипотезы для объяснения скрытого механизма своего тела, движущегося столь отличным—как ему казалось—способом от способа движения других тел природы. Он ясно видел, что его тело и различные части последнего действовали известным образом, но часто он не мог усмотреть, что побуждало их к действию: поэтому он пришел к убеждению, что обладает внутри себя каким-то отличным от своей физической машины движущим принципом, который дает скрытым образом импульс пружинам этой машины, движется в силу своей собственной энергии и действует

согласно законам, совершенно отличным от законов, управляющих движениями всех других существ. Человек сознает некоторые внутренние движения, которые дают себя чувствовать ему; но как объяснить то, что эти невидимые движения производят часто поразительнейшие действия? Как понять, что какая-нибудь случайно мелькнувшая идея, какой-нибудь незаметный акт мысли часто вносят порядок и беспорядок во все его существо? Одним словом, человек вообразил, что в нем имеется некая субстанция, отличная от него самого и одаренная тайной силой, субстанция, которой он приписал свойства, совершенно отличные от свойств, действующих на его органы видимых причин и от свойств самих этих органов. Он не обратил внимания на то, что первоначальную причину, благодаря которой падает камень или движется его рука, может быть, не менее трудно понять или объяснить, чем причину того внутреннего движения, результатом которого являются мысль и воля. Так, благодаря недостаточному размышлению над природой, благодаря тому, что человек не рассматривал ее с надлежащей точки зрения и не заметил сходства и соответствия между движениями этого мнимого двигателя и движениями его тела или его материальных органов,—благодаря всему этому он стал думать, будто он не только какое-то особенное существо, но и существо, совершенно отличное от других существ природы, существо, обладающее более простой сущностью и не имеющее ничего общего со всем тем, что он наблюдал [1]).

Отсюда получились последовательно понятия духовности (Spiritualité), нематериальности, бессмертия и тому подобные неопределенные слова, придуманные мало-по-малу мастерами умозрительных тонкостей, чтобы характеризовать аттрибуты неизвестной субстанции, которую человек, как ему казалось, заключает в самом себе и которую он считает скрытым принципом своих видимых движений. Венцом всех рискованных гипотез насчет движущей силы явилось предположение, что она, в отличие всех других существ и служащего ей оболочкой тела, не подвергается распаду; что ее совершенная простота не дает ей разложиться или изменить свою форму; одним словом, что по своей сущности она недоступна тем переменам, которым подвержено тело, равно как и все составные существа природы.

Так человек стал двойным. Он стал рассматривать себя, как некоторое целое, составленное путем какого-то непонятного соединения двух различных, не имеющих между собою ничего общего, родов. Он отличил в себе две субстанции: одна из них, явно подверженная влияниям грубых предметов и составленная из грубых инертных веществ, была названа телом; другую признали простой, более чистой по своей сущности, действующей сама по себе и сообщающей движения телу, с которым она чудесным образом соединена: ее назвали душой или духом. Функции первой были названы физическими, телесными, материальными; функции другой были названы духовными и интеллектуальными; человек, рассматриваемый по отношению к первым свойствам, был назван физическим человеком; а рассматриваемый по отношению к свойствам второго рода, был назван человеком духовным.

Эти различения, принятые в настоящее время большинством

[1]) „Следовало бы,—говорит один анонимный автор,—определить жизнь раньше, прежде чем размышлять над душой. Но я это считаю невозможным, ибо в природе существуют элементарные и столь простые вещи, что воображение не может ни разделить их, ни свести к более простым вещам: таковы жизнь, белизна, свет, которые можно определить только через посредство их действий". См. Dissertations melées, с. 252. Жизнь есть совокупность движений, свойственных организованному существу, а движение может быть лишь свойством материи.

философов, основываются на совершенно вздорных предположениях. Люди всегда помогали своему незнанию вещей тем, что придумывали слова, с которыми не могли связывать никакого определенного содержания. Люди воображали, будто они знают материю, все ее свойства, способности, ресурсы и различные сочетания только потому, что узнали некоторые поверхностные свойства ее; присоединивши же к ней некую субстанцию, гораздо менее понятную, чем она сама, только затемнили те смутные идеи, которые могли себе образовать насчет ее. Так метафизики, сочиняя слова и умножая существа, только создали новые затруднения, большие, чем те, которых они хотели избегнуть, и воздвигали препятствия на пути к прогрессу знания: не имея в руках фактов, они обратились к содействию гипотез, скоро превратившихся в их глазах в реальности; а их не руководимое более опытом воображение безнадежно забралось в лабиринт какого-то сочиненного им идеального и интеллектуального мира, и стало почти невозможным извлечь его оттуда и поставить на правильный путь, указать который может только опыт. Опыт показывает нам, что в нас—равно как и в действующих на нас объектах—имеется только одаренная различными свойствами материя, различно сочетающаяся, различно видоизменяемая и действующая согласно своим свойствам. Одним словом, человек есть некоторое организованное целое, составленное из различных веществ; подобно другим продуктам природы, он следует всеобщим, известным законам, а также свойственным лишь ему и еще неизвестным законам или способам действия.

Таким образом, если нас спросят, что такое человек, то мы ответим, что это материальное существо, организованное так, чтобы чувствовать, мыслить и испытывать видоизменения, свойственные лишь ему одному, его организации, особенным сочетанием веществ, собранных в нем. Если нас спросят о происхождении существ человеческого рода, то мы ответим, что человек, подобно прочим существам есть продукт природы, похожий на них в некоторых отношениях и подчиняющийся тем же законам, что и они, но отличающийся от них в других отношениях и подчиняющийся, сверх того, специальным законам, вытекающим из различия его строения. Если нас спросят, откуда появился человек, то мы ответим, что опыт не дает нам возможности решить этот вопрос, который, собственно, и не может интересовать нас по-настоящему; с нас достаточно знать, что человек существует и что по устройству своему он способен производить те действия, которые мы наблюдаем у него.

Но, спросят, всегда ли существовал человек? От века ли создан человеческий род, или он является происшедшим в определенное время продуктом природы? Всегда ли существовали подобные нам люди и всегда ли будут они существовать? Всегда ли существовали самцы и самки? Существовал ли первый человек, от которого произошли все прочие? Что чему предшествовало: яйцо животному или животное яйцу? Если виды организмов не имеют начала, то значит ли это, что они не будут иметь конца? Неуничтожимы ли эти виды, или же они преходящи, подобно индивидам? Всегда ли человек был тем, что он есть теперь, или же, прежде чем дойти до теперешнего состояния, он должен был пройти бесчисленное множество промежуточных стадий? Наконец, может ли человек считать, что он пришел до окончательного, неизменного состояния? Или же человеческому роду еще предстоят новые изменения? Если человек есть продукт природы, то нас спросят, может ли эта природа произвести новые существа и уничтожить старые виды организмов? Наконец, допустивши

последнее, могут спросить, почему природа не производит на наших глазах новых существ или новых видов?

По всем этим вопросам—не имеющим, в сущности, принципиального значения—можно, кажется, остановиться на любом решении. При отсутствии опытных данных, только гипотезы и догадки могут удовлетворить любознательность, устремляющуюся за грани того, что доступно нашей мысли. Признав это, наблюдатель природы ответит, что он не видит никакого противоречия в допущении, что человеческий род—как мы его видим теперь—был создан от века или же в некоторый определенный момент времени; ни в допущении, что человеческий род дошел до своего теперешнего состояния через ряд последовательных фаз развития. Материя вечна и необходима, но ее сочетания и формы переходящи и случайны: а что такое человек, как не сочетавшаяся известным образом материя, форма которой меняется с каждым мгновением?

Однако есть ряд соображений, говорящих, повидимому, в пользу гипотезы о том, что человек произошел в определенный момент времени, что это существо, которое свойственно земному шару и которое, следовательно, может существовать лишь с момента существования земли, являясь результатом специфических, управляющих ею, законов. Существование является существенной чертой вселенной, или совокупности наблюдаемых нами существенно различных веществ; но сочетания и формы не являются существенной чертой этих веществ. Если принять это, то мы вправе сказать, что, хотя вещества, составляющие землю, всегда существовали, но земля эта не всегда имела свою теперешнюю форму и свойства: может быть, земной шар представляет собой массу, отделившуюся в известный момент от какого-нибудь другого небесного тела; может быть, она продукт тех пятен или корок, которые астрономы наблюдают на солнечном диске и которые распространились оттуда по планетной системе; может быть, она является погасшей кометой, которая занимала некогда совершенно другое место в небесном пространстве и которая, следовательно, могла тогда производить существа, резко отличные от тех, что мы наблюдаем в ней теперь, ибо ее тогдашнее местоположение и природа должны были делать все произведения ее отличными от того, что имеется на ней в настоящее время.

На какой бы гипотезе ни остановиться, но растения, животных, людей можно считать произведениями, свойственными специально земному шару и его теперешней ситуации и положению; эти произведения должны были бы измениться, если бы, в силу какой-нибудь катастрофы, земля изменила свое местоположение. Подкреплением этой гипотезы является тот факт, что даже на земном шаре, в зависимости от различия климата, изменяются и все находящиеся на нем существа. Люди, животные, растения и минералы различны в различных местах, изменяясь иногда очень резко даже при незначительной разнице в расстоянии. Слон обитает в жарком поясе; олень живет под широтами холодного севера; Индостан—родина алмаза, который не встречается в наших краях; ананас растет в Америке на открытом воздухе, у нас же для роста его нужны ухищрения искусства, доставляющие ему столько солнечного света, сколько ему потребно; наконец, люди отличаются в различных климатах по цвету кожи, росту, строению, силе, мастерству, мужеству, по духовным способностям. Но что такое климат, от чего зависит он? От различного положения частей земного шара по отношению к солнцу, создающего такие значительные различия в находящихся на земле существах.

Таким образом можно предположить с значительной степенью

вероятия, что если бы, по какой-нибудь случайности, земной шар изменил свое местоположение, то неизбежно изменились бы все произведения его, ибо с изменением причин должны необходимым образом измениться и действия. Чтобы существа природы могли сохраниться или поддержать свое существование, они должны координироваться с целым, из которого они вышли: иначе они не могут существовать. Эту способность координироваться, эту относительную координацию мы называем порядком вселенной; отсутствие ее мы называем беспорядком. Существа, называемые нами чудовищными, это те, которые не могут координироваться с общими или частными законами окружающих их существ или тех целых, в которых они находятся; при своем образовании они могли приспособиться к этим законам; но законы эти противились их совершенству, благодаря чему они не могут продолжать существовать. Так, наличие известного соответствия между животными различных видов производит мулов; но мулы эти не могут размножаться. Человек может жить лишь в воздухе, а рыба—в воде: поместите человека в воду, а рыбу на воздухе, и вскоре эти животные, за невозможностью координироваться с окружающей их средой, погибнут. Перенесите мысленно человека с нашей планеты на Сатурн; вскоре грудь его начнет разрываться от слишком разреженного воздуха, а члены его окоченеют от холода; он погибнет из-за невозможности найти элементы, соответствующие его теперешнему существованию. Перенесите другого человека на планету Меркурий, и он вскоре погибнет от чрезмерного зноя.

Так, повидимому, все дает нам право высказать предположение, что человеческий род есть произведение природы, свойственное земному шару при занимаемом им теперь положении, и что, в случае изменения этого положения, человеческий род или изменился бы, или вынужден был бы исчезнуть, ибо существовать способно лишь то, что может координироваться, или связаться с целым. Именно эта способность человека координироваться с целым не только порождает у него идею порядка, но и заставляет его провозглашать, что все хорошо, между тем как все является лишь тем, чем оно может быть, является необходимо тем, что оно есть, не будучи положительно ни хорошим, ни дурным. Достаточно переместить человека, чтобы он стал обвинять вселенную в беспорядке.

Эти соображения противоречат, повидимому, взглядам тех, которые высказывали предположение, что другие планеты, как и земля, обитаемы подобными нам существами. Но если уж лапландец отличается так резко от готтентота, то какое различие вправе мы предположить между жителем земли и обитателями Сатурна или Венеры?

Как бы то ни было, если нас заставят обратиться мысленно к началу вещей и к колыбели человеческого рода, то мы скажем, что весьма вероятно, что человек явился в результате выхода земного шара из состояния хаоса или что он представляет один из результатов, свойственных земле в ее настоящем положении качеств энергии; что с самого рождения он делился на два пола: мужской и женский; что его существование координировано с существованием земного шара; что, пока будет существовать эта координация, человеческий род сохранится, размножаясь согласно первоначальным, вызвавшим его к жизни, законам; что если бы прекратилась эта координация или если бы земля, сместившись, перестала испытывать те же самые влияния со стороны воздействующих теперь на нее и сообщающих ей ее энергию причин, то человеческий род изменился бы и уступил

бы место новым существам, способным координироваться с состоянием, которое пришло бы на смену настоящему состоянию.

Следовательно, если допустить наличие изменений в положении земного шара, то первобытный человек отличался от современного человека, может быть, больше, чем четвероногое отличается от насекомого. Таким образом можно утверждать, что человек, подобно всему существующему на земле и на других планетах, находится в процессе непрестанного изменения, и конец его существования нам так же неизвестен и так же неинтересен, как и начало его. Таким образом нет никакого противоречия в допущении, что виды организмов непрерывно изменяются, и что мы также не можем знать то, чем они станут, как и то, чем они были.

Что касается лиц, спрашивающих, почему природа не производит новых существ, то мы их, в свою очередь, спросим: откуда они это знают? Что их заставляет считать природу столь бесплодной? Уверены ли они, что природа в происходящих в каждый момент сочетаниях не занята произведением новых существ, без ведома наблюдающих ее? Откуда они знают, что природа не собирает в данный момент в своей колоссальной лаборатории элементов, необходимых для порождения совершенно новых видов, не имеющих ничего общего с существующими в настоящее время видами? Почему нелепо или нелогично вообразить, что человек, лошадь, рыба, птица не будут больше существовать? Разве эти животные так необходимы для природы и разве она не сможет продолжать без них своего вечного движения? Разве вокруг нас не изменяется все? Разве мы сами не изменяемся? Разве не очевидно, что вселенная не была в своем бесконечном прошлом в точности такой, какова она теперь, и что невозможно, чтобы в своем вечном будущем она была хоть на мгновенье в точности той же самой, какова она теперь? Как же можем мы угадать, что принесет с собой бесконечная смена разрушений и созиданий, сочетаний и разложений, метаморфоз изменений, перемещений? Солнца гаснут и покрываются твердой корой; планеты рвутся и рассеиваются в эфирных пространствах; новые солнца зажигаются, новые планеты образуются, описывая новые орбиты и новые пути, а человек—это бесконечно малая частица шара, который сам—лишь незаметная точка в необъятном мире—думает, что вселенная создана для него, воображает, что он должен быть наперсником природы, считает себя вечным, называет себя царем вселенной.

О человек! Неужели ты никогда не поймешь, что ты однодневное существо? Все изменяется во вселенной, природа не содержит в себе никаких постоянных форм, а ты намерен утверждать, что твой род не может исчезнуть и должен составлять исключение из всеобщего закона, согласно которому все изменяется! Увы! Разве в своем теперешнем состоянии ты не подчинен непрерывным изменениям? Ты, называющий себя в своем безумии царем природы; ты, измеряющий землю и небо; ты, воображающий в своем тщеславии, будто все было создано потому, что ты обладаешь разумом,—подумай: достаточно малейшей случайности, достаточно смещения какого-нибудь атома, чтобы погубить тебя, унизить, отнять у тебя этот разум, которым ты так гордишься!

Если бы отказались принять все предыдущие соображения, утверждая, что природа действует согласно известной суммы общих и неизменных законов, если бы стали говорить, что человек, четвероногое, рыба, насекомое, растение и т. д. существуют от века и вечно остаются тем, что они есть теперь; если бы допустили, что звезды от века сияют на небосклоне, и сказали, что так же разумно

спрашивать, почему человек таков, каков он есть, как спрашивать, почему природа такова, какой мы ее видим, или почему существует мир,—то мы ничего не возразили бы против этого. На какую бы из двух точек зрения ни встать, они, вероятно, одинаково успешно справятся с открывающимися здесь трудностями; при более внимательном рассмотрении можно будет убедиться, что эти трудности нисколько не ослабляют силы установленных нами, в согласии с опытом, истин. Человеку не дано знать всего; ему не дано познать своего происхождения; ему не дано проникнуть в сущность вещей и добраться до первых принципов; но ему дан разум, добросовестность, заставляющие его признать откровенно, что он не знает того, что недоступно его ведению, и запрещающие ему подставлять на место своего неведения непонятные слова и бессмысленные предположения. Поэтому, чтобы покончить со всеми трудностями, мы скажем лицам, утверждающим, будто человеческий род происходит от какого-то первого мужчины и какой-то первой женщины, созданных божеством, что у нас есть некоторое представление о природе, но нет никакого представления о божестве и творении, и что пользоваться этими словами—это значит сказать лишь в других выражениях, что не знают энергии природы и что не знают, как она смогла произвести наблюдаемых нами людей [1]).

Скажем, поэтому, в заключение, что у человека нет никаких оснований считать себя каким-то привилегированным существом природы; он испытывает те же изменения, что и все другие произведения ее. Его мнимые прерогативы основываются лишь на заблуждении. Пусть он поднимется мысленно над земным шаром: он сумеет тогда посмотреть на человеческий род так, как на все другие существа. Он увидит, что, подобно тому, как каждое дерево производит плоды в соответствии со своим видом, так и каждый человек поступает в соответствии со своей особой энергией и производит столь же необходимые плоды—поступки, действия. Он поймет, что иллюзия предрасполагающая его в свою собственную пользу, происходит от того, что он одновременно и зритель, наблюдатель вселенной, и часть ее. Он узнает, что приписываемое им самому себе превосходство основывается лишь на его собственном интересе и на его предпочтении самого себя.

ГЛАВА VII.

О душе и о системе спиритуализма (Spiritualité).

Предположив без всяких оснований наличие двух разных субстанций в человеке, мыслители стали, как мы видели, утверждать, что та субстанция, которая невидимо действует внутри человека, отличается по существу от той, которая действует вне его; первую, как мы сказали, назвали духом или душой. Но если мы спросим, что такое дух, то современные мыслители, в результате всех своих метафизических изысканий, ответят нам, что то, что заставляет действовать человека—это субстанция неизвестной природы, столь простая, неделимая, лишенная протяженности, неуловимая чувствами, что части ее не могут быть отделены даже в абстракции или мыслью. Но как представить себе подобную субстанцию, являю-

[1]) Ut tragici poëtae confugiant ad Deum aliquem, cum aliter explicare argumentum non possunt. Cicero, de Didinatione, lib II. Он говорит еще: Magna stultitia est earum rerum Deos facere effectores, causas rerum non quaerere. Ibidem.

щуюся отрицанием всего, что мы знаем? Как составить себе представление о субстанции, лишенной протяженности и, тем не менее, действующей на наши чувства, т.-е. на материальные, протяженные органы? Как существо без протяженности может быть подвижным и приводить материю в движение? Как лишенная частей субстанция может соответствовать последовательно различным частям пространства?

Действительно, движение, как с этим согласится всякий, есть последовательное изменение отношений какого-нибудь тела к различным точкам пространства или к другим телам. Если то, что называют духом, может получать или сообщать движение, если он действует или приводит в движение органы тела, то надо признать, что это существо изменяет последовательно свои отношения, свое устремление, свое соответствие, положение своих частей по отношению к различным точкам пространства или по отношению к различным органам приводимого им в движение тела; но, допуская, что этот дух способен изменять свои отношения к пространству и к приводимым им в движение органам, следует признать, что он обладает протяженностью, твердостью и, следовательно, различными частями; если же какая-нибудь субстанция обладает этими качествами, то она является тем, что мы называем материей, и не может считаться существом простым в смысле современных философов [1]).

Мы видим таким образом, что те, кто предположили наличие в человеке нематериальной, отличной от тела, субстанции, сами не поняли своего утверждения и придумали лишь некоторое отрицательное качество, о котором они не имели настоящего представления. Только материя может действовать на наши чувства, без которых ничто не доступно нашему познанию. Эти лица не поняли, что существо, лишенное протяженности, не может ни двигаться само, ни сообщить движение телу, потому что подобное существо, не имея частей, не может ни изменить своих пространственных отношений относительно других тел, ни вызвать движения в человеческом теле, которое материально. То, что называют нашей душой, движется вместе с нами, но движение есть свойство материи. Эта душа движет нашу руку, а наша рука, приводимая ею в движение, производит толчок, следующий общему закону движения: так, если сила останется той же самой, а масса удвоится, то и толчок удвоится. Эта душа оказывается материальной также и в тех неодолимых препятствиях, которые она испытывает со стороны тел. Если она приводит в движение мою руку, когда ничто этому не препятствует, то она не сумеет двигать этой рукой, если положить на нее слишком большую тяжесть. Мы видим таким образом, как материальная масса уничтожает импульс, исходящий от духовной причины; между тем, для последней, не имеющей ничего общего с материей, не должно было бы быть труднее привести в движение весь мир, чем какой-нибудь атом, а какой-нибудь атом, чем весь мир. Отсюда можно заключить, что подобное существо есть химера, фикция. И, однако, из такого

[1]) Те, кто утверждают, будто душа есть простое существо, не примирут сказать нам, что сами материалисты и физики допускают элементы, атомы, простые и неделимые существа, из которых состоят все тела; но эти простые существа, или атомы физиков, совсем не то же самое, что души современных метафизиков. Когда мы говорим, что атомы суть простые существа, то мы этим указываем, что они чисты, однородны, без примесей; но, тем не менее, они имеют протяжение и, следовательно, обладают частями, отделимыми в мысли, хотя никакой естественный агент не может их отделить; простые существа этого рода способны к движению, между тем как невозможно вообразить себе, как могут двигаться сами или двигать другие тела придуманные теологами простые существа.

простого существа, из подобного духа сделали двигатель всей природы! [1]).

Если я замечаю или испытываю движение, то я вынужден признать протяженность, твердость, плотность, непроницаемость в субстанции, которая движется, или от которой я получаю движение; поэтому, если приписывать действие какой-нибудь причине, то я вынужден считать ее материальной. Я могу не знать ее особенной природы и ее специфического способа действия, но я не могу ошибаться насчет общих свойств, присущих всякой материи; впрочем, это незнание только увеличилось бы, если бы я приписал ей такую природу, о которой я не могу себе составить никакого представления, и которая, сверх того, совершенно лишает ее способности двигаться и действовать. Таким образом предположение о движущей и действующей духовной субстанции содержит в себе противоречие; отсюда я умозаключаю, что она совершенно невозможна.

Сторонники духовной субстанции полагают, что все эти затруднения разрешаются, если сказать, что душа находится целиком в каждой точке своей протяженности. Но легко понять, что это—нелепый ответ, нисколько не разрешающий наших затруднений. Ведь, в конце концов, приходится признать, что точка эта, какой бы незаметной и малой ни принять ее, остается чем-то осязательным [2]). Но как бы ни представить себе, что мой дух, или моя душа находится в своей протяженности, но если мое тело движется вперед, то душа моя не остается назади; следовательно, она имеет некоторое свойство, общее ей с моим телом и присущее материи, ибо она переносится в пространстве вместе с моим телом. Таким образом, если бы даже душа была нематериальной, то что можно было бы заключить из этого? Подчиненная целиком движениям тела, она была бы без него мертвой, инертной. Она была бы каким-то двойником, фатально увлекаемым сцеплением целого; она походила бы на птичку, которую ребенок ведет, куда ему угодно, прикрепленной на нитке.

Игнорируя указания опыта и разума, люди пришли к каким-то туманным представлениям о скрытом принципе своих движений. Но если мы освободимся от ига предрассудков и станем без предубеждения изучать нашу душу, или действующий в нас двигатель, то мы убедимся, что она составляет часть нашего тела, что ее можно отличить от него лишь в абстракции, что она есть это самое тело, рассматриваемое только в отношении некоторых его функций или способностей, которыми наделила его особенная природа его органи-

[1]) По образцу человеческой души сочинили потом универсальный дух, по образцу конечного разума—бесконечный разум; потом воспользовались этим бесконечным разумом, чтобы объяснить связь человеческой души с телом. При этом не заметили здесь порочного круга и не заметили также, что дух или разум—предположить ли их конечными или бесконечными—не в состоянии привести в движение материю.

[2]) Если придерживаться смысла этого ответа, то бесконечное множество разных непротяженностей, или одна и та же непротяженность, повторенная бесконечное количество раз, дает протяженность, что, очевидно, нелепо. Кроме того, легко доказать, согласно этому принципу, что человеческая душа так же бесконечна, как бог: ведь, бог есть не протяженное существо, которое, подобно человеческой душе, находится бесконечное множество раз в каждой точке вселенной или своей протяженности; отсюда можно заключить, что бог и человеческая душа одинаково бесконечны, если только не допустить непротяженностей различной протяженности, или же непротяженного бога более протяженным, чем человеческая душа. И вот подобные бессмыслицы желают навязать разумным существам! В своем стремлении сделать человеческую душу бессмертной, теологи сделали из нее какое-то духовное и непонятное существо. Почему лучше они не сделали из нее последнего возможного термина деления материи! В этом случае она была бы, по крайней мере, понятной и была бы, кроме того, бессмертной, ибо она была бы атомом, т.-е. неразрушимым элементом.

зации. Мы увидим, что эта душа вынуждена претерпевать те же изменения, что и тело, что она рождается и развивается вместе с ним, что она проходит, как и тело, через состояние детства, слабости, неопытности, что она растет и крепнет параллельно ему, становясь тогда способной исполнять известные функции, что она обладает разумом, обнаруживает, более или менее, рассудительность, ум, деятельность. Подобно тому, она подвержена влияниям внешних причин, она разделяет его удовольствия и его страдания; она здорова, когда тело здорово; она больна, когда тело больно; как и тело, она испытывает непрерывные воздействия различной тяжести воздуха, времен года, поступающей в желудок пищи. Наконец, мы не можем не признать, что в известное время она обнаруживает явные признаки одряхления, угасания и смерти.

Но, несмотря на эту аналогию или даже это постоянное тождество состояний души и тела, люди все же хотят отличить их друг от друга по их сущности. Из этой души сделали какое-то непонятное существо, при чем, чтобы составить себе о нем какое-нибудь представление, пришлось все же прибегнуть к материальным существам и их способу движения. Действительно, слово дух содержит в себе просто идею дуновения, дыхания, ветра; поэтому, когда нам говорят, что душа есть дух, то это означает, что ее способ действия похож на способ действия дыхания, которое, будучи само невидимым, производит видимые действия. Но дыхание есть материальная причина, это—модифицированный воздух; это не простая субстанция, вроде той, которую современные мыслители означают словом дух [1]).

Хотя слово дух очень древнего происхождения, но связываемый с ним смысл нов, и общепринятая теперь идея духовности—это совершенно недавний продукт воображения. Действительно, ни Пифагор, ни Платон, при всей разгоряченности их фантазии и при всей их склонности к чудесному, никогда, кажется, не понимали под духом нематериальную или лишенную протяженности субстанции, подобную той субстанции, из которой современные философы сделали человеческую душу и скрытый двигатель вселенной. Древние словом дух обозначали очень тонкое вещество, более чистое, чем то, которое грубо действует на наши чувства. Поэтому одни считали душу воздушной субстанцией, другие сделали из нее огненное вещество, третьи сравнивали ее со светом. Демокрит сводил ее к движению и, следовательно, видел в ней некий модус. Аристоксен, будучи музыкантом, считал ее гармонией. Аристотель рассматривал душу, как некоторую движущую силу, от которой зависит движение живых тел.

Точно так же как первые учители христианства [2]) имели о душе лишь материальное представление, Тертуллиан, Арнобий, Климент Александрийский, Ориген, Иустин, Ириней и т. д. говорили о ней, как о какой-то телесной субстанции. Лишь их преемники, долго спустя, сделали из человеческой души и из божества или души мира чистых духов, т.-е. нематериальные субстанции, о которых не-

[1]) Еврейское слово rouah означает spiritus spiraculum vitae, дуновение, дыхание. Греческое слово Πνεῦμα означает то же самое и происходит от Πνέω, spiro. Лактанций утверждает, что латинское слово anima происходит от греческого слово ἄνεμος, означающего ветер. Некоторые философы, боясь, без сомнения, ясного понимания человеческой природы, сделали ее тройной и утверждали, будто человек состоит из тела, души и ума—σῶμα, ψυχή, νοῦς. См. Marc. Anton. Lib. III. 16.

[2]) Согласно Оригену, ἀσώματος, incorporeus—эпитет, приписываемый богу, означает более тонкую субстанцию, чем субстанция грубых тел. Тертуллиан говорит положительным образом: Quis autem negabit Deum esse corpus, etsi Deus spiritus? Тот же Тертуллиан говорит: Nos autem animam cirporalem et nic profitemur, et in suo volumine probamus habentum proprium genus substemtiae, soliditatis, per quam quid et sentire et perbi sposet.

возможно себе составить правильного представления. Мало-по-малу невразумительный догмат о духовности, без сомнения, более соответствующий видам теологии, имеющей принципом сокрушение разума,—взял верх над всеми прочими взглядами [1]); этот догмат был признан божественным и сверхъестественным, ибо он был непонятен человеку, и стали считать безрассудными и безумными всех тех, кто осмеливались думать, что душа или божество могут быть материальными. Но раз люди отказываются от руководства опытом и разумом, то разгул их воображения с каждым днем должен расти; они с радостью углубляются все больше и больше в свое заблуждение; они поздравляют себя с новыми открытиями и успехами, в то время, как в действительности все большим мрак окутывает их мысль. Так, благодаря ложным принципам, положенным в основу рассуждения, были созданы идеи о душе или о движущем принципе человека, а также о скрытом двигателе природы—эти чистые химеры, чистые выдумки нашего ума [2]).

В спиритуалистическом учении мы видим лишь смутные идеи или, вернее, отсутствие всяких идей. Что представляет для ума субстанция, не похожая ни на что решительно из доступного нашим чувствам? Действительно ли можно представить себе существо, которое, не будучи материей, действует, однако, на материю, не имея с ней ни точек соприкосновения, ни аналогии, и которое само получает импульсы от материи через посредство материальных органов, предупреждающих его о присутствии других существ? Возможно ли представить себе соединение души и тела? Как может это материальное тело связать, содержать в себе, принуждать, детерминировать неуловимое существо, ускользающее от всех чувств? Можно ли назвать добросовестным решением этих трудностей утверждение, что все это тайны, что это действия всемогущества некоторого существа, еще более непонятного, чем человеческая душа и ее образ действия? Разве решить эти проблемы ссылкой на чудеса и вмешательство божества не означает признания в своем невежестве или же желания обмануть нас?

Не будем поэтому удивляться тонким, но мало удовлетворительным при всем их остроумии, гипотезам, к которым должны были прибегнуть, под влиянием теологических предрассудков, глубочайшие современные мыслители, когда они пытались примирить духовность души с физическим действием материальных существ на эту бестелесную субстанцию, с ее противодействием им, с ее соединением с

[2]) Система спиритуализма, как она принята теперь, обязана Декарту всеми своими мнимыми доказательствами. Хотя и до него душу признавали духовной, но он первый установил, что то, что мыслит, должно быть отличным от материи. Отсюда он заключил, что наша душа или то, что мыслит в нас, есть дух, т.-е. простая неделимая субстанция. Но не естественней ли было бы умозаключить, что, так как человек, который есть материя, имеет идею лишь о материи, обладает способностью мыслить, то материя может мыслить или способна к той специфической модификации, которую мы называем мыслью? См. Dict. Bayle, слова: Pomponace и Simonide.

[1]) Если в спиритуалистической системе мало логики и философии, то нельзя отрицать, что система эта является продуктом очень глубокой, задуманной в интересах теологов, политики. Надо было придумать какое-нибудь средство, чтобы спасти некоторую часть человека от разрушения, сделав ее, таким образом, способной к наградам и наказаниям. Ясно таким образом, что догмат этот был очень выгоден для жрецов, чтоб, напугавши невежественных людей, управлять ими и обирать их, и даже, чтобы создать хаос во взглядах более просвещенных людей, которые тоже совершенно неспособны ничего понять в том, что им говорят о душе и о божестве. Однако эти жрецы утверждают, что нематериальная душа будет гореть и, значит, страдать от действия материального огня в аду или в чистилище,—и им верят на слово!

телом. Когда человеческий ум, отказавшись от свидетельства своих чувств, начинает руководиться голосом фантазии и авторитета, то он не может не впасть в заблуждения [1]).

Поэтому, если мы захотим составить себе ясное представление о нашей душе, то подвергнем ее опыту, откажемся от своих предрассудков, удалим все теологические предположения, разорвем священные покрывала, имеющие целью затемнить наш взор и повергнуть ниц наш разум. Пусть физики, анатомы, врачи объединят свои опыты и наблюдения и покажут нам, что должно думать о субстанции, которую хотели сделать непознаваемой; пусть их открытия покажут моралисту истинные двигатели человеческих действий; законодателям—мотивы, которые они должны привести в движение, чтобы побудить людей работать и трудиться для всеобщего благополучия общества; государям—средства сделать поистине, по-настоящему, счастливыми управляемые ими народы. Физические души и физические потребности требуют физического счастья и реальных объектов, а не химер, которыми столько веков кормили наши умы. Будем трудиться для физической стороны человека, сделаем ее приятной для него, и мы вскоре увидим, что его духовная сторона становится лучше, счастливей; мы увидим, что душа его становится мирной, ясной, а воля его направляется к добродетели, определяясь к тому естественными и доступными наблюдению мотивами. Если законодатель станет заботиться о физической стороне человека, то получатся здоровые, крепкие, хорошо сложенные граждане, которые, будучи счастливы, легко будут поддаваться полезным воздействиям на их души. Но души эти будут всегда порочными, если тела будут хилыми, а народы несчастливыми. Mens sana in corpore sana. Вот что создает хороших граждан.

Чем больше мы станем размышлять, тем больше мы будем убеждаться, что душа не только не отлична от тела, но есть самое это тело, рассматриваемое по отношению к некоторым из его функций или к некоторым способам бытия и действия, на которые оно способно, пока живет. Таким образом душа есть человек, рассматриваемый по отношению к его способности чувствовать, мыслить и действовать определенным образом, вытекающим из его собственной природы, т.-е. из его свойств, его специфической организации и длительных или кратковременных модификаций, испытываемых этой организацией со стороны действующих на нее агентов [2]).

Те, кто отличают душу от тела, по существу отличают просто имеющийся у тела мозг от него самого. Действительно, мозг есть

[1]) Если желать составить себе представление о тех помехах, которые создала теология полету мысли гениальных христианских философов, то достаточно прочесть лишь метафизические романы Лейбница, Декарта, Мальбранша, Кедворса и т. д. и хладнокровно рассмотреть остроумные химеры, известные под названиями систем предустановленной гармонии, окказионализма, физического предвижения и т. д.

[2]) Если спросить у теологов, упорствующих в своем допущении двух отличных по существу, субстанций—почему они умножают без нужды существа, то они ответят: потому что мысль не может быть свойством материи. Если далее спросить их, не может ли бог сообщить материи способность мыслить, то они ответят на это отрицательно, ибо бог не может делать невозможных вещей. Но, в таком случае, теологи оказываются настоящими атеистами: действительно, согласно их принципам, так же невозможно, чтобы дух или мысль произвели материю, как невозможно, чтобы материя произвела дух или мысль; отсюда можно заключить против них, что мир не был создан духом, как и дух не был создан миром; что мир вечен, и что, если существует вечный дух, то, значит, существуют, согласно им, два вечных существа, что нелепо; но если существует одна вечная субстанция, то ясно, что этой субстанцией является мир, ибо мир, несомненно, существует.

тот общий центр, где кончаются и собираются все нервы со всех частей человеческого тела; при помощи этого внутреннего органа совершаются все операции, приписываемые душе; сообщенные нервам изменения и движения видоизменяют мозг, в результате этого он оказывает противодействие и приводит в движение органы тела или же действует на самого себя и становится способным произвести внутри себя огромное разнообразие движений, называемых умственными способностями.

Из этого-то мозга некоторые мыслители хотели сделать духовную субстанцию. Ясно, что невежество породило и укрепило эту столь противоестественную систему. Благодаря нежеланию изучить человека, в нем предположили наличие некоего агента, отличающегося по своей природе от его тела; исследуя это тело, можно убедиться, что для объяснения всех наблюдаемых в нем явлений нет никакой нужды прибегать к гипотезам, которые могут лишь сбить нас с прямого пути. Спутывает этот вопрос то, что человек не может видеть самого себя; действительно, чтоб он мог видеть себя, он должен был бы быть одновременно и внутри, и вне себя. Его можно сравнить с чувствительной арфой, издающей сама по себе звуки и спрашивающей себя самое, что заставляет ее издавать их; она не видит, что, будучи чувствительной, она сама задевает свои струны, и что струны эти задеваются и начинают звучать при всяком прикосновении к ним.

Чем обширнее станет наш опыт, тем больше случаев мы будем иметь убедиться, что слово дух не имеет никакого смысла, даже для тех, кто придумал его, и не может пригодиться нигде, ни в физике, ни в морали; то, что современные метафизики понимают под этим словом, представляет в действительности скрытую силу, придуманную для объяснения скрытых качеств и действий, но в действительности не объясняющую ничего. Дикие народы допускают существование духов, чтобы объяснить явления, которых они не знают кому приписать или которые кажутся им чудесными. Но, приписывая духам происходящие в природе или в человеческом теле явления, мы разве рассуждаем иначе, чем дикари? Люди наполнили природу духами, ибо они почти никогда не знали истинных причин явлений. Не зная сил природы, ее считали одушевленной каким-то великим духом; аналогичным образом, не зная свойственной человеческому организму энергии, его считали одушевленным каким-то духом. Отсюда ясно, что словом дух означают лишь неизвестную причину известного явления, которое не умеют объяснить естественным образом. Так, аналогичным образом, индийцы думали, что страшные действия пороха производятся духами или божествами. Аналогично же еще и в наше время верят в ангелов, в демонов; а наши предки некогда верили в богов, в манов, в гениев; рассуждая, как они, мы должны были бы приписать духам тяготение, электричество, явления магнетизма [1]) и т. д.

[1]) Легко понять, что представление о духе, придуманное дикарями и усвоенное невежественными людьми, может задержать прогресс знания, ибо оно препятствует нам искать истинных причин наблюдаемых нами явлений и благоприятствует лености человеческой мысли. Эта леность и невежество могут быть очень полезны теологам, но они крайне пагубны для существа. Жрецы во все времена преследовали тех, кто первые объяснили естественным образом явления природы—достаточно вспомнить имена Анаксагора, Аристотеля, Галилея, Декарта и пр. Истинная физика должна повлечь за собой гибель теологии.

ГЛАВА VIII.

Об умственных способностях: все они являются производимыми от способности чувствовать.

Чтоб убедиться, что так называемые умственные способности представляют лишь вытекающие из организации нашего тела способы бытия и действия, нам остается только анализировать их; мы увидим тогда, что все приписываемые нашей душе операции представляют лишь модификации, на которые не может быть способна непротяженная или нематериальная субстанция.

Первая способность, которую мы наблюдаем в живом человеке и из которой вытекают все прочие,—это способность чувствовать (Sentiment). Как бы ни казалась непонятной на первый взгляд эта способность, если присмотреться к ней ближе, мы найдем, что она вытекает из сущности и свойств организованных существ, подобно тому, как тяжесть, магнетизм, электричество и т. д. вытекают из сущности или природы некоторых других существ, а эти физические явления—как мы увидим—не менее непонятны, чем явления ощущения. Однако, если мы захотим составить себе точное представление о нем, то мы найдем, что чувствовать (sentir) означает особый способ испытывать воздействие, свойственный некоторым органам живых тел и обнаруживающийся при наличии материального предмета, действующего на эти органы, движения или сотрясения которых передаются мозгу. Мы чувствуем лишь через посредство нервов, разбросанных в разных местах нашего тела, которое является, так сказать, одним большим нервом, или которое похоже на большое дерево, ветви коего испытывают через посредство ствола исходящее от корней действие. В человеке нервы соединяются в мозгу; этот орган является настоящим седалищем ощущения; подобно пауку в центре своей паутины, способность чувствовать быстро узнает о всех заметных изменениях, происходящих в теле, до самых оконечностей которого простираются его нити или ветви. Опыт показывает нам, что человек перестает чувствовать в тех частях своего тела, у которых прервано сообщение с мозгом; если же в самом этом органе произошло какое-нибудь нарушение или он испытал слишком резкое воздействие, то человек чувствует лишь несовершенным образом или перестает совсем чувствовать [1]).

[1]) Les Mémoires de l'Academie Royale des sciences de Paris дают нам доказательства вышеизложенного; в них говорится о человеке, у которого сняли черепную крышку, заменив ее кожей: когда через эту кожу надавливали рукой на мозг, то человек впадал в своего рода летаргию и ровно ничего не чувствовал. Опыт этот был произведен г. де-ла Пейрони. Борелли в своем трактате de motu animalium называет мозг Regie anima. Есть все основания думать, что именно от мозга зависит различие не только между человеком и животным, но и между умным человеком и глупым, между мыслящим человеком и невеждой, между рассудительным человеком и сумасшедшим. Бартолиний утверждает, что мозг человека вдвое больше бычачьего,—это наблюдение было сделано до него еще Аристотелем. Виллис, диссекируя труп одного слабоумного, убедился, что мозг его меньше нормы; он говорит, что самое крупное различие, замеченное им между частями тела этого слабоумного и органами нормального человека, заключается в том, что сплетение межреберных нервов (которое, по его словам, свойственно только человеку, являясь посредником между сердцем и мозгом) было у него очень мало и имело меньшее количество нервов, чем обыкновенно. Согласно тому же Виллису из всех животных у обезьяны относительно наибольший мозг; она же является, после человека, наиболее умным животным. См. Willis, Anat. Cerebrin, гл. 26, и dem Nervorum descriptio, с. 26. Кроме того, было замечено, что у лиц, работающих умственным трудом, мозг обширнее, чем у других; аналогичным образом у гребцов руки толще, чем у прочих людей.

Как бы то ни было, чувствительность мозга и всех его частей является фактом. Если нас спросят, откуда взялось это свойство мозга, то мы ответим, что оно результат специфически свойственного животному сочетания: грубая и бесчувственная материя, оживотняясь, т. е. сочетаясь и отождествляясь с животным, становится чувствительной. Так, молоко, хлеб и вино превращаются в субстанцию человека, являющегося чувствующим существом: сочетаясь с чувствующим целым, эти грубые вещества становятся чувствующими. Некоторые философы думают, что способность чувствовать (sensibilité)—это всеобщее свойство материи: в этом случае бесполезно было бы спрашивать, откуда является у нее это свойство, которое мы знаем по его действиям. Если допустить эту гипотезу, то подобно тому, как отличают в природе два рода движения, одно, называемое живой силой, а другое — мертвой силой, так можно будет различать двоякого рода способность чувствовать — одну активную или живую, а другую — инертную или мертвую; в этом случае оживотнение субстанции будет означать устранение препятствий, мешающих ей быть активной и чувствующей. Одним словом, способность чувствовать это или свойство, сообщающееся подобно движению и получающееся путем сочетания, или же свойство, присущее всякой материи; и в том и в другом случае субъектом его не может быть непротяженное существо, каким предполагают человеческую душу [1]).

Строение, форма, ткань, тонкость внешних и внутренних органов человека и животных делают части их очень подвижными и производят то, что их органическая машина может быть приведена в действие с очень большой быстротой. В теле, представляющем совокупность фибров и нервов, соединенном в одном общем центре, смежных друг с другом и всегда готовых прийти в действие, в целом, составленном из жидких и твердых веществ, части которых находятся, так сказать, в равновесии, и мельчайшие молекулы которых соприкасаются, будучи активными и быстрыми в своих движениях и сообщая постепенно друг другу получаемые ими впечатления колебания, сотрясения,—в таком составном теле малейшее движение быстро распространяется, и колебания, вызванные в отдаленнейших частях его, очень скоро передаются в мозг, который, благодаря своей тонкой ткани, способен очень легко модифицироваться. В нервах и фибрах непрерывно циркулируют столь подвижные агенты, как воздух, огонь и вода, способствующие, несомненно, той невероятной быстроте, с которой мозг осведомляется о всем, происходящем на оконечностях тела.

Несмотря на большую подвижность организации человека, несмотря на непрерывное воздействие на него внутренних и внешних причин—он не всегда ясно и раздельно чувствует производимые на его органы впечатления: он чувствует их только тогда, когда они произвели некоторое изменение или некоторое сотрясение в его мозгу.

[1]) „Все части природы могут дойти до состояния воодушевленности; разница здесь не по существу, а по состоянию... Если спросят, что необходимо, чтобы одушевить какое-нибудь тело, то я отвечу, что не нужно ничего особенного и что для этого достаточно силы природы в соединении с организацией. Жизнь есть совершеннейшее произведение природы; в ней нет части, которая бы не стремилась к этому и не достигала этого тем же самым путем. Акт жизни двойственен. Нет никакой разницы между жизнью насекомого, собаки, человека; но акт этот совершеннее (по отношению к нам) пропорционально усложнению структуры органов, а структура эта характеризуется семенем, которое содержит в себе принципы жизни более, чем всякая другая часть материи. Следовательно, верно то, что способность чувствовать, страсти, восприятие предметов, идеи, их образование, их сравнение, воля представляют органические способности, зависящие от соответственного устройства частей животного". См. Dissertations mêlles sur diwers sujets importans, напечатан в Амстердаме в 1740 г., с. 254.

Так, хотя воздух окружает нас со всех сторон, мы чувствуем его действия лишь тогда, когда он поражает с достаточной силой наши органы и нашу кожу, так что мозг наш предупрежден о его присутствии. Так, в глубоком и спокойном сне, не нарушаемом сновидениями, человек перестает чувствовать. Наконец, так, несмотря на происходящее в человеческом организме непрерывное движение, человек как будто ничего не чувствует, когда все движения совершаются подходящим образом. Он не замечает состояния здоровья, но он замечает состояние боли или болезни, потому что в первом случае его мозг не испытывает сильного воздействия, между тем как во втором—его нервы испытывают сокращения, сотрясения, бурные и беспорядочные движения, предупреждающие мозг, что какая-то причина действует на них сильно и необычным образом: это и составляет то, что мы называем болью.

С другой стороны, случается иногда, что внешние предметы производят очень значительные изменения в нашем теле, хотя в тот момент, когда эти изменения происходят, мы их и не замечаем. Часто в пылу битвы солдат не замечает опасной раны, ибо многообразные бурные и быстрые движения, которыми полон его мозг, мешают ему различить особенные изменения, происходящие в какой-нибудь части его тела. Наконец, когда на человека действует одновременно и с большой энергией множество причин, то он этого не выдерживает, он падает в обморок, теряет сознание, лишается способности чувствовать.

Вообще, ощущение имеет место лишь тогда, когда мозг может различать производимые на органы впечатления. Сознание (conscience) состоит в различном сотрясении, в воспринятой модификации мозга [1]). Отсюда ясно, что ощущение—это способ бытия, или различимое изменение, произведенное в нашем мозгу, в связи с импульсами, полученными нашими органами от внешних или внутренних причин, видоизменяющих их длительным или кратковременным образом. Действительно, мы наблюдаем, что человек, на органы которого не действуют никакие внешние предметы, чувствует самого себя, сознает происходящие в нем изменения; в этом случае его мозг видоизменяется или возобновляется, благодаря внутренним модификациям. Не будем удивляться этому; в столь сложной машине, как человеческое тело, все части которого сообщаются с мозгом, последний должен получать сведения об изменениях и импульсах, происходящих в целом, части которого способны по своей природе чувствовать, находятся в непрерывном взаимодействии и объединяются все в нем.

Когда человек испытывает боль от подагры, то он сознает, т.-е. он чувствует внутренне, что в нем происходят очень заметные изменения, хотя никакая внешняя причина не воздействует непосредственно на него. Однако, доискиваясь до корня этих изменений, мы найдем, что они произведены такими внешними причинами, как полученные нами от наших родителей организация и темперамент, известная пища и тысяча мелких и ничтожных причин, которые, накопляясь мало-по-малу, производят humor подагры, дающей себя очень чувствительно знать. Боль от подагры порождает в мозгу идею или модификацию, обладающую способностью повторяться в нем даже тогда, когда человек не имеет уже больше подагры: мозг человека, путем ряда движений, приходит тогда в состояние, аналогичное тому, в котором он

[1]) Согласно доктору Кларку, „сознание—это обдуманный акт, при посредстве которого я мыслю, и мои мысли или мои действия оказываются принадлежащими мне, а не другому человеку". См. его письмо против Додуэлл.

находился, когда испытывал реально эту боль; человек никогда не имел бы представления о ней, если бы он раньше не испытал ее.

Органами чувств называются видимые органы нашего тела, через посредство которых модифицируется мозг. Этим модификациям дают различное наименование. Слова: ощущения (sensations), восприятия, идеи означают лишь изменения, происходящие во внутреннем органе, в связи с впечатлениями, производимыми на внешние органы действующими на них телами. Эти изменения, рассматриваемые сами по себе, называются ощущениями; когда внутренний орган замечает их или предупрежден о них, они называются восприятиями; когда внутренний орган относит эти изменения к произведшему их предмету, они называются идеями.

Таким образом всякое ощущение представляет лишь сотрясение, полученное нашими органами; всякое восприятие представляет это сотрясение, распространившееся до мозга; всякая идея—это образ предмета, от которого происходит ощущение и восприятие. Отсюда ясно, что если наши чувства не испытывают никакого воздействия, то мы не может иметь ни ощущений, ни восприятий, ни идей, как мы будем иметь случай доказать тем, кто стали бы еще сомневаться в столь очевидной истине.

Человек отличается от других существ, называемых нами бесчувственными и неодушевленными, большой подвижностью своей организации; различная степень подвижности организации отдельных лиц устанавливает между ними невероятное множество оттенков и различий как со стороны телесных способностей, так и со стороны тех способностей, которые называют умственными или интеллектуальными. Из этой большей или меньшей подвижности вытекают ум, чувствительность, воображение, вкус и т. д. Но остановимся в настоящий момент на деятельности наших чувств и посмотрим, как действуют на них и видоизменяют их внешние предметы; затем мы рассмотрим реакцию внутреннего органа.

Глаза представляют собой очень подвижные и очень тонкие органы, через посредство которых мы испытываем ощущения света или цвета, сообщающие мозгу раздельное восприятие, в результате коего светящееся или цветное тело порождает в нас некоторую идею. Лишь только я открываю веки, как сетчатка моя испытывает определенное воздействие; в жидкости фибров и нервов, из коих составлены глаза, возбуждаются колебания, которые передаются мозгу и рисуют в нем образ действующего на наши глаза тела; благодаря этому, мы имеем идею о цвете этого тела, о его величине, его форме, его расстоянии: так объясняется механизм зрения.

Благодаря подвижности и эластичности фибров и нервов, образующих ткань кожи, достаточно приложить эту оболочку человеческого тела к другому телу, чтобы она очень быстро испытала воздействие последнего; она предупреждает мозг о наличии этого чужого тела, о его размерах, шероховатости или гладкости его, о тяжести его и других качествах его, сообщающих мозгу раздельные восприятия и порождающих в нем различные идеи; все это составляет осязание.

Благодаря тонкости оболочки, выстилающей внутренность ноздрей, она способна испытывать раздражения даже от невидимых и неосязаемых частиц, которые исходят от пахнущих тел и несут с собой мозгу ощущения, восприятия идеи: все это составляет чувство обоняния.

Рот, будучи заполнен чувствительными, подвижными, нервными сосочками, содержащими в себе соки, способные растворить соли, испытывает очень быстро воздействие со стороны проходящей через

него пищи и передает мозгу полученные им впечатления: этим механизмом объясняется вкус.

Наконец, ухо, способное, благодаря своему строению, воспринимать различные впечатления от модифицированного разным образом воздуха, сообщает мозгу колебания или ощущения, порождающие восприятие звуков и идею о звучащих телах: это составляет слух.

Таковы единственные пути, через посредство которых мы получаем ощущения, восприятия и идеи. Эти последовательные модификации нашего мозга, вызываемые предметами, воздействующими на наши чувства, становятся сами причинами и производят в душе новые модификации, которые называются мыслями, размышлениями, памятью, воображением, суждениями, желаниями, действиями и которые все имеют в основе ощущения.

Чтобы составить себе точное понятие о мысли, надо тщательно исследовать то, что происходит в человеке в присутствии какого-нибудь предмета. Допустим на минуту, что этим предметом является персик. Этот плод производит сперва на мои глаза два различных впечатления, т.-е. вызывает в них модификации, передающиеся мозгу; в связи с этим мозг испытывает два новых способа бытия или восприятия, которые я обозначаю названиями цвета и круглости; следовательно, у меня оказывается идея о круглом и цветном теле. Положив руку на этот плод, я прикасаюсь к нему органом осязания; тотчас же моя рука испытывает три новых впечатления, которые я обозначаю названиями: мягкость, свежесть, тяжесть; отсюда вытекают три новых идеи. Если я приближу этот плод к органу обоняния, то последний испытывает новую модификацию, передающую мозгу новое восприятие и новую идею, называемую запахом. Наконец, если я поднесу этот плод к моему рту, то орган вкуса испытывает особое воздействие, сопровождаемое восприятием, вызывающим во мне идею вкуса. Соединяя все эти различные впечатления или модификации моих органов, сообщенные моему мозгу, т.-е. сочетая полученные мною ощущения, восприятия и идеи, я получаю идею о некоем целом, которое я называю персиком, которым мысль моя может заниматься или о котором я имею понятие [1]).

Всего сказанного достаточно, чтобы объяснить нам зарождение ощущений, восприятий и идей и их соединение и связь в мозгу; мы видим, что эти различные модификации представляют лишь следствия последовательных колебаний, передаваемых нашими внешними органами нашему внутреннему органу, обладающего тем, что мы называем способностью мыслить, т.-е. способностью замечать в самом себе или чувствовать различные модификации или идеи, комбинировать их и разделять, расширять их или суживать, сравнивать их, возобновлять и т. д. Отсюда ясно, что мысль суть лишь восприятие модификаций, полученных нашим мозгом от внешних предметов или вызванных им в себе самом.

Действительно, наш внутренний орган не только замечает получаемые им извне модификации, но он способен еще модифицировать себя сам и рассматривать происходящие в нем изменения и движения, или свои собственные операции, что вызывает в нем новые восприятия и новые идеи. Деятельность этой способности обращаться к самому себе называется размышлением.

Отсюда ясно, что мыслить и размышлять—это значит чувствовать или замечать в самих себе впечатления, ощущения, идеи, получаемые нами от действующих на наши чувства предметов и различные изменения, производимые нашим мозгом или внутренним органом в самом себе.

Память есть способность внутреннего органа возобновлять в самом себе полученные им модификации, приходить в состояние, подобное тому, в какое его привели уже раньше вызванные в нем внешними предметами восприятия, ощущения, идеи в порядке их действия,—без нового воздействия со стороны этих предметов, и даже тогда, когда эти предметы отсутствуют. Наш внутренний орган замечает, что эти модификации те же самые, какие он испытал раньше в присутствии предметов, к которым он их относит, или которым приписывает. Память верна, если эти модификации те же самые; она не верна, если они отличаются от тех, что раньше испытал наш орган.

Воображение—это способность мозга создавать себе новые восприятия по образу тех, которые он получил, благодаря воздействию внешних предметов на органы чувств. Наш мозг в этом случае лишь комбинирует полученные им раньше идеи, которые он вспоминает, чтобы составить из них известное целое или сумму модификаций, которой он не воспринимал, хотя он знает отдельные идеи или части, из коих он составляет эту идеальную, существующую лишь в нем самом, совокупность. Так, он составляет себе идеи о центаврах, гиппогрифах, богах и демонах и т. д. С помощью памяти наш мозг возобновляет полученные им ощущения, восприятия, идеи и представляет себе предметы, которые когда-то реально воздействовали на его органы; с помощью же воображения он комбинирует эти модификации, чтоб создать из них предметы или целые, которые никогда не воздействовали на его органы, хотя он знает элементы или идеи, из коих он их составляет. Так, люди, комбинируя ряд идей, заимствованных ими у самих себя,—как, например, идеи справедливости, мудрости, доброты, разума и т. д.,—образовали, при содействии воображения, некое идеальное целое, названное ими божеством.

Суждением назвали ту способность, которою обладает мозг, чтобы сравнивать между собою полученные им модификации или идеи, или которую он может пробудить в себе, чтобы вскрыть их отношения или действия.

Воля, это модификация нашего мозга, благодаря которой он оказывается способным к действию, т.-е. способным двигать органы своего тела так, чтобы добывать себе то, что модифицирует его соответственным его бытию способом, или же устранять то, что вредит ему. Хотеть—это быть расположенным к действию. Внешние предметы или внутренние идеи, порождающие это расположение в нашем мозгу, называются мотивами, ибо они являются движущими пружинами, побуждающими его действовать, т.-е. привести в движение органы тела. Поэтому произвольными движениями являются движения тела, вызванные модификациями мозга. Вид плода модифицирует мой мозг, побуждая его привести в движение мою руку, чтоб достать увиденный мною плод и поднести его ко рту.

Все модификации, испытываемые внутренним органом или мозгом; все ощущения, восприятия или идеи, которые он получает от

[1]) Все сказанное доказывает, что мысль имеет начало, продолжительность, конец, или же, что она рождается, существует известное время и разлагается, как все прочие модусы материи; подобно последним, мысль возбуждается, детерминируется, растет, делится, складывается, упрощается и т. д. Но если душа, или мыслящее начало, неделима, то как она может мыслить последовательно, делить, абстрагировать, комбинировать, расширять свои идеи, удерживать их и терять, помнить и забывать? Как перестает она мыслить? Если формы кажутся неделимыми в материи, то лишь при абстрактном рассмотрении их, на манер геометров; но эта неделимость форм не существует в природе, где нет совершенно правильных форм или атомов. Отсюда следует заключить, что формы материи не менее неделимы, чем мысль.

действующих на его чувства предметов или которые он возобновляет в самом себе, полезны или вредны нашему обычному или случайному способу бытия, предрасполагая внутренний орган к действию: он поступает так в силу своей собственной энергии, которая не одна и та же во всех существах человеческого рода и которая зависит от их темпераментов. Отсюда вытекают более или менее сильные страсти, которые являются движением воли, определяемой действующими на нас предметами в сложной зависимости от сходства или несходства между ними и нашим способом бытия и силой нашего темперамента. Ясно таким образом, что страсти—это способы бытия или модификации внутреннего органа, притягиваемого или отталкиваемого предметами и, следовательно, подчиненного, на свой лад, физическим законам притяжения и отталкивания.

Способность нашего внутреннего органа воспринимать или быть модифицируемым, как внешними предметами, так и самим собой, называется иногда пониманием (entendement).

Разумом (intelligence) назвали совокупность различных способностей мозга. Умом (raison) называют некоторый определенный способ проявления им своих способностей. Остроумием, мудростью, добротой, благоразумием, добродетелью и т. д. называют постоянные или временные расположения или модификации внутреннего органа, побуждающие людей к действиям.

Одним словом, как мы скоро будем иметь случай доказать, все умственные способности, т.-е. все предписываемые душе способы действия, сводятся к модификациям, к качествам, к способам бытия, к изменениям, производимым движением в мозгу, являющимся в нас видимым седалищем способности чувствовать и принципом всех наших действий. Эти модификации зависят от действующих на наши чувства предметов, передающих свои импульсы мозгу, или же не от идей, которые эти предметы порождают в мозгу и которые он способен вопроизводить; мозг в этом случае приходит сам в движение, воздействует на самого себя, приводя в движение органы, которые объединяются в нем или которые являются скорее расширением его собственной субстанции. Так, скрытые движения внутреннего органа становятся видимыми наружу через посредство видимых знаков. Мозг, испытав модификацию, называемую нами страхом, создает дрожание в членах и вызывает бледность на лице. Этот мозг, испытав чувство боли, вызывает слезы на глазах, хотя бы никакой предмет не действовал на него; достаточно представляемой им себе ярко идеи, чтобы вызвать очень энергичные модификации, воздействующие явно на весь организм.

Во всем этом мы видим лишь одну и ту жу субстанцию, действующую разно в своих различных частях. Если скажут, что этого механизма недостаточно для объяснения принципа движений или способностей нашей души, то мы скажем, что то же самое относится ко всем телам природы, в которых наипростейшие движения, ординарнейшие явления, обычнейшие способы действия представляют загадочные тайны, первых принципов которых мы никогда не познаем. Действительно, можем ли мы надеяться познать когда-нибудь истинный принцип тяжести, в силу которой падает камень? Знаем ли мы механизм, производящий протяжение в одних субстанциях, а отталкивание в других? В состоянии ли мы объяснить передачу движения от одного тела к другому? Сверх того, исчезнут ли теоретические трудности, связанные с вопросом о способе действия души, если мы сделаем из нее некое духовное существо, о котором мы не имеем ни малейшего представления и которому, следовательно, не может удовлетворить ни одно из наших понятий о нем. Поэтому удовольствуемся знанием, что душа движется и что она модифицируется воздействующими на нее материальными причинами. Мы вправе заключить отсюда, что все ее операции и способности доказывают материальность ее.

ГЛАВА IX.

О разнообразии умственных способностей; они, как и нравственные качества, зависят от физических причин.—Естественные принципы общежития (sociabilité), нравственности и политики.

Природа вынуждена разнообразить все свои творения; различные по своей сущности элементарные вещества должны образовать существа, различающиеся своими сочетаниями и своими свойствами, своими способами бытия и действия. В природе нет и не может быть двух, математически строго тождественных, существ и сочетаний, ибо, так как место, обстоятельства, отношения, пропорции, модификации никогда не бывают в точности подобными, то вытекающие из них существа никогда не могут представлять совершенного подобия, и их способы действия должны различаться в чем-нибудь. Даже если мы усматриваем у них величайшее сходство [1]).

Благодаря этому, подтверждаемому со всех сторон принципу, нет двух людей, которые обладали бы одними и теми же чертами, которые чувствовали бы и мыслили бы одинаковым образом, которые одинаково глядели бы на вещи, которые имели бы одинаковые идеи и, следовательно, поступали тождественным образом. Внешние и внутренние органы людей представляют, конечно, известные аналогии, обладают некоторым сходством и соответствием, благодаря чему, они grossu modu испытывают одинаковые воздействия от известных причин; но в подробностях между ними существуют бесконечные различия. Человеческие души можно сравнить с музыкальными инструментами, струны которых, различные сами по себе или по веществам, из которых они сделаны, сверх того еще настроены на различные тона: под влиянием одного и того же воздействия каждая струна издает свойственный ей звук, т.-е. звук, зависящий от ее состава, ее натяжения, толщины, от того временного состояния, в которое ее приводит окружающий воздух и т. д. Это-то и порождает столь разнообразное зрелище духовного мира; отсюда столь поразительное разнообразие умов, способностей, страстей, энергий, вкусов, воображений, идей, взглядов у людей; это разнообразие столь же велико, как различие темпераментов или физиономий; из этого разнообразия вытекает непрерывное взаимодействие, образующее жизнь духовного мира; из этого разногласия получается гармония, сохраняющая человеческий род.

Различие между отдельными индивидами порождает среди них неравенство, которое является опорой общества. Если бы все люди были одинаковы и в физическом и в духовном отношениях, то они не нуждались бы друг в друге: благодаря же разнообразию их способностей и вызываемому этим неравенству, люди оказываются необходимыми друг другу; без этого они жили бы изолированным обра-

[1]) См. сказанное в конце VI главы.

зом. Ясно таким образом, что это неравенство, на которое мы часто напрасно жалуемся, и невозможность достигнуть благополучия в одиночку являются счастливым обстоятельством, заставляя нас ассоциироваться, зависеть от наших ближних, добиваться их помощи, склонять их на свою сторону, привлекать их к себе, чтобы устранить общими усилиями то, что могло бы нарушить гармонию нашего организма. Благодаря различию людей и их неравенству, слабый вынужден прибегать к защите сильного; оно же заставляет последнего прибегать к знаниям, талантам, мастерству более слабого, если он их считает полезным для самого себя. Благодаря этому естественному неравенству, народы отличают оказывающих им услуги граждан, воздавая почести и вознаграждая лиц, знания, деятельность и доблесть которых создают обществу реальные или воображаемые выгоды, удовольствия, всякого рода приятные ощущения; благодаря ему, гений приобретает влияние на людей и заставляет целые народы признавать свою силу. Таким образом различие и неравенство физических и интеллектуальных способностей делают человека необходимым человеку, делают его общежительным (sociable) и доказывают ему неопровержимым образом необходимость нравственности.

В зависимости от различных своих способностей, люди делятся на различные классы по разнообразию производимых ими действий и по различию наблюдаемых у них качеств, которые вытекают из индивидуальных особенностей их душ или из особенных модификаций их мозга. Так ум, чувственность, воображение, таланты и пр. являются источником различий между людьми; так возникают различия между людьми добрыми и злыми, добродетельными и порочными, учеными и невеждами, рассудительными и нерассудительными и т. д.

Если мы станем анализировать различные способности, приписываемые душе, то мы увидим, что они, подобно физическим способностям, зависят от физических причин, которые не трудно выяснить. Мы найдем, что силы души те же, что и силы тела, и зависят всегда от организации последнего, от его особенных свойств, от испытываемых им постоянных или временных модификаций, одним словом, от темперамента.

Темпераментом человека называется обычное состояние, в котором находятся жидкие и твердые составные части его тела. Темпераменты изменяются в зависимости от элементов или веществ, преобладающих в каждом индивиде и от различных сочетаний и модификаций этих разнообразных самих по себе веществ в его организме. Так, у одних преобладает кровь, у других желчь, у иных флегма и т. д.

Мы обязаны своим темпераментом природе, т.-е. нашим родителям, а также причинам, которые модифицировали нас непрерывно с первого момента нашего существования. В утробе матери каждый из нас почерпал вещества, которые будут всю жизнь влиять потом на его умственные способности, на его энергию, его страсти, поведение. Принимаемая нами пища, качество воздуха, которым мы дышим, климат, в котором мы живем, полученное нами воспитание, внушаемые нам идеи и взгляды модифицируют этот темперамент; и, так как эти обстоятельства никогда не могут быть одинаковыми у двух людей, то нет ничего удивительного, что между людьми существует такое разнообразие или же что существует столько различных темпераментов, сколько имеется различных индивидов.

Таким образом, хотя среди людей наблюдается некоторое общее сходство, но они отличаются друг от друга существенным образом как тканью и строением своих фибров и нервов, так и качеством и количеством веществ, приводящих эти фибры в движение. Человек, уже отличающийся от другого человека структурой и расположением своих фибров, станет еще более отличным от него, если он будет принимать здоровую пищу, пить вино, заниматься физическими упражнениями, в то время как другой будет пить лишь воду и принимать недостаточную пищу; последний должен будет ослабеть и зачахнуть.

Все эти причины влияют необходимым образом на ум, на страсти, одним словом, на то, что называют интеллектуальными способностями. Так, мы видим, что сангвинический человек обыкновенно остроумен, вспыльчив, сластолюбив, предприимчив, меж тем как флегматический человек обнаруживает тугость понимания и тупость чувств, обладает слабым воображением, слабодушием и не способен сильно хотеть.

Если бы, отбросивши предрассудки, считались с указаниями опыта, то медицина дала бы нравственности ключ к человеческому сердцу и, излечивая тело, могла бы иногда излечивать дух. Делая же из нашей души духовную субстанцию, довольствуются тем, что приписывают ей духовные лекарства, которые нисколько не влияют на темперамент или только вредят ему. Догмат о духовности души превратил нравственность в какую-то проблематическую науку, не раскрывающую перед нами тех настоящих средств, которыми можно действовать на людей. Если бы, руководствуясь опытом, мы знали те элементы, которые лежат на основе темперамента какого-нибудь человека, или большинства индивидов какого-нибудь народа, то мы знали бы, что им нужно, знали бы те законы, которые им необходимы, учреждения, которые им полезны. Одним словом, мораль и политика могли бы извлечь из материализма выгоды, которые никогда им не доставит учение о духовности души и о которых оно не позволяет даже мечтать. Человек всегда будет загадкой для тех, кто будет упорно желать видеть его через очки теологических предрассудков или кто будет приписывать его действия принципу, о котором он никогда не сможет иметь представления. Поэтому, желая познать человека, будем пытаться открыть вещества, которые входят в его организм и составляют его темперамент; эти открытия помогут нам угадать природу и качество его страстей и наклонностей и предвидеть его поведение при известных обстоятельствах; они укажут нам средства, необходимые для исправления недостатков порочной организации или темперамента, вредно как обществу, так и самому обладателю его.

Действительно, нет сомнения, что можно исправлять, изменять, модифицировать темперамент человека физическими причинами, подобными тем, которые его составляют. Каждый из нас может сделать себе некоторым образом темперамент; человек сангвинического темперамента, принимая менее сочную пищу или принимая ее в меньшем количестве, воздерживаясь от крепких напитков и т. д., может исправить природу, качество и количество движений преобладающей в нем жидкости. Человек желчного или меланхолического темперамента может, с помощью некоторых средств, уменьшить массу этой преобладающей жидкости и, посредством упражнений, развлечений, веселости, вытекающих из движения, исправить недостатки своего темперамента. Европеец, переселившись в Индию, станет мало-по-малу совсем новым человеком по настроению, по идеям, по темпераменту и характеру.

Хотя до сих пор было сделано мало опытов, чтобы распознать принцип, образующий темперамент людей, но для практического применения их имеется уже достаточно. Повидимому, огненное начало,

которое химики назвали флогистоном или воспламеняющимся веществом, является у человека источником большой живости и энергии; оно придает больше силы, подвижности, активности его фибрам, больше напряжения его нервам, больше быстроты его жидкостям. Из этих материальных причин вытекают обычно наклонности или способности, называемые нами способностью чувствовать, умом, воображением, желаниями, гением, живостью и т. д., придающие особый тон страстям, желаниям, моральным поступкам людей. В этом смысле довольно удачно пользуются выражениями жар души, пылкое воображение, искра гения [1]).

Именно этот огонь, имеющийся в разных дозах у людей, сообщает им движение, активность, животную теплоту и делает их, так сказать, более или менее живыми. Этот, столь подвижный и тонкий, огонь легко рассеивается; в этом случае он должен быть восстановлен с помощью пищи, которая содержит его и которая, благодаря этому, способна возобновить работу нашей животной машины, согреть мозг, сообщить ему активность, необходимую для выполнения так называемых интеллектуальных функций. Этот содержащийся в вине и крепких напитках огонь придает самым флегматичным людям живость, на которую без него они были бы неспособны, и побуждает даже трусов к сражению. Изобилие у нас этого огня при известных болезнях порождает бред, а чрезмерный недостаток его при других болезнях вызывает у нас упадок сил. Наконец, этот огонь уменьшается в старости и совершенно исчезает со смертью [2]).

Если мы рассмотрим, согласно нашим принципам, интеллектуальные способности или моральные качества людей, то мы увидим, что они зависят от материальных причин, влияющих более или менее длительным и заметным образом на их организацию. Но откуда происходит эта организация, как не от родителей, от которых мы получаем элементы ее, неизбежно аналогичные их собственной организации? Откуда получается большее или меньшее количество огненного вещества или животворной теплоты, определяющей наши умственные качества? Источником ее является мать, носившая нас в своей утробе, сообщившая нам частицу огня, которым она была сама одушевлена и который, вместе с ее кровью, циркулировал в ее жилах. Источником ее является пища, которой мы кормились, климат, в котором мы живем, воздух, который нас окружает. Все эти причины влияют на жидкие и твердые элементы нашего организма и определяют наши естественные склонности. Исследуя эти склонности, от которых зависят наши способности, мы найдем всегда, что они телесны и материальны.

Первая из этих склонностей—это физическая чувствительность (sensibilité), из которой, как мы увидим, вытекают все наши другие интеллектуальные или моральные качества. Чувствовать (sentir), как было сказано, это значит,—испытывать воздействие и иметь сознание о происходящих в нас изменениях. Таким образом обладать чувствительностью, это значит—быть устроенным таким образом, что-

[1]) Я склонен думать, что то, что врачи называют нервной жидкостью, или то подвижное вещество, которое предупреждает так быстро мозг о всем происходящем в нас, есть не что иное, как электрическая материя; различие в ее дозе или пропорции является одной из главных причин разнообразия людей и их способностей.

[2]) Если мы захотим отнестись добросовестно к фактам, то мы найдем, что принципом жизни является теплота. Благодаря теплоте, существа переходят от бездействия к движению, от покоя к брожению, от неодушевленного состояния к жизни; доказательством этого является яйцо, из которого вылупливается, благодаря теплоте, цыпленок. Одним словом, нет произрождения (génération) без теплоты.

бы чувствовать очень быстро и очень живо производимые на нас предметами впечатления. Следовательно, чувствительная душа—это просто мозг человека, устроенный так, чтобы легко воспринимать сообщаемые ему движения. Так, мы называем чувствительным того, кого вид несчастного человека, или рассказ о какой-нибудь катастрофе, или идея о горестном зрелище трогают так сильно, что вызывают у него слезы на глазах; для нас это симптом, по которому мы заключаем о значительном нарушении хода человеческой машины. Мы говорим о человеке, в котором музыкальные звуки вызывают большое удовольствие, или на которого они вообще производят заметное действие, что у него чувствительное ухо. Наконец, о человеке, в котором красноречие, красивые художественные произведения или же все действующие на него предметы вызывают очень энергичные движения, мы говорим, что у него чувствительная душа [1]).

Ум (esprit) является следствием этой физической чувствительности Действительно, мы называем умом присущую некоторым людям способность быстро схватывать совокупность предметов и их различные взаимоотношения. Мы называем гением способность легко схватывать эту совокупность и отношения в случае обширных, полезных и трудно познаваемых предметов. Ум можно сравнить с зорким зрением, быстро замечающим вещи; гений—это зрение, схватывающее одним взглядом все пункты обширного горизонта. Здравый ум—это ум, замечающий предметы и отношения так, как они суть на деле; путаный (faux) ум — это ум, замечающий только неверные отношения, что происходит от какого-то изъяна организации. Здравый ум подобен ловкости в руке.

Так как воображение означает способность легко и быстро комбинировать идеи или образы, то оно состоит в способности легко воспроизводить и связывать вместе модификации нашего мозга или же соединять их с соответствующими предметами: в этом случае воображение удовлетворяет нас; в этом случае мы одобряем фикции, которыми оно украшает природу и истину; но мы, наоборот, порицаем его, если оно рисует нам неприятные призраки или же комбинирует идеи, которые совсем неспособны ассоциироваться между собой. Так поэзия, цель которой сделать природу более трогательной, радует нас, когда она разукрашивает свои произведения соответствующими им красотами; она создает идеальные, но приятно волнующие нас существа, и мы, в благодарность за полученное нами удовольствие, прощаем иллюзию. Отвратительные же химеры суеверия противны нам, ибо они являются продуктами больного воображения, вызывающими в нас лишь неприятные идеи.

Заблуждающееся воображение порождает фанатизм, религиозные преследования, необдуманное рвение, безумие, великие преступления. Упорядоченное воображение порождает энтузиазм к полезным вещам, страсть к добродетели, любовь к отечеству, жар дружбы,—одним словом, оно придает силу и живость всем нашим чувствам: лишены воображения обыкновенные люди, в которых флегма гасит священный огонь, являющийся в нас принципом подвижности и теплоты чувств и оживляющий все наши интеллектуальные способности. Для вели-

[1]) Мы видим, сострадание зависит от физической чувствительности, которая никогда не бывает одинаковой у всех людей. Поэтому было ошибкой сделать из сострадания источник наших представлений о морали и наших чувств к нашим ближним. Далеко не все люди чувствительны: не мало есть таких, у которых чувствительность совсем не развита. Таковы государи, ведьможи, богачи и т. д.

ких доблестей, как и для великих преступлений, необходим энтузиазм. Энтузиазм приводит наш мозг или нашу душу в состояние, сходное с опьянением; энтузиазм и опьянение вызывают в нас быстрые движения, которые люди одобряют, когда они полезны, и которые они называют сумасшествием, бредом, преступлением или бешенством, когда они вызывают известные нарушения в организме.

Ум действует здраво, судя правильно о вещах, а воображение бывает упорядочено лишь тогда, когда организм способен выполнять с точностью свои функции. В каждый момент своей жизни человек производит опыты; каждое испытываемое им ощущение является фактом, запечатлевающим в его мозгу некоторую идею, воспроизводимую потом с большей или меньшей точностью его памятью: эти факты связываются, эти идеи объединяются, и цепь их составляет опыт и науку. Знать—это значит увериться на основании повторных и произведенных точно опытов в идеях, в ощущениях, в действиях, которые какой-нибудь предмет может произвести на нас или на других. Всякая наука может основываться лишь на истине, а сама истина основывается на постоянных и верных сообщениях наших чувств. Таким образом истина—это постоянное согласие или соответствие, обнаруживаемое, с помощью опыта, нашими нормально функционирующими чувствами между познаваемыми нами предметами и приписываемыми нами им качествами. Одним словом, истина—это правильная и точная ассоциация наших идей. Но как без опыта убедиться в правильности этой ассоциации? А если не повторять этих опытов, как констатировать их? Наконец, если в наших чувствах есть какой-то изъян, то как считаться с опытом или фактами, запечатленными в нашем мозгу? Только путем многократных, повторных, разнообразных опытов можно поправить недостатки первых опытов.

Мы заблуждаемся всегда, когда наши органы, не вполне здоровые по своей природе или испорченные длительными или временными модификациями, не дают нам возможности правильно судить о вещах. Заблуждение заключается в ложной ассоциации идей, благодаря которой мы приписываем предметам качества, не имеющиеся у них. Мы заблуждаемся, когда мы предполагаем существующими вещи, которые не существуют, или когда мы ассоциируем представление о счастье с предметами, способными повредить нам непосредственно или путем отдаленных следствий, которых мы не в состоянии предвидеть.

Но как можно предвидеть действия, которых мы еще не испытали? Опять-таки при посредстве опыта. Благодаря опыту мы знаем, что аналогичные или сходные причины производят аналогичные или сходные действия. Память, напоминая нам испытанные нами уже действия, дает нам возможность судить о тех действиях, которые мы можем ожидать от тех же самых причин или от причин, находящихся в связи с теми, которые уже подействовали на нас. Отсюда мы видим, что благоразумие, предусмотрительность—это способности, имеющие своим источником опыт. Я почувствовал, что огонь вызвал в моих органах болезненное ощущение; этого опыта достаточно, чтобы заставить меня предвидеть, что огонь, приложенный к какому-нибудь из моих органов, вызовет в нем и в будущем то же самое ощущение. Я испытал, что какое-нибудь действие с моей стороны вызвало ненависть или презрение ко мне у других людей; этот опыт заставляет меня предвидеть, что всякий раз, когда я буду поступать таким же образом, меня будут ненавидеть или презирать.

Наша способность производить опыты, вспоминать и предвидеть

действия, чтобы устранить те из них, которые могут вредить нам, или доставить себе те, которые полезны для нашего самосохранения и нашего счастья—единственная цель всех наших физических и духовных действий—составляет то, что называют разумом (raison). Наши чувства, наша природа, наш темперамент могут ввести нас в заблуждение и обмануть, но опыт и размышление наставляют нас на правильный путь, показывая, что может привести нас к счастью. Отсюда ясно, что разум—это наша природа, видоизмененная, благодаря опыту, рассуждению и размышлению. Разум предполагает умеренный темперамент, здравый ум, упорядоченное воображение, знание истины, основанное на надежных опытах, наконец, благоразумие и предусмотрительность. Это доказывает, что, несмотря на постоянное утверждение, будто человек—разумное существо,—в действительности существует лишь очень немного людей, которые обладают разумом или составляющими его способностями и опытом.

Не будем удивляться этому: существует мало людей, способных делать и производить правильные опыты. Все люди при рождении приносят с собой органы, которые способны испытывать воздействия или накоплять опыты; но, вследствие недостатка ли их организации или под влиянием модифицирующих ее причин, их опыты ложны, их идеи смутны и плохо ассоциированы, их суждения ошибочны; их мозг наполняется негодными системами, которые неизбежно влияют на все их поведение и постоянно расстраивают деятельность их разума.

Как мы видели, наши чувства являются единственными орудиями, с помощью которых мы можем познать, истинны ли наши взгляды, полезно ли для нас наше поведение, выгодны ли для нас вытекающие из него действия. Но чтобы наши чувства давали нам правильные сообщения о вещах или приносили в мозг истинные идеи, они должны быть здоровы, т.-е. находиться в состоянии, необходимом для сохранения нашего существа в порядке, который обеспечил бы ему его существование и постоянное благополучие. Необходимо, чтобы наш мозг был сам здоров, т.-е. был в состоянии исполнять свои функции и упражнять свои способности; память должна изображать ему верно его прежние ощущения и идеи, так, чтобы он мог судить или предвидеть действия, на которые он может надеяться или которых он должен опасаться от предпринимаемых волей поступков. Если наши внешние или внутренние органы имеют какие-нибудь недостатки от природы или благодаря модифицирующим их причинам, то мы способны ощущать лишь несовершенным и неотчетливым образом; наши идеи ложны или ненадежны; мы судим плохо; мы находимся в иллюзии или в опьянении, которые нам мешают улавливать истинные отношения вещей. Одним словом, память изменяет нам, рассудок не работает, воображение вводит в заблуждение. Ум обманывает нас, а чувствительность наших органов, одолеваемых одновременно массой раздражений, мешает благоразумию, предусмотрительности и деятельности разума. С другой стороны, если наши органы, в силу особенности сво-го сложения, могут двигаться лишь слабо и медленно, как это бывает в случае людей флегматического темперамента, то опыты приходят поздно и часто бесполезно. Черепаха и бабочка одинаково неспособны избегнуть гибели. Глупый человек и пьяный человек одинаково не смогут достигнуть своей цели.

Но какова же цель человека в занимаемой им области бытия? Существовать и сделать свое существование счастливым. Поэтому человеку важно знать надлежащие средства к этому, пользоваться которыми для достижения ставимой им себе цели его учат благоразумие и разум. Этими средствами являются его собственные способ-

ности, его ум, таланты, его умение, его действия, определенные страстями, к которым предрасполагает его природа и которые придают больше или меньше активности его воле. Опыт и разум показывают ему также, что люди, с которыми он живет в обществе, необходимы ему; что они могут способствовать его счастью и удовольствиям и помогать ему своими способностями. Опыт показывает ему, каким образом он может использовать их для своих целей; побудить их желать и действовать в его пользу; он замечает действия, которые они одобряют, и другие, которые они порицают; он замечает, какое поведение их привлекает и какое отталкивает; он наблюдает их суждения об этом, выгодные или вредные результаты, вытекающие из различных способов бытия и действия. На основании всех этих опытов он составляет себе представления о добродетели и пороке, о справедливом и несправедливом, о добром и злом, о приличном и неприличном, о честном и бесчестном и т. д.; одним словом, он научается судить людей и их поступки и различать возникающие в них неизбежно, в зависимости от воздействующих на них причин, чувства. На неизбежном разнообразии этих причин основывается различие добра и зла, порока и добродетели; различие, которое—в отличие от мнения некоторых мыслителей—отнюдь не основывается на соглашениях между людьми, а тем менее на химерических требованиях какого-то сверхъестественного существа, но на вечных и неизменных соотношениях, которые существуют между живущими в обществе людьми и которые будут существовать до тех пор, пока будут существовать человек и общество. Таким образом *добродетель*—это все то, что поистине и постоянно полезно живущим в обществе людям, *порок*—это все то, что вредно им. Величайшие добродетели—это те, которые доставляют им величайшие и длительнейшие выгоды; величайшие пороки—это те, которые больше всего препятствуют их стремлению к счастью и которые нарушают больше всего необходимый обществу порядок. *Добродетельный* человек—это тот человек, действия которого всегда устремлены к благополучию его ближних, *порочный* человек—это тот, поведение которого ведет к несчастью тех, с кем он живет, из чего обыкновенно вытекает и его собственное несчастие. Все то, что доставляет нам самим подлинное и длительное счастие—разумно; все, что нарушает наше собственное благополучие или благополучие людей, необходимых для нашего счастия—бессмысленно или неразумно. Человек, который вредит другим—злой человек; человек, который вредит самому себе—это неблагоразумный человек, который не имеет понятия ни о разуме, ни о собственных интересах, ни об истине.

Наши *обязанности*—это средства, которые необходимы, как показывает нам опыт и разум, для достижения ставимой себе нами цели; эти обязанности являются необходимым следствием отношений, существующих между людьми, которые одинаково желают счастья и самосохранения. Когда говорят, что эти обязанности *обязывают* нас, то это означает, что, если мы не воспользуемся этими средствами, то мы не сумеем достигнуть цели, ставимой себе нашей природой. Таким образом *нравственная обязанность*—это необходимость прибегать к средствам, способным сделать счастливыми существа, с которыми мы живем, чтобы побудить их сделать счастливыми нас самих; наши обязанности по отношению к самим себе—это необходимость прибегать к средствам, без которых мы не смогли бы существовать, ни сделать наше существование прочно счастливым. Нравственность, как и вселенная, основывается на необходимости или на вечных отношениях вещей.

Счастье—это такой способ бытия, продолжения которого мы желаем, в котором мы хотим пребывать. Оно измеряется своей длительностью и интенсивностью. Величайшее счастье это то, которое наиболее длительно: мимолетное или мало длительное счастье называется *удовольствием*: чем оно интенсивнее, тем оно мимолетнее, потому что наши чувства способны только на известные количества движений; всякое удовольствие, превосходящее эту меру, превращается в *страдание* или в мучительный способ существования, прекращения которого мы желаем: вот почему так близки между собой удовольствие и страдание. Неумеренное удовольствие сопровождается сожалением, скукой и отвращением; кратковременное счастие превращается в длительное несчастие. На основании этого принципа можно заключить, что человек, стремящийся в каждое мгновение своей жизни к счастию, должен, если он разумен, уметь распоряжаться своими удовольствиями, отказываться от тех, которые могут превратиться в страдание и пытаться добиться для себя наиболее длительного благополучия.

Счастье не может быть одним и тем же для всех людей; одни и те же удовольствия не могут действовать одинаково на людей различной организации. Вот несомненная причина разногласий большинства моралистов насчет предметов, в которых, по их мнению, заключается счастье, а также и насчет средств добиться его. Однако счастье заключается, повидимому, вообще в длительном или временном состоянии, на которое мы соглашаемся, ибо мы находим его сообразным с нашим существом; это состояние вытекает из согласия между человеком и обстоятельствами, в которые поместила его природа; или, если угодно, счастье—это координация человека с действующими на него причинами.

Идеи людей о счастьи зависят не только от особенностей их темперамента или их организации, но еще и от усвоенных ими привычек. *Привычка*—это способ бытия, мышления и действия человека, усвоенный нашими внешними и внутренними органами, благодаря повторению одних и тех же движений, что дает возможность воспроизводить быстро и легко эти движения.

Если мы присмотримся внимательнее к фактам, то мы увидим, что почти все наше поведение, система наших поступков, наши занятия, наши связи, наши развлечения, наши манеры и наши обычаи, наша одежда, наша пища—это результаты привычки. Привычке мы обязаны легкостью, с какой работают наши умственные способности, наша мысль, рассудок, ум, разум, вкус и т. д. Привычке же обязаны большинством наших склонностей, наших желаний, мнений, предрассудков, наших ложных идей о счастье, одним словом, заблуждениями, в которые все пытается ввести нас и удержать. Привычка привязывает нас либо к пороку, либо к добродетели [1]).

Привычка так изменяет нас, что часто ее смешивают с нашей натурой; здесь, как мы скоро увидим, берут свое начало те взгляды или идеи, которые назвали *врожденными*, ибо не желали доискиваться источника их, как бы отождествления их с нашим мозгом. Как бы то ни было, мы очень цепко держимся за все вещи, к которым мы привыкли; наш дух испытывает своего рода насилие или отталкивание всякий раз, когда желают заставить его изменить ход своих

[1]) Опыт показывает нам, что решиться на первое преступление всегда труднее, чем на второе, на второе, чем на третье, и так далее. Первое действие есть начало привычки; борясь с препятствиями, мешающими нам совершить преступные действия, мы научаемся легче побеждать их. Так, часто становятся злым по привычке.

мыслей; какой-то роковой уклон часто приводит его к ним, несмотря на голос разума.

Мы можем объяснить физические и духовные явления привычки с помощью чистого механизма: несмотря на свою мнимую духовность, наша душа модифицируется совершенно подобно телу. Благодаря привычке, органы голоса приучаются быстро выражать находящиеся в мозгу идеи при посредстве некоторых движений, которые наш язык привыкает в детстве исполнять с легкостью. Когда наш язык привыкнет двигаться определенным образом, ему становится трудно двигаться иным образом; гортань с трудом выполняет движения, отличные от движений привычной нам речи. То же самое относится к нашим идеям; наш мозг, наш внутренний орган, наша душа, рано привыкшая к тому, чтобы претерпевать определенные модификации и связывать определенные идеи с определенными предметами, составившая себе связную систему истинных или ложных взглядов, испытывает болезненное ощущение, когда стараются придать новый импульс или направление ее привычным движениям. Почти так же трудно заставить нас изменить свои взгляды, как переменить язык [1]).

Вот, несомненно, причина почти непреодолимой привязанности людей к обычаям, предрассудкам, учреждениям, на бесполезность или даже опасность которых тщетно указывают разум, опыт, здравый смысл. Привычка оказывает сопротивление самым ясным доказательствам; они не имеют никакой силы против укрепившихся страстей и привычек, против самых смешных систем, против самых странных обычаев, особенно, когда с этим связана идея пользы, общего интереса, общественного блага. Вот где источник упорства, с каким люди защищают вообще свои религии, свои древние и нелепые обычаи, свои столь мало праведные законы, свои предрассудки, нелепость которых иногда сознают, не желая, однако, отделаться от них. Вот почему народы усматривают опасность в самых полезных нововведениях и сочли бы себя погибшими, если бы пытались устранить бедствия, которые они привыкли признавать необходимыми для своего спокойствия и которые, по их мнению, опасно было бы исцелить [2]).

Воспитание—это искусство заставить людей усвоить рано, т.-е. когда их органы очень гибки, привычки, взгляды и способы бытия, принятые в том обществе, где они будут жить. Первые годы нашего детства уходят на то, чтобы делать всякого рода опыты; те, кто занят нашим воспитанием, обучают нас применению этих опытов или развивают разум в нас; полученные нами от них первые импульсы обычно предопределяют нашу судьбу, наши страсти, наши представления о счастье, средства, употребляемые нами для достижения его, наши пороки и наши добродетели. Дитя на глазах своих учителей приобретает идеи, научается ассоциировать их, мыслить определенным образом, хорошо или дурно судить. Ему показывают различные предметы, которые его приучают любить или ненавидеть, желать или избегать, уважать или презирать. Так, взгляды передаются детям от отцов, матерей, кормилиц, учителей; так дух мало-по-малу заполняется истинами или заблуждениями, согласно которым каждый регулирует свое поведение, делающее его счастливым или несчастным, добродетельным или порочным, уважаемым или ненавидимым, довольным или недовольным своею судьбой, в зависимости от предметов, на которые направили его страсти и энергию его духа, т.-е. которые ему указали его интерес или его счастье; благодаря этому он любит и ищет то, что ему сказали надо любить и искать; он имеет вкусы, склонности, фантазии, которые он старается в течение всей своей жизни удовлетворить, в зависимости от активности, полученной им от природы и развитой в нем воспитанием.

Политика должна была бы быть искусством регулировать страсти людей и направлять их на благо общества; но она очень часто является лишь искусством разжигать страсти членов общества для их взаимоистребления и для разрушения той общественной организации, которая должна была бы дать им счастье. Обычно она так плоха потому, что она не основывается вовсе на природе, на опыте, на всеобщей пользе, а на страстях, капризах и индивидуальной выгоде тех, кто управляет обществом.

Чтобы быть полезной, политика должна основывать свои принципы на природе, т.-е. она должна сообразоваться с сущностью и с целью общества. Но так как общество представляет лишь некое целое, образованное множеством семейств и индивидов, объединившихся для того, чтобы с большей легкостью удовлетворять свои взаимные потребности и обеспечить себе взаимопомощь и особенно возможность спокойно пользоваться благами, которые могут доставить природа и человеческий труд, то ясно, что политика, желающая способствовать сохранению общества, должна считаться с задачами общежития, облегчить средства достижения их, устранить все находящиеся на пути к этому препятствия.

Люди, объединившись друг с другом для жизни в обществе, заключили формальным или молчаливым образом договор, в силу которого они обязались оказывать друг другу услуги и не вредить друг другу. Но так как человек, по своей природе, склонен искать в любой момент свое благополучие в удовлетворении своих мимолетных страстей или капризов, не считаясь совершенно со своими ближними, то необходима была сила, которая удерживала бы его в рамках долга, заставляла бы его сообразоваться с ним и напоминала бы ему об обязательствах, которые, под влиянием страсти, он мог часто забывать. Эта сила—закон. Закон есть сумма воль общества, объединившихся, чтобы определить поведение членов его или направить их действия к единой цели общежития.

Но так как общество—особенно многочисленное—может собираться лишь с трудом, так как в этом случае выражение его воли сопровождалось бы беспорядками, то оно вынуждено выбирать граждан, к которым оно питает доверие. Оно делает их толмачами своей воли и вручает им власть, необходимую для того, чтобы заставить выполнять ее. Таково происхождение всякого правительства, являющегося законным лишь тогда, когда оно основывается на добровольном согласии общества, без которого оно является лишь насилием, узурпацией, разбоем. Те, кто управляют, называются государями, вождями, законодателями; в зависимости от формы, приданной обществом своему правительству, эти государи называются монархами, магистрами, представителями и т. д. Так как правительство заимствует свою власть от общества и установлено лишь для блага его, то ясно, что общество может всегда, когда этого требуют его интересы, убрать эту власть, изменить форму своего правительства, расширить или ограничить власть, врученную им своим вождям, по отношению к которым оно сохраняет всегда верховный

[1]) Гоббс говорит, что „каждому телесному существу, которое часто приводят в движение одним и тем же способом, свойственно приобретать большую склонность или большую легкость воспроизводить одни и те же движения". Это и составляет привычку как в духовной области, так и в физической. См. Hobbes, Essai sur la nature humaine.

[2]) Assidnitabe quobidiana et consuetudine oculorum asreescunt animi, neque admirantur neque requirunt rationes earum rerum quas vident. Cicero, de Natura Deorum, lib. II, cap. 2.

авторитет, в силу ненарушимого закона природы, требующего, чтобы часть была подчинена целому.

Таким образом государи являются слугами общества, его толмачами, хранителями большей или меньшей доли его власти, а не его абсолютными господами и не собственниками народов. В силу формального или молчаливого договора, государи эти обязуются заботиться о сохранении и благополучии общества; только на этих условиях общество согласно подчиняться им. Ни одно общество не могло и не хотело вручить безвозвратно своим вождям право вредить ему; такого рода передача полномочий была бы аннулирована природой, согласно законам которой всякое общество, равно как и всякий человек, стремится к самосохранению и не может согласиться быть постоянно несчастным.

Чтобы законы были справедливыми, они должны иметь своей неизменной целью всеобщие интересы общества, т.-е. обеспечение наибольшему числу граждан тех выгод, ради которых они объединились. Эти выгоды—свобода, собственность, безопасность. Свобода—это способность делать ради своего собственного счастья все то, что не вредит счастью других членов общества; при объединении в общество каждый индивид отказался от некоторой доли своей собственной свободы, которая могла бы вредить свободе других индивидов. Злоупотребление свободой, вредное обществу, называется распущенностью (licence). Собственность—это возможность пользоваться выгодами, доставляемыми каждому члену общества его трудом и умением. Безопасность—это уверенность каждого члена общества в том, что он сможет пользоваться своим добром и своей особой под охраной законов до тех пор, пока он будет верно блюсти принятые им по отношению к обществу обязательства.

Правосудие (justice) обеспечивает всем членам общества обладание вышеуказанными выгодами или правами. Отсюда ясно, что без правосудия общество не в состоянии доставить никому никакого счастья. Правосудие называется также равносправедливостью (equité), потому что, при помощи законов, которым все должны подчиняться, оно уравнивает всех членов общества, т.-е. мешает им использовать друг против друга полученные ими от природы или созданные в них воспитанием неравенства.

Права—это все то, что справедливые законы общества позволяют делать членам его для их собственного счастья. Права эти, очевидно, ограничены неизменной целью общежития; общество имеет, со своей стороны, права по отношению ко всем своим членам, в силу доставляемых им выгод, а все члены его вправе требовать от него или от представителей его тех выгод, ради которых они живут в обществе, отказываясь от части своей собственной свободы. Общество, вожди и законы которого не доставляют никаких благ членам его, теряет, очевидно, свои права на них; вожди, вредящие обществу, теряют права управлять им. Нет отечества без благополучия; общество без справедливости содержит в себе лишь врагов; угнетенное общество заключает лишь угнетателей и рабов; рабы не могут быть гражданами; только свобода, собственность, безопасность делают отечество дорогим и только любовь к отечеству создает гражданина [1]).

Благодаря незнанию этих истин или неумению применять их, народы стали несчастными, превратившись в жалкое скопище рабов, отделенных друг от друга и оторванных от общества, не доставлявшего им никакого блага. Благодаря неблагоразумию этих народов или

[1]) Servorum nulla est unquam civitas,—сказал один древний поэт.

же хитрости и насилию тех, кому они вручили власть и право—составлять законы и приводить их в исполнение, государи стали абсолютно господами общества. Эти государи, не зная истинного источника своей власти, вообразили себе, будто они имеют ее от неба, перед которым они и ответственны за свои действия, и будто они ничем не обязаны обществу, одним словом, будто они—боги на земле, которые управляют с тем же произволом, с каким боги управляют на небесах. С тех пор политика совершенно развратилась и стала сплошным разбоем. Народы были порабощены и не осмелились сопротивляться желаниям своих вождей; законы стали лишь выражением прихотей последних, общественный интерес был принесен в жертву их личным интересам; сила общества обратилась против него самого; члены его покинули его и присоединились к угнетателям его, которые, для обольщения их, разрешили им вредить ему и пользоваться его бедствиями. Так, свобода, правосудие, безопасность, добродетель были изгнаны из среды народов. Политика стала искусством пользоваться силами и достоянием народов, чтобы подчинить их и использовать различие интересов подданных в целях господства над ними; а под конец бессмысленная машинальная привычка заставила народы любить свои цепи.

Всякий человек, которому нечего бояться, становится вскоре злым; тот, кто думает, что он ни в ком не нуждается, начинает полагать, что он может спокойно предаваться всем склонностям своего сердца. Таким образом страх, это—единственное препятствие, которое общество может противопоставить страстям своих вождей: без этого последние развратятся сами и не замедлят воспользоваться теми средствами, которые дает в их руки общество, чтобы найти себе сообщников в своих неправедных делах. Чтобы предупредить эти злоупотребления, общество должно ограничить власть, врученную им его вождям, и оставить за собой такую долю власти, которая помешала бы им вредить ему; оно должно благоразумно разделить силы, которые, объединившись, безусловно раздавят его. Впрочем, самое простое размышление должно показать ему, что бремя правления слишком тяжело для одного человека, который не сумеет справиться с многообразием своих обязанностей и который, благодаря размеру своей власти, непременно станет злым. Наконец, опыт всех веков должен убедить народы, что человек склонен злоупотреблять властью, что государь должен подчиняться закону, а не закон государю.

Правительство влияет неизбежно как на физическую, так и на духовную сторону народов. Своей заботливостью оно вызывает к жизни трудолюбие, деятельность, обилие, здоровье; по точно так же его невнимательное и несправедливое отношение влекут за собой лень, апатию, голод, заразные болезни, пороки и преступления. От него зависит вызвать к жизни или задушить таланты, трудолюбие, добродетель. Действительно, правительство, раздатчик милостей, богатств, наград и наказаний, одним словом, хозяин тех вещей, в которых люди приучились с детства видеть свое счастье, должно приобрести неизбежным образом влияние на их поведение; оно разжигает их страсти; оно направляет их в угодную ему сторону; оно модифицирует их; оно определяет их нравы; иначе говоря (и это относится как к народам, так и к отдельным индивидам), их поведение, т.-е. общую систему желаний и действий, необходимо вытекающих из их воспитания, из их образа правления, их законов, их религиозных взглядов, их разумных или бессмысленных учреждений. Одним словом, нравы—это обычаи людей: эти нравы хороши, когда из них получается настоящее и прочное счастье для общества; несмотря на санкцию законов,

обычая, религии, общественного мнения и примера, эти нравы могут быть отвратительны в глазах разума, если они имеют в пользу себя лишь голос привычки и предрассудков, редко считающихся с опытом и здравым смыслом. Нет такого гнусного поступка, которому не сочувствует или не сочувствовал когда-нибудь какой-нибудь народ. Отцеубийство, принесение в жертву детей, воровство, узурпация, жестокость, нетерпимость, проституция считались у некоторых народов вещами дозволенными и даже похвальными. Особенно характерна в этом отношении религия, освятившая бессмысленнейшие и отвратительнейшие обычаи.

Так как страсти—это притягательные и отталкивательные движения, которыми снабдила человека природа по отношению к предметам, кажущимся ему полезными или вредными, то они могут быть сдерживаемы законами и направляемы правительством, имеющим в своих руках средства для руководства ими. Все страсти сводятся всегда к тому, чтобы любить или ненавидеть, искать или избегать, желать или бояться. Эти необходимые для сохранения человека страсти являются следствием его организма, проявляясь, в зависимости от темперамента, с большей или меньшей энергией; воспитание или привычка развивают и модифицируют их, а правительство направляет их в сторону предметов, которых, с его точки зрения, должны желать подчиненные ему граждане. Различие названий страстей зависит от различных, вызывающих их, предметов, как, например, наслаждения, общественное положение, богатство, честолюбие, тщеславие, скупость. Если мы станем внимательно изучать господствующие у народов страсти, то мы обыкновенно найдем источник их в правительствах. Инициатива вождей делает народы то воинственными, то суеверными; то жаждущими славы, то жадными до денег; то благоразумными, то нерассудительными; если бы государи, желая просветить и осчастливить свои государства, употребили на это десятую долю тех расходов и забот, которые они тратят, чтобы отупить, обмануть и обезд лить их, то подданные их были бы вскоре так же просвещенны и счастливы, как теперь они невежественны и несчастны.

Итак, пусть откажутся от нелепой мысли уничтожить страсти в человеческом сердце; пусть направят их на предметы, полезные для людей. Пусть воспитание, правительство и законы приучат людей сдерживать страсти в границах, указываемых опытом и разумом. Пусть честолюбивый человек, оказывающий пользу отечеству, получит почести, титулы, чины и власть; пусть человеку, любящему богатства, дадут их, если он окажется необходимым для своих сограждан; пусть ободряют похвалами того, кто любит славу; одним словом, пусть будет дана свобода человеческим страстям, если из них получаются реальные и длительные выгоды для общества. Пусть воспитание и политика возбуждают и благоприятствуют лишь тем страстям, которые полезны человеческому роду и необходимы его сохранению. Человеческие страсти так опасны лишь потому, что все, как будто нарочно, делается так, чтобы дурно направлять их.

Природа не создает их ни добрыми, ни злыми [1]): она делает из них более или менее активные, подвижные, энергичные машины; она дает им тела, органы, темпераменты, необходимыми средствами которых являются их более или менее бурные страсти и желания; страсти эти имеют всегда своей целью счастье; следовательно, они законны и естественны и могут быть названы хорошими или дурными,

[1]) Сенека правильно сказал: erras si existimes vitia nobiseum nasci; supervenerunt, ingesta sunt. См. Senec. Epist. 91, 95, 124.

только в зависимости от их влияния на людей. Природа дает нам ноги, способные поддержать нас и необходимые, чтобы переносить нас с одного места на другое; заботы наших воспитателей укрепляют их, приучают нас пользоваться ими, делая из них хорошее или дурное употребление. Полученная мною от природы рука ни хороша, ни дурна: она необходима в массе случаев в жизни; но пользоваться этой рукой становится преступным, если я приобрел привычку красть или убивать, чтобы добывать себе деньги, которые меня приучили с детства желать, которые необходимы мне в обществе, где я живу, но которые я мог бы добыть собственным трудом, не вредя своим ближним.

Сердце человека подобно участку земли, который, в зависимости от его природы, может производить или терния, или полезные злаки, ядовитые растения или приятные плоды, смотря по брошенным в землю семенам и по обработке почвы. В детстве нам показывают предметы, которые мы должны ценить или презирать, искать или избегать, любить или ненавидеть. Наши родители и учителя делают нас добрыми или злыми, рассудительными или безрассудными, трудолюбивыми или бездельниками, серьезными или легкомысленными. Их примеры и разговоры своим воздействием видоизменяют нас на всю жизнь, показывая нам, каких вещей мы должны желать или бояться; мы желаем их и пытаемся их получить, смотря по энергии нашего темперамента, определяющего всегда силу наших страстей. Таким образом именно воспитание, внушая нам истинные или ложные взгляды или идеи, дает нам первоначальные импульсы, согласно которым мы действуем с пользой или вредом для нас самих и для других. Рождаясь, мы приносим с собой лишь потребность самосохранения и стремление сделать наше существование счастливым; обучение, пример, беседы, светские обычаи дают нам действительные или мнимые средства к этому; привычка приучает нас легко пользоваться ими и крепко привязывает нас к тем, кого мы считаем способными помочь нам овладеть предметами, которые мы научились желать. Когда наше воспитание, даваемые нам примеры, доставляемые нам средства одобряются разумом, то все способствует тому, чтоб сделать нас добродетельными: привычка укрепляет в нас эти расположения, и мы становимся полезными членами общества, с которым— как доказывает все—неразрывно связано наше длительное благополучие. Если же, наоборот, наше воспитание, окружающие учреждения, даваемые нам примеры, внушаемые нам с детства взгляды заставляют нас считать добродетель бесполезной или вредной, а порок полезным и благоприятным нашему собственному счастью, то мы становимся порочными и считаем полезным для себя вредить нашим сочленам по обществу: мы бываем тогда увлечены общим пороком; мы отказываемся от этой добродетели, предстающей перед нами в виде пустого идола, и мы не хотим вовсе следовать за ней или поклоняться ей, если она требует, чтобы ей были принесены в жертву вещи, на которые нас всегда заставляли смотреть, как на самые дорогие и желательные.

Чтобы человек был добродетельным, необходимо, чтоб он находил интерес в этом и видел выгоды в добродетельном поведении. Для этого необходимо, чтобы воспитание внушило ему рациональные идеи, чтобы общественное мнение и пример заставили его видеть в добродетели достойнейшую уважения вещь; чтоб ее спутником была всегда слава; чтобы порок и преступление были всегда презираемы и наказываемы. Но таково ли положение добродетели у нас? Дает ли нам воспитание правильные идеи о счастьи, верные понятия о доб-

родетели, благоприятные для окружающих нас склонности? В самом ли деле способны наблюдаемые нами примеры заставить нас уважать пристойность, честность, добросовестность, справедливость, чистоту нравов, супружескую верность, аккуратность в исполнении своих обязанностей? Делает ли нас более социальными, мирными, человечными религия, претендующая на монополию в руководстве нашими нравами? Вознаграждают ли руководители общества тех, кто служат на пользу отечеству, и наказывают ли они тех, кто грабят его, дробят, разоряют? Твердой ли рукой держит правосудие свои весы, относясь одинаково ко всем гражданам? Не оказывают ли законы содействия сильному против слабого, богачу против бедняка, счастливцу против несчастного? Наконец, не видим ли мы часто, что преступление пользуется успехом и нагло торжествует над поправными заслугой и добродетелью? В таких обществах добродетель—удел лишь немногих мирных граждан, знающих цену ее и наслаждающихся ею тайком; она неприятна всем прочим, видящим в ней лишь врага своего собственного счастья или докучного цензора своего поведения.

Если человек, вынужден своей природой желать своего счастья, то он вынужден также любить средства к этому; было бы бесполезно и, может быть, несправедливо требовать от человека быть добродетельным, если он может стать таковым лишь ценой своего счастья. Раз порок делает его счастливым, он должен полюбить порок; раз тунеядство или преступление находятся в почете и получают награды, то что за смысл для него интересоваться счастьем своих ближних или сдерживать свои бурные страсти? Наконец, раз ум его заполнен ложными идеями и пагубными взглядами, то его поведение неизбежно станет сплошной цепью распутных и развратных действий.

Говорят, будто дикари, чтобы сделать плоскими головы своих детей, сжимают их между двумя досками, мешая им таким образом принять предназначенную им природой форму. Почти то же самое можно сказать о всех наших учреждениях; они обычно идут наперекор природе, стремясь стеснить, отвратить в другую сторону и ослабить исходящие от нее импульсы, чтобы заменить их другими, являющимися источником наших бедствий. Народы почти повсюду находятся в неведении истины, их питают ложью или всякого рода чудесными россказнями; с ними обращаются, точно с детьми, которых неразумные няни стягивают разными повязками, мешающими им свободно пользоваться своими членами, не дающими им расти и пагубными для их здоровья.

Религиозные воззрения людей имеют своей задачей показывать им высшее счастье в иллюзиях, ради которых и разжигают их страсти; а так как призраки эти не могут иметь одинакового вида для всех тех, кто созерцает их, то люди постоянно спорят между собой по их поводу, ненавидят друг друга, преследуют друг друга и часто думают, что поступают хорошо, совершая преступления во имя своих взглядов. Так, религия с детства отравляет людей тщеславием, фанатизмом, неистовством, если у них пылкое воображение; если же, наоборот, они флегматичны и вялы, то она делает из них людей, бесполезных обществу; если они энергичны, то она делает из них безумцев, часто столь же жестоких по отношению к самим себе, как и тягостных другим людям.

Общественное мнение постоянно внушает нам ложные идеи о славе и о чести; оно учит нас уважать не только малостоящие вещи, но и вредные действия: пример побуждает подражать им, предрассудки освящают их, а привычка мешает смотреть на них с тем отвращением и презрением, которых они заслуживают. Действительно, привычка примиряет нашу мысль с самыми нелепыми идеями, самыми дикими обычаями, самыми дурными действиями, с предрассудками, гибельными как для нас, так и для общества, в котором мы живем. Мы находим странными, удивительными, заслуживающими презрения, смешными лишь те взгляды и вещи, к которым мы не привыкли; существуют страны, в которых похвальнейшие поступки кажутся дурными и смешными, и где, наоборот, гнуснейшие действия кажутся правильными и разумными [1]).

Власть считает обыкновенно выгодным для себя поддерживать принятые взгляды: признаваемые ею с этой целью необходимыми предрассудки и заблуждения поддерживаются силой, которая никогда не рассуждает. Государи, сами преисполненные ложных представлений о счастье, могуществе, величии и славе, окружены льстецами-царедворцами, в интересах которых не разубеждать своих господ; эти испорченные вконец люди имеют для добродетели одни лишь оскорбления и мало-по-малу они развращают народ, который вынужден следовать за пороками вельмож и который начинает видеть заслугу в подражании их распутному поведению.

Дворы государей—это настоящие рассадники развращения народов.

Вот каков настоящий источник морального зла. Так все соединяется для того, чтобы сделать людей порочными и сообщить их душам гибельные страсти: в результате получается какое-то всеобщее нестроение в обществе, становящемся несчастным, благодаря несчастью почти всех составляющих его членов. Наиболее могучие побуждения направляются на то, чтоб внушить нам страсти к вздорным, ненужным нам вовсе вещам, которые становятся, однако, пагубными для наших ближних ввиду требуемых для достижения их способов. Те, на обязанности которых лежит руководство нами, будучи обманщиками или сами обманутые своими предрассудками, запрещают нам прислушиваться к голосу разума; они доказывают нам гибельность истины и необходимость заблуждения для нашего благополучия здесь, на земле, и в загробном мире. Наконец, сила привычки привязывает нас крепко к нашим нелепым взглядам, нашим опасным склонностям, нашим слепым пристрастиям и бесполезным или опасным вещам. Вот почему большинство людей с неизбежностью побуждается ко злу. Вот почему свойственные нам по природе и необходимые для нашего самосохранения страсти становятся орудием нашей гибели и гибели общества, которое они должны были бы сохранить. Вот почему жизнь в обществе становится своего рода войной, объединяя лишь всегда борющихся меж собой врагов, завистников, соперников. Если среди нас находятся добродетельные лица, то их надо искать в небольшом числе тех, кто, имея от рождения флегматический темперамент и слабые страсти, не желают совсем или слабо желают тех вещей, к которым стремятся всегда с жадностью их сочлены по обществу.

Наша природа и различное воспитание ее определяет наши физические и духовные способности, наши физические и моральные качества. У сильного и сангвинического человека должны быть сильные страсти; у человека желчного и меланхолика будут странные и

[1]) У некоторых народов стариков убивают, а дети удавливают своих родителей. Финикияне и карфагеняне приносили своих детей в жертву своему богу. Европейцы одобряют дуэли и считают обесчещенным того человека, который отказался этим путем убить другого человека. Испанцы и португальцы находят очень хорошим сжигать еретиков. Христиане думают, что вполне справедливо истреблять друг друга из-за различия во взглядах. В некоторых странах не считается бесчестием, что женщины проституируются и т. д.

мрачные страсти; человек с игривым воображением будет иметь веселые страсти; у человека с преобладанием флегмы страсти будут мягкие, тихие. Состояние тех людей, которых мы называем добродетельными, зависит, повидимому, от равновесия гуморальных жидкостей; их темперамент является, повидимому, продуктом сочетания, в котором элементы или начала жизни уравновешиваются между собой с достаточной точностью, так что ни одна страсть не действует на организм сильнее, чем любая другая. Привычка, как мы видели, это модифицированная натура человека; последняя дает материю; воспитание же, национальные нравы и семейные обычаи, примеры и пр. придают этой материи соответствующую форму. В зависимости от сообщаемого природой темперамента, факторы эти создают рассудительных или безрассудных людей, фанатиков или героев, энтузиастов общественного блага или идиотов, мудрецов, увлеченных добродетелью, или погруженных в порок распутников. Все духовные различия человека зависят от различных идей, различно сочетающихся и комбинирующихся в различных мозгах через посредство чувств. Темперамент есть продукт физических субстанций; хорошие или дурные взгляды, истинные или ложные мнения, сосредоточивающиеся в человеческой мысли, являются всегда лишь следствиями физических импульсов, полученных ею через посредство чувств.

Демокрит.

Статья III.

К вопросу о жизни и личности Демокрита.

Это заглавие требует с самого начала оговорки. Я говорю о „жизни и сочинениях“, но было бы, однако, наивно думать, что мы располагаем такими заслуживающими доверия источниками, на основании которых можно было бы дать более или менее,—не говоря уж о полном,—исчерпывающее представление о жизни и сочинениях Демокрита. Ни основные даты его жизни, ни главнейшие факты его литературной деятельности, даже ни одно из сохранившихся до нас названий его сочинений, не могут быть установлены нами с полной уверенностью в истинности наших выводов.

Отсюда своеобразие поставленной пред нами задачи, отсюда своеобразная трудность ее разрешения. Совершенно ясно, что говорить о жизни и сочинениях Демокрита значит в известном смысле говорить, об едином непротиворечивом толковании тех разноречивых и противоречащих друг-другу свидетельств, которые мы находим у древних писателей о жизни и сочинениях великого абдерийца. Но в таком случае систематическая задача изложения уступает место историческому исследованию источников, „критике текста“ и т. д., т.-е. вопрос ставится в той же плоскости, в какой мы раньше говорили об „источниках изучения Демокрита“ [1]). Разумеется, это не путь „популяризатора“ той своеобразной формации, какая установилась у нас в последнее время. Нам незачем прикрываться „популяризаторским талантом“, чтобы, повторяя все фантастические рассказы, все басни о жизни и личности абдерийского философа, создать „полное“ (непременно полное!) и „целостное“ представление о его „биографии“. Ни для кого не секрет, что за „полнотой“ и „целостностью“ подобных биографов скрывается невежество, но ведь ясно, что следует предпочитать знание, быть может, одного подлинного факта, чем десятка выдуманных.

С другой стороны, совершенно самоочевидна вся необходимость и вся важность возможно более полного и возможно более точного

[1]) Напечатанные в нашем журнале две статьи представляют собою лишь первую половину „Источников“. Большинство авторов, цитируемых в настоящей статье, разобрано, к сожалению, в ненапечатанной части.

определения основных дат жизни Демокрита, основных и подлинных из „его" сочинений. Быть может, ни один философ древности не поддается столь легко превратному толкованию благодаря неправильной хронологии, как Демокрит. Между тем, „философия" Демокрита—это целая эпоха, это—веха в развитии научного знания, и в первую голову это—эпоха зарождения научного исследования. „Философия" Демокрита завершает всю предшествующую, так называемую „досократическую" философию, являясь последним и решительным шагом в деле великого освобождения объективного мира от пут религиозной фантастики и мистики. Бесконечная полнота объективной вселенной, бесконечное многообразие количественных форм, как проблем научного изучения вещей, и проблем, как пластических форм количественного многообразия мира, физика, возвращающая мир к нему самому и утверждающая его в нем самом,—все эти черты демокритовского материализма, разумеется, немыслимы без предшествующих подготавливающих теорий Эмпедокла, Анаксагора или элеатов. И, тем не менее, в вопросах о генезисе не должна быть забыта необходимость объективного определения хронологии. До самого последнего времени слишком увлекались, если так можно выразиться, „досократизированием" Демокрита. Из Демокрита делали чуть ли не предшественника Анаксагора, не говоря уж о Сократе, относительно которого утверждение, что Демокрит является его предшественником, стало общим местом в литературе с легкой руки Аристотеля. Общее понятие „досократической философии" стало как бы предпосылкой понимания атомистики, принципиальной чертой ее общего характера. Между тем, нет никаких сомнений в том, что в данном случае мы имеем дело с таким вопросом, который необходимо вновь поставить и пересмотреть в свете новейших филологических исследований.

Из всех источников, которыми мы располагаем о жизни Демокрита, наиболее полным, оставляющим наиболее цельное впечатление, является свидетельство Диогена Лаэртского,—одна из глав девятой книги его „Мнений философов". Для удобства анализа я возьму за основание этот отрывок из книги Диогена Лаэртского, который и привожу ниже. Это было бы уместно также и для первоначального ориентирования читателя в исторической обстановке интересующих нас фактов.

Диоген Лаэртский пишет: „Демокрит, сын Гегезистрата, по мнению некоторых, Атенокрита, а по мнению других—Дамасиппа, происходил из Абдеры, или, как утверждают некоторые, из Милета. Он получил образование у магов [1]), персидских жрецов и халдеян, которых царь Ксеркс оставил его отцу в качестве учителей для сына, когда гостил у него, как об этом говорит и Геродот. Благодаря этим учителям, Демокрит, будучи еще ребенком, познакомился с теологией и астрологией. Но впоследствии он знакомится с Левкиппом и Анаксагором, который, как говорят некоторые, был старше его на сорок лет. Фаворин [1]) в „разных историях" утверждает, что Демокрит будто говорит об Анаксагоре: учения о солнце и луне не принадлежали ему, Анаксагору, а были более древнего происхождения, он же их присвоил. Демокрит ругал его за его взгляды о мироустроении и разуме и относился к нему враждебно, так как тот отказывался от дружбы с ним. Как же он мог его слушать, как думают некоторые?

Деметрий в „Гомонимах" и Антисфен в „Преемствах философов" сообщают, что он ездил в Египет изучать у жрецов геометрию, а также к халдеям, затем в Персию и к Красному морю. Он был знаком с гимнософистами в Индии и, как говорят некоторые, ездил в Эфиопию. Как один из трех братьев, он получил свою часть из отцовского состояния; именно, как утверждают некоторые, он выбрал себе незначительную часть, то-есть наличные деньги, в которых он нуждался для своих путешествий; те же (его братья) его, повидимому, обманули в этом деле.

Деметрий, впрочем, утверждает, что его доля превышала сто талантов, которые он все израсходовал. Как рассказывает он, Демокрит был настолько трудолюбив, что построил в отцовском саду маленький домик, в котором сам заперся, так что, когда однажды отец привел быка и привязал к его домику, тот все время ничего не замечал, пока отец его не привел в себя, подняв его по поводу жертвоприношения, и не рассказал все о быке. „Кажется,—говорит Деметрий,—он явился также в Афины, но не делал попыток стать известным, так как он презирал славу". Он знал Сократа, но последний его не знал. Сам он говорит о себе так: „я прибыл в Афины, и там меня никто не знал".

Если „Соперники в любви" ('Αντερασταί) являются произведением Платона, говорит Трасилл, то Демокрит мог бы стать на место „неназванного", в отличие от приверженцев Ойнопида и Анаксагора, который в дружеской беседе с Сократом рассуждает о философии, и которому, как он сам говорит, философ представляется знатоком борьбы во всех ее пяти видах (ὡς πένταθλος); и действительно, Демокрит охватывал умом не только физику и этику, но также математику и те знания, которые относятся к общему образованию, но и к этому следует добавить еще полное практическое знакомство с искусствами. Ему принадлежит также изречение: „слово есть тень дела" Деметрий Фалерийский сообщает в „апологии Сократа", что он никогда вообще не был в Афинах. Но можно было бы сказать еще больше, если только он относился пренебрежительно к такому городу: он не желал прославиться благодаря месту, но, наоборот, желал самому сделать знаменитым место своего пребывания.

Яркий образ его можно вынести из его сочинений. Кажется,

[1]) Μάγος маг, „тайновед", „ясновидящий", жрец.

[1]) Писатель, живший в 80—150 г.г. после Р. Х., ритор и полигистор.

говорит Трасилл [1]), его вдохновляли пифагорейцы; вспоминает Пифагора, впрочем, сам Демокрит с чувством восхищения в сочинении, которое носит заглавие: „Пифагор". Вот почему могло показаться, что все свои познания он заимствовал у Пифагора и что он слушал его самого, если бы этому не противоречила хронология. Во всяком случае—так думает его современник Главк из Регия,—он слушал кого-то из пифагорейцев. Также Аполлодор из Кизикии, говорит, что он был знаком с Филолаем.

Он был занят тем,—говорит Антисфен,—что самыми разнообразными способами проверял свои представления (и наблюдения), уединяясь для этого в одиночество и проводя все время среди могил.

Когда он вернулся из своих путешествий,—рассказывает Антисфен,—он находился в крайней нужде, так как ему пришлось истратить все свое состояние. В это тяжелое время его поддерживал брат его, Дамаст. После того, как он однажды правильно предсказал некоторые явления в будущем, его стали уважать, а многие даже оказывали ему почести. Но так как существовал закон, по которому растративший отцовское состояние не достоин быть погребенным на родине,—так говорит Антисфен,—то он, отдавая себе ясно отчет в своем положении, для того, чтобы вырвать оружие из рук завистников и клеветников, прочел своим согражданам сочинение: „Великое миростроение", самое замечательное из того, что им было написано; все граждане, прослушавшие его, сразу оценили сочинение в пятьсот талантов и даже не удовольствовались этим: они поставили ему медную статую, а когда он умер, государство взяло на себя устройство торжественных похорон; он умер, прожив более ста лет. Деметрий, напротив, утверждает, что его родственники прочли „Великое миростроение" и оно было оценено ими только в сто талантов. То же самое сообщает также и Гиппобот.

Аристоксен в „Исторических достопримечательностях" (ὁμωνύμασι) говорит, что Платон намеревался сжечь все произведения Демокрита, какие только он мог достать, но пифагорейцы Амиклид и Клиний посоветовали этого не делать, говоря, что все это бесполезно, так как книги Демокрита уже были у всех на руках. Да и так ясно: в то время, как Платон упоминает почти всех древних философов, он нигде ничего не говорит о Демокрите даже там, где, казалось бы, он должен был выступить с возражениями против него; очевидно, он прекрасно сознавал, что имеет дело с лучшим из всех философов. Демокриту посвящает похвальное слово также и Тимон:

> Я признаю Демокрита, мудрого пастыря слов,
> И в разговоре разумном его признаю между первыми.

Что касается времени его жизни, то, как он сам говорит в „Малом миростроении", он был еще совсем молод, когда Анаксагор был уже стар. Это „Малое миростроение",—говорит он сам,—было написано им 730 лет спустя после падения Трои. Его рождение, следовательно, как говорит Аполлодор в „Хронике", приходится в 80-ю олимпиаду [1]), а по Трасиллу, наоборот, на 3-й год 77-й олимпиады [2]), как он говорит в своем „Введении в чтение сочинений Демокрита"; другими словами, он был на один год старше Сократа [3]). Демокрит был, следовательно, современником Архелая, ученика Анаксагора, а также современником Ойнопида, ибо и его упоминает он.

Он думал о взглядах относительно *единого* часто упоминаемых в его время философов Парменида и Зенона, а также Протагора, который, как это признается всеми, был современником Сократа.

В 8-й книге своих „прогулок" (ἐν τῇ περιπάτων) Атенодор рассказывает, что, когда однажды к Демокриту пришел Гиппократ, тот попросил принести молока, и, когда молоко было принесено, он сейчас же сказал, что оно от черной первый раз родившей козы. Перед этой величайшей точностью дальнозоркости Гиппократ горячо выражал свое удивление. Его сопровождала девушка. Демокрит накануне ее встретил приветствием: „привет тебе, девушка!", а на следующий день он ее встречает словами: „привет тебе, женщина!". И действительно девушка ночью потеряла невинность.

Как сообщает Гермипп, он, будучи уже совсем престарелым, не переставал отдавать себе отчет во всем. Его сестра огорчалась тем, что смерть его приходилась ко времени праздника Тесмофориев, и она не сможет выполнить своего долга перед богиней. Но Демокрит сказал ей, чтобы она была бодрой, и попросил давать ему каждое утро теплый свежевыпеченный хлеб; хлеб он держал перед носом, вдыхая его запах и таким образом продлил свою жизнь на время праздника; когда же прошли дни праздника (их было три), он совершенно спокойно, безболезненно испустил дух, в возрасте 109 лет, как сообщает Гиппарх. У меня имеется стихотворение, посвященное ему в моем „Собрании"; оно читается так:

> Кто же сравнился бы с ним по мудрости и по величью?
> Кто был, как Демокрит, сведущ во всех областях?
> Смерть в его доме три дня гостьей была, и все же
> Запахом теплого хлеба ее отстранял от себя.

Вот и все о жизни этого человека...

Существует шесть Демокритов. Первый—это наш. Второй—живший одновременно с ним музыкант из Хиоса. Третий—скульптор, которого упоминает Антигон. Четвертый—автор одного произведения об Эфесском храме, городе Эфесе и Самофракии. Пятый—поэт, автор эпиграмм, ясный и свежий в выражениях. Шестой—из Пергама, составивший себе имя исследованиями по риторике" [4]).

---

[1]) О нем см. ниже.

[1]) В 460—457 г.г. до Р. Х.
[2]) Т.-е. в 470—469 г. до Р. Х.
[3]) Род. в 468 г. до Р. Х.
[4]) Diels: FVS², 350—352.

Таково свидетельство Диогена Лаэртского о жизни Демокрита.

К Диогену Лаэртскому [1]), литературная деятельность которого относится к концу III и началу IV века после Р. Х., следует подходить прежде всего как к автору эпиграмм. Это—поэт-компилятор, совершенно далекий от всякого критического отношения к своим источникам, пренебрегающий логическим планом в изложении и не стесняющийся своими многоречивыми повторениями. Почти всегда, когда у него под рукою какое-либо более или менее пространное жизнеописание философа, он спешит его использовать, если оно богато любопытными анекдотическими деталями, в особенности, если последние связаны с описанием смерти данного философа. Этим анекдотическим деталям он и посвящает свои стихотворные эпиграммы. Вне стихотворных эпиграмм он не проявляет никакой самостоятельной критической работы мысли. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание хотя бы на то, что в приведенном отрывке ему принадлежит, строго говоря, одна лишь эпиграмма по поводу смерти Демокрита. Все остальные суждения о различных периодах жизни последнего, о различных исторических фактах, связанных с его именем, Диоген заимствует из вторых и из третьих рук. Он цитирует сперва Фаворина, характеризующего отношение Демокрита к Анаксагору. Затем приводит сообщение Деметрия и Антисфена о путешествиях Демокрита. Дальнейший отрывок вновь заимствован из Деметрия, как он сам указывает на это. Переходя к характеристике его познаний, Диоген привлекает на помощь Трасилла, о котором у нас еще будет речь ниже в связи с сочинениями нашего героя. Затем он опять переходит к Деметрию Фалерийскому и выписывает из него, что Демокрит ни разу не был в Афинах, но, имея под рукою также и Трасилла, он приводит противоположное мнение последнего, не называя своего источника. Затем следует цитата из того же Трасилла об отношении Демокрита к пифагорейцам и Диоген подкрепляет свидетельство Трасилла ссылками на Главка из Регия и Аполлодора Кизикийского. Весь дальнейший отрывок носит анекдотический характер, здесь Диоген вовсе не стесняется противоречивостью своих сообщений,—Антисфен, Деметрий Магнезийский, Гиппобот, Аристоксен, Тимон,—вот новая группа источников этого отрывка, из которых Диоген черпает свои сведения об обстоятельствах смерти Демокрита, об отношении Платона к нему, об отношении к отцовскому наследству, о случае с Гиппократом. Сюда вкраплен отрывок о хронологии, заимствованный из Аполлодора; мнению Аполлодора противопоставляется мнение Трасилла. По внутренней согласованности и сконцентрированности это место выгодно выделяется во всем приведенном отрывке. Даже указание на то, что Демокрит много думал над проблемами Парменида и Зенона, а также „абдерита Протагора, современника Сократа, как это признается всеми", имеет целью очевидно, обрисовать

[1]) На нем я подробно останавливаюсь в ненапечатанной части моих „Источников изучения Демокрита".

также, именно, не что иное, как ту историческую перспективу, в свете которой следует мыслить личность и литературную деятельность Демокрита.

Здесь не место разбираться в сложной проблеме об источниках Диогена. Это подлежит рассмотрению в общей связи „доксографических" источников, в их „биографическом" направлении [1]). Для интересующего нас вопроса о жизни и сочинениях Демокрита достаточно установить более или менее сходные свидетельства древних писателей, пользуясь для того, как исходной точкой, свидетельствами Диогена Лаэртского.

Большинство доксографических источников согласуется с сообщением Диогена в двух вопросах; в вопросе о родине Демокрита и в вопросе о его родных. Большинство писателей признает, что он был родом из Абдеры, города во Фракии, и что отца его звали Дамасипп. Δημόκριτος Δαμασίππου Ἀβδηρίτης — самое обычное выражение у древних писателей, когда они говорят и Демокрите [2]), сохранившееся также и у позднейших алхимистов в псевдодемокритовой литературе [3]). Но и на этот счет у нас не может быть никакого определенного суждения. Целый ряд свидетельств, указывающих на противоположные данные, остается фактом, с которым следует считаться. Диоген называет Дамасиппа, отца Демокрита, но, „по мнению некоторых",—говорит он,—он был сыном Гегесистрата, а по мнению других — Атенокрита. Свида пишет то же самое [4]). Также и относительно его родного города: называют также не только Абдеру, но и Милет [5]). Повидимому, имя его отца было потеряно уже в древности [6]), а указывать на Милет, как на его родину, толкало общее представление о Левкиппе, „учителе Демокрита", происходящем из Милета и слушавшем Парменида и Зенона [7]). В сущности, вопрос о родине Демокрита в свете подобных свидетельств может остаться и нерешенным с той определенностью, с какой нам хотелось его разрешить. Достаточно установить, что Демокрит происходил из западного побережья Егейского моря, из города одной из ионийских колоний, широко открытых для культурного влияния как Запада, так и Востока. Относительно личности его отца нам ничего не известно. Повидимому, он принадлежал к числу богатейших людей своего времени, если на его

[1]) У меня, там же.

[2]) Aristot. meteor. B. 7 p 365 a 17 Athaeneus: Deipnosoph. II p. 46 FVS², 356, 36. Aelian, variae historiae (Halae 1772) p. 125. Hippolyti, philosophumenon 13. Diels, Dox, 505. 4. Epiphanii, advers. haeres, III, 2, 14. Dox. 590, 30. Theodoret IV, 9. Dox. 285 b. Aetius 1, 3, 16. Dox. 285. Censorinus 15, 3. FVS², 353, 19. Julian. epist. 37. FVS², 355, 9.

[3]) Berthelot, Collection d. ancien. alchim. grecs, livr. 3, text grec, p. 425, 2.

[4]) Suida, FVS², 352, 44.

[5]) Diog. L. IX, 34. (выше стр. 52.)

[6]) Nietzsche, Philologica, Werke, XIX, 203.

[7]) Ch. Aetius. I. 3, 15. Dox. 285. Dieg. L. IX, 30. Simplicius, phys. 28, 4 (ед. Дильса). Dox. 483.

средства Демокрит мог объехать весь Восток и Египет. Древние писатели называют двух его братьев, Дамаспа [1]) и Геродота [2]) и одну сестру [3]).

Вопрос о времени жизни Демокрита также, к сожалению, не может быть решен с определенностью обыкновенной исторической справки. У нас нет даже двух или трех свидетельств, которые не противоречили бы друг другу в этом вопросе. По Аполлодору, Демокрит родился в 80-ю олимпиаду, т.-е. 460—457 г.г. дохристианской эры, а по Трасиллу, в третьем году 77-й олимпиады, т.-е. в 470—469 г.г. [4]). Свида пишет, что, по некоторым, он родился в 472—469 г.г., а по мнению других—в 460—457 г.г. [5]). По хронологии Евсевия, Демокрит и Анаксагор родились в семидесятую олимпиаду, т.-е. в 500—497 г.г. [6]). Столь же разноречивы и остальные свидетельства относительно года рождения [7]). Нет достоверности и в свидетельствах о времени смерти Демокрита. Его относят то к 94, 1 олимпиаде, т.-е. к 404 году [8]), то к 105 олимпиаде [9]), т.-е. 359 г. Одни считают, что он умер в возрасте 104 лет [10]), другие—108 [11]), третьи—109 [12]).

Чтобы разобраться в этой массе разноречивых свидетельств и остановиться с большей или меньшей вероятностью на одной определенной дате, необходимо обратить внимание на одно наблюдение, которое уже было мимоходом отмечено по поводу рассказах Диогена Лаэртского. Это то место, где он говорит о свидетельстве Аполлодора относительно года рождения Демокрита. Останавливает на себе внимание именно то, что рядом со свидетельством Аполлодора Лаэртский приводит слова самого Демокрита, как бы подкрепляя Аполлодора ссылкой на самого Демокрита. При ближайшем рассмотрении оказывается, что внутренне-связное изложение в этом месте Лаэртского и сравнение свидетельства Аполлодора со словами Демокрита приводит к вероятным непротиворечивым выводам.

[1]) Diog. L. IX, 39. Plinius XVIII, 3b. Clemens. Strom. VI p. 255. FVS², 354, 44. Hesychius, Milesius у Mullach'a, Democriti op. fr. (1843), p. 37, 5.

[2]) Suidas s. v. Δ μόκριτος. FVS², 352, 44—353, 1.

[3]) Diog. L. IX, 43 (выше стр.).

[4]) Diog. L. IX, 41 (выше стр.).

[5]) FVS², 352, 45.

[6]) FVS², 353, 9.

[7]) Свида о Зеноне: „Зенон, сын Телевтагора, элейский философ из числа близких по времени к Пифагору и Демокриту, ибо он жил в 78 олимпиаду (468—465)". FVS², 127, 12. Евсевий, Chron. a) Иероним. „Эмпедокл и Парменид... пользовались известностью к 1561 г. от Авраама"; армян. Ол. 81, 1 (т.-е. 456). „В то время пользовался известностью Демокрит из Абдеры"... FVS², 107, 30. Акмэ („расцвет") Демокрита приходится по хронологии Евсевия на девятый год 80 олимпиады, т.-е. 436—433.

[8]) Diodor Sic. XIV, 11, 5: „приблизительно в то же время (Олимп. 94, 1, т.-е. 404) умер философ Демокрит на девятидесятом году жизни". (Другими словами, год его рождения он относит к 494-ому году). Euseb. Chron: „смерть приходится на Ол. 94", т.-е. 404—401".

[9]) Chronica Paschalis 317, 5. FVS², 353, 15

[10]) (Lucianus). Macrob. 18 FVS², 353, 18.

[11]) Censorin. Mullach. op. cit., 15.

[12]) Гиппарх у Diog. L. IX, 43.

В указанном месте Диоген пишет: „Что касается времени, то он был, как он сам говорит в *Малом миростроении*, еще молод, когда Анаксагор был уже стар. Это *Малое миростроение*,—говорит он,—было написано им 730 лет спустя после падения Трои [1]). Его рождение, как говорит Аполлодор в своей хронике, падает на 80-ю олимпиаду (460—457 до Р. Х.), а по Трасиллу, наоборот, в его Введении в чтение Демокрита, на третий год 77-й олимпиады (470—469), т.-е., следов., он был моложе Сократа на один год".

Сравнительный анализ сохранившихся до нас фрагментов Эфора и других придерживающихся его летоисчисления греческих историков [2]) позволяет установить год падения Трои: он приходится приблизительно на 1150 до Р. Х. Демокрит говорит, что „Малое миростроение" написано им 730 лет спустя после падения Трои, т.-е., следовательно, в 420 году. По Аполлодору же, „расцвет" (акмэ) Демокрита приходится одним „поколением" позже Анаксагора, т.-е. последний был старше его на 40 лет, а последний, по его „Хронике", родился в 80-ю ол., т.-е. в 460 году [3]). Другими словами, время „расцвета" Демокрита—это время, когда он на сороковом году жизни писал свое „Малое миростроение". Принимая уже во внимание, что все писатели отмечают преклонный возраст Демокрита, наиболее вероятной датой его смерти следует, повидимому, считать 104, 4 олимпиаду, т.-е. 360 г. до Р. Х. [4]). Таковы основные биографические даты, которые можно принять с большей или меньшей вероятностью.

Дильс приводит также следующие доводы для обоснования именно этих дат. Философы древности, по установившемуся обыкновению, посвящали своему учению очень много лет, иногда целые десятилетия, прежде чем выступить в качестве самостоятельных мыслителей. Если же принять во внимание, что Демокрит ради своего образования предпринял очень большие, следов., продолжительные путешествия, то следует думать, что сорок лет—это самый ранний срок, когда он мог выступить в качестве главы самостоятельной школы. Но нужно пойти дальше и спросить: не указывает ли вся постановка этого хронологического вопроса о Демокрите и Анаксагоре на то, что речь идет не о живом современнике Демокрита, а о покойном философе? И в самом деле, очевидно, речь идет о покойном философе. Анаксагор умер в 428 г., в Лампсаке, где он имел свою школу и где пользовался очень большой известностью, на что указывают имеющиеся у нас древние свидетельства о его смерти и пребывании в Лампсаке. Здесь, а не в Афинах, познакомился с ним Демокрит, прежде чем отправиться путешествовать. Ему было 30 лет, Анаксагор

[1]) В словах Демокрита есть что-то эпическое, узревшее себя в тысячелетиях, напоминающее пафос эпохи Возрождения.

[2]) Welcker: Rhein. Mus. 1835, p. 356. B. ten. Brink. Philol. 1851, p. 589 сл.

[3]) Анаксагор уже, по Аполлодору, родился в 500 до Р. Х.

[4]) Ch. Berthelot. Journal des savants, 1884, p. 517: „357 до Р. Х."—FVS², 353, 15 (Chronika Paschalis 317, 5).

же был 70-летний старик. Затем, спустя десять или пять лет, возвратившись из путешествий, он основывает в Абдере свою школу и позже, в возрасте 40 лет, выступает с „Малым миростроением". Вот почему понятно замечание Демокрита в „Малом миростроении", что он был еще совсем молод, когда Анаксагор был стар. „Малое миростроение" написано после смерти Анаксагора, и Демокрит, закончив свое первоначальное образование, отмечает, как он, будучи юным, слушал Анаксагора [1]).

Аристотель говорит о Демокрите, что он еще до Сократа занимался логическими определениями понятий [2]). То же самое говорит Цицерон [3]). Это, разумеется, не противоречит принятым выше биографическим датам, поскольку речь идет не о хронологии в свидетельствах Аристотеля и Цицерона, а о философских проблемах. Демокрит мог быть современником Сократа и заниматься логическими проблемами еще до того, как Сократ подошел к ним.

Но Диоген Лаэртский противопоставляет мнению Аполлодора мнение Трасилла, повидимому, имевшего на руках сочинения Демокрита и даже написавшего нечто вроде пособия для чтения его произведений. Трасилл говорит, что Демокрит родился в 470—469, т.-е. был на один год старше Сократа. Но и это свидетельство не является решающим аргументом против указанных выше дат. Во-первых, желая исправить Аполлодора, Трасилл основывается на годе падения Трои, нам же неизвестно, по какому летоисчислению он исчислял год падения Трои; возможно, что он следовал не Эфору, а Эратосфену. Во-вторых, мнение Трасилла не имеет принципиального значения для суждения, был ли Демокрит современником Сократа, или значительно старше его. Наоборот, Трасилл как-будто делает Демокрита моложе, чем мы предполагали. Конечно, мы далеки от определенно-достоверных положений; никогда, напр., нельзя будет опровергнуть возражения, что слова Демокрита о времени написания „Малого миростроения" всегда останутся нерешающими для хронологии, так как, ведь, нам неизвестно, какого летоисчисления придерживался сам Демокрит, чтобы определить год падения Трои. Тем не менее, все выше сказанное говорит за то, что именно таковы вероятные основные биографические даты Демокрита.

Отсюда следует также отношение к Протагору. Известно, что они были ровесниками [4]), что Протагор слушал Демокрита [5]). Известно, что Демокрит горячо полемизировал с Протагором [6]). Будучи современником Сократа, Протагора, Горгия [7]), Демокрит противопоставляет себя древним философам и высказывается о них, или критикуя, или характеризуя их в исторической перспективе. Известен его отзыв о Фалесе, как первом из астрономов [1]), об Анаксагоре, приводимый Секстом [2]). Диоген Лаэртский говорит, что, по словам Демокрита, учение Анаксагора о солнце и луне вовсе не принадлежит ему, но более древнего происхождения. Все эти факты говорят о том, как мало выражает существо дела общераспространенное представление о Демокрите, как о „досократике". Впрочем, тем самым положительного обоснования этой мысли здесь, конечно, еще не имеем; она может быть раскрыта и обоснована лишь в систематическом исследовании развития философских идей и проблем досократической философии в ее додемокритовском содержании.

Теперь вернемся к знакомому нам отрывку из Лаэртского и рассмотрим те факты из жизни нашего героя, которые он сообщает.

Диоген пишет в самом начале, что первоначальное образование юный Демокрит получил у персидских магов, которые были в свите Ксеркса и которых последний оставил отцу Демокрита в качестве воспитателей его сына. Весь этот рассказ совершенно невероятен. Нелепой выдумкой являются также аналогичные фантастические рассказы Валерия Максима о том, что отец Демокрита устроил царское пиршество для войск Ксеркса [3]). Диоген Лаэртский ссылается на Геродота, желая обосновать свои слова. На самом деле, здесь мы имеем дело с свободным измышлением Диогена между строками Геродота [4]). Геродот действительно упоминает Ксеркса и Абдеру в VII, 109 и VIII, 120, но ни в одном из этих мест он ничего не говорит ни об отношении Ксеркса к отцу Демокрита, ни об отце Демокрита. Геродот говорит лишь о том, что, возвращаясь в Азию, Ксеркс остановился в Абдере и в благодарность за гостеприимство подарил жителям золотую саблю и вытканную из золота тиару. Непонятно, почему он должен был остановиться непременно у отца Демокрита; Диоген Лаэртский, поэт, любитель эпиграмм, вряд ли заглядывал в Геродота; он поверил своему источнику, который, повидимому, относится к тому времени, когда имя Демокрита уже славилось повсеместно, как имя волшебника и родоначальника „тайноведения" и „магии". Но в таком случае предположение неизвестного источника Диогена, быть может, Диокла Магнезийского, само по себе нелепо. Геродот говорит о 80-х годах пятого века, Демокрит родился в 460 г., и поэтому спрашивается: каким образом мог оставить Ксеркс своих магов и жрецов отцу Демокрита в качестве воспитателей юного философа за двадцать лет до его рождения? Но если бы при помощи своих волшебников он умел предвидеть рождение философа за двадцать лет, то и тогда

---

[1]) Diels. Leukipp u. Diogen. v. Apollonia. Rh. Mus. 42, 3.
[2]) Metaph. 1078 b 21. De part. anim. A. 642a8.
[3]) Acad. post. I, 12, 44. Ср. Natorp. Rh. Mus. 42, 374.
[4]) Apul. Flor. 18 (FVS², 528, 15).
[5]) Diog. L. X, 50.
[6]) Sext. VII. 389.
[7]) Censor. 15, 3. FVS², 353, 19.—Suida. FVS², 545, 14.

[1]) Diog. L. I, 23.
[2]) Sext. VII, 140.
[3]) Val. Maximus lib. VIII, cap. 7. Mullach. Dem. fr. (1843), 38[10].
[4]) Ср. Diels FVS², 711 к 350, 16. Mullach: Dem. fr. (1843), 39. Zeller. Phil. d. griech.[6] (1920), I b, S. 1046.

Ксеркс не оставил бы своих мудрецов в Абдере, так как известно, что в это время греки возгорелись такою ненавистью к персам, что повсеместно преследовали их жесточайшим образом, а между тем, между фракийской Абдерой и Афинами к этому времени начинают крепнуть тесные дружеские узы [1]); вот почему гостеприимство абдеринцев, вероятнее всего, было лишь одной симуляцией покорности[2]).

Повидимому, к этой серии рассказов, явно подложных, относятся также свидетельства, рисующие Демокрита в пути во время путешествия. Напр., император Юлиан в одном из своих писем рассказывает о таком случае из жизни Демокрита: после того как „Демокрит из Абдеры, оказался бессильным утешить Дария, у которого умерла красивая жена, он сказал, что ей, мертвой, он снова вернет жизнь, если Дарий прикажет доставить все для этого необходимое, что он попросит; и хотя царь приказал доставить и приготовить все, что нужно было, немного помолчав, но Демокрит сказал, что нехватает одного, и что он не знает, каким образом это можно сделать, но что, может быть, Дарий, который был царем всей Азии, легко отыщет то, чего нехватает. И когда последний спросил, что же это такое, наконец, что может быть доступно только царю, Демокрит ответил: его жена вернется к жизни, если на ее могиле напишут имена трех лиц, совершенно свободных от горестей. Смущенный такими словами, Дарий действительно никого не мог найти, у кого бы не было какой-либо печали, и Демокрит, смеясь по своему обыкновению, сказал ему: „И ты, странный более чем кто-либо, не стыдишься печалиться столь безмерно, как будто тебя одного только постигает несчастье! А между тем, ты не нашел ни одного из тех, которые никогда не имели какой-либо личной печали“ [3]). Сам по себе этот рассказ, который Дильс приводит в числе свидетельств для характеристики подлинных фактов жизни [4]), может быт опровергнут простой исторической справкой. Дарий, сын Гистаспа, умер в олимп. 73, 4, т.-е. в 485 г., а Дарий II, правивший от 425 до 404 г. до Р. Х., был царем после смерти своей жены [5]). Но, нелепый сам по себе, рассказ об „утешителе“ Демокрите имеет связь вообще со всеми остальными многочисленными свидетельствами о путешествиях Демокрита и в широкой связи всех доксографических источников об этих путешествиях и должен рассматриваться как отражение несомненно подлинных свидетельств о путешествиях Демокрита.

На этот счет мы оказываемся в более счастливом положении. У целого ряда древних писателей мы находим почти совершенно сходные сообщения об этой стороне жизни Демокрита. Элиан пишет:

[1]) Фукидид II, 291, р. пер. Ф. Мищенка, 1915, стр. 115.

[2]) На легендарный характер диогеновского рассказа указывает также то, что Филострат рассказывает то же самое о Протагоре: vita Soph. 10 p. 13,1. FVS², 353, 35.

[3]) Julian. epist. 37, греч. текст по FVS², 355, 9.

[4]) FVS² p. 712 k 355.

[5]) Mullach, Dem. fr. (1843), p. 49.

„Он побывал во многих странах. Был и у халдеев, и у вавилонян, и у магов, и у софистов в Индии“ [1]). Гезихий Милетский сообщает: „Отдавший свое состояние брату и взявший себе лишь незначительную часть, Демокрит познакомился с гимнософистами, побывал в Индии и Эфиопии“ [2]). „Почему Пифагор сам ездил в Египет и к персидским магам?—спрашивает Цицерон.—Почему он объехал так много варварских стран и переплыл столько морей? Почему то же самое сделал Демокрит?“ [3]). Другие сообщают, что он был не только „в Персии, Аравии, Египте, Эфиопии и учился там у магов“ [4]), но и в Индии: „В гористой части Индии находится река Сила, которую еще никто не переплыл. Демокрит сомневался в существовании этой реки, так как он изъездил вдоль и поперек бо́льшую часть Азии“ [5]). Почти в тех же выражениях говорит то же самое Диоген Лаэртский, ссылаясь на „гомонимы“ Деметрия и „преемства философов“ Антисфена [6]). В связи с путешествиями древние сообщения говорят также о материальных средствах Демокрита. „Как один из трех братьев,—читаем мы в одном из них,—он получил свою долю общего состояния и многие утверждают, что он отобрал для себя лишь незначительную часть, именно, наличные деньги, в которых он нуждался для своих путешествий“ [7]).

Если последнее сообщение может показаться вымышленным, то никакие сомнения не могут возникнуть относительно путешествий Демокрита. Не только явное согласие свидетельств на этот счет говорит об этом. Можно предположить, что каждое из путешествий Демокрита отмечалось каким-либо научным сочинением, может быть, подводящим итоги наблюдениям или собирающим материал для систематических занятий. И, действительно, среди книг Демокрита, о которых сообщает Диоген Лаэртский, имеются такие, как „исследование о фригиян“, „исследование о халдеях“, „об историческом исследовании“, „о священных свитках в Вавилоне“, „о священных свитках в Мерое“, „путешествие вдоль океана“. Ниже, в общей связи сочинений Демокрита, будет показано, насколько подлинны эти сочинения, но, как бы то ни было, уже здесь должна быть отмечена несомненная связь Демокрита с его путешествиями. И с большей или меньшей вероятностью обоснована эта сторона литературной деятельности великого абдерийца, когда она протекала вне пределов, охватываемых влиянием греческого мира. И с этой целью следует остановиться несколько подробнее на одном знаменитом свидетельстве Климента Александрийского, в котором последний приводит слова Демокрита,

[1]) Aelian, var. hist. IV, 20. Hallae, 1772, стр. 125.

[2]) Mullach, op. cit. 44. Отсутствует у Дильса FVS².

[3]) Cicer., de fin. bon. et mal. V, 29.

[4]) Plinius, hist. nat. XXV, 13.

[5]) Strabo, lib. XV p. 703. FVS², 354, 1.

[6]) Diog. L. IX, 35.

[7]) Aelian. IV, 120 (Hallae, 1772, p. 126). Diog. L. IX, 35—36.

восхваляющего себя за многоученость и преимущества пред другими учеными мира. В этом месте Климент хочет доказать, что греческая философия не представляет собою ничего оригинального, но всецело возникала из подражания восточным и вообще варварским образцам. Вот это место полностью в русском переводе:

„Пифагор имел учителя Суши, который был первым среди мудрецов Египта, Платон Зехнуфиса из Гелиополиса и Евдокс Книдский Хоннуфиса,—эти оба были родом из Египта. Этические [1]) изречения, которые написал Демокрит, принадлежат вавилонянам [2]); так как говорят, что он перевел колонную надпись (στήλη) Ахикара, присоединил ее к своим сочинениям и сверху в начале написал: так говорит Демокрит. Ведь и сам он говорит о себе так, восхваляясь своей многоученостью: „Я один из всех моих современников объехал (ἐπεπλανησάμην) большую часть земли, предпринял исследования самые глубокие, и я видел большинство климатов (αέρας) и стран, и я слушал речи большинства ученых людей; и никто не превзошел меня в соединении линии с доказательством (μετὰ ἀποδείξεως), даже так называемые у египтян гарпедонапты [3]). Вместе с ними я был еще пять [4]) лет на чужбине после всех моих (путешествий) [5]). И, действительно, он был [6]) и в Вавилонии, и в Персии, и в Египте у магов и ученых жрецов [7]).

Вся цитата из Демокрита до самого последнего времени была предметом горячих споров. Дильс категорически относит ее к подложным фрагментам, и столь же решительно ее подлинность признается Т. Гомперцом. По мнению одних, Демокрит Климента Александрийского оказывается лишь псевдо-Демокритом [8]); по мнению

1) Diels: ἠθικούς. Cobet: ἰδίους (свои собственные). Euseb. praep. ev. X, 4 p. 472: ἑλληνικοῦς (эллинские).—Rob. Eisler, Arch. f. Gesch. d. Ph. 1918, 188: „слово было добавлено впоследствии, но не стояло первоначально".

2) Или: „Демокрит написал этические учения вавилонян"... и в этом случае подчеркнутое можно принять за заглавие сочинения.

3) Земемеры. ἁρπεδονάπται образ. из ἁρπεδόνη, аркан, петля, веревка и ἅπτω, прицепить, завязывать; ἁρπεδονῶν ἁπτόμενος, qui funibus occupatur (B. ten Brink, Phil. 7, 357).

4) У Климента: восемьдесять. Нелепость сообщения Климента самоочевидна. Ошибка могла произойти оттого, что Климент мог π, означающую πέντε легко смешать с ϟ, означающей 80. На это наводит нас Диодор Сицилийский (I, 98, FVS², p. 230, 18), который говорит, что Демокрит пробыл в Египте одно пятилетие. Было указано на это уже Mullach'ом, op. cit. 19. Zeller'ом, Phil. d. Gr. 1920, 1 b⁶, 1047. B. ten Brink, PhilOl. 7, 354. R. Eisler, op. cit. (1918), 188. Diels, FVS², p. 727 k 439, 16.

5) Правильно добавляет Дильс, FVS².

6) Diels ἐπῆλθε (по рукописи), он был. R. Eisler: ἐπῆλθον, я был. Последний думает, что цитата заканчивается этой фразой, так как Климент использованием вавилонских изречений Демокритом хотел доказать собственным показанием последнего". На самом деле нет никакой нужды в подобной интерпретации, так как цитата заканчивается логически как по форме, так и по смыслу указанием на время пребывания на чужбине.

7) Clemens, Stromates, 1, 15, 69 p. 356, 357 и Eusebius, praeparatio evangel X, 4 p. 472.

8) R. Smend, Alter u. Herkunft des Achikar-Romans, 74 Nöldeke, Unters. zu Achikar-Roman, 1913; Abh. d. Gött. Ak. d. Wiss. XIV, Br. 1913, 4, S. 22.

других мы имеем дело с подлинными словами абдерийского философа [1]).

Конечно, с одной стороны, следует признать недостаточность таких доводов [2]) в пользу подлинности, как отсутствие каких-либо иных аутентических свидетельств Демокрита, противоречащих словам Климента, или недостаточность одного факта самохвальства для того, чтобы усомниться в подлинности этого фрагмента. Но, с другой стороны, и те восемь соображений, которые заставляют Дильса отрицать подлинность фрагмента, при ближайшем рассмотрении не выдерживают критики [3]).

Первое соображение Дильса состоит в том, что, по его мнению, „βαβυλώνιοι λόγοι характеризуются Климентом, как „перевод колонной надписи Ахикара, т. е. Халдея, который изложил свои мудрые изречения на колонне. Этот мотив надгробного столбца „...также характерен для времени написания его в александрийскую эпоху, как и хитрость перевода, которая была бы немыслима до александрийской эпохи". Между тем, в действительности, ученый отец церкви говорит не о сочинении Демокрита, озаглавленном „вавилонские учения", но,—следуя простому „говорят",—лишь обвиняет его в том, что он присоединил к своим сочинениям греческие изречения вавилонян, которые были им прочитаны на одной колонне Ахикара и переведены на греческий язык. „Этические изречения вавилонян" не есть таким образом заглавие одного из сочинений Демокрита, и все предположение, что мысль о плагиате Демокрита указывает на александрийское происхождение всего фрагмента, само собою понятно. Дело в том, что эта „колонная надпись" Ахикара, о которой говорит Климент и из которой, следуя примеру александрийских „пронырливых плагиаторов" [4]), великий абдериец заимствовал все свои моральные изречения, не есть какой-то вымышленный источник, о котором нам оставалось бы делать только туманные догадки, и сообщение Климента Александрийского может действительно оказаться загадкой, если бы в настоящее время его мнимый источник не был бы раскрыт во всем историческом своем содержании.

Судя по папирусам, найденным в иудейской колонии Элефантины, на юге Египта, мы имеем дело с широко распространенным во всем древнем мире рассказом о Сенахерибе, царе Ассирийском, о его мудром визире (министре) Ахикаре и о дурном племяннике последнего Надане [5]). По этому рассказу Ахикар разрешил сложные задачи

1) В особенности Robert Eisler, Zu Dem. Wanderjahren, Arch. f. Gesch. d. Phil. 1918, 189.

2) Принадлежащих Гомперцу, Beiträge z. Krit. u. Erklär. griech. Schriftseleler, Sitz.-Ber. d. K. Ak. d. Wiss. ph.-hist. Kl. Bd. 152 (1906), 24.

3) Для дальнейшего см. R. Eisler, Arch. f. Gesch. d. Ph., 1918, которому в основных чертах я всецело следую.

4) Выражение Eisler'a, op. cit., 188.

5) Текст в сирийск. и англ. обработке F. C. Conybeare, S. R. Harris, A. Smith Lewis, The story ot Achikar, Cambridge, 1898. Во франц. обработке F. Nau:

египетского фараона и заставил его уплатить дань Сенахерибу. Тот простил Ахикара, который был в немилости благодаря клеветническим козням племянника Надана. С этого момента Ахикар отдается нравоучительным наставлениям и излагает в виде кратких афоризмов [1]). Рассказ этот был полон нравоучительных сентенций, аллегорий и басен, украшенных поэтическими образами. Рассказ или „роман" об Ахикаре, повидимому, относится к VII веку [2]) или к эпохе между VI и VII веками до Р. Х. [3]). „Важность этого рассказа для истории религии заключается в том, что, по всей вероятности, он относится к потерянной арамейской литературе дохристианской эры" [4]). Однако установить происхождение рассказа трудно уже потому, что еще в глубокой древности мы находим самые разнообразные вариации, переводы, переделки [5]). Наиболее обоснованными в литературе явились предположения об их арамейском [6]), сирийском [7]) и иудейском [8]) первоисточниках. Не входя, однако, в анализ этих специальных вопросов, не имеющих прямого отношения к нашей теме, важно установить, что „рассказ" об Ахикаре мог возникнуть уже в VII веке до Р. Х. и пользоваться широкой известностью в древнем мире. Что с этим „рассказом" был знаком иудейский мир,—показывает книга Товит [9]), где в нескольких местах приводится имя ассирийского мудреца Ахикара [10]). Но „рассказ" был известен и римской Галлии: на одной мозаике с музами в Трире, некий богатый сириец Моннус изображает ACICAR'a рядом с музой Полигимнией; последнее обстоятельство указывает также на знакомство с „рассказом" арабских поэтов доисламской эры [11]). В послехристианскую эру „рассказ" не был потерян или забыт, он, напротив, даже подвергался обработке и исправлениям, так как явно языческий характер не мог устоять пред христианским воззрением о мире [12]).

Histoire et sagesse d'Achikar L'Assyrien, Paris 1909. Сюжет сам по себе не затейлив, но изложение его и разбор завели бы нас слишком далеко.

[1]) Переведены F. Nau, op. cit. Nöldeke, op. cit., 35–51.

[2]) Baumstark, Geschichte d. syrisch. Literatur, Bonn 1922, 11.

[3]) Francois Nau, op. cit., 39. 115.

[4]) M. Lidzbarski, The story ot Ahikar, Encycl. of Rel. and Ethics (James Hastings), 1908, 1, 231.

[5]) Известны версии арабская, армянская, румынская, эфиопская, славянская (F. Nau, op. cit., 74 сл.), древнетюркская, грузинская (Baumstark, op. cit., 12, все примеч.).

[6]) Rob. Eisler, op. cit., 188 (текст). Lidzbarski, op. cit., 231. У него же то из остальной литературы, что неизвестно мне.

[7]) Streck, P.-Wissova, Suppl. 1, 43. Nöldeke, op. cit., 6.

[8]) Baumstark, op. cit., 11, примеч. 11. Halévy y Nöldeke, op. cit. 6.

[9]) Одна из неканонических книг, относящихся к ветхому завету и рисующая жизнь праведника израильтянина Товита.

[10]) Подробно Th. Nöldeke, Unters. z. Achikar-Roman, Abh. d. K. Ges. Wiss. zu Gött. N. F. XIV, 4 (1913), 19. P. Vetter: Das Buch d. Tobit u. d. Achikarsage. Theol. Quartalschrift, 86, 321.

[11]) Baumstark, op. cit., 11.

[12]) Baumstark, op. cit., 11, примеч. 7. 11. Lidzbarski, op. cit., 232.

Греческий мир познакомился с мудростью Ахикара уже в 5 веке. Позже, если верить сообщению Диогена Лаэртского [1]), этот „рассказ" послужил темой для специального сочинения Теофраста: „Ахикар" Посидоний [2]) упоминает пророка Ахайкара, жившего в Боспоре и обскими магами. Другими словами, Ахикар из Боспоры пользовался в Греции известностью, как один из мудрейших людей в Вавилонии [3]). На знакомство греков с мудрыми изречениями Ахикара указывают фрагменты Менандра (342—290 до Р. Х.), который, повидимому, познакомившись с ним благодаря Демокриту, подражал ему, как это можно видеть, сравнивая его фрагменты с текстом Ахикара [4]). Наконец, широкорас пространенный в греческом мире „рассказ" (или „роман") об Эзопе (Vita Aesopi), относящийся к византийским первоисточникам [5]) 6-го века [6]), носит на себе все следы влияния ахикаровского „романа", именно можно видеть, что в последней своей части сюжет Эзопа заимствован из Ахикара. Повидимому, мы имеем дело здесь с взаимным влиянием, в силу которого многие басни, аллегории и образы „Жизни Эзопа" могли на восточной почве выделиться, оформиться в самостоятельное сочинение [7]) и тем создавать повод для новых вариаций ахикаровского „романа", если тем более можно считать установленным, что самое содержание „Жизни Эзопа", во всяком случае, исходит с Востока, „и, может быть, из Сирии" [8]). Но в этой до-демокритовской „Жизни Эзопа" мы не находим нравоучительных сентенций Ахикара, но лишь аллегорическую, фабулистическую сторону „рассказа" о нем. Демокрит же познакомил греческий мир именно с моральными изречениями Ахикара; однако следует добавить, что так говорят весьма сомнительные источники, и нужна осторожная критика, чтобы нащупать истину.

Литературная форма „романов", подобных Ахикаровскому, такова, что излюбленным приемом одеть сюжет в поэтические формы являлось указание на различные надписи—могильные, колонные, на эпиграфы на статуях, как на источники фабулы [9]). Климент, повидимому, имел на руках изложение ахикаровского романа, в котором рассказчик ссылался на „колонную надпись" с изречениями Ахикара.

---

[1]) D. L. V, 50 (FVS², p. 727 к 439, 9).

[2]) У Страбона, XVI, 762.

[3]) Большинство исследователей считает тождественными Ахикара из Боспоры (Борсиппы, города в Вавилонии) и Ахикара, героя древнего нравоучительного рассказа. Противоположного мнения Wissowa, Payly-Wissowa, I, 1168. Здесь, в Борсиппе, поблизости Вавилона, между 5 и 7 веком до христианской эры, в среде сектантски настроенных пуделей, могла возникнуть та мораль и языческая фантастика, которые наблюдаются в основании „рассказа". Ср. Eisler, op. cit., 159—190, примеч.

[4]) François Nau, op. cit., 42, сопоставил их.

[5]) Eberhard, Fabulae Romanenses Graece, Lpz. 1872, 1, 225 сл.

[6]) A. Hausrath, P.-Wissowa, 6, 1712.

[7]) Ib. 1712.

[8]) Streck, op. cit. 43.
См. примеч. 3а у Eisler'a, op. cit., 190.

Колонной надписи, о которой говорит Дильс и которую Демокрит, будто бы, перевел и выдал за свое сочинение, в действительности не существовало вовсе [1]).

Но нам известно, что именно типичные ахикаровские изречения, вполне установленные в своей аутентичности, еще в древности были известны под именем „гномов" („сентенций", „изречений") Демокрита. Известно, напр., что в арабских произведениях перса Шахрастани (1085—1153), в числе приписываемых последним Демокриту моральных изречений мы находим три, из которых два с очевидностью можно констатировать в сирийской вариации Ахикара, а одно—в армянской и славянской [2]). Несомненно, это—псевдодемокритовские изречения. Уже этот факт указывает на то, что в действительности случилось как раз обратное тому, что утверждает Климент Александрийский: под именем Демокрита пользовались широким распространением несомненно ахикаровские изречения. Подобные случаи и могли подать повод к нелепому обвинению в плагиате,—обвинению, которое, быть может, еще до Климента Александрийского пользовалось устным признанием, что и отразилось в выражении Климента: „говорят, что"... Впрочем, и сам Дильс признает, что „никому еще в древности не приходила в голову мысль сделать из Демокрита переводчика восточной гномики" [3]). О том же, что существовало целое собрание гномов (моральных изречений) Демокрита, носящее заглавие „моральные учения вавилонян" и являющихся, будто бы, лишь переводом изречений ахикаровского псевдоэпиграфа на колонне,—об этом нельзя утверждать ничего положительного на основании разбираемого места Климента Александрийского.

François Nau сделал попытку сравнить моральные изречения Демокрита с изречениями Ахикара [4]). Он вывел из этого сравнения, что, будучи в Вавилоне, Демокрит читал „колонные надписи" Ахикара, перевел на греческий язык и познакомил последний с восточной мудростью [5]). Не высказываясь о том, насколько правилен [6]) французский перевод Nau [7]), нужно, однако, признать его попытку неудачной. Во-первых, он привлек из 75 изречений Ахикара только 11, а во-вторых, тщательный сравнительный анализ этих приведенных изречений не убеждает вовсе в том, что Демокрит „перевел" их, или даже что они были ему известны [8]). Демокрит любит обобщать, Ахикар прибегает поминутно к конкретным примерам. Демокрит выдви-

[1]) Не намек ли на это у Nöldeke, op. cit., 21: „Pseudepigraphon Achikars".

[2]) Эти изречения в изд. Nöldeke, op. cit. 22 и §§ 10. 37. 38.

[3]) Diels, FVS², B. 3. (Registerband), 1910, p. XIII.

[4]) Fr. Nau, op. cit., 41. 156. 160. 165. 173.

[5]) Fr. Nau, op. cit., 291 и др.

[6]) Сомнение на этот счет возникает из сравнения с немецкой обработкой Nöldeke, см. также его поправки, ib. 22.

[7]) Ввиду недоступности для меня сирийского текста.

[8]) В этом отношении замечания Th. Nöldeke, Unters. z. Ach.-Rom., ib. 22, совершенно правильны.

гает общие для всех людей цели и идеалы, Ахикар большей частью останавливается на отдельных сторонах жизни. Самообладание и спокойствие Демокрита совершенно другого порядка, чем у Ахикара. Сходство только в общей проблеме, в одних и тех же понятиях, что неудивительно, поскольку речь идет о моральных сентенциях как там, так и здесь. Неудачная попытка Nau опять-таки убеждает в нелепости обвинения Климента Александрийского. Демокрит, эта „яснейшая голова древности", по меткому выражению Нöльдеке, несомненно был знаком со всевозможными вавилонскими учениями, поскольку они входили в общий опыт, в общее образование его времени, но ему незачем было моральные изречения для греков заимствовать из восточных источников. Впоследствии мы увидим, что именно та особенность Демокритовой мысли, которая заставляет отличать его от „досократиков", и есть не что иное, как единство физического мировоззрения и этики, когда этика определяется материалистическим учением о мире и человеке в единой систематической связи. Таким образом выводы, которые сейчас можно сделать из исследований ориенталистов Гарриса, Сменда и Нöльдеке, вполне подтверждается исследованием научно-философского мировоззрения Демокрита.

В пользу подложности фрагмента, интересующего нас, Дильс, во-вторых, приводит следующий довод: „Как признак зависимости Демокрита от варваров, которую Климент сперва утверждает, следуя простому „говорят", Климент приводит собственные слова Демокрита, который a) сам говорит о своем авторстве и b) сам признает ясно свое зависимое ученическое отношение к выдающимся ученым всех стран. Это неметодично (unmethodisch) отделять эту цитату от заглавия книги. Одно должно совпадать с другим. Если бы Климент имел на руках различные сочинения Демокрита, то он различил бы их по заглавиям". На самом деле, все вышесказанное убеждает нас в том, что нельзя смешивать цитату с мнимым заглавием „этические учения вавилонян". Это совершенно ясно, поскольку последние взятые мною в ковычки слова вовсе не являются заглавием сочинения Демокрита. Климент действительно имел на руках только одно сочинение, из которого он выписал показание Демокрита для того, чтобы доказать, что путешествующий по миру абдерский мудрец мог пользоваться вавилонскими источниками, но совершенно очевидно, что это сочинение не было ни „этическими учениями вавилонян", ни „переводом колонной надписи Ахикара" [1]).

Третий довод Дильса заключается в том, что, по его мнению, совершенно не заслуживает доверия цитата о самохвальстве Демокрита, о котором нам ничего не известно; между тем, Климент как-будто подчеркивает это самохвальство Демокрита. По этому поводу, однако, следует заметить, что пред нами, именно, такой тон фрагмен-

[1]) R. Eisler, op. cit., 192.

та, такая манера выражаться, которая, конечно, ученому отцу церкви с его христианским смирением могла показаться достойным порицания самохвальством (σεμνυνόμενος), но которая удивительным образом отвечает целому ряду других фрагментов, создавая с ними в совокупности совершенно целостное впечатление. Вспомним его слова о времени написания „Малого миростроения". Он говорит, что „Малое миростроение" написано им 730 лет спустя после падения Трои. За историческими вехами, за великими историческими воспоминаниями скрывается эпическая величавость осознавшей свою силу мысли, которая мерит себя пространствами и событиями, эпохами и людьми. На склоне лет, обозревая свою богатую жизнь, он пишет: „Я один из всех моих современников объехал большую часть земли, предпринял глубочайшие исследования, и я видел большинство климатов и стран, и я слушал речи большинства ученых людей, и никто не превзошел меня в соединении линии с доказательством, даже так называемые гарпедонанты; с ними после всех моих путешествий пробыл я пять лет на чужбине. Был же я—в Вавилонии и в Персии, и в Египте, научаясь у магов и жрецов".—Но нет пророка в своем отечестве!—„Пришел я в Афины,—говорит он,—и там меня никто не знал" [1]). Но разве он станет из-за этого печалиться? „Я предпочел бы найти,—говорит он,—одно причинное объяснение, чем занять трон персидских царей" [2]).

Если последние фрагменты подлинны,—а в их подлинности еще никто не сомневался (как не сомневался и Дильс),—то разве не дополняют взаимно все эти слова Демокрита, создавая целостное впечатление о большом и благородном характере великого ученого? В сущности, не приходится даже объяснять или извинять „самохвальство" Демокрита [3]). Ему не зачем было распространять свою славу, ибо он не добивался ее. Будучи, например, в Афинах, он знал Сократа, а тот же его не знал, и Демокрит не делал никаких попыток стать более известным, „потому что он презирал славу", как говорит Деметрий о нем [4]).

В-чегвертых, Дильс говорит следующее: „Совершенно случайно, но во всяком случае лишено решающего значения употребление греко-египетского названия „гарпедонанты", которое, между тем, у александрийца Климента весьма естественно". На самом деле, слово „гарпедонанты", „связыватели петель", т.-е. землемеры [5]), вполне гре-

[1]) Diog. L. IX, 36. Cic., Tusc. V. 36. 104.

[2]) Dionys. Alex. у Евсевия, praep. ev. XIV, 27, 4. FVS³, 407, 7.

[3]) Как, например, Т. Гомперц, Греч. мысл., р. п. 1911, 1, 274: „Самохвальство Демокрита можно объяснить и извинить еще одним особым обстоятельством. Повидимому, известность его при жизни ограничивалась лишь городом, в каком он жил... Может быть, оскорбленный тем, что, несмотря на огромные труды и ученые занятия, ему не удалось достигнуть известности в столице греческой умственной жизни, он решил сам распространить свою славу".

[4]) Diog. L. IX, 36.

[5]) M. Cantor, Gesch. d. Mathem. I, 55, 3, по-немецки удачно: Seilknüpfer.

ческое и встречается у Геродота и Ксенофонта, и является выражением греков, живущих уже с VII-го века в Египте, Мемфисе, Навкратисе, которое в устах бывшего у них в пятом веке Демокрита вполне естественно. О каком-либо александринизме не может быть и речи.

„Тенденция, утверждать зависимость греческой науки от варваров и при этом подчеркивать превосходство греков, была очень распространена именно у александрийцев" [1]). Но эта тенденция, которую Дильс в этом пятом аргументе приводит для доказательства подложности фрагмента, как нельзя лучше отвечает как исторической истине, которую легко открыть в массе источников, недоступных александрийцам, и которая, наоборот, сама подтверждает подлинность интересующего нас фрагмента. Таковы самые существенные возражения [2]) Дильса против подлинности фрагмента. Должно быть совершенно ясно после вышесказанного, что эти возражения не убедительны. Но если это так, то можно считать совершенно установленным, что Демокрит действительно предпринимал путешествия на Восток и в Египет, чтобы познакомится с восточной наукой и с египетской мудростью.

Мы располагаем еще одним фрагментом, который также говорит о продолжительном общении Демокрита с восточными мудрецами. Этот фрагмент, который не вызывает никаких сомнений ни у Дильса, ни у кого-либо другого, и который, может быть, вместе с предыдущими составляет некоторую часть „автобиографии" философа. Речь идет о том же Клименте [3]). У него мы находим следующие слова Демокрита:

„Некоторые из ученых подымают свои руки туда, где мы, эллины, теперь помещаем [4]) воздух, (и говорят): Все называет Зевс [5]), и все знает [6]) он, дает и снова берет, и он царь над всем".

Дильс замечает, что под „учеными, которые почитают Зевса, как воздух", Демокрит имеет в виду Диогена Аполлонийского [7]). Это не совсем так. Ведь, из текста совершенно очевидно, что воздухом называют Зевса не „ученые", а „мы, эллины, теперь",—и, мо-

[1]) FVS², ibid.

[2]) Остальные возражения (чисто-филологического характера) также опровергнуты R. Eisler'ом, op. cit., 196—198.

[3]) Protrept., p. 92. 20 Schn. FVS², 397, 17.

[4]) Οὗ καλέομεν, т.-е. Дильс правильно: οὗ εἶναι φαμεν, „где, как говорим мы, находится" воздух. FVS², 720 к 397,20. Но и еще: „где находится то, что мы, эллины, теперь называем воздухом".

[5]) Или дальше от подлинника, но лучше передает смысл: „Название всего—Зевс"...

[6]) Οἶδε; или: „и знание всего—он".

[7]) Именно, Verhandl d. deutsch. Philol. Vers. in Stettin Lpz. 1881, 108, 40, а также ск. FVS², 329,32 и 335,19. Диоген Аполлонийский здесь (Simpl. phys. 151,28) говорит: „и это... первовещество есть то, что люди называют воздухом, он погружает в себя все и всем обладает. Ибо именно он... есть бог, воздесущий и всеохватывающий и во всем присутствующий". Augustin, De civ. d. VIII, 2 (Dox. 174): „Диоген, также слушавший Анаксимена, говорит, что материей вещей является воздух, из которой все происходит".

жет быть, здесь только и имелся в виду Диоген Аполлонийский, с которым Демокрит был одного мнения,— а „ученые, подымающие руки к нему", говорят, что он „называет все, и, как царь надо всем, дает и берет вновь" воздух. И подобно тому, как Геродот, сравнивая нравы греков с варварскими, употребляет часто выражение „мы, эллины, теперь", то и здесь под „учеными людьми" имеются в виду не „эллины" „настоящего времени" („теперь"), именно, или эллины первобытного времени, или варвары, чужеземные „ученые", которые, говоря о Зевсе, подымают руки „на воздух", к „небу". И Демокрит действительно мог быть знакомым с этими учеными, с их образом мыслей, с их манерой выражаться. Шпигельберг [1]) открыл в папирусах Египта толкование Аммона, т.-е., по-гречески, Зевса, как всепроникающей пневмы; у вавилонян—Бел,—у Геродота Зевс Βῆλος—на это, очевидно, указывается самым идеографическим написанием его имени как en-lil, т.-е. „господь воздух"; „все знает" он—это заратустровское выражение: „знающий", „понимающий", и чисто-демокритовское „царь над всеми" может быть открыто в арамейских, ассирийских и древнеармянских источниках [2]); в той же связи понятно цитируемое „все называет": представление о слове как творческой силе занимало большое место в древне-восточных религиях, что отразилось нагляднейшим образом в целом ряде источников [3]). Таковы те данные, которые самоочевидно доказывают факт путешествий Демокрита и его тесного общения с восточными мудрецами, что опять-таки подтверждает подлинность отвергнутого Дильсом автобиографического фрагмента из Климента Александрийского.

Основные биографические даты, большие путешествия, близкое знакомство с выдающимися учеными своего времени—вот и все факты, которые можно принять с большей или меньшей вероятностью относительно внешней истории Демокрита. Что касается его „внутренней биографии", то здесь, к сожалению, мы не встречаемся ни с одним свидетельством, которое не носило бы легендарного характера. Эти свидетельства можно найти в приведенном в начале отрывке из Диогена Лаэртского. Рассматривая их, можно подумать, что еще при жизни Демокрита его личность не только вызывала большое внимание со стороны современников, но и создавала повод ко всякого рода легендам.

Тем не менее, кое-какие реальные стороны личности нашего героя все-таки можно нащупать в массе фантастических свидетельств о нем, если проследить, как сообщаемые последними различные факты по разному обрисовывают одну и ту же черту его характера.

К числу подобных особенностей личности великого абдерийца следует отнести прежде всего его исключительную любовь к научным

[1]) По Eisler'y, op. cit., 195.

[2]) Доказательство ib., op. cit., 195.

[3]) См. прежнее чрезвычайно ценное для целостного изучения философии двухтомное исследование Rob. Eisler'a, Weltenmantel und Himmelszelt, Bd. II (1910), 751,2.

занятиям, его стремленье упорными и непрестанными опытами добиваться истины и разнообразнейшими путями испытывать и проверять найденную истину. Это был человек, который жил для науки и ради науки. Ни события, ни люди, ни время, ни пространство не могли отвлечь его сосредоточенного внимания от возникающих и разрушающихся миров, от конкретного многообразия окружающей действительности. Он уединяется, он бродит в одиночестве среди могил, отрешаясь от каждодневных впечатлений суетной жизни людей [1]). Он настолько занят размышлениями, что не замечает, как к его жилищу привязывают быка для жертвоприношения [2]). Отсюда целый ряд легенд обо всех этих „странностях" абдерского мудреца. Рассказывают, что на склоне своих лет он ослепил себя, чтобы чувственные впечатления не обманывали его ум и не отягощали его своей смутностью, неразборчивостью и изменчивостью. „В памятниках греческой истории сказано,—читаем мы в одном из рассказов об этой легенде,—что Демокрит, человек, которого более других уважали, и который издавна обладал большим внутренним весом, по своей собственной воле лишил себя света очей своих, ибо он был того мнения, что размышления его духа и его исследования при разумном созерцании природы будут более чистыми и более точно отвечающими действительности, если убрать от них внешнюю привлекательность видимого и препятствия, создаваемые глазами" [3]). И если бы этот рассказ не был легендарным отзвуком действительного характера философа, то, быть может, психология последнего должна была быть понята нами так, как ее понял Цицерон. „Лишив себя света очей,—говорит он,—Демокрит, конечно, не мог различать черное от белого; но, ведь, он мог различать добро и зло, справедливость и несправедливость, честность и нечестность, полезность и бесполезность, великое и малое; и он мог жить и без красочного разнообразия видимого, но он не мог жить без понимания вещей. Также полагал он, что даже острота духовного взора (animi) притупляется способностью зрения, и, в то время, как иные часто не замечают того, что находится у их ног, он проникал мыслью всю бесконечность, которая никогда не заключается во внешности" [4]). Выдающаяся личность уже в древности окружалась, таким образом, легендами. Их можно найти в приведенном выше отрывке из Диогена Лаэртского. Их можно найти в псевдогиппократовском „Романе в письмах", в котором, впрочем, вымышленное, несомненно, недалеко от действительности. „Рассказывают [5]), что Демокрит, будучи гражданином города Абдеры, не раз своими странно-

[1]) Diog. L. IX, 38—39.

[2]) Diog. L. IX, 36.

[3]) Gellius, Noct. att. X 17. FVS[1], 355,39.

[4]) Cicer. Tusc. V 39, 114. FVS[2], 355,33.

[5]) Дальше, не имея под рукою Гиппократа, цитирую Гомперца, Греч. мысл., р. п. 94, стр. 272.—О псевдогиппократовских „письмах" к Демокриту речь будет впереди в главе о сочинениях Демокрита.

стями приводил в изумление сограждан, так что они решились, наконец, пригласить искусного врача, чтобы удостовериться в умственной нормальности своего великого соотечественника. Гиппократ явился и убедил их, что они ошиблись. С этого времени начинается общение двух великих людей, сначала личное, а затем письменное. Весьма вероятно, что „Роман в письмах", который мы находим в гиппократовском собрании, является до известной степени отражением действительно бывшего; по крайней мере, очень вероятно, что оба естествоиспытателя много путешествовали и, будучи одного возраста (род. 460), были в близких отношениях, тем более, что Гиппократ действительно бывал в Абдере, посещая больных то у „Фракийских ворот", то на „Священной дороге", то на „Верхней дороге". Поэтому нужно признать, что изображаемый легендою домик в саду близ городской ограды и тенистый платан, под сенью которого великий врач заставал абдерского мудреца, окруженного свитками и вскрытыми трупами животных, пишущего, склоняясь на свои колени— все это, вероятно, недалеко от действительности". „Я предпочел бы найти одно причинное объяснение, чем получить трон персидских царей",—говорит он, и весь образ его личности, с трудом вырисовывающийся за массой смутных легендарных рассказов древних писателей, как нельзя лучше подтверждает истину его слов. И вся его богатая жизнь как-будто была призвана доказать ту великую истину, что „слово есть тень дела" [1]), истину, которая не только по лапидарной отчеканенности своей формы, но и по существу своему может служить прототипом другой классической формулы: „не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание". Вот почему его личность нельзя понять не только без его этики, но и без физики, ибо впервые именно в нем определилась этика, как один из выводов из научного материализма, научного исследования вселенной. И если физическое мировоззрение определялось исторической эпохой во всей целокупности, во всей структуре своих социальных и экономических сторон, то этическое мировоззрение великого абдерийца обусловливалось именно его физикой. В свете подобного научного монизма четкой и неотвратимой становится та грань, которая отделяет его от прочих досократиков. Если у его предшественников 6 и 5 веков монизм был предпосылкой мышления, то у него он стал выводом из фактов. Вот почему именно этой целостностью мировоззрения его личность и производила неотразимое впечатление не только на древних, но и на ученых всех веков и народов. „За его писаниями чувствовалась личность, внушавшая уважение и вызывавшая почитание. Они не содержали ничего, что давало бы повод людям, предвзятым или партийным, ложно толковать их или умалять их значение. Еще поныне широко распространенное предубеждение, будто между научным материализмом и тем, что можно назвать этическим материализмом, существует необходимая связь, ничем нельзя лучше опровергнуть, как тем образом, в который еще в древности воплотилась личность и жизненные воззрения абдерского ученого, и который сохранился неомраченным до позднейших времен". И этими словами Т. Гомперца более всего уместно закончить наши, связанные часто с толкованием и критикой текста, замечания о невыясненных вопросах „личности и жизни" Демокрита и перейти к анализу „литературного наследства" великого абдерийца.

Гр. Баммель.

[1]) Plutarch, de peier. ed. 14 p. 9. FVS², 410,3. λόγος γὰρ ἔργου σκιή.